

DEBUTA NICOTINO PEGOTO FOMATA



Scan Kreyder - 12.10.2018 - STERLITAMAK







Н. ЗАДОРНОВ

**КАПИТАН
НЕВЕЛЬСКОЙ**

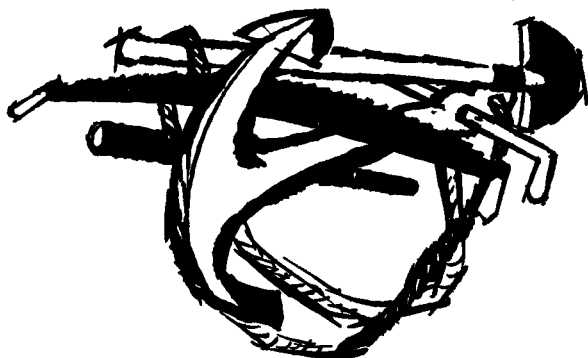
РОМАН

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970**

Издание осуществляется под общей редакцией
Л. КЛИМОВИЧА, С. МАШИНСКОГО, С. ПЕТРОВА,
Б. РЕИЗОВА, Н. ТОМАШЕВСКОГО, Е. ЧЕЛЫШЕВА

Художник
А. ЗЫКОВ

КНИГА ПЕРВАЯ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОХОТСКОЕ МОРЕ

Это был энергичный, горячего темперамента человек, образованный, самоотверженный, гуманный, до мозга костей проникнутый идеей и преданный ей фанатически, чистый нравственно. Один из знавших его пишет: «...более честного человека мне не случалось встречать». На восточном побережье и на Сахалине он сделал себе блестящую карьеру в какие-нибудь пять лет, но...

А. П. Чехов, «Остров Сахалин»

Глава первая

ОХОТСКИЙ ТРАКТ

Среди редких берез раздавался перезвон колокольцев. Хлюпая копытами по болоту, по зарослям прошлогодней травы продвигался караван всадников. Впереди на низкой и толстой гнедой лошади ехал якут в халате из солдатского сукна, с ружьем за плечами и с ножом в деревянных ножнах. Несмотря на жару, он был в суконной шапке, подбитой мехом куницы. Там, где белый сухостой трав становился плотным, якут раздвигал его руками, подымая тучи мошки и комарья, а его гнедой конь с треском ломал дудки старых стеблей и втапывал их подковами в мокрую свежую зелень.

Следом ехал рослый молодой казачий урядник, сероглазый и скуластый, с редкими жесткими русыми усами. За ним старые и молодые якуты верхами вели одну за другой вьючных и запасных лошадей.

Это шел передовой отряд. Люди в нем были опытными проводниками по тайге. Сопровождая казенные караваны

и путешественников, не раз проходили они тысячеверстный путь от реки Лены через хребты к берегам Тихого океана и обратно с караванами пушнины и шкурами морских зверей, привезенными на судах в Охотск из Русской Америки. Но никогда еще ни одному из них за все время существования тропы не приходилось сопровождать такую важную особу, как в этот раз.

Бьюками везли одежду, теплые одеяла, ковры, палатки, консервы, ящики с винами, сахар, крупы и фрукты, поросят в клетке и живых баранов на крупах коней.

Урядник то и дело поглядывал на одну из лошадей, несшую на себе два длинных полуторааршинных ящика. Это был самый важный груз. В ящиках уложен, как называли господа, «несессер», или, попросту говоря, посуда. Урядник знал, что если эта посуда разобьется, то с ней вместе рухнет и вся его карьера, и никакими подвигами дела потом не поправишь. В ящиках находилось все, что нужно для того, чтобы накрыть стол на семь человек, привыкших жить в свое удовольствие. Там был даже всегда сверкавший самовар, который восхищал якутов своим устройством.

Тут же ехал господский повар Мартын, плотный мужчина со строгой мясистой физиономией. Отряд потому и шел впереди, чтобы повар успел, когда подъедут господа к месту привала, приготовить к обеду закуску, суп, рыбу, жаркое, сладкое. Один из казаков, опережая всех, добывал дичь. В селениях известно было, кто едет, встречали гостей свежей провизией, били последних кур, резали телят. Мартын считался в отряде важной персоной. Он ел с барского стола. Все знали, что повар получает жалованья шестьсот рублей серебром в год, куда больше, чем многие чиновники в Аяне, в Охотске и даже в Якутске. Поэтому в передовом отряде беспрекословно исполняли все его повеления.

Когда всадники поднялись по заболоченному склону на возвышенность, урядник оглянулся. Внизу, среди моря мертвых трав и редколесья, змеей залегла вытоптанная караваном тропа. А далеко-далеко — только очень зоркий глаз мог разглядеть — чуть виднелись какие-то белые острые предметы.

«Эвон сам-то!» — подумал урядник. — А ну, давай живей! — прикрикнул он на якутов и, хлестнув своего коня плеткой, поскакал, обгоняя караван, так, что грязь поле-

тела из-под копыт. Якуты защелкали языками и погнали лошадей. Караван быстро пошел на подъем. Начинались западные отроги хребта. За этими холмами далеким синим облаком всплыл Становой кряж, а где-то там, за ним, был океан.

Урядник осадил коня, осматривая мчавшиеся мимо вьюки. Он поскакал следом за огромной продолговатой коробкой из листового железа. Углы ее были закруглены. Она походила на громадный футляр для гитары.

— Ну! — пригрозив плетью лошади, несшей на себе этот предмет, воскликнул урядник. — Никак музыку таскать не привыкнет! Все ей чё-то мерещится... Н-но... Какая тебе зараза чудится?.. Гудит, что ли, в ей? Пошла... Ково бояться?

Верховые якуты с урядником и поваром и вьючные кони вытянулись вереницей, огибая полосатую стену из огромных, чуть позеленелых могучих белых берез и бурых лиственниц, над которой круто шел вверх кудрявый от леса склон сопки. Вскоре передовой отряд исчез.

Через полтора часа на эту же возвышенность поднимался второй отряд. Впереди ехал якут с седой бородкой клином, с черными глазами навывкате, белки их были желты и в кровавых прожилках. Конь его пег и лохмат. На плече у якута сидел сокол.

За ним следовал молодой якут с ружьем за плечами и с глиняным горшком на крупе лошади, на который положена кошма. В горшке дымились гнилушки, отгоняя мошку и комаров.

На белогубом вороном жеребце ехал плотный человек в плаще и в генеральской фуражке. Лицо его было прикрыто черной волосяной сеткой, а затылок и уши затянуты белым чехлом, надетым под фуражку.

Это Муравьев — генерал-губернатор Восточной Сибири. Он направлялся к морю, желая видеть весь свой великий край, а особенно Камчатку с ее превосходной Петропавловской гаванью.

Еще в прошлом, 1848 году Муравьев обещал государю, что побывает там. На Камчатку возлагались большие надежды. Россия владела побережьем Тихого океана на огромном протяжении, но не имела ни единого удобного порта. Жалкая тропа, по которой якуты вели караван губернатора, была единственным путем на океан. А на Камчатке — великолепная гавань. Пока об этом писали в рус-

ских газетах, в Петербурге не беспокоились. Но вот в «Таймсе» появилось несколько заметок об удобстве Авачинской бухты и о богатствах Берингова и Охотского морей, и царь повелел обратить особое внимание на Камчатку. Он приказал основать там центр русского могущества и влияния на Тихом океане. Муравьев понимал, что царь вовремя принял такое решение. По многим признакам англичане, как он полагал, могли со временем протянуть руки к этой драгоценности, которую Россия до сих пор как следует не берегла.

Еще чуть ли не сорок лет тому назад Крузенштерн, восхищаясь Авачей, писал: «...великое отдаление Камчатки не может, однако ж, быть... причиною, что оставляют ее в бедственном положении. Порт-Джексон в Новой Голландии, на переход к коему из Англии употребляется не менее пяти месяцев, невзирая на сие отдаление, сделан в двадцать лет из ничего цветущей колонией». Муравьев недавно перечитал Крузенштерна и подчеркнул эти слова. Видно, и царь знал эту книгу или хорошо помнил мнение покойного Крузенштерна.

«Камчатка должна быть цветущей страной!» — полагал губернатор.

Но Крузенштерн писал, что снабжать Камчатку надо из Петербурга! Конечно, это будет флоту слава и школа морякам. Но нужен еще и внутренний путь к ней. Ныне иные времена, не то, что при Крузенштерне. Тихий океан уже скоро не будет тихим. Без внутреннего пути мы не создадим процветающей Камчатки.

Выехав из Иркутска, губернатор проделал огромный путь на судах по Лене до Якутска и теперь на лошадях через хребты, леса и болота направлялся к берегу океана, в порт Охотск. По сути дела, тут не было никакой дороги. Теперь он сам это видел. Снабжение Камчатки по такой тропе не могло быть удовлетворительным. Каждый пуд груза поставлялся вьюком, с большими трудностями.

Была еще одна новая дорога из нового Аянского порта, которую в Якутске очень хвалил вызванный туда губернатором для свидания ее строитель Завойко, начальник Аянского порта и фактории Российско-американской компании, человек удивительно своеобразный и энергичный.

В Петербурге, в правлении Компании, довольны были этой новой дорогой и утверждали, что лучшего пути Рос-

спн и не надо желать на Востоке. Перевозка мехов, добытых на промыслах в Аляске, шла якобы по аянской дороге как нельзя лучше...

Муравьев соглашался, что аянская дорога, видимо, лучше этой охотской, которую он уже проклял в душе, и обратный путь намеревался совершить по той, чтобы увидеть ее и сравнить обе дороги.

Он знал, что необходимо получить право плаванья по реке Амуру. Только тогда вопрос будет решен радикально и окажется возможным снабжать Камчатку как следует. Но Амур и его устье не были известны. Это почти белое пятно на карте. На исследование устья Амура должен был идти капитан Невельской. Пока что об экспедиции нет никаких сведений. Невельской в прошлом году вышел в кругосветное плаванье из Кронштадта и предполагал весной быть на Камчатке. Чтобы передать Невельскому инструкцию и разрешение производить опись устьев Амура, послан был весной в Охотск из Иркутска любимец и близкий родственник губернатора, совсем еще молодой человек — штабс-капитан Корсаков. Но в Якутске губернатор получил от Корсакова письмо. Тот не вышел в море. Охотский порт был затерт льдами. Невельской не получил инструкции.

Муравьев надеялся, что сам встретит капитана Невельского после его путешествия и из первых уст узнает от него, что же с Амуром... И вот в то время, когда Муравьев начал осуществлять свои планы, в спину ему нанесен удар...

Конь ровной и быстрой рысью бежал по скользкой траве; Муравьев сидит привычно прямо, и только если хорошо знать его, можно догадаться по тому, как избоченился губернатор и как откинул голову чуть на сторону, что он думает с гневом о чем-то.

Путешествие началось как нельзя лучше. Оно было очень остроумно задумано Муравьевым и превосходно подготовлено. Предполагалось, что это будет не только патриотический подвиг, грандиозный осмотр владений и разгром чиновников во всех медвежьих углах, но и к тому же увеселительная прогулка. Муравьев умел совмещать полезное с приятным. Он любил путешествовать, смолоду прошел с русскими войсками многие дороги Балкан и Кавказа. Он бывал в Европе, хорошо знал Францию и умел с европейским комфортом пожить по-русски и с рус-

ским размахом. Оригинально совершить такое путешествие: Лена, Якутия, Охотск, проклипаемый всеми моряками, потом Тихий океан, Камчатка!..

Началось отлично, и все были веселы. Но вот в Якутске, когда губернатор однажды отдыхал в кругу своих, явился курьер из Иркутска. Он привез пакет от иркутского гражданского губернатора Зарина...

Муравьев нахмурился, взял пакет, извинился и по перекосенному дощатому полу прошел в кабинет.

— По Становому хребту! — ударив кулаком по столу, в бешенстве вскричал он за дверью.

В Иркутск по высочайшему повелению прибыла из Петербурга экспедиция под начальством подполковника Ахтэ для проведения границы там, где этой границы не было.

Это было совершенной неожиданностью. Муравьев ни о чем подобном не слыхал ни в Петербурге, ни в Иркутске. Все было подготовлено внезапно, и экспедиция свалилась как снег на голову. Очевидно было, что все это неспроста. Муравьев, сам служилый человек, знал, как делаются подобные дела. Царь, с большой неохотой согласившийся послать Невельского к устью Амура и подписавший своей рукой инструкцию на опись, ныне посылал новую экспедицию, чтобы, еще не зная результатов описи Невельского, окончательно отказаться от Приамурья, потерять права на него, лишить Россию великой реки, сделать бессмысленной морскую экспедицию «Байкала»... Одна и та же рука повелевала делать два дела, противоположные друг другу. Ясно, что тут интрига, подлая придворная интрига... Муравьев, догадывался, чьих это рук дело и к чему оно клонится.

Он успокоился и заходил по комнате, обдумывая ответ.

— Не желают ждать результатов исследований! Знают, зачем я уехал, так решили все провалить! Именно в то время, когда меня нет в Иркутске, когда я сам еду, чтобы выяснить все и все возможное сделать для возвращения Амура России... — так говорил он одному из своих спутников, молодому чиновнику Бернгардту Струве, сыну известного ученого и строителя Пулковской обсерватории. Этот белокурый молодой человек, огромного роста, с большими руками и крупным носом, недавно закончил императорский лицей и приехал в Иркутск служить к Муравьеву.

Губернатор был откровенен со Струве.

— Для англичан стараются они в Петербурге! Экая подлость!

Муравьев распорядился экспедицию Ахтэ задержать в Иркутске до своего возвращения. Вечером он надумал, что полковника Ахтэ и его инженеров надо либо убрать из Иркутска, либо чем-то занять, и решил отправить всех на время своего путешествия в горные районы Забайкалья на поиски золота и металлов.

Муравьев отлично понимал, что он делает, отдавая такой приказ. Это означало, что высочайшего повеления он не выполняет. Поэтому с тем же курьером Муравьев послал докладную записку на высочайшее имя с изложением причин, по которым экспедиция полковника Ахтэ задержана. Муравьев написал царю, что в видах будущего величия России рискует остановить экспедицию... Курьер с пакетами уехал на другой день вверх по Лене. Каков будет ответ и каково решение — неизвестно. С этим же курьером пошли и другие письма в Петербург.

И вот сейчас, сидя на якутском иноходце, губернатор мысленно переносился в Петербург. Глядя сквозь сетку из конского волоса, он видел не печальную весну севера, не леса и луга Сибири, а своих заклятых противников — канцлера России графа Нессельроде, его подручного Льва Сенявина...

Теперь на все время путешествия глубокая забота овладела Муравьевым, хотя по виду его почти никто об этом не догадывается. Ответа он не получит ни в Охотске, ни на Камчатке...

Все спутники понимали, что, приказав задержать экспедицию, посланную царем, и взяв на себя ответственность, генерал знал, что делал и на что надеялся.

Муравьев и в самом деле имел не одну сильную руку в Петербурге. Но все же он понимал, что могут быть неприятности, что с государем шутки плохи, и от этого настроение Муравьева было далеко не тем, с каким он пустился в путь. Он хотел исполнить волю царя, выказать рвение, отправляясь на Камчатку, а обстоятельства снова, уже не в первый раз, вынудили его стать ослушником...

Теперь он думал о том, что, если экспедицией Невельского будет доказано, что Амур судоходен, все обойдется. Быть не может, чтобы царь уволил губернатора, который

действует так патриотически.. Но если Амур на самом деле не имеет глубокого устья? На карту было поставлено все, и все зависело теперь от экспедиции Невельского.

А тропа пошла вверх, на совершенно безлесный холм. Караван подымался из душной, забитой мошкой травянистой долины на высокое место. Приятно подул ветерок...

«Молодцы, хорошее место выбрали!» — подумал Муравьев, завидя дым, стелющийся с вершины, и чувствуя, что проголодался. Кровь солдата и охотника заиграла в нем. Тяжелые мысли отступили. Увидев что-то белое, он решил, что полосой стелется дым. Но этот дым шумел и грохотал. «Да это поток...» — удивился Муравьев. Настоящий же дым стлался по болоту, в другую сторону. Тучи шли низко. «Вьюки», как называли передовой отряд, давно ждали. Костры пылали, и обед был готов. На траве были раскинуты широкие ковры.

— Дождь будет, ваше превосходительство! — приговаривал урядник, пытаясь помочь генералу слезть с лошади, но тот сам спрыгнул.

Глава вторая

ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ

Подошли две лошади, несшие гамак, в котором среди подушек полулежал человек в охотничьем костюме и в остроконечном белом капюшоне с сеткой на лице. Муравьев протянул руку. Подъехавший, опершись на нее, сложил вместе маленькие ноги, обутые в мягкие сапожки, и опустил на землю.

— Я, кажется, заранее согласна плакать от дыма! — тоном откровенного признания произнес по-французски веселый женский голос.— Только бы не москиты...

Обычно на дневных привалах обедать приходилось либо в дыму, который ел глаза, либо в сетке, приподымая ее каждый раз, когда подносишь ко рту кусок.

— Сегодня москитов отгоняет ветер, — отвечал Муравьев.— Место выбрано отлично. Ветер будет обдувать нас, и ты сможешь отдохнуть! Дым идет прочь, мы обедаем с наветренной стороны.. Да посмотри, какой вид! Не прелесть ли! — показал он на шумевший поток.

Рука в перчатке осторожно приподняла волосяную сетку. Большие глаза осмотрели воздух, желая видеть, не вьется ли вокруг мошка. Открылось очень молодое красивое белое лицо с крупными, но приятными чертами, с мягким овалом сильного и полного подбородка, окаймленное темными локонами, выбившимися из-под капюшона. Как-то странно было видеть среди вьюков и рыжих лошадей с завязанными в узлы хвостами этот профиль греческой богини.

Она взглянула вдаль, куда показывал Муравьев, удовлетворенно кивнула головой и улыбнулась.

Екатерина Николаевна, француженка родом, лишь три года тому назад приехала в Россию, чтобы выйти замуж за Муравьева. Они познакомились в Париже. Муравьев нравился парижанам. Но именно в те дни он писал брату в Россию, что Европа дряхла.

Екатерина Николаевна любила своего супруга. Она отправилась с ним в Сибирь, делила тяготы и опасности. Очень основательно подготовившись к путешествию, она и на биваках оставалась деятельной и умной хозяйкой.

Отправляясь из Иркутска на Камчатку, Екатерина Николаевна представляла, куда она едет, и знала, что дорога будет очень трудной, но интересной. Путешествие от Якутска, несмотря на все удобства, оказалось гораздо тяжелей, чем можно было себе представить, и на первых порах она очень утомлялась...

— Чаще чередуй седло и гамак и, верь мне, будешь чувствовать себя великолепно, — твердил ей муж. И она слушалась...

...Капюшон полетел на спину, губернаторша, расстегнув куртку, улыбаясь и подымая лицо, с наслаждением открыла свежащему ветру шею, радуясь, что может освободиться от душного колпака и что нет мошки. Она смотрела вперед на синеющий хребет за рекой, который явился вдруг, как чудо, в этом плоском краю болот... Да, вид действительно прекрасен!

Подъехал всадник в костюме, спитом, как нетрудно было заметить, рукой опытного мастера, с отделкой мехом по косому расхлесту куртки, как это делают тунгусы. Он сидел в деревянном седле, похожем на кресло. Всадник бросил книгу в опустевший гамак губернаторши, потом легко и мягко спрыгнул с коня, спружинив сжатые

ноги, и быстро отбросил капюшон, открывая пышную голову в светлых, падающих на плечи локонах.

Это была известная виолончелистка Элиз Христиани... В позапрошлом году она с успехом выступала в Петербурге, в Москве и в провинции. Прошлой зимой отважилась отправиться в Тобольск, там узнала, что жена иркутского генерал-губернатора, француженка, поехала в Иркутск. В столице Восточной Сибири ее приняли прекрасно. Теперь она ехала вместе с Муравьевыми.

— О, маленький генерал, мой мучитель... — раздался очень низкий, почти мужской голос.

Этот густой, низкий контральто не шел к ее юному, свежему лицу, к черным, полным живости глазам.

Элиз нравились русские. Нигде не встречала она такой отзывчивой аудитории — «пылкой, покорной и чувствительной», как говорил Берлиоз, гастролировавший в одно время с ней в Петербурге. Отзывчивую публику встретила она и в Тобольске и в Иркутске.

Муравьевы предложили ей путешествие на Камчатку в качестве компаньонки Екатерины Николаевны. Элиз охотно согласилась, она только очень беспокоилась за свой страдивариус, но Муравьев пообещал, что футляр будет сделан из железа. Он написал в Петербург, выхлопотал Элиз разрешение на путешествие.

У Элиз черные брови; она в костюме юной тунгуски, с прической «а-ля Жорж Санд», в белом кружевном воротнике.

— Это ваши Альпы, маленький генерал? — спросила она по-французски, показывая вдаль.

Она держалась с губернатором несколько фамильярно.

— Когда же подыдемся на них? Я мечтаю видеть это болото сверху... — И она сделала широкий жест рукой.

Кругом действительно было сплошное болото.

А небо было чистое-чистое, высокое, зелено-голубое...

Подожел Струве. Тонким голоском, который тоже не шел к его сильной и крупной фигуре, он доложил, что все готово.

Екатерина Николаевна, разговаривая с Элиз, прошла мимо, как бы не замечая Струве. На то были свои причины. В этом маленьком обществе было все то, что должно быть во всяком хорошем обществе. У каждого свои симпатии и своя неприязнь.

Екатерина Николаевна с детства ездила верхом и считалась хорошей наездницей, но после первого перехода на лошадях по Охотскому тракту она была совершенно разбита и днем на остановке просила мужа раскинуть палатку и дать ей отдых.

Эта просьба Муравьеву не понравилась. Он перед отправлением из Якутска предупреждал дам, что все должны подчиняться правилам, составленным на время путешествия.

— Разговаривай со Струве, он назначен начальником экспедиции, и я сам подчиняюсь ему, — ответил жене губернатор, взглянув строго на Струве.

Через некоторое время Струве подошел к губернатору. Муравьев с проводниками стоял у якутских лошадей.

— Как быть? — спросил Струве. — Екатерина Николаевна просит разбить палатку, а по данной мне инструкции в настоящем пункте дневка не предусмотрена.

— Вы начальник экспедиции и решайте все сами, — ответил Муравьев и дал знак, чтобы якут поднял и показал копыто иноходца... — Не надо позволять ей раскидать, — добавил генерал.

Возвратившись на бивак, Струве своим топким голосом твердо объявил Екатерине Николаевне, что в этом пункте не предусмотрено разбивать палатки, поэтому сделать ничего не может.

И Струве не удержался от удовольствия взглянуть на молодую губернаторшу с чувством превосходства, очень гордясь тем, что перед всеми поставил себя в такое выгодное положение. В то же время этой же самой строгостью и даже своей педантичностью он угождал и губернатору, а губернаторше старался помочь закалиться, привыкнуть к седлу. Он чувствовал себя в этот миг строгим доктором, чья суровость на пользу больному.

Когда Муравьев возвратился на бивак, Екатерина Николаевна пыталась объяснить, что измучена дорогой, и вдруг, не выдержав, расплакалась.

Он несколько смутился, но стал уверять, что отдыхать не следует.

— И нельзя и не надо. Ты будешь совершенно разбита, я это знаю по собственному опыту... Я тебе желаю добра. Поверь мне, перетерпи первые дни и привыкнешь... Кроме того, — видя, что она очень обижена, добавил он таким же тоном, каким говорил с ней Струве, — я не могу

приказать. Ты знаешь, что я вверил Струве командование экспедицией...

Екатерина Николаевна, вытерев слезы, взглянула на мужа с удивлением. Впервые в жизни она почувствовала себя подчиненной казенному делу. Казалось, вокруг не люди, а ходячие правила... Оставалось сесть на коня и ехать назло всем. И она поехала. «Как несчастны должны быть люди, которые слепо зависят от правил,— думала она.— И разве нельзя сделать исключения?»

Окружающим казалось, губернаторша смирилась и как будто все шло очень хорошо, но дело испортил сам губернатор. На другой день, поздно вечером, оставшись в палатке наедине со своей супругой, он, желая, видимо, ее утешить, сказал, что, конечно, Струве, если бы захотел, мог поставить палатку...

После этого Екатерина Николаевна стала холодна с начальником экспедиции.

...Под обрывом, там, где, роясь в огромных камнях, журчала река, виднелись козы на скалах. Множество уток и гусей носилось в воздухе. Якуты и казаки охотились, слышны были их выстрелы. Муравьев несколько раз приказывал подавать себе ружье.

Урядник принес убитого олененка.

Стреноженные кони паслись на лугу, который, как видно, кошен был ежегодно кем-то из ближних жителей, и поэтому свежая трава не перемешивалась со старой, прошлогодней, хотя вокруг не было видно ни жилья, ни дыма.

За обедом Муравьев сказал Элиз с напускной серьезностью, что один богатый русский князь в Охотске давно ищет случая жениться на знаменитой иностранке. Элиз отшучивалась, но насмешки генерала ей не нравились. Она, в свою очередь, поддразнивала губернатора, называя маленьким генералом и сибирским Наполеоном.

Элиз была интересной собеседницей и превосходной рассказчицей. Ей было двадцать лет, но она объездила почти всю Европу, была знакома со многими знаменитыми артистами, писателями, политическими деятелями. Здесь, на охотском болоте, со своим остроумцем и живостью и со своими рассказами о Европе она была очень кстати для спутников.

Вскоре все поднялись и снова надели капюшоны. Посвежевший, отдохнувший Муравьев верхом на белогубом

жеребце тронулся за проводниками. За ним ехали женщины, чиновники, офицеры и казаки.

Поручик Ваганов, молодой сибиряк саженного роста, и доктор Штубендорф ехали позади дам. Ваганов был известен своим бесстрашием, он участвовал в экспедиции академика Миддендорфа и даже доходил до той мифической страны гиляков, где ныне должен находиться Нельской.

Караван подошел к тайге. Лес казался мертвым... Темные стволы и громадные ветви лиственниц и белоствольные березы только чуть зазеленели. В эту раннюю пору молодая хвоя на лиственницах была еще очень бледной и слабой, ее даже не видно, но она так обильна, что лес, кажется, тонет в зеленом прозрачном тумане, сквозь который видны и дальние и ближние стволы, и черные шершавые ветви лиственниц.

Ночевали в тайге. Вблизи не было ни реки, ни озера. Вокруг — глухая чаща, окутанная бородами лишайниками, как ветхими неводами. Из цельных сухих лесов зажгли огромные костры, вокруг которых расставлены были палатки. Двое вооруженных казаков всю ночь вслушивались в тишину...

Когда укладывались спать, где-то далеко послышались глухие удары. Муравьев вышел из палатки.

— Кто это дерево рубит? — спросил он пожилого казака.

— Гаврюха, ваше превосходительство.

— Какой Гаврюха?

— Бродяга, ваше превосходительство, беглый... Из Охотска тут бегут.

Муравьев задумался.

«Страшной, таинственной жизнью живет тайга», — подумал он.

— Наш генерал — бывалый воин, — говорил тем временем Струве, укладываясь в другой палатке рядом со своим приятелем Юлием Штубендорфом.

Доктор был старше и не так удачно делал карьеру, как Струве. Он вспомнил в этот вечер свою юность, профессора Крузэ, у которого Струве жил в Дерпте. Штубендорф часто бывал в этой семье. Профессор Крузэ пил по утрам парное молоко и того же требовал от студентов.

— Ах, Берни, — сказал доктор Юлий, тщательно подгибая под себя кромку одеда, — молочницы, наши молоч-

ницы! Их вспомнишь, Берни, когда увидишь руки якуток!

Воспоминания о доме профессора Крузэ и молочницах очень тронули Струве. Приятели, изъеденные комарами, измученные и избитые в седлах, размечтались. Они перенеслись в Дерпт, туда, где много докторов, аптекарей, молочниц, аккуратных стариков и старушек, с утра подметающих улицы и тротуары, где очень легко и удобно жить, но очень трудно заработать и негде делать карьеру.

— Ах, юность! — натягивая одеяло, вздохнул Штубендорф.

— О, юность! — повторил Струве. — Но здесь мы в отличном положении и задаем всему тон. — Через некоторое время Струве снова поднял голову. — Вместе с генералом я встречал Новый год! — сказал он и, счастливый, уткнул голову в подушку.

Глава третья

У ОКЕАНА

Караван поднимался на вершину хребта через леса и завалы камней, окутанные глубоким покровом мха, который мягкими волнами застилал и пни, и упавшие деревья.

Вскоре лес кончился. Вокруг, среди скал, была тундра. Караван взошел на перевал. Открылся светлый простор, повсюду рвались к небу вершины гор. Между ними проплывали облака... Солнце еще не всходило, и огромный купол неба до половины был в столбах красной пыли, словно горны пылали за горизонтом. На земле была тундра, а небо казалось южным, жарким.

Солнце появилось, когда караван стал спускаться с перевала. Тут уже не было тех вековых лесов, что на западном склоне. Деревья чахли от жестоких ветров: почувствовалась близость Охотского моря, в воздухе стало прохладней...

Через три дня, вблизи последней почтовой станции, на берегу реки Кухтуй, губернатора и его свиту встретила группа морских офицеров во главе с начальником Охотского порта Вонлярляским.

Это был сухой старик с сизым носом и лиловыми щеками, в мундире капитана второго ранга при орденах, в фу-

ражке с лакированным козырьком. Он быстро оттрапоровал и потом многословно отвечал на вопросы губернатора.

Оказалось, что транспорт «Иртыш» прибыл благополучно с грузом из Камчатки и через два дня разгрузится и будет готов к плаванию в Петропавловск под флагом генерал-губернатора. С этим транспортом получены сведения о «Байкале». Невельской благополучно прибыл в Петропавловск из кругосветного и, не дождавшись инструкции и не желая терять время, перегрузил все на «Иртыш», а сам на «Байкале» 13 июля ушел на опись. Штабс-капитан Корсаков на боте «Кадьяк» ушел в море, надеясь встретить «Байкал» в Курильском проливе, но, как теперь известно, это вряд ли удастся, так как «Байкал» прошел давно... Ни о «Кадьяке», ни о «Байкале» больше нет никаких сведений...

— У Невельского все оказалось в полном порядке...

«Он так и сделал, как говорил», — с благодарностью подумал Муравьев.

За деревьями заблестела вода. Десяток матросов выстроился у избы.

Через несколько часов река вынесла лодки на широкую воду. Это Охотская бухта, вернее, озеро, образованное рекой и служившее бухтой. За ней валом залегла голая коса, отделяющая бухту от моря. На этой полосе из гальки чернели дома Охотска. Высилась деревянная башня адмиралтейства и такая же церковь, сарай для рыбы и вешала. Едва лодки вошли в бухту, как с низкой бревенчатой батареи, похожей на сарай, раздались пушечные выстрелы. Одинокий «Иртыш» с голыми мачтами стоял среди песков близ прохода в море, в глубоком затоне, вырытом для кораблей.

Вид был печальный, и чувствовалось, что жизнь тут скудна и сурова.

— Как ужасно обеднели русские князья Охотска, — чуть слышно заметила Элиз.

Вонлярлярский, знавший по-французски, любезно улыбнулся, хотя такое замечание его встревожило и он не знал, как его понимать.

А за низким бревенчатым Охотском шумел и грохотал прозрачный светло-зеленый океан. Его водяные горы то вздымались, то исчезали вдали за кошкой.

Наступил отлив, бухта обмелела, стоявшая в ней баржа лежала на боку.

На другой день Муравьев побывал в казармах, на эллинге, в церкви, на батарее и в тюрьме. Эллинг был нов. Вонлярлярский в этом году перестроил его. «Но порт никуда не годится,—думал губернатор.— Все здания — гниль...»

Вечером губернатор и начальник порта сидели в адмиралтействе, в кабинете с облупившейся штукатуркой. Ветер мел песок по косе и горстями бросал в дребезжавшие стекла...

Вонлярлярский рассказывал про своеволие иностранцев в здешних морях, они теперь изобрели новый доход — рубят лес на побережье и увозят на Гавайские острова.

— Да как же вы допускаете это?

— А что мы можем сделать им? — в тон ему ответил старик.— У меня судов нет! А толковать с ними бесполезно. У американцев есть уверенность, что, где хорошая пожива, там им и родина. Правительство Штатов не раз подтверждало права нашей Компании, но само, видимо, бессильно удержать своих шкиперов...

Как это часто бывает с людьми, которые долго прожили в глуши, Вонлярлярский старался все свои мысли и наблюдения выложить губернатору.

«После путешествия представлю государю полную картину здешних мест»,— думал Муравьев.

Вонлярлярский производил на Муравьева впечатление человека умного и дельного, но слишком увлекающегося своими фантазиями. Он, например, уверял Муравьева, что у него есть верный план, как принудить Японию открыть свои порты для торговли с европейцами и как открыть северо-западный проход у берегов Америки.

На другой день в порту раздалась пушечная пальба. На «Иртыше» закончили выгрузку и подняли флаг генерал-губернатора. В прилив судно вышло из бассейна в бухту и через узкий пролив — в море и встало на рейде. На судно прибыл Муравьев со своими спутниками.

В капитанской каюте дамы устроились очень удобно; с расчетливостью опытных путешественниц они воспользовались каждым дюймо́м пространства. С собой было все необходимое в пути — от меховых курток, маленьких ручных фонарей со свечами и особой одежды из непромокаемой американской материи до ковров, модных дорожных туалетов и романов Сю и Поль де Кока. В салоне для занятий губернатора — маленький стол, бумаги.

Мужская прислуга — повар и камердинер Мартын — рядом в маленькой каютке. На судне — запас льда, дичь, всевозможные вина, живые куры, бараны, быки...

На заре пушки снова салютовали кораблю, уходящему в плаванье.

Муравьев стоял на полуюте, покусывая светлый ус. «Это насмешка, а не порт!» — ворчал он.

Струве подтвердил мнение губернатора, поклонившись и слегка шаркнув ногой. Он давно был лишен этого удовольствия. Ни на Охотском тракте, где в зимовьях полов не было, ни в самом Охотске, где все полы перекосило, нельзя было шаркнуть ногой как следует. Только теперь, на гладкой, сверкающей палубе корабля, Струве отводил душу.

Мимо поплыли, залитые отблесками зари, красные песчаные дюны по обе стороны пролива, где река Кухтуй, прорывая Охотскую косу, впадала в море. Матросы, в большинстве пожилые люди, работали быстро, с испугом поглядывая на полуют, где стоял губернатор.

«Вот и океан! Мы входим в него!» — думал Муравьев.

Он вспомнил слова Невельского о том, что Охотское море большую часть года забито льдами, но что, действуя отсюда, надо открыть южные гавани, из которых будет путь во все страны, в Китай, Индию, Америку.

...Хлопнул фок и заполоскал. Судно качнулось, и в то же время раздался сильный глухой удар. Калитан «Иртыша», коротконогий толстячок Поплонский, побледнел и оттолкнул рулевого. По всему судну поднялась беготня. «Иртыш» заносило носом и валило на банку. Удар следовал за ударом.

— Какой скандал! — с возмущением шепнул Струве на ухо доктору Штубендорфу.

Муравьев, заложив палец за пуговицу мундира под петлю, был нем и неподвижен.

«Вот теперь я действительно могу сказать государю, — подумал он, — что я там сам был и сам все видел и даже испытал, каков выход из Охотской бухты».

Якорь отдали неудачно. Судно нанесло на него, и обшивку драло о лапу якоря. Ветер с моря крепчал.

Через полчаса на судно прибыл Вонлярлярский.

— Сейчас же людей и шлюпки из порта! — заревел он. — Парфентьева сюда! Самый лучший лоцман тут у нас казак Парфентьев, — объяснил он губернатору.

На судно явился ражий детина, высокий, белобрысый. У него широкие скулы, как у тунгуса, и красные толстые уши с большими мочками.

Екатерина Николаевна и Элиз, обе закутанные и озабоченные, съехали на берег вместе с начальником порта. Вонлярлярский, проводив их, вернулся.

Весь день и всю ночь шла работа. Судно пытались стянуть с мели, но «Иртыш» не двигался. Началась разгрузка...

— Крепко сели! — говорил лоцман.

Теперь уж Муравьев не радовался, что сам все видит, а думал, как бы сняться с мели. Временами приходило на ум, к добру ли затеял он это путешествие.

А ветер налетал холодный. На заре Муравьев мерз, но, не желая показать вида, шинель не надевал. Изредка лишь спускался он в свою каюту, где у него был ромок. «Сам господь присудил сидеть губернатору на мели, чтобы знал, каково тут людям». Он выпил целый стакан. «Черт побери, что же все-таки дальше? Если судно придется чинить, что я в Петербург отпишу? Пропадет лето! И это главный русский порт!»

Наверху поднялся отчаянный крик, все затрещало, заскрипели переборки кают, залазгали лебедки и якорная цепь, непрерывно слышалась брань. Судно тяжело зашуршало по грунту и вдруг закачалось тихо и легко, и сразу же наверху послышались повеселевшие голоса.

— Сошли, слава богу! — сбегав по трапу, доложил Вонлярлярский.

«Иртыш» возвратился в порт. На другой день, когда его снова загрузили, прибыли Екатерина Николаевна, мадемуазель Христиани и доктор. Дамы были веселы. На берегу их приняли прекрасно, и они вполне отдохнули.

На этот раз салютов не было и паруса не поднимали. Через мели и бар прошли при большой воде на буксире портовых шлюпок, которыми командовал сам Вонлярлярский. Лишь выйдя в открытое море, поставили фок, грот и марсея. Ветер дул попутный. Через два часа материк исчез в тумане, а городок все еще виднелся. Казалось, Охотск поднялся на своей кошке выше горизонта и плывет над сумрачным морем, где-то среди низких, похожих на косы облаков. Подул ветер, и океан стал покачивать маленькое судно. «Никуда не годен этот Охотск!» — думал Муравьев.

Через двадцать один день тяжелого плавания «Иртыш» подошел к Камчатке. Вдали на огромной высоте чуть видны два бледных прозрачных конуса. Косые линии их склонов, опускаясь, исчезают в воздухе. Кажется, что две конусообразные вершины отрублены от гор и плывут в чистом небе, как слабые перистые облака. Слева, в небе, еще один такой же ледяной конус.

— Поразительный вид,— говорит Муравьев.

Море шумит мерно и глухо...

Скалы расступились, впустив корабль в глубь страны. Как чудом, появились проливы, хребты почтительно сторонились перед губернаторским кораблем, открывая водяные зеркала ослепительной голубизны. «Иртыш» смело стремился вперед и наконец вошел в бухту, на берегу которой, как в укромном уголке, отгороженном от моря несколькими цепями гор, приютился Петропавловск.

«Наконец-то я сюда добрался, где еще никто из губернаторов не бывал!» — думал Муравьев, стоя рядом с женой у борта.

С берега загрохотали салюты.

Властный и меткий взгляд чуть прищуренных глаз губернатора устремлен на берег.

«Вот она, Камчатка, один из самых отдаленнейших и глухих уголков империи!»

Под красным околышем генеральской фуражки теплый ветер шевелит чуть рыжеватые темные бакенбарды.

На гладкой поверхности залива стоят лодки и небольшие суда; правей через всю бухту протянулась тонкая белоснежная кошка с сараями для рыбы. На берегу убогие домики. Элиз заметила, что ни ферм, ни стада коров, ни других признаков крестьянского достатка не видно.

Муравьев смотрел на все по-другому. Он имел счастливую способность видеть не то, что есть, а то, что должно быть. «Если видеть то, что есть,— полагал он,— в России мало на что смотреть захочется. Это Гоголем надо быть».

Он так и ответил:

— Это дело Гоголя, а не мое!

— Какого Гоголя? — спросила Элиз серьезно.

Екатерина Николаевна объяснила ей суть шутки, и она, улыбнувшись, закивала головой.

Элиз не очень это понравилось, но она улыбнулась, зная, что надо считаться с обычаями страны, по которой путешествуешь, но все же пейзаж без лугов, без скота, без садов, без огородов ужасен.

Губернатора даже радовала разруха, видимая на берегу. Было тут все для доказательства, что при предыдущем управлении царил беспорядок. Кажется, все есть, что надо для контраста с будущим. А вот когда тут построим порт, город, крепость...

К борту подошел на катере начальник Камчатки капитан второго ранга Машин. Рядом с ним спокойно, словно это торжество не касалось его, сидел коренастый, широкоплечий священник.

— Архиепископ Иннокентий, — тихо и многозначительно сказал жене губернатор, сразу догадавшись, кто приехал.

Архиепископ привычно схватился за поручни и, несмотря на кажущуюся грузность, уверенно и быстро поднялся на палубу.

Муравьев много слышал о нем. Это был знаменитый миссионер, архиепископ алеутский и курильский. По остроумному выражению одного из английских путешественников, епархия Иннокентия была самой обширнейшей в мире. В нее входил весь север Тихого океана с Беринговым и Охотским морями и со множеством островов, а также вся Аляска, Камчатка, Охотское побережье, Чукотский полуостров и Курильские острова.

Муравьев, изобразив на своем лице глубочайшую почтительность, подошел к нему вместе с Екатериной Николаевной.

Иннокентий — рослый, плотный, с суровым и даже жестким выражением круглого, тучного лица, с пушистой окладистой бородой; глаза у него маленькие и колючие, губы тонкие, спина широкая, крепкие руки.

Муравьев склонил под благословение свою чуть лысеющую голову.

Иннокентий перекрестил губернатора и дал поцеловать свою руку. Колючее выражение его глаз смягчилось. Он встречал молодого губернатора с опаской и настороженностью, предполагая, что, быть может, нападет на без-

божника, каких немало ныне. Но Муравьев был серьезен и почителен.

— С благополучным прибытием, ваше превосходительство! — молвил Иннокентий. — Во имя отца и сына и святого духа...

Он благословил Екатерину Николаевну, свиту губернатора и всех прибывших на корабле...

Элиз почтительно поклонилась, приседая.

Невысокий седой Машин стал громко рапортовать губернатору...

Сибиряк, родом из-под Иркутска, из «простых», мужик в рясе, смолоду уехавший на Аляску и пробивший себе путь в люди крещением индейцев, Иннокентий изучал языки народов, среди которых проповедовал, составил словарь и грамматику алеутского языка. Он был и слесарь, и столяр, и плотник, уважение индейцев и алеутов заслуживал тем, что сначала учил их ремеслам, а уж потом крестил. Путешествуя с острова на остров, Иннокентий привык к морю. Зная хорошо математику и астрономию, он изучил и навигацию, и парусное дело.

Однажды, при переходе через океан из одной части своей епархии в другую, Иннокентий попал в сильный шторм. Погиб шкипер. Иннокентий взял на себя управление судном, командовал матросами и благополучно привел корабль на Курильские острова.

Но за последние годы дела в колониях сильно не нравились Иннокентию. Все чаще приезжали сюда служащие, не подходившие под благословение православных священников. Почти вся администрация Компании состояла из лютеран. Засилье немцев епископ чувствовал всюду. Он видел, к чему идет Компания, но не мог взять в толк, откуда ветер дует. Он видел, что колониям нет внимания, промыслы не расшпряются, как следовало бы, земли не заселяются, хотя на епархию кое-какие средства отпускались и строились новые храмы. Он лишь смутно догадывался, что в Петербурге не хотят развития русских земель в Америке. Все это было так неприятно Иннокентию, что на старости лет он хотел уехать с Аляски на материк.

Ему радостно было видеть, что новый генерал-губернатор почителен и радушен. Иннокентий сразу почувствовал в нем своего союзника.

Муравьев пригласил Иннокентия и Машина вниз, в салон при капитанской каюте.

Машин отвечал на расспросы Муравьева.

— «Байкал» прибыл как раз вовремя, ваше превосходительство, и привез товары лучшего качества... Камчатка спасена от голода.

Машин стал, волнуясь, жаловаться губернатору, что, если бы не «Байкал», положение было бы ужасным, снабжение Камчатки поставлено из рук вон плохо, подвоза из Охотска нет...

Теперь, когда Муравьев сам проехал Охотским трактом и видел, как там кони вязли, калечили ноги, их приходилось пристреливать, как на целые десятки верст по болотам уложены бревна и жерди и как эти перегнившие жерди ломаются под ногами лошадей, как сотни верст вьется тропа, теряясь то в траве, то в чаще, то в камнях... А от этой жалкой тропы зависит жизнь в Петропавловске... Муравьев вспомнил про свое желание превратить Петропавловск в военный порт, и ему вдруг стало неловко.

Но он умел подавлять такие чувства в самом зародыше... К тому же он был гордый человек. «Я все сделаю!» — всегда говорил он себе и верил, что нет таких препятствий на свете, которых он не преодолел бы. Ведь развиваются же и процветают заокеанские колонии у европейских держав!

«Амур решит тут все...»

Сейчас Муравьев чувствовал, как верен его расчет.

Машин хвалил Невельского:

— Ушел в море без инструкции...

— Я послал с инструкцией штабс-капитана Корсакова, — ответил Муравьев, но он задержан был льдами в Охотске и не мог прийти вовремя. Теперь Корсаков в плаванье, ищет Невельского в море, чтобы передать ему инструкцию.

Иннокентий с большим вниманием слушал все эти разговоры. Ему очень приятно было, что генерал-губернатор все время обращается к нему, говоря о важнейших делах...

Сам Иннокентий не видел Невельского и сказать о нем ничего не мог, но экспедицией весьма заинтересовался и восхищен был действиями губернатора.

Машин стал говорить, что своего хлеба на Камчатке

нет, хотя земля родит, но беда в том, что местные богатцы, от которых зависит все население, в своем хлебе не нуждаются. Требуют хлеба от казны или от Компании, а последние годы находят выгодным покупать его на шкунах у иностранцев, своих же должников гоняют ради выгоды в тайгу за пушшиной и не думают заводить хлебопашество, к которому те непривычны, или, вернее сказать, которого совершенно не знают. Камчатка дика, как сто лет тому назад.

За чаем Иннокентий спросил Екатерину Николаевну, как она перенесла тяжелое морское путешествие. Элиз, возводя взор к потолку, сидела не шелохнувшись, с тем кротким видом, который напускают на себя бойкие молоденькие артистки, играя монахинь. Как раз этот вид очень понравился старому священнику. «Какая красивая и молодая, а смиренная»,— думал он. Епископ, в свою очередь, очень понравился француженке. Ей всегда казалось, что такие лица бывают только у людей по-настоящему мужественных.

Иннокентий погостил недолго. Он стал подыматься, подбирая парадную, шелестящую рясу. Муравьев заметил, что рад был бы побеседовать с ним поподробней и посоветоваться о делах. Но епископ не спешил высказывать свои соображения. Он знал, какие расспросы начнутся. При всей своей симпатии к Муравьеву он полагал, что пусть-ка он живет своим умом. Иннокентий не был любителем откровенных разговоров. Он берег свое слово и показывал всегда, что в мирские дела не путается.

Екатерина Николаевна просила миссионера задержаться; в свою очередь, и Элиз, осмелев, на ломаном русском языке обратилась к епископу, но тот отвечал всем любезно и твердо, что должен отправляться.

Муравьев вышел на палубу проводить его. Иннокентий благословил губернатора у трапа.

— Еще увидимся и поговоримся,— ласково сказал он.— Поеду приготовиться к встрече дорогих гостей.

Муравьев чувствовал, что Иннокентий молчалив и уклончив, но дела с ним пойдут на лад.

Машин хотел отправить Иннокентия на катере, но губернатор приказал капитану подать свою шлюпку и гребцов. Матросы кинулись к трапу и помогли спуститься епископу. Раздалась команда, лихие гребцы налегли на весла, и шлюпка помчалась.

Губернатор без фуражки стоял у борта, глядя вслед слегка кивавшему головой епископу. Когда шляпка отошла на порядочное расстояние, он надел фуражку и, резко повернувшись к Поплонскому, приказал:

— Отсалютуйте его преосвященству девятью выстрелами...

Когда-то в Абхазии, управляя областью, он покориł сердце одного влиятельного местного князя тем, что приказал в день рождения его сына сделать сто один пушечный выстрел. Это превышало все салюты, про которые когда-либо слышал абхазец. Так еще никто не чувствовал и не восхвалял абхазца, и вообще на Кавказе не слышно было подобных случаев. «Иннокентий, конечно, не абхазский князь, — полагал Муравьев. — Тут нельзя переборщить...»

Муравьев искренне уважал Иннокентия и считал его деятельность геройской, а все путешествия — подвигами. Но, кроме того, у него, как всегда и во всем, что он делал, был свой расчет. Он знал, что Иннокентий лицо очень влиятельное, и в будущем он мог весьма пригодиться Муравьеву. Губернатор полагал, что по заслугам Иннокентию следует стать одним из самых высших духовных лиц во всей России. Он прекрасно понимал, как велика разница между этим человеком и теми попомичинниками, что сидят в Москве и в Петербурге в синоде... И Муравьев еще надеялся видеть Иннокентия своим союзником не только тут...

Грянул первый выстрел, и дым закружился над водой.

Иннокентий в это время уж подходил в шляпке к берегу. Он не сразу сообразил, почему палят. Как только губернатор отошел от борта, не стало необходимости туда смотреть, и епископ принял свой обычный вид глубокой задумчивости, который был свойствен ему с ранней юности, что не мешало ему в делах проявлять и быстроту и энергию. Вид Элиз напомнил ему, что сын его Гаврила вырос, что пора его женить, иначе ему нельзя получить прихода, что скоро Гаврила поедет в Москву, где обещают ему найти невесту.

Потом он снова мысленно вернулся к губернатору. Иннокентий был очень подозрителен и недоверчив. «Но, — думал он, — Муравьев человек дельный». Он в это верил, ему самому хотелось давно, чтобы новый губернатор оказался таким.

Понравилась Иннокентию и скромная жена его, благородная, любезная и ласковая... Иннокентий знал, что часто о подлинном отношении мужа к гостю можно узнать по обходительности его жены, по ее взору, по ее доверчивости или настороженности...

Выросший в сибирской полукаторжной деревне, учившийся в семинарии, а потом проживший много лет среди индейцев и алеутов, человек, привыкший к грубой жизни и грубым нравам, он очень ценил обходительность и любезность, которые случалось видеть ему редко. Также нравились ему и красивые женщины, и он желал, чтобы сын его Гаврила привез бы из Москвы красивую и образованную жену.

В Ново-Архангельске тоже были весьма почтительны к Иннокентию, но он не верил, что немцы и финны, понаехавшие туда с тех пор, как главным правителем стал лютеранин, уважают его искренне.

Вдруг раздался выстрел, Иннокентий встревожился. Он стал всматриваться. Раздался второй выстрел... И через ровный промежуток третий.

— Салютуют, ваше преосвященство! — торжественно сказал унтер-офицер, сидевший у руля. — Вам, ваше преосвященство!..

— Боже, прости меня грешного! — пролепетал Иннокентий, чувствуя, что радость от таких почестей начинает овладевать всем его существом.

И чем дольше гремели орудия, тем сильнее чувствовал старик эту горячую радость... Всего прогремело девять выстрелов...

Весь город видел и слышал, какое уважение выказал Иннокентию новый губернатор.

«Не мне, боже, салютуют, а церкви твоей», — мысленно твердил Иннокентий.

Смел ли он думать когда-нибудь, что в честь его грянет салют с военного корабля, на котором приехал сам генерал-губернатор всей Восточной Сибири? Он вспомнил, как учился, как потом был кладовщиком в Иркутской семинарии и когда-то, еще до ученья, ему отказали в месте пономаря в деревенской церкви, а потом за все годы ученья в семинарии ни разу не ел он хлеба без мякны. И вдруг губернатор, которого нет выше во всей Сибири, на которого прежде со страхом и робостью смотрел бы Иннокентий, не какой-нибудь компанейский шкипер, а

генерал, кавалер орденов, любимец государя, приказывает палить ради него из пушек! Это была великая честь.

Иннокентий сошел на берег и, как всегда, суровый и молчаливый, зашагал к камчатскому попу, своему родственнику, у которого, приезжая в Петропавловск, всегда останавливался.

А в городе уже все знали, что палили в честь епископа. Родные встретили его с восторгом...

Иннокентий молчал, как бы показывая, что все это суета, не заслуживающая внимания, по всякий раз, когда поминали в разговоре губернатора, ему было приятно. Генерал так польстил, так утешил, так смягчил его душу, что отныне он чувствовал — будет приятен ему Муравьев. Что ни будь, но уж этого никогда, никогда Иннокентий не забудет...

Глава пятая

АВАЧИНСКАЯ ГУБА

— Вот вам бухта,— говорил Муравьев, стоя на склоне горы и показывая вниз, на широко расстилавшуюся яркосинюю гладь воды,— равной которой я не знаю в Европе, а быть может, и в целом мире. Теперь, когда я побывал здесь, я понимаю, почему англичане обратили такое внимание на Петропавловск! Да это драгоценнейшая жемчужина! А вот вам, Ростислав Григорьевич, неприступные, самой природой возведенные укрепления! — поднял руку губернатор, показывая на каменные, крутые гребни низких гор, грядой залегших вдоль громадной Авачинской губы.— Мы с вами должны готовиться здесь к войне заранее, укрепить подступы к городу, закрыть врагу путь, не позволить его кораблям обойти Сигнальный мыс и проникнуть во внутреннюю гавань. Надо здесь так встретить англичан, чтобы они навсегда запомнили...

Оставив Екатерину Николаевну и мадемуазель Христиани в обществе жены Машина, чиновниц и Иннокентия, губернатор с начальником порта осматривал окрестности города.

Муравьев полез выше. За ним, осыпая мелкий щебень, карабкались чиновники и офицеры. Побагровевший Машин хотел что-то ответить губернатору, но тот перебил его.



— Какая бухта! — в восхищении воскликнул Муравьев, снова останавливаясь.

Чем выше поднимались, тем красивей был вид. Замершее море лежало среди ярко-зеленых гор, как пласт голубого льда.

— Стоит англичанам, — назидательно продолжал губернатор, обращаясь к Машину, — объявить нам войну и захватить эту бухту, как мы потом уж никогда не возвратим ее. А это значит, Ростислав Григорьевич, что мы с вами должны быть готовы тут ко всему.

Горный воздух, подъем по крутому каменистому склону, вид моря, гор и белоснежных, сверкающих на солнце вулканов — все это возбуждало энергию и располагало к размышлениям.

Губернатор пошел дальше. Он умело и быстро поднялся по круче на гребень хребта. Отсюда открылась вся необозримая ширь Авачинской бухты, а по другую сторону гребня гор, на котором стояли сейчас Муравьев и Машин, стала видна внутренняя бухта — Ковш и город с его жалкими хибарами. Эта цепь гор заканчивалась Сигнальным мысом, лишь обойдя который суда могли войти в Ковш. Муравьев, скрестив руки, оглядел Петропавловск, стоя к нему лицом, взглянул на суда в гавани и на песчаную кошку, отгородившую Ковш и протянувшуюся почти перпендикуляром к хребту, но не доходившую до него, так что оставались как бы широкие ворота для входа в бухту. Потом он перекинул взор правее, на Сигнальный мыс, и еще правей, туда, где в голубой дымке терялись очертания далеких гор и мысов Авачинской губы, среди которых был вход в океан... Горы плотным кольцом обступили всю эту картину... С юга подул ветер, обдал разгоряченные лица. Море стало ярко-синим.

Муравьев повернулся лицом к морю. Взор его упал вниз, под обрывы. Он стал осматривать крутые подъемы на горы со стороны Авачинской бухты, потом посмотрел правей, туда, где гряда гор подходила к берегу. За горами виднелась низина, по которой от берега Авачинской бухты пройти можно было прямо в Петропавловск.

Муравьев грозно нахмурился и вскинул голову, словно очень серьезное опасение внезапно пришло ему в голову.

— Там дорога! — утвердительно сказал он, показывая рукой и обращаясь к Машину.

— Так точно, ваше превосходительство! — ответил Машин, который все это уже подробно объяснил губернатору утром у карты.

— Хм... хм... — пробормотал Муравьев сурово и заложил руку за борт мундира. Он снова посмотрел на Сигнальный мыс. — Обходя этот мыс, корабли входят из Авачинской бухты в Петропавловскую гавань... — говорил он, слегка покачивая головой, как бы размышляя вслух и с кем-то соглашаясь. Потом умолк, глубоко задумавшись.

Все замерли. Вдруг Муравьев свирепо оглядел своих спутников... Взгляд его быстро пронесся по всему крутому берегу.

— Я представляю себе, — воскликнул он, — штурм Пет-

ропавловска, на который в будущей войне пойдет английский командующий. Несомненно, вражеская эскадра пройдет мимо мыса Сигнального, попытается войти во внутреннюю бухту, в Ковш, будет бомбардировать город и попытается взять его десантом. Но город мы укрепим. На сопках будут расставлены батареи. Англичане не любители лобовых атак. Получив отпор, они будут искать обходные пути...

Муравьев прошел по всему гребню хребта. Сейчас он как бы воображал себя командующим эскадрой, штурмующей Петропавловск.

— В случае неудачи, отвлекая русских ложными демонстрациями, англичане попытаются сделать обходное движение... Конечно, в составе эскадры у них будут люди, не раз побывавшие в здешних местах... Через хребты и вулканы британцы не пойдут. Десант возможен вот здесь! — вдруг решительно сказал губернатор, показывая вниз, туда, где Никольская гора обрывалась, примыкая к матерому низменному берегу... — Они пойдут в обход Никольской горы, прямо на город. Вот тут-то вы и встретите их картечью!

Убыстряя шаг, Муравьев стал умело спускаться вниз, туда, где его воображение рисовало будущую битву.

Машин краснел и смущался. Он даже готов был признать из уважения к губернатору, что тот все это придумал вот сейчас. Машин старался не выказать генералу своего смущения и от этого еще сильнее смешался. Губернатор заметил, что Машину не по себе, но это не имело никакого значения.

— Англичане никогда не смогут взять Петропавловска с фронта, горячо продолжал он. — Как только они высадятся и двинутся сюда по низине, в надежде, что здесь незащищенное, пустынное место, вы их встретите внезапным огнем. Бейте их картечью! — подняв правую руку, воскликнул генерал с таким жаром, как будто сражение уже началось.

Машин молчал. В Петропавловске сейчас была инвалидная команда, горсть казаков да ссыльные матросы. Несколько старых пушек расставлены на горах. Пока что на запросы об укреплении Камчатки не отвечали... Обещания, если их давали, не исполнялись... Не хватало сил привести в порядок китобоев. А чтобы разбить неприятельский флот, нужны эскадра, артиллерия, укрепления.

Машин понимал чего хочет губернатор. Примерно такие же намерения были и у самого Машина, и не дальше как вчера и сегодня утром он сам излагал их Муравьеву. Поэтому он и смущался, слушая теперь от него то, что сам ему говорил. Он понимал и другое: какие средства, силы и какая помощь нужны для этого Камчатке. Понимал он и то, что Муравьев мыслит дельно, что все краткие сведения о Камчатке, в том числе и его, Машина, высказывания, приняли в голове губернатора иной вид и сложился целый план обороны, который излагал сейчас Муравьев.

Однако это было не все. У Муравьева был еще один план. Пусть будет вторая линия укреплений, полагал он, но главное укрепление будет там, где в скалах вход в Авачу. Пока об этом он решил не говорить при всех.

— Так что вы хотели сказать, Ростислав Григорьевич? — спросил губернатор на обратном пути, дружески беря Машина за локоть. До сих пор он и не подавал вида, что заметил его недовольство.

Шли низиной, где Муравьев предполагал стрелять в противника картечью... За день обошли на шлюпках и пешком вокруг всего прибрежного хребта и сейчас возвращались к морю.

— Говорите мне все откровенно. Мне можно сказать все.

— Вот сразу же передо мной забота, ваше превосходительство, из чего будем платформы для батарей строить? Ведь подходящего-то леса у нас нет. Вот какие растут коряжины, — показал он на огромную сучковатую каменную березу. — Чтобы строить батареи на Никольской, нужен лес. Есть у нас немного бревен, да и те гнить начали. А судов для доставки нет, и людей нет. Суда принадлежат Компании.

— Я пришлю людей и транспорты, — ответил Муравьев. — Я попрошу государя направить в Петропавловск триста орудий. Это будет неприступнейшая твердыня. Так что уж бревна доставим и для батарей, и для постройки казенных зданий.

— Укрепить порт, поставить пушки, да и людей сюда подвезти, — заговорил Машин тоном откровения, — конечно, необходимо, ваше превосходительство, тогда всякое нападение сможем отбить. Но вот что предпримем, если иностранный флот блокирует Камчатку? Русского солда-

та трудно взять штыком или пулей, но голод не тетка. Где возьмем продовольствие и артиллерийские припасы? Умереть мы готовы, ваше превосходительство, да умереть надо с толком. У англичан будет подвоз, они учредят крейсерство в Тихом океане, а как же мы станем снабжать Камчатку, когда каждую малость везем сюда из Кроиштадта?..

Машин говорил дельно, но весь этот разговор не понравился Муравьеву. «Ведь, казалось бы,— думал он,— приехал губернатор, старается входить во все, выбирает места для батарей, дает указания — ухватись за все это и танцуй отсюда... Как будто я сам не знаю, что сюда нет подвоза».

— С Аяном будет пароходное сообщение, — сказал Муравьев. — Подвоз будет! А хлеб должен быть свой!

Машин вздохнул. Он опять продолжал про свое: о затруднениях, которые ждут Камчатку в случае открытия военных действий.

Муравьев понимал, что суждения Машина основательны. Но еще давно, отправляясь в путешествие, он решил сменить его. Не этот офицер представлялся ему в роли губернатора Камчатки. И сейчас Муравьев не намеревался изменять своего решения. У него был свой план преобразования Камчатки. Прежде чем укреплять тот порт и засылать транспорты и людей, учреждать тут крейсерство и возить бревна, он полагал, необходимо преобразовать Камчатку в особую область, дать ей начальника, в чине не меньшем чем генерал-майор, назначить сюда штат офицеров и чиновников. Так понимали развитие какой-нибудь области царь и его чиновники, и это знал Муравьев. Он полагал, что только так можно привлечь к Камчатке внимание в Петербурге, а от этого, ему казалось, зависело все.

Участь же Машина была решена. Не ему придется строить батареи, о которых говорил сегодня Муравьев. Говоря о будущей обороне Петроавловска, Муравьев помнил, что тут начальником будет не Машин, а другой, но генералу хотелось сказать все это именно сейчас, при офицерах, на месте будущих боевых действий, чтобы все слышали и помнили, как он, обходя хребты и бухты, сам выбирал стратегически важные пункты.

— Все, что вы говорите, Ростислав Григорьевич, все верно, но выход из положения есть, и даже не один,—

сказал губернатор, намекая на амурскую проблему.— Камчатка будет обеспечена всем необходимым. И хлеб здесь со временем будет свой..

Доводы капитана были убедительны, но согласиться с ними Муравьев не мог. Вместе с тем он отлично запомнил все, что говорил Машин. Слушая его, он сам начинал понимать камчатскую жизнь, хотя вся речь прямодушного Машина была для губернатора как бы сплошной неприятностью.

Они спустились к морю. Кромка песчаных отмелей была в блестящих зеленых лентах морской травы, в ракушках и водорослях. Подошли шлюпки... На обратном пути в Петропавловск губернатор молчал. Шлюпки прошли вдоль хребта, опять обогнули Сигнальный мыс и, войдя в Ковш мимо кошки, пристали напротив домика начальника порта.

— О! — с живостью воскликнула Екатерина Николаевна, встречая мужа на маленькой террасе.— Хороша ли прогулка?

— Очень хороша! — целуя ей руку и оживляясь, отвечал Муравьев.— Стоило мне самому обойти все эти сопки и берега,— воскликнул он с воодушевлением,— как я нашел великолепные стратегические пункты, откуда враг будет безошибочно поражен, если дерзнет напасть. Я осуществлю свой план! По значимости Петропавловск станет подобен нашей крепости на Черном море — Севастополю! Но насколько Великий океан больше Черного моря, настолько и Камчатка с Петропавловском со временем будет важнее крымских крепостей... Я так ясно сказал все это Машину, что ему остается только исполнять...

— Но ведь Машина скоро не будет здесь? — чуть выкатывая свои красивые глаза, с деланно наивной улыбкой спросила Екатерина Николаевна.

— Кому-то должен же был я сказать все это,— шуточно ответил Муравьев.

Екатерина Николаевна стала рассказывать, что и она и Элиз без ума от преосвященного Иннокентия.

— Милый человек, остроумный собеседник... Завтра концерт Христиани... Все ждут с нетерпением... Его преосвященство не хотел прийти, но мы сказали, что будут исполняться французские народные песни, и он согласился.

Муравьев подумал, что ведь это первый настоящий концерт за время существования Камчатки, что он вводит здесь цивилизацию...

За обедом хлопали пробки. Пили за государя императора, за могущество Российской империи на Тихом океане, за генерал-адмирала русского флота великого князя Константина, за здоровье генерал-губернатора и его супруги Екатерины Николаевны, за начало новой эры в жизни Камчатки; один из чиновников читал стихи, посвященные Муравьеву и его приезду в Петропавловск.

После обеда Иннокентий рассказывал анекдоты из жизни алеутов и индейцев. Про себя он не поминал, но понятно было, что он все видел своими глазами, бывал там, куда не ступала нога европейца, что он обращал в православие людей в тундре и на островах среди океана. В рассказах о жизни доверчивых и прямодушных туземцев как бы все время подразумевались подвиги самого Иннокентия.

Екатерина Николаевна не все понимала, иногда наклонялась к мужу, и он переводил по-французски. Тогда она делала изумленное лицо и вдруг, как бы обрадовавшись, кивала головой с таким видом, словно встретила старого знакомого, которого не сразу узнала.

Иннокентий чувствовал, что его рассказы крепко запомнятся, что и губернатор, и эти блестящие дамы в парижских туалетах, и чиновники из свиты генерала, когда покинут Камчатку, будут и в Москве и в Петербурге рассказывать про него и повторять все, что он говорил. Он чувствовал, что слушатели ловят каждое его слово и разнесут еще шире его славу. Он знал, что это общество людей, чуждых церкви, будет ему верным пособником в его будущей духовной карьере.

Екатерина Николаевна и Элиз смеялись от души. Эпизоды из жизни наивных алеуток можно было смело рассказывать в Париже.

На другой день Муравьев на шлюпке отправился искать места для устройства первой линии укреплений. Он лазил по далеким горам. Особенно занимала его Тарьинская губа — один из заливов внутренней Авачинской бухты.

«Тут можно прорыть канал!» — полагал Муравьев.

— У входа в Авачу поставим сильные батареи... — говорил он в этот день Машину. — Прокопать канал из Тарь-

инской губы в океан. Конечно, нужен канал. Как нельзя? Все можно сделать, нужно только захотеть!

Он изложил свой план лишь одному Ростиславу Григорьевичу.

— И вот английский флот подходит к Камчатке. У нас сильные укрепления у входа в Авачу... И мы, — воскликнул он, хватая Ростислава Григорьевича за руку, — впускаем его! Флот входит в залив, в бухту! Батареи молчат! Англичане идут к Петропавловску, предполагая, что тут все еще пустыня. Но там их встречает ураганный огонь трехсот орудий. Как им быть? Обрати! Но в это время наш флот по каналу уже вышел им в тыл. Английский флот отрезан. Наши корабли и батареи первой линии бомбардируют его. Прорваться нельзя! Наши суда стоят у входа. Подвоза продовольствия нет!

И все это говорилось в маленьком домашнем кабинете Машина, где перегородки оклеены синими обоями, где два портрета в овальных золоченых рамках на стене, а в окне печальный вид...

Губернатор все же нравился Машину. Это был живой человек, и поговорить с ним было сущим удовольствием. Он тут все видел по-другому, не по-здешнему, ко всему подходил с иной, своей меркой.

— Кто будет возражать?! Плохо ли! Конечно, можно и канал прорыть, — согласился Машин, — но сколько же на это людей надо, тысячи! А людей надо кормить. Провизия нужна, суда, бараки. А мы за двадцать пять лет госпиталя не можем исхлопотать...

— Люди будут! — сказал губернатор, останавливаясь у окна и глядя вдаль, на вешала с рыбой. — Люди будут! — повторил он.

Но пока что лопат не было, не то что канала — простую канаву прорыть не могли, якорей нет для лодок. Но что ни скажи — губернатор свое: «Будут!», «Будут!». Что же! Может быть, и будут... Машин готов был служить и стараться.

Побывали еще раз на Тарье. Губернатор возвращался на шлюпке очень довольный, а Машин был в сильном недоумении.

«На что он надеется? — думал Ростислав Григорьевич. — Кажется, он человек дела. Видно, по Амуру он все хочет сюда доставить. Дай-то бог...»

А вечером про дела забыли. Был дан концерт. Сначала выступал французский хор, составленный Элиз из матросов китобойного судна, спасенного «Иртышом» по пути в Петропавловск. Пели французские народные песни. Элиз запевала своим низким контральто, матросы, старые и молодые, с восторгом подхватывали... Концерт вышел на славу.

— Скрамнейшая девица и преотличный музыкант, — говорил про француженку Иннокентий.

Через несколько дней был дан еще один прощальный обед и еще один концерт. Кричали «ура» за новую эру и процветание Камчатки. План о прорытии канала был секретом, но многие догадывались, что не только в гавани, но и у входа в Авачу предстоят работы.

А наутро губернатор с опухшими глазами, в сопровождении жены, мадемуазель Элиз и спутников, отбыл на корабль. На берегу грянули пушки. «Иртыш» вышел из Ковша.

У выхода из большой губы в океан, между сопок, там, где на одной из них, на Бабушке, был маяк и вышка для наблюдения за морем, шлюпка с Машиным отстала от судна.

«Тут собирается Муравьев окружить и взять в плен английский флот, — думал он. — Дай-то бог...»

Машин вернулся в Петропавловск. Он вылез из шлюпки и, держа в руках форменную фуражку, долго стоял на песке, как бы не зная, куда идти. Перед ним были тощие лица столпившихся обывателей, с удивлением смотревших на своего начальника. Стаи линявших собак бродили повсюду. Сушилась рыба на вешалах.

Машин обтер потный лоб, как бы желая опомниться. Великие планы, концерты знаменитой виолончелистки, ящики с шампанским, тосты за новую эру — все пролетело, как сон. Но он чувствовал, что Муравьев побывал тут не зря, что, видно, где-то собирается гроза и ее ждут в эти края, а где гроза, там и почести.

«Быть войне! — почувствовал Машин. — Не зря он приехал».

Не зря мелькнула на Камчатке эта богатая жизнь, пела виолончель парижанки и лилось шампанское, и, видно, на самом деле не за горами было время, когда сюда нагонят людей, когда грянут батареи и польется кровь...

МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВЬЕВА

«Иртыш» шел к югу.

Где-то за горизонтом был таинственный для европейца новый мир! Сахалин, Япония, берега Татарии... «Байкал» ушел туда на открытие. Судьба этого судна тревожила губернатора. Муравьев желал сам разыскать Невельского, встретить его и, может быть, войти вместе с ним в лиман Амура, сделать первый шаг к сближению России с громаднейшим миром будущего, с древними странами Востока — Китаем и Японией. Но пока никаких признаков ни Китая, ни Японии. Шумело холодное море... Изредка виднелся парус китобоя...

Солнце еще не всходило. Слева, низко над океаном, занимается желтая заря. Небо с редкими звездами совершенно голубое. Паруса в тени. С кормы они кажутся черными. Видны черные силуэты матросов, навалившихся животами на реи.

Заря краснеет, и полоса ее подымается над медленно и шумно волнующимся морем. Его ровное, но тяжелое дыхание вздымает судно, клонит мачты, качает горизонт...

Капитан и генерал-губернатор с подозрными трубами на полуяте осматривают дали, открывающиеся из-под ночной завесы.

«Нет «Байкала!» — думает Муравьев.

«Нет «Байкала», — озабоченно думает Поплонский. — Как идти дальше?.. Карт нет, глубины не исследованы. Все предосторожности приняты, но каждый миг может быть катастрофа...»

— Идем пять-шесть узлов, — показывая ладонью на темные волны, говорит капитан по-французски, обращаясь к генерал-губернатору.

Муравьев молчит. Воротник его шинели поднят. Ветерок, прохладно, сыро. Муравьев чувствует себя отлично... Он человек, привыкший ко всякому климату и готовый ко всяким случайностям.

«Я могу сказать государю, — думает он, — что сам плавал по Тихому океану, входил в Курильский пролив, сам пересек Охотское море, был у Сахалина. Штормы, тайфун в Охотском море перенес сам! Для Петербурга достаточ-

по. Там и поездка в Якутию — чуть не подвиг... Ни один из губернаторов Сибири не посмел сюда носа показать. Да что сюда! На побережье никто не бывал, Камчатки никто не видал! Государь сам вечно в пути, не боится дорог, хотя его вон вывалили под Пензой из кареты. С него пример беру, не стесняюсь расстояниями и тяготами, так и скажу в Петербурге».

В полдень стала видна синяя полоска — северный берег Сахалина. Наутро «Иртыш» подошел к нему. Качка была порядочная. Муравьеву не очень хотелось съезжать на берег в такое волнение, но надо было.

На берегу ни признака жизни. Ни дыма, ни следа человеческой ноги. Не только никакого влияния Китая или Японии вообще, но ни лодки, ни паруса на поверхности моря. Казалось, тут край земли. На суеверного человека может напасть ужас.

Дул холодный ветер. Небо хмурилось. «Сентябрь месяц, — думал губернатор, — а такой холодище, гораздо прохладней, чем на Камчатке...»

Скрестив руки, губернатор долго стоял на песке. Его спутники — Струве, Штубендорф и рослый поручик Ваганов, всегда с охотой кидавшийся выполнять рискованные поручения, ждали. Всем надоело, все прохаживались; даже вышколенный и педантичный Струве припадал на ногу, как свищёная лошадь, но губернатор стоял не шелохнувшись.

«Пусть подольше подождут и хорошенько запомнят, как высаживались на Сахалин, — подумал Муравьев, замечая нетерпение чиновников. — Пусть помнят, как я искал «Байкал», пусть поймут, как важно это для России, какое значение этому я придаю. Пусть помнят, что тут стоял губернатор... Уж одним тем, что губернатор стоит на Сахалине, вновь утверждается исконное право России на этот полуостров. Это не забудется. Станут потом показывать это место и говорить, что вот, мол, здесь стоял Муравьев, смотрел на пустынное море и ждал «Байкала»... Сейчас, конечно, им не очень нравится... но пусть потерпят».

Ветер ударил с силой и хлестнул песком в лицо губернатора.

— Но хотя бы след какого-нибудь сахалинского Пятницы!

Муравьев с глубокомысленным видом прошелся по песку, носком начищенного сапога ковыряя белое щепье, панесепное когда-то прибоем и как бы вросшее в отмель.

«Как могли Хвостов и Давыдов оставить на этом острове пятерых матросов? — думал он, вспоминая, что Невельской рассказывал ему в Петербурге, в гостинице «Бокэн». — Какая судьба их? Где они? Жив ли хоть один? Невельской желал выяснить это.

История историей, а в настоящем мало утешительного. Где же Невельской? Это становится загадочным». На крайний случай Муравьеву хотелось бы встретить его в море, как бы сопутствовать Невельскому при его открытиях. «Наивные мечты! — подумал он. — А ведь я желал вместе с Невельским пройти в лиман». Но, кроме того, заботила деловая сторона, судьба открытия; надо было знать основное, важное и серьезнейшее — доступна ли река...

Губернатор пошел к шлюпке. Он не сказал никому ни слова. На судне Муравьев вызвал капитана в свою каюту.

— Идем на юг, Владимир Петрович, нам необходимо встретить Невельского.

Поплонский пытался возражать, но губернатор не стал его слушать.

— Куда мы идем? — спросила Екатерина Николаевна, появляясь в салоне, когда ушел капитан.

— На юг, к лиману Амура!

Взглянув в открытый иллюминатор, где сквозь брызги виднелись низкие пески Сахалина, Муравьева повела плечами.

К полудню ветер достиг силы в шесть баллов. За обедом в тарелки укладывали ложки и вилки, чтобы суп не плескался. В море, да еще в прохладные дни, ели с особенным аппетитом. Суп медленно набегал то на один край тарелки, то на другой... После обеда Муравьев вышел на полуют.

— Не видно «Байкала»? — спросил он, берясь за трубу, поданную штурманом.

— Нет нигде... — ответил Поплонский.

Ветер вдруг переменялся и стал крепчать. Судно пошло к сахалинскому берегу.

«Черт возьми!» — думал Муравьев, глядя, как отчаянно боролись матросы со штормом...

Наутро видимость была отличная.

— «Байкала» нет нигде. По-моему, Николай Николаевич, нам не следует идти дальше, — говорил Поплонский. — Мы не можем доверять имеющимся картам... Продвигаясь к югу, мы рискуем... Один я готов не задумываясь... — Он сказал, что не смеет подвергать опасности судно, на котором губернатор.

— А если идти дальше? — быстро спросил Муравьев.

— Дальше мы рискуем, — повторил капитан. — Дальше начинается загадка. Море не исследовано, и мы можем подвергнуться разным неприятностям.

Муравьеву уж и самому не хотелось идти дальше, и Екатерина Николаевна страдала... Все эти моря, пески и скалы осточертели и ей и ему. Но он сделал вид, что доволен советом Поплонского, и строго нахмурился.

Губернатор долго смотрел вперед, туда, где простиралось неведомое море, направляя свою трубу в разные стороны, и долго еще молчал. Идти туда не хотелось, но и выказать этого нельзя...

— В Аян! — вдруг решительно приказал он, как бы скрепя сердце и с большой досадой, поддавшись уговорам Поплонского, и спустился к себе по трапу.

— На брасы! — услышал он наверху повеселевший голос капитана и, сам радуясь, что кончаются эти надоевшие поиски, вошел в каюту. Послышался скрип штурвала и характерный стук троса. Руль переключивали, менялся курс.

— Плавать у Сахалина, да еще с губернатором, по старым картам, — говорил в это время Поплонский, — выбросит штормом на берег или сядем на мель...

— А у нас еще французенка, — сияя, отвечал молодой штурманский помощник.

— Да, боже упаси, сраму не оберешься! — подхватил Поплонский. — Как крепишь, анафема! — зверски заревел он в трубу и, опустив ее, снова обратился к юноше: — А любезная девица, очень пикантная...

— Я приказал идти в Аян, — говорил губернатор жене, которая, кутаясь в соболью накидку, сидела в салоне с мадемуазель Христиани и гадала на картах. Екатерина Николаевна бледна и сегодня не подымается вверх. Желтизна стала проступать на ее лице.

— Я уверен, что Невельской уже в Аяне, — сказал Муравьев, снимая мокрый плащ. — Он мог закончить опись...

Через два дня «Иртыш» проходил вблизи Шантарских островов; их голубые хребты с широкими разлогами закрывал туман, но на море тумана не было, и солнце светило ярко, и видно было, что туман на берегу становился все гуще по мере того, как судно приближалось.

— Что это такое? — наконец не вытерпел Муравьев.

— Дым, ваше превосходительство! — отчеканил Поплонский.

— Дым? Или туман?

— Нет, это дым... Обычное явление в здешних местах. Китобои где-нибудь высаживались на берег, топили жир или рубили дрова для вытопки и подожгли лес, чтобы сох, чтобы лучше были дрова на будущий год...

— Ка-ак! — Муравьев кинулся к борту с таким видом, как будто перед ним были не Шантарские острова, а провинившиеся чиновники, которых надлежало распечь. — Какое же право имеют китобои жечь наши леса?

— Они без всякого права делают все, что им вздумается.

Муравьев покачал головой: не первый раз слышал он такой ответ. «Ну ничего! — думал он. — Эти сведения еще пригодятся. Все это новые и новые подробности для пренинтереснейшего, увлекательного, как роман, доклада на высочайшее имя».

Он стоял на полуяте и снова размышлял о том, что надо сделать тут, на Восточном океане.

Клубы белого дыма подымались из океана, и вскоре черные и синие вершины Шантаров совсем исчезли в облаках.

«Боже мой! — думал Муравьев под шум волн, как бы игравших с кормой. — Дать жизнь этим великим просторам! Камчатка, Сахалин, Шантары, Охотский берег... Что за народ, который занял все эти земли, что за богатырь. Каждый бежал отчего-то за Урал, а потом, на краю света, заняв эти Шантары или реку Охоту, слал челобитную в Москву!.. Никому в голову не приходило зажить тут князьком самостоятельно... И теперь, когда Балтийское море все более превращается в большое озеро, когда вскоре без океана жить нельзя будет, весь этот мужицкий за-

пас земли, припасенный для Руси два и три века тому назад, все эти Шантары, Охоты и Авачи сослужат еще нам великую службу...»

Дни губернатор проводил в салоне, составляя письма в Петербург и обширную докладную царю о результатах своего путешествия и о необходимости преобразования в управлении Восточной Сибири. В перерывах пил ром с водой и, разгоряченный, без шинели, подымался наверх и проводил на полуюте целые часы.

— Nicolas, vous êtes fou!¹ — с тревогой говорила ему Екатерина Николаевна. — Ты простудишься в такой холод!

— Мой дедушка всегда учил нас, — отвечал Николай Николаевич, — мешай дело с бездельем — с ума не сойдемь...

Екатерина Николаевна в шторм лежала с книгой, она знала, как вести себя в любых условиях, ела немного, но вовремя, никогда не падала духом и часто оживленно разговаривала с Элиз.

Однажды к вечеру открылся матерый берег. На рассвете завиделся Аян.

— Вижу корабли в гавани... — доложил впередсмотрящий.

— В гавани есть суда. «Байкал» стоит, — сказал Поплонский.

Муравьев почувствовал, что с плеч у него сваливается гора...

— Вон и «Байкал»! — сказал он жене, которая поднялась наверх.

— О, «Байкал» здесь!

— А вон и «Кадьяк», — заметил Поплонский. — Действительно, это «Кадьяк»! А за ним «Байкал»!

— Все здесь, слава богу! Какая удача! Если «Кадьяк», то наш Миша тут! — сказал Муравьев, опять обратившись к Екатерине Николаевне. — А мы искали их!

Утреннее солнце светило прямо на крыши Аяпа. С моря здания казались большими. Как вырезанные из белой бумаги, проступали они на склонах черных хребтов.

«Что мне думать и искать, — размышлял Муравьев, — ясно, губернатором Камчатки должен быть Завойко. Вот

¹ Николай, вы безумец! (франц.)

его деятельность, как на ладони». Губернатор уже познакомился с Завойко. Проезжая через Якутск, он вызвал его туда из Аяна и вынес впечатление, что это человек дельный.

Подтверждения были сейчас налицо. За время своего путешествия Муравьев никогда не видал столько новых построек. На Камчатке старые здания разваливались, новый госпиталь возводился двадцать лет, Охотск был грудой гнилья, а в Аяне — все новенькое. И место оживленное, корабли стоят. Завойко — наилучшая фигура для Камчатки! Он трезв, дёлен, тверд, как кремь, здоров. Молодчина! Когда-то под Наварином упал с реи на палубу во время боя, сломал руку, ребра и остался в строю. Герой и тверд духом.

Муравьев подумал, что с назначением Завойко следует поспешить, пока Компания не дала ему повышения. Муравьев размышлял, какое огромное дело разовьет он с помощью Завойко на Камчатке! Порт, казармы, дома для чиновников! «Полосатые будки выстрою и велю срисовать, представляю государю... — пропически подумал он, — чтобы видел, что полиция повсюду в России, даже на берегах Тихого океана...»

Муравьев стал смотреть снова на берег. Где-то там были Невельской, Завойко, Корсаков. Один пришел из важнейшей экспедиции, другой был виднейшим администратором, третий — Миша Корсаков — родным, близким человеком, неутомимым исполнителем.

Муравьев чувствовал свою силу и власть над этими людьми, исполнявшими его замыслы.

А Поплонского, видимо, что-то беспокоило. Он то и дело наводил трубу в глубь бухты.

— Да-а... — задумчиво и как бы с тревогой наконец вымолвил он.

Этот маленький, пожилой человек, смущаясь, необычайно быстро краснел. Лицо его и на этот раз побагровело. Осторожно шагнув маленькой ножкой к Муравьеву, он замер, видимо не решаясь заговорить, и снова стал смотреть на берег.

— А «Байкала» в гавани нет! — звонким голоском заметил штурманский помощник, обращаясь к капитану.

Поплонский покраснел еще сильнее. Он давно заметил, что «Байкала» нет в гавани, что там стоят бот «Кадьяк»,

китобойное судно и старый компанейский транспорт «Охотск».

— Нет? — спросил Муравьев, скрывая вдруг охвативший его холод.

— Нет «Байкала», ваше превосходительство, — подтвердил капитан. — Это стоит китобой, двухмачтовое судно, под американским флагом!

— Что за чертовщина! — невольно вырвалось у губернатора.

Не обращая больше внимания на Аян, он стал смотреть на суда.

— Вот это бот «Кадьяк», на котором уходил Михаил Семенович, а это старый транспорт «Охотск», — говорил капитан.

— «Охотск»? — строго переспросил губернатор.

— Да, «Охотск». Старое судно, возит пушнину в Аян из Америки. Четыре года тому назад директор Гудзонбайской компании Симпсон приходил на нем в Охотский порт из Ново-Архангельска, — рассказывал Поплонский, пытается рассеять губернатора. — Да, этим «Охотском» командовал тогда Кадин, который вместе с Орловым нашел Аян, а уж потом тут стали строиться, перевели сюда факторию.

Муравьев был темнее тучи. Ему хотелось крикнуть: «К черту Аян! Где Невельской?» Губернатор готов был схватить Поплонского за ворот, накричать, затопать ногами. Но он молчал и терпеливо ждал, не желая отказаться от мысли, что Невельского в Аяне нет.

«Корсаков вернулся, но вернулся ни с чем, — думал он. — Что же случилось? Неужели...»

Мимо проплыли черные утесы, торчавшие среди моря. Тучи чаек с криками поселились над ними. Один утес, отколовшись от берега, стоял, подобно покосившемуся высокому черному памятнику. Белые чайки усыпали его, как снегом, — такое их множество. Судно вошло в гавань. Теперь ясно были видны флаги и даже названия судов.

От берега шла шлюпка. Вскоре на палубу «Иртыша» поднялся Корсаков. Он из известной семьи Корсаковых, из которой вышло много русских деятелей. Его отец ныне в отставке, в прошлом крупнейший русский инженер. Корсакову двадцать два года, у него пухлое румяное лицо, светлые усы и голубые глаза. Он высок, плечист, ловок, неутомим и точен. Это золото, а не человек, как говорит

о нем губернатор, лучшего адъютанта и желать нельзя. До прошлого года он служил в гвардии в Семеновском полку.

С ним вместе приехал рослый, рыжеватый человек с короткими и густыми, как шерсть, волосами, с толстыми красными губами и голубыми глазами навыкате, в мундире капитана второго ранга.

Это был Завойко.

Глава седьмая

ХОЗЯИН

— Миша, откуда же ты? — с нетерпением спросил губернатор, переводя взор с Корсакова на Завойко и опять на Михаила Семеновича.

— Я был у Сахалина и вблизи лимана Амура, — ответил Корсаков, и по выражению, мелькнувшему в его голубых глазах, Муравьев почувствовал, что случилось несчастье.

— Где Невельской? — воскликнул он.

— Николай Николаевич, — глухо проговорил Корсаков, — «Байкал» погиб!

— Погиб? О боже! — Муравьев снял фуражку и отер платком лоб и лысеющую голову.

Корсаков смотрел все так же пристально и насупленно, словно старался рассмотреть что-то на лице губернатора. Он был безгранично влюблен в своего начальника.

— Мной приняты все меры для разыскания «Байкала», — заговорил Завойко, — посланы служащие Компании и опытные проводники. Но есть сведения, — твердо сказал он, — что транспорт «Байкал» погиб.

— Погиб! — с ужасом вымолвил Муравьев. Он ссутулится и потемнел лицом. — Идемте, господа, идемте, — тихо сказал он и спустился к себе.

Корсаков никогда не видал его таким. Ему стало жаль Муравьева. В каюте Миша поздоровался с Екатериной Николаевной и Элиз. Взор его несколько просветлел при виде Христиани, однако он был, видимо, так озабочен, что лишь на мгновение на лице его мелькнуло новое выражение, по которому можно было догадаться, что встреча с ней более чем приятна ему, но что он огорчен гибелью судна.

— Я искал его у берегов Сахалина и только вчера вернулся,— стал объяснять он.

— У нас слухи от гиляков, что двухмачтовое судно, по всем описаниям «Байкал», разбито штормом и выброшено на камни,— добавил Завойко.— Вся команда, за исключением, быть может, нескольких человек, погибла. Их, вероятно, приняли за китобоев, так и перебили, поскольку китобоев гиляки ненавидят.

— Как это могло случиться?

— При подходе к лиману — два пояса мелей и дальше непроходимый лиман, наполненный банками,— сказал Завойко.— Судно Невельского, видимо, погибло на втором поясе мелей, при попытке пройти в лиман, и лежит там... Сведения получены от торгующих туземцев, они уверяют, что «Байкал» разбился и разграблен гиляками, которые сначала выказали дружбу русским, а потом перебили всех, кто остался жив. Трое или четверо ушли по берегу... Да вот Орлов, мой служащий, вернется, это человек бывалый, он еще прежде послан мной на розыски «Байкала». Он привезет точные сведения.

— Когда вы послали Орлова? — спросил губернатор.

«На Завойко вся надежда,— уверял он себя.— Он здоровый, крепкий человек, привычный к опасностям».

Когда губернатор с женой и со свитой съехал на берег, здания Аяна уж не казались такими большими, как представлялось с моря.

Дом у начальника прост, с мезонином, с садом из березок, оставленных при вырубке, и застекленной оранжереей. Свежие кадучки стояли под деревянными желобами около углов... Из окна столовой вид на бухту.

— Какие прелестные малютки!

— Ах! Милые дети! — пришли в восторг Элиз и губернаторша при виде двух голубоглазых девочек с голубыми бантами. Девочки, приседая, поздоровались по-французски. Жена Завойко вышла с грудным ребенком на руках. За нею появились два мальчика, тоже с бантами.

— Превосходная мебель! — заметил Струве.— По новому аяно-майскому тракту вы доставили ее сюда? — спросил он у хозяина.

— Нет, это из Бостона! — ответил Завойко.

Госпожа Завойко в голубом платье, с голубыми глазами, веки которых красноваты, вся в крахмальных кружевах, румяная и белокурая.

В Юлии Егоровне губернаторша сразу почувствовала сдержанную, но страстную и сильную натуру. «В ней что-то есть, какое-то вдохновение...» — подумала она, чувствуя на себе приветливый, умный взгляд хозяйки. Муравьева уже знала, что Юлия Егоровна, урожденная баронесса Врангель, прекрасная хозяйка и мать большой семьи и что Завойко — человек, с трудом пробивший себе дорогу в жизни, что на его иждивении две семьи: своя — в Аяне и жены — в Петербурге, где жили ее мать, младший брат и две сестры. Правда, старший брат Юлии — Вильгельм — помогал своей матери, но и Юлия с мужем постоянно слали туда посылки и деньги.

— Какая прелесть этот ваш дом! Вы не тяготитесь своим арктическим уединением? — спросила губернаторша хозяйку.

— Нет! — улыбаясь, ответила Юлия Егоровна и добавила: — Это наш долг!

Она спросила губернаторшу, как та перенесла путешествие.

Оттого что закончился морской путь, Екатерина Николаевна чувствовала себя успокоенной, и ей всех хотелось видеть счастливыми. Но известие о гибели Невельского отравляло всю радость.

— Мы так ждали тут встречи с «Байкалом»! — заговорила Екатерина Николаевна.

— Ах, такой ужас! Такой ужас! — ответила хозяйка.

Внесли чемоданы Муравьевых. На кухню отправился повар. Хозяева в эти дни в ожидании приезда гостей переселились в мезонин.

После обеда гуляли по саду. Слушая рассказы хозяйки, Екатерина Николаевна содрогалась. Она видела, сколько труда вложено в Аян... И этот печальный сибирский сад на берегу, вроде тех, что и она и Элиз видели в Тобольске... Чувствовалось, что тут еще совсем недавно был чахлый северный лес. И береза, вот эта, например, под окном, сквозь редкие остатки пожелтевшей листвы которой видно прозрачное и холодное синее небо Сибири и горы в рыжей хвое, — эта береза изо всех сил тянулась к скудному солнцу; тонкая, худая, она ссутулилась смолоду. А лес вокруг вырубил, и она стоит стыдливо, не в силах скрыть своего смешного роста, стоит, как раздетая напоказ. Печален этот сад... И кое-где пеньки, кажется,

совсем недавно выкорчевали, на их месте, как вскопанные, пятна свежей земли... И скамейка на пеньках, и гамак на березах — от всего веет печалью. Но во всем виден суровый и строгий, упрямый хозяин, который пытается взять свое и от этой жесткой и скудной природы.

Завойко сводил гостей на наблюдательный пункт в беседке, откуда видно, как входят в гавань суда.

— Так вы не боитесь здесь? — полушутливо спросил губернатор у Юлии Егоровны.

— Ах, нет! — ответила она и, улыбнувшись, с гордостью посмотрела на мужа. — Да и чего бояться!

— Из вашего окна виден океан. Пираты и китобои...

— Да, ваше превосходительство, мы уже видали и пиратов, и тех китобоев и научились обходиться с ними, — сказал Завойко, слегка сжимая кулак.

Завойко, стоя у входа в беседку и показывая то на море, то на свой дом, стал рассказывать о жизни в Аяне. Юлия Егоровна иногда вставляла короткие замечания.

Василий Степанович говорил, что океан — вот, рядом... А на берегу жилье, сарай с товарами, вешала для рыбы, домики служащих, женщины, дети... Чуть подалее, но тут же, его дом, который не зря строен из огромных бревен, как крепость; крепкие ставни, по ночам вооруженные сторожа у дома, у конторы и складов. Пушка заряжена всегда. Можно спать спокойно. А вот когда приходят суда, надо быть начеку...

Картина суровой жизни раскрывалась в рассказах мужа и жены. Они приехали в Охотск сразу после свадьбы.

— Да, так и живу, всегда пистолеты заряжены и с собой. Но уж и китобои у меня пикнуть не смеют, — говорил Завойко. — Мы обламываем их не только посредством кулаков и оружия... Нет, ваше превосходительство. Я давно уже подобрал особый ключ. Это народ, нуждающийся во всем: в дровах, в воде, в свежем мясе. В Охотске, где правительственный порт и кормится целая свора бездельников, ничего нельзя было сделать, так я предпочел убрать оттуда факторию и уехать. А тут уж сам себе стал полным хозяином и сумел заставить иностранцев кланяться. С американцами очень хорошо можно жить. Только себя в обиду не давать да знать, в чем у них нужда. И требовать, чтобы соблюдали уважение флагу!

Завойко подвел гостей к низкому зданию с застекленной крышей, распахнул туда дверь.

— Да вот и наша оранжерея, Николай Николаевич! Осторожней! А вот извольте видеть, какое тут произрастает произведение.

На земле лежал арбуз.

— Вот, ваше превосходительство, Николай Николаевич! То ж настоящий кавун! И я берег его для вас, чтоб порадовать им вас и вашу супругу, Екатерину Николаевну. Ну, знал, что при таком вояже могут быть заболевания цингой, и, забываясь о вашем здоровье...

Он взял нож у садовника и сам срезал арбуз.

— Так его и попробуем тут же на моей бахче, ваше превосходительство, чтобы как в деревне. Мы люди простые и не знаем тонких правил и просим нас простить, что служим дорогим гостям всем нашим сердцем.

— Арбуз действительно поразительный! — сказал Муравьев.

— Когда надо, то хлеб научишься сеять на болоте, и ловить рыбу, и кавуны выращивать, ваше превосходительство! — говорил Завойко, намекая на тот разговор о хлебопечении на Камчатке, который был у него с губернатором в Якутске, где Муравьев утверждал, что Камчатку надо обеспечить со временем своим хлебом.

Арбуз был на славу, и его тут же испробовали. Жена Завойко поднесла по букету цветов Екатерине Николаевне и Элиз.

— Это уже как наш покойный папаша, барон Егор Егорович был любитель цветов, то и у нас цветы не переводятся, где бы мы ни жили, — сказал Завойко.

Потом он рассказывал о ловле рыбы, о торге с тунгусами, о кабанчиках, которых он держит на мясо к зиме, чтобы кормить не только служащих, но и окрестное население.

— И раскормил не рыбой, как тут всюду заведено, мясо их рыбой и не пахнет, как, верно, ваше превосходительство, Николай Николаевич, вы уже заметили за обедом.

— Так разве это была свинина?

— То была свинина! Ей-богу! — воскликнул польщенный Василий Степанович.

Потом он показал картофельное поле.

— Чтоб прокормиться со своей семьей, я сам с Юлией Егоровной копаю этот картофель, и вот Михаил Семенович, — кивнул он на Корсакова, — не даст мне соврать, сами видели, как моя супруга Юлия Егоровна и дети собирали нынче картофель, и теперь мы с запасом и, бог даст, поэтому, может быть, выживем до весны...

Завойко, как поэт, рассказывал о заготовке черемши, вяленой оленины и о картофельном огороде. А уже вечерело, и солнце садилось. «Чудо, что за вид», — думал губернатор. Вдали море побледнело. Мыс и скалы уткнулись в него, как в белую стену. Выше мыса море стлалось несколькими белыми и голубыми полосами.

Чтобы губернатор видел, как охраняется Аян, Завойко велел сегодня выставить усиленную охрану. Хотя Василий Степанович спал по ночам спокойно и совсем не тревожился, что могут напасть китобой, но он верно угадал характер Муравьева, что тому нравится, когда все под охраной, хотя бы и некого было бояться.

«Да, Завойко полон деятельности, он весь в хозяйстве, он — хозяин! — думал Муравьев. — Настоящий хохол! Землю любит и чудеса на ней сделает! Он действительно простой человек, в нем нет ничего от наших пустых фанфаронов-дворянчиков, он человек дела, труженик...»

Глава восьмая

ГОРОДНИЧИЙ И ЗАВОЙКО

Вечером Муравьев беседовал с Василием Степановичем о делах. Кабинет у Завойко небольшой, оклеенный красными обоями с позолотой. Над столом портрет царя, а на стене справа, над бостонским кожаным диваном, — Фердинанда Врангеля; оба — в бронзовых рамках.

Муравьева сильно заботил Невельской, но он не хотел обнаруживать лишнего беспокойства. Разговор пошел о Камчатке, что в первую очередь нужно обсудить. Завойко знал, чего хочет от него губернатор. Проезжая на Камчатку, Муравьев вызывал его для беседы в Якутск. Там он ни с того ни с сего закатил Завойко «распекацию», а потом, когда заметил, что не на того напал, объяснил, что это у него обычай задать для начала «острастку».

В Якутске губернатор развил перед Завойко планы на будущее, сказал о предстоящем преобразовании Камчатки и обещал ему чин генерала. Теперь, после путешествия, губернатор, казалось, стал сдержанней на посулы, но по тому, как он дружески держался с Завойко, тот чувствовал: дело сладится.

— Итак, Василий Степанович, судьба Охотска решена! Охотск как порт неудобен! Я теперь прекрасно представляю, почему вам пришлось перенести факторию!

Муравьев помолчал, давая возможность почувствовать похвалу, скрытую в своих словах.

Но Завойко желал сейчас не комплиментов. Воротясь из Якутска, он думал о Камчатке и в беседах с женой не раз сам себя сравнивал с гоголевским городничим, который уже решил, что стал генералом и что ему черт не брат, когда все это были лишь басни Хлестакова.

«Однако я ему не Антон Антонович! — думал он про Муравьева и решил держаться крепко и не обольщаться губернаторскими посулами. — Губернатор, как приехал, еще ничего не говорил о деле».

Под делом он подразумевал производство и назначение на Камчатку. Правда, за обедом Муравьев хвалил Камчатку, но потом свернул на пустяки, может быть показывая, что не торопится. «Ну, так я тоже не тороплюсь, — решил Завойко, — до будущего года еще времени много, а если он не хочет, так мне предлагают хорошее место...»

— Вы знаете, Василий Степанович, — продолжал Муравьев, — что государь император повелел мне. Лишь теперь, побывавши на Камчатке, я понимаю всю глубину этого мудрого повеления.

Он долго говорил с Завойко в этот вечер. И наконец объявил, что напишет царю обо всем, что сделано в Аяне.

— Да вы еще посмотрите, все посмотрите, Николай Николаевич! — воскликнул воодушевленный Завойко, поддаваясь на этот ход. — Ведь я вам еще не все показал...

— Да уже я все, все и так понял! — ответил Муравьев и добавил категорически: — Мне больше ничего не надо. Я знаю вас и поручусь головой.

Он действительно решил писать царю о Завойко.

— Я уже говорил вам, что желаю видеть вас, императорского офицера, на службе короне.

— Но, ваше превосходительство, мне было бы жаль оставить Компанию.

Муравьев перебил его:

— Я слышал, вам предлагают пост главного директора колонии. Это заманчиво и выгодно. Но если государь все утвердит, а в этом нет никакого сомнения, то вы получите широкий простор для своей деятельности и широкую дорогу на государственной службе...

— У меня же дети, ваше превосходительство, и я должен подумать о них...

— Да, главный директор получает десять тысяч серебром. Я не могу дать вам такой оклад! Но с утверждением вас в новой должности вы получите чин контр-адмирала...

Муравьев снова метнул острый взгляд на собеседника.

У Завойко не было никаких оснований не верить, и он некоторое время отнекивался и сетовал на разные семейные обстоятельства, потом сказал, что уже думал много о предложении губернатора и просит дозволить еще подумать и все решить до расставания в Якутске, куда он должен был ехать сопровождать губернатора, что он не может оставить детей без средств...

— Вопрос должен быть решен! — заявил Муравьев. — Я пишу государю! Решайте быстрее!

Завойко слушал с живым интересом. Времени, конечно, было мало.

Муравьев потребовал Ваганова с картой, и дальнейший разговор с Завойко шел как с будущим губернатором Камчатки, которому открываются все планы. Василий Степанович не возражал. Муравьев объяснил, как надо укреплять Петропавловск и подходы к нему, сказал и про Тарьинскую губу, и про канал...

— Вас это не страшит?

— Так то ж мое дело, возводить и сооружать! — воскликнул Завойко. — Аян и Охотск тому живые свидетели. Так буду рыть канал, как только прибуду на Камчатку, только б были люди, хлеб и лопаты... И то уж дело вашего превосходительства.

— Да все будет... Каналы есть признак цивилизации! Белинский ратовал за каналы и за железные дороги!

«Вот он еще заставит пообещать, чтобы я ему железную дорогу на Камчатку выстроил из-за Белинского», — подумал Завойко.

По части канала он полагал, что решится все на месте, и к этим разговорам о канале отнесся скептически, хотя и не подал вида.

Завойко сделал в этот вечер много дельных замечаний о переустройстве Камчатки. Он даже сказал, что, конечно, если нападет английский флот, то при помощи канала будет непременно окружен и уничтожен.

«А Машин — размазия какая-то! — слушая его, думал Муравьев. — Вонлярлярский — болтун и фантазер».

Муравьев, между прочим, заметил, что Завойко отзывается о Вонлярлярском так же зло, как и тот о нем. Но ни Вонлярлярский, ни Машин ни в какое сравнение с Василием Степановичем не шли.

Завойко был опытнейшим морским офицером. До перевода в Аян он дважды — еще младшим офицером — совершал кругосветные переходы. В Аян Завойко ехал сухим путем через Сибирь, после женитьбы. Завойко бывал прежде на Камчатке и представлял многое, о чем говорил губернатор. Он соглашался со всеми его планами и обещал приложить все усилия, чтобы обстроить порт и город, создать две линии батарей, укрепить вход в гавань и в бухту... Тут же стали высчитывать, сколько нужно людей.

Было уже поздно, когда Муравьев, которого во все время беседы не покидала мысль о Невельском, спросил, что же теперь делать с поисками «Байкала».

— Я жду Орлова со дня на день, — ответил Завойко. — Уж он без сведений о «Байкале» не вернется. По моим расчетам, он вот-вот должен быть.

Муравьев сказал, что не может тут задерживаться, что охотно прожил бы еще неделю, но дела требуют в Иркутск.

— Наговоримся с вами в пути, когда станете показывать мне новую дорогу...

Речь зашла об отправке. Завойко обещал не задерживать. Кони были уже приготовлены и паслись в тайге.

— А кто такой этот Орлов? — вдруг спросил губернатор. Он уже заметил, что об Орлове говорят в Аяне так, словно это какой-то знаменитый путешественник и следопыт.

— Бывший штурман, — ответил Завойко.

— Как же он найдет «Байкал» на лодке, когда корабль не мог сыскать его?

— Да! Это такой человек, ваше превосходительство!

— За что сослан?

— За убийство!

— За убийство?

— Да, он с любовницей своей убили ее мужа, хотя это и сомнительно.

Муравьев покачал головой и подумал, что Завойко не церемонится с этим Орловым и как ссыльному дает вот такое поручение плыть через море и что это, видно, тут в порядке вещей. Муравьев уж и сам привыкал к этому взгляду сибирских чиновников, по которому ссыльных за людей не считали. Муравьев тоже сплошь и рядом пользовался услугами образованных ссыльных. В надежде на помилование или на прощение, которая никогда не покидает ссыльных, те готовы выполнять самые трудные поручения. Этим пользовались с огромной выгодой все, в чьем ведении бывали ссыльные.

Завойко показал карту лимана Амура, составленную Гавриловым, и рассказал о подробностях его экспедиции. Муравьев, который казался во время разговора о гибели «Байкала» расстроенным, оживился, но не оттого, что услышал доводы Завойко. Он почувствовал досаду и гнев при виде карты Гаврилова. Ее до сих пор как бы скрывали от генерал-губернатора. Хотя об экспедиции и о ее результатах Муравьев слышал, но карта хранилась в правлении Российско-американской компании в Петербурге, а копия в компанейской фактории, здесь, и сейчас ему показалось оскорбительным, что до сих пор его, губернатора, никто не уведомил о ней.

За время своего путешествия Муравьев начинал ненавидеть Компанию. Она тут была всесильна. Правительственные чиновники без ее поддержки ничего не могли сделать, ничего не значили. Служащие Компании без труда могли подорвать любое начинание.

Он твердо решил назначить Завойко камчатским губернатором, перехватить этого администратора у Компании. Уж Василию-то Степановичу Компания противодействовать не будет! А что он дельный человек — сомнений не было. «Может быть, и не очень образованный,— рассуждал губернатор,— но это, кажется, и лучше... Прост, честен, в нем нет никакой претензии».

Но он не стал говорить о Компании. В другой раз! Сегодня уже поздно. А Завойко говорил, что новая аянская дорога хороша, что он в свое время тоже поднял вопрос об Амуре и побудил отправить экспедицию Гаврилова и что, оказалось, Амур негоден, и поэтому сухопутная дорога на Маю требует внимания, средств и улучшения.

— Ее надо заселить, ваше превосходительство!

«Да, вот карта, за которой охотятся англичане, — думал Муравьев, и его снова охватывала обида. — Я же впервые вижу ее не из рук своего чиновника, а из рук служащего Компании... Делать нечего, если «Байкал» погиб. Придется сидеть на аянской дороге, губить шесть-семь тысяч лошадей в год... Впрочем, еще посмотрим...»

Губернатор прошел в спальню. Екатерина Николаевна при свете свечи читала Поль де Кока.

Мысли о том, что в России несовершенно управление, что дворянство не понимает интересов страны, что чиновнический аппарат из рук вон плох, пришли в голову Муравьеву.

«На самом деле! Мне — генерал-губернатору — ни разу не показали карту Гаврилова! Невельской не мог видеть этой карты, судно его из-за этого разбилось. А карты лежат у начальника Аянской фактории и в правлении Компании... Невельской и Баласогло правы, — спустившись с севера на Амур, русские освоят этот край. Но Амур надо занимать под тем предлогом, что он нужен лишь как путь на Камчатку.»

— Ну, как тебе понравилась хозяйка? — спросил Муравьев у жены.

— Очень милая дама, — ответила Екатерина Николаевна, поднимая голову и откладывая книгу.

— Кажется, с большим характером, — заметил губернатор.

Жена его улыбнулась.

— Завойко соглашается быть камчатским губернатором! — сказал Муравьев. — Он труженик и хозяин. Разве можно его сравнить с какой-нибудь петербургской расфранченной дрянью? Из хохлов, своим горбом вытрудил чины, проводит дороги... И с чувством юмора... Врангель не дурак, знал, за кого племянницу выдал. Он заметил дельного человека. А вот я теперь отберу его к себе. Он улыбнется Компании! А как ты думаешь, почему баронесса Врангель вышла замуж за хохла? — спросил он жену.

— Любовь, мой друг!

— Не только любовь. Дядя-адмирал ей такую любовь бы прописал! Он не только на баронессе, он на самой Компании женился. Он замечательный человек, и практичный и безответный, какого и надо было Врангелю. Тот

живо это угадал... У Юлии отец умер, семья была большая, вот и решили выдать ее за своего офицера и отправить их сюда, во-первых, чтобы был тут свой глаз, потом предполагали, что Завойко освоится и при покровительстве дядюшки станет правителем всей Компании на Аляске. Здесь он только практику проходит, а карьера ему назначена на Аляске. Вот поэтому и выдали за него баронессу Врангель. Чтобы семье покойного отца ее был кусок хлеба. Немцы зря, без расчета, не возьмут русского зятя. Но Завойко не дурак и уйдет ко мне!

— Он очень понравился Элиз.

— Ну, Элиз и Иннокентий понравился. Она во всех влюблена, наша Лизавета.

Муравьеву не нравился роман Элиз с Мишей. «Не дай бог, он всерьез влюбится... Отвечать перед родственниками за такой брак я не желал бы. О люди, люди! Только недосмотри...»

Он вспомнил, как однажды требовала Элиз, чтобы Миша был при ней. Разговор был в Иркутске, когда они познакомились. Элиз заявила губернатору, что она одинока и просит, чтобы Мишель был всегда при ней... Из любви к Мише пустилась в этот путь?

Завойко тем временем на мезонине шепотом передавал жене подробности своей беседы с губернатором.

— Да уж буду я генералом! Ей-богу, буду! Как Антон Антонович захотел, чтобы ты была у меня генеральшей! Только бы Муравьев не оказался Хлестаковым.

Решено было, что утром Завойко даст согласие губернатору и отпишет сразу же в правление Компании Василию Егоровичу — брату Юлии, а также дядюшке Фердинанду Петровичу, что хочет уходить из Компании.

— Довольно Завойко быть в Компании,— шептал Василий Степанович,— пусть дядюшка Фердинанд Петрович прочтет, что люди уже обратили внимание на Завойко и что Завойко сам будет адмиралом...

Ему хотелось доказать дядюшке, что не из его рук, а своим умом и своими трудами добился он своего счастья и достатка.

А Юлия Егоровна рассказала, что она долго беседовала с Муравьевой и что та ей опять помянула, как Николай Николаевич доволен, что встретил такого человека, как Завойко, и прочит ему будущее...

А Элиз и Корсаков сидели в саду в беседе и говорили по-французски при свете луны. После долгой разлуки они впервые остались наедине.

Темнели длинные стволы редких берез, на море виднелись огни «Иртыша», и сам корабль, стоявший на якоре, то исчезал, то появлялся в клочьях плывущего тумана.

Элиз очень нравилась Мише, но он знал, что его бабюшке с магушкой и генералу совсем неугодна была бы его женитьба на ней, если бы даже она оставила сцену. Но в то же время душа его ликовала, так приятно было, так льстило, что Элиз с ним.

А Элиз чувствовала, что путешествие идет к концу и с ним кончается все...

Глава девятая

ВОЕННЫЙ СОВЕТ В АЯНЕ

— Как быть с поисками «Байкала», господа? — спросил Муравьев. — Что делать в том случае, если Невельской погиб? Вот два вопроса, на которые мы должны ответить...

Ваганов вызывался идти к устью Амура на «Иртыше» и немедленно принять меры к розыску Невельского и его команды. Он бывал вблизи тех мест с Миддендорфом и снова рвался туда. Остальные согласились с мнением Завойко, что следует ждать возвращения Орлова и что слухи еще могут быть ошибочны. Ваганову возражали, что дело к осени и всякие поиски сейчас, когда вот-вот бухты и заливы начнут покрываться льдом, окажутся бесполезными.

— Если «Байкал» разбит, надо команду искать сухим путем, — говорил Завойко.

Мысль о морской экспедиции была отвергнута. Василий Степанович обещал, как только Орлов прибудет, в случае если он не доставит сведений, отправить людей берегом. Долго говорили о том, как поступить, если Невельской погиб и если на самом деле команду «Байкала» вырезали гиляки. Наконец все было решено.

— Итак, господа, благодарю вас за поданные мнения, — сказал Муравьев. Он обратился к Завойко: — Василий Степанович, дела закончены, и я еду в Якутск.

Грустное чувство охватывало Муравьева. Жаль было Невельского и жаль так славно начатого дела. Рушился еще один замысел... И все же очень интересно было и впереди: видеть аянскую дорогу, плод трудов Завойко, узнать, как в дремучей чаще, на реках живут привезенные сюда крестьяне. Это надо было увидеть и знать. Муравьев считался с необходимостью и умел находить интерес во всяком деле. Послезавтра в путь... Прощай, море...

— Ну, а теперь, Василий Степанович, о делах Компании! — сказал губернатор, отпустивши членов военного совета. — Вчера я не стал касаться этого вопроса.

— Ох! Уж я давно желаю пожаловаться вам, ваше превосходительство! Эта компанейская деятельность вконец меня изнурила и лишила здоровья и губит меня и всю мою семью...

Губернатор хотел видеть ту сторону деятельности Завойко, которой он был известен и за которую был так ценним Компанией. По виду Аяна можно было о многом догадаться.

Завойко стал рассказывать о своей хозяйственной деятельности.

Впервые за время своего путешествия губернатор почувствовал себя в сфере коммерческих интересов Компании. Тут все дышало интересами ее пайщиков. «У Компании нет и не может быть той цели, — думал Муравьев, — что у меня...»

И он знал теперь, что когда-то во главе Компании, основанной для добычи пушнины на американских землях, открытых Шелиховым, стояли иркутские купцы. После смерти Шелихова правителем и главой всего дела была вдова и спутница Шелихова в его великих открытиях. Но со временем петербургские вельможи прибрали все к своим рукам, перевели главное правление из Иркутска в Петербург. Они стали получать миллионы чистого дохода. За последние годы дело, начатое иркутянами, «перешло», как выражался Иннокентий, порассказавший кое-что губернатору и подливший масла в огонь, «в руки лютеран» — придворных немцев. Компания была монополистом, не знала конкуренции. Акционеры ее богатели, а служащие в «колониях» думали лишь о сохранении дивидендов на прежнем уровне.

Муравьев заметил, что Завойко всегда жалуется на что-нибудь, охает и клянет свою судьбу. Поначалу это удивляло губернатора. Но теперь он понял, что это жалобы человека, который одновременно отлично все делает и преуспевает. Жалобы и проклятья не мешали Завойко жить и обзаводиться всем необходимым. И не только обзаводиться, но и стяжать себе добрую славу в Компании, быть на отличном счету.

Василий Степанович надел фуражку и повел губернатора.

— Ох! — вздохнул он, подходя к огромному амбару. — Боже мой! Сейчас увидите все наши грехи, что мы еще не успели вывезти, хотя тысячу лошадей уже отправили и возим все лето и всю осень...

Сильной рукой Завойко распахнул широкую дверь бревенчатого пакгауза. До потолка громоздились кожаные тюки с пушниной, привезенные из американских владений. Это все было добыто охотниками: индейцами, алеутами и русскими на Аляске, Прибыловых и Алеутских островах. Со времеш Шелихова осталась та же упаковка, та же сортировка.

— Вот морские коттики! — сказал Завойко. — Отсюда они пойдут по новой дороге на Маю, в Якутск, а оттуда в Иркутск и Кяхту для продажи в Китай. Эти коты — наше золото, чем богата Компания и все акционеры. — Завойко стал рассказывать, как идут запросы из Петербурга, много ли забито котов, сколько отправлено, каких, куда... — А как этих котов бьют нынче все иностранцы — то бпшь силеры¹, как они себя сами называют, — так про то ни слова, хоть я и писал уже не раз. Наши богатства разве так надо охранять! Право же, ваше превосходительство, если не спохватимся вовремя, то все погубим...

Дощатый пол в узких коридорах между тюками был выструган и чист. Пахло салом шкур и свежерубленным деревом. Эти два запаха — новых построек и пушнины — преследовали губернатора все время, пока он обходил Аян.

«Так вот они, знаменитые амбары Компании!» — думал он, глядя на груды драгоценных мехов.

Муравьев не был достаточно богатым человеком, чтобы не завидовать тем, кто получает миллионы от прода-

¹ Котиколов, охотник за котиками (искаж. *англ.* sealer).

жи этих шкур, не зная даже, как они добываются. В душе у него накипело против Компании. Брать миллионы и ничего не давать! Завойко, родственник председателя Компании, и тот уверяет, что богатства не охраняются, гибнут, что иностранцы разбойничают!

Другой сарай был заставлен бочками с красной рыбой.

— Только что закончился лов ее, — сказал Завойко. — Это хлеб здешнего населения. Так же как и на Камчатке! Я наладил сам вылов и сам плел невода, учил всех, и теперь все сыты.

Часть сарая была отведена под магазин, где хранились товары: попроще — для туземцев, а получше — на продажу иностранным китобоям. Завойко сказал, что среди шкиперов есть у него знакомые, и что все они большие каналы, но его боятся, и что сигары, которыми он вчера угощал, доставлены из Манилы одним из этих шкиперов, и что тысяча штук будет упакована Николаю Николаевичу к отъезду, так как таких сигар нельзя сыскать в Петербурге ни за какие деньги.

Солнце поднялось высоко, когда губернатор и Завойко вышли, закопчив осмотр. Море, ярко-синее, как лагуна, ослепительно сверкало. Листва и иглы опадали. На вершинах сопок отчетливо видны были лиственницы и белые березы, издали похожие на слабую щетину.

— Мне приходилось кормить все население по побережью, — рассказывал Завойко. — Если же нет улова, случается несчастье. Тогда я вызываю оленских тунгусов из глубины материка и снабжаю население оленьим мясом на выгодных условиях.

— На выгодных условиях? — переспросил губернатор.

— Да, на весьма выгодных... К тому же раздаю рыбу, помогаю окрестному населению, пекусь об инородцах, так как сознаю, что они тоже есть подданные императора.

А море, едва вышли из строений, напоминало о Невельском...

— Что же представляет собой Аяп в военном отношении? — спросил Муравьев.

— Очень выгодный пункт. Сопки дают возможность господствовать над морем!..

Но чем больше говорил о своей деятельности Завойко, тем мрачней становился Муравьев. На душе его было тяжело, словно он предчувствовал какое-то новое, еще неизвестное несчастье...

— Завойко вчера говорил, что слухи, видимо, ложны, но сегодня сказал, будто бы один тунгус видел гиляков, на глазах которых «Байкал» потерпел крушение по выходе из лимана, а команду действительно перерезали,— говорил губернатор, возвратившись домой.

Екатерина Николаевна с тревогой посмотрела на мужа.

— Я как без рук,— в горькой досаде воскликнул Муравьев.— Завойко прекрасный хозяин, но заменит ли он Невельского! Мне нужен Амур...

Екатерина Николаевна много слыхала о Невельском и давно ожидала встречи с этим офицером. За последнее время муж и все его спутники только и говорили о нем, и она желала видеть этого смелого моряка, о котором было столько разговоров.

— Хотя бы карты описи сохранились! — вымолвил Николай Николаевич.

Екатерина Николаевна отлично понимала, что теряет ее муж с гибелью «Байкала». Он возлагал большие надежды на путешествие этого судна! Сколько неприятностей ждет мужа в Петербурге — ведь Невельской ушел на открытие без инструкции. Она представляла себе гибель этого отважного офицера там, на подводных скалах Амурского моря, пожертвовавшего собой, как ей казалось, ради ее мужа. Теперь надо ехать, впечатлениями дороги рассеять гнетущее чувство. Но ей жаль умного, смелого человека. Она была по натуре добра, часто заступалась за тех, кого наказывал муж...

— Ты расстроена?

— Все это очень неприятно!

— Да... Невельской погиб из-за нашей вечной небрежности и опасений!..— воскликнул Муравьев.— Теперь планы мои подвергнут сомнению, и я буду выглядеть пустозвоном.

Вечером Муравьев пригласил к себе Завойко.

— Какие новости? — спросил он.

— Да все подготовлено, и коней уже пробовали завьючивать,— ответил Завойко.

— Я не об этом, Василий Степанович.

— Приготовлена «качка» для Екатерины Николаевны. Удобно будет ехать, как в гамаке.

Муравьев помолчал, хмурясь.

— А «Байкала» все нет? — тихо спросил он.

— Нет, ваше превосходительство,— ответил Завойко с таким выражением лица, словно хотел сказать: «Простите, ваше превосходительство, тут я ничего не могу...»

— Я доволен вашей деятельностью, Василий Степанович. Но вот вы живете здесь много лет...

— Семь лет, ваше превосходительство!

— А не занимаетесь вопросами Амура,— продолжал Муравьев.

— Да как же не занимаюсь?! — изумился Василий Степанович.— А кто же первый возбудил вопрос? Я день и ночь думал об этой реке и в свое время развил в этом направлении деятельность.

— Что же это за деятельность?

— Да я посылал товары, людей к мысу Коль. Вот и нынче туда поехал Орлов. Мыс Коль у самого лимана. Совсем неподалеку! Я всегда помнил об этом.

— Но не хотели бы вы еще раз заняться исследованием самого устья?

— Конечно, мог бы! Я согласен вполне, что надо еще раз исследовать...

Муравьев слушал, постукивая пальцами по столу.

— Ведь если лиман доступен, это было бы отлично? — спросил оп.

— Только то невозможно! — ответил Завойко.

— Но если бы?

— Конечно, было бы отлично! — подхватил Василий Степанович.

— Так нужно произвести исследования снова! Ведь могла быть ошибка! Поймите! — Муравьев прошелся по комнате.— В будущем центр тяжести международных отношений перенесется с Запада на Восток. Будущее Тихого океана огромно. Как мы можем быть безразличны к судьбе наших владений на Востоке?! Нам надлежит занять пункт, господствующий на океане. Нам нужен Амур! Пусть, пусть недоступен лиман. Перегрузку будем делать на устьях. Мы должны Амуром подкрепить Камчатку. Подвоз всего необходимого по Амуру нам необходим!

— Да я же все меры уже принимал! Так, ваше превосходительство, уж если нужно новое исследование, так и будем делать, как вы желаете. Исследование Амура мы можем продолжать с Камчатки! Там у нас будут суда, и это вполне возможно сделать. Уж как я начал это дело,

то не позволю пропасть ему и, будучи на Камчатке, не оставлю дела без своего внимания. Орлов бывал там и прежде, он опытный человек, и я опять его туда пошлю.

Но Завойко в душе тревожился. «А что, если дядюшка ошибся?» — думал он. Сам он верил до сих пор Фердинанду Петровичу, как великому ученому.

Отпустив Завойко, Муравьев почувствовал, что на душе у него легче. Муравьев ценил родственные связи Завойко с семьей Врангелей. Он надеялся, что для Камчатки они будут полезны. «У меня пока ни тут, ни там ничего нет, а у Компании и средства, и суда, и товары». По всем признакам нельзя было и желать лучшего губернатора для Камчатки.

Он разглядывал карту Камчатки, потом перевел взор на Аляску, на Калифорнию, на острова южных морей.

Но стоило взглянуть туда, где прямой синей дорогой из Забайкалья к морю прочерчен был Амур, как настроение падало. Великие планы общения с огромным миром будущего проваливались. Чем лезть через хребты, губить по несколько тысяч лошадей в год на тракте, чего бы проще и удобней сплавать все по реке! Он чувствовал, что без Амурской реки все дутое, все пустое.

Вечером в Аян стали прибывать якуты с лошадьми, которых пасли они в отдалении от Аяна, за хребтом, на лугах. Появились олени. Завойко, готовясь к отправке губернатора, проверял копыта лошадей, сам ходил в шорную, где срочно заканчивали делать особые седла, и обо всем докладывал губернатору.

Рано утром Муравьев поднялся не в духе.

— Ты опять так грустен? — ласково тронув руку мужа и заглядывая ему в глаза, спросила Екатерина Николаевна. — Ведь мы скоро будем дома! Там ждет нас так много интересного. И не обижай их, этих простых, преданных тебе людей...

— Жаль Невельского! — ответил он. — Без него я как без рук.

Оставив дела, губернатор отправился на прогулку; он ушел к морю и долго, в одиночестве, ходил по песчаной отмели, поглядывая вдаль.

— Ни паруса, — сказал он жене, воротясь.

Элиз сидела тихо — она знала, что погибли прекрасные молодые офицеры и в Петербурге во многих аристократических домах наденут траур.

Муравьев рассказал, что по дороге изругал Струве. Он подошел к столу, стал разбирать бумаги.

— Все рухнуло. Все мои надежды погибли...

Екатерина Николаевна хотела теперь лишь одного — чтобы муж уехал отсюда поскорее, в дороге ему будет легче.

— У нас в России вот так всегда из-за подлости и трусости гибнут лучшие люди... — сказал он. — Если даже он жив где-нибудь, то теперь, после гибели судна, понесет ответственность... Конечно, никакие исследования долго не будут теперь возможны...

Муравьев решил, что, чего бы то ни стоило, надо искать Невельского. Он уже отдал приказание Завойко немедленно, не ожидая Орлова, снарядить берегом экспедицию за счет правительства на поиски людей, спасшихся с «Байкала».

За завтраком Муравьев сидел молча, не вмешиваясь в разговор жены с Элиз. Камердинер подал икру, жареные клешни крабов и водку. Губернатор выпил рюмку и стал закусывать. Вдруг на улице раздался крик:

— Корабль в море!

За столом все замерли. Муравьев вскочил с салфеткой на груди и бросился к окну. Поднялись и женщины.

— Николай Николаевич! — взбежал, гремя новыми солдатскими сапогами, Корсаков. — «Байкал» показался у входа в Аянскую гавань...

— Трубу! — приказал Муравьев, протягивая одну руку за трубой и ударом другой распахивая окно.

Екатерина Николаевна подала трубу. Вдали виднелось судно под всеми парусами.

— Корабль! — вымолвил губернатор. Он взглянул на жену мутным, тяжелым взором отчаявшегося, который не верит в избавление и просит отзыва и подтверждения.

Лицо Екатерины Николаевны сияло.

Муравьев решительно, всем корпусом, повернулся к Корсакову:

— Немедленно отправляйтесь навстречу!.. Живо!.. Да!.. Передайте ему инструкцию немедленно. Приготовить мой катер! Завойко ко мне! Где Струве?..

Корсаков быстро вышел.

Чиновники и офицеры суетились во дворе. Корсаков, отдавая распоряжения, направился к берегу. К бухте бежали люди.

— Василий Степанович! — вскидывая обе руки, радостно воскликнул Муравьев, обращаясь к вошедшему в парадной форме Завойко. — Едем встречать...

— Катер готов, ваше превосходительство! — доложил тот.

Муравьев заметил, что Завойко волнуется.

— Катенька, я еду сейчас же к Невельскому, — сказал жене губернатор, целуя ее в лоб. — Собирайтесь все, господа! — обратился он к своим спутникам, вошедшим вслед за Завойко, чувствуя, что приближается историческая минута.

— Элиз, Элиз! — воскликнула губернаторша, проводив мужа и подходя к мадемуазель Христиани, смотревшей в окно, и обнимая ее за плечи. — Какое счастье, они живы!

Слезы радости заволокли ее глаза.

В окно видно было, как небольшое судно огибало косу, на которую выбегали волны. Шлюпка с Корсаковым уже направлялась к нему.

На берегу губернатора ждал катер с гребцами. Все уселись. Завойко сел рядом с рулевым.

— Весла на воду! — скомандовал он. — Навались!

Гребцы что было сил налегли на весла. Завойко поднял на корме андреевский флаг. Катер понесся. Берег, скалы, лес в желтых осенних пятнах поплыли прочь. Дома фактории с белыми широкими крышами и новые светлые строения Аяна становились все меньше. Навстречу приближался «Байкал». Вот уж видны офицеры на юте, густая толпа офицеров, на солнце поблескивают пуговицы и кокарды. Сразу видно, что это не компанейское судно, где обычно всего один штурман, а что пришел балтийский военный корабль. Офицеры не спускают с катера подзорных труб. Впереди офицер с рупором, взмахивая рукой, иногда что-то приказывает, оборачиваясь к матросам. Это, конечно, сам Невельской!

Черный борт судна подымается все выше. Уже видны белые буквы на корме: «Байкал».

— Он! Прибыл, цел и невредим! — проговорил Муравьев, щури свои острые глаза и чувствуя, что восторг и волнение охватывают его.

Теперь уж ясно видно крупный нос под фуражкой и загоревшее лицо Невельского. Капитан ниже всех, но в нем что-то богатырское. У него сейчас такой вид, словно он притащил на себе все это судно вместе с командой и офицерами.

На палубе раздалась слова команды. Матросы строились с ружьями. Готовилась официальная встреча губернатора.

— Геннадий Иванович! — подымаясь в шляпке, с нетерпением воскликнул Муравьев. — Где вы были? Я всюду искал вас! Откуда же вы явились?

Невельской отдал рупор, кинулся к борту и, положив на него обе руки, вытянул шею.

— Сахалин — остров! — раздалось над морем. — Вход в лиман и в реку Амур возможен для кораблей с севера и с юга! Вековое заблуждение рассеяно! — хрипло кричал он, видимо сильно волнуясь и торжествуя свою победу. — Истина обнаружена! — И он поднял руку.

— Суши весла! — приказал раскрасневшийся Завойко.

На судне грянула команда. Звякнули ружья почетного караула. Шляпка подошла к уже поставленному парадному трапу. Офицеры кинулись к губернатору, но тот отстранил их руки и, не держась за поручни, взбежал по трапу и кинулся с протянутыми руками к Невельскому...

— Дорогой мой Геннадий Иванович! — воскликнул он, горячо обнимая капитана. — Как я рад! Боже, как я рад!

Невельской загорел и на вид очень молод. Из-под черного лакированного козырька гордо сверкают юные синие глаза. Лишь привычная дисциплина и привычка самому повелевать держала его, как оковы, но от этого пылкая душа бушует и рвется еще сильнее. Голова его приподнята с решительным и энергичным выражением. Черты его лица крупны и приятны.

— Получили инструкцию, Геннадий Иванович? Ты передал инструкцию? — строго обратился Муравьев к Корсакову, вытирая платком глаза.

— Да, ваше превосходительство. Только что.

— Мы ждали ее в лимане... — спокойно заметил Невельской. Почувствовалось, что это человек твердый и с характером.

— Вы встретили Орлова?

— Да, но и он не доставил инструкцию, а «Байкал» зря стоял у входа в лиман и ждал...

Невельской посмотрел на Завойко.

— Знакомьтесь, Геннадий Иванович,— представил Муравьев Завойко.

Две крепкие руки протянулись друг к другу. Капитан рад был встрече, зная, что Завойко один из русских пионеров на охотском берегу.

— Так я хочу немедленно видеть карты! — сказал губернатор.

— Идемте в каюту, Николай Николаевич, идемте, господа,— пригласил капитан всех гостей и своих офицеров.

Невельской, сбегая по трапу, остановился посередине, как бы не пуская дальше губернатора.

— Стопушечные корабли войдут в устье Амура! — вдруг воскликнул он, радуясь, как ребенок, приблизив лицо к лицу Муравьева, который от неожиданности несколько отстранился, а Невельской, не замечая, подергивал его за пуговицу на мундире, словно губернатор слушал его недостаточно внимательно.— Дуб растет на берегах!

Он сбежал и распахнул дверь капитанской каюты.

Глава десятая

НА БОРТУ «БАЙКАЛА»

Кабюта была обшита полированной желтой финляндской сосной. Из нее же, в тон стенам, стол, мебель и полки с книгами.

Тут целая выставка предметов, которые не сразу различишь, хотя яркое осеннее дальневосточное солнце льется в иллюминаторы через обручи сверкающей желтой меди. На стенах — низкие конические белые шляпы из бересты, чуть ли не в аршин диаметром, с черными и красными аппликациями из березовой заболони, кожаные и деревянные щиты, старые деревянные латы, покрытые лаком, копы с древками из бамбука и со стальными наконечниками чуть ли не в фут длиной, трубки с длинными мундштуками из бамбука же и с маленькими медными чашечками, ки-

сеты и сумы из оленьей кожи, сапоги и куртки из перпичьих шкур, напоминавших желтый бархат, халат из рыбьих кишок, похожий на топорщившуюся пергаментную бумагу, испещренную швами, как татуировкой.

Чувствовалось, что это каюта человека, вернувшегося после открытий из стран таинственных и своеобразных.

В углу — узкий темный штурманский стол с ящиками для карт, немного похожий на комод. Посредине — другой, обшитый клеенкой. Таков маленький салон при каюте капитана. Тут все сдвинуто тесно, но все есть, даже деревянный диван и кресло.

— Прежде всего, чей Амур, Геннадий Иванович? — спросил Муравьев, войдя в каюту и держа обе руки с раскрытыми ладонями, словно желая схватить ими капитана за плечи.

— Ничей, Николай Николаевич! — в тон ему воскликнул Невельской, точно так же раскидывая ладони. — На устье Амура живут независимые гиляки, дани никому не платят и никакой власти над собой не признают. Мы встречали гиляков, которые знают кое-что по-якутски и даже по-русски!

— Быть не может!

— Клянусь богом, Николай Николаевич!

— Вы входили туда на судне?

— Мы исследовали реку на шлюпках, транспорт остался в лимане, ждал инструкции...

Тут капитан осекся; казалось, он чего-то не договорил.

Между тем пожилой штурманский офицер, возившийся у штурманского стола, достал оттуда пачку карт и развернул одну из них перед губернатором.

— Садитесь, господа! — приказал Муравьев своим спутникам и сам опустился в затянутое парусиновым чехлом капитанское кресло. Офицеры «Байкала», уступая места у стола гостям, держались у стен и даже отступали в нишу, задернутую занавесью. Все ожидали, тая дыхание, и слышно было, как шелестят разворачиваемые штурманом листы.

— Где вход в лиман? — спросил Муравьев.

— Вот и вот, — показал капитан в разных концах небольшой карты.

— Как? Два? И с юга?

— Так точно, ваше превосходительство. Вот вид с юга...

— Так Сахалин остров?

— Так точно...

— И пролив глубокий?

— Шесть сажен на бере в малую воду.

— А с севера?

— Вот вход в лиман с севера...

— Это в лиман. А в реку?

— А в реку из лимана вход удобен повсюду. На юг и на север ведут два широких фарватера...

Молодые офицеры заулыбались, чувствуя восторг губернатора: чуть заметное оживление пронеслось по каюте, но тотчас же все, как по команде, стихли, выказывая почтительность и дисциплину. Снова почувствовалось, что это балтийский корабль. Офицеры тут, как знал Муравьев, на выбор взяты были капитаном в Кронштадте, и большинство из них служило с великим князем и Литке на знаменитой «Авроре».

— Так где же решилось? — отрываясь от карты, спрашивал губернатор.

— Вот, у входа в лиман, с севера; вот фарватер, оказалось, глубина двадцать девять футов.

Завойко, положивши ладонь на стол, посмотрел на карту.

— Так здесь ваше открытие? — тыча пальцем в карту, спрашивал губернатор.

— Здесь наше первое открытие! — отвечал капитан. — Мичман Грот, — представил он белокурого великана с румяными щеками, — первый обнаружил этот фарватер... А вот наше второе открытие. Пролив в Японское море...

Все стали рассматривать карту. Раздались первые вопросы «свитских».

— А-а! Так тут Сахалин... Позвольте, позвольте... Вот так его берег протянулся?

— Остров?.. А глубина...

— Ну что вы скажете!

— Вы говорите, вот Сахалин? — раздавались голоса.

— Нет, не здесь, это южный берег Амура. Вот Сахалин! — объяснил Муравьев.

— Вот южный берег, господа, а вот северный, — заговорил Невельской. — Это общая картина. Есть подроб-

ные карты... Александр Антонович, — обратился он к пожилому штурману, который понял его сразу.

Капитану задали еще несколько беспорядочных вопросов.

— Дозвольте, ваше превосходительство, изложить ход исследований в том порядке, в каком они производились, — обратился капитан к губернатору, когда главное было ясно, но любопытство еще далеко не улеглось.

— Слушаю вас, мой дорогой Геннадий Иванович. Слушаю, со вниманием и нетерпением!

Первый жадный и тревожный интерес был теперь утолен. Начинался официальный доклад.

Штурманский офицер доставал новые карты и быстро и почтительно раскладывал их.

— Ваше превосходительство, мы начали исследование устьев Амура у восточного побережья Сахалина на широте пятьдесят один градус тридцать семь минут, — заговорил капитан.

Нервное и загорелое лицо его, незадолго перед тем такое радостное, необычайно изменилось. Только темные синие глаза остро и живо поблескивали, как у бойца перед боем. Но и этот взор постепенно менял свое выражение. Большой лоб, прямой нос с горбинкой, глаза, запавшие под светлые брови, жесткие морщинки у губ — все выражало суровый фанатизм, так необычайно преобразивший лицо капитана. Что-то глубоко славянское, степенное и вдохновенное было в нем, хотя, быть может, в то же время походил он несколько и на какого-то жителя северной Европы, на ирландца или норвежца, или, может быть, в нем было что-то от немецкого капитана.

«Черт знает, как он меняется, — подумал Муравьев. — Несмотря, что вышколенный, а кажется, кипятик...»

Ничего не напоминало сейчас того живого, сияющего офицера, который только что, не в силах сдержать восторга, хватал губернатора за пуговицы и торопился сообщить на трапе главнейшее...

В ранние годы, да иногда и потом, пылкость, порывистость приносили ему много горя. Он рано почувствовал, что должен воспитать в себе систему, учиться все излагать терпеливо, последовательно, как это требовалось от всех и всюду. Сколько горя перенес он в первый год, в корпусе, когда приехал из деревни, как скучал, му-

чился! Было очень трудно, и пришлось переламывать себя. Потом — море... Нет, кажется, на свете более совершенных средств для исправления нетерпеливых людей, как плавание на парусных судах.

И он научился с годами смирять свою порывистость, а чтобы не заговариваться от возбуждения, заставлял себя излагать последовательно свои мысли товарищам или писал докладные записки начальству о проблемах научных и политических, важных для России, с тем же терпением, точностью и последовательностью, основываясь на научных сведениях и на собственных наблюдениях и статистических выкладках, как, основываясь на квитанциях и на расписках, иногда так же собственного сочинения, делали это другие морские офицеры, составляя рапорты о расходах и износах казенного добра, снастей и артиллерийских припасов. И морское начальство, ценя и те и другие бумаги одинаково, считало Невельского дельным и способным офицером. Вот именно так сейчас он взял себя в руки.

— Почему мы, подойдя к восточному берегу Сахалина, начали исследование именно отсюда, с широты пятьдесят один градус тридцать семь минут, тогда как инструкцией, неутвержденную копию которой я получил тринадцатого мая в Петропавловске-на-Камчатке, повелевалось мне произвести опись северной части острова Сахалина, юго-восточного побережья Охотского моря и лимана, а также устья реки Амура? Иван Федорович Крузенштерн, считавший, что Сахалин полуостров, предполагал, что именно тут, на девять минут севернее пункта, к которому мы подошли, вытекает и впадает в Охотское море один из рукавов реки Амур, то есть что одно из устьев может находиться на восточном побережье полуострова, о чем он не раз говорил нам в корпусе, однако утверждая, что это требует тщательной проверки, что, быть может, Сахалин разделен проливом и представляет собой два разных острова. Мы должны были проверить эти предположения.

Как странно и смешно было слышать обо всех этих ученых ошибках сейчас, когда только что все видели карту с поразительными новостями.

— Поэтому, — отвечая себе, продолжал капитан, — мы начали именно с широты пятьдесят один градус

тридцать семь минут. На рассвете двенадцатого июня «Байкал» начал опись, двигаясь к северу по карте Крузенштерна...

Капитан говорил, держа тяжелый карандаш на карте. Как-то странно были в этом стройном молодом человеке с опаленным носом и с небольшими, но сильными пальцами такая ученость и такое спокойствие...

Невельской рассказал о первой встрече с гиляками. Она произошла на острове Сахалине, на песчаных косах у входа во вновь открытый залив.

— И хороши они были с вами? — спросил Муравьев.

— Не очень!.. Они страшились нас, приняв за китобоев. Называли нас «американ», но мы объяснили, что не американцы.

Муравьев, поднявши брови, выказал немое изумление. Жители таинственного Сахалина произносят слово «американ». Американцы известны в этих краях, у нас под носом!

— В деревню были посланы шлюпки, но жители ее не подпустили нас к той части, где были укрыты женщины.

По тому, как сквозь загар зарделись щеки капитана и как остро было сейчас его лицо, чувствовалось, что этот человек рассказывает один из важнейших, чем-то особенно волнующих его эпизодов путешествия.

— Александр Антонович, Шхеры Благополучия...

Штурманы исполняли все живо. Капитана вообще слушались беспрекословно, это было очевидно, хотя, возможно, еще и присутствие губернатора приводило всех в трепет.

Появилась подробная черновая карта описи Шхер Благополучия...

Меня карты, откладывая одни и добавляя другие, капитан объяснил, как, исправив замеченные ошибки предыдущих исследований, описав восточный берег Сахалина и обогнув его северную оконечность, «Байкал» подошел к лиману.

— Таким образом, осмотревши все заливы на побережье Сахалина севернее указанной широты, мы утвердились во мнении, что ни один из них не является устьем Амура...

Завойко, сидя прямо и держа на виду, на ручках кресла, свои сильные руки, слушал с явным недоверием.

Губернатор, почувствовав это, оглянулся на Василия Степановича, но тот не переменял ни позы, ни взгляда, видно, чем-то был сильно озабочен.

— Итак,— словно приступая к чему-то таинственному, продолжал капитан,— «Байкал» шел к югу!

Он умолк.

— Курите, Геннадий Иванович! — сказал Муравьев, замечая, что ему чего-то не хватает.— Вот у Василия Степановича сигары превосходные.

Невельской поблагодарил и, пока штурман возился с картами, раскладывая их и прилагая одну к другой, достал трубку, сказавши, что так привык и что у гиляков выменяли на устье Амура превосходный табак, не хуже самых лучших манильских сортов. Он предложил гостям курить. Но сам, набивши трубку, отложил ее в витую раковину.

— Судно подошло к мысу Головачева, где берега материка и Сахалина сблизились, на море лег туман; судно село на мель, снялись с трудом.— Лицо капитана стало еще серьезней, озабоченней.— Ветер крепчал, и гребные суда заливало. Мы несколько раз садились на мель. Предыдущие исследования убеждали нас в тщетности наших усилий.— Он опять помянул Крузенштерна, Лаперуза, Браутона, тайную опись Гаврилова, карту, которая, оказывается, была ему известна, сказал про общее недоверие, существовавшее среди европейских ученых к сведениям из японской географии, утверждавшим, что Сахалин — остров.— Но, глубоко веря, что не может не быть пролива, мы все, как одна семья, решили продолжать опись. Мичман Грот и штурман Попов, при волнении и свежем ветре, следуя перед транспортом на шлюпке, открыли глубокий фарватер, просекавший эту обсыхавшую при малой воде косу, и мичман Грот, высажаясь, встал на ее оконечности. Вход в лиман был найден. Заблуждения предыдущих исследований оказались рассеянными!

Капитан и хмурился и улыбался, глядя на карту, потом рука его схватила трубку из раковины.

Между тем штурман положил новый огромный лист, где, вычерченные по клеткам, виднелись белые и голубые разводья лимана, как птицами в перелет усеянные вереницами цифр.

Муравьев, увидя устье реки с промерами фарватеров, привскочил на кресле. Эти колонки цифр были следами шлюпочных походов. Они перебороздили лиман и устье в нескольких направлениях. Губернатор и его спутники, наклонившись, тянулись к карте со всех сторон.

«Потрясающая картина!» — думал губернатор, меняясь в лице.

— Да, это действительно открытие! — торжественно сказал он. На этой карте все выглядело опять по-новому.

«Он молодчина, — подумал Муравьев. — Ворвался! Вернее сказать, вырвался туда силой! Без инструкции, без средств, покинутый всеми, даже мной, при всем моем сочувствии!»

Муравьев готов был признаться, что он все же недооценивал убеждения этого человека, что не совсем реальными, не подходящими ко времени и невыполнимыми казались ему планы Невельского. А с каким блеском, отвагой и самоотвержением он все совершил! Муравьев подумал, что он сам, глубоко верящий в русских, невольно поддался мнению, которое глухо, но упрямо распространялось в некоторых слоях общества, что русские якобы не способны к практическому делу, что они ничего не умеют делать как следует, могут только строить обширные планы и фантазировать. Правда, он сразу ухватился за Невельского, поддержал, не отверг его планы, но он принимал из них лишь зерно, практически нужное ему самому. Что бы ни было, Невельской уже сделал для России больше, чем все предыдущие исследователи подобного рода. Его открытие даже важней, чем открытия наших, по заслугам увенчанных знаменитостей — Литке, Крузенштерна, Врангеля.

Невельской рассказал, как при описи берегов лимана Петр Васильевич Казакевич увидел огромную бухту в горах, из которой шло мощное течение.

— Получив известие, я немедленно пошел туда на шлюпках с отрядом матросов... Вот деревня Тебах на устье — четыре дома, вот Чарбах — шесть домов, Чобдах — два дома. Мео... Петр Васильевич первым вошел в устье реки! — обернулся капитан к старшему офицеру Казакевичу. — Петр Васильевич определил астрономически местонахождение входного мыса. Вот рисунки, ис-

полненные офицерами: входной мыс, вот деревня Тебах в трех верстах от устья, где, согласно утверждениям наших дипломатов, находится крепость с флотилией и десятью тысячами гарнизона...

Общий смехок прошел по слушателям. Рисунки стали передавать из рук в руки. Виды малолюдных гилляцких деревенок — в два-три дома, ютившихся кое-где под скалами прибрежного обрыва; лодки на реке, а более — безлюдные, но величественные пейзажи, сопки и сопки волнистыми террасами вздымавшиеся ввысь одна над другой; огромные пространства воды, пустынные берега, скалы, леса — так представлялась по этим рисункам та земля.

— На трех шлюпках я поднялся вверх по реке на шестьдесят верст и осмотрел берега, желая знать, что собой представляет край в политическом, а также в морском, военном и этнографическом отношениях. Особенно нас интересовало население, торговля, отношения гилляков с соседними народами, их быт, одежда, вкусы, потребности. Мы стремились изучать все эти вопросы, исходя из того, что в будущем мы должны там торговать...

— А где же граница с маньчжурами? Где гилляки полагают ее? — спросил губернатор.

— Этого нам не удалось выяснить, — отвечал Невельской, и все снова улыбнулись. — Мы не трогаем этого края. Маньчжуры, в свою очередь, не трогают его. Край правительственными силами не занят, пренебрежен, без охраны, без влияния. Маньчжурские купцы жестоки с гилляками во время своих появлений, гилляки ненавидят их.

Трубка капитана запыхтела быстро, как маленькая паровая машина.

— Карту Константиновского, — повелел он, обращаясь к штурманскому офицеру. — Вот полуостров, в шестидесяти верстах вверх по реке от входного мыса. Мы тщательно осмотрели его. Вот вид. На этом полуострове, так же как и на южном берегу напротив него, возможна установка батарей тяжелых морских орудий. Требуются простейшие фортификационные работы, и Амур будет простреливаться во всю ширь, ни одно вражеское судно не войдет в его устье и не спустится по нему.

Муравьев, считавший себя опытным военным человеком, заинтересовался полуостровом. Он задал капитану

несколько вопросов. Тот ответил обстоятельно. Вопросы посыпались со всех сторон:

— Каковы глубины у полуострова Великого Князя Константина?

— Затопляется ли побережье?

— Есть ли лес для кораблестроения?

— Тепло ли на Амуре?

— Каков берег?

— Берега крутые и скалистые, но есть места, удобные для заселения,— говорил Невельской.— В горах растет великолепный кедр, течение несет вывороченные с корнями огромные дубовые деревья... Иначе говоря, па берегах Амуре есть все для кораблестроения.

Называя гиляцкие деревни, цифры промеров, пункты обсерваций, градусы и минуты, капитан рассказал, как был открыт южный пролив из лимана в Японское море.

— Но есть опасность, ваше превосходительство,— сказал капитан,— все это может оказаться впустую...

— Почему? — восторженно спросил Муравьев.

— Беда в том, Николай Николаевич, что иностранцы уже там!

— Как?!

Все были поражены.

Муравьев взглянул в глаза капитана.

— Иностранцы знают о проливе?

— Нет, пока не знают и в этом паше счастье. Но буквально за несколько дней до нашего прихода туда являлось военное судно. Опасность тысячу раз грозит нам.

— Так в чем же дело? Вы видели его?

— Нет, я слышал от гиляков.

— Так это, видимо, китобои. Они повсюду.

— Да, там бывают китобои. Гиляки опасаются их и ненавидят. Оружие у них всегда поблизости, а жен и детей они прячут... Тычут в грудь и показывают нам знаками, что, мол, вы с корабля и бьете китов, и приговаривают «инглиш». Гиляки очень удивлялись, что мы пришли из лимана. Когда же мы объяснили, что мы русские и пришли, чтобы защищать их, как мы всюду говорили, они засмеялись и стали показывать на мою куртку. А надо сказать, что мы купили себе в Лондоне синие английские куртки. Они очень удобны, и я был в такой же на описи. Гиляки безошибочно узнают англи-

чан по этим курткам. Они объясняли знаками, что люди в таких куртках приходят на кораблях и грабят их, и меряют землю, и пытаются найти пролив. На наше счастье, с нами все время были гиляки с устья, и они упреждали своих соседей, объясняя, что мы в самом деле русские.

«Ну так это еще полбеды», — подумал губернатор. Впрочем, все это было неприятно.

— А в другом месте, у входа в пролив с юга, пожилой гиляк, знавший уже, что мы русские, вдруг тоже заметил на мне эту куртку, и надо было видеть, как он обмер! Остановился и смотрит на меня с ужасом. Я, не понимая такой перемены, обещаю ему подарок и прошу продолжать рассказ, но он, к моему удивлению, хватается за нож... Тогда я сорвал с себя эту куртку и швырнул в сторону, как бы давая тем знать, что это не наше одеяние. Он, ободренный и мной, и своими сородичами, начал обнимать меня и объяснять, что боится людей, приходящих с моря, и тут я понял, что недавно, за несколько лишь дней до меня, в заливе было крупнейшее, как он показывал руками, судно и оно палило из множества пушек, видимо производя артиллерийские учения, так как иной цели для такой стрельбы быть не могло и китобои этим не могли заниматься.

Невельской на миг умолк, вперившись в Муравьева. Тот глядел несколько растерянно. Острые глаза капитана сверлили его.

— Более того, скажу вам, ваше превосходительство, старик, испугавшийся моей куртки, потом объяснил мне, что судно это спускало шлюпки и пыталось делать промеры, люди с него искали проводников, но гиляки бежали прочь. Они уверяли меня, что ни за что не покажут англичанам прохода в лиман. Однако мы обязаны иметь в виду, что промер можно сделать и без помощи гиляков... Старик же сказал, что судно это обещало еще раз прийти в будущем году, как объяснили англичане его родичам, у которых на ром выменяли они икру и свежую рыбу...

— Осмелюсь сказать вам, ваше превосходительство, — продолжал Невельской, — что край тот не напоминает Китай, и, если говорить, собственно, о южном побережье, край скорее похож на колонию Америки или Англии, или, вернее, на страну, народ которой в постоян-

ной войне с приходящими с моря иностранцами. Там знают ром, виски, зовут китобоев «американ», «инглиш» или «негр», некоторые гиляки знают несколько слов по-английски, все страшатся приходящих судов. Если, Николай Николаевич, в нынешнем году в самом деле там было военное судно, то опасность возрастает в тысячу раз. Дело года — корабль вернется, и английский или американский флаг будет поднят. Я встречал множество китобоев из Штатов. Они требуют от своего правительства основать станцию для судов в Японии или на Татарском берегу. Один из них рассказал мне, что их судохозяева и шкиперы подают об этом петицию президенту. Рассказ этот согласуется со всем, что приходилось слышать нам в Вальпарайсо, на Гавайях и на Камчатке от самых разнообразных лиц, в том числе от английского адмирала, у которого я был с визитом и который затем был у нас на судне.

Сообразуясь со всеми этими обстоятельствами, я дал слово гилякам, что мы приедем в будущем году снова и будем защищать их, что русский царь не оставит их беззащитными. Если бы мы не обещали этого, нам не было бы ни содействия, ни дружбы. Все было бы против нас. И я дал слово! А слово у тех народов — все! И гиляки, которых мы обласкали, клялись помогать нам.

— Ну, а что же на севере? — спросил губернатор, уклоняясь от ответа и одобрения, которого, кажется, ждал пылкий капитан. — Каковы там отношения гиляков и иностранцев?

— Вот гиляцкая деревня Тамлево. — Капитан опять переменял карту. — Вот вид ее с моря... Дорогие меха — соболь, выдра, лиса — идут для вымена на китайку, на табак. Везут их в Маньчжурию, где есть бойкие торговые города. Туда также идут шкуры медведей и выращенные орлы. У гиляков в клетках растут и медведи и орлы. Признаков хлебопашества и огородничества мы нигде не заметили. Охота на дичь также не развита. Мы выменивали, однако, много живых диких гусей, которых они ловят на озерах. На Сахалине туземцы разводят оленей и баранов. В наше пребывание в лимане один из прибрежных жителей, нагруженный товарами, пошел в верховья. Вероятно, для предосторожности на шлюпке было оружие. Как можно было понять из их знаков, в

это время года у них бывает ярмарка; они приглашали нас с собою, рассказывали, что там будет весело. Они не сохраняют этикета ни перед кем, и в жаркий день, чтобы легче грести, сбрасывают с себя одеяние и остаются нагишом, не стыдясь своих спутников. Шлюпки их очень ходки, мелководны и принимают значительный груз.

Подарки и наше ласковое обращение с жителями всюду расположило их в нашу пользу. Когда мы уходили, они провожали нас почти с изъявлением какой-то грусти, что мы так скоро их оставляем, и далеко следили за нашими шлюпками, упреждали соседей о нашей щедрости и ласковом обращении, и нас везде встречали как знакомых. И даже в лимане нас принимали как своих, благодаря заботам речных гиляков. Заметь, что мы любопытствуем об их образе жизни, о стране, о фарватерах и прочем, они всегда старались, сколько возможно, удовлетворить нашим вопросам, без чего я никаким образом не мог бы в продолжение одного лета ознакомиться с лиманом...

— Вот вещи гиляков,— стал показывать капитан.— Шляпа, нерпичья юбка, рубаха из рыбьей кожи; вот я курю гиляцкую трубку, подарок моего проводника; вот рисунки юрт! Вот гиляцкая юрта, срисованная Петром Васильевичем.

Невельской рассказал об открытии вблизи лимана залива Счастья.

— Залив Счастья? — переспросил губернатор.— Заманчивое название.

— Да, Николай Николаевич! Я так назвал его... Это единственная закрытая бухта на юго-восточном побережье Охотского моря у входа в лиман с севера. Я назвал ее заливом Счастья, так как, не будь ее, судам негде было бы укрыться при плаванье у юго-восточных берегов Охотского моря. Гавань находится вблизи входа в лиман, и это придает ей особенную ценность, так как, если там будет наш пост, мы сможем следить за движением иностранных судов, которые туда являются часто и даже топят жир на косах, отделяющих залив Счастья от моря... Из этого пункта мы предупредим любые их попытки приблизиться к лиману или войти в него. Это наблюдение возможно производить как прямо с берега,

так и посредством сторожевых судов. Наши суда, наблюдающие за лиманом или поддерживающие связь с постом, который будет в заливе Счастья, в случае штормовой погоды не должны будут удаляться из лимана в поисках укрытия... В заливе Счастья есть пресная вода: китобойные суда, появляясь в тех местах, будут приходить к нам за водой и для укрытия. При этих-то посещениях мы и будем давать им повод убедиться, что край занят русскими. Вот те обстоятельства, выяснив которые, я назвал эту бухту, несмотря на некоторые ее неудобства, заливом Счастья.

Муравьев спросил, какие новости на Тихом океане, что же там англичане, каковы их новые козни, как торгуют европейцев.

Это была другая сторона дела, не менее важная и для всех собравшихся,— круг привычных вопросов. О политике англичан вообще любили поговорить. Все оживилось, возвращаясь к делу знакомому, как к старому партнеру по щекотливой, но приятной игре.

— Прежде всего, Николай Николаевич, я должен передать вам приветственное письмо, посланное на ваше имя его величеством Камехамахой, королем Гаваев.

Капитан открыл ящик и передал пакет. Муравьев, прочитавши, отдал его Струве. Все торжественно молчали.

— Как он принял вас?

— Прекрасно, Николай Николаевич, мы встретили там радушие и заботу. Мы пришли на светлый праздник, одновременно с нашим компанейским судном «Князь Меншиков»... Вот подарок, сделанный мне королем Гаваев.

— Что это?

— Костюм полинезийского воина.

— И копье?

— Да... Камехамаха говорит, что симпатизирует русским. Он обижен, что паша Компания больше не торгует на Гавайях.

— А что он говорит про американцев?

Офицеры «Байкала» опять отозвались почтительным шумом.

Расспросы долго еще продолжались. Помянули события в Китае, Гонконг, прииски Сан-Франциско.

Наконец губернатор поднялся.

— Геннадий Иванович, — обратился он к капитану. — Вы выполнили поручение прекрасно, с необычайной отвагой! От души благодарю вас! Дорогой мой Геннадий Иванович! — Он пожал руку капитану, обнял и трижды поцеловал его. Спутники губернатора поздравили Невельского.

— Благодарю вас, господа, — обратился Муравьев к офицерам «Байкала». — Ваш славный подвиг принадлежит истории. Благодарю вас за службу! Вы исполнили невозможное! А теперь, господа, за дело. Я сегодня же отправляю рапорт государю. Миша, — обратился он к Корсакову. — Утром ты скачешь в Петербург. Готовься на рассвете в путь. Геннадий Иванович, немедленно представьте мне рапорт об открытиях и описи.

— Рапорт готов!

— Просмотрите его еще раз. Есть у вас письма в Петербург? — обратился губернатор к офицерам. — Садитесь и пишите... Да прошу вас отобедать со мной. — Он пригласил капитана и офицеров на берег.

Завойко был хмур.

— У Василия Степановича превосходные вина, — заметил губернатор. — Мы просим всех к себе.

— Прошу вас, господа... — сказал Завойко.

Невельской просил прислать для команды свежих овощей, каких только возможно.

— У вас цинга? — спросил Завойко.

— Цинги нет, но овощи необходимы.

— Почему вы решили, что на нашем судне цинга? — спросил, обратившись к Завойко, доктор Берг. — Я мог бы вам представить отчет, из которого вы могли бы легко удостовериться, что вследствие принятых мер команда «Байкала» дала самый низкий процент больных из всех когда-либо совершивших кругосветное. Этот отчет мог бы быть положен в основу соответствующего врачебного обсуждения и послужить материалом для составления правил.

«Черт знает, какие тут педанты и бюрократы», — подумал Завойко. Он обещал капитану продуктов самых свежих и свежих овощей, которых не видали они с самого ухода из Гонолулу.

— Так за рапорт! И приезжайте кутить, Геннадий Иванович! Жду вас всех, господа! — сказал Муравьев.

Он помянул, что путешествует с женой, что с ними всемирно известная виолончелистка мадемуазель Христиани, что дамы уж, верно, заждались.

Лица просияли.

— Жена жаждет видеть вас, Геннадий Иванович. Итак, едем! Кутить вовсю! Пить вино и целовать французенку! — добавил он потихоньку, обнимая несколько удивленного этими словами Невельского.

Когда все вышли из каюты, Муравьев сказал:

— В рапорте напишите все об иностранных судах у пролива.

— Я уже помянул...

— А в частном письме к Меншикову — об артиллерийском ученье!

Поднявшись наверх, губернатор поблагодарил выстроенную команду, обнял и поцеловал правофлангового.

Вскоре и он, и все его спутники съехали на катере.

Невельской, отдав все распоряжения, спустился к себе. Присев за стол, он покачал головой. Возбуждение охватило его с необычайной силой. Взяв гусиное перо, он почесал за ухом, как бывало в детстве, когда, начитавшись про путешествия, предавался фантазиям. Понемногу он взял себя в руки...

А офицеры писали письма и потом оживленно собирались на берег. На судне оставался один Казакевич. Вестовые крепостные носились, подавая офицерам необходимые вещи. В ход пошли горячие щипцы, духи. В каютах двери были раскрыты. Громко обсуждались события дня.

— Однако этот аянский барин не очень любезно приглашал нас, — говорил мичман Грот.

— Кажется, ему не очень все понравилось.

— А заметили, как губернатор дал ему понять?.. — высовывая из своей каюты намыленную щеку, воскликнул юнкер Ухтомский, худой и высокий румяный юноша, знаток языков, исполнявший на «Байкале» обязанности переводчика.

— Что же вы хотите, — отозвался старший штурманский офицер Халезов, человек лет сорока, маленький и плотный, прозванный «Дедом» за ворчню, заметно волнувавшийся в предвкушении губернаторского обеда, — он тут делает карьеру, и на тебе — явились незваные гости...

Когда андреевский флаг снова заполоскался на корме, а гребцы налегли па весла, Муравьев сидел лицом к Аяну, глядя куда-то вдаль, поверх его крыш и леса.

В рассказах Невельского ему открылся огромный широкий мир. О японцах капитан говорил так, словно лишь немного не дошел до Японии. Муравьев чувствовал, что Невельской был его рукой, которая, бог даст, до всего дотянется.

Но предстоящая длительная разлука с капитаном была удобна Муравьеву. Иначе нужно было бы сказать ему о Камчатке, и переносе порта, и о всех начатых переустройствах, а говорить об этом еще нельзя. На то были свои соображения.

«Пусть себе спокойно идет в Охотск, сдает судно, а потом едет в Якутск, там встретимся. Или уж продолжим разговор в Иркутске...»

— Лево руля! — скомандовал Василий Степанович, замечая, что правят па скрытый подводный камень.

«Так вот каков этот Невельской, о котором я так беспокоился, — думал Завойко. — Да еще смеет упрекать и делать намеки! Однако я скажу Николаю Николаевичу, что здесь есть люди, которые всё уж много лет изучают и всё знают, и как это можно пренебрегать их мнением...»

Настойчивый, отлично знакомый со всем, что делается на побережье, не бравший взятки, не облагавший туземцев налогом в свою пользу, как часто это делали другие правительственные чиновники и служащие Компании, Завойко был в то же время человеком необычайно ревнивым и горячим. Кровь кинулась ему в голову, едва узнал он об открытии Невельского.

«Этого прежде всего не может быть. Невельской открыл Амур! — размышлял он. — Так, может, все предыдущие исследования ложны?»

Теперь, когда перед Василием Степановичем открыта была широкая дорога, и деятельность его получила всеобщее признание, и все им восхищались, а губернатор

даже хотел писать о нем царю, является вдруг этот Невельской и доказывает, что Амур доступен. А у самого карта — точная копия карты Гаврилова, только цифры промера другие. Как же так? Я снаряжал экспедицию. Так, может, скажут, что Завойко обманул Компанию и правительство? Значит, Завойко подлец, и скажут, что из своего эгоизма махнул рукой на Амур...

Тут Завойко вспомнил про дядюшку Фердинанда Петровича... «Он не допустит», — решил Василий Степанович, позабывая, что хотел еще сегодня избавиться от излишней дядюшкиной опеки. Ведь Фердинанд Петрович получил монаршьё благоволение за опись Гаврилова.

Темные подозрения охватили Завойко. Временами казалось ему, что тут все подстроено. Невельской нанес ему жестокий удар и, быть может, ставил под сомнение всю его деятельность.

«Да и как же я бы мог послать ему инструкцию? Может быть, я сам должен был туда идти; бросив компанейские перевозки и оставив все, может, так рассуждает Николай Николаевич? Но я везде скажу, что Завойко сделал все, что мог, и больше не мог сделать никто».

В свое время мелькнула у Завойко мысль послать с Орловым инструкцию. «Но что он там будет зря заниматься с этим Амуром, когда там уже все описано Гавриловым! — подумал тогда Завойко. — Да если надо будет, то мы уж как-нибудь сделаем все сами. Вопрос уже решен государем, — полагал он, — и Компания затраты сделала на аянскую дорогу».

Когда приехал губернатор, Завойко встревожился, не будет ли придинок из-за непосылки инструкции. Но губернатор даже и не помянул о ней. У Василия Степановича отлегло на душе, потом пошли слухи, будто «Байкал» погиб, а уж это служило явным доказательством, что Амур недоступен. Завойко, как и всем, была очень неприятна гибель судна и людей, и уж тут было не до официальных бумаг, и Муравьев ничего не поминал про инструкцию.

«Но вот как снег на голову свалился этот «Байкал», и Невельской выставляет при губернаторе и при всех, что я не послал ему инструкцию! А я всей душой заботился об этой экспедиции, послал Орлова, ожидал губернатора и не знал, как ему лучше сообщить о несчастье

и гибели «Байкала», и губернатор вполне согласен был со всеми моими действиями».

Так бывает с людьми, что, ведя внешне одну политику, а втайне другую, глубоко возмущаются и чувствуют себя горько и незаслуженно обиженными, когда окружающие, разобравшись в их поступках, не принимают в расчет внешней показной стороны их деятельности, а судят по подлинной сути.

«Разве каждый день я не приказывал разузнавать о «Байкале»? Разве мало Завойко толковал с тунгусами и разве я не собирался еще послать людей?»

Вид Невельского, его легкое заикание, рассуждения о многих вещах, которых он не мог знать как следует, убеждали Завойко, что это типичный петербургский хлыщ. А его все слушали! Фантазер! Как он мог войти в Амур, когда Амур недоступен? Как он смеет рассуждать, что Америка желает захватить Японию, да еще объявлять это при губернаторе! Но какие бы там исследования и открытия этот Невельской ни производил и в какие бы высокие рассуждения ни пускался, время покажет, кто из нас прав!

Тревога все сильней охватывала Завойко. Он всем существом готов был противиться тому, что услышал на борту «Байкала».

«Конечно, я понимаю все не так, как губернатор, который радуется, как неразумное дитя, и еще спохватится, ежели не послушает Завойко. Этот Невельской думает только о том, чтобы выдвинуть себя. А я должен спасти и дело, и свою честь, и честь Николая Николаевича. Однако каков нахал! Хотел, чтобы Орлов ему в лиман инструкцию привез».

Завойко был бесстрашный человек. Он не потерял присутствия духа, слушая Невельского. Он знал, что все замечают, как глядит он с подозрением. Так и пусть люди видят, что Завойко не верит ему. А Завойко никто не заподозрит, что он обманывает.

Со всей силой и твердостью своего характера Завойко решил действовать. Он знал: там, где Завойко берет за дело, победа будет на его стороне.

Генерал, сидя в шлюпке, молчал и, кажется, не обращал на Завойко внимания.

Шлюпка врезалась килем в песок. Матросы выскочили за борт. Губернатор сошел на берег.

Выйдя на отмель, Завойко сказал губернатору, что «просит аудиенции» и желает незамедлительно дать свои объяснения.

— Пожалуйста, Василий Степанович,— ответил Муравьев. Он приказал своим спутникам идти вперед и взял Завойко под руку. По тому, как он это сделал, Василий Степанович почувствовал, что Николай Николаевич не переменился. Это придало ему духа.

— Я слушаю вас,— сказал Муравьев.

Чуть наклонившись к уху губернатора и поводя вокруг своими голубыми глазами, Завойко быстро заговорил.

Муравьев опустил руку, но ни один мускул его уставшего лица не дрогнул. Он выслушал Завойко и сказал одностонно и пренебрежительно:

— Этого не может быть.

— Да уверяю вас, ваше превосходительство! — срывающимся голосом воскликнул Завойко, чувствуя, что, кажется, ошибся, губернатор не поддается.— Там в высокий уровень вода перекачивается через мели... Я знаю, откуда у Невельского эта карта, это карта Гаврилова...

Лицо Муравьева задрожало и перекошилось.

— Да вы думаете, что вы говорите? — останавливаясь, спросил губернатор.

— Уверяю вас, ваше превосходительство,— спокойно ответил Василий Степанович.— А если не хотите, то можете не верить. Мое дело сказать.

— Помните, что не может быть того, что вы говорите! — сдерживаясь, сказал Муравьев.

Завойко с мокрым от пота лицом, в свою очередь, попытался вразумить губернатора.

— Вы смотрите у меня,— грубо сказал Муравьев.— Если вы будете язык распускать, то я этого не потерплю.

Завойко уже знал дикий нрав Муравьева. И теперь он почувствовал, что надо придержать язык за зубами.

— Сейчас же отдайте распоряжение приготовить к утру коней. Михаил Семенович едет курьером в Петербург. Да позаботьтесь принять сегодня Невельского и офицеров как следует,— сказал губернатор, подходя к дому.

— Что значит «как следует»?

— А то, чтобы было все, что полагается.

— Если вы видели мои запасы вина и знаете о них, то можете знать и то, что Завойко ничего не скроет,— с обидой ответил Василий Степанович.

— Вы должны понять, какое произошло событие, и радоваться.

— Чему же мне радоваться! Тому, в чем и вы еще покаетесь, ваше превосходительство?

— Поймите, что тут нет и не может быть подлога, а ежели вы, Василий Степанович, сомневаетесь, держите все при себе, будущее покажет. Но будьте хозяином, как бы лично вам это и ни было неприятно.

— Что значит «лично мне», ваше превосходительство? Этого я не могу понять, я думаю о благе отечества.

Муравьев пошел в дом.

Завойко усмехнулся и пожал плечами.

— Мои запасы вина к вашим услугам,— сказал он в спину губернатору и, покраснев до шеи, направился к другому концу здания.

«И как говорит с дворянином!»

Отдав все распоряжения, Василий Степанович поспешил к жене. Юлия Егоровна, отослав своих пятерых ребятишек гулять с няньками-якутками, заканчивала туалет с помощью старухи украинки. Юлия Егоровна сразу заметила, что муж расстроен. Она очень хорошо знала это по тому, как он мигал и какое движение было на его обычно спокойном лице.

Тот присел на табурет, блестя глазами.

— Невельской говорит, что устье Амура доступно! Будто бы стопушечные корабли могут проходить!

Он злобно сверкнул глазами и стал пересказывать все, что слышал от Невельского. Когда внизу послышался голос губернатора, Завойко вздрогнул, и вид у него был такой, словно он готов разорвать в клочья всех этих нагрянувших людей.

— Я уже сказал генералу, что у Невельского подложная карта,— продолжал он.— Карту Гаврилова где-то достал, только цифры промера подставил другие.

Юлия Егоровна смотрелась в зеркало, держа перед собой пудру и не говоря ни слова. Глаза ее разгорелись, чуть скуластое лицо было холодно.

— Он славы тут ищет. Дешево эту славу заработать хочет,— говорил Завойко.— Стопушечные корабли у него

в устье войдут. Какой подлог! Где он выкрал эту карту?! И так лжет, так лжет! В авантюру хочет втянуть правительство и Компанию, а Николай Николаевич желает себе славы и рад, что его обманывают. Никогда главное правление не пойдет на то, что они хотят.

Завойко готов был сейчас на что угодно, чтобы доказать, что Амур недоступен, и вывести Невельского на чистую воду. Он называл Невельского лжецом, обманщиком, который лезет судить о том, чего не знает.

Юлия Егоровна, слушая мужа, все ясней чувствовала, что Невельской действительно совершил открытие. Она еще до прихода мужа поняла, что произошло какое-то важное событие.

Когда губернатор и другие гости вернулись с корабля, ее странно встревожили доносившиеся радостные восклицания. Потом вошла Екатерина Николаевна в слезах, сказала, что Амур открыт, и поцеловала Юлию Егоровну.

— Вы тоже радуетесь? — спросила она Юлию Егоровну.

— Ах да! — вскинув голубые глаза, отвечала та.

И вот теперь муж уверял ее в обратном.

Муж занимался этой проблемой несколько лет и уверял всех, что Амур недоступен, что аянская дорога вполне обеспечит перевозку грузов для портов. Но вот явился человек, видимо более подготовленный, чем ее муж, и явно на глазах у всех обнаружил его ошибку. Она была очень самолюбива и горда, трезвее мужа смотрела на все и понимала, какой удар нанесен и ему и ей. Открытие, совершенное Невельским, компрометировало всю деятельность мужа. Муравьев мог быть недоволен, но еще хуже взглянет на это дядя, вполне доверявший до сих пор мужу, дядя, для которого дорога истина... Но дело было не только в этом. Она вдруг почувствовала, что ее славный муж, подвиги которого она считала непревзойденными, которым она так гордилась, вдруг стал ей неприятен, он оказался таким простым и мелким.

«Так вот, сильный, смелый мой муж,— подумала она,— кажется, слишком надеялся на дядюшку, тогда как Невельской действовал. Еще хуже, если за его спиной есть кто-то в Петербурге...»

— И еще имеет нахальство утверждать, что нашел пролив в южной части лимана и будто бы Сахалин у

него остров,— продолжал Завойко, с надеждой глядя в лицо жены, словно ожидая от нее одобрения.— Да, да, уверяет, будто бы Сахалин остров, что противно всем ученым доказательствам.

Юлию Егоровну покоробили эти слова.

Она презирала сейчас своего мужа, с которым уехала на Восточный океан, ради которого жила, как сибирская мещанка, терпела голод, лишения, рожала ребят в ужасных условиях. Она была глубоко оскорблена. До сих пор она была уверена, что ее муж делает великое дело. И она терпела. Она была слишком горда, чтобы простить мужу такой позорный провал. Все вокруг, что создавала она своими руками, потускнело для нее, и этот дом, и обстановка — все теперь выглядело по-другому...

— Он, конечно, ищет здесь карьеру и делает открытия по чужой карте,— твердо и спокойно сказала она и взглянула на мужа,— но... дядя будет благодарен ему за его ложные сведения.

— Как благодарен? Да я не допущу! Я открою ему глаза... Я докажу, что это ложь! — шепотом, краснея, стал уверять Завойко.

— А ты со своими заботами об Аяне останешься ни при чем,— сказала Юлия Егоровна.— Губернатор может быть очень недоволен тобой.

Завойко вспыхнул. Гордость и готовность бороться заговорили в нем. Именно это и желала возбудить в муже Юлия Егоровна, выказав ему холодное пренебрежение и как бы показав, что не верит в его силу, хотя он и прав. Она делала вид, что не верит мужу, будто бы он может развенчать Невельского. Она надеялась, что этим еще сильнее возбудит в нем злобу и энергию, хотя энергии в нем всегда было очень много. Надо было лишь подсказать ему направление. Этим направлением был обычный путь в Петербург, в правление Компании, к дяде; там вершились все дела Востока и без дядя ничто не могло быть решено. Но это надо было сделать очень осторожно. И действовать не только там, но и тут. На счастье, губернатор берет мужа в спутники до Якутска.

— Я все сделаю,— твердил муж с таким видом, словно просил верить.

— Я иду к гостям,— сказала Юлия Егоровна и вышла, не глядя на мужа, похорошевшая от возбуждения, с горящими щеками.

«Какая удача, — думал Невельской, подходя на вельботе к берегу. — Сразу после описи встретить Николая Николаевича и такое прекрасное общество».

Его только смущало поведение Завойко. «Очень странно, что он недоволен. И это после того, как у них тут, как они говорят, слухи ходили, что я погиб. Хорош же гусь этот Завойко. Кажется, надо поставить его на место... Мало ли что его личные интересы ущемлены, честь затронута! Разве я не вижу, что он держит камень за пазухой! Да, это сделал я! Я Амур открыл, а они доказывали, что Амур недоступен. Врангель уверял меня, что исследования бесполезны, смотрел, как на наивного мальчика, и поучал: мол, это же известно. И инструкцию мне не прислали! Что я тут должен думать? Кто это сделал? Орлов встретил меня и мог бы доставить... Впрочем, — твердо решил капитан, — мало ли что вздумаеть стогряча».

Он заметил, что Аян обстроен хорошими домами и причалы хороши. Но сейчас ему все это было неприятно. Невельской поймал себя на этом чувстве. «Кажется, я пристрастен, — подумал он, — а уж это подлость».

На берегу встретил его Корсаков; из дома с мезонином и березовым садом навстречу капитану и офицерам вышел Завойко, а с ним капитан «Иртыша» Поплонский, Струве и Штубендорф.

Завойко, казалось, стал выше, осанистей, а выражение лица его сделалось помягче.

«Кажется, он стал полюбезней», — подумал Невельской, но с невольной неприязнью взглянул на Завойко и сразу же почувствовал, что тот эту неприязнь заметил.

— Вот и вы к нам пожаловали, Геннадий Иванович. Очень будем рады видеть вас в нашем Аяне, где мы всегда любим гостей.

— Ну, я тоже очень рад, Василий Степанович, — ответил Невельской, стараясь перемениться. — Так это ваша усадьба?

— Да, как я есть хохол, то не могу жить без земли, чтобы не пахать ее, и чтобы не развести сада, и не показать примера здешним людям, которые боятся копнуть

землю. Я завел себе оранжерею и очень удивляю этим американских китобоев, которых здесь шляется немало.

«Право, он переменился,— подумал Невельской.— Если так, он благородный человек». Здоровые рассуждения Завойко были по душе капитану, в них было что-то свое, родное.

«Он, кажется, все понял,— решил капитан.— Да ведь и в самом деле это ясно и очевидно, какое может быть ущемление его интересов».

— Вы уж простите мою хозяйку, что не вышла встречать,— говорил Завойко.

— Вы меня простите, Василий Степанович...

— Ах, что вы, что вы... Так пожалуйста...

«Он, кажется, в самом деле благороден»,— подумал Невельской. Казалось, его встретил совсем другой человек.

— «Страна никому не принадлежит»,— прочитал губернатор.— Вы уверены?

Разговор шел в кабинете.

— Совершенно уверен!

— Как вы можете быть уверены в том, что идет вразрез общепринятому мнению? Ведь это же будет читаться канцлером.

— Вот именно, ваше превосходительство, вопреки общепринятому мнению я и обязан был написать это, чтобы прочитал канцлер... Хотя бы ему и неприятно было, но ведь истина...

— Вы моряк, а не политик,— полушутя ответил Муравьев и вписал своей рукой: «видимо». Получилось: «Страна, видимо, никому не принадлежит».— Зачем вам лезть на рожон и брать на себя ответственность! Принадлежит она или нет— это, скажут, в лучшем случае, спорный вопрос и, скажут, не ваше дело. Наше дело— представить факты правительству.

Теперь уже Невельской был не неизвестным офицером, мечтавшим совершить открытие. Он— капитан, в рекордно короткий срок сделавший переход вокруг света. За плечами у него важнейшая опись. Радость и восторг губернатора давали ему право говорить совершенно откровенно и попросту и хотя бы в первый день встречи чувствовать себя с ним на равной ноге.

— Николай Николаевич! Пусть государь узнает истину!

— Какое это имеет значение. Не в этом суть. Да и сказал вам как-то граф Василий Алексеевич, что вы не о двух головах, и я тоже скажу. Да нам с вами и без этого достанется.— Муравьев рассказал об экспедиции Ахтэ.

— Тем более необходима была мне инструкция в лице мапе,— ответил Невельской.— Ведь могут подойти формально, обвинить меня...

— Это я беру на себя, Геннадий Иванович. Даже если бы и узнали, где вы получили инструкцию. Я берусь защитить вас.

— Николай Николаевич, ведь мы исследование скомкали.

— Геннадий Иванович, вы и так произвели все отлично, превзошли все ожидания.

— Нет. Мы еще, не дай бог, спохватимся когда-нибудь. Если говорить начистоту, мы далеко не выполнили своей задачи. Будь инструкция, мы представили бы сведения, уничтожающие все цели экспедиции Ахтэ.

Муравьев рассказал про путешествие англичанина Хилля.

— Однажды утром в приемной вижу иностранца. Я принял его, обласкал, как мог, пригласил к обеду и просил бывать у меня. Моему предшественнику он принес бумагу, подписанную графом Нессельроде, с предписанием губернатору Восточной Сибири оказывать английскому подданному Хиллю возможное содействие. Не генерал-губернатору прислали бумагу, а англичанину, в пакете Министерства иностранных дел, в Иркутск на почту... Мой дорогой Геннадий Иванович, это похуже, чем не присылка инструкции! Надо сказать, что Хилль держал себя очень хорошо, был принят во всех домах. С ним сдружился цвет нашего общества. Он давал уроки английского языка в семьях ссыльных. Один иркутянин, полужанцуз, он давно живет там, сошелся с ним близко и ставил нас в известность... Но Хилля ни в чем нельзя было обвинить. Прожил зиму в Иркутске, бывал у меня, а весной уехал в Охотск и на «Иртыше» — на Камчатку. Правда, по дороге были с ним неприятности: он ударил двух якутов головами друг о друга и чуть не убил, да в Киренске его приняли за шпиона и схватили без вся-

ких церемоний...— Муравьев засмеялся.— Но он вышел из этих неловкостей. Перед ним извинились, и он тоже извинился... Но это между прочим. Так вот, я все время должен опасаться шпионажа со стороны,— тут Муравьев поднял указательный палец,— канцлера! Вот какво мое положение. Хилль приятный собеседник, образованный, бывалый человек, но не подозревать его я не смел. Да и быть не может, чтобы он не был шпионом. Не могут же англичане надеяться на нашего канцлера, который сам ничего толком о России не знает.

Он рассказал о другом англичанине, Остене, который пытался спуститься по Амуру.

— Это все одно, Николай Николаевич.. И подход их opisного судна к устьям Амура то же самое.

— А у меня ни средств, ни судов. Вся надежда на Завойко. Один он на всем побережье держится великолепно. Ни на йоту не уступит никакому китобою. Он рассказывал мне, что, когда они съезжают на берег и начинают буйствовать, он приказывает стрелять в них по ногам.

Снова заговорили о положении на океане, о Гавайях.

Пришел Завойко.

Невельской рассказал, что Камехамаха в случае войны русских с англичанами обещал известить письмом о движении вражеских судов.

Завойко ответил, что торговлю с Гавайями можно вести широко.

— Надо отправлять туда тот же лес, что рубят у нас и везут в Гонолулу американцы...

Стали говорить, что делать дальше с Амуром.

Невельской стал требовать занятия устья десантом с артиллерией, а также судна, которое наблюдало бы за лиманом.

— И такому отряду или, точнее сказать, экспедиции, Николай Николаевич, как воздух, нужны паровые катера, именно паровые, а не гребные, для ускоренного производства промеров по реке и на лимане. Лиман так огромен, что потребует исследований в течение нескольких лет. Площадь его исчисляется тысячами квадратных миль, наши промеры — первая разведка... При вечных ветрах исполнить эту задачу нелегко.

Соображений было много, и Муравьев наконец сказал, что сейчас все равно ничего не решить, надо отложить все, а до встречи в Якутске отдать лишь самые

важные распоряжения. Его заботила мысль об экспедиции Ахтэ.

— Да вот Невельской ругает нас с вами,— вдруг сказал он, обращаясь к Завойко,— что не прислали ему инструкции в лиман. Что вы скажете?

Он хотел шутливым разговором сгладить острые углы, а получилось наоборот. Завойко метнул неприязненный взор, словно задела больное место. Он стал, волнуясь, объяснять, что не мог рисковать, что во время ночлега где-нибудь у гиляков могли выкрасть инструкцию у Орлова, а потом произошли бы дипломатические осложнения. Он и сам чувствовал, что получается нескладно, и тем сильнее волновался.

«Впрочем, что я буду уговаривать,— решил Муравьев,— они сами не маленькие, должны понимать, к чему это приведет, если они раззадорятся, как молодые пстухи».

— Ну, пойдемте кутить, господа! — сказал он снисходительно.— Да помните, что успех дела зависит только от вас обоих. Без вас я как без рук.

За дверью уже слышался гул и оживленные голоса.

— Сегодня ваш праздник, Геннадий Иванович, будем вас чествовать, вы именинник,— сказал Муравьев.— И не будем поминать старого!

«А я еще должен поить и угощать на свои трудовые заработки всю эту ораву,— подумал Завойко.— Ох, всегда расплачивается тот, кто трудится! Вот Завойко захотел быть генералом! Еще действительно все случится, как с городничим! Этот Муравьев, кажется, лсгок на посулы».

Глава четырнадцатая

КОНЦЕРТ В АЯНЕ

Подходя на «Байкале» к Аяну, Невельской совершенно не предполагал, что в такое позднее время в этом маленьком порту его может ждать генерал-губернатор. Из письма, которое тот прислал ему в Петропавловск, он знал, что Муравьев намеревался побывать на Камчатке, но далеко не был в этом уверен, тем более он был поражен, когда Корсаков, поднявшись на борт «Байкала»,

передал ему инструкцию и сообщил, что Муравьев здесь и что с ним Екатерина Николаевна, а также знаменитая виолончелистка мадемуазель Элиз Христиани, имя которой сразу вспомнилось капитану по Петербургу. Когда он уходил в плаванье, там ждали ее на гастроли.

И хотя он подумал с досадой: «Зачем мне теперь эта инструкция!» — но в то же время сильно обрадовался, что Муравьев с женой в Аяне. Он видел в этом необычайное их благородство и рад был, что встретит Екатерину Николаевну, с которой познакомил его Муравьев еще в Петербурге.

И потом, когда он докладывал губернатору и его спутникам в каюте, он все время помнил, что на берегу общество дам, которого он давно был лишен, и в том числе компаньонка Екатерины Николаевны — молодая знаменитость. Если он вдруг забывал об этом, то через несколько мгновений новое воспоминание придавало ему радости, как в детстве, когда ждешь, что вечером елка. У него мелькнула мысль — не судьба ли это?.. Но когда губернатор сказал ему: «Мы едем на берег кутить и целовать француженку», капитан был покороблен и даже оскорблен в самых лучших чувствах.

«Как он может говорить так, если она путешествует в обществе Екатерины Николаевны, — думал он. — Она актриса, так это еще не дает никакого права...»

Невельской когда-то учился у Каратыгина дикции и знал, какой тот прекрасный семьянин, честный, образованный человек и как много и тяжело трудятся артисты. А тут знаменитость, француженка, о которой трубят весь мир, молодая и, как говорят, красивая, поехала в Сибирь. Это делает ей честь. Как же можно так судить о ней? Что она француженка? Так Екатерина Николаевна тоже француженка, и тем более странно, что Муравьев говорит это. Какие-то костромские предрассудки...

Неприятный разговор с губернатором и Завойко озаботил его, но, едва переступил он порог кабинета, дела вылетели из головы.

Екатерина Николаевна поднялась навстречу. Она в открытом платье травянистого цвета топ, с отделкой из множества кружев, с огромным розовым шелковым цветком на груди, свежая, рослая, розовая, похожая на античную статую под наскоро наброшенными и схваченными кое-где шелками, с гладкой прической, подчеркивающей

черноту ее волос и профиль греческой богини. Рядом с пей и Муравьев приобретал новый вид; чувствовалось, что это действительно сильный человек, если его полюбила такая прекрасная женщина. Она, улыбаясь, сказала, что очень рада, что от души поздравляет с благополучным прибытием.

Юлия Егоровна, сияя голубыми глазами, приветливо улыбнулась. Она в сером шелке, с закрытой грудью и с серьгами в виде гроздьев винограда.

— Ваш дядюшка Фердинанд Петрович приказал низко кланяться вам, — целуя ее руку, сказал капитан.

— Как приятно, что вы видели его перед отъездом! — Топ Юлии Егоровны был приветлив.

— Фердинанд Петрович много мне рассказывал о вас и о вашей аянской жизни.

— Ах, мы были в такой тревоге, — жеманно сказала Элиз Христиани, протягивая руку и по-девичьи приседая. Она высока, юна, румяна, у нее черные пристальные глаза, красивые, чуть полноватые, розовые обнаженные плечи и руки, как у женщины Буше.

...Именно такие розовые, свежие женщины снились по ночам молодому капитану в его плавучей холостяцкой норе, над которой грохотали волны.

Элиз действительно была хороша. Глаза ее полны жизни, она знала это и играла ими, пристально вглядываясь в капитана. Она мгновенно заметила его легкое заикание, нервность, рябинки на лице. Но все, что было бы неприятно во всяком другом, в нем казалось оригинальным.

Столовая, в которой собралось общество, показалась офицерам после длительной жизни в каютах необычайно просторной. Почти всю ее занимал накрытый длинный стол. Капитан сидел между Екатериной Николаевной и Элиз.

Виолончелистка не говорила ни слова без движений и гримас. Капитан видел таких женщин прежде, бойких и самостоятельных. Он в глубине души несколько робел и поглядывал время от времени на нее с интересом, как бы желая знать, где же таится та гениальность, что доставила этой бойкой девице всемирную славу. И вдруг он заметил, что на мгновение взор ее потух, но она тотчас спохватилась, и опять в пей вспыхнула живость. Ему показалось, что она чем-то тайно опечалена.



Элиз тоже ждала встречи с Невельским. Но сейчас, когда он был рядом, она снова поняла, что надежды ее напрасны. Он нравился ей... Может быть, лицо его было несколько грубо, он, видимо, по-военному суховат, как и все, кто вырос и воспитался в этой среде. Но на таких быстрее действуют и красота и талант, и она именно это видела сейчас по лицу капитана. На душе у нее не стало легче, избавление не приходило.

А он, приглядываясь к соседке, чувствовал себя так, словно попал на третий акт спектакля и, не видев начала, мог лишь догадываться о том, что было.

Между тем обед начался, и матросы, служившие за столом, забегали.

— Господа,— с бокалом шампанского поднялся Муравьев.— Я буду говорить кратко, по-солдатски. За «Байкал», господа, и за его отважного капитана! Геннадью Ивановичу Невельскому, совершившему величайшее открытие современности, ур-ра, господа! — гаркнул он тем хриплым, переходящим в тенор баритоном, которым командуют на парадах и при атаках.

С криками «ура» все поднялись.

Невельской хотя и знал, что его помянут, но не ожидал такого оборота и густо покраснел. Руки с бокалами и сияющие лица потянулись к нему со всех сторон. Элиз теперь улыбалась ласково и как-то деланно-ободряюще, как бы призывая его не быть столь наивным и неопытным в своей новой роли знаменитости. Ей, кажется, хотелось руководить им.

Капитан вдруг поднялся. Ему тоже захотелось ответить. Вообще он был беспокойный человек и к тому же понимал все по-своему.

— Господа,— быстро сказал он,— если бы не Николай Николаевич, ничего бы не было! Господа! Бессмысленный запрет продолжался бы...— Он умолк, пробежав взглядом по ряду блюд и тарелок, и глаза его поднялись и остановились на губернаторе.— Вы, Николай Николаевич, смогли разрушить преграды и совершить невозможное. Но, Николай Николаевич, еще не все сделано... и все плохо... еще преграды есть... Мы только у истока дела. И если мы будем трусить и ждать инструкций...— Он заикнулся и с жаром воскликнул: — Но заслуга ваша велика!.. Господа, ура Николаю Николаевичу!

«Кажется, черт знает что я сказал»,— подумал капитан, усаживаясь.

— Так вы полагаете, что в наше время совершить открытие легче, чем испросить на него разрешение? — как-то особенно гордо спросил Корсаков, чуть наклонясь к капитану через стол и мельком косясь на Элиз.

— Ну да, да! — ответил Невельской. «Да что он таким козырем...»

— Но что за великое открытие совершил капитан? — шепотом обратилась Элиз к губернатору. Она не могла понять, в чем тут дело, так как суть от нее скрывали.

Муравьев что-то любезно ответил.

— О! — поднимая брови, многозначительно отозвалась Элиз и стала снова улыбаться.

После тостов и криков начался общий бурный разговор по-французски и по-русски. Невельской заметил, что теперь Элиз как-то странно взглядывает на Корсакова. «Так она влюблена в Мишеля», — подумал он, и как-то мгновенно в уме его сложились и первый и второй акты недосмотренной пьесы. «Да, он красавец». Михаил понравился ему... Он был юн, забавно горд и, видно, счастлив.

Зажглись огни. Настежь распахнули одно из окон. Почувствовалось, как холодный горный воздух потек в душную комнату.

Пили за губернаторшу, за хозяйку и хозяина, за Элиз, за старшего офицера Казакевича, оставшегося в эту ночь на судне, за всех офицеров «Байкала» и за всех спутников губернатора в отдельности. Дамы вышли отдохнуть. Теперь пили без всяких тостов, кто когда хотел и что хотел, и ряды пустых бутылок выстроились на столе и на полу. Муравьев с увлечением излагал свой взгляд на события во Франции.

— Луи Наполеон будет императором, — говорил он. — Это последние официальные известия, дошедшие из Европы о мартовских событиях. Но китобой уверяли, что Наполеон уже император. Его поддерживают католики и роялисты. Его приход к власти означает войну, но не ради интересов Франции. Англomanия Луи Наполеона всем известна!

Невельской вспомнил сейчас душные дни, проведенные в Портсмуте, и хотя события были на другой стороне пролива, но отзвуки их доносились и в Портсмут и в Лондон беспрерывно. Англия жила этими событиями, о них говорили и в парламенте и на улицах, писали в газетах...

— Но есть еще третья партия, более сильная! Это англичане! Сами французы не враждебны нам!

«Да у него жена французенка — и он так рассуждает, а у меня жена баронесса, так мне кажется, что немцы хороши, а вот Невельской все терся около англичан и женится на какой-нибудь их старой барышне с большими ногами, какие мы у них видали, и будет уверять, что англичане наши первые друзья, — думал Завойко. — Нашел друзей!»

Екатерина Николаевна ему нравилась своей скромностью и Элиз тоже. «Но сжели каждый будет хвалить

тех, на ком женат, то мы растащим всю нашу Россию в разные стороны! А ежели ему придется воевать против французов?»

— Католики, роялисты и англичане! Вот три партии!— уверял Муравьев.

Завойко подсел к Невельскому.

— Мне было очень приятно услышать, что вы были у его высокопревосходительства дядюшки Фердинанда Петровича.

— ...очень любезно принял меня и многое рассказал, я ему очень, очень благодарен, Василий Степанович!

«Как же не быть!» — подумал Завойко.

— Так он вам и открыл? — спросил он, подразумевая, что дядюшка «открыл» карту.

— Он посадил меня в свое кресло,— с некоторой первоначально ответил Невельской, чувствуя, что Завойко спрашивает неспроста...

«Пусть думает что хочет, а я не боюсь».

«Так я и знал! Что бы он делал, если бы не расположение и доверие дядюшки? А еще намекает, что, мол, Фердинанд Петрович не сочувствовал. И еще смеет в разговоре со мной подвергать сомнению наше исследование...»

— Поверьте мне, Василий Степанович, только молю вас, поймите все верно, что я говорю, глубоко уважая вас,— мы с вами должны действовать заодно, общими силами. Ведь вы сами столько трудились для основания здесь русской жизни!

— Так разве ж я не действую заодно? — обидчиво возразил Василий Степанович.— Еще в прошлом году — вы того не знаете,— с гордостью сказал Завойко,— Орлов был в лимане и уговорил гиляков продать землю в деревне Коль для устройства русского редута. Они просили за это китайки и несколько топоров.

Завойко был старше чином и чувствовал, что надо бы соблюдать в разговоре с Невельским побольше достоинства. Но он был очень озабочен, да и надо было успеть выспросить его.

В это время загремели стулья, внесли виолончель, вошли дамы, хлопнула крышка фортепиано. Свечи горели ярко, и свет их отражался в блестящем красном зеркале фортепиано. Элиз прошла, улыбаясь, и легко поклонилась

на обе стороны. Она была в коричневом платье, которое очень шло к ее глазам. Екатерина Николаевна села за фортепиано.

Невельской хотел что-то сказать и потянулся к Завойко, но зазвучала нота на фортепиано, потом другая, слышалось, как смычок тронул струны виолончели, и все мягко стихли, словно примиренные. В этих первых звуках была какая-то неведомая сила. Далекое и родное напоминали они. Капитан, казалось, перенесся куда-то далеко-далеко, в Петербург или, может быть, в Италию, в ложу театра, где среди огней шумела публика и оркестр настраивал инструменты у занавеса. Капитан много путешествовал в Европе, кажется, не было порта, где бы он не бывал, и, приученный Каратыгиным, он всюду старался видеть, что дают на театре.

Виолончель заиграла. Невельской почувствовал, как этот звук задел все его нервы. И ему словно сжало горло. Исчезло все, кроме жажды музыки. Как человек, привыкший к внезапным опасностям и тревогам, он не вздрогнул, ни единым движением не подал вида, что музыка сильно захватила его. Только лицо стало совсем мальчишеским, розовым и острым.

Когда виолончель запела очень страстно и нежно, он откинулся в кресле; теперь голова его, как и на корабле, была поднята повелительно. Эта музыка пробуждала в нем какие-то странные силы, которых он до сих пор не знал за собой.

Он понимал, что музыкой выражают чувства и рисуют картины, что это живопись звуком, но никогда не чувствовал музыки так, как сегодня. Элиз сейчас была богиней для него, в тысячу раз прекрасней всех, кто находился в комнате. Она царствовала и повелевала. Казалось, сама судьба послала ее на далекий берег океана пробудить в горсточке измученных русских офицеров какие-то высшие чувства и напомнить им об ином, прекрасном мире, близости которого они давно не ощущали.

На лицо Муравьева, на его эполеты свет падал сверху. Муравьев сейчас был очень молоджав, и почему-то казалось, что скулы его выдавались, а усы и глаза потемнели, и он походил на татарина. Потом он тронул рукой лоб, склонив голову на руку, держа локоть на ручке кресла, и сидел словно в глубоком раздумье, поджав сложенные ноги в лакированных сапогах.

Он хотел позабавить офицеров этой превосходной игрой, показать, что не даром взял Элиз спутницей жены. Но она так играла сегодня, что и он сам встревожился.

Он знал: Элиз прощалась, Миша уезжал. Он, Муравьев, разделял их.

Раздались аплодисменты. Элиз, странно блестя глазами и улыбаясь, о чем-то заговорила с Екатериной Николаевной, водя по смычку тряпкой с канифолью.

— А вы знаете, что она играла? — тихо спросил Муравьев у капитана. — Это Шопен... Революционер-поляк!

В другое время Невельской обиделся бы за такие разъяснения, но сейчас даже был тронут, что Муравьев подчеркивает, что в Аяне играют Шопена — врага самовластья и нашего русского самодержавия, которому мы так горячо служим...

Со своими великими географическими проблемами, со своей описью Невельской показался себе сейчас жалким и ничтожным человеком по сравнению со всем тем, о чем напоминала ему эта музыка. Сейчас, больше чем когда-либо, он чувствовал, как хочется ему любить, что он может любить очень сильно, но не любит, и от сознания этого было очень горько. Ему казалось, что открытие его ничтожно и что он может лишь завидовать другим.

Элиз играла Бетховена.

Молодые офицеры бурно аплодировали и смолкали, подчиняясь лишь одной Элиз. Она была бледна. Капитан догадывался, что ей больно. И тем сильнее действовал на него ее успех.

Когда она вышла, Завойко, у которого за все время концерта кипело на душе, вдруг сказал сидевшему рядом Невельскому, не скрывая раздражения:

— Так, Геннадий Иванович, скажу вам тоже от всей души: я согласен, что это дело общее, но запомните, что два зверя в одной берлоге не живут!

Он выпалил все это и встал. Невельской почувствовал, что сказана большая дерзость. Завойко отошел прочь.

Невельской выпил много, но сознание его было ясно. Опьянить его было делом нелегким.

Все офицеры, служившие на корабле с великим князем, помимо их прочих достоинств, не должны были пьянеть ни при каких обстоятельствах, так как разные cere-

монии и встречи во всех государствах, куда бы ни прибывало судно, иногда заканчивались выпивкой, во время которой хмелеть строжайше запрещалось уже по одному тому, что Константина приказывали оберегать от всего дурного. Это великосветское пьянство было для Невельского тяжелым трудом, который он исполнял честно.

Но сейчас ему не хотелось думать о том, что сказал Завойко. Все представлялось пустяком здесь, где звучал рояль, где были прекрасные женщины и пела виолончель.

Элиз вошла снова. В руках у нее был черный кружевной платок. Теперь аккомпанировала Юлия Егоровна. Элиз пела своим низким, почти мужским голосом. Пела она романсы, а потом русские песни, с удалью, чувствуя их, почти без акцента. Потом явился хор песельников — свои матросы с «Байкала» и «Иртыша». Муравьев подтягивал им грустно, а матросы со страхом глядели на поющего губернатора и покорно уступали ему запев.

Невельской, взяв ноту, вырвался из общего хора, покрыл почти все его звуки. Голос у него был хороший, и пел он с чувством, затягивал не совсем вовремя, но, в общем, можно и так, даже мило и своеобразно в русской песне.

Муравьев иногда тоже вырывался из хора. Пел он так жалобно, что хватал за душу. Невольно вспоминалась капитану Кинешма, где жила его мать — помещица средней руки, крепостные деревни, русские мужики и бабы и тоскливая их жизнь в лесах за Костромой.

А снаружи доносился вой и лай собак и шум ветра. Видимо, близилось утро. Невельской подумал, что ведь это все в Аяне, за много тысяч верст от Петербурга. Несколькими годами назад здесь было болото, а нынче выступает знаменитая Христиани. Это тоже подвиг... Вообще, цивилизующая роль таких мест, как Аян, огромна. Жаль только, что бухты нет...

Светало. К дому подали коней. Послышались крики погонщиков. Появился Корсаков. Он в куртке, в ремнях и с сумкой. Стали пить за его здоровье.

Все вышли проводить Мишу.

— Так не забудь сказать графу про клык мамонта, который я пошлю ему непременно для коллекции, — сказал на прощанье Муравьев. — Скажи, что по зимнему пути. И расскажи, пожалуйста, какой это превосходнейший экземпляр.

Где-то за океаном солнце уже горело, и оранжевое пламя его подпалило многоярусные перистые облака над громадной площадью воды. Пламя отражалось и в воде и небе; казалось, загорается весь океан и заревом объято все небо между Россией и Америкой.

Миша стал прощаться. Обычно жеманная, Элиз, казалось, была совершенно спокойна и просто подала ему руку. Ничего нельзя было прочесть на ее лице.

— Ну, с богом, Миша, — сказал губернатор и перекрестил своего любимца.

Михаил Семенович вскочил в седло, дал шпоры коню и поскакал. Колокольцы зазвенели, и якуты поскакали следом за ним.

— Теперь спать, господа, — объявил губернатор.

Завойко пошел проводить Невельского и офицеров. Многим из них сейчас пришло в голову, как хорошо быть женатым. Восторгались Муравьевым, что прост, был со всеми как с товарищами, и что в пем удивительное сочетание: светский человек и, как им казалось, с таким пониманием простого народа и глухой провинции.

Все шли радостные, только у Завойко и у Невельского было тяжело на душе.

Завойко что-то говорил. Невельской делал вид, что слушает, и поддакивал, но ему было неприятно, и он глядел на красные волны и на пылающее небо.

У шлюпки, качавшейся на набегавших волнах, стояли матросы. Офицеры простились с Завойко и отвалили.

«Но какой же это порт? — подумал Невельской. Им уж опять овладели его собственные, то есть флотские интересы. — Порт открыт ветру! Порт — ведь это не сарай, а гавань, бухта. Черт знает что у нас не назовут портом».

Приближался черный, избитый волнами борт «Байкала». Капитан возвращался в свою каюту, к жизни привычной и однообразной, но дорогой, и казалось ему, что сейчас будет легче, как дома, где лечат стены...

Наутро начались приготовления к отправке губернаторского каравана. А на «Байкале» и на «Иртыше» готовились к отплытию в Охотск, где должны были зимовать суда и команды.

Завойко, как и обещал, прислал свежей и соленой канусты, картофеля, овощей и сверх того — свежего мяса и свежей рыбы. Матросы были очень довольны.

Днем съезжал на берег Казакевич, обедал с губернатором, а капитан оставался на судне. Возвратившись, Петр Васильевич передал, что губернатор ждет капитана.

Вечер Невельской провел с Муравьевым. О делах почти не говорили, все откладывалось на Иркутск. Муравьев беспокоился, что скоро начнутся морозы, по рекам пойдет лед и, чего доброго, он не доберется даже до Якутска. Тем большую благодарность чувствовал капитан к Муравьеву, что тот из-за него задержался и действительно мог засесть где-нибудь в тайге на всю осень, до зимнего пути.

На другой день караван губернатора ушел по аянской дороге. Завойко отправился с ним.

Солнце клонилось к горизонту, когда на «Иртыше» и на «Байкале» подняли паруса и оба судна вышли из Аянского залива.

Дул ровный попутный ветер, и через полтора часа берег исчез в слабой далекой мгле. Корабли с заполпеными парусами шли узлов по десяти. С самого выхода из бухты ни один парус не переставляли.

Невельской прохаживался по юту. Остановится, задумается, привычно обежит взором море, на которое он, как и всякий моряк, мог смотреть часами, чувствуя отраду. Взглянет на паруса, на компас.

Он покидал Аян в том особенном настроении, когда человек чувствует, что его планы начинают осуществляться. Но все же было ему грустно.

— А ты что не в духе, Подобин? — спрашивает капитан, поворачиваясь к рулевому, но не глядя на него.

«Как-то еще знает, в духе ли я, нет ли», — думает Подобин, здоровенный детина со светлыми морщинами на покато лбу и с черной сеткой просмоленных морщин на больших руках. У него короткий нос с горбинкой и порядочные бакенбарды.

— Ты что молчишь?

— Никак нет, вашескородие!

Матросу хочется поговорить об очень важном, но Подобин не знает, как приступить, и не особенно желает заискивать перед капитаном.

— Эвон, опять сивучи-то, Геннадий Иванович, — замечает он безразлично.

Капитан уже сам обратил внимание. Серая лохматая голова вынырнула совсем близко от судна и уставилась на людей.

— Ишь, глядит! А молчит нынче, не разговаривает.

Сивуч тряхнул гривой и исчез. Вскоре его голова оказалась за другим бортом.

— А белуха, та пошла в Амур. Идет чудовище и прыгает — ему надо рыбу схватить.

Матрос помолчал.

— А все же в море лучше, Геннадий Иванович, — вдруг с чувством вымолвил он.

«Да, в море, пожалуй, действительно лучше», — думает капитан.

Глава пятнадцатая

ОХОТСК

«Как же это я про Подобина-то забыл? — подумал Невельской, проснувшись. При свете горевшего фонаря он посмотрел на часы. Шла так называемая «собачья вахта» — с двенадцати до четырех. — Как я не догадался, почему он сказал мне, что в море лучше. Ведь он даже на берегу не был в Аяне! Чего ж ему там не понравилось?..»

Невельской поднялся. «Ну что за народ, — прямо ничего никогда не скажут, всегда какая-то уклончивость. Или это мы сами виноваты — так их забили и запугали. Да он, верно, не хочет в Охотск, я уж догадываюсь, в чем тут дело. Конечно, там нет ничего хорошего».

Капитан видел, что матросы с беспокойством ожидают прихода в Охотск, зная, что офицеры там покинут их и уедут в Петербург.

Литке, бывало, говорил: «Русский матрос — клад, чудо. Надо только с ним обойтись по-человечески и обязательно учить!»

Невельской сам занимался с несколькими матросами. Теперь все кончалось, и экипаж был опечален.

«Но, — думал капитан, — должна же быть дисциплина, и я это скажу им твердо. Не в таких условиях приходилось морякам оставаться. Хвостов вон когда-то оставил пост не в Охотске, а на безлюдном Сахалине! Я им запрещу эти пустые разговоры про неминуемую беду в Охот-

ске! Никто из них там не был, а плетут черт знает что. Что за народ! Остаюсь же я сам служить в Сибири.— И в то же время ему было жаль и Подобина, и всю свою команду. Неприятно, что они волновались.— Конечно, предстоит тяжелая зимовка, да еще в голодном порту, бог знает в каких помещениях. Чиновники тут сволочь, воры. И у меня как-то все это вылетело из головы за последние дни. Видно, мечтаниями и дамскими разговорами всю память отшибло».

Он представил себе соображения, заботы и разговоры своих матросов. Вспомнил, кто из них женат, у кого семья в Кронштадте.

Пробили склянки. До конца «собачьей вахты» оставалось полчаса. Капитан надел клеенчатую куртку и зюйдвестку. Он поднялся на палубу. Ветер не менялся, но стал порывистым. В штурманской рубке у огня, над картой, Гревенс и Халезов. У штурмана в руках карандаш и линейка. Он прокладывает курс корабля.

У штурвала двое рулевых. Тускло светит фонарь над компасом. Темнеет фигура часового с ружьем. Вокруг ветер и волны. Видно, как сквозь редкие облака мерцают звезды. К утру можно ждать и хорошей погоды, и шторма.

Халезов в досаде. Гревенс озабочен. Тут поблизости скалистые островки, судно шло, по всем расчетам имея их в пяти милях, а теперь по счислению оказывается, что шли чуть не на них. Халезов вспотел от натуги. На носу корабля непрерывно бросают лот. Глубина не уменьшается.

«Недаром я проснулся»,— подумал капитан. Так не раз бывало: когда наверху возникала какая-нибудь опасность, он, не зная ничего, вскакивал с постели.

— Слева бурун! — раздается с марса.

— Черт бы ее побрал, вот она где,— ворчит Халезов. Луна взошла.

Сменилась вахта. Ушел Гревенс. Появились мичман Грот и штурман Попов.

Побледнело небо. Утро наступило хмурое, сизое и ветреное. Чайки носились высоко; по приметам моряков это означало, что ветру крепчать. Невельской думал, как встанет его судно на зимовку. «Неужели не зря Иван Подобин хулил берег?» Наконец Халезов отправился спать, все опасные места прошли благополучно. Часа полтора поспал и капитан. Снова поднявшись, он заметил, что

встер заходит от веста. Опять сменилась вахта. Появился Иван Подобин. Капитан долго стоял с ним рядом.

— Ты что у меня команду смущаешь? — как бы между прочим спросил он у рулевого.

Тот молчал.

— Ты опять как в рот воды набрал? — грубо спрашивает Невельской.

— Никак нет, вашескорodie!

— Сколько держишь?

— Бейдевинд, семьдесят три...

— Ты что же думаешь, что я брошу всех вас? Плохого же ты, братец, мнения о своем капитане.

«Посулы мы эти слышали», — хотел сказал Подобин, но промолчал.

— Ты как думаешь, для чего мы делали открытие? Ты же знаешь, что я вернусь, что подбирали команду не на один поход.

«Мне эти открытия не нужны, уж если на то пошло».

— Заполаскивает, — говорит рулевой.

Действительно, верхний парус похлопывает.

— Спустись! Еще давай, — приказывает капитан. Брамсель вновь заполняется воздухом...

На четвертый день по выходе из Аяна вдали завиделась деревянная башня Охотского адмиралтейства.

«Байкал» шел в кильватере «Иртыша» в двух кабельтовых от него. Оба судна, не изменяя дистанции, мастерски прошли бар и вошли в бухту, или, вернее, в озеро за кошкой. А на самой кошке, между озером и океаном, виднелся бревенчатый городок.

— Вот это я понимаю — моряки! — с восхищением говорил на берегу своим чиновникам пачальник Охотского порта Вонлярлярский. — Без губернатора-то легче. Мы тогда со страха «Иртыш» на мель посадили. Как я испугался! Только салюты отгремели и с этакой помпой проводили мы его в плаванье и вдруг — бац, сидит! Губернатор на мели! А тут вон как пронеслись! Слава богу, слава богу! Теперь оба эти судна поставлю на зимовку...

Вонлярлярского интересовал Невельской. «Что это за новая личность появилась в наших местах? — думал он. Вонлярлярский был человек резкий. Он не постеснялся

и губернатору выказать свой характер. Тем более готов он был не уронить своего достоинства перед Невельским, который, как он слышал, еще молодой человек. Следовало очень обстоятельно осмотреть его судно, прежде чем поставить на зимовку. Тут начальник порта никаких поблажек никому делать не собирался... В душе он предполагал, что офицеры, конечно, будут стремиться скорее в Петербург. Вонлярлярский до мельчайших подробностей намеревался выполнить все формальности, прежде чем отпустить капитана, хотя тот, как видно, и был свой человек у губернатора. Невельской очень занимал его воображение по многим, весьма важным для начальника лично причинам, а также потому, что ни один моряк на свете, верно, не мог бы оставаться хладнокровным в таком случае, когда товарищ его вернулся с описи мест, о которых шли самые невероятные толки... Вот от этой-то описи и зависело, удастся или нет Вонлярлярскому торжествовать победу, уязвлены ли его противники или нет — и друг ли ему Невельской или враг...

По тому, как он лихо прошел бар, видно было, что он моряк молодецкий... Поплонский на «Иртыше» убавил парусов, вошел с предосторожностями, а этот с ходу, при полной парусности, благо шли бейдевинд. Видно, удалой! Чего он наоткрывал, где был?

Не желая выказывать Невельскому своей заинтересованности, начальник порта сначала прибыл на «Иртыш». Старик делал вид, что очень беспокоится за это судно, снаряженное им с такой заботой. Сейчас он был очень рад, что оно возвратилось благополучно.

— А вот говорят, что «Иртыш» нехорош! — ворчал он, поднявшись на палубу к Поплонскому. — Преосвященный Иннокентий все зовет его корабль плохой ход. И англичанин Хилль смеялся, говорил, что такой флагман у нас. А как шел?

Поплонский стал рассказывать, где и какие были ветры, как шли, как и где дрейфовали, где какие встречали суда. Словом, начался тот оживленный разговор, от которого повеет смертной скукой на всякого сухопутного человека, так как почти невозможно понять, что тут интересного, но от которого Вонлярлярский пришел в восторг.

— Брамсель! Ах, окаянный! — воскликнул Вонлярлярский. — Ну и что же?

— Сорвало...

— Эх! — молвил начальник порта.

— Напрочь!

Как ни занимал Вонлярлярского «Байкал», но он хотел сначала все расспросить про губернатора, чтобы предвидеть возможные служебные неприятности на тот случай, если губернатор недоволен.

Шел разговор о снастях и о парусах, и можно было подумать, что оба моряка ничего знать не хотят о людях, что у них нет друзей и знакомых. Но потому-то этот разговор так и занимал моряков, что, говоря о превратностях путешествия, они подразумевали разговор о людях и Вонлярлярский ясно представлял, какое впечатление произвело тут все на губернатора и его спутников.

Закончив этот разговор, старый начальник порта перешел к главному.

— Ну, а что «Байкал»?

— «Байкал» был в Амуре, — меняясь в лице, ответил Поплонский с самым серьезным видом.

У Вонлярлярского отлегло от сердца.

— Был?

— Да!

— И в реке?

— Так точно.

— Перешел через бар? — восхищенно спросил Вонлярлярский.

— Там нет никакого бара!

— А что же Завойко? — вдруг воскликнул старый капитан. — Вот теперь все увидят, каков он! А ходкое судно?

— «Байкал»? Ходок! Невельской сам строил его на основе каких-то собственных понятий о кораблестроении... Говорит, брал чертежи у Михаила Петровича Лазарева. Да вот и он сам.

Подошла шлюпка. Невельской, которому не терпелось, быстро поднялся к разговаривающим. Он представился и рапортовал начальнику порта.

— Ну, что на Амуре? — тряся его за руку, спросил старый капитан.

— Устье доступно кораблям всех рангов, ступенчатые корабли могут входить.

— А что Завойко? — вдруг со злорадством спросил Вонлярлярский. — Как ему это понравилось? Ведь он нам твердил все эти годы другое.

Невельской умолк. Ему неприятен был этот разговор.

Но вскоре, позабывая все, он в радостном волнении от картиц, которые возникали в его памяти, начал заикаться и, желая сдержаться, ухватил Вонлярлярского за пуговицу на мундире и стал с жаром рассказывать, как транспорт между банок шел по фарватеру в двадцать девять футов глубины и лавировал между мелей то правым, то левым галсом,— и Невельской вертел соответственно пуговицу начальника порта то влево, то вправо.

— Двадцать девять футов? Может ли это быть?

Невельской радостно расхохотался, отпуская пуговицу:

— Ей-богу!

— Так ведь, значит, старая карта ложная? Ложная! — зло воскликнул Вонлярлярский.— Ну, так дальше! Слушаю вас.

Лицо Невельского приняло острое выражение. Видно было, что он подходит к самому важному моменту рассказа.

— Отдали якорь! — Тут он опять крепко ухватил Вонлярлярского, на этот раз уже за другую пуговицу.

Тот прощал такое неуважение к себе и мундиру только потому, что желал услышать новости, которые пойдут во вред Завойко. Он полагал, что, быть может, без хватания пуговиц Невельской вообще рассказывать не сможет. К тому же он помнил, что Геннадий Иванович служил с великим князем Константином, а мало ли какие там у них бывают великосветские привычки.

С выражением решительным и воинственным Невельской долго и подробно рассказывал про опись, делал тут же на память ссылки на мнения разных ученых, сравнивал свою опись с описями других путешественников и все более поражал Вонлярлярского своей ученостью и вдруг, просияв, вскинул руки, а потом, тыча Вонлярлярского в рукав, вскричал:

— В горах открылось устье! Река шириною девять верст! Два фарватера! Два! Не один, а два! Можно плыть в Японию, в Лаперузов пролив, в Китай, Корею, минуя Охотское море! Да едемте ко мне на «Байкал», я покажу карту.

— Вы не обижайтесь на него,— потихоньку сказал приятелю Поплонский, заметивший, что начальник порта ревниво поглядывает на свой мундир.— У него, знаете, это странность, и никто ничего поделать не может...

«Действительно, он сделал открытие! — думал Вонлярлярский, сидя в шлюпке. — Но на мундире так и пуговицы не оставишь. Истинно говорится, что Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать». Сделать замечание он не решился. «Но вот беда, — полагал старый капитан, — если он такой увлекающийся человек и с таким пылом предается наукам, то, верно, в остальном неаккуратен. Каково же у него судно?»

Неряшливости на судах Вонлярлярский не терпел. На здешних судах порядок поддерживать было очень трудно, и во многом приходилось уступать условиям и обстоятельствам, но никакого непорядка на судне, пришедшем из Кронштадта, он потерпеть не мог. Открытия открытиями, а служба службой, и поэтому начальник порта был настороже с Невельским, чувствуя, что еще могут быть столкновения. «Тогда, мой голубчик, уж я тебе и пуговицы припомню, какая бы там ни была у тебя болезненная привычка! Молод еще такими болезнями хворать! Безобразие! Все пуговицы пооттянул... А то действительно полон бриг офицеров, да все не компанейские штурмана, а великосветская молодежь, как слышно, дуэлянты, немцы, гимнасты, аристократы. Расславят потом на весь флот, что начальник порта в Охотске явился на бриг с оттянутыми пуговицами... Не объявлять же всем, что это их же капитана дело! Домой пришивать не поедешь».

Шлюпка подошла к судну. Команда и офицеры выстроились на палубе. Все блестяло, матросы в чистом, все выглядели живо и серьезно, офицеры молодцы — кровь с молоком и один к одному, а двое ростом выше самого Вонлярлярского.

«Э-е, да ты вот каков!» — подумал старый капитан про Невельского. Он сразу, опытным глазом по одному тому, как палуба была надраена, как бухты канатов расположены, как дружно, струнами стояли снасти, понял, каков тут капитан. Ему даже стало скучно, что придраться нельзя. Но когда Вонлярлярский взглянул на мундир старшего лейтенанта, то и там оказались пуговицы оттянутыми. «Старшего офицера больше всех за пуговицы держит», — усмехнулся про себя Вонлярлярский.

Он успокоился. Видно, пуговицы всем пообрывал, и тут народ к этому привычный. Все же Вонлярлярский

не стал задерживаться и поскорее, холодно поздоровавшись с офицерами, прошел в каюту капитана.

«Бывают же такие оригиналы! — думал он. — Да еще в наше время, когда часто все служебное положение зависит от того, каков вид у офицера, как пуговицы блестят, как галуны, все ли прилажено. И вот в наше-то время всего показного на флоте держится человек, который, как видно, эти пуговицы рвет у всех...»

Невельской развернул карты описи. Он рассказывал. Подали ужин и вино, потом чай, а капитан говорил и говорил.

— Что же дальше делать будете?

— Весной пойдет туда экспедиция.

— Из Аяна?

— Из Аяна!

— Завойко теперь на вас зол, — заметил Вонлярлярский. — А у него связи! Предупредите о нем генерал-губернатора. Муравьев послушает вас. А то его хотят теперь на Камчатку! Губернатором на необитаемый остров! Вот Робинзон Крузо! Санчо Панчо!

Начинался отлив.

«Иртыш» и «Байкал» затянулись на буксире портовых шлюпок в затон.

Казакевич съехал на берег вместе с Вонлярлярским.

— Ваш капитан превосходный человек, — сказал ему начальник порта. — Только зачем он пуговицы рвет?

— Вы не обижайтесь, Иван Васильевич! — ответил старший офицер. — У него это привычка. Он так делает, чтобы удержаться от заикания. Научил его актер Каратыгин, когда занимался по дикции у нас в корпусе. Все знают и ничего с ним сделать не могут. Скажу по секрету: однажды государя императора ухватил за пуговицу. Государь как-то, — продолжал лейтенант, — явился в офицерские классы, где Невельской обучался, и тот рапортовал его величеству... И знаете, заикнулся и схватил государя за пуговицу...

Дальше Казакевич не стал рассказывать о том, как император ударил его за это по руке. Вместо этого он сказал:

— Государь, с его великодушием, милостиво отнесся...

«Вот человек! — поражался Вонлярлярский, выйдя на берег. — Надо же столько смелости, чтобы царя схватить за пуговицу! Другого бы за это в Сибирь! Но почему-то

он про Завойко и не говорит, словно тот не существует! Что за странная щепетильность?»

Вонлярлярского очень заботили новости, сообщенные Поплонским о том, что Муравьев, видимо, хочет назначить Завойко губернатором. Если бы назначили Вонлярлярского, он бы, конечно, не говорил, что там необитаемый остров и себя не называл бы ни Робинзоном Крузо, ни Санчо Панчо.

Глава шестнадцатая

ЛЯРСКИЙ

На другой день Невельской рано утром явился в адмиралтейство. Дел было много. Он желал видеть казармы, в которых будут зимовать его матросы, место, где встанет «Байкал», каков затон, мастерские, хороши ли рабочие, каковы запасы продуктов.

«Байкал» стоял в затоне. Здесь же он будет зимовать. Невельской и прежде знал, что в Охотске сильные отливы и приливы, разница между ними бывает около четырех сажен. Поэтому суда входят в искусственно углубленный затон, чтобы не валяться на обсохшей кошке.

Невельской вообще везде и всюду всем интересовался. Всякое строящееся судно, каждый встречный корабль в океане, всякий шкипер, любой порт — все занимало его. Иногда даже мелкие служебные интересы были для него важнее, чем научные, видимо, потому, что в науке он был волен, но право заниматься наукой и плавать зависело от дел служебных.

Его огромная энергия часто не находила применения. От этого случались припадки раздражительности, которые так часто были у русского человека того времени и которые есть результат того, что ум и энергия его во многом оставались без применения. Чем меньше дозволено было человеку развивать духовную силу, тем тяжелее было ему, тем он более порывист смолоду, часто странен в среднем и старшем возрасте, выходки его нелепы, и он часто сам себя винит за дурной характер и не понимает причины, почему он не таков, как все другие люди.

Невельскому казалось, что, проведя более десяти лет строевым офицером при великом князе, он потерял зря всю молодость, путешествуя по портам Европы, вместо того чтобы отдаться любимым наукам. Но в то же время он, конечно, прошел трудную школу и дело изучил превосходно.

Профессиональные интересы владели им в высшей степени и сейчас. Надо было самому видеть и изучить ресурсы Охотского порта. Он глубоко был убежден, что теперь все придется переносить не на Камчатку, а на Амур и в этом работать плечом к плечу с Лярским — как все звали здесь Вонлярлярского — и с Завойко. Кроме того, судьба команды сильно беспокоила его.

Солнце светило, и рабочий день был в разгаре, а Лярский, высокий, в белом крахмальном воротничке, громогласный, с седыми бакенбардами и пышными усами, вместо того чтобы заниматься делами, пустился в рассуждения. Тут же был Поплонский.

Лярский стал объяснять Невельскому, что он мог бы открыть северо-западный проход у берегов Америки, исправить ошибки Франклина и что план, как осуществить все это, у него выработан давно. Он согласен взяться за это дело, если ему вперед дадут два чина.

Открытие Невельского сильно задело Лярского. Он даже не спал ночь. И он желал показать Невельскому, что сам тоже не ударит лицом в грязь.

Поплонский тоже не остался в долгу. Он развил план открытия еще не известного архипелага в Тихом океане, который, как он полагал, должен находиться в южной части...

Невельской чувствовал, что о деле, видно, говорить никто не настроен.

Он слушал и старался найти хоть долю осуществимого в их намерениях. Дела стояли. «Черт знает, как они время не берегут! Сказать им, что врут и фантазируют? Глупо было бы, они обидятся».

Лярский взглянул на него косо и махнул рукой с таким пренебрежением, словно Амур был сущим пустяком по сравнению с тем подлинно великим планом, который он излагал.

Поплонский, как можно было его понять, тоже не находил в описи Невельского ничего особенного и свои

планы считал куда значительнее и на основании их уже сейчас чувствовал свое превосходство над Невельским. В то же время и Лярский и Поплонский не скрывали своей глубокой иронии друг к другу.

Невельской сидел и слушал терпеливо, огорченный не только тем, что Лярский и Поплонский не придавали значения его открытию; он чувствовал, что они вообще, видимо, не склонны признавать сразу новое из соображений личных, что в нем здесь видели человека, который как бы незаконно выхватил у других славу.

Пошли обедать к Лярскому. Тот опять ругал Завойко, уверял, что он эгоист.

Выбрав удобный момент, Невельской попросил пойти после обеда в казарму, в которой будут жить его матросы. Он сказал, что хочет также видеть мастерские. Он хотел посмотреть здешних матросов, подозревая, что людей здоровых не хватает и Лярский может разобщить его команду.

— Отвожу для вашей команды самое лучшее помещение! Даже два. Флигелек, в котором у меня офицеры жили, и казарму. Лучших помещений у нас вообще нет. Так и смотреть нечего! Впрочем, если хотите, могу показать. Там еще, быть может, не все приведено в порядок... Но ведь ваши матросы не барышни-белоручки, могут для себя постараться... Да я вам вообще весь Охотск покажу, сочту счастьем и долгом... Вот поглядите, Геннадий Иванович наш элинг! Каторжную тюрьму покажу, где пожизненно сидят убийцы, с которых кандалы не снимают...

Элинг и строящееся в нем судно Невельскому очень хотелось посмотреть. Он знал, что должен видеть и каторжную тюрьму. Дела это не касалось, но в этом был его долг человеческий.

Обо всем, что касалось зимовки «Байкала» и дальнейшей судьбы команды, Лярский говорил с подъемом, видно стараясь, чтобы у капитана не осталось и тени сомнения, но тот чувствовал, что это показное, а настоящие сведения приходилось вытягивать из Лярского чуть не клещами. Оказалось, бывали случаи, когда народ тут мер от ципги, особенно новички. Лярский объяснял это дурным климатом. «Матросы мои, кажется, все это святым духом заранее проведали», — подумал капитан.

Лярский хвалил мастеровых, которых Невельской доставил из Кронштадта в Петропавловск. Нынешним же летом на «Иртыше» они перешли в Охотск и теперь работали на эллинге.

— Правда, один из них умер. Людей у меня не хватает. Тут половина больных. А уж мастеровые оказались молодец к молодцу.

Суда и казармы так и не пришлось посмотреть в этот день. Лярский говорил без умолку, строя планы, один грандиознее другого. Хитрил ли он и тянул время, пока, быть может, что-то приводилось в порядок, или в самом деле не мог удержаться от разговоров с новым человеком — трудно было сказать.

После обеда Невельской все же договорился о порядке приемки судна. Осмотр места зимовки, казарм и Охотска назначили на другой день. До вечера провели время в пустых разговорах. Потом Лярский пригласил гостей в обширную бильярдную, устроенную в нижнем этаже рядом с парадным, где на плюшевом диване всегда торчали двое лакеев.

Затемно, ничего не сделавши, капитан вернулся на судно, стоявшее в искусственном затоне. Матросы готовились к переходу на берег в казарму, а офицеры — к дальнему и трудному сухопутному пути в родной Петербург.

Все заметили, что капитан вернулся не в духе.

Глава семнадцатая

МАТРОСЫ

Весь день было так тепло, что матросы работали на палубе босиком. Но едва солнце село, как кое-где непросохшая палуба покрылась ледком. Оба часовых ходили в полушубках.

В кубрике топились железная печь, и матросы после ужина развешивали койки и укладывались спать. Поход кончился, кончилось и лето, и уж осень на исходе; сегодня все почувствовали, что близка зима. А на берегу ничего хорошего. Много в этом году видели и открыли хороших гаваней, а «Байкалу» приходилось зимовать в луже, вырытой среди песков. Назавтра унтер-офицер

обещал, что с утра для экипажа будет вытоплена баня, и в предвкушении ее и прогулки в город все несколько оживились.

У каждого из матросов были свои интересы на берегу, и каждый на что-то надеялся, хотя общее настроение было невеселым. Обычно в портах, когда на судно привозили свежие продукты или капитан приказывал закупить живых быков, матросы веселились. Закупка продуктов — всегда важное событие в жизни экипажа. А тут подшкипер привез страшные вести. Никаких свежих продуктов не было. Тут ничего не росло, своих овощей нет. Не было и базара, нет зелени никакой, только рыба — сушеная и соленая. Гребцы с дежурной шлюпки, матросы, бывшие с подшкипером в городе, и матросы охотские, доставлявшие на судно начальника порта, в один голос говорили, что здесь вечная голодовка.

Подшкипер встретил в городе своих товарищей — мастеровых, которых оставили в Петропавловске. Те не рады, что попали сюда.

До сих пор матросы не хотели верить, что в Охотске плохо, надеялись, что слухи, дошедшие до них ложны: все же тут главный порт.

Матросы понимали, что ждет их зимой в Охотске, но покорно терпели.

— Избы гнилые. Конечно, начальство впроголодь не сидит, — говорил матрос Шестаков. — На улицах юкола на вешалах сушится, точно как у гиляков. Вокруг адмиралтейства собаки норы нарыли.

Невесело было кронштадтским матросам. Служили в гвардейском экипаже, побывали в Англии, в Бразилии, на Гавайях, в теплых странах. И вот пришли в Охотск, а как он — видно с палубы, весь как на ладони.

— Торговли нет, жители сами зубами щелкают. А зимой ездят, как гиляки, на собаках... Да, провианту тут небогато! — закончил свои рассказы Шестаков, один из самых удалых и толковых матросов в экипаже.

До прихода в Охотск у всех была цель, о которой много говорил капитан. Надо было описать Амур. И все старались. Теперь цели никакой не стало. Скоро спустят гюйс, уберут реи, обернут все смолеными тряпками; останутся голые мачты да ванты, осиротеет геройский «Байкал», а экипаж пойдет на берег, в гнилую казарму кормить клопов.

Один только толстяк Фомин не унывал и даже воспрянул духом.

— Сказывали мне матросы с «Иртыша», тут каторжаночки...— говорил он, снимая рабочую рубаху.

Фомину лет тридцать, у него богатырская грудь и мускулистая шея; круглое широкое курносое лицо с хитроватыми маленькими глазками и черными усами. На груди и на спине замысловатая картина, которую сделал ему хромой француз, татуировщик короля Гавайских островов. Вокруг тела обвилась голая жепщина, лицо ее на груди матроса, руки оплетают ему шею, а ноги — спину. За эту татуировку товарищи в насмешку прозвали Фомина женатым.

— Вот бы в Аяне зимовать,— заметил Конев, высокий плосколицый матрос.— Там все сыты. Вот кабы нам у Завойки остаться. У него и картошка, и морковь, и скотина ходит, как в Расее.

Пришел Евлампий, капитанский вестовой.

— Не звали на занятия? — спросил Шестаков, разбивший сундучок с имуществом.

Еще в начале плаванья капитан велел своим офицерам в свободное время обучать грамоте желающих. Теперь многие матросы сами писали письма в деревню.

Капитан и старший лейтенант занимались с Шестаковым.

— Нет, не звали,— ответил вестовой.

Все притихли, даже молодежь, с любопытством смотревшая на татуировку Фомина. Чувствовалось, что пришел конец привычному образу жизни. Впереди неизвестность...

— Ты совсем? — спросил Шестаков вестового.

— Нет, сейчас пойду, чаю велели подать.

— Спроси капитана, можно отдать книжку? Я зайти хочу.

Вестовой ушел.

— Что ты, Козлов, размахался? — насмешливо спросил Лауристан.

— Ну, ты, кувшинное рыло! — грубо отозвался Козлов и добавил брань покрепче.

Шестаков, грустно улыбаясь, держал в руках книгу. Этот красивый рослый матрос по почам, при свете огарка, и днем, у иллюминатора, изучал в свободное время математику и астрономию, желая выучиться штурман-

скому делу. Бывало, на экваторе, сгорая от жары, морща лоб в напряжении, весь в поту, сидел он над книгами. Капитан нашел у него математические способности. Сейчас, когда вестовой сказал, что занятий не будет, он почувствовал, что надо отдавать книгу.

— С голоду тут сдохнем,— вдруг со вздохом сказал кто-то в темноте.

— Капитан сказывал, на Амуре, как зайдем место, то и будет все: и зелень, и хлеб, и всякие овощи произрастут,— вмешался в разговор Бахрушев, до того лежавший на спине и вдруг поспешно вскочивший.

— Все один черт, и на Амуре такая же голодовка будет,— молвил тот же безнадежный голос.

— Ты что это народ смущаешь, Веревкин? — раздался голос боцмана Горшкова.— Вот я слушаю тебя и не могу взять в рассуждение, какое ты имеешь право производить смущение...

В двери появилась голова вестового.

— Шестаков, капитан зовет! — заглядывая в жилую палубу, крикнул он с трапа.

Матрос живо обулся и ушел.

Когда он вернулся, все уже спали. В душной темноте раздавался тяжелый храп. Вахтенный сидел, подкидывая дрова в железную печь. Шестаков улегся на койку, спрятав астрономию под подушку. Капитан велел ему учебник оставить у себя и непременно заниматься, обязательно повторить все старое.

«Какая теперь уж астрономия,— думал он.— К ка-торжанкам, что ли, пойду с навигацией? Теперь только погулять...»

Глава восемнадцатая

ОТЪЕЗД ИЗ ОХОТСКА

Утром Ляровский повел капитана в порт.

Охотск утопал в гальке. Груды ее вместились в проломы и наполнили своей тяжестью гнилой остов какого-то судна, видимо, погибшего китобоя, с полустертой надписью на облупленном борту.

На гальке — щепь от дров, кора от деревьев, старые сани для собак.

Из низкого дома вышли двое пьяных тунгусов. Чья-то красная бородатая рожа выглянула за ними, но, завидя офицеров, тотчас же исчезла. Тунгусы подошли к Вонлярлярскому и оба встали навтыяжку, приложив руки к своим шапкам, как солдаты.

— Нам маленько не убили! — хрипло выкрикнул один из тунгусов, как бы рапортуя, и стал объяснять, что его обобрали, взяли меха...

— Пшел прочь! — гаркнул на него Лярский. — Я вас, собаки! — Он обратился к Невельскому: — Сами подлецы, а ябеды каких мало. Если тунгус увидит начальника, обязательно пожалуется на что-нибудь.

У лодок несколько охотников играли в карты. Они встали при виде офицеров; лица их были смуглы и приятны.

— Это охотники, пойдут на промыслы, — говорил Лярский. — Их посадят в трюм компанейского судна и развезут по островам. Это только тут они бездельничают. Но все народ рабочий...

Он стал рассказывать, что в Охотске отбывают наказание разбойники и разные шулера, всевозможные порочные личности и это имеет влияние на нравы здешнего населения.

— Правда, есть у нас и славный народ из каторжников. Ведь няньки, и прислуга у чиповников, и даже ночные сторожа — это все каторжники. Ведь иных людей у нас нет. Матросов и солдат горсть, да и то половина большие.

У бревенчатой батареи ходил часовой. Толпа каторжных в суконных халатах плелась к берегу; они шли так тихо, что казалось, ходить так куда труднее, чем работать.

На эллинге, крепком деревянном здании с округлой крышей, раздавался знакомый перестук топоров. Недавно эллинг отремонтировали. В крыше, среди черных досок, выделялись белые, а на стенах — светлые брусья, видимо с немалым трудом поставленные взамен сгнивших. Внутри строилось небольшое судно. Топоры стучали дружно, пахло свежеструганным деревом, как на любых верфях. Эллинг был невелик, но все делалось как следует, и Невельский даже почувствовал уважение к старому взбалмошному Лярскому. Оказывалось, что он не только кричал и разглагольствовал, но и умел строить.

— Вашескорodie, Геннадий Иванович,— подошел к капитану коренастый мастеровой с опилками в светлой бороде,— вы ли это?

— Степан? Здорово, братец, я как есть...

Мастеровые вылезли из всех щелей, сбежались из соседней мастерской и обступили капитана, с которым шли вокруг света. Лярский стоял тут же и поглядывал на них свирепо.

Невельской расспросил про харчи и жилые помещения, потом осматривал работы.

Пошли в казармы. Лярский уверял, что за команду беспокоиться нечего; будет сыта и довольна. Но капитан знал, что овощей свежих уже и сейчас нет. Пища — вяленая, сухая и соленая рыба. Казарма — гнилое, отвратительное помещение. Доктор, показывавший госпиталь, сказал, что среди местных матросов есть больные венерическими болезнями, а среди жителей много туберкулезных. Побывали и на судах. Вся Охотская флотилия состояла из «Иртыша», маленького транспорта «Охотск» и двух палубных ботов. Это был весь русский военный флот на Тихом океане. Корабли эти стали в затон рядом с «Байкалом».

В адмиралтействе Лярский представил капитану штурмана Шарипова, маленького, невзрачного человека, которого он намеревался назначить командиром «Байкала».

— А как, Иван Васильевич, у вас дерево выдерживается?

— Да выдерживаем как полагается.

— У меня, знаете, треснул гафель на гроте, так я прошу вас, пришлите мне, пожалуйста.

Лярский удивился в душе, почему это Невельской, который уезжает в Петербург, заговорил про гафель, в то время как «Байкал» остается на зимовку и никуда не пойдет.

— Весной уж поставим новый гафель, Геннадий Иванович.

— Да нет, я прошу вас завтра или послезавтра.

Лярский опять удивился. Он показал помещение, где сушится дерево.

На обратном пути Лярский опять пустился в рассуждения, на этот раз про Российско-американскую компанию.

В Невельском видел он человека, близкого и губернатору и великому князю Константину. Он стремился воспользоваться случаем и высказать все свои соображения. Компанию он ненавидел.

— Что мы собой представляем и каковы силы и средства правительства на побережье — вы сами видели теперь. Я день и ночь тружусь, но мы, правительственные чиновники, ограничены в средствах. Да и дела Компании из рук вон плохи... Страшно вымолвить, но недалеко то время, Геннадий Иванович, когда Российско-американская компания фактически перестанет быть собственником своих владений. В ее распоряжении шесть — восемь судов, тогда как к нашим островам и к берегам Аляски уже теперь подходят многие десятки, а может быть, и сотни — почем мы знаем — америкапских, английских, немецких, французских судов, бьют котиков беспощадно, ни с чем не считаясь, сгоняют наши торговые одиночки, грозят разгромить фактории. А ну, скажите мне, есть у Компании сила справиться со всем этим? Клянусь честью, Геннадий Иванович, если об этом не подумают в Петербурге, дело будет плохо... А ведь есть верфи в Ново-Архангельске, есть порядочные люди, которые прилагают невероятные усилия и даже два парохода построили сами. Один пароход с английской машиной, а для другого машину сделали сами целиком... А из Штатов,— продолжал начальник порта, останавливаясь посреди улицы,— американцы, как может сказать каждый, кто встречался с ними, не признают в Восточном океане ни за кем никаких прав, несмотря на строжайшие запреты своего же собственного правительства. А Компания? Вы думаете, это их беспокоит? Никак нет. Там разваливают все...

— Но ведь у Компании есть школы, больницы, церкви, верфи! — возразил Невельской.

— Что толку! Вон, говорят, преосвященный Иннокентий хочет оттуда уйти. Конечно, мы первые построили пароход на Великом океане, но построили один — строй другой. Они живут, как старосветские помещики, а тут не Диканька и не Миргород, когда вокруг ходят такие ухари и пираты. Акционеры и правление, сидя в Петербурге, думают, что тут можно обосноваться, как где-нибудь среди вотяков. Вот Компания уже потеряла свои фактории на Гавайях и в Калифорнии. Они думают, что

это как к чукчам — послать в Калифорнию чиновника раз в год, и все. Нет, тут не чукчи, тут со всех сторон идут американцы, народ бывалый, никого не признающий, которому застрелить любого человека — раз плюнуть, у которых всегда пистолет за поясом и нож с собой и на которого жаловаться можно только в Вашингтон, да и то без толку, так как его и не поймаешь без флота. Еще слава богу, что иностранцы побаиваются имени русского, а то бы они уж могли тут все давно разнести. А что мы можем им противопоставить? Камчатку? Или Охотск? Я вам скажу, выработался особый тип компанейского питомца. Это народ, который едет сюда сорвать, нажиться тут, а совсем не думает делать капитальные затраты, положить труд свой, потерпеть, пострадать. Вот и сложился особый тип колониальных служащих. Для них главное — личное благополучие, карьера. Они надеются во всем на Компанию... — Тут Лярский опять выругал Завойко, потом сказал, что нынешний управитель колонии Тебеньков — пустое место, ничто, а Розенберг, его помощник, — настоящий прохвост, который продовольствие, предназначенное для Аляски, продал за сумасшедшие деньги американцам на Калифорнийские приiski. И такой человек ворочает всем, а Тебеньков ему доверяет.

Между тем на улице началось оживление. Обыватели новылезали из-за своих бревенчатых заборов. Появились две пожилые, но веселые бабы в легких светлых кофтах, с выбившимися из-под платков волосами, покрасневшие, словно их оторвали от стирки белья. Стоя у ворот, они весело пересмеивались и переглядывались, словно им было по восемнадцать лет, а не по сорок с лишним. Тощий пожилой старец с горбатым носом, видимо, торгаш, с палкой в руке, стоял на крыльце мелочной лавочки с видом нацелившегося ястреба. Появились солдаты и давешние тунгусы.

По улице, бухая ногами в гальку, шагала стройная колонна матросов. Все они были в новой форме, странно выглядевшей среди охотских лачуг и обывателей в лохмотьях. Люди шли дружно, в ногу, рослые, стройные, с открытыми здоровыми, сильными лицами, с тяжелыми руками тружеников. Сердце капитана защемило. Это шел его экипаж, команда «Байкала». Боцман Горшков вел их. Они шли, слегка отбивая шаг, не глядя на домишки

и на обступавшую их толпу. Среди них не было видно ни старых, ни слишком молодых, и по росту были как на подбор. Даже Алеха Степанов повзрослел и вырос за этот год. А неровная толпа охотских жителей стояла как нива, побитая градом.

«Неужели Охотск погубит мою команду? — подумал капитан. Он вспомнил казарму, венерических больных, суп из солонины.— А как я подбирал матросов, сам ездил на суда, как учил их, хотел, чтобы они все стали грамотными, заставлял офицеров заниматься...»

Это были люди, которые осуществляли его замысел, почти родные ему. Гордость и горечь охватывали капитана при виде славной команды. Он сам пробудил в них человеческое достоинство, и, казалось, оно взывало сейчас к нему же.

Капитан наблюдал и за толпой — и тут было немало по-своему хороших лиц.

«Конечно, и в Охотске не все пьяницы и торгаши,— подумал он,— но голод, каторга, тюрьма, жестокий климат...»

Колонна приближалась. Глаза Лярского сверкнули и сощурились. Старый моряк, казалось, помолодел. Он приосанился и, когда эта горсть матросов русской морской гвардии, отбивая тяжелый шаг, взяла по команде унтер-офицера равнение на двух капитанов, начальник порта поднял голову и рывкнул:

— Здорово, молодцы!

Матросы отвечали дружно и громко.

— Кронштадтцы! — молвил какой-то старый матрос с компанейского судна.

— Пооботрутся тут,— заметил другой.

— Превосходная команда,— с чувством сказал Лярский. Он рассчитывал оживить Охотск и всю здешнюю флотилию этими людьми, растасовавши их по другим судам.

Матросы прошли.

Разговор про Компанию продолжался...

Лярский сказал, что Компанию следовало бы лишить всяких привилегий и открыть ее земли для всех русских подданных без исключения.

— Вот бы и был выход! Очень просто! Сибирь послала бы тысячи новых промышленников, и это была бы силища, против которой ничто все американские авантю-

ристы. Тогда бы исчез этот тип питомца Компании — сутяги, лицемера, который в Петербург доносит, что превосходную дорогу построил, когда на самом деле там и тропа-то теряется в болотах...

Капитан полагал в душе, что выход не только в этом. «Все решится, когда в Европейской России освободят крестьян, народ, вот в чем наша сила, корень вопроса — в России. А развитие Аляски зависит от развития Сибири. Нам надо о Сибири в первую очередь позаботиться, а у нас Сибирь выхода не имеет к океану. Население России должно хлынуть в Сибирь, на Амур, на Аляску. Приказные бюрократы опять утешают себя тем, что еще, мол, не время, не настало еще время для этого».

Лярский стал говорить, что охотские обыватели в большинстве сами бывшие каторжане, что дом, из которого выгнали сегодня тунгусов, принадлежит одному из таких.

— Тут народ сплошь сволочь, и только я их держу в узде!

Невельской ответил, что все население сплошь не может быть порочным.

Опять пришли к Лярскому. В полутемной комнате с плюшевого дивана вскочил сонный лакей.

К обеду собралось все охотское общество — чиновники, офицеры с женами, офицеры с «Байкала» и флотилии. После обеда расставили столики и сели играть в карты. В бильярдной защелкали шары. Лярский играл превосходно: он был высок и дотягивался через любой борт до любого шара.

«Лакейская, бильярдная, плюшевые диваны, разговор о высоких материях,— думал капитан.— А Завойко живет скромно, у него и лакеев нет, он сам огород копает, картошкой все засадил. А тут барство в гнилом доме. И эти фантазии про открытие прохода у берегов Северной Америки!» И в то же время, судя по тому, как эмалинг был отремонтирован и как судно строилось, Лярский мог трудиться. И судил он верно о Компании, сообщил много любопытного. Но был он какой-то бешеный, обиженный, теряющий чувство меры. Любил побарствовать, выпить, похвастаться.

Лярский выиграл у Невельского несколько партий в бильярд и тут же, с кием в руке, стал рассуждать о сфе-

роидности земли. Потом повел его в кабинет и, видимо воодушевленный выигрышем, объявил, что мог бы взяться вымерять меридиан и доказать, что английская миля неверна...

— Петр Васильевич, тяжелое впечатление произвел на меня Охотск,— говорил Невельской своему старшему офицеру, возвратившись на судно.— Лярский живет барином, с лакеями, а люди у него мрут от голода и болезней.

— Не оставляйте, Геннадий Иванович, здесь судно на зимовку,— сказал Казакевич.— Просите губернатора... Порт нездоровый совершенно.

— Да я уж и то заказал сегодня гафель у Лярского.

— А он спросил тебя зачем?

— Он, кажется, обалдел, но ничего не сказал. Он, видно, хочет рассовать нашу команду по своим гнилым посудинам. А что это за флотилия! Что за порт! А в отлив суда, если не войдут в затоу, лежат на суше! Какова бухта! Не для этого мы с вами выбирали людей в Кронштадте. Уж я бы ему сказал, только раньше времени не хочу бередить... Он, кажется, видит во мне этакое ревизора, и я не хочу огорчать его.

— Да, разочаровывать раньше времени не надо!— Оба приятеля невесело рассмеялись. Петр Васильевич был спокоен.

— Но куда? Куда? Хорошо бы, конечно, в Аян, к Забойко, хоть он и терпеть меня не может. Но Аян в главном нехорош. Открыт ветру, и судно там осенью разобьет.

— На Гаваи, Геннадий Иванович, к Камехамехе.

— Нет, Петр Васильевич! Уж если зимовать, то на Камчатке. Надо приучаться к зимовке в своих портах. Там прекрасная удобная стоянка, без всяких неожиданностей вроде весеннего разлива и ледохода. Да и порт без болезней. А здоровый ли порт в Гонолулу, этого тоже никто не знает. И знаете, ведь если судно пойдет на зимовку в другой порт, Лярский должен будет выдать Шарипову вперед все продукты по норме. Тут уж экономить ему не удастся. А то он будет морить людей голодом. За чей-то счет содержит он все эти бильярдные и лакеев, не с жалованья же! А тут губернатор прикажет ему выдать сразу все, и продукты будут. Приезжает же ему казна.

— Лярский вскипятится? Ему это сильно не понравится.

— Нет, он ничего не сделает,— ответил капитан.

— А вы знаете, Иван Васильевич,— сказал Невельской на другой день Лярскому,— я решил «Байкала» на зимовку здесь не оставлять.

Лярский ужаснулся. Он пытался спорить, но Невельской сказал спокойно, что об этом будет прислано распоряжение губернатора, и если хоть один матрос будет взят из экипажа «Байкала» на другое судно, то за это придется отвечать.

Лярский впал в гнев и стал разглагольствовать о том, что ему не доверяют, когда он намерен сделать все возможное для матросов, и что его право распоряжаться ими.

Невельской ответил, что судно вообще не должно зимовать в Охотске. Теперь роли переменялись. Загорячился капитан, а Лярский сидел огорченный. Разговор шел в каюте капитана. Присутствовал Казакевич и тоже насел на Лярского, помянувши, как бы между прочим, что экипаж этот составлен из матросов «Авроры» и что в Петербурге заботятся о его сохранении.

Лярский повесил голову. Протестовать он не смел. «Так вот зачем ему нужен был гафель»,— думал он.

После долгих споров Лярский наконец смирился и обещал подготовить «Байкал» к плаванию. Но сначала он хотел получить об этом распоряжение из Якутска от Муравьева.

— Время хотите упустить?— резко сказал Невельской.— Вы не верите моему слову, что распоряжение будет?

— Так не от меня зависит,— попытался оправдаться струсивший Лярский.

Наконец он дал слово, что начнет подготовку незамедлительно.

Сошли на берег, пошли в адмиралтейство, взяли бумагу и карандаши, стали прикидывать общий «вес» порта, то есть сколько пудов надо будет перевезти, если порт переведут на устье Амура, что бросить, что взять, сколько пойдет людей. У Лярского многое было подсчитано. В душе он еще надеялся, что поедет губернатором на Камчатку, потому и хвастался заранее готовыми расчетами.

Разговоры о том, что Муравьев хочет сделать главный порт на Камчатке, заботили капитана. Правда, губернатор был здесь до открытия устья Амура, естественно, что в разговорах с Лярским он не мог говорить о перенесении порта в Амур и вообще, кроме как в Петропавловск, никуда переносить порта не мог. Все же в глубине души Невельской не был уверен, что планы губернатора переменялись.

Утром, после того как все офицеры простились с судном и отправились на берег и вернулись относившие их вещи матросы, Невельской приказал выстроить команду на шканцах. Мрачные, молчаливые матросы вытянулись в струнку, подчиняясь привычной и приятной сейчас для них дисциплине.

Капитан понимал, что у них на душе. Хотя он не раз говорил им, что весной вернется и снова примет командование судном, что «Байкал» еще понадобится для важных дел, но трудно было на их месте не впасть в огорчение. Охотск никого не мог радовать. Капитан и офицеры уезжали. На судно заступал новый командир, из здешних невзрачных штурманов.

«Они снесли все тяготы безропотно,— думал капитан.— Мы сами уговаривали их стараться, сулили награды и благодарность потомства. И они делали все по убеждению, там, где никакие приказания и угрозы не подействовали бы».

— Через несколько дней я сдам судно и уезжаю, и у вас будет новый командир,— заговорил капитан.— Я еду в Иркутск к генерал-губернатору, который был у нас на корабле в Аяне. Я уже послал рапорт морскому министру, его светлости князю Меншикову обо всех наших открытиях и прошу о наградах всему экипажу. Губернатор, в свою очередь, представит об этом же государю императору нашему...— При этих словах Невельской повысил голос, переходя на тон торжественный и властный.

Ветер посвистывал в обледеневших снастях, на которых, казалось, были надеты белые стеклянные дудки. В искусственном затоне за бортом рябила вода. Вдали виднелись лайды: в отлив вода из бухты ушла. А за кошкой шумело море.

— В Иркутске вместе с губернатором мы будем ждать повеления его величества государя императора о пла-

ванье «Байкала» в будущем году. А вам тут надо помнить, что «Байкал» еще понадобится для выполнения высочайшей воли,— продолжал капитан.— Помните, что мы не зря шли из Кронштадта, что, кроме нас с вами, дело довести до конца некому! Ведь сколько раз я толковал вам об этом и прежде... А вы, как видно, позабыли мои слова...

Он умолк, глядя на своих матросов.

Они хотели еще ободряющих слов. Когда, бывало, капитан что-нибудь рассказывал, становилось спокойней, и теперь им, как и всегда людям в трудном положении, хотелось, чтобы он дал смысл тяготам и страданиям, которые их ждали. Матросы слушали сурово, но с надеждой.

«Мы вытерпим»,— как бы говорили их напряженные лица.

— А вы, я вижу, уж не такие веселые, как бывало прежде,— продолжал капитан оживленнее. Он знал, что достаточно сказано уже о государе и про важность дела. Надо поговорить по-свойски.

— Вот Козлов, например, ты, я вижу, совсем испугался.

По строю матросов пробежало неохотное и слабое оживление, словно матросы чувствовали искусственность этого перехода к разговору о «простом».

— Козлов, два шага вперед!

Скуластый матрос с белокурым чубом, старательно ступил два шага. Ноги у него пятками врозь, носками вместе, что делало их похожими на медвежьи лапы.

— Ты вчера в бане ударил тазом банщика по голове?

— Так точно, вашескорodie,— хрипло ответил Козлов.

— Разве ты драться в Охотск приехал? Отвечай! Ты, открыватель Амура, герой!

Козлов, обычно сдержанный и терпеливый, ударил банщика, потому что вообще был зол. Он наслушался разговоров товарищей, посмотрелся на Охотск, досады накопилось много, но говорить он не умел и, придя в баню, рассердился и треснул банщика.

— Ты что же, приятель, пришел из Кронштадта за тем, чтобы в Охотске банщикам головы проламывать? За этим тебя послали в Восточный океан? На что ты обозлился? Что тебе зимовать в Охотске? Да ты мат-

рос, — значит, ничего бояться не должен. Вот настанет лето, и мы должны посты ставить в новых бухтах, доставлять русскую армию на Амур, переселенцев, скот, коней. А ты хочешь, чтобы я весной сюда приехал, а мне бы сказали, что Козлов в каторжной тюрьме сидит. А на тебя глядя, и другие возьмутся за то же. Я приеду и спрошу: где моя команда? Что мне скажут?

Матросы стояли ни живы ни мертвы. Их тронуло, что капитан приедет сюда весной и спросит. Было в этих словах то, что так дорого матросам, — внимание и забота.

Теперь, когда он наконец начал их бранить, они почувствовали это. Души их тянулись к нему. Сказано было немного, но все попало в самое сердце.

— Да, да! Глядя на тебя, — продолжал капитан, — примутся и другие бесчинствовать! Вон, выпусти-ка Фомина на берег. Он спит и видит показать какой-нибудь вдове свою картинку.

Опять по рядам пробежало оживление, которое, правда, не держалось долго. Но на этот раз все немного повеселели. Капитан сказал, что будет просить губернатора об отправлении судна на зимовку в другой порт и что к этому надо быть готовым.

Матросы знали, что, как капитан говорит, так и будет. Ясно, что он вернется и опять пойдет к Амуру. Ведь недаром было упомянуто и царское имя, и губернатор. Свой, питерский, капитан хотя и уезжает, но не покидает их на произвол судьбы; за капитана каждый был готов в огонь и воду.

Капитан сказал, что от зимовки в Охотске ни команде, ни судну добра быть не может. Что в Якутске он застанет губернатора и вышлет оттуда бумагу, чтобы «Байкал» шел на Камчатку и сразу был бы снабжен всем необходимым провiantом на целый год. Никто пайка не урежет.

— И вам сейчас же надо готовить судно к переходу. Море еще долго будет свободно ото льдов, и переход возможен еще в ноябре, время есть. А будущим летом «Байкал» вернется сюда, и я приму команду снова...

— А по мне, Геннадий Иванович, тут бы лучше, — говорил под хохот своих товарищей толстощекий матрос Фомин, когда команда разошлась. Все знали, что будет тяжело, но речь капитана тронула. К тому же он обещал побывать в Кронштадте.

Конев в этот день шил новый парус на палубе и думал. Он из пензенских крепостных, попал во флот темным и неграмотным, бывал бит, сносил издевательства. Но еще до службы с Невельским выучился читать по складам. Много повидал во время кругосветного, многое слышал он и прежде о жизни людей в других странах, а теперь увидел своими глазами. Он отлично понял слова капитана. Конев был с Невельским на устье Амура и тоже разговаривал там с русским, жившим среди гиляков. Про далекие новые места слышал Конев и от сибиряков, и прежде, под Пензой, — слухи доходили туда о жизни за Уралом. Потом слышал он и про то, как в Америке люди селились на новых местах. И вот ему запало в голову поселиться на Амуре, как Фомка, только когда будет порт на устье, не с гиляками, а со своими, чтобы пахать землю. Земля там, как сказывал русский, хороша, и чем выше, тем лучше. Места понравились Коневу. Рыбы тьма. Леса — бери сколько хочешь. Так и представлял он себе рубленые избы повоселов на лугах под обрывами каменных сопок. А лес по осени в золоте, нивы хлеба созрели, рыба идет по реке... Коневу казалось, что все это может быть скоро... Много ли на это времени надо!..

И слышал он однажды, стоя с ружьем на часах, ночью, что говорили на юте офицеры.

— Крепостному праву долго не быть, — сказал капитан старшему офицеру. Тот соглашался, и говорили попережку по-русски и по-французски.

Капитан в ту ночь приводил в пример свою команду, что люди могут отвыкнуть от побоев, что не обязательно их драть...

Конев чувствовал, что где-то что-то замышлялось, что скоро будут большие перемены. Слышал и он про восстание народа во Франции; люди там истребляли помещиков — так однажды рассказывал двум мичманам, захлебываясь, молоденький юнкер, когда стояли в Англии. Видно, он узнал про это... И знал Конев, что за эти разговоры капитан и Казакевич могут расстрелять, но сами ведут их потихоньку. Кто враги, кого бояться — Конев толком не знал, но знал одно, что люди в других странах живут без помещиков и что не худо бы все пензенские деревни из-под гнилой соломы и из-под барина вывести на сибирские земли, в кедровые леса... Он был из тех

людей, которые всегда видят вокруг тайны, опасности. Он знал, что жгут помещицЫн усадьбы недаром и что капитан такие речи ведет не зря. Капитан хороший, но тоже рыло в пуху, чего-то бунтует.

И, как нарочно, Коневу приходилось в жизни встречать таких людей и слышать разные разговоры, которые подтверждали существование чего-то неизвестного, даже на том корабле, где он служил, и это еще сильнее воспалело его склонный к любознательности ум. Именно поэтому он хотел от всего старого уйти, уйти на Амур, на новое место. Главное, что место было просторное, свободное... А тут какие-то заразы, в этом Охотске. Банщик оказался придирой, таких давно уже не видали...

Капитан уезжал.

Последние вещи вынесли, каюта опустела, полки стоят без книг. «Вот тут я жил почти полтора года.— Он постоял, глядя на голые переборки.— Сколько было пережито здесь. На «Байкале», может быть, в этой каюте, прошли самые счастливые дни моей жизни».

Он вышел, прикрыл дверь с большой блестящей медной ручкой и быстро поднялся на палубу, где уже выстроился весь экипаж.

Иван Подобин выступил вперед и поднес капитану подарок: трубку, вырезанную из куска дуба, взятого на Амуре. Капитан заметил, что глаза у многих матросов мутны.

«Я никогда не оставлю своего «Байкала»,— подумал он, чувствуя, что комок подступает к горлу.— Я лгал им, чтобы успокоить, укрепить, лгал именем царя, знал — поверят... Я пустился на испытанный обман. Как я могу иначе действовать? Разве я смею сказать им, что, быть может, и я и они со мной обречены на гибель? Да нет, это чушь, я сам черт знает что думаю... Но никогда не позабуду своих матросов». Невельского давно волновало то, что ждет его впереди, а теперь к этому прибавлялась еще судьба остающегося здесь экипажа. Он когда-то мечтал, что матросы «Байкала» будут ядром будущего приморского населения Приамурья...

— Ну, братцы, так помните — жить дружно. Духом не падать. А я буду хлопотать.

Капитан стал обнимать и целовать всех матросов по



очереди. Многие отправляли с ним письма. Он обещал, что, если будет в Петербурге, навестит семьи тех, у кого они были в Кронштадте.

Матросы снесли вещи по трапу и понесли их с Евлампием по отмели.

Подходя к адмиралтейству, Невельской оглянулся.

Виден «Байкал» с бортами, усеянными головами матросов. Судно стояло печально, с обледеневшими снастями. И вдруг на нем послышался незнакомый капитану резкий, звонкий голос. Он понял, что это новый командир что-то скомандовал матросам, видно желая покончить с этими тоскливыми проводами и показать, что теперь командует он, его обязаны слушаться.

И этот крик короткой, но острой болью отозвался в сердце Невельского.

Казакевич немного удивился в душе, что Невельской не хочет хлопотать о посылке «Байкала» на зимовку на Гавай. Там фрукты, свежая пища всегда, люди отдохнут, наберутся сил. Невельской поступал на этот раз жестко. Фанатическая преданность его своей идее не всегда, как полагал Петр Васильевич, хороша.

А как нравилось матросам на Гаваях! Король Камеха принял любезно капитана и офицеров, а узнав, что в эти дни была православная пасха, много приятного и полезного сделал для своих гостей.

— А все же я его пробрал,— говорил Иван Подобин своим товарищам.— Как я сказал всю правду, так его совесть и взяла.

— Как же, он чувствует!

Матросы с удовольствием слушали, как Подобин выразил свои мысли капитану и тот посовестился. Каждый из них понимал, что Геннадий Иванович совсем не такой капитан, как другие, и каждый гордился, что на «Байкале» было хорошее обращение. И отрадно было вспомнить, что смели упрекнуть самого капитана.

Все же зимовка предстояла тяжелая, без радости и даже без надежды на радость, а дальше — долгие годы службы здесь, где голо, пусто, голодно.

— Поехали, аспиды, в Питер, за мамзелями хлестать,— говорил Конев,— а нас хоть бы на берег, а то, видишь, даже списывать не велели, мол, заразы бояться... Сиди, как в клетке. Близок локоть, да не укусишь.

Вот и настала мена корабля на лошадей. Как все моряки, Невельской любил поездить верхом. И путь предстоял преинтереснейший — через хребет Джугджур, тот самый, продолжение которого ложно считается границей между Россией и Китаем. А там — Сибирь...

И только сейчас, влезши на якутскую лошадь, капитан почувствовал, что он Сибиря не знает, хоть и читал о ней всю жизнь книги, что это для него совершенно неведомая страна, как Америка для Колумба.

И он желал все видеть, знать, изучить.

А в сибирском лесу уже стоял холод, морозы с каждым днем становились все крепче. Давно капитан не

видал зимы и соскучился по морозам. Тут они были здоровые, крепкие, при ясном небе и ярком солнце.

Иногда ему казалось, что он двигается медленно, а события в мире развиваются быстро или что у него не хватает знаний, что еще очень много надо учиться и многое успеть сделать. С каждым днем все сильнее охватывала его тревога, как у перелетной птицы с подрезанными крыльями, которой нельзя лететь, хотя уж осень настала.

Думал он и о губернаторе. Приятна была предстоящая встреча с Николаем Николаевичем, с Екатериной Николаевной, с Элиз.

«Я, кажется, намеревался влюбиться в нее. И ничего у меня не получилось! Дай бог Мише, если любит...»

И в то же время его сильно беспокоили дела Завойко, и перенос порта на Камчатку, и будущие действия на Амуре. Он надеялся, что с помощью фактов удастся доказать свое губернатору.

Однажды утром поднялся на вершину хребта. Меж скал гребня ветер уносил в проломы целые облака снега. Сугробы были высоки, ветер выл, гнул березовые леса. Тут уже настоящая зима. И дальше, за хребтом,— замерзшие болота, снега и снега.

Капитан все замечал: и нищету населения, и болезни, и чахлый скот, и жалкие жилища якутов и русских — все волновало его.

Ночью он спал тревожно. По ночам давили тяжелые сны. Иногда он просыпался от своего крика, постоянно был напряжен, как бы в ожидании чего-то...

Глава девятнадцатая

ЯКУТСК

Стояли сильные морозы. Однажды в полдень с холма завиделся Якутск. Низкий деревянный город широко раскинулся по долине, и Невельской с любопытством всматривался в его черты. Это был первый сибирский город, который видел он в своей жизни. К тому же город старинный, о котором не раз было читано, который с детства представлялся воображению. Тут, по описаниям и слухам, частично сохранился архив с подлинными доносениями русских землепроходцев: Хабарова, Пояркова,

Степанова и других... В старину здесь был центр русской жизни в Восточной Сибири, сборище вольницы, подобное Запорожской Сечи; отсюда совершались смелые походы на Амур, на Зею, к Ламскому морю и на север, сюда свозилась добыча.

Подъезжая к Якутску, офицеры видели перед собой дрянной захолустный город, в котором, однако, можно отдохнуть, а Невельской испытывал сейчас такое чувство, словно встречался с живой историей. Над городом виднелись купола каменных церквей и соборов, а в стороне от них, в дыму и морозной мгле, проступали тонкие очертания бревенчатых древних башен и стен старинной казачьей крепости. Купола церквей придавали мрачному Якутску празднично-сияющий, торжественный вид, который особенно должен был поражать тунгусов и якутов и вообще простой народ, в кои-то веки выбиравшийся в город из лесной глуши и тундр. Тут был один из богатейших в мире пушных рынков, а также рынок мамонтовой кости.

Миновав полосатую полицейскую будку, въехали в улицу. Дома города были черны, но обширны и, видимо, не так низки, как казалось сейчас, когда их занесло снегом. Тучные срубы с сугробами на высоких крышах обнесены бревенчатыми заборами с шатровыми воротами. Множество дымов заманчиво и дружно валило из заснеженных труб, и путникам, уставшим и иззябшим, представлялось, что тут главное занятие жителей — топить печки и отогреваться.

Выше церковных куполов дымы сливались и стлались белыми кучевыми облаками, в проемах между которыми светило солнце.

Офицеры, зная, что этот якутский пейзаж таит где-то в своей глубине маленькое общество во главе с генералом, всматривались с любопытством, ожидая, когда же и как этот мрачный Якутск разрешит задачу, которая всюду решалась одинаково. Как бы ни был мрачен вид любого городка в России и как бы ни были дики и нищи его обитатели, но в каждом находились богатые дома, а значит, и общество, и балы...

В областном управлении офицерам дали провожатых, чтобы развели их по квартирам. Губернатор, узнав о прибытии Невельского, немедленно послал за ним.

В доме пачальника округа, где остановился губернатор, на самом деле ничто не напоминало о тех избах и

юртах со слюдяными окошками, с пластинами льда вместо стекол, в которых ночевали моряки по дороге, о лошадях, которые падали, разбивая в кровь колени, дохли на глазах под ударами кнутов или ломали ноги на обледеневших обрывах... От хрустальных люстр, от изразцов для печей и до тропических растений здесь все было привезено из Петербурга.

— Ждем, ждем, Геннадий Иванович! — восторженно встретил Невельского губернатор.

Екатерина Николаевна отдохнула и похорошела, ямочки на ее щеках стали заметней. Теперь уж ей и Элиз не приходилось, как на «Иртыше» и в Аяне, каждое утро затягивать друг другу корсеты и застегивать платья. К их услугам были горничные. Правда, сложные прически с локонами они делали сами.

Христиани кокетливо и с живостью улыбнулась капитану, как хорошему знакомому. Тут же были Струве и доктор Штубендорф.

За обедом подавали щи, рыбу, нельмовые пупки, оленьи языки. Стояли серебряные ведерца с бутылками во льду и вазы с черным мороженым виноградом из России и с гавайскими апельсинами из Аяна. Губернатор, с салфеткой, косо падавшей через его мундир, склонясь над столом и выкинув из кулака указательный палец тычком вверх, восклицал, обращаясь к Невельскому:

— Я говорил вам, что Ледрю Роллен вылетит в форточку! К власти идет Бонапарт! Он — ставленник англичан...

Булькало вино, подавался десерт...

После обеда Муравьев увел капитана в кабинет.

— Теперь рассказывайте, дорогой Геннадий Иванович!

— Прежде всего, Николай Николаевич, я прошу вас о спасении «Байкала».

— Что же за гибель грозит ему? — с несколько шутивным удивлением спросил генерал.

— Гибель не в бою и не в море, а на берегу, в гнилом Охотске, в порту очень нездоровом, пропитанном духом Компании...

Муравьев стал серьезен. Он все понял. Ему нравилось, что опытный моряк не хочет позволить своему судну зимовку в негодном Охотске.

— «Байкал» нужен будет нам для дальнейших исследований. На нем хорошо обученная, дисциплинированная

команда, составленная мной по выбору из лучших матросов в Кронштадте. Я очень прошу вас принять меры для спасения этого судна и его заслуженного экипажа.

— Но что же надо сделать? — быстро спросил губернатор, раскидывая руки и показывая, что не следует волноваться: дело ясно.

— Прежде всего я прошу вас отдать приказание начальнику Охотского порта, пока еще не закончилась навигация, немедленно отправить «Байкал» на зимовку в Петропавловск.

— В Петропавловск? На Камчатку?

— Да, Николай Николаевич, только туда...

Муравьеву это было еще приятней слышать, но он смотрел с некоторой пристальностью, в таких случаях выражавшей настороженность.

— Я немедленно отдам приказание снабдить его для зимовки в Петропавловске всем необходимым. Но ведь поздняя осень? Переход еще возможен?

— Да, и на судне все готово к этому... Кроме того, Николай Николаевич, необходимо принять меры к сохранению экипажа судна в прежнем составе, ни в коем случае не позволять ни Вонлярлярскому, ни Машину спускать людей на берег или на другие суда.

— Вполне согласен с вами, — категорически ответил Муравьев. — Действительно, надо иметь хоть одно поря- дочное судно!

Губернатор вызвал Струве и приказал составить бумагу на имя Вонлярлярского об отправлении «Байкала» на зимовку в Камчатский порт.

Невельской просил отправить зимним путем из Аяна к устью Амура на оленях Орлова, подробно объяснив цель такого путешествия.

— Прошу вас, Геннадий Иванович, напишите сами инструкцию Орлову для посылки в Аян с нарочным для передачи Завойко.

— Инструкция господину Орлову уже составлена мной, Николай Николаевич, — ответил капитан. Он достал из кармана вчетверо сложенную бумагу и подал ее губернатору. — Судите сами, ваше превосходительство, сколь нужен для нас такой человек, как Орлов. Это прекрасный моряк, знаток края в полном смысле слова. Он знает по-тунгусски и немного по-гиляцки... Но унижительное положение его во многом является препятствием

тому делу, которое он мог бы исполнять. Он нужен нам не в качестве частного лица, а именно в той должности и в том чине, которые соответствуют ему и принадлежат по праву. Поэтому я прошу вас, ваше превосходительство, если вы найдете возможным, ходатайствовать о прощении Орлова.

Муравьеву нравилось, что Невельской не касается сути вопроса, не говорит, виновен Орлов или нет в прошлом, а судит, нужен он или не нужен. А раз нужен, то просит за него. В этом была широта взгляда, отсутствие предрассудков. «Как в Австралии или в Америке,— думал Муравьев,— какое дело до того, что за человек был прежде. Судит о нем, каков он сейчас, каков он есть... Хотя... У нас часто точно так же...— пришло ему в голову,— нужен человек — прощаем проступки, воровство и все такое прочее. Не нужен — не беда, что нет вины. В ссылку его, в Нерчинск! Чуть-чуть не как в Австралии...»

— Я ознакомился с его делом,— продолжал капитан,— и глубоко убежден, что он невиновен. Человек, которого он застрелил, был мерзавец, и мере терпения людского есть предел...

— Вы просите за Орлова, и этого достаточно,— ответил губернатор,— я вам верю.

Струве ушел. Губернатор спросил, какое все же впечатление произвел Охотск и его начальник и кто лучше — Ляровский или Завойко. Невельской сказал, что мало знаком с Завойко, а что Ляровский, видимо, дельный человек; эллинг и судно строятся, но в Охотске нехороша бухта.

Муравьев спросил про команды охотских судов, про офицеров, встречались ли китобои, что они говорят и какова дорога из Охотска.

— Может быть, сейчас, когда подмерзло, вы и проехали, но мириться с ней нельзя! Вы убедились в этом? Летом я ехал — ужас!

— Охотская дорога плоха, но тут вряд ли может быть путь удобней.

— А аянская? Я тоже приехал по ней! Значительно удобней и лучше.

Молчание капитана озаботило Муравьева.

— Так о главном, Геннадий Иванович! Благословясь, приступим,— пошутил он.— Мне нужны все ваши соображения...

Невельской сказал, что, во-первых, нужно всеми личными морскими средствами немедленно занимать устье Амура, во-вторых, производить исследования лимана самые тщательные, а для этой цели нужны паровые суда, катера или небольшой пароход; готовить исследования самой реки с устья; в-третьих, нужны исследования и опись берега к югу от устья, для чего следует использовать «Байкал», отправить его одновременно с занятием устьев к югу; в-четвертых, нужно вытребовать для охраны наших богатств военные крейсера, которые изгнали бы хищников-китобоев и предупредили бы захват иностранцами гаваней на побережье южной устья Амура; в-пятых, нужно добиваться права плаванья по Амуру и уже сейчас заранее готовить для этого суда...

— Необходимо подкрепить порт на устье сплавом из Забайкалья, прямо по Амуру. Суда можно, как представляется, строить на Шилке. Пароход был бы нужен до зарезу. Казакевич строил мой «Байкал» в Финляндии, он тут будет незаменим. Он может быть начальником сплава. И, наконец, в-шестых!.. Осмелюсь представить...

— Да будет вам, Геннадий Иванович, запросто, мы свои...

— Николай Николаевич! — восторженно воскликнул Невельской.— И это самое важное! По-моему, весь Охотский порт следует перенести прямо на Амур...

Для Муравьева такой взгляд был новостью. Неужели этот подлец Вонлярлярский его настроил? Муравьев всей душой был против и даже возмутился. Когда все подготовлено к тому, чтобы исполнить высочайшее повеление и перенести порт на Камчатку и люди подобраны, Невельской говорит такую чушь! Похерить все труды и начинать все сначала? Ввергаться бог знает во что, чуть ли не в авантюру! Да и вообще всю проблему Амура губернатор понимал по-своему.

— Я не могу согласиться с вами,— ответил он неодо-брительно.— Мне кажется, что ваше мнение ошибочно, быть может, навеяно вам кем-то из личных соображений.

— Николай Николаевич! Никто не внушал мне и не навязывал, видит бог! Я представляю вам тысячу доказательств, что это совершенно необходимо, что иначе мы

все погубим. Нам нужен, тысячу раз нужен порт в устье Амура, подкрепленный подвозом по Амуру, неуязвимый для неприятеля...

— Задали вы мне задачу, — смеясь, сказал наконец Муравьев, подымаясь из-за стола и обнимая капитана. — Да, скажу вам откровенно, если бы даже нечто подобное же пришло и мне в голову, я бы не смел! — повторил он, резко поднимая палец. — И теперь бесполезно говорить об этом.

— Так ведь я понимаю, Николай Николаевич. Я же знаю. Я понимаю, что это требует усилий. Но и я должен, я тоже не смею молчать. Это долг мой, ведь иначе все рухнет, мы будем действовать полумерами, а иностранцы...

— Еще вообще могут попытаться воспретить нам любые действия на Амуре! Дай бог, чтобы полумеры разрешили!

— Но нельзя соглашаться на полумеры!

— Я говорю вам, Геннадий Иванович, что все это надо обдумать и обсудить. Мне предстоит представить доклад на высочайшее имя. Многие ваши соображения понадобятся мне. Крейсера нужны. Заселить устье необходимо. Но... вот что я должен спросить вас, — сказал губернатор, приостановившись. — А уверены ли вы, что порт на устье Амура будет удобен?

— Да! Вполне уверен, Николай Николаевич.

— И суда будут входить и выходить из лимана?

— Конечно, — ответил Невельской, несколько удивляясь такому вопросу.

— Ну, так идемте, Геннадий Иванович, пока солнце не село, погуляем. Я поведу вас по городу, а дела отложим. Мой отец всегда говорил: «Мешай дело с бездельем, с ума не сойдешь...»

Муравьев, Невельской и Ваганов в шинелях и меховых шапках отправились пешком.

— Какое тут солнце! — воскликнул Муравьев, выходя на мороз. — Кажется, север — тундра рядом, день короткий, а солнце... Сейчас вы увидите крепость, или блок-форт, как называл Хилль.

С видом гида он повел капитана по улице.

— Вот вам и зима!

Без малого полтора года не видал капитан зимы и снега. Этот крепкий мороз успокаивал его.

Встречные, кто бы они ни были, при виде генерала останавливали лошадей, сдергивали шапки и стояли, несмотря на сорок градусов мороза, с непокрытыми головами, долго кланяясь вслед и удивляясь, что губернатор идет по улице, когда, по убеждению их, начальник не должен ходить пешком.

После прогулки Невельской пошел домой. Ему была отведена квартира в две комнаты у вдовы купца. Слуга ждал его. Невельской переоделся потолковал с хозяйкой и вечером снова был у Муравьевых.

— Ну, дорогой Геннадий Иванович! — сказал губернатор, встречая его. — Струве все исполнил. Курьер поспешил, повез Волярлярскому распоряжение о «Байкале», а Завойко отправим об Орлове завтра утром...

Глава двадцатая

ЭЛИЗ

В гостиной пылал камин и горели свечи. Дамы в вечерних туалетах. На Элиз открытое платье и бриллианты в ушах и на шее.

Она доказывала губернатору, сидевшему напротив, что Елизавета не то же, что Элиз, и что он не должен ее так звать, а он уверял ее, что Елизавета это именно Элиз, и она была недовольна, говоря, что это совсем другое имя. Муравьев и сам это знал, но он приходил в отличное состояние духа, когда ему удавалось раздражить Христиани. Он очень серьезно и терпеливо доказывал свое.

Невельской вспомнил, что жеманная Элиз была необычайно спокойна, прощаясь с Мишей.

Зная, что Миша и Невельской — оба любимцы генерала и симпатизируют друг другу, Элиз невольно переносила на капитана долю своих добрых чувств. Она призывала давать тему для разговора и развлекать и в этом видела свою обязанность. Держась этой роли, она сказала, что прочитала книгу про китов... Потом рассказала, что читала однажды про зайцев и про их привычки и что в Сибири очень много зайцев. Она старалась говорить

о чем-либо близком жизни той страны, по которой путешествовала.

Невельскому стало жаль ее. Элиз щебетала и жеманилась, и видно было, что старалась сделать приятное. А ему казалось, что у нее на душе не может быть легко, что вся эта фальшь не так ей приятна.

Ее тон переменился и она искренне оживилась, когда разговорились про концерты в Сибири.

— Я нашла здесь прекрасную публику. У меня было совсем другое представление об этой стране. В Ялуторовске на мой концерт пришли ссыльные, ваши бывшие князья и графы, отбывающие здесь наказание. Они захотели поблагодарить меня. Я познакомилась с месье Якушкиным и с месье Пуцциным. Потом я познакомилась с их милой хозяйкой, мадам Мешалкиной. Простая, но прелестная женщина! Я никогда не встречала людей прекраснее. Вы знаете, капитан, Берлюоз говорил мне, что он нигде не видел такой отзывчивой публики, как в России. Мне кажется, то же самое и в Сибири, хотя тут совсем другая страна. В Иркутске тоже много ссыльных! Я не знаю, есть ли ссыльные в Красноярске, но мне тоже очень нравится этот город!

Рассуждения ее были немного смешными, но капитан слушал с удовольствием. Несмотря на жеманность и деланные улыбки, Элиз была настоящая артистка и труженица великая. Он рассказал ей про концерт, на котором был в Вальпарайсо. Разговорились про Америку.

— Вот страна, в которую меня не влечет! Там нет искусства...

— Но оно развивается...

— Да, может быть. Но пока, как пишут, это страна сильных простых людей: плотогонов, лесорубов, пастухов...

«Муравьев ужасно ошибается, если думает, что ее всякий может целовать,— думал Невельской.— Почему он так сказал? Он не уважает ее?» Было очень неприятно, что губернатор, такой прекрасный и умный человек, так ошибочно судит.

Ему казалось, что если отбросить служебные соображения и прочие предрассудки, то и Элиз со своим страдивариусом тоже была здесь землепроходцем, первооткрывателем, Куком или Лаперузом в своей сфере, настоящим товарищем и ему, и Мише, и всем...

Наутро губернатор вызвал к себе старшего офицера «Байкала» лейтенанта Казакевича.

— Прошу вас садиться, — сказал он.

Казакевич — плотный и коренастый, с короткими усами и узкими низкими бачками. Он почувствовал, что предстоит серьезный разговор.

Муравьев пристально посмотрел в глаза Казакевичу.

— Прошу вас иметь в виду и помнить, — быстро и резко сказал он, — что все, что тут будет сказано, вы обязаны хранить в тайне.

— Слушаюсь, ваше превосходительство! — ответил Казакевич.

Муравьев помолчал, кусая ус и хмурия брови.

— Мне сделан донос, что открытия, совершенные капитаном Невельским, ложны.

Губернатор быстро обежал взором лицо Казакевича, мундир и руки и снова уставился в его лицо. Муравьев не лгал, такие сведения действительно были у него, и Казакевич это сразу понял.

Петр Васильевич — не робкого десятка.

— Ваше превосходительство! Как участник описи, — не торопясь сказал он, — я готов под присягой заявить, что все сведения, представленные капитаном, чистейшая правда.

Муравьев сощурился. Когда в каюте на «Байкале» Невельской рассказывал об исследованиях, присутствовали все офицеры судна, и все были в восторге, и, будь сведения Невельского ложны, они по-другому бы себя держали.

— Вы можете ручаться мне, что все открытия и все карты верны? — приподымая угол рта, спросил он.

— Да, ваше превосходительство, я готов поручиться! Я совершенно уверен, что открытия верны.

Муравьев молчал.

— Хорошо, я верю вам! — сказал он наконец.

Ему понравилось, что офицер не дрогнул, а говорил совершенно спокойно.

— Расскажите мне подробно, как происходили исследования, — сказал губернатор. — Я хочу, чтобы все это вы

мне рассказали,— делая ударение на слове «вы», сказал он.

Казакевич обстоятельно рассказал о ходе открытий.

— Что вы скажете о Невельском? — спросил губернатор. — Я много слышал о вас и вам верю.

Казакевич ответил, что Невельской отличный командир и на хорошем счету у его высочества великого князя Константина и его светлости князя Меншикова.

— А ваше личное мнение?

— Я совершенно согласен с этим мнением, — чуть дрогнув взором, ответил офицер.

Губернатор замолчал. «Ага, — подумал он, — тут что-то есть. Нет дыма без огня...»

Ему нужен был человек, который знал бы всю подноготную и слабости Невельского и который в душе был бы обижен на него, хоть немного завидовал бы.

— Я могу предложить вам службу в Иркутске. По особым поручениям. Вы будете вести подготовку важнейших мероприятий. — И, не дожидаясь ответа, губернатор сказал: — Подумайте об этом и дадите мне ответ в Иркутске.

Губернатор встал, холодно поблагодарил Казакевича, сказал, что верит ему, попрощался и еще раз предупредил, что язык надо держать за зубами.

Выйдя от губернатора, Казакевич подумал, что с таким человеком служить можно. Разного начальства Казакевич насмотрелся за свою жизнь вдоволь и Муравьева не боялся...

Старший лейтенант «Байкала» — старый товарищ Невельского, но в плаванье, когда люди целый год вместе и оба молоды и один не ищет поддержки другого, часто мнения их расходились. Вообще у Невельского не было, по мнению Петра Васильевича, некоторых привычных и нужных начальствующему лицу качеств, как, например, у Муравьева.

Казакевич слышал, что губернатор, если хочет с кем-нибудь служить и собирается приблизить человека, для начала всегда дает острастку... Поэтому происшедший разговор показался ему многообещающим.

Он пошел на квартиру к Невельскому.

— Какие дочки хорошенькие у вашей хозяйки! — заметил он Геннадию Ивановичу.

Разговорились о тех же делах, про которые Геннадий уже говорил и с ним и с Муравьевым, — как занимать устье и спускать по Амуру экспедицию.

— И я вам скажу, Петр Васильевич, что вы самый подходящий человек для этого! Только вы можете быть начальником над сплавом. Вы первым вошли с устья, а теперь спуститесь по реке. Дело это, конечно, далекое и не так все просто сделать, но я снизу, а вы сверху, и мы встретимся где-нибудь на устье Уссури. Соглашайтесь на предложение Муравьева. Но ставьте условием, чтоб были пароходы. Стройте их где-нибудь на Шилке. Вы же строили «Байкал», опытность у вас есть. Чтоб у Айгуна пройти с гудками, чтоб видна была техника, чтоб мы появились на Амуре не как дикари, не с тем же оружием и не на тех же лодках, что двести лет тому назад Хабаров. Ведь нынче побережье всюду посещается пароходами. Подумайте, Петр Васильевич.

Глава двадцать вторая

ОБЪЯСНЕНИЕ

— Пет, Алексей Иванович, позвольте, позвольте, я не согласен с тем, что вы говорите, что мужик Чичикова убежит. Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Попли его хоть в Камчатку да дай только теплые рукавицы, он хлопает руками, топор в руки, и пошел рубить себе новую избу.

Н. Гоголь, «Мертвые души»

Длинные каменные крылья здания Якутской духовной семинарии, казалось, вросли в землю. У толстой стены, из глубины наметенных к ней снегов, торчали толстые березы. Иней обметал их редкие тяжелые ветви. А в небе, из-за крыши, сверкал позолоченный крест миссионерской церкви, и ледяной ветер тянул над ним по яркой сини белые редкие тенета.

Попы, чернобородые и безбородые, с якутскими, тунгусскими и русскими лицами, прошли за низкие ворота проводить генерал-губернатора. Его ждали открытые

сани, запряженные рысаком. Муравьев снял шапку, перекрестился на икону; в низкой арке каменных ворот, не надев шапки, велел Струве, который тоже перекрестился, садиться, а сам простился с попами.

Струве замечал перемену в генерале. Что Муравьев не верил в бога, это знали все его окружающие. Не так давно он не обращал никакого внимания на духовные учреждения. Перемена произошла, кажется, после встречи с Иннокентием, о котором несколько раз заходила речь в эти дни, так как губернатор сочувствовал идее преосвященного о переводе епископской кафедры из Аляски в Якутск.

Струве признавал, что Иннокентий замечательный человек. Но ему не нравилось, как язвительно старик именовал «лютеранами» деятелей Российско-американской компании.

Вообще, если что-нибудь не сходилось в понятиях Струве, он мучился жестоко. Так было и на этот раз. Он не вытерпел и сказал по дороге губернатору:

— Николай Николаевич, я глубоко чту преосвященного Иннокентия, но вот мне совершенно непонятно, почему он так неприязненно отзывается о лицах, возглавлявших Компанию?

У Муравьева мерзло лицо, но закрываться или отворачиваться он не хотел. А рысак набавлял хода, и встречный ветер все крепчал.

— Потому что в Компанию налезли все кому не лень! — грубо, но спокойно сказал губернатор. — Заправилам Компании дорожке собственная шкура, чем интересы России. Они готовили подставное лицо из Завойко, чтобы плясал под их дудку, но Завойко не дурак и ушел ко мне.

Редко Муравьев высказывался так прямо, как сегодня. Струве боготворил его и не смел подумать, что генерал не прав. Но, и обучаясь в Дерпте, и воспитываясь в своей семье, он усвоил совершенно противоположные взгляды. Как больно знать, что люди, которых уважаешь и даже любишь, так презирают и ненавидят все то, во что приучен верить с детства. Ответ, данный Муравьевым, не разрешил его сомнений.

— Погубят и флот и Компанию! Чудовищная рутинна! — добавил Муравьев.

Но главной причиной его раздражения и озабоченности были не космополитические воззрения Струве, не

попы и немцы и не устройство епископской кафедры в Якутске.

Сегодня он готовился внутренне к серьезному разговору с Невельским. Тот сказал вчера, что хочет представить новые доказательства в защиту своих проектов; он, кажется, по наивности своей еще считает сплетнями то, что было в самом деле решено, и, видно, не понимал, что дело с Камчаткой вполне серьезно, надеялся, что все повернет согласно своим «идеям». Следовало, видно, прямо и откровенно ему все сказать, тем более что изменить он ничего не мог, а считаться с решением губернатора обязан.

«Показать, что я ценю его труды и планы, но, к сожалению, на этот раз они совершенно неосуществимы». В глубине души Муравьев был сильно озабочен. Казалось ему временами, что Невельской, быть может, и прав, и это его огорчало.

Рысак остановился. Струве прыгнул. Муравьев, с багровым от мороза лицом, прошел в дом.

Губернатор поздоровался с Невельским и прошелся по комнате, потирая озябшие руки. Подали водку и закуску. Генерал и капитан выпили по рюмке и перешли в другую комнату. Там на большом столе лежали карты описи и старые карты.

— Итак,— сказал губернатор, как бы продолжая прерванный разговор,— Амур открывает нам путь в мир. Я полагаю, конечно, что порт на Амуре возможен...

Невельской светло взглянул на генерала. Капитан походил сейчас на молодого ученого, который с воодушевлением готов поведать о своих замыслах.

— Вот вы спрашивали меня, Николай Николаевич, удобен ли будет такой порт. Вполне удобен. Конечно, устье Амура — это не Авача, но порт на Амуре неуязвим и всегда может быть подкреплён и продовольствием, и воинской силой по скрытым от противника внутренним путям. С развитием тоннажа флота и с открытием других гаваней, лежащих к югу от Амурского устья, мы построим порты еще более удобные! Они будут открыты! Порт — флот, флот — порт! — воскликнул он с таким видом, словно открыл новую формулу.

Невельской, при всем своем увлечении Амуром, понимал прекрасно, что вход в лиман через бар северного фарватера

не совсем удобен. Он сказал, что очень важно произвести дальнейшие исследования и, главное, искать незамерзающие гавани на юге.

Муравьеву эти гавани южнее устья казались ненужной и несбыточной фантазией. Зачем? В то время как есть великолепная Авача и, главное, есть высочайшее повеление; документы составлены, ведется переписка!

— Эти гавани есть, Николай Николаевич! О них рассказывали мне гиляки. Мы должны прежде всего искать гавань Де-Кастри, описанную Лаперузом. На юге теплее, там удобнее жить людям, видимо, плодороднее земля.

— Порт на Амуре в будущем, но сейчас порт на Камчатке! Вот мое мнение, Геннадий Иванович. Главное, ресурсы Охотска сейчас пойдут в Петропавловск. Уже в будущем году Камчатка станет отдельной областью, и Охотский порт целиком переносится туда. На Амуре же поставим пост.

Невельской ужаснулся, его руки задрожали. Подтверждалось то, во что он не хотел верить.

— Николай Николаевич, Охотский порт нехорош, нездоровый, но переносить его нельзя!

— Как нельзя?— удивился Муравьев.— Почему нельзя?

— Порт плох, бухты нет, в отлив суда валяются на кошках, но Охотск надо оставить так, как он есть, Николай Николаевич. Пока не трогайте Охотского порта, иначе погубим все амурское дело.

Муравьев возмутился. «Да вы в своем уме? — хотелось спросить ему.— Что это, насмешка?»

— Только на Амур, но не на Камчатку,— умоляюще сказал капитан.— Вы все погубите! Будет ужасная катастрофа. Вы отдадите все наши средства прямо в руки врагов, а питать Амур, возить туда продовольствие, людей окажется нечем.

— Геннадий Иванович, бог с вами! Что вы говорите! — не сдержался Муравьев.— В руки каких врагов? Какие средства? Ведь сами же вы, не доверяя Охотску, отправили свой «Байкал» на зимовку в Петропавловск? Этим вы опровергли то, что сейчас говорите!

— Это так, но Камчатка оторвана, сама вечно голодная и не сможет питать Амура. И переселенцы там ничего не сделают, пока у них не будет связи со всей Россией. Амур будет питать Камчатку. А без Амура она мыльный пузырь. Николай Николаевич! Христом богом молю вас! Еще два

года — и весь порт будет на Амуре. Я знаю, что Охотский порт плох, никуда не годен, знаю все... А два порта — там и тут — мы не создадим, нет судов, людей, средств.

— Никогда не думал услышать от вас подобные суждения, — воскликнул Муравьев. — Никак не ждал. Да все возмущены таким портом! Поговорите с любым человеком — все проклинают Охотск! Это позор России, посмешище... Охотску не должно было существовать и сто лет тому назад.

— Это напрасно, напрасно! Камчатка сама по себе — без Амура — ничто в ее современном положении, как бы прекрасна ни была Авача, — воскликнул Невельской. — Уж если действовать, так прямо! Занять устье, побережье и Сахалин!

— Вы успокойтесь, Геннадий Иванович! Ведь все будет сделано. Будет экспедиция на устье Амура. Орлову уже послано распоряжение. Порт на Камчатке не исключает занятия Амура. Мы пойдем и на то и на это. Что же вам еще надо? — с оттенком досады, словно упрекая Невельского в упорстве, сказал он. — Мы сразу будем занимать два важнейших пункта...

— Не надо выделять Камчатку в отдельную область. Это погубит само дело! Я чувствую это. Люди, силы, средства — все пойдет туда. Камчатка не только не поможет Амuru, но будет помехой. Это ясно как божий день!

— Одно другому совершенно не мешает.

Муравьев сказал, что Федор Петрович Липке тоже за Камчатку и советует снабжать ее с островов Бонип-Сима.

— Только Охотск и может дать Амuru жизнь. Вы погубите Амuru!

— Руку даю на отсечение — начнись война, англичане пойдут на Камчатку. Иначе их газеты не писали бы про Петропавловск, не расхваливали бы его.

— Смотрите: Амuru — юг, жизнь, это хлеб, это путь к океану, это леса. Камчатка — чудесная гавань, великий порт будущего. Нынче она почти мертва.

— Англичане займут ее...

— Англичане пойдут туда, где будем мы! На Амуре мы будем неуязвимы, а на Камчатке — отрезаны...

— Я не могу переносить порт на Амuru, который еще не занят нами, и не могу возбудить этого вопроса, пока мы не встанем там. Я могу действовать лишь на реальной почве. Ведь я гу-бер-на-тор! — воскликнул Муравьев.

«Какое страшное поражение! Камчатка будет областью,— думал Невельской, идя домой.— Вместо того чтобы заниматься исследованиями, начнем возить на судах чиновников, их семьи, попов, кормить всю эту свору, строить ненужные сооружения. Хвастун Лярский или Завойко будет губернатором... А я-то надеялся, я верил ему!..»

Он почувствовал, что среди этих лесов и бесконечных снегов, в этой стране он сейчас совершенно одинок и не нужен со всеми своими замыслами, которым он посвятил всю жизнь. Невельской вспомнил, как собирался в путь, объездил весь Питер, искал прессы для тюков, чтобы удобнее все сложить и взять побольше груза, как в Портсмуте стал дальше от порта на Модер-банку, чтобы удобнее было скрыть цель вояжа, как все подчинил любимому делу, и что не было у него иной цели, иной радости...

Теперь рушилось все, что он любил больше себя, больше всего на свете.

«Я не себе, не себе этого хотел,— с горечью подумал он.— Ради чего я здесь, в юртах, в тайге, бросаю море, позорю себя, становлюсь сухопутным человеком, оставляю все, к чему привык?..»

Глава двадцать третья

КЛЫК МАМОНТА

...излагали вольные мысли, за которые в другое время сами бы высекали своих детей.

Н. Гоголь, «Мертвые души»

На другой день губернатор прислал записку и просил капитана к себе. Через некоторое время после того, как посланный ушел и Невельской уже собрался, к воротам подкатили сани губернатора.

— Геннадий Иванович! Событие! — сказал Муравьев, входя в комнату, по которой разбросаны были книги. На столе виднелась куча исписанной бумаги. — Клык привезли! Мой подарок графу Льву Алексеевичу! Едем смотреть...

«Он, видно, не нал духом и с воодушевлением сочиняет докладную,— подумал губернатор.— Надо брать быка за рога...»

Поехали смотреть клык мамонта. Желтый бивень в человеческий рост лежал под навесом на досках во дворе канцелярии областного управления. Чиновники собрались тут же.

Урядник, доставивший клык в Якутск из низовьев Лены, давал объяснения.

— Ты ел мясо мамонта? — спросил Муравьев.

— Так точно, ваше превосходительство, совсем маленько. Но шибко даже вкусное. Только вот брюхо заболело!

— Как же рискнул?

— А что же!

— Мы с вами зацепим этим клыком великое будущее, — сказал Муравьев на обратном пути Невельскому.

Капитан молчал.

Приехали к Муравьеву.

— У меня к вам еще одна просьба, Геннадий Иванович. Вы когда-то предлагали мне взять на службу своего приятеля, Александра Пантелеймоновича Баласогло. Я встречался с ним несколько раз в Петербурге, и вы, конечно, слышали об этом... В свое время я не мог принять его на службу и отказал. Должен вам сказать откровенно, были причины, от меня не зависящие, но сам я никогда не забывал о нем. Теперь такой человек будет мне необходим.

Невельской смягчился.

Теперь, после открытия, Муравьев был готов в самом деле пересмотреть свой взгляд на эту рекомендацию Невельского. Сейчас кстати было поговорить об этом.

— Я не всегда и не все могу сделать, как хочу, Геннадий Иванович. Вот вы полагаете, что я самовластен и действительно все зависит от меня. Нет, это не так! Уже помимо того, что вообще человек ограничен, я завишу от людей, подчиненных мне, не меньше, чем они от меня. Несмотря на, казалось бы, огромную мою власть, я лишь исполнитель... Все мы более или менее отважные исполнители. — Муравьев помянул, как в Аяне он был вдохновлен игрой Христиани, ее переложением Шопена для виолончели. — И я думал, какая же сила мы, если даже Шопен с таким могуществом протестует... Но весь талант его пока бессилён. Наша полиция и Третье отделение сильней. Вот наши боги и ангелы-хранители. Я — патриот, Геннадий Иванович, — сказал он полусуто. — И даже в музыке Шопена вижу величие нашей империи... Не верите? Ей-богу... Впрочем, ваше дело... Так вот поэтому,

прежде чем осуществить свой замысел, я должен принять все меры, чтобы в него уверовал государь и чтобы он почувствовал это своим замыслом...

Он заходил по кабинету и заговорил серьезно:

— Сибирские чиновники никакого пристрастия к Петербургу не имеют, хотя, будучи страшными кляузниками, всегда готовы писать доносы друг на друга и прибегать в борьбе между собой к помощи Петербурга. Многие — я знаю — ненавидят и меня, и петербургское правительство, а всех служащих со мной презрительно называют «навозными», то есть выброшенными к ним в Сибирь из столицы... А я подрываю влияние здешних царьков. Здесь каждый мало-мальски выдвинувшийся или разбогатевший человек хочет стать в своем роде Кучумом. Сибирь нужно завоевать сызнова, культурой и цивилизацией... Вот в Иркутске живут сосланные за четырнадцатое декабря. Они сжились с местными, оказали на них огромное влияние. Подают прекрасный пример! Сибирь — страна пришлых людей, и все пришлое она привычно усваивает. Надо сказать, что сибирское простонародье отлично от европейского. Тут вы найдете качества, необычные для нашего крепостного люда. Сибиряк сметливей и зажиточней. Тут страна без дворян, купцы и золотопромышленники сами управляют своим хозяйством. Страшные условия, в которых выжили предки сибиряков — каторжники, вольные переселенцы, казаки, — закалили их. И эти пионеры задали хороший тон всем, в том числе и нам с вами. Вечная борьба с природой, вечное ружье за плечами — вот каковы здесь люди! Этот народ способен бог знает на что... Скажу вам больше. Я убежден, что Восточной Сибири с ее богатствами суждено когда-нибудь стать отдельной республикой. Как вы думаете?

Невельской несколько удивился, что губернатор задает такие вопросы.

— Но зачем отдельной? — спросил он с улыбкой. Сам он смутно слышал о существовании автономистских настроений в Сибири, но будущее этой страны представлял в единстве с Россией. Сибирь и Россия — не Америка и Англия. Там свое, а тут другое.

— Мы стремимся на океан, — продолжал губернатор, — на другом берегу которого такая великая страна, как Америка. Мы должны завязать связи с Америкой... Великие народы наши окажут огромное влияние друг на

друга. Разбой американских китобоев — ничтожно малая помеха, но торговля с американцами выгодна, и мы должны всячески развивать ее. Мы будем снабжать Камчатку из Америки! Вот в чем секрет! Василий Степанович в масштабе Аяна разрешил всю проблему сношений с Америкой, и нам остается шагать по его стопам. Они возят ему вина, мебель с Востока и превосходные сигары. Он прекрасно знает, откуда и что следует заказывать. И в Охотске это знает каждый служащий. Но дружба дружбой, а на ногу себе наступать не позволим... Не только они у нас должны торговать, но и мы у них. Могут все эти наши иркутские Баснины, Пестерева, Кузнецовы? Наша Компания?

— Сами же вы говорите, Николай Николаевич, что сибиряки написали на вас донос, едва вы улучшили положение декабристов. Мало, мало средств в Сибири. Еще меньше — на Камчатке. Она бедна, ничтожна! Богатство ее в земле, и не Америка, а Сибирь должна ее поднять!

— Будь в России республика, дело пошло бы по-другому! Петербург Сибири совершенно не знает. Это губит страну! Двадцать лет шла переписка о постройке деревянного госпиталя на Камчатке! А богатства вечно будут лежать в земле при таких порядках. — И Муравьев пошел ругать петербургское правительство.

Он обнаруживал себя человеком, который судит совершенно свободно и даже не боится крамольных мыслей. Он вообще любил вести рискованные разговоры, как любил острую игру.

Муравьев снова заговорил о враждебности Америки к Англии, заметил, что не идеализирует Америку, зная, что там деспотизм демократии, горлодеров и демагогов и что он не верит в непогрешимость никакого строя...

Это было время, когда Штаты бурно развивались, когда их пример стоял перед глазами человечества, когда каждый, кто желал пробуждения родного народа или независимости для подавленной кем-либо страны, не мог не видеть примера Штатов.

Уже раздавались голоса, что и в Америке далеко не все совершенно, что в этом новом мире есть свои несправедливости и ужасы, что демократизм американцев по своему деспотичен. Но все же это был новый мир, и он развивался без королей, дворян и, как казалось некоторым со стороны, без привилегий для отдельных классов

и личностей. Нельзя было не видеть этот новый мир, закрыть на него глаза.

Невельской тысячу раз встречался с американцами и знал их. Америка не представлялась ему отвлеченным идеалом. Он судил о ней по тем реальным людям, которых встречал...

«Нельзя, — полагал он, — из-за того что у нас монархия, а у них демократия, позволить их торговцам, китобоям и шкиперам грабить нас».

Муравьев, вернувшись из путешествия и повидавший, как горят подожженные американцами Шантары, при всей своей симпатии к американцам тоже многое понял. Штаты стояли у берегов Сибири, их хищники рыскали всюду. Они быстро распространяли свое влияние на весь океан. Прежде чем завести с ними торговлю и дружбу — знал он теперь, — надо занять твердую позицию...

Наконец лед на Лене окреп.

Муравьевы уезжали. За последние дни до губернатора дошли цовые неприятные слухи. Он получил письма из Иркутска от Зарина, который прямо ничего не сообщал. Но, читая между строк, можно было догадаться об опасности. «Так это или не так, домысел ли это мой или реальная неприятность — узнаем в Иркутске», — полагал Муравьев. Пока что надо было набраться терпения, чтобы опять не мучиться сомнениями всю дорогу, весь этот дальний путь по суровой ледяной реке при леденящих морозах. Правда, возки очень удобные, они походят на маленькие домики с застекленными окнами, в каждом маленькая печка...

На прощание губернатор сказал Невельскому, что многое будет зависеть от дел, как они решатся в Иркутске, и что только там он начнет составлять доклад императору и тогда снова вернется ко всем соображениям, которые высказывал капитан.

— Ну, а вы следом! — сказал он, поцеловавши капитана.

В его расчеты не входило ни огорчать Невельского, ни брать его с собой. Под предлогом, что нет коней, он решил задержать и капитана, и всех его офицеров в Якутске, чтобы, явившись в Иркутск, подать новости в Петербург из своих рук.

Муравьев никогда и никому не верил. Неизвестно, что ждало его в Иркутске, какой клубок неприятностей свит там за время его отсутствия.

«Я должен сам все видеть и сам все сделать, — сказал он себе. — И тогда милости просим, господ честные, жду вас в Иркутске».

Губернатор уехал. Через две недели, изучивши якутские архивы и наслушавшись рассказов якутских обывателей, вычертив карты начисто, побывав на местных балах и научившись плясать знаменитую сибирскую «восьмерку», Невельской с офицерами также пустился в дальний путь по замерзшей Лене.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИРКУТСК

Мне стоит забыться мечтой —
И, силе ее уступая,
Живьем восстают предо мной
Картины родимого края...

Омулевский (И. Федоров)

Глава двадцать четвертая

В ПУТИ

Невельской ехал в Иркутск в светлом настроении, не смотря на все неприятности, которые он пережил в Якутске.

Дорога ли его успокоила, сибирская ли природа, Муравьев ли открыл перед ним завесу, показавши свой внутренний мир, или просто он многого ждал от будущего, но у Геннадия Ивановича было ощущение, что все его многолетние страдания окончились и что произошло это именно теперь.

Как ни любил он страстно море, флот и путешествия, но служба всегда ограничивала. Ему запрещено было в течение многих лет исполнить то, к чему стремился.

Дальний путь — сплошные заботы и непрерывные неприятности для капитана. Транспорт отпускали с большой неохотой, опасались, что в Европе разгорится революция, вспыхнет война, требовали скорей пройти европейскими водами, как можно меньше задерживаться в портах. Собирались советы стариков адмиралов, решали, не идти ли судну не под государственным, а под компанейским флагом.

Крайняя настороженность, с которой отпускали «Байкал» высшие лица в Петербурге, их придирки, подозрительность побуждали капитана писать в Петербург о каждой мелочи, выказывая верность, уважение и благодарность начальству. Дела в портах, знакомства и встречи

в Портсмуте и Лондоне, прием у бразильского императора в Рио-де-Жанейро, розыски бежавшего матроса, сманенного торговцами в Саутгемптоне, заказы и ремонт на верфях — все требовало осмотрительности и такта и обо всем приходилось доносить в Петербург.

Невельской был привычен к плаваниям, по служба требует своего, о многом некогда даже подумать. Книги, закупленные в портах, лежали недочитанные, а некоторые и неразрезанные. Не раз казалось ему, что судит он обо всем узко, что даже в Лондоне стремился осмотреть лишь то, что касалось моря, что обычно по традиции осматривали моряки. Все «морское» он знал: новейшие лоции, карты ветров, теории о магнитных аномалиях, о зависимости ошибок разных приборов от разных причин, знал современные корабли и машины, судостроительные заводы и современное оружие. В Лондоне осмотрел многие строящиеся суда, побывал на разных верфях, написал кучу писем в Петербург о своих впечатлениях. Но все это было об одном и том же...

Теперь, хотя он становился чуть ли не сухопутным человеком, казалось, у него возникали новые, более широкие интересы, и перед ним открывалась новая жизнь. Он готов был снова, как и всегда, трудиться для успеха флота и мореплавания. Но мыслям стало просторнее, он мог думать, о чем хотел и когда хотел. И все значительнее становилась для него не только флотская, а общая жизнь, ради которой он желал развития русского мореплавания на Тихом океане.

Несмотря на разногласия с губернатором, он радовался, что судьба послала ему в покровители такого образованного человека, с которым можно свободно говорить о системе Фурье, о декабристах и даже о неизбежности преобразований в государственном строе России.

В этой солнечной Сибири оживало в душе все, что прежде казалось загубленным. Капитан вез книги и готов был сызнова учиться по-мальчишески жадно. Он мечтал написать записки о своем кругосветном путешествии. Он решил подробно сообщить о своих замыслах Федору Петровичу Литке и просить у этого старого и благородного ученого, перед которым он благоговел, советов и покровительства. Теперь, когда сделано открытие и совершено труднейшее путешествие, да еще в такой короткий срок, было о чем написать Федору Петровичу.

Капитан чувствовал, что входит в общество людей, смеющих иметь свое мнение даже в современных условиях. Былая служба в Средиземном море и на Балтике представлялась тусклой.

Прежде над ним довлела нерешенная задача. Он знал, как к ней подступиться, но не смел, хотя и не по недостатку решимости. Все мысли его, особенно за последние годы, были направлены к этой цели. И вот теперь открытие совершено. Найден не только путь к океану, но и открылся новый вид на всю собственную жизнь; он сам себя раскрепостил, исполнив замысел. Ему даже приходило в голову, что, может быть, в тяжести былой жизни повинна была не служба при великом князе, не мнимая узость собственных, а также флотских интересов и не ограниченность своих знаний. Уж зачем нести напраслипу: среди моряков русского флота много образованнейших людей. Да и сам капитан знал много, многое видел. А Невельскому всегда казалось, что все тесно, все чего-то мало, не хватает. Он рвался на простор. Виною всему был, конечно, неосуществленный замысел. Из-за него он сам себя ограничил во всем, как монах, посвятивший себя богу.

Теперь он прозрел, увидел окружающую жизнь, людей, то, от чего отворачивался прежде, почувствовал в себе страсти, до того подавленные, и, как ему казалось, увидел нищету своей душевной жизни. Представлялось ему, что он бесконечно много упустил в свое время, и он особенно ясно почувствовал свое одиночество.

Достигнутая свобода не была полной. Временами казалось, что главное не позади, а впереди, что там подымается из-за горизонта новая туча. Может быть, в глубине души он чувствовал, что едва он совершил свое открытие, его уж обуяла новая забота. Пока что в нем еще было чувство удовлетворенности. Хотелось еще некоторое время побыть победителем, но уже тысячи сомнений попеременно пробуждались в нем.

Губернатор — прекрасный человек, но в отношениях с ним нельзя переступать известной черты. Нельзя и безмерно надеяться на него, хотя дружбой и покровительством такого человека надо дорожить.

Невельской готовился доказать свою правоту, спорить яростно, выдвинуть доводы, которые самому казались новыми и не посчитаться с которыми Муравьев не мог.

Как хорошо, что он решил пригласить на службу Александра! Невельской надеялся, что со временем явится возможность пригласить сюда и другого своего приятеля — офицера генерального штаба Павла Алексеевича Кузьмина.

«Муравьев, быть может, по-своему был прав, когда отказал Александру... Он боялся — Александр резок. К тому же на новом месте следовало осмотреться; тут ссылка, декабристы, и бог весть как приняли бы такого чиновника, как Александр. Тот сам рассказывал, что бухнул Муравьеву то, чего вообще не следует говорить. А Муравьеву, верно, не очень приятно иметь за собой репутацию вольнодумца. На него и так доносы пишут, а он бы привез еще сюда Баласогло... А теперь, когда все улеглось и спокойно, он согласен. Конечно, странно, что такой человек, как Николай Николаевич, не принял его перед отъездом... Это и меня удивило. Хорошо, что теперь все будет исправлено. А может случиться, — с радостью подумал капитан, — что уже нынче зимой увижу Александра в Иркутске...»

С Александром вместе мечтали они о будущих сношениях России с Китаем и с другими азиатскими странами. Вместе просились они на службу к Муравьеву в Восточную Сибирь.

В свое время сдружил их не только интерес к Азии, но и общая неприязнь к тем, кто руководил русской политикой на Востоке. Невельской познакомился с несколькими приятелями Александра, с их суждениями — резкими и смелыми. Все они ненавидели правительственную бюрократию, изучали новейшие социальные теории, придавали большое значение экономическим наукам, интересовались общественным движением на Западе и любили поговорить о необходимости коренных преобразований в России. С этой же компанией водил дружбу Константин Полозов — двоюродный брат Геннадия Ивановича. Если приятели Александра при Невельском, как при человеке новом, поначалу держали язык за зубами, то кузен Константин выкладывал все, затевал общий разговор и тесней сводил Невельского со своими товарищами. В этих разговорах Александр нередко играл первую скрипку, хотя и ему давали отпор и бывал он бит.

Такие разговоры для капитана были новы, хотя критические высказывания в адрес правительства он и прежде слышал, ими иногда даже грешили люди, преданные государю и близкие престолу.

У Александра греческая фамилия — Баласогло. Предки его по отцу — отуречившиеся греки, а мать русская. Она воспитала его в любви к России и простому народу, и Александр выказывал эту любовь со всей горячностью своей натуры.

Во внешности Александра не было ничего русского. На вид он настоящий грек. Часто ему подчеркивали его происхождение. Иногда по брошенному кем-либо взгляду Александр угадывал неприязнь к себе. Его черные мохнатые брови, большой горбатый нос, черные глаза, сверкающие, как угли, до некоторой степени, как ему казалось, были причиной служебных его неудач, хотя в самом деле не любили его за прямоту, за резкость, за острый ум.

В то время Греция еще не оправилась от тяжелых ран и кандалов, в которых изнывала под турецким ярмом. Еще недавно греки бились самоотверженно, отстаивая веру и независимость, и почти все, кто знал об этом в России, горячо сочувствовали грекам и по мере сил помогали им. Когда-то еще Пушкин мечтал пойти добровольцем в греческую армию.

Но в столице России были свои греки — петербургские, европеизированные на вид, хозяева банков и коммерческих предприятий. Под предлогом того, что они единоверцы с русскими, и как бы спасаясь от турецкого беззакония, они стремились в Россию, в то время как братья их боролись за свободу. Именем своих братьев они умело пользовались в разного рода торговых делах; из-за этого они стали ненавистны сословию трудящихся разночинцев, которые видели в них хищников и новых эксплуататоров России.

Морские офицеры-дворяне, и русские и немцы, подчеркивали Баласогло его происхождение, когда тот служил во флоте. Многие люди относились к нему с недоверием, видя и в нем что-то вроде дельца или менялы. Александра это глубоко ранило, но он понимал, что дело тут не в нем и не в греках вообще. Неприязнь окружающих не возбуждала в нем ненависти к родному народу и ко всему русскому, не сделала его скрытым врагом России, не толкнула в приемные к богатым грекам, куда Александра не раз зазывали.

Не греческие дельцы, а русский народ был его родней.

Александр был сильно недоволен порядками в России и быстро сходился с людьми крайних взглядов. Он всей

душой с теми, кто требовал освобождения крестьян, ограничения дворянских привилегий и богатств.

Александр был старше Геннадия. Он свято верил во все замыслы Невельского и не раз говорил про него товарищам, что на него можно положиться; если бы таких было больше у нас, Россия быстро поднялась бы из своего бесправного состояния. Тогда же у Александра и его товарищей зарождалась мысль воспользоваться покровительством царского сына, которого Невельской очень хвалил и который был воспитан Литке и Лутковским в духе новейших либеральных идей.

Александр желал видеть в России не одну лишь «Московию с ее колоколами, кликушами и юродивыми», как он выражался, а великую страну, состоящую в связях со всем миром. Бывший моряк, потом архивариус у Нессельроде, он был адски усидчив, дошел до многого сам, учил китайский язык в надежде, что когда-нибудь станет спутником Геннадия Ивановича. Языки ему давались, он уже знал несколько восточных...

Взгляды Александра и его товарищей Невельской не находил неестественными. В них много верного. В Петербурге критически судили многие. Даже на «Авроре», в окружении Константина, говорили очень смело. За последнее время это стало модой — не одобрять крутых мер, полицейщины, строгого надзора, хотя все побаивались.

Конечно, Александр и Константин Полозов привлекали капитана к себе не этими взглядами, а необычайной смелостью представлений о будущем России. Они и их друзья ухватились за его проекты, как за свое родное, судили с ним о будущем России на Востоке, подтверждая, что это дело вполне реальное, укрепляли в нем и без того крепкие намерения, ссылались на взгляды своего друга Петрашевского, который, оказывается, уже думал и об Амуре, и о выходе России на Тихий океан, и о Китае, Индии, Японии и их будущих связях с Россией.

Занять Амур и выйти на Тихий океан желали не только эти молодые люди, но и сам великий князь Константин и светлейший Александр Сергеевич Меншиков, и казалось, многие другие вельможи точно так же, как они, желали освобождения крестьян.

Разница была в том, что министры, вельможи и заслуженные адмиралы отдавали лишь дань общим настроениям, оставаясь в душе часто чуждыми сути дела. Даже

наиболее образованные из них не могли толком ответить ни на один вопрос, когда речь заходила о том, как начинать. Рассуждали умно, одобряли, многое знали, ссылались на предыдущие исследования, запросто толковали о великих ученых, вроде Крузенштерна, как о добрых знакомых, но, как действовать, где, когда, на какие средства, не знали. В лучшем случае советовали не торопиться, обождать, изучить все хорошенько, всегда что-то не договаривали, а если выдвигался какой-либо определенный проект, смотрели на автора как на прожектора, как на опасную личность или как на человека, допустившего что-то неприличное. Сильные мира сего просто опасались, «как бы чего не произошло», не вспыхнул бы гнев государя, не начались бы интриги придворных из противной партии. Ведь тогда карьера под ударом, и все из-за того, что там где-то, на каком-то Востоке, кто-то чего-то хочет. Ведь все это для личной жизни останется пустяком, хотя бы и составляло великое будущее для России и ее народа. Будет Амур или Тихий океан или не будет — что изменится? Клубы, служба, ордена, балы, европейские события — все идет по-прежнему. А ведь мы европейцы! Смешно нам так много думать о связях с Китаем! И вот мялись с глубокомысленным видом, как бы зная какую-то особенную сторону дела, может быть, тайну. Некоторые сочувствовали, даже кое-что подсказывали, одобряли, но боже спаси от действий!

Так с горячностью вспоминал по дороге в Иркутск про свои былые злоключения Геннадий Иванович.

А Александр и его товарищи — люди без предрассудков. Эти резкие судьи современности говорили обо всем трезво. Они твердо провозглашали, что без связей с азиатскими странами, с великим Китаем, Индией, без выхода на Тихий океан и без Амура — удобного пути к нему — у России нет великого будущего.

Творца и специалиста всегда покоряет тот, кто понимает его замыслы и поддерживает его поиски. Капитан нашел в этих людях верных друзей. В книгах Фурье он прочитал, что развитие мореплавания есть признак зрелости в жизни каждого народа. Правда, там писалось, что в один и тот же период развивается и мореплавание и фискальство... Но и эта мысль была интересной. Словом, Невельской соприкасался с кругом людей новых, ясных, где не мялись, не мямлили, когда речь заходила о реше-

тельных действиях, о коренных преобразованиях; здесь учились, читали, рвались к делу; каждый готов был работать и физически и умственно, не страшась ничего. Люди этого круга не придавали никакого значения происхождению, искали истины, говорили, что все народы равны, позорили вельмож, не знали многого, но хотели знать и готовы были в огонь и в воду ради будущего. И сейчас, совершив свое открытие, Невельской все чаще вспоминал об Александре и его друзьях.

И часто думал он: «Есть же вот у нас люди, а говорят, что, кроме нескольких приближенных государя, в России нет людей».

..Лошади встали. Яркое сибирское солнце, скрипящий сухой снег, бревенчатые дома с выбеленными ставнями, толстый дым на белых крышах, столб с позолоченным орлом у здания почтовой станции и множество лошадей, как на ярмарке,— такой вид представился капитану, очнувшемуся от своих раздумий.

— Хомутова, Геннадий Иванович,— соскакивая с облучка и хлопая себя с размаху обеими руками по тугим плечам новенького белого полушубка, говорил Евлампий, замерзший, несмотря на свою новую одежду.— Следующая — Иркутск.

Вокруг виднелись одноэтажные и двухэтажные дома в снегу, с затейливой резьбой над окнами.

Почувствовалась близость города. В окнах всюду стекла, слюды нигде не видно, не говоря уже о пластинах льда, что не раз случалось видеть капитану и на Охотском тракте, и под Якутском, и на Лене.

Ямщики — буряты и русские — бегом подводили приготовленных для перепряжки свежих лошадей, в то время как другие кидались к оглоблям, мгновенно отцепляли гужи, отвязывали чересседельники и выводили в шлеях и хомутах измученных коней, от которых валил пар. Здесь, на сибирских станциях, перепряжку делали удивительно быстро. Не успеешь остановиться, как уже загрели, упали оглобли и рысью бегут ямщики, ведя под уздцы рвущихся, настоявшихся лошадей.

Все же и этой короткой передышке радуются путешественники. Молодые офицеры вылезли из кошевок, обступили капитана. Евлампий суетится, пытается распорядиться.

— Сильно не подтягивай! — кричит он.

— Гора будет,— спокойно отвечает бурят и еще выше подтягивает подпругу.

Евлампию не нравилось, как тут запрягают и как затачивают.

— А я, брат, вот видал у испанцев...— начинает он поучать, но его, видимо, не слушают.

— А у нас так! — отвечает бурят.

Молодой рослый мужик, с лицом свежим, румяным, кинулся к облучку, двое бородачей едва сдерживали мохнатых, пляшущих коней, белых от сухого инея. Когда капитан уселся, бородачи шарахнулись в стороны, отпуская лошадей, и те с места помчались. Ямщик только натягивал вожжи. Двухэтажные дома полетели мимо. За деревней кошевка помчалась вверх, потом вниз через речку, потом на увал, заросший лесом. «Вот это уж сибирская езда!» — с восторгом подумал капитан, как и всякий русский, любивший быструю езду.

А склон горы, видно, был запахан и представлял собою широчайшую косую белую площадь...

Верст через пять — с холма на холм, между темных стен леса по свежим рыхлым снегам — кони умаялись. Капитан разговорился с ямщиком. Тот стал рассказывать, что по соседству с Хомутовой большие деревни, сеют много хлеба, продают его в город и поставляют иштендантству.

— Пашни пойдут до самой Ангары!

— А вот проезжали мы бурятскую деревню, сеют ли они?

— И буряты сеют. Все равно — буряты, русские. Вот бурят, который про испанцев с вашим человеком говорил, он с Усть-Орды. Там тоже пашни.

— Про испанцев? — удивился капитан.

— Да, ваш человек говорил, что испанцы коней не так запрягают...

«Видно, грамотный,— подумал капитан.— Конечно, для него интересно, везет людей, которые видели испанцев, значит, из далекого плаванья. Он поди не раз возил и моряков, и служащих Российско-американской компании, и разных людей из Аляски, и попов-миссионеров!»

— А далеко ли до Иркутска? — спросил капитан.

— Нет, не далеко. Заедем на Веселую гору, там будет видать.

Невельской с любопытством посматривал вокруг. На охотском тракте другое. Там нищета и безлюдье. Путь

по Лене красив, но однообразен. А здесь природа все еще сурова, но уже мягче. Леса густые и грозные; нет, конечно, липы и дуба — сосна и береза, но сосна рослая, сильная, и береза — великан. Пашни, то и дело открывающиеся среди этих лесов, становятся все шире. Тут уж настоящая Россия, но какая-то особенная, со слишком высокими и просторными избами, без помещичьих усадеб...

Жаль, конечно, что не встретится в пути помещик, не промчатся в санках помещичьи дочки. Хотя в то же время капитан отлично понимает, что потому и широки пашни, и ладны избы, и ямщик рассуждает разумно...

Опять разговорились и не заметили, как стал темнеть лес по обеим сторонам дороги, как тише пошли кони, подымаясь на высокую, но пологую гору, как почему-то отстали другие кошевки, где, может быть, кони запряжены были не такие сильные и не столь ловок ямщик. Но вот подъем закончился — и широко открылось небо, какое-то особенно огромное, черное, с ясными звездами, а лес стал ниже; он раздвинулся или, вернее, провалился, и оказалось, что кошевка стоит на большой высоте на снегу. Вершины столетнего бора потонули, над ними видны стали широкие просторы, чередующиеся черные отроги лесистых гор, протянувшиеся навстречу друг другу. А за ними далеко-далеко, там, где чернела сплошная тайга, поблескивали огоньки.

— Вон Иркутск видать, — сказал ямщик, показывая туда.

— Так это и есть Веселая гора? — воскликнул Невельской.

— Как же! Она!

Место действительно было веселое.

— Ну, теперь держитесь, ваше высокоблагородие, — сказал ямщик и покрепче натянул вожжи.

Кони зарысили. Кошевка стала быстро спускаться, а дремучий лес из вековых сосен сразу, как чудом, поднялся по обеим сторонам дороги.

— Тут, на Веселой, шалят, грабят купцов, — спокойно заговорил ямщик. — Самое любимое у них место.

Временами правая стена леса исчезала, дорога выходила к обрыву, и снова на несколько мгновений открывался веселый вид манящих к себе огней и косые черные полосы леса на горных отрогах, а потом сани снова

опускались в лесную ложбину, а приподнявшийся сосновый бор опять скрывал все.

Кошевка помчалась еще быстрее, и опять время от времени открывались внизу веселые огни.

— Славный вид! — молвил капитан.

Теперь уж видно много огней. Правее, тоже далеко, белел большой пласт в лесах, как сугроб в траве.

— А что это там виднеется? Река?

— Ангара! — отвечал сибиряк. — Нынче замерзла рано, уж переезд есть. А когда и в январе встанет, а перед пасхой пройдет.

— А я слышал, бывает, что вообще не становится.

— Как же! Бывает и так... Впервые у нас? — вдруг спросил ямщик.

— Впервые.

Мужик на мгновение пристально взглянул на капитана, тут же повернулся и усердно хлестнул по коням.

«Какое небо высокое и звезды яркие необычайно, как куски хрусталя, — думал капитан. — И воздух удивительный. Да, природа здесь иная и, кажется, другие люди. Конечно, со здешним народом Николай Николаевич может горы своротить. В славном месте стоит у него столица...»

Глава двадцать пятая

ГОРОД

Случилось же так, что, как нарочно, в то время... пришли к губернатору разом две бумаги.

И. Гоголь, «Мертвые души»

Со Знаменской горы между мещанских домишек и длинных заборов, темневших полосами по сторонам, спустилась целая вереница кошевок. В морозном воздухе звонко звенели колокольчики. Потом кошевки ехали низом, чуть не вровень с близкой Ангарой. На фоне звездного неба, на самом берегу ее отчетливо обрисовывался Знаменский монастырь со стенами, куполами и черным садом. Вскоре дорогу перегородила белая полоса снега. Это замерзшая речка Ушаковка, отделявшая Знаменское

предместье от самого Иркутска. Под стенами монастыря она сливалась с широкой, как степь, Ангарой.

На другом берегу Ушаковки виднелся лес.

— Тпр-р-ру-у! — натянул вожжи бурят, ехавший навстречу с пустыми санями. Оба ямщика о чем-то перемолвились по-бурятски, затем встречный прыгнул в свои сани и, бешено захлеставши по коням, помчался вверх на Знаменскую гору. Кошевка Невельского двинулась через Ушаковку.

При свете звезд навстречу надвигалась сплошная черная стена деревьев, сквозь которую лишь кое-где проглядывали редкие огоньки.

— Так где же город?

— А вот мы и в городе, — отвечал ямщик. — Это сады, — сказал он, кивая на деревья за Ушаковкой.

«Сады? — подумал Невельской. Давно он не слышал самого этого слова. — Кажется, настоящий город».

— А вон мельница, ссыльный выстроил, — говорил возница, показывая на что-то черное.

Пересекли речку и въехали в небольшую узкую улочку. Она вывела на пустырь. Справа появился какой-то длинный деревянный дом, похожий на казарму. Дальше — огромные каменные ворота другого дома, скрытого где-то в глубине двора за каменной оградой. У соседнего двухэтажного дома были освещены пять полукруглых, по-видимому, зальных, окон на втором этаже так ярко, что на улице светло. Остальные окна темны, а в нижнем этаже, за палисадником, закрыты ставнями, сквозь которые пробивается свет. Ямщик гикнул, кошевка промчалась лихо и быстро, но Невельской запомнил и этот дом, и столбы с фонарями у подъезда и почувствовал, что попадает в родную обстановку провинциального города.

— Вот теперь погуляешь, — заметил молчавший всю дорогу Евлампий.

Выбрались на главную улицу. Дома, разделенные длинными заборами, выступали из полутьмы. Улица — прямая и широкая — шла через весь город. Ехали долго. Город был низок, но просторен, строился с размахом. Все время тянулись длинные заборы, шатровые ворота, потом пошли дома двухэтажные с вывесками, потом несколько каменных.

Капитан еще в Аяне наслышался об Иркутске, да и прежде читал, что тут ссыльные пользуются уважением,

что здешние купцы бреют бороды, имеют библиотеки и ходят во фраках и что есть образованные чиновники.

Справа пошла белая каменная стена. Вдруг город обвалился, как лес на Веселой горе. Открылась мгла, провал. Выехали на берег Ангары, невидимой, но угадываемой. Справа — решетка, за ней сад и губернаторский дворец с колоннадой и фронтоном на Ангару и с часовыми на освещенном пятне снега. Скрип полозьев стих. Офицеры, вылезшие из кошевок, молча пошли в своих заиндевелых дохах следом за капитаном в огромные двери. Тут тепло, тишина, в нишах по обе стороны лестницы усатые часовые. Сверху, по коврам, по лестнице с золочеными баясинами, наложенными как рельефы на сдвинувшиеся стены, быстро сбежал Струве. Он обнял капитана и сказал:

— Николай Николаевич давно ждет вас, Геннадий Иванович... Генерал будет очень рад вашему благополучному прибытию, господа, — обратился он к офицерам.

Вызваны были два дежурных чиновника. Офицеров отправили с ними на приготовленные квартиры. Струве провел капитана в одну из трех высоких и обширных комнат левого крыла нижнего этажа губернаторского дома, в которых жил он вместе с уехавшим в Петербург Мишей Корсаковым.

На столике лежало письмо от Миши, в котором он просил дорогого Геннадия Ивановича чувствовать тут себя как дома.

Струве сказал, что Муравьев нездоров и уже спит и что он вообще рано ложится, — таков его обычай.

Люди быстро подали свечи, воду, белье. Евлампий занялся походным хозяйством своего барина. В столовой накрывали стол. Струве рассказывал новости. Была одна важная и неприятная весть из Петербурга, о ней Струве не стал ничего говорить. Он желал обрадовать Геннадия Ивановича, окунуть в круг городских интересов, рассказал, что в честь капитана и его спутников в новом здании дворянского собрания, которое только что построено, готовится бал и что вообще рождество пройдет очень весело — иркутяне любят и умеют повеселиться. Дамы и девицы с нетерпением ожидают приезда моряков, весь город сбился с ног, все желают гостей к себе. Струве сказал, что он обещал привезти капитана в дом к Зариным, у них прелестные барышни — племянницы, те самые, о которых шла речь еще в Якутске, да еще к Волконским, Трубецким,

Запольским... Все рассказы Струве про иркутскую жизнь были очень приятны и виды на будущее заманчивы, и капитан непременно хотел всюду побывать. Но сейчас им овладели мысли совершенно иного рода, и он тоном открытого признания сказал Бернгардту, что, по его мнению, Николай Николаевич все же ошибается жестоко... И он стал пояснять... Струве несколько смутился, не понимая, зачем Геннадий Иванович вносит такой диссонанс в их приятный разговор. Бернгардт умело уклонился от деловой беседы и рассказал много презабавного про здешнюю жизнь.

Невельской понял, что некстати хотел заговорить про свое.

Вдруг во тьме в углу комнаты появилось какое-то светлое пятно. Оно становилось все ярче, там появилась фигура с горящей свечой в руке.

— Николай Николаевич! — сказал Струве тихо. — Спустился к нам тайным ходом.

— Геннадий Иванович! Я узпал, что вы приехали, — заговорил Муравьев, ставя свечу на стол, и хватая за плечи вскочившего капитана. — Я еще не спал и спустился взглянуть на вас! Как я рад, как я рад! Вы молодчина, так и следует!

Он обнял и поцеловал капитана.

— Простите меня, я только на мгновение: поздравить вас и хоть взглянуть одним глазком.

В халате Муравьев казался добрым, кротким, домашним человеком. Он задал несколько вопросов про дорогу, про здоровье, спросил, как чувствуют себя офицеры.

Геннадий Иванович заметил, что он как будто в самом деле выглядит хуже, чем в Якутске.

Губернатор сказал, что не будет беспокоить, пожелал покойной ночи. Оставив открытой потайную дверь, он со свечой в руке поднялся по лестнице.

Невельской сел ужинать, Струве простился с ним и ушел к себе в соседнюю комнату.

«Странно, — подумал Невельской. — Николай Николаевич не может не знать, как все меня волнует. Хотя бы намекнул... Он оставляет меня в тревоге. Может быть, опять неприятности, и он не хотел разговаривать об этом перед сном? Да, он, кажется, в самом деле заметно хуже выглядит, чем в Якутске... Будем ждать утра, — решил капитан. — Во всяком случае, он расположен ко мне по-

прежнему и, будь у него неприязнь ко мне, не держался бы так просто, почти по-родственному. Принимает в своем доме, спустился в полночь, чтобы поцеловать, обнял...»

Оставшись один, во всем чистом, на чистой простыне, молодой капитан почувствовал себя в этот вечер как дома, у матери. Комната была просторной, высокой, с большими окнами без ставен, как в Петербурге. Он долго не мог уснуть, глядя в темноту открытыми глазами.

Утром встал рано и долго ходил по комнате. Потом сел писать в Петербург. В восемь губернатор прислал ва ним.

Капитан поднялся на второй этаж по лестнице с вызолоченными балясинами перил, покрытой ковром. Он вошел в залу с паркетным полом, с фарфоровыми вазами на столиках, с портретом Державина во весь рост, с зеркалами и множеством благоухающих живых цветов.

Пять огромных полукруглых окон, не замерзших, несмотря на мороз, светлых и чистых, смотрели прямо на залитую солнцем и сверкавшую снегами огромную Ангару. Сверху — второй свет — еще пять квадратных окон поменьше. Налево — дверь в кабинет губернатора.

Навстречу вышел Муравьев, быстрый и легкий, одетый по-домашнему, в мундире без эполет. Как заметил сейчас капитан, лицо его действительно переменялось и даже заострилось. Он, конечно, нездоров.

«Какая перемена», — подумал капитан. Вчера предполагал, что все это при слабом освещении только кажется.

Взор генерала весел по-прежнему, та же осанка и живость. Муравьев горделиво вскинул голову с волной светлых волос, завитых над ухом, и, молодецки закрутив ус, посмотрел на Невельского. Потом обнял его и повел в кабинет.

Там два огромных камина с изразцами, массивный стол, статуи, картины.

— Ну, как спали?

— Как дома!

— Так вы дома! Мы ждали вас, как своего... Вы, как герой, скачущий под Ватерлоо! — вскинув руку над головой, воскликнул Муравьев. — Ну, а как Иркутск? Впрочем, вы не разглядели...

«Почему он так изменился?» — подумал Невельской.

— Прекрасный город, — продолжал губернатор. — А

климат какой здоровый! Ангара — река с изумительной водой, чище которой я не знаю в целом мире...

Губернатор сказал, что вопрос с переводом Невельского в Восточную Сибирь решен. Получена официальная бумага.

— Поздравляю вас. Вы мой чиновник особых поручений. Прошу любить да жаловать своего губернатора...

Муравьев замолчал, прищулив один глаз, а другим хитро и пристально глядел на собеседника, как бы желая спросить: «Что вы на это скажете?..»

— Николай Николаевич! — воскликнул Невельской. Чувствуя простоту, здравый ум и расположение губернатора и желая говорить с ним совершенно откровенно, он решил выложить все. Он полагал, что Муравьев умница и должен все понять.— У меня к вам покорнейшая просьба!

— Прошу вас, мой дорогой Геннадий Иванович! Буду рад служить.

— Не возбуждайте перед императором вопроса о переносе Охотского порта.— Лицо Невельского приняло твердое и властное выражение, в котором было что-то от светлого, фанатичного старовера.— Николай Николаевич! Поверьте мне, это ужасная ошибка. Я говорю вам откровенно и прямо.— Тут капитан вскочил с места.— Я не могу не сказать вам этого. Все наши планы рассеются прахом...

— Дорогой Геннадий Иванович! — перебил его губернатор, стараясь говорить мягко и вразумительно.— Я уже ничего не могу поделать. Доклад на высочайшее имя послан! — И он развел руками, как фокусник.— Я должен был поступить так. На это есть глубокие причины. Да, я обещал вам подумать и подумал. И решил делать так, как приказано. Как при-ка-за-но! — тоже подымаясь, воскликнул Муравьев.

Невельской замер с рукой, прижатой к груди, с умоляющим взглядом. В ясных глазах его загорелся какой-то огонь, не то ужаса, не то гнева или крайнего огорчения, граничащего с потрясением.

— Поверьте мне, Геннадий Иванович,— продолжал губернатор,— что иначе поступить я не мог. Не мог! Тут нет заблуждений и ошибок, это все верно как божий день! Я дам вам этот доклад. Вы прочтете его и убедитесь, что иначе поступить нельзя. Охотск далее не может

быть терпим. Над нами вот-вот может разразиться гроза... Охотск — долой! Есть причины очень, очень важные, по которым мы не смеем спешить с действиями на Амуре. Эти причины политического характера.

Губернатор вынул из стола пачку бумаг.

— Геннадий Иванович, я прошу вас познакомиться с моим докладом на высочайшее имя. Прочтите его спокойно. Я ничего не скрываю от вас.— И он добавил со значением, подняв указательный палец: — И не скрою!

Невельской взял листы бумаги, стал читать. Выражение огорчения исчезло с его лица, и он увлекся; казалось, то, что было написано, правилось ему.

Губернатор подробно и живо описывал Камчатку и камчатскую бухту, развивал планы постройки морской крепости, создания сильного флота на океане. Для этого просил о переносе Охотского порта в Петропавловск и об образовании на Камчатке области под начальством командира порта и губернатора, которым просил назначить Завойко. Описывал бесчинства иностранцев и просил прислать суда для крейсерства. Для удобного и правильного сообщения между Аяном и Якутском поселить крестьян, а сам путь улучшить на средства казны.

— Этот план, Николай Николаевич,— заикнувшись, сказал Невельской, прочитавши доклад,— ош-шибочен! Муравьев молчал.

— Зачем нам крепости и дорогостоящие сооружения на Камчатке, когда сама природа воздвигла здесь повсюду неприступные укрепления, лучше которых желать не надо? Зачем делать из Камчатки область и назначать на пустырь губернатора? Нам нужен хлеб, оружие, а главное — средства подвоза и пути сообщения! Кто же станет спорить, что в Петропавловске превосходная гавань.

— А вы знаете, что произошло в Петербурге? — вдруг спросил губернатор.

— Что вы имеете в виду? Окончание венгерской кампании?

— Садитесь, Геннадий Иванович! — мягче продолжал Муравьев.— Пока мы с вами путешествовали, стряслась беда.

Невельской посмотрел с удивлением, не понимая, какая еще беда может быть — и так хуже некуда. Рука его опять потянулась к крышке от чернильницы. Она так и искала, за что бы ухватиться,

— Вы получали что-нибудь от Баласогло? — спросил Муравьев быстро.

— Я не был утром на почте, но в Якутске ничего не получал.

— Вы давно знаете его?

— Двенадцать лет.

— Как вы познакомились?

— Он преподавал шагистику в корпусе...

— Баласогло арестован, — сказал губернатор. — Он — участник революционного заговора... В Петербурге раскрыт обширный противоправительственный заговор и произведены многочисленные аресты. Готовился переворот. Заговорщикам грозит смертная казнь.

Невельской остолбенел.

— Целью заговора было распространение социалистического учения, свержение государя и превращение России в республику. Заговорщиков вилят, что они готовили огромное восстание в Сибири и на Урале, и возглавлял все это некий Петрашевский, чиновник Министерства иностранных дел...

«Петрашевский? Неужели это тот самый? Может быть, однофамилец?» — подумал капитан.

— Дело это имеет огромное влияние на всю жизнь России и на наши действия на Амуре в том числе. У них были свои люди всюду... И здесь тоже! По крайпей мере, так подозревают... Нас с вами могут обвипить в любой миг. Вот теперь я скажу вам, что был тысячу раз прав, что отстранил от себя Баласогло. Я знаю, меня порицали и за это, но мой нюх меня не подвел. Судите сами, какие после этого могут быть гавани на устье, когда никто и ни о чем теперь и заикнуться не смеет! Наша с вами ответственность теперь возрастает в тысячу раз!

Невельской мгновенно вспомнил свои разговоры с Александром, общие настроения своих штатских приятелей.

«Что за чушь? Какое восстание в Сибири и на Урале?» — думал он. Никогда ничего подобного не говорил ему Александр. Вообще Баласогло, как казалось капитану, не мог быть участником никакого заговора, это человек, лишь возмущенный несправедливостями.

Муравьев помянул, что получил личное письмо от министра внутренних дел графа Льва Алексеевича Перовского, который, как знал капитан, приходился Нико-

лаю Николаевичу родственником и покровительствовал ему. Губернатор дал понять, что Невельской может чувствовать себя в Иркутске совершенно спокойно. И тут же добавил, что в Петербурге не щадят никого, что там все притихло и замерло и что, несмотря на письмо Перовского, он сам толком не знает, что там происходит.

— Конечно, все это очень неприятно,— небрежно молвил Невельской, еще не придавая значения тому, что услышал,— но давайте судить трезво, Николай Николаевич... Какое, в конце концов, нам с вами дело, когда мы начинаем осуществлять заветную мечту!..

— Какое дело? — перебил его губернатор.— Да это первостепенная неприятность!

— Нет, как хотите, а я не согласен с вами. Да вот и надо действовать именно сейчас, идти напролом! Потребовать суда и людей и занять Южный пролив. Да, Николай Николаевич! Какое нам дело до всех тайных заговоров и тайных канцелярий, когда здесь-то дело ясно как божий день!

— Вы не боитесь последствий подобных ходатайств?

— Ни боже мой! Да только так мы и докажем нашу преданность престолу и отечеству! — воскликнул капитан.

— Вы безумец! Верно сказал вам Василий Алексеевич, что вы мните, будто о двух головах.

— И потом я не могу вам не сказать о докладе. Ведь мы успели бы все сделать в год, в два. Зачем нам аянская тропа, где люди будут умирать от цинги и голода... Не Камчатку, а Южный пролив и устье надо занять немедленно!

— По нынешним временам это несчастье, что у Амура есть южный фарватер! — вскакивая и мягко, но выразительно выколачивая указательным пальцем по воздуху, воскликнул Муравьев.

— Несчастье? — обиженно вскричал Невельской, также вскакивая.

— Конечно! Да, там путь в Амур для иностранцев. Не будь этого фарватера, то и вход в Амур был бы закрыт для них! И ни о каких гаванях южнее устья Амура и заикаться нельзя. Государь не утвердит! Министерство иностранных дел слушать не захочет! Все, что нам нужно,— левый берег реки. И все!

— Только гавани на южном побережье будут нашей настоящей опорой, — яростно заговорил капитан. — Дайте мне мой «Байкал», и я будущим летом опишу весь берег до Кореи.

— Вы хотите, чтобы и вас и меня расстреляли?

— Ваше превосходительство...

— Дорогой Геннадий Иванович! Уж если говорить откровенно, я бы немедленно все занял, будь на то моя воля. Да неужели вы думаете, что я не хочу этого? Поймите, что мы должны ныне отказаться от многого.

— Ну что тут общего с заговором?

— Все! В такое время умы в смятении, открытия, исследования прекращаются. В каждом смелом шаге увидят крамолу! Сами себя ловим за руку, как воров.

Муравьев многого не договаривал, хотя и обещал в начале беседы выложить все. Ему в самом деле грозили неприятности.

— Таковы новости, — заключил губернатор. — Лев Алексеевич Перовский пишет мне, что председателем следственной комиссии назначен брат его, Василий Алексеевич.

Это был ободряющий намек.

«А кажется, я тоже перепугался, — подумал Невельской. — Но в чем, собственно, меня могут подозревать?»

Он вдруг почувствовал, что не может успокоиться, несмотря на все доводы, которыми утешал себя.

Вскоре в зале состоялся официальный прием офицеров «Байкала». Муравьев поздравил их с благополучным прибытием в Иркутск, сказал, что все они представлены к наградам. Он пригласил офицеров к обеду.

— Так идемте к жене, — дружески сказал Муравьев, обнимая капитана, когда прием окончился и они возвратились в кабинет. — Она желает вас видеть. Да за обедом будьте осторожны, Геннадий Иванович. Я сам не смею сказать лишнего слова... Кстати, я представлю вас подполковнику Ахтэ...

«Если на меня падают какие-то подозрения, он бы предупредил меня. Однако он ни на йоту не переменялся. Вот когда познается благородный человек!»

Но Невельской чувствовал, что тревога охватывает его.

Муравьев сказал, что у жены в гостях сидит Мария Николаевна Волконская.

Кабинет губернаторши похож на зимний сад. Тройное итальянское окно, заставленное массой цветов, выходит на южную сторону, на маленький балкон и в сад. Внизу, среди стволов лиственниц, блестит ярко-желтыми квадратами застекленная крыша оранжереи. В комнате тепло, даже жарко от этого зимнего сибирского солнца; горят полы, отражая его, блестят листья тропических растений и цветов — красных гвоздик на подоконнике и лиловых хризантем на деревянных подставках в виде лесенок.

За круглым столиком оживленно разговаривают по-французски Екатерина Николаевна и дама лет за сорок, стройная и моложавая, с темными густыми волосами, расчесанными на пробор, с модно завитыми локонами. Обе в шالях, на губернаторше — яркая, а у ее собеседницы — темная.

Губернаторша — свежая, розовая, молодая, у Марии Николаевны круглое, живое, но поблекшее лицо, небольшие узловатые руки и жилистая шея.

Екатерина Николаевна поцеловала капитана в лоб. Невельской был представлен ее собеседнице. Мария Николаевна ласково улыбулась, чуть заметный румянец оживил ее желтоватые щеки; она посмотрела пристально и с интересом молодыми блестящими глазами, похожими на две крупные черные смородины.

— Никак не могу с ним сладить, — заговорил губернатор. — Доставляет мне одно огорчение за другим, хотя, признаюсь, имя его именно за это принадлежит истории.

«Он довольно откровенен... — подумал Невельской. — Неужели Волконская знает?»

— Очень мило, Геннадий Иванович, что вы у нас, — сказала губернаторша.

Казалось, что тут, на половине губернаторши, не придают никакого значения ни заговору, ни тому страху, который, по словам губернатора, охватил всю Россию.

— Не правда ли, Мария Николаевна? — обратилась Муравьева к собеседнице.

— Да, мы очень рады и все ждали вас... — ласково сказала Волконская. Капитан весьма интересовал ее. Она желала, чтобы сын ее Миша с ним познакомился. На руке Волконской странный браслет, тонкий и блестящий.

«Впервые вижу такое темное серебро, — подумал капитан. — Как железо».

Через четверть часа все встали. Муравьев подал руку Марии Николаевне. Невельской, повеселевший от собственных рассказов, пошел с губернаторшей.

Перед обедом в гостиной собралось многочисленное общество. Тут был военный губернатор с женой-грузинкой, другой генерал — старик, два полковника, старая знакомая капитана мадемуазель Христиани и мадам Дорохова, белокурая хорошенькая директриса местного девичьего института, пухленькая дама лет за тридцать в клетчатом платье из сипей шотландки. Муж ее — низенький, лысый и седой, с наглыми голубыми глазами. Это знаменитый бретер, картежник и кутила. Появился тучный бритый старик с тяжелыми щеками, человек огромного роста, миллионер Кузнецов, сказочный сибирский богач. Тут же швед — художник Карл Мозер, коммерсант француз Риши, другой француз — с худым бледным лицом, голубоглазый, с седыми волосами, профессор французского языка, как называли его в обществе, преподававший в здешней гимназии. О чем-то пылко говорил молодой, осанистый и шустрый Сукачев с насмешливо дерзким взглядом бесцветно светлых глаз — восходящая звезда сибирского делового мира, ловкий малый, юрист, крутивший всеми делами купца Трапезникова, старейшего иркутского жителя. Тут же чиновники: Бернгардт Струве и другой любимец Муравьева, Дмитрий Молчанов, — рослый, красивый мужчина лет тридцати, с темно-русскими завитыми волосами, с шелковистыми густыми бакенбардами, с надменным взглядом (он сразу же подошел к Марии Николаевне), и третий — молодой, полный, высокий офицер с большим горбатым носом и светлыми бровями — Иван Мазарович, серб по рождению, сын итальянского адмирала, пожелавшего служить славянской державе и перешедшего на службу в Россию.

Миллионер подсел к Екатерине Николаевне и, то и дело вытирая лоб платком, о чем-то шутливо разговаривал, видно желая быть приятным собеседником.

Невельской уже знал от Струве, что эти обеды заведены были Муравьевыми сразу по приезде в Иркутск. Тут собирались самые разнообразные люди: купцы, промышленники, офицеры, чиновники, приезжие иностранцы. Жены ссыльных сидели за одним столом с жандарм-

скими офицерами. Казалось, общество сливалось воедино, а жизнь города и всей Сибири была как на ладони перед хозяевами дома.

Волконская разговаривала с красивым Молчановым, и, как казалось Геннадию Ивановичу, гораздо оживленнее, чем в кабинете у губернаторши.

«Кто такой этот Молчанов?» — подумал капитан.

С Невельским разговорился плотный лысый подполковник с толстой шеей, инженер Ахтэ, о котором как бы мельком было упомянуто в кабинете губернатора.

Ахтэ некоторое время смотрел на Невельского с тем чувством превосходства, с каким смотрит на молодых человек опытный, хорошо знающий свое дело. Молодой человек лишь случайно очень удачно опередил его, чем расстроил планы и досадил, но знаток делает вид, что снисходителен, не обижается, он даже ласков и готов протезировать удачливому молодому сопернику. Он смотрел на Невельского как на простачка, которого стоит прощунать, выспросить, поговорить с ним откровенно и который, конечно, знает все и, польщенный, уж верно, «уронит сыр».

Невельской с его светским видом не внушал Ахтэ особенного уважения. Вряд ли в таком молодце могли быть невероятные ученые познания.

Ахтэ заговорил с капитаном, полагая, что тому приятно будет внимание видного инженера, подполковника генерального штаба, посланного в Иркутск по высочайшему повелению.

Невельской смотрел настороженно и несколько задорно.

— Я хотел бы поздравить вас и выказать вам свое полное восхищение! — продолжал Ахтэ, чуть склоняя голову и как бы что-то проглатывая.

— Мне это очень приятно слышать, — сдержанно ответил Невельской.

— Вы совершили беспримерный подвиг! О-о! Не скромничайте! Вы первый проникли туда, где еще не бывала нога европейца.

Невельской решил, что придется сделать вид, будто не понимаешь, о чем речь. Николай Николаевич строго-настрого не велел никому рассказывать про Амур, а в особенности Ахтэ.

— Английский адмирал, с которым я познакомился в Вальпарайсо, сказал мне, что этим путем уже проходило

одно английское военное судно, — любезно стозвался капитан.

— Английское судно? — подняв брови так, что лоб перебороздили глубокие морщины, удивленно спросил Ахтэ.

— Да! Потом я встречал несколько капитанов, которые уверяли, что не решались пройти там, где мы провели наш «Байкал». Одна такая встреча была у меня в Гонолулу, а другая в открытом океане на широте...

— Но как же так? — недоумевал Ахтэ. — А съемка пролива?

— Ведь там нет никакого пролива. Это белое пятно на карте в центральной части Тихого океана! — Чуть заметные огоньки засверкали в глазах капитана. — Мы спешили на Камчатку.

Пригласили к столу, и Ахтэ, возмущенный до глубины души такой глупой дерзостью, таким упрямым запирательством, пошел в столовую, все же держась подле Невельского.

После обеда, возвратясь к себе вниз, в огромную угловую комнату, Невельской почувствовал, что отвратительное состояние вновь овладевает им. Позиция Муравьева самоубийственна, он сам губил дело, которое начал. От разговора с Ахтэ остался плохой осадок. Хотя обед был хорош, много прекрасных людей, интересные разговоры... Он вспомнил, что Мария Николаевна все время любезно разговаривала с Молчановым. В чем его сила? Капитану обидно было, что Волконская выказывала столько внимания этому на вид неприятному молодому человеку.

«Впрочем, я становлюсь мнителен. Чуть какая-то... Это мерещится мне».

Ему все время лезли в голову мысли: какие обвинения могут предъявить и что на них можно ответить.

Пришел Струве.

— Ахтэ, кажется, обижен, — улыбаясь, сказал он.

— Что за чушь! Я взял подписку с офицеров и матросов, а ему должен выболтать.

Вошли Казакевич и Молчанов.

— Так едемте завтра с визитами, Геннадий Иванович! — заговорил Петр Васильевич, но по выражению лица Невельского понял, что тот не в духе, и сразу умолк.

Разговор зашел о директрисе девичьего института Дороховой — как она хороша собой и каков мот и кутила ее муженек.

— Жаль, что не было Зариных, — сказал Бернгардт. — Прелесть, что за девицы, и сама тетушка недурна.

Молчанов был очень любезен и охотно принимал участие в общем разговоре.

— Так вечером обязательно в дворянское собрание, Геннадий Иванович! — сказал Петр Васильевич.

Все попрощались и ушли.

Невельскому не хотелось никуда ехать. Он бы охотно провел вечер в одиночестве. Он был угнетен и, казалось, пал духом, хотя в глубине души его опять шла та работа, в результате которой разбитый и подавленный человек обретает в себе новые силы.

«А ведь я действительно не протестовал, когда они говорили, что надо устроить республику в России», — вдруг вспомнил он с ужасом.

В дворянское собрание, как чувствовал Невельской, все же придется ехать. Он приказал подать горячую воду и сел бриться, вторично в этот день.

Он опять вспомнил Марию Николаевну Волконскую. Кто знает, сколько она выстрадала. Она уехала за мужем, когда ей было лет двадцать! Он в каторге, она без прав... Как она прожила все эти годы? По ее виду ничего нельзя было заметить. Светская дама, любезная и остроумная, была сегодня перед ним.

Вспомнился Молчанов — высокий, темно-русый, с кари-ми глазами, с длинными бакенбардами, его самодовольный взгляд. Почему Мария Николаевна с ним как-то особенно любезна? Он тоже почтителен с ней, но так и следует... Он мизинца ее не стоит. Невельской предполагал, что Молчанов влиятелен... Капитану казалось, что ее славное имя не очень трогает Молчанова, что он недостаточно боготворит ее. Сквозь улыбки и спокойный, добрый тон Марии Николаевны пробивалась какая-то тревога, взгляд ее мгновениями был немного печален. Бог знает! Мало ли что может быть! Если Николай Николаевич так откровенен с ними, то она должна быть весьма встревожена. Может быть, Молчанов, любимец Муравьева, играет тут какую-нибудь роль? Все казалось загадкой. «Они не понимают, что это за женщина, — думал он. — Но Мария Николаевна духом не падала, как видно, и надо было хоть с нее брать пример, с женщины... Ну, пусть меня арестуют, а я стану доказывать, что всю жизнь только и думал о верности престолу.

Меня? Вахтенного начальника великого князя? У кого

сам Константин по реям бегал... Да мало ли что я с кем говорил! — представлял он свой допрос и свои возражения. — Напрасно бы обвинили меня. На мое терпение все их уловки — коса на камень. Прежде всего я невиновен! Надо сколь возможно играть на той струне, что я служил с великим князем и всегда был примером! Да, впрочем, не надо думать!»

Евлампий причесал капитана, как заправский парикмахер, кое-где прихватил волосы горячими щипцами.

— Эх, ваше благородие, волос-то редеет... еще лысины нет, а уж редеет.

Он не впервой поминал про лысину.

— Снявши голову, по волосам не плачут! — отвечал Невельской.

Он вспомнил, родственница его, Маша, закончившая Смольный, говорила ему перед отъездом из Петербурга, что две ее подруги отправились в Иркутск. Не они ли заринские племянницы?

Сверху спустился чиновник и сказал, что губернатор поедет в восемь часов и просит быть у себя в семь.

Невельской решил явиться наверх и снова затеять серьезный, хотя, быть может, и неприятный разговор...

Евлампий подал капитану вычищенный мундир.

Глава двадцать шестая

ПЕРЕМЕНЫ РОЛЯМИ

...Страх прилипчивее чумы и сообщается вмиг. Все вдруг отыскали в себе такие грехи, каких даже не было.

И. Гоголь, «Мертвые души»

По дороге из Якутска в Иркутск Муравьев много думал о будущих действиях на устьях Амура, которые предлагал Невельской. Многое в его планах казалось заманчивым. Но генерал опасался, не ждут ли его в Иркутске какие-либо неприятности, поэтому и задержал всех офицеров «Байкала» в Якутске, с тем чтобы иметь время на раздумья, если из Петербурга грянет что-нибудь.

На подъезде к Иркутску, в полдень, на Веселой горе его встречали. Выехал навстрочу гражданский губернатор Владимир Николаевич Зарин, начальник гарнизона, полц-мейстер, почетные граждане, купцы. Встреча была восторженной, тут же, на морозе, выпили шампанского, кричали «ура» за здоровье Екатерины Николаевны и Николая Николаевича и на кошевках с коврами и медвежьими шкурами помчались в Иркутск.

Николай Николаевич спросил потихоньку у Зарина, который был его другом и родственником:

— Есть неприятности?

— Да,— сказал Владимир Николаевич кратко и веско.

Зарин начал рассказывать по дороге про заговор в Петербурге и закончил в городе, в кабинете Муравьева. «Ужасная новость!» — думал Муравьев.

Из Петербурга несколько месяцев тому назад пришла бумага с приказанием найти где бы то ни было бывшего исправника, служившего когда-то в Западной Сибири, а ныне служащего в частной золотопромышленной компании, некоего Черносвитова, уверявшего своих единомышленников, что в Сибири есть заговор.

— Ах, подлец Черносвитов! — воскликнул Муравьев. Он догадывался, в чем тут дело. Муравьев знал Черносвитова и раза два поговорил с ним откровенно, хотел пустить пыль в глаза, и вот что получилось! А Черносвитов один из самых отъявленных головорезов-заговорщиков, как выяснилось. За ним из Петербурга были посланы жандармские офицеры, его схватили и увезли.

Зарин рассказал про аресты в Петербурге и в каком страхе вся Россия; революционный заговор, по мнению следователей, имеет широкие разветвления; замышлялось восстание.

«Неужели меня приплели? — думал Муравьев.— Подло! Черт знает, я не воздержан на язык. Так и скажу, если потребуют к ответу, что, мол, говорил все, служил государю честно, взглядов своих не скрывал. «А зачем высказывал крамольные мысли?» Так, скажу, сделал это нарочно, чтобы выспросить, каков этот Черносвитов. Скажу, что сам подозревал его, но руки не дошли, озабочен был повелением его величества о путешествии на Камчатку».

Зарин сообщил, что губернатора требовали в Петербург, но отложили объяснение до возвращения из Камчатки. «Уж не арестовать ли хотят?»

Зарин сказал, что в Петербурге многие газеты и журналы закрыты, что хотели арестовать Белинского, но он умер, что въезд в Питер воспрещен, что нити заговора идут на Урал, на горные заводы, к староверам.

Как всегда в таких случаях, даже высшие чиновники, сами ничего толком не зная, пользовались любимыми слухами, которые доходили до Иркутска.

— Но неужели вы, Владимир Николаевич, не могли меня как-то предупредить?

— Я не хотел вас беспокоить и уверен был, что вас это не касается...

«Да, я требовал отмены крепостного права! А как они истолкуют теперь мои действия на Амуре, самовольную опись Невельского? Именно потому, что все это чушь, могут арестовать, так как может быть, что весь заговор сфабрикован... Время ужасное, поход в Венгрию, подготовка к войне...»

Муравьев стал перебирать в своей памяти знакомых. Их было много... Он вспомнил, что ему Черносвитов действительно говорил про Амур, как нужна эта река для Сибири, а он еще ответил, как могла бы Сибирь торговать с Америкой, и развиться, и оказать влияние на Китай.

«Открытие Невельского теперь могут истолковать бог знает как. Конечно, можно счесть, что я состою в заговоре».

Муравьев получил письмо от Перовского. Тот писал, что следует быть воздержанным в своих речах.

Муравьев окончательно готов был пасть духом.

«Как взглянет на все государь? А я еще на днях говорил об Америке, об открытии Японии! Об отдельной республике в Сибири. Нет уж, теперь наберу в рот воды, буду писать своему покровителю графу Льву Алексеевичу, возьму строжайшие меры, сам согну весь Иркутск в бараний рог! Сам буду искать крамолу. Я им покажу! Вот как надо действовать в таких случаях... О ужас! А еще Волконским и Трубецким, мол, покровительствует и декабристам разрешил жить в Иркутске!»

В тот же день Николай Николаевич обо всем рассказал жене, просил ее уничтожить все бумаги, письма из Парижа от родственников и сам сжег свою частную переписку, кроме писем Перовского и Меншикова, авторы которых были выше всяких подозрений.

Наутро чиновники, ждавшие приема в зале, услышали

надтреснутый и хриловатый крик в кабинете губернатора. Муравьев начал свои «распеканции». Он разнес сначала начальника гарнизона, потом полицмейстера, председателя казенной палаты, досталось и гражданскому губернатору...

Муравьев потребовал доклад о состоянии каторжных тюрем, и сам срочно готовил записку государю о своем путешествии. По лестнице с золочеными перилами то и дело бегали чиновники и офицеры, а к подъезду подкатывали одни сани за другими. Отдан был приказ о наказании двух солдат шпицрутенами и об экзекуции в одном из пригородных сел.

За обедом Муравьев громко рассуждал о французских революционерах, называл Ледрю Роллена подлецом и мерзавцем и говорил о могуществе и единодушии России с таким увлечением, что никто бы не мог подумать, что он неискренен, хотя многие помнили его столь же горячо похвалы французским революционерам.

Он мог одинаково превосходно и с энтузиазмом говорить и «за» и «против» одного и того же, мог приводить в исполнение разные замыслы, часто противоположные друг другу. Казалось, два человека жили в нем рядом.

При необычайной изворотливости Муравьева он не становился в тупик, когда одно его действие явно противоречило другому. В таких случаях он решительно принимал сторону правительства не только из страха перед властью, ради собственной безопасности и интересов карьеры, но еще и потому, что полагал все действия правительства по-своему тоже способствующими развитию, только более отдаленному, замедленному. Он также говорил громко, что возбуждать страх в народе полезно, так как это приучает к труду и к повиновению.

Наутро он изругал одного из старых чиновников, седого низкорослого забайкальца Михрютина, который служил всю жизнь верой и правдой и выбился в чиновники из «простых».

— Упеку в Нерчинск! Сгною! Мол-чать! — рывкнул на него Муравьев.

Михрютин не первый раз в жизни получал «распеканцию». Но, услышавши, что новый губернатор хочет упечь его в Нерчинск, он вдруг не выдержал. «Кто? — подумал он. — Муравьев? Ах ты...»

Михрютин затрясся, побледнел и, сжавши кулаки, выкрикнул иступленно:

— Нет! Нет, ваше превосходительство! — Слезы выступили у него на глазах.— Михрютины в Нерчинске не бывали! Муравьевы бывали, а Михрютины не были.

Губернатор опешил. Действительно, родственники его — Муравьевы — были сосланы в Нерчинск по делу декабристов. С тех пор говорили, что государь не любил фамилию Муравьевых. Ответить нечего, и у губернатора, казалось, отнялся язык. Он проглотил тяжкое оскорбление. А Михрютин, ни слова не говоря и не выказывая губернатору никакого уважения и не извиняясь, резко повернулся, вышел из кабинета, не одеваясь, сбежал по лестнице, выбежал на мороз и пустился бегом на Ангару, без шапки, в одном мундире, выхватил шпагу, сломал ее у проруби о свое колено, утопил, пустив под лед, скинул мундир и сам хотел нырнуть туда же, но тут его схватили офицеры и солдаты, посланные вслед губернатором.

Михрютин бился, не хотел возвращаться, но его утащили насильно. Так никто и не узнал, что произошло, почему человек хотел топиться. Муравьев никому не сказал ни слова и никаким наказаниям Михрютина не подверг.

Губернатор был человеком смелым, реальных опасностей не боялся. Тут же все было неясно. Он всю жизнь прожил при деспотизме, страхась тайн, доносов, воображая, что за ним тоже следят, пугаясь мести и расплаты каждый раз, когда осмеливался на какой-нибудь неосторожный шаг. Из-за этого часто приходилось отказываться от многого. Так и сейчас из-за этого большого страха он согласен был отказаться от чего угодно, от любого открытия.

Михрютин потряс его своей выходкой не меньше, чем все таинственные известия из Петербурга. Он понял, что живет среди врагов, что местное общество — сибирские чиновники и толстосумы спят и видят его гибель.

Временами казалось ему, что все обойдется благополучно. Он сетовал, что рано возомнил себя фигурой, твердил себе, что в России нет и не может быть ни одного деятеля, кроме царя, и лучше быть взяточником и подлецом, чем иметь какие-либо собственные суждения; что нельзя тешить себя никакими надеждами на будущее и надо раз навсегда позабыть свои либеральные чаяния.

«Эх, эта моя проклятая хвастливость! Дернул меня черт пускать пыль в глаза Черносивову! Высказал ему свои

взгляды, зачем? Молчи, молчи, Николай, держи язык за зубами! Тысячу раз я говорил это себе! Что за проклятый характер!»

И в то же время думал он с новой горечью, что правительство России губит страну и народ, уничтожает свежие силы, что люди — он видел это сейчас на своем примере — обязаны заглушать свои способности, отказываться от своих мыслей, от которых мог бы быть прок... «Каждый у нас сам себе жандарм... Сам себе запрещает мыслить. Да подумись восстание в самом деле, не на староверов надо рассчитывать, а армия первая подняла бы республиканское знамя! Да я бы сам взял командование! С лица земли бы стер всю эту мерзость, сволочь».

Но пока что он благодарил бога, что министр внутренних дел Перовский ему покровительствует.

«И как кстати заказал я и велел выставить в зале портрет государя во весь рост. А то стоит у меня один Державин...»

Муравьев поехал в собор и, хотя не верил в бога и откровенно говорил об этом, молился долго и истово, чтобы все видели.

Невельской, раздумывая обо всех событиях, тоже впал в страх.

«Явно, я подлежал бы аресту, не уйди в кругосветное!»

И разбирал его ужас, и не давала покоя страсть — довести до конца дело с Амуром.

Муравьев встретил его завитой и надушенный.

— Как вам поправилась Мария Николаевна?

По виду Муравьева никогда нельзя было сказать, что у него на душе.

— Вы помните,— заговорил губернатор, воодушевляясь:

...в Полтаве нет
Красавицы, Марии равной...
...Ее движенья
То лебеда пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья.
Как пена, грудь ее бела,
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют,
Звездой блестят ее глаза,
Ее уста, как роза, рдеют...

Что делает время! Она уже не та. Еще есть в ней и «лани быстрое стремленье» и что-то от лебеда, но уж седина пробивается... А глаза еще — прелесть! Но теперь у нее иная жизнь, иные заботы.

— В чем же перемена?

— Все мысли ее о детях. Ведь им предстояло быть записанными в тягловое сословие. Они должны были стать рабами. Рюриковичи! А какие дети у нее прекрасные! Сын весной закончил здешнюю гимназию, мальчик редчайших способностей, и я взял его на службу. Я сделаю ему карьеру! Дочь Нелли пятнадцати лет — прелесть что за девица.

«Потому она, верно, и думает о детях, что не желает для них своей доли,— подумал Невельской.— Конечно, когда висит такая угроза, вся забота будет о них».

Тебе — но голос музы тёмной
Коснется ль слуха твоего.
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего!

— Это ей, все ей! Я вам покажу одно стихотворение Пушкина, которое есть тайна величайшая! Повесят лютого, у кого найдут. Я сам добыл его, пустившись во все тяжкие...

Муравьев долго рылся в ящике и достал какой-то лист.

— Ссылный Муханов читал мне наизусть, а я записывал своей рукой...

Губернатор встал в позу и, держа одной рукой развернутый лист, а другую поднявши, стал читать:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд...

Прочитавши, он засиял... Невельскому показалось, что Николай Николаевич гордится, что такие люди сидят тут у него по тюрьмам и отбывают ссылку.

— Декабристы имеют огромное влияние на нравы здешнего населения. Они пользуются уважением сибиряков, Сибирь их вечно будет помнить.

— Николай Николаевич, простите меня, но я хочу еще раз вернуться к делу,— заговорил капитан.— Ведь наш с вами труд пропадет даром, Николай Николаевич, если



этой зимой не добьемся своего. Я пришел просить вас, умо-
лять... То, что я слышу от вас, и вот эти стихи...— Невель-
ской вдруг всхлипнул, но сдержался. Нервы его были
напряжены до крайности,— утверждают меня в моем наме-
рении. Вы... то есть мы... губим... Николай Николаевич, вы
обессмертите свое имя. Россия вам будет вечно благодар-
на... Николай Николаевич, не сочтите за дерзость, но выход
один — вы должны отклонить свое ходатайство, посланное
вами на высочайшее имя.

Муравьев похолодел от изумления и гнева.

— Взять обратно мой доклад, посланный государю
императору? — яростно воскликнул он. Его нервы тоже на-
пряжены,

— Да, просите государя... Николай Николаевич, возьмите доклад обратно! Иного выхода нет. Доклад ошибочен. Лучше просить его величество сейчас, чем нанести страшный урон России. Я понимаю, что это значит, но лучше разгневаться государя, чем все погубить, пока не поздно! Пока нет указа о Камчатке!

— Вы фанатик... Это смешно!

— Если не сделаем этого сейчас, мы гибнем!

— Дорогой Геннадий Иванович, я не могу сделать это, даже если действительно все погибнет! У нас в России привыкли к тому, что все гибнет, если нет на то повеления! Мы ничего не жалеем. Мало ли у нас погубленных открытий, изобретений. Этим ничего не сделаешь... Сколько талантливых людей гибнет, а сколько не смеет заявить о себе, опасаясь бог весть чего. Чем застращали! Да мы уничтожаем дух народа, сушим его душу...

— Николай Николаевич,— подходя к губернатору ближе, с отчаянием спросил Невельской,— что же делать?

— Действовать не во имя науки, а во имя красного воротника! И войти в доверие! И вот когда войдем в доверие — то мы с вами все совершим! Возьмем свое лишь со временем хитростью! Вы не согласны?

— Нет,— гневно ответил Невельской.— Не согласен!

«Вот забияка»,— подумал Муравьев, глядя на его решительную фигуру.

— По-моему, действовать надо с открытым забралом!

Капитан хотел еще что-то сказать, но, заикаясь, не смог и ухватил губернатора за пуговицу.

— Охота вам связываться с губернаторским мундиром,— неодобрительно глядя на судорожные пальцы капитана, шутливо заметил Муравьев.— Знаете, этого мундира я сам боюсь и не рад, что приходится оберегать его честь...

Невельской вздрогнул и живо опустил руки по швам. Стоя так перед генералом и заикаясь, он стал с трудом доказывать свое.

«Не дам ему на этот раз своего мундира»,— решил губернатор и, отступив, сказал:

— У меня такое впечатление, что вам все время хочется подраться. Не правда ли?

— Нет, нет, ваше превосходительство!..— смутился капитан.

— Я чувствую, что в вас уйма энергии и некуда ее девать, Геннадий Иванович. Рано или поздно вы так раздеретесь с кем-нибудь, что еще мне придется расхлебывать. Да вы знаете, что о вас пущен слух, что вы забияка?

— Ваше превосходительство, я уверяю вас...

— И драться готовы?

«Кажется, на дуэль бы вызвал, найди виновника. Эка его разбирает». Веселое расположение духа вернулось к Муравьеву. Он стал отвечать шутками.

У капитана мелькнуло в голове, что, может быть, губернатор ему не доверяет. «Ведь если Николай Николаевич опасается за себя из-за пустяков, то ведь я-то действительно был с *ними* приятелем!..»

Невельской задумался.

— Едемте в дворянское собрание, довольно! — молвил губернатор.

— А где Бестужев? — вдруг, подняв голову, тихо спросил сидевший Геннадий Иванович.

Муравьев вздрогнул и с тревогой взглянул на капитана.

— Какой Бестужев? — спросил он, вглядываясь со страхом и подозрением.

— Николай Бестужев, ссыльный моряк.

— Вам зачем? — стараясь казаться спокойным, спросил Муравьев.

— Мне хотелось бы видеть его, — глядя куда-то вдаль и мелко стуча пальцами по столу, сказал Невельской, не замечая перемены на лице губернатора.

— Бо-же спаси вас думать об этом! — воскликнул Муравьев, подкрепляя свои слова ударами кулака по столу.

«А что, если он действительно в заговоре? Зачем ему Бестужев? Ведь у Бестужева, наверно, есть единомышленники среди моряков».

«Что он подумал? — недоумевал Геннадий Иванович. — Неужели он в самом деле боится меня? Кой черт дернул меня помянуть Бестужева? Уж если на то пошло, как бы он ни был мне пужен, я обойдусь. А, черт знает, чего пугаться? Может быть, сам замешан?..»

— Николай Николаевич, — вскочил капитан, — во имя будущего! Разрешите мне самому действовать.

— Ни боже мой!

— Возьмите доклад обратно!

— Ах, зачем вы, зачем? Оставим, это безумие...

СЕСТРЫ

Вихрями в бурные годы
В край наш заносит глухой
Птиц незнакомой породы,
Смелых и гордых собой.
Много тех птиц погостило
В пашей холодной стране,
Снегом следы их покрыло,
Смыло водой по весне.
Много залетные гости
Пищи стране принесли,
Мы в благодарность их кости
В мерзлой земле сберегли...

*Омулевский (И. Федоров),
«Залетные птицы»*

Екатерина Николаевна взглянула на все прощ. Она знала, что муж честен, старателен, в верности его престолу и отечеству сомневаться нелепо. Какие-то разговоры? Смешно и наивно думать об этом. Что значат какие бы то ни было разговоры по сравнению с его деятельностью? Его можно обвинить только в жестокости с подчиненными, в порывах дикого гнева. Ей самой очень неприятны его выходы. Но она знала, что за жестокость в России не судят и даже враги не винят. Тут преступление — либерализм, а излишняя строгость с подчиненными, кажется, понимается как признак верности.

Она не допускала мысли, что заговор, открытый в Петербурге, мог бы оказаться выдумкой, что причиной арестов послужили лишь какие-то разговоры, и уверена была, что даже русское правительство не может действовать в таких случаях, не имея достаточных оснований. Нельзя же судить и приговаривать людей за одни домашние разговоры. Мало ли что скажешь в досаде или из бахвальства, из желания казаться оригинальным!.. Она желала верить, что ее новое отечество имеет порядки и что законы его справедливы, что не в царстве произвола живет она и все эти прекрасные, милые, образованные люди, окружающие ее и мужа.

Муравьев соглашался с ней, но с первых же шагов по приезде допустил дикие выходы, то, что называют здесь

«задал угощения», или «служебные похлебки», или что-то в этом духе.

Екатерина Николаевна была молода и счастлива, она не входила в такие подробности его служебных дел, но просила только об одном: не быть грубым, не оскорблять людей напрасно.

Несмотря на озабоченность всеми событиями, она жила своим миром, и не было, по ее мнению, никакой серьезной причины падать духом.

Начинался зимний сезон. За время путешествия скопились журналы. Заканчивалась постройка здания театра, которое было заложено по приказанию мужа. На рождество готовились балы. Впереди — Новый год, святки...

Интерес к путешествию Екатерины Николаевны был огромный. Уже на другой день по приезде пришлось рассказывать...

Шали в то время входили в моду. На плечах у губернаторши — яркая, вся в цветах. Со своим строгим профилем и темными волосами Екатерина Николаевна похожа сейчас на женщину с Востока.

Варвара Григорьевна Зарина просто удивлена: более полугода Муравьева не была в Иркутске, и в первое же утро одета совершенно в восточном вкусе. А все восточное, как твердят журналы Парижа и Петербурга, входит в моду. Дамы одеваются ярче, пестрей. Путешествуя бог знает где, ведь не следила же губернаторша за «Гирляндой». Как она в Охотске и на Камчатке могла предвидеть то, что занимает умы в столице? Она угадывает дух времени!

Зариной не приходило в голову, что после путешествия у берегов Сахалина и Японии Екатерина Николаевна, даже если бы и не видела модных журналов, просто хотела выйти к людям в ярком, по-восточному. Это было ее естественное желание — выразить своим костюмом те «ориентальные мотивы», что владели ее мужем в политике, да и всем современным цивилизованным обществом. Ведь нынче из всех стран стремятся на Ближний и Дальний Восток, в Турцию, в Индию, в Китай, к новым открытиям, а Екатерина Николаевна всегда жила умственными интересами общества и именно поэтому безошибочно угадывала моду, даже не видя журналов. Это та же романтика во внешности, как однажды заметила Христиани, что Байрон давно выразил в поэзии,

Варвара Григорьевна замечала, что в любом costume губернаторша — совершенство. В бальном — царица, римлянка, увитая цветами, с гордым профилем и высоким лбом.

— А сегодня она, право, красавица из знойных пустынь Аравии, этакая подружка бедуина, — тихо сказала она своим племянницам, когда губернаторша на мигу вышла из комнаты. — Ах, что значит слово моды!

Разговор с этого и начался — с цветов, перчаток; рассматривали картинки в «Модах Парижа» и в «Гирлянде».

Губернаторша помянула о превосходных предметах, что доставляли камчатским и охотским дамам из-за океана. Но не из Франции, а, как ни удивительно, из страны грубых людей, практиков, где нет даже дворянства, — из Америки!

Все стали просить рассказать о путешествии.

Варвара Григорьевна — хорошенькая молоденькая жепщина. У нее карие глаза, широкое, свежее, пухленькое личико, мелкие родинки на белых щеках, пухлые руки мило выглядывают из-под красных шерстяных кистей кашемировой шали. На груди — модные красные кораллы, их теперь носят. Она тоже одета, как восточная женщина, но если в губернаторше с ее тонким лицом что-то арабское, то широколицая Варвара Григорьевна скорее похожа на татарскую ханшу. Она так молода, что если бы не тяжелая высокая прическа, в которую собраны ее густые черные волосы, и не чуть заметная полнота, ее можно было бы принять за подружку двух ее хорошеньких молоденьких белокурых племянниц, которые, тоже в шальях, но с косами и с девичьей бирюзой в ушах и на шее, сидели тут же и с замиранием сердца слушали Екатерину Николаевну.

Картина морей, гор, скал и лесов на далеких берегах, о которых шла речь, рисовалась их воображению как фон для таких вот царственных и роскошных женщин, одетых по-восточному, как преобразившаяся сегодня Екатерина Николаевна.

Саша и Катя, или Роз и Бланш, как называли девиц, недавно окончивших Смольный институт, «обожали» Екатерину Николаевну за то, что она поделила с мужем его беспримерное путешествие, и просто за то, что она добра, остроумна, быстра в движениях и суждениях, мила, с безукоризненным вкусом, что она настоящая парижанка, что

у нее царственный профиль, и за этот уголок Парижа, с массой благоухающих цветов, в который она превратила губернаторский дворец.

— ... Муж приказал спасти их судно, — рассказывала Екатерина Николаевна про один из случаев в море. — Наступили ужасные минуты. Люди гибли у нас на глазах. Мы не знали, кто они, может быть, пираты, каких немало в наших водах. И вдруг этот несчастный корабль выбрасывает французский флаг! Наши шлюпки уже спешили к ним на помощь...

Все это были необычайные слова, и сердца юных слушательниц сжимались все сильнее. Им понятно было, как волновалась Екатерина Николаевна. Ведь оказалось, что тонут ее соотечественники! А ее муж великодушно спасал их! Русские шли им на помощь через огромные волны, рискуя своей жизнью!

Если красота темноволосых дам подчеркивалась пестрыми нарядами, то прелесть девиц совершенно исчезала в этих модных нарядах. Рядом с яркими восточными шальями стиралась белизна, свежий и нежный румянец обеих белокурых сестер.

В разгар рассказов приехала мадемуазель Христиани. Она присела к столику и по-мужски заложила ногу на ногу, так что правая из-под края ее зеленого платья была видна до выгнутого, как у танцовщицы, подъема. Она закурила папиросу, держа локоть на колене и пуская дым выше горшка с цветущими розами, стоявшего в китайской вазе посреди лакированного столика. Ей не было неловко в такой позе. Элиз чувствовала себя великолепно; тело ее совершенно не напряжено; глядя на нее, чувствовалось, что ей удобно, что она сильная и гибкая гимнастка.

В кабинете губернаторши печи накалены и очень тепло. Но еще вчера застекленные двери на балкон обмерзли. Очень холодно на улице. Элиз не сняла своей накидки из горносталя.

Она бросила папироску в пепельницу, откинула широкие раструбы шелковых рукавов; ее розоватые голые локти оказались на столе, а румяное молодое лицо — на сплетенных и выгнутых кистях рук. Она задержала взгляд на девицах...

Перед Элиз по возвращении в Иркутск предстала вся неопределенность и неприглядность ее положения. Ее светлые надежды рухнули. Мишель уехал. И, кажется, был

очень рад и горд полученным поручением. Оставаться в Сибири далее бессмысленно. Снова предстояло одиночество, напрасные надежды и почетное бродяжничество с любимой виолончелью.

Элиз не унывала и не давала повода к домыслам. Она ни единым словом не жаловалась на судьбу, а напротив, была весела; жизнь научила ее казаться веселой. Она знала, что несчастных людей никто не любит.

В глазах девиц и Екатерина Николаевна, и Элиз вернулись героинями. Они многое видели, обо всем судили смело и трезво, везде побывали.

Это было время, когда в Европе во всех областях жизни женщины заявляли о своих правах, и в России упрямо утверждали, что это влияние дойдет и к нам и уже находит свой отклик. Гремела не только слава Виардо, Жорж Санд или знаменитых скрипачек. Появились женщины-ученые, исполнительницы мужских ролей в театре, журналистки и вот теперь даже революционерки на баррикадах Парижа. И все это были француженки. Об Элиз петербургские журналы два года тому назад писали, что она «оседлала» такой мужской инструмент, как виолончель, не теряя при этом женственной прелести...

Сестры всегда мечтали повидать Францию.

— Как бы я желала поехать в Париж! — не раз говорила Катя.

— В Париж! — как эхо отзывалась Саша.

Но известно было, что поездки за границу запрещены и бог весть, когда это отменят...

Муравьева рассказала о встрече с «Байкалом» и о том, что все офицеры этого судна направляются в Петербург и скоро прибудут в Иркутск.

— Прекрасные молодые люди! Все они прежде служили на корабле его высочества великого князя Константина и несколько лет плавали с ним под командованием знаменитого ученого и всемирно известного мореплавателя контр-адмирала Литке. Теперь они совершили что-то беспрецедентное, с необычайной быстротой обошли вокруг света. В этом надо отдать честь их капитану. Он с необыкновенной энергией подготовился в Англии к переходу и пересек Атлантический океан за тридцать пять дней.

— Они были в Штатах? — стараясь попасть в тон серьезного и озабоченного разговора дам, спросила Бланш — младшая из сестер,

— Нет, только в Бразилии,— так же серьезно ответила Екатерина Николаевна.— Они посетили знаменитый порт: Рио-де-Жанейро и еще Вальпарайсо,— прищурившись, добавила она.

— О! Их капитан! Невысокий, немного рябой, но настоящий морской волк! — сказала Элиз. Сверкнув глазами и нахмурившись, она изобразила на лице строгость, словно показывая, каков капитан, и тут же улыбнулась.

— Он очень мужественный человек! — подтвердила Екатерина Николаевна.— Муж ждал встречи с ним в море. Мы ходили к берегу Сахалина, видели скалы этого острова и бесконечные пески, селения диких, их пироги...

— Как это интересно! — чуть слышно пролепетала Роз, клонясь всем телом к сестре, а та стремилась к ней, и обе словно желали слиться, захваченные чувством общего интереса.

— Я ужасно мерзла, и в моей каюте поставили маленькую железную печь. Мы шли неведомыми морями, о которых нет карт. На случай крушения мы переоделись в мужское платье. Мы нигде не встретили его корабль, и в Аяне, когда мы прибыли туда, сказали, что Невельской погиб.

— Какой ужас! — прошептала Катя.

— Муж был очень расстроен. Вы понимаете, какое настроение было у нас! И вот когда мы готовы были поверить, что все погибло, и знали, что многие аристократические семьи в Петербурге наденут траур, вдруг «Байкал» входит в гавань. Капитан провел свой корабль через смертельную опасность! Его молодые офицеры были прекрасны, такие же герои, как он!

Тут начались восторги слушательниц. У Саши показалась слеза на темной реснице, а младшая сестра, улыбаясь, еще крепче сжимала ее руку.

— Их подвиги необыкновенны,— подтвердила Элиз.

— Они вошли в страну воинствующих и свирепых дикарей — гиляков, которые ведут постоянную войну с китобоями. Дикие напали на «Байкал» у одной из деревень. Капитан дал им отпор. Произошла ужасная битва, и пролилась кровь. Были схвачены пленные, и капитан приготовил их к повешению, объявив, что исполнит угрозу, если не будут даны знаки покорства. Дикие гиляки подчинились. Он сделал то, чего не могла сделать ни одна из европейских держав, которые посылали туда свои суда с этой же

целью. Каково же было изумление гиляков, когда они узнали, что их покорители не англичане, которым они много лет сопротивлялись, и не американцы, а русские, которых они всегда любили и уважали. Этот свирепый и дикий народ проникнут уважением к русским и всегда знал о них. Они поклялись в вечной дружбе и решили стать проводниками капитана. Муж говорит, что в будущем гиляки будут крещены и станут счастливы.

В Иркутске все привыкли, что сибирские инородцы бесправны, слабы, что их спаивают и обманывают купцы. А капитан из Петербурга нашел тут племена, подобные американским индейцам, и даже совершил приключения в духе новейших морских романов. Девушки были поражены.

— В битве с гиляками отличился и будет награжден лейтенант Гейсмар, который прекрасно рассказывает об этом. Он сын известного барона. За подавление бунтов его отец получил когда-то подарок от государя — шпагу, усыпанную бриллиантами. Отличился также князь Ухтомский, еще совсем мальчик, но такой прелестный!

— А Грот! — сказала Элиз.

— О да, белокурый гигант!

— А их капитан маленького роста? — наивно спросила старшая сестра, Роз.

Все улыбнулись, глядя на эту милую девушку.

— Он невысок, — ласково ответила губернаторша, — но этот человек — огонь! Маленькие люди, — добавила она, улыбнувшись, — часто обладают необыкновенной волей и силой.

— Да, — чуть слышно пролепетала младшая, Катя. — Наполеон! — Ее глаза вспыхнули, и она почувствовала, как это верно и неглубоко сказано.

Возвратившись в тот день домой, Варвара Григорьевна и ее племянницы на некоторое время задержались в гостиной. В комнате необычайный, всюду проникающий дневной свет. Люди меняли шторы, таскали какие-то длинные палки; царила суэта, как перед пасхой или рождеством. Тетя сама затеяла все это, но сейчас, казалось, голова ее была занята чем-то другим, более важным, и она, не замечая ничего, уселась в кресло, напротив зеркала. Варваре Григорьевне хотелось посмотреть на себя в этом большом

прекрасном зеркале, вот так в кресле, именно в том виде, как она была у Муравьевых.

— Едут морские офицеры из свиты его высочества великого князя Константина,— проговорила она.

Гостиная, такая невзрачная сейчас, обычно очень мила. Впервые в своей жизни юные смольнянки почувствовали себя здесь взрослыми среди взрослых. Тут они привыкали судить о Дюма, Сю, Жорж Санд и Шопене, сравнивать достоинства русской, итальянской и французской музыки, слушать рассуждения о социалистах или о таинственной гибели Франклина, о миссионерах в Африке и обо всем, что занимало общество. В Смольном не могло быть никаких увлечений, а тут у них явились кавалеры, поклонники. Чуть не весь Иркутск ездил сюда.

Сестры быстро привыкли к этой обстановке после девяти лет, проведенных в дортуарах и классах под присмотром злющих старых дев. Там у них не было таких услужливых накрахмаленных горничных. В дядином доме, казалось, были отдых и наслаждение после Смольного. Владимир Николаевич любил племянниц, он обещал покойной их матери воспитать девиц. Зарин не торопил их замуж; они беззаботно жили, читали, плясали, играли и пели. За обеими было по имению в приданое. Девиды проводили время среди прекрасных людей, которые много трудятся и так возвышенно судят обо всем... Но не все теперь радовало их...

Разговор зашел о путешествии Элиз и Екатерины Николаевны.

— Что ты хочешь,— говорила тетя, поворачивая голову и поглядывая на себя в зеркало.— Это француженки! Они везде и всюду. Поедут, мой друг, куда угодно и будут всюду полезны.

Старшая сестра гордо подняла голову при этих словах, но смолчала.

Младшая, сидевшая в кресле, напротив, опечалилась и опустила свою белокурую голову. Мнение тети, что у французов слова не расходятся с делом, казалось, поразило ее.

Их воспитали в Смольном в духе преклонения перед государем и могуществом империи и любви ко всему русскому. А теперь она часто слышала, что и то русское плохо, и другое плохо, что русские многого не умеют.

Тетя набросила тень на прекрасный образ Екатерины Николаевны, сказавши, что она француженка, и противопоставила ее русским женщинам... Катя не могла разобратъся во всех оттенках чувств, которые ее тревожили... Конечно, француженки прелестны! В Иркутске обе парижанки задавали тон; изящные, подвижные, обе с тонкими лицами, они нравились сестрам. Правда, над французской легкостью посмеивались, и вообще русские тонко подмечали недостатки французов.

— Да, мы должны признаться, что в практической деятельности они превосходят нас, — продолжала тетя. — Французы — во всем мире! Даже здесь, в Иркутске...

Сестры вспомнили своего французского учителя в Смольном. Действительно, нельзя отрицать — блестящий ум, острый, живой, это огонь, красавец, брюнет! Красно-речивый, всегда с улыбкой — прелесть!

Да, Париж! Как они мечтали о нем, и чем недостижимее был Париж, тем прекрасней. А Риши в Иркутске? А его родственник Пехтерь? Риши — дворянин, но предприимчив, недавно открыл мельницу. Екатерина Николаевна говорит, что это очень похвально. А разве не прелесть сама Муравьева? Ее преданность России беспримерна!

Но все же нельзя согласиться! Нет, тетя не права... Катя знала кое-что, о чем, быть может, не принято говорить, но что, как это ни странно, иногда волновало ее сильнее всего...

Она рассыпала лепестки цветка, который держала в руке, поднялась, сделала реверанс и бесшумно проскользнула в своих модных туфельках без каблучков с тупо обрубленными носочками мимо груды мебели. Опустив плечо, она мягко налегла на большую медную ручку и, отворивши дверь, исчезла. Сестра, тоже сделав приседание, проскользнула за ту же узкую белую дверь, украшенную мелкой резьбой с позолотой.

В комнате у сестер тихо, тепло и уютно; всюду цветы и книги и не происходит никаких уборок и приготовлений.

Катя ниже сестры, она маленького роста. Ее глаза большие, как миндалины, у нее резкие очертания чуть вздернутого носа, овальный подбородок и маленькие губы.

Саша — выше, стройней, у нее тоже прямой нос, но чуть острее подбородок. Она такая же белокурая и голубоглазая, как Бланш, но с твердым выражением лица и с чуть широкими скулами.

Сестры любили друг друга так горячо, как любят сироты, и если плакала одна, то этого не могла вытерпеть и сразу же ревела другая. В институте обе прекрасно учились, но старшая была уверенней, тверже в знаниях и во всем виден был ее сильный характер, все признавали это.

— Едут офицеры «Байкала». Я представляю их, — с воодушевлением заговорила Катя.

— Тебе хочется их видеть? — быстро спросила Саша.

— Очень! — пылко воскликнула Катя.

— Мы с тобой должны быть загадкой! — улыбаясь своим маленьким ртом, мечтательно вымолвила Саша.

— Да, они скоро будут здесь. Ты представляешь, они обошли вокруг света, видели два океана! Все, о чем мы только читаем.

Если Катя восхищалась характером своей старшей сестры, то та любила в ней способность шалить и вдохновляться, пылкость воображения. Ведь Катя такая фантазерка! Мысли ее не знают преград.

— Представь только — в гостях у нас великие путешественники и открыватели! Они совершили неповторимые подвиги, были в Америке, обошли вокруг света!.. Когда мы ехали с тобой в Иркутск, мы думали, что тут медвежий угол... А какие люди бывают удивительные в доме у дяди! — Она вскочила с мягкого стула и, выпятив грудь, сделала вид, что закручивает усы.

— Представь, они входят... А скажи, моя милая сестричка, разве женщина не могла бы совершить подобные подвиги?! Разве ты не могла бы? Да, да... разве ты не могла бы стать героиней, путешественницей? С твоей волей, с умом!

Саша чуть заметно улыбнулась, глаза ее смотрели вдаль, казалось, в то далекое и туманное, что грезится в эту пору.

— Это было бы прекрасно! — воскликнула Катя.

В Смольном мечтали скорей выйти в свет, блистать на балах, ослеплять роскошными туалетами, вести жизнь, какая описывается в новых романах, и, конечно, «прозвать» сердца. Теперь все это было. Они одевались по последнему слову моды. Платья, ленты, цветы, шляпки и туфли заказывались в лучших магазинах Парижа и Петербурга. Но теперь явились новые интересы. Не было ничего особенного для сестер в этой веселой и богатой жизни, но

тут они узнали о существовании другого мира, о котором даже не подозревали прежде.

Сестры обнялись и умолкли.

— Ты знаешь, я часто думаю...

— Опять?

— Да...

Они умолкли.

— А представь себе,— вдруг весело воскликнула Катя,— что ты влюбишься в морского волка! Но не в молодого красавца! Нет! А в старого рябого капитана?

— Ах, молчи,— отозвалась сестра.

— Если бы ты знала, как ты прекрасна! Надо быть изваянием, чтобы в тебя не влюбиться. Они все будут у твоих ног! Да! И пусть помучаются все «наши» Струве, Пехтерь, Мазарович!

Катя вдруг расхохоталась и повалилась на диван.

— Ты будешь женой старого рябого капитана, влюбишься и уедешь с ним. Но он может быть великим!

Саша улыбалась. Она любила выходки сестры. Действительно, в них все влюбляются, в этом нет ничего удивительного.

— Согласись, что в свете есть все-таки высшее благородство,— заговорила Катя, расхаживая по комнате.— Как учит Жорж Санд, ты будешь разделять с мужем все опасности. Неужели тебе не хочется жить так?

Она остановилась, задумавшись. Воображение рисовало ей далекое-далекое море, солнечную Бразилию, корабли...

— Как это удивительно, неужели мы увидим людей, которые были в Бразилии? Ах, мы рассуждаем с тобой, как простушки! Да, но в самом деле, я хотела бы путешествовать по свету.

Она снова принялась дразнить сестру.

— Не гордись! Я знаю, тебе быть за рябым капитаном! Твой пылкий Мазарович застрелится. Какой содом поднимется в Иркутске!.. Сестричка,— снова присаживаясь на диван и ласкаясь, обняла она Сашу,— прости меня, не сердись! Но ведь в самом деле, ты со своим умом, характером, красотой все можешь. Как я завидую тебе!.. Я была бы счастлива, если бы стала путешественницей, героиней. Я сама бы поехала куда угодно... Саша, я обожаю Екатерину Николаевну, какая она прелесть!

Ах, какая прелесть! И так хочется когда-нибудь уехать во Францию...

— А скажи, — вдруг через некоторое время спросила она, — как ты думаешь, могли бы мы поступить так, как Мария Николаевна? Ты знаешь, я не могу забыть того, что она нам рассказывала. Ах, боже мой, какой ужас! Эта подземная тюрьма, эти кандалы, ее браслет, это тайное письмо поэта к ее мужу...

Утром пришла тетья и сказала, что приезжал Струве, сказал, что вчерашняя почта пришла с опозданием, ночью, и есть посылки. Потом приехал адъютант губернатора, поручик Безносиков, и сообщил что есть новости. Не успел он уехать, как Мазарович с человеком доставил посылки. Потом приехал молодой красавец брюнет Пехтерь и долго оставался с сестрами, пытаясь поговорить с глазу на глаз с Катей. Варвара Григорьевна прервала их свидание.

Сестры кинулись в соседнюю комнату. Там на столах — духи фирмы «Герлен», шляпки от мадемуазель Лежен, масса искусственных цветов, плющ и розы.

— Как живые! — приговаривала горничная, вынимая из ящичка гирлянду за гирляндой.

Стали примерять платья. Скорей послали за портнихой.

Сестры в этот день явились в кабинет к Владимиру Николаевичу.

— Дядя, вы пригласите к нам старого капитана и офицеров «Байкала», не правда ли? — заговорила Катя. — И они расскажут нам о своих удивительных приключениях.

— Да... видите ли... надо вам сказать... да, действительно, приключения необычайны. Но, мои друзья, — усадив обеих племянниц напротив себя, говорил дядя, — все их действия — величайший секрет.

— Ах, дядя, дядя, опять секреты, — с капризом отозвалась старшая.

— В самом деле, что значит секрет? — бойко спросила младшая.

— Дядя...

— Дядя, мы хотим знать! Ах, как вы интригуете нас!

Дядя заговорил серьезно, что дело очень важное, но воображение у сестер было возбуждено, и Владимиру Николаевичу пришлось отвечать. Он рассказал о значе-

нии Амура, а про столкновение с гиляками у Тамлево сказал, что это пустяк, только Муравьевой показалось, что оно имеет значение.

Вечером работали портнихи, приготовления продолжались. Это было естественно: приехала губернаторша, начинался зимний сезон, ждали офицеров...

И вот они с дядей и тетей, в бальных платьях, с обнаженными плечами и с веерами на цепочках, с маленькими букетами искусственных цветов в руках входят в зал дворянского собрания, где сегодня необычайнолюдно. В сборе почти все чиновники, иркутские генералы, офицеры, немногочисленное здешнее дворянство, знаменитые сибирские миллионеры, горные инженеры, врачи. Купцы во фраках, с женами и дочками в модных парижских туалетах, выписанных на сибирское золото.

«Пронзенные сердца»: Струве и Пехтерь, Мазарович, Безносиков и Колесников окружили сестер. Морские офицеры здесь, но Саша и Катя не сразу обращают на них внимание.

«Нет, это не сон», — думает Катя.

Знакомства быстро состоялись. Защелкали каблуки, замелькали черные и белокурые, лихо вздернутые вверх или коротко остриженные усы.

Катя обводит этих молодых красавцев небрежным взглядом чуть прищуренных глаз. Гейсмар немного похож на Струве, но у того голос тонок, а у этого приятный мужественный басок.

У кресел, куда Струве и Мазарович привели сестер, образовался кружок. Разговоры быстро завязались. Ужасно смешно и интересно, как ловилось любое слово, исполнялось всякое желание Кати и Саши.

Гейсмару казалось, что он походит на Печорина. У этого отважного и неутомимого моряка были свои слабости. Ему, как и многим, не давали покоя Байрон, Марлинский и Лермонтов. Он задумчив, у него усы, как у Печорина. Он умеет так сесть и так заговорить, что сразу приходит на ум «Герой нашего времени».

Несмотря на свое умение изобразить разочарованность и принять «байронический» вид, по части занимательных рассказов мичман успел опередить товарищей. Он очень забавно рассказал, как король Гавайских остро-

вов подарил ему маленькую обезьяну и как трудно было ее провезти по Лене, приходилось кутать в меха. Король уверял его, что эта обезьяна принадлежала прежде адмиралу малайских пиратов, а потом, во время кораблекрушения, ее подобрал испанский бриг. Кроме того, он вез в Петербург и хотел подарить тете двух собачек с гривами, как у львов.

Юнкер князь Ухтомский молча обращал взор то к Кате, то к Саше — в зависимости от того, с кем говорили другие.

Саша выслушивала все с кроткой улыбкой, а Катя — слегка прищурившись; по рдевшему лицу чувствовалось ее возбужденне.

Но в этот миг успеха, которого она так ждала, на лице ее мелькнуло печальное выражение. Ее глаза уже не щурились, а жалко сжались...

Это выражение не раз замечали те, кто хорошо знал Катю. Прежде, в институте, оно являлось, когда Катя вспоминала об умершей матери. С каждым годом память о ней стиралась, но любовь не ослабевала.

Кате представлялась могила матери с березами вокруг и мать в гробу. Она помнила, что у нее нет матери; эти мысли заставляли сжиматься ее душу. Она не плакала, а лишь молчала. Но юность есть юность, проходил миг, и опять девушка оживала...

Теперь, после того как Катя проехала через Сибирь, она точно так же задумывалась, вспоминая картины страшного горя, которого насмотрелась по дороге.

Ей вдруг пришло в голову то, чего она забыть не могла. Ей стало стыдно, как бывает только в ранней юности. Представилась обмерзшая бревенчатая степа, душная вонь и женщины-арестантки, лежавшие вповалку в ватных куртках, и мать, кормившая грудью тяжелобольного ребенка. В такие минуты Катя ясно чувствовала, что позорно радоваться и веселиться, что стыдно быть счастливой, разодетой, в бирюзе и цветах, когда люди гниют заживо. Как все это было ужасно — увидеть после Смольного настоящую жизнь!

То были первые раны, нанесенные ей жизнью, о которой она ничего не знала, живя в своем институте, где воспитанницы были убеждены, что вокруг, за решеткой их сада, всюду счастье, веселье и сплошной праздник.

В Смольном учили, что Россия величественна, что на-

род всюду счастлив. Но все это оказывалось не так — ложью или ошибкой, Катя не знала.

Кони мчались быстро, а навстречу экипажу, уносившему сестер на восток, неслась огромная страна, торжественная красота которой была страшным контрастом с нищетой гонимых толп. Катя видела, как люди брели, скованные цепью, по пояс в снегу... «Может быть, все то, что в большом городе скрыто, здесь, на тракте, видно?» — думала Катя. Она знала, что через Сибирь только одна дорога.

Ум ее, подготовленный в институте тайным чтением новых русских книг и французских романов, жадно впитывал все увиденное, и она обо всем старалась судить согласно современным понятиям.

Теперь Кате часто приходило в голову, что вот ей так хорошо, а как «те»? Ведь они все еще идут. Ведь они идут через Сибирь по два года. Жив ли остался ребенок? И она начинала молиться и просить бога, чтобы ребенок жил и чтобы бог простил ее и сестру за их веселье.

В Иркутске она узнала то, что знают лишь в Сибири, где существует целый мир каторжной жизни, что тут есть своя, воспетая народом и «обществом» романтика кандалной жизни, что каторжники бывают самые различные: сюда попадают и преступники, и негодяи, и невинные люди, и образованная и благородная молодежь, и участники политических волнений — цвет дворянства России, и что за многими из них последовали их благородные жены.

По приезде сестры познакомились у Муравьевых с женой бывшего князя Екатериной Ивановной Трубецкой и ее дочерьми. Они еще ничего не знали о восстании четырнадцатого декабря и не сразу поняли, почему здесь Трубецкая и другая дама, так понравившаяся им, — бывшая княгиня Волконская, которая, как им сказали, тоже жена ссыльного. Потом, бывая с тетей и дядей в других домах, они нигде не встречали ни милых дочек Трубецкой, ни прелестной Нелли Волконской. Дядя и тетя объяснили, кто такие Трубецкой и Волконский и что жены их бывают не всюду, что мужья их вообще не бывают нигде, кроме как друг у друга. Всех их местные жители называли «залетными птахами».

Потом они бывали с тетей и с Муравьевой у Волконских и Трубецких, встречали ссыльных: Поджио, Муха-

нова, Борисовых, видели самого князя Сергея Григорьевича. Не раз Катя украдкой смотрела на его руки, желая видеть, есть ли на них следы от кандалов. Она и сестра кое-что слышали о жизни декабристов на каторге, в Чите, в Петровском заводе.

Катя, задававшая тон общей умственной жизни с сестрой, на этот раз сама еще, кажется, не понимала, какое сильное впечатление произвели на нее встречи с этими людьми. Картины горя, виденные на тракте, и рассказы об изгнанниках, а более всего о их женах, не покинувших в беде своих мужей и разделивших их судьбу, — все это вместе с книгами заново формировало ее душу. Ее не сразу привлек подвиг самих декабристов, цель бунта которых сначала была непонятна для Кати, но ее трогали их страдания и восхищала стойкость и благородный образ жизни здесь, в Сибири. Близок и понятен был подвиг их жен, и он особенно поразил Катю, когда она поняла всю тяжесть преступления их мужей, — ведь Волконский шел против царя.

Самых сосланных за четырнадцатое декабря здесь не презирали; иногда приходилось слышать, что декабристы сами раскаиваются, признают, что их бунт — ошибка. Катя видела, что их все глубоко уважают, и, как оказалось, не только здесь, но и «там», откуда она приехала с сестрой. Даже Пушкин — певец Полтавы и Петра, поэт придворный, как их учили, воспевавший государя и победы России, как это представлялось раньше Кате, — совсем был не тем, кем принято его считать. Она прочла в списках его запретные стихи... Они тут были чуть ли не у каждого иркутянина, и читали их не стесняясь...

Ум Кати не был приучен размышлять о политике, и она все понимала по-своему. Она полагала, что декабристов все уважают, как и они с сестрой, за смелость и честность, что они открыто выказали государю свое недовольство и даже отважились на восстание, хотя это и было чудовищно — идти против царя. Они не скрыли подло своих убеждений! Тут, в Иркутске, уже рассказали, сама же тетя говорила, что декабристы, возвратясь после войны из Европы, хотели, чтобы в России было не хуже, чем там, но Россия еще не готова, и случилось, что оскорбили священную особу императора, и теперь очень строго приказано за ними следить, и не только за ними, но и за администрацией в Сибири, чтобы не

было излишних смягчений, но Николай Николаевич пренебрегает этим, а отвечать придется Владимиру Николаевичу.

Когда-то в Петербурге сестры знали, что существуют тюрьмы, что полиция ловит преступников. Они полагали, что это вполне справедливо. Здесь все оказывалось по-другому. Страдали благородные, невинные люди, желавшие счастья другим...

Катя часто с ужасом вспоминала ребенка, умиравшего на руках у каторжанки.

«Дядя,— бывало, спросит она,— как им помочь?» Она начинала смутно понимать, что все огромное количество каторжников, все тюрьмы и каторжные рудники находятся в ведении ее любимого дяди и такого же милого и образованного, остроумного Николая Николаевича.

Дядя начнет объяснять, что это неизбежно... Дядя строг. Известно, что на днях он вызвал к себе художника Карла Мозера, запретил ему писать ссыльных и пригрозил высылкой. Но с племянницами он иной...

— Дядя, но ведь дети...— скажет Катя.

Зарин возражает, а сам не смотрит в глаза. Кате жалко дядю, она видит, что у него, всегда такого твердого и властного, бегают глаза и он не находит, что ответить...

Со временем она узнала много подробностей о каторжной жизни; об этом не говорили нарочно, но поминали беспрестанно — ведь каторжные были всюду. Няньки, прислуга, многие жители города — ссыльные или потомки их. Тут все имели отношение к каторге — одни, как дядя, наблюдали, другие, как Волконский, сами носили кандалы. Катя часто думала, что согласилась бы отдать свою жизнь, если бы знала, что это нужно, только бы люди не страдали так страшно. Она поняла, почему можно пожертвовать собой для другого.

Может быть, не пробудь Катя столько лет в Смольном, она проще воспринимала бы все.

Редко рассказывали жены изгнанников о былом, но каждое слово их запоминалось. Мария Николаевна однажды разговорилась... Был ли это миг, когда она не могла сдержать досады на что-то или просто хотела приоткрыть молодым девушкам завесу над своей жизнью, почувствовав к ним симпатию, объяснить, как приходится в жизни...

Она рассказала, как ехала двадцать лет назад еще совсем молодая, на Благодатский завод, как чиновники старались задержать ее, придирались. Люди были черствы, ни в ком не находила она сочувствия, ее страшились, от нее отворачивались офицеры, дворяне... И только в Благодатске, в народе, нашла она друзей. Она сказала, что не выжила бы, не встретить тогда простых женщин, которые приютили ее, помогли, научили жить...

Катя улыбнулась, но не своим тайным мыслям. Все расхохотались, слушая веселый рассказ Гейсмара о погонщиках ослов в Бразилии.

Вокруг были лица молодых героев, людей подвига, Катя невольно тянулась душой к ним, чувствуя в этой молодежи высшие духовные интересы. Они — путешественники, их цель увлекательна и прекрасна. Они представлялись ей не просто офицерами, марширующими на параде или звонко выкрикивающими слова команды при разводе караулов. Это были молодые ученые, совершившие великое открытие и славный вояж.

Вдруг все пришло в движение. Все зашумели и зашумелись, взоры обратились к входной двери, словно начиналось то, чего все ждали.

Чей-то густой и низкий голос провозгласил:

— Его превосходительство генерал-губернатор генерал-майор Муравьев!

И после коротенькой паузы:

— Его высокоблагородие капитан-лейтенант Невельской!

Загремели стулья. Сразу все поднялись. Дядя и воинный губернатор Запольский пошли встречать. Катя увидела, как дружно встали молодые офицеры «Байкала», словно гордясь, что сюда войдет их капитан. Ей казалось, что всех их объединяет уважение к этому великодушному герою, что все они благоговеют перед ним.

«Да,— подумала она с восторгом,— как они должны любить его!» Катя была в душе так благодарна славному капитану за подвиги, совершенные этими молодыми людьми, что желала бы кинуться к нему и поцеловать его. Не видя его ни разу, она уже глубоко уважала и любила господина Невельского, как любят учителя или отца.

Послышался хриловатый голос Николая Николаевича, и оркестр грянул торжественный марш. Катя увиде-

ла, как в залу вместе с Муравьевым и Зариным вошел морской офицер невысокого роста, стройный. У него выгоревшие добела брови, приподнятая голова и рассеянный взгляд.

«Боже мой, он молод!» — подумала Катя с разочарованием и в тот же миг почувствовала, что сердце ее дрогнуло. Ей стало стыдно, что она хотела поцеловать его и, кажется, даже сказала об этом офицерам. В нем не было ничего ни отцовского, ни профессорского. Он молод, прост, немного смущен чем-то, и какое-то огорчение явно скользило в его глазах.

Губернатора и Невельского обступили со всех сторон. Им жали руки, поздравляли, к ним старались пробиться.

Капитан не сразу понял, что это значит. Он догадывался, что здесь, видно, люди что-то слышали... Но то, что для всех было поводом для восторга, для него чревато большими неприятностями, и на первых порах, когда он это заметил, его покорило. Его заставляли радоваться против воли, а он бы охотно убрался отсюда.

Но этот восторженный прием, эти молодые дамы, приветливо улыбающиеся ему, грянувшая музыка, нарастающая волна интереса и восторга вдруг невольно взволновали его, и он почувствовал свое дело, взглянув на него и на себя со стороны, глазами этих людей. Тут была Сибирь, а ведь Сибирь ждала этого веками!

Губернатор сам представлял ему дам, чиновников, горожан.

— А вот, Геннадий Иванович, — шутливо начал он, подходя к сестрам, — эмансипированные поклонницы Жорж Санд! Наши юные богини, прошу любить и жаловать!

Саша и Катя присели.

Невельской почтительно поклонился. Когда он снова поднял взор, в глазах его не осталось ни тени грусти. Радость и сияние девиц, их юные восторженные взоры были вершиной той волны всеобщего восторга, которая потопила его заботы и огорчения.

Катя заметила в нем перемену: с лица его исчезло выражение усталости, и оно странно переменилось. Он был юн и походил сейчас на мальчика.

«Какой странный и необыкновенный человек, — подумала она, отводя взор и не решаясь смотреть в его не-

обычайно живые глаза.— Странно, кто сказал, что он стар и мал ростом?»

В этот вечер генерал-губернатор и капитан недолго были в собрании. Они вскоре уехали. В обществе было много разговоров о них. Вечер кончился рано; был рождественский пост, и поэтому не танцевали.

Когда ехали домой, Зарин сказал племянницам, что завтра Муравьев и Невельской обедают у них.

Глава двадцать восьмая

РАССКАЗЫ КАПИТАНА

Утром, проснувшись, капитан почувствовал себя так, словно его ждало что-то очень приятное, как бывало в детстве, в день рождения. Он кликнул Евлампия, умылся и оделся; голова его была ясна, вчерашней душевной тягости как не бывало. Он вспомнил вечер в дворянском собрании и что сегодня приглашен к Зариным на обед.

Капитан сел за стол, чувствуя, что дела много, пора за него приниматься. Что времени тоже много — он не обольщался.

Досуг ли капитану в плаванье изучать все как следует? Книги в кругосветном накуплены, но просмотрены кое-как, наспех. Он вынул из чемодана пачку американских журналов со статьями о гидрографических работах у морского побережья Соединенных Штатов. Вчера Струве принес ему французский журнал, присланный отцом из Петербурга, где сообщалось об этих же работах. Статью, как сказал Бернгардт, с интересом прочел Николай Николаевич, для которого, видно, и прислал ее старый ученый.

«Много у них общего с Сибирью,— подумал капитан.— Но все же теплей в тысячу раз и проще там работать...»

Он знал, что Штаты — страна, бедная правительственными средствами, но там деньги для описи дали купцы и морские промышленники. Несколько отрядов вели съемку суши, и несколько кораблей описывали оба океанских побережья. На Тихоокеанском, как писали в

свежем французском журнале, дело шло медленней, но американцы и тут ставили маяки, опознавательные вежи, делали промеры. При статье были рисунки разных инструментов, которые применялись при этом американцами. Тут же с похвалой отзывались о русских ученых, которые, по словам автора, с большим успехом измеряли меридиан.

Капитан подумал, что здесь, в Иркутске, он может спокойно прожить зиму, привести все в порядок и все подготовить. Его вчерашнее дурное настроение как рукой сняло. Даже вчерашний обед, после которого он показался себе человеком отвергнутым и совершенно одиноким, представлялся теперь в другом свете. Он на минуту встал из-за стола, вспомнил, что сегодня ехать к Зариным, и опять почувствовал себя как в детстве, когда знаешь, что будут подарки, а после обеда — сладкое.

А за окном такое солнце, что кажется, горят стекла.

В это утро капитан пересмотрел свои записки. На свежий глаз замечал он, что получается плохо. «Сушь какая-то, что-то вроде шканечного журнала». И не хотелось писать о том, что пережито тысячу раз, про все эти тяготы и мучения.

Главные дела: надо карты чертить, отправлять доклады в Петербург, составлять план летней экспедиции... А Николай Николаевич советовал отдохнуть хорошенько после всех треволений.

Геннадий Иванович помнил, как вчера среди возмущенной толпы увидел сестер Зариных. Младшая — с кротким, рдеющим лицом, с глазами, блеск которых она так напрасно старалась притушить...

Лакей доложил о приезде подполковника Ахтэ.

— Ну, как почивали, свет наш батюшка Геннадий Иванович? — спросил тот, красный, лысый и коренастый, крепко пожимая руку хозяина.

Ахтэ заметил, что Невельской сегодня порадушней, и понял это по-своему.

Он заговорил о погоде, а Невельской думал, что, наверное, Ахтэ совсем не плохой человек; правда, он любопытен не в меру, да ведь, конечно, знает, что Амур открыт, этого ему мало, хочет все проведать да заодно, верно, и желает, чтобы ему открыли виды на будущее. Но и Николай Николаевич по-своему прав, не хочет, чтобы карты были известны кому-либо раньше времени.

Рано или поздно все равно они попадут в депо карт, в ведомство Берга, от которого прислан Ахтэ. А пока что капитан знал, что не смеет сказать ни слова.

Ахтэ сегодня решил переменить тактику. Он полагал, что Невельской, образованный и любезный, очень хороший по натуре русский человек, долго не выдержит натянутости отношений и со временем, когда привыкнет и увидит, что с ним искренни и обходительны, то и откроет все понемногу. Только не следует его торопить и показывать свое недовольство, чем можно лишь пробудить характерную, как полагал подполковник, для таких натур подозрительность или даже пугливость.

Он стал рассказывать капитану, какие тут дома, и в каком из них как принимают, и какие любезные хозяйки, каковы девицы... А Невельский думал, что немцы в России изучают математику, астрономию, медицину и все другие науки, воспитывают в себе аккуратность, точны в исполнении и сами же пишут в книгах, что желают главенствовать во всяком деле и даже ревнивы к русским...

А наши дворяне гордятся происхождением и готовностью пролить кровь, а в большинстве ленятся, бражничают, кутят, дерут и забивают свой народ, в котором есть, верно, свои великие таланты — и математики, и великие музыканты.

Немецкое засилье в то время было большим вопросом, и у Невельского на немцев был свой взгляд. Сам он, казалось бы, уже сжился с немцами, которых было много там, где он служил до сих пор, то есть вблизи высочайших особ. Среди них были честнейшие люди, преданные России. У него у самого на «Байкале» больше половины офицеров — немцы. Но, полагал он, если бы даже все немцы были хороши, нельзя отдавать все в их руки, а свой народ держать в темноте и крепостном состоянии, не развивать его способностей. В обществе иногда поговаривали: а что будет, если когда-нибудь немцы захотят главенствовать в России, а европейские страны дадут им в этом поддержку?

— Ну, что вы все молчите, Геннадий свет Иванович? — сказал Ахтэ шутливо. — Уж не влюбились ли вы у нас в Иркутске? Раненько было бы, батюшка.

Потом Ахтэ стал объяснять всю важность экспедиции, которую он возглавлял, потом стал хвалить своих

спутников — инженеров, потом стал бранить здешних инженеров и говорить, что они никуда не годны. Потом повернул опять на любезности, сказал несколько комплиментов капитану и, дружески простясь, уехал. Лично к нему Невельской не чувствовал сегодня никакой неприязни. Даже приятно было, что заезжал человек, держался просто, хотя все-таки какой-то неприятный осадок от этого визита остался.

Через полчаса капитану подали экипаж — кошевку с медвежьей шубой и ковром, и он сам поехал с визитами.

Бритый седоусый кучер знал, что капитан в Иркутске только второй день. Ему захотелось показать город приезжему капитану с самой лучшей стороны.

— Как прикажете ехать, по Большой или по Набережной? — спросил он, серьезно и пристально взглянув на капитана.

Невельской с детства питал слабость к рекам и набережным.

— По Набережной! — велел он.

Кучер пустил коней. Кошевка помчалась по берегу Ангары.

Река огромным полукругом огибала город. На повороте неожиданно показался новый вид. Открылись соборы и церкви, столпившиеся над обрывом, их золотые главы и кресты, залитые солнцем, ярко горели в прозрачной морозной мгле. Далее, за следующим изгибом Ангары, в другую сторону, видны были горы, под ними — уже знакомый капитану Знаменский монастырь, а неподалеку — полукруглая крыша эллинга при Иркутском адмиралтействе.

Рысак мчался по укатанному снегу над высоким обрывом. Вдали на льду виднелись фигуры людей, тянувших веревками глыбы льда.

— Гопки будут, — рассказывал кучер. — Купцы напирают людей чистить лед, выравнивают Ангару, каждый год по реке на тройках гоняют!

С Набережной, застроенной большими двухэтажными домами, свернули в переулок и, проехав мимо церквей, оказались на обширной площади. На другой стороне ее капитан узнал здание дворянского собрания с деревянными колоннами. Вчера ехал тут ночью, с фонарями, вокруг ни зги не было видно, заметил только эти колонны, освещенные плашками.

Несмотря на сильный мороз, среди площади виднелись стройные и слитые, как на параде, квадраты пехоты. Медные трубы духового оркестра ярко блестели в тон крестам соборов. Невельской подумал, что уж очень четки квадраты, видно, это те юнкера, о которых вчера он слышал за обедом, будто их обучал шагистике Миша Корсаков.

Послышалась резкая и звонкая команда, офицер, стоявший в стороне колонны, зашагал задом наперед, оркестр грянул марш, и, отбивая шаг, один из квадратов двинулся так, словно это было единое живое существо.

«Точно так же, как на Марсовом поле», — подумал Невельской.

Все это — на фоне новенького, как на детской картинке, здания гауптвахты и другого такого же одноэтажного деревянного дома, построенного по немецкому образцу, в котором находился начальник гарнизона. Дальше такие же аккуратные здания полицейского управления и торговых рядов, около которых виднелись запряженные телеги и толпился народ.

Капитан нанес визиты всем генералам и другим важным лицам и к полудню возвратился домой.

В два часа от губернаторского дворца откатили четырехместные сани. Екатерина Николаевна и мадемуазель Христиани, в шубках с воротниками из черных баргузинских соболей, Муравьев в генеральской папаше и Невельской — оба в форменных шинелях; все четверо, укрывши ноги медвежьей шкурой, сидели напротив друг друга.

Четверо казаков скакали по двое спереди и сзади экипажа.

Проехали через город к садам на Ушаковке и остановились у подъезда большого двухэтажного деревянного дома, выкрашенного в серую краску, с пятью полукруглыми окнами верхнего этажа, с фонарями у подъезда, с деревянной резьбой по фризу и с деревянными пилястрами.

Дом был знакомый, именно на него обратил внимание капитан, когда въезжал в Иркутск. И поразился, что это было только позавчера, а кажется, прошло бог знает сколько дней...

По лестнице с перилами, холодными сенями поднялись на второй этаж, где навстречу лакей уж открыл оби-

тую дверь. Хозяева радушно встретили гостей и провели их в гостиную. Там были военный губернатор с женой, мадам Дорохова, Струве, Молчанов, Ахтэ, его спутник инженер Шварц, Мазарович.

Девицы здесь же, обе в широких зеленых шерстяных платьях из клетчатой шотландки, с белой вставкой из прозрачного шелка, с короткими рукавами, обе розовые, голубоглазые и белокурые.

Старшая была холодно красива. Капитан уже знал, что она сводила с ума многочисленных поклонников. Младшая, кажется, живей. Ее глаза полны выражения любопытства и радости. В ней есть то, что англичане называют «музыкой лица» — живой отзвук на все вокруг.

Муравьев не был несколько дней в этой гостиной с красными обоями и с белыми дверями с позолотой. За это время появились новинки — китайские вазы и множество безделушек из слоновой кости и дешевых — из жиролика и глины. В Иркутске недавно открыли магазин китайских редкостей, и на днях прибыла из Кяхты целая партия товаров. Выбор вещей был удачен. Муравьеву льстило это обновление: во всяком интересе общества к Востоку он видел поддержку своей политике.

Невельской разговорился с племянницами Зарина, понял, что перед отходом из Петербурга в кругосветное плаванье он видал свою кузину Машу Воронову, которая, проживши в Петербурге девять лет, ни разу не видала моря, кроме как из Петергофа, и что она училась в Смольном, откуда и была в том году выпущена...

— Маша? — воскликнула Катя. «Ворон?» — чуть не вырвалось у нее. И обе сестры переглянулись с сияющим видом, а потом радостно взглянули на него, как бы желая увидеть в нем черты своей милой подруги, с которой много лет провели вместе.

«Так он кузен Машкин! Ах, Машка, балда, почему никогда не говорила об этом?» — подумала Катя.

Капитан сразу стал им ближе и родней.

— А говорят, когда надо было ехать в Сибирь, — сказал Муравьев про сестер, обращаясь к капитану, — ревмя ревели! А теперь вся Сибирь у их ног! А боялись, что, мол, по улицам медведи ходят.

Саша могла бы возразить серьезно, что ведь ехали, чтобы жить с дядей, самым близким человеком, и с тетей, и уж по одному этому не могли реветь.

— Ах, Николай Николаевич,— сказала младшая, блестя притушенными глазами и чувствуя на себе взгляд Невельского и еще многих других.— Кто же едет в Сибирь добровольно?

Все заулыбались, кружок вокруг девиц стал теснее.

— Правительство желает добра для Сибири и уже давно стремится заселить эти просторы образованными людьми,— саркастически и назидательно ответил губернатор.

— Пожалуйте, господа, к столу,— улыбаясь, сказала Варвара Григорьевна и мимоходом заметила племянникам: — Вы совершенно красные!

Перешли в столовую с огромными обмерзшими окнами в сад и на балкон. Захлопали пробки, начались оживленные разговоры. Оба инженера несколько раз пытались завести разговор об Амуре.

— Он делает секрет из своего пребывания там,— тихо говорил Ахтэ, обращаясь к Шварцу, который тоже так и не сумел подвести дело к тостам за открытие Амура.

— Как будто его заpiresательство может иметь какое-то значение,— отозвался Шварц.

Ахтэ заговорил о наших морях на востоке. Капитан чувствовал, что его наводят на разговор об Амуре.

Потом зашла речь об Англии и ее поисках.

— Если сказать правду-матку,— с легким акцентом произнес Ахтэ,— то у нас на Руси правда да настоящая жизнь. Это и не дает покоя супостатам.

Хотя в то время в обществе считали своим долгом и хорошим тоном ругать англичан, но к заявлению Ахтэ отнеслись холодно.

Невельской разговорился, стал рассказывать про английский флот, про доки в Портсмуте и как там газеты писали о приходе русского судна, идущего на Камчатку. Он рассказал, как английский адмирал два с половиной часа угощал его обедом, как водил по заводу и сам все показывал и что «Байкал» встал в Портсмуте на внешнем рейде, у Модер-бапки, чтобы англичане не раскрывали судно, построенное по особому чертежу...

Говорил он об Англии и об англичанах без того налета ненависти или слепого почитания — без тех двух крайностей, в которые обычно впадали, толкуя на эту тему.

После обеда все перешли в гостиную.

— Не можете ли вы рассказать про Англию что-нибудь похуже? — мрачно заметил Муравьев. — Я губернатор и не должен жаловать англичан по долгу службы.

Невельской засмеялся. Он много чего мог рассказать и плохого и хорошего. Но тут посыпались разные вопросы, на которые он только успевал отвечать.

Это была одна из тех бесед, когда образованное общество познает мир через человека, выдавшего все своими глазами, который судит обо всем трезво и свободно. Часто такие рассказы трогают и вдохновляют, они запоминаются, о них узнают молодежь и дети, хотя на первый взгляд в этих рассказах нет ничего особенного. Бывает, что в такой беседе рождаются мнения, важные для будущего.

— Что же больше всего поразило вас в Америке? — спросила Варвара Григорьевна, которая, как уже известно всем, не отличалась особенным умом и изобретательностью. — Рио-де-Жанейро?

— Нет, у меня гораздо лучшие впечатления о Вальпарайсо.

— Неужели этот город хорош?

— Да, этот порт на Тихом океане очень хорош. Впрочем, мы пришли в Вальпарайсо после тяжелого перехода, может быть, поэтому у нас и осталось отличное впечатление.

— После перехода вокруг Горна? — спросила Саша.

— Горн мы обошли с трудом, но беда была впереди. В океане нас встретил шторм еще большей силы, мы попали в полосу штормов и нас отнесло на тысячу миль к западу... Были штормы такой силы, что мы конопатили наглухо люки, ветер налетал с ливнем, молнии били непрерывно, одновременно по всему горизонту. И так день за днем с небольшими перерывами... После этого нам пришлось возвращаться. И вот еще целый месяц труда, лавирования при противных ветрах, только чтобы вернуться туда, откуда нас отнесло. И вот мы входим в Вальпарайсо... Ночь, темно, ни зги не видно, только сигнальные огни, шлюпки на воде, суда разные, мачты, теснота на рейде. Почувствовался большой океанский порт и, несмотря на тьму, во всем замечательный порядок... И вот наутро перед нами открылся вид: роскошный южный город... Я не особенно люблю юг, но этот вид поразительный... Ведь так часто бывает и в дороге: поутру про-

снешься, и новый вид особенно трогает, даже плохонькое селение кажется чуть ли не чудом красоты.

«Да, это так,— думала Катя, вслушиваясь с трепетом и вглядываясь в рассказчика.— Действительно...— Она помнила, как утром выглянешь из экипажа — другой лес, горы, туман, долина, и таким все новым, свежим, романтическим кажется. Юный ум ее, привыкший к чтению и игре воображения, представлял все, что рассказывал Невельской, необычайно ясно и ярко.— Да, он поразителен,— думала она.— Кажется, характер его тверд, и он решителен». За его словами чувствовалась трудная жизнь и тяжелые испытания; все это нравилось ей, и было немного жаль его, почему — она сама не знала.

— Что же там за место, сеют ли? — спросил Владимир Николаевич.

— Благодатная почва, тепло, поселенцы собирают в год по два-три урожая.

— Пшеница? — осведомился Зарин.

— Да, и пшеницу дважды снимают и даже, как они нас там уверяли, трижды! Прекрасные фрукты... Мы были летом, в феврале, весь город завален плодами. Город гораздо лучше, чем Рио-де-Жанейро. Он быстро обстраивается, много новых домов в несколько этажей, совершенно в европейском вкусе, хозяева их — американские и английские купцы... Новая главная улица идет через весь город параллельно старой, но лучше ее, красивей. Американцы недавно открыли клуб, конечно, совместно с городскими властями; нарядное двухэтажное здание, прекрасный зал. На масленицу мы были там на балу, на последнем балу перед постом; правда, масленица без катания, без снега... Но что же делать?.. Видели там весь цвет общества...

— Ну и каково? — спросил Муравьев.

— Бал ничем не отличался от европейских.

— Все так же?

— Да...

— А женщины? — воскликнул Муравьев.— Что же вы умалчиваете?

— Чилийские дамы очень хороши.

— Черные глаза?

— Да, большие выразительные черные глаза. И они очень щеголяют своими длинными черными волосами,

они распускают их и в таком виде являются в клуб; это напоминало нам, что мы на знойном юге.

Опять посыпались вопросы.

— А танцы? Что же пляшут?

Заговорили про общество и его умственную жизнь.

— Мы были в театре, там давали драму чилийского поэта и балет. Драма успеха не имела, она была из жизни чилийцев, и это вообще чуждо обществу в Вальпарайсо. На балете — полно, говорят, так всегда. Балет хорош — прекрасно и грациозно. Театр имеет успех в предместье Вальпарайсо — в Альмандроле. Это пригород, населенный простонародьем; мазанки такие же, как у нас в Крыму или в Тамани, только крыты не соломой, а пальмовыми листьями...

— А окрестности? — спросила мадам Дорохова.

— Мы ездили по дороге, которая ведет в столицу Чили — Сантьяго... Вот там мы увидели огромные вороха пшеницы на сравнительно небольших полях. Это дает представление о плодородности почвы. Нищие индейцы босые, в соломенных шляпах, работают, а поля принадлежат европейским поселенцам. Пшеница родится сам-тридцать и даже сам-пятьдесят... Прекрасный климат привлекает колонистов из Европы. Под тенью лимонных и апельсиновых деревьев весьма приятно отдохнуть после прогулки, напиток лимонаду, аршаду, вам подадут фрукты. Хозяева ферм — французы. В столицу ежедневно отходят дилижансы. Мы ездили на прогулку в горы. Шоссе вьется по горам, которые именуются Семью Сестрами. С них открывается великолепный вид на залив и на горы. Через полтора часа спустились в обширную, усыпанную плантациями долину. Это так называемая Винна-де-Люмар. Маленькая гостиница, на ее вывеске флаги — американский, английский, французский...

— А чилийский? — спросил Муравьев.

— И чилийский! Хозяин — француз! Мы оставили лошадей и прогулялись по виноградникам. Масса персиков, яблок. На полях богатейший урожай. Не мудрено, что хлеб там до последнего времени был очень дешев.

— Значит, теперь он вздорожал? — спросил Зарин.

— Теперь все вывозят в Калифорнию... Там произошли события...

— Ах, вы слышали там о них? — воскликнула Зарина.

— Мне рассказывал английский адмирал, я говорю с его слов... Ведь в Вальпарайсо постоянно стоят на якоре английские военные суда. Они уже давно там, и чилийцы говорят, что если одно из судов уходит, так это целое событие.

— Как если бы сдвинулся в Иркутске собор или дом губернатора? — пошутил Муравьев, оживленно, но с некоторой нервностью поддерживавший разговор.

— Да, почти так, Николай Николаевич. По прибытии мы нанесли визит английскому адмиралу, и потом он был у нас с ответным визитом. Адмирал рассказывал мне о поразительных событиях в Калифорнии... Говорят, что началось с того, что неподалеку от Сан-Франциско американский солдат рыл могилу для своего умершего товарища и нашел в песке золото. Он, конечно, не стал хоронить там товарища и решил, что будет добывать золото, а для покойника выкопал могилу в другом месте. Но и там оказалось золото, еще больше, чем в первом месте. Где он ни рыл — всюду было золото. Покойник лежал непогребенный. Солдат стал рыть в третьем месте — и там нашел самородки! Жадность обуяла его. Солдат забыл о покойнике и стал хватать самородки. Об этом узнали в городе, сбежался народ. Тогда явились попы и стали укорять искателей золота, но, как говорят, сами, увидавши такое богатство, позабыли про свои благие намерения и тоже стали рыть.

— Какой ужас! — воскликнула Катя.

— Это просто какая-то горячка! — заметила Екатерина Николаевна.

— Да это так горячкой и называется там. Золотая горячка, лихорадка, — так и пишется и говорится... И вот жители города, оставив все занятия и работы, бросились копать золото. Из крепости Сан-Франциско разбежался весь гарнизон! — воскликнул Геннадий Иванович. — Остался один губернатор с детьми да со стариками.

— У меня тоже золото, но до этого еще не дошло! — опять пошутил Муравьев.

— Да! И его приказания, угрозы, увещевания не действовали! Офицеры и солдаты мыли золото! Тогда явился американский командор с двумя фрегатами. Он желал, по крайней мере, возвратить солдат в крепость. Но каков же был его ужас, когда половина его людей, отправившись вместе с офицерами на рудники, чтобы ра-

зогнать там толпы, отказалась возвращаться! Командору пришлось думать уж не о порядках на прииске и не о солдатах, а о том, как бы ему самому, подобно губернатору, не остаться на обоих фрегатах в одиночестве. Он приказал прекратить всякое сношение с берегом, объявил, что за каждого возвращенного дезертира платит по пятьсот пиастров. Несмотря на такую значительную награду, никто и не думал приводить беглецов. Между тем в один прекрасный день вся команда фрегатов бросилась вплавь и бежала в рудники.

...Когда все разъезжались, Зарин сказал капитану:

— Благодарю вас, Геннадий Иванович, приезжайте к нам, пожалуйста, еще.

Солидный, полный и обычно надменный гражданский губернатор коротко, но почтительно поклонился и крепко пожал руку Невельского.

— Ваши рассказы удивительны, — пролепетала Саша, приседая.

— Я очень рада, что познакомилась с вами, — прощаясь, сказала Катя. — Я никогда не слышала ничего подобного!

Она смотрела ясным, восторженным взглядом, и ей казалось, что она давно уже знает этого удивительного человека.

— Приезжайте к нам еще, Геннадий Иванович, — сказала Саша.

— К вам запросто и в любое время, Геннадий Иванович, — добавил Владимир Николаевич.

Вся семья провожала капитана и губернатора с женой.

— Он порядочный и благородный человек, — сказал дядя, возвратившись в столовую.

— Он — брат Ворона! Что ты скажешь? — внезапно приостановившись среди зала, спросила Катя у сестры.

— Как это удивительно! Теперь мы будем думать о нем, не правда ли?

В Смольном сестры, как и все воспитанницы, привыкли думать о ком-нибудь, например, об учителе-французе, о кузене подружки — молодом офицере, и воображать, что влюблены.

Катя сама не знала, чего она хочет, но чувствовала, что сильно встревожена; ей не хотелось уходить, хотелось петь, смеяться,

А Невельской, сидя рядом с губернатором в экипаже, думал про Ахтэ: «Не нравится все же мне эта личность».

— Ахтэ желает, чтобы я был с ним в приятельстве, и обижается, что не открываю секретов,— сказал он.

— Будьте с ним осторожны,— отозвался Муравьев по-французски.— Это шпион Берга и Нессельроде. Но пока он в Сибири, будет плясать под мою дудку,— добавил губернатор по-русски.— Как бы ни пыжился и ни выказывал амбицию.

Невельской теперь смотрел как-то спокойнее на заговор и уж никак не предполагал, что к нему могут придаться.

Сегодня с утра капитан ждал праздника, сейчас все исполнилось, день прошел очень приятно, и мысли вернулись к делу. Он решил, что надо еще раз поговорить с Муравьевым как следует, что нельзя сдаваться.

Дамы с Мазаровичем и Струве уехали вперед. Когда губернатор и капитан подъехали ко дворцу, кучера отводили пустые сани, на которых те, видно, только что подкатили.

Невельской вылез вслед за хмурым губернатором, лица которого он не видел, но чувствовал, что настроение у него неважное.

— Мне бы необходимо было поговорить с вами сегодня.

— Да, пожалуйста... конечно,— мягко ответил губернатор, как бы извиняясь за свое дурное настроение.— Мы проведем вечер наверху втроем. Подымайтесь к ужину, сегодня больше никого не будет...

Утром за кофе Катя сказала:

— Какой все-таки огромный мир открыт перед мужчиной! Как бы ни были прекрасны творения Жорж Санд, по все-таки мы так ограничены... Как жаль!

— Ты впечатлительная, и во всем виноваты твои нервы, мой друг.

— Ах, нет, тетя, это не нервы!

— Посмотри, как тяжело пришлось Екатерине Николаевне! Поверь, все это прекрасно выглядит в салоне, а не на самом деле.

— Нет, это прекрасно и в самом деле, — мечтательно сказала Катя.

— Ты не знаешь жизни, моя милая.

— Я теперь буду читать о путешествиях... Я перерыла все наши книги и не нашла ни одного морского романа.

«Если бы я была мужчиной, — думала Катя, — сколько бы энергии, кажется, могла бы выказать».

Сегодня утром ей хотелось плакать от мысли, что этого никогда не будет. Правда, все это лишь разговоры в салонах, фантазии. Так обидно!

Дядя сказал, что надо быть безумцем, чтобы отважиться по нынешним временам пойти на такое открытие без императорского повеления, которое, правда, пришло, но позже. Впрочем, он говорил, все хвалят за это Геннадия Ивановича.

Светлая столовая с высокими окнами выходила на балкон и в сад. На стеклах по ледяным узорам пятнами пробивается раннее солнце. Кое-где окна оттаяли, и видно, что балкон завалило снегом и дверь приперта высоким сугробом; сквозь незамерзшую верхнюю часть окон видны деревянные, обросшие инеем столбы, державшие крышу.

— Во всех вчерашних рассказах капитана есть глубокий смысл! — сказал дядя. — Все они об одном и том же — об энергии и деятельности иностранцев и о нашей бездеятельности. Он не зря рассказывал про Вальпарайсо и Гавай, он говорит об апельсинах, а осуждает всю нашу тихоокеанскую политику. Он умница. Недаром Николай Николаевич ушел задумавшись. По сути дела, Геннадий Иванович совершил первый и самый важный шаг к тому, чтобы Россия вошла в общение со всеми государствами, лежащими на Тихом океане. И в то же время он великолепно видит все опасности, таящиеся в этой отваге калифорнийских золотопромышленников и в разных там успехах американских негоциантов в Вальпарайсо.

Владимир Николаевич и Николай Николаевич давно в дружбе. К тому же родственник Николая Николаевича женат на родной сестре Варвары Григорьевны. Зарин и Муравьев вместе служили на Балканах у генерала Головина. Владимир Николаевич знал характер Муравьева и уловил в нем вчера тревогу, когда тот слушал рассказы

Невельского. У Зарина тоже были несогласия с Николаем Николаевичем по многим вопросам, в том числе и из-за того, что Муравьев выказывал себя покровителем ссыльных. Тем более Владимир Николаевич сочувствовал Невельскому.

— Давай попросим господина Невельского рассказать нам все,— воскликнула Катя.— То, о чем он ни разу не упоминал еще у нас.

— Про его открытия?

— Да! Какие могут быть тайны, если мы хотим, чтобы они раскрылись! — гордо вскинув голову, сказала младшая сестра.— Все завесы должны упасть.

— Да, он должен все раскрыть! — согласилась Саша.

— Какое странное название,— через некоторое время заговорила Катя.— Аму-ур! Ты знаешь, мне всегда казалось, что с этим словом в моей жизни будет связано что-то!

— Каташка, ты балда и опять фантазируешь,— чуть пожав плечами, сказала старшая сестра.— Ведь ты говорила, что у тебя в жизни что-то должно быть связано с Парижем.

— Да! И с Парижем!

— Это только так кажется, потому что тайна! Тайну всегда хочется знать, и ты помни это. Будь сама тайной.

— Амур — всегда тайна... Поговори с дядей, не может ли он попросить господина Невельского...

— Не можете ли вы, дядя, попросить господина Невельского рассказать нам о своем путешествии к устью Амура? — спросила в тот же день Саша, глядя в глаза Владимиру Николаевичу.

— Мы хотим знать, что такое Амур,— лукаво подтвердила Катя.

Дядя ответил, что Невельской, пожалуй, затруднится, хотя, конечно, в кругу своих и если не будет господина Ахтэ...

— Ведь Ахтэ вчера пристал к нему опять, а потом подходит ко мне и говорит с раздражением — зачем он, мол, скрывает то, что известно всему городу.

— Неужели знает весь город?! — воскликнула Катя и всплеснула руками.

— Тебе он правится? — ревниво спросила ее Саша, когда они были в своей комнате.

— Да. А тебе? — в свою очередь, ревниво спросила сестра...

— Ах, Ворон! Напишу ей завтра же! Прелесть Ворон! Надо узнать, где она.

— В Галиче.

— Это он сказал?

— Да.

— Где это Галич?

— Ах, ей-богу, не знаю.

— Какая-то глушь!

— Бедный Ворон!

— А как смотрел вчера на тебя Мазарович, — улыбувшись, сказала Катя.

— Да? — обрадовалась Саша. — Так и надо! Я еще буду загадкой!

Вечером собрались гости — Струве, Ахтэ, Молчанов, Невельской, Мазарович, Казакевич, Гейсмар и старый холостяк доктор Персин.

Оказалось, что Невельской преотличный танцор, легкий, пылкий. Как часто бывает с людьми, у которых избыток жизненных сил, он загорелся при первых звуках фортепьяно. В кадрили он затмил даже горячего Мазаровича.

Заехал Муравьев. Он обрадовался, что капитан пляшет так весело, полагая, что человек, который увлекается танцами, не очень упрям и вообще покладистый...

Муравьев уехал рано и увез с собой Ахтэ и Молчанова. Вскоре откланялся доктор Персин.

Катя с сестрой, со Струве и Невельским оказались в одной из двух маленьких гостинных, расположенных по обе стороны зала.

В этот вечер Невельской долго и с жаром рассказывал обо всем, о чем его просили.

Теперь глядяки казались для Кати самым интересным народом на свете, куда более занимательным, чем кавказцы у Лермонтова и Марлинского, а Амур чуть ли не обетованной землей.

О морских корсарах она читала и прежде у Купера, но тут перед ней был человек, который сам чуть ли не сражался с ними.

— Ах, дядя! Он посрамлен! Полная победа! — воскликнула Катя, когда Невельской уехал.

Сестры гордо переглянулись.

— Теперь для нас нет тайн. Я счастлива... А ты?

— Да!

Катя бросилась к роялю и, откинув голову назад, сильными ударами заиграла торжественный вальс, тот самый, что в шестнадцать рук на четырех инструментах играла она с подругами в Смольном на выпускном вечере, когда приезжал царь. Как бы она хотела, чтобы все ее подруги были сегодня здесь и слышали то, что услышала она! Чтобы все видели, как он говорил и как он все время смотрел на нее...

Оборвав игру, она вскочила и сделала несколько туров по паркету, потом схватила сестру, с гордым видом усевшуюся было в кресло, и увлекла ее за собой. И та поддалась, как она всегда соглашалась на все затеи своей милой Кати.

Глава двадцать девятая

У ВОЛКОНСКИХ

Для них я портреты людей берегу,
Которые были мне близки,
Я им завещаю альбом — и цветы
С могилы сестры Муравьёвой,
Коллекции бабочек, флору Читы
И виды страны той суровой;
Я им завещаю железный браслет...
Пускай берегут его свято:
В подарок жене его выковал дед
Из собственной цепи когда-то...

*Н. Некрасов, «Русские женщины»
(«Княгиня М. П. Волконская»)*

Однажды за обедом губернатор спросил у капитана:

— Вы едете сегодня к Волконским?

— Да, мы приглашены вместе с Бернгардтом Васильевичем и будем сегодня у Марии Николаевны.

Муравьев желал, чтобы капитан несколько рассеялся, увлекся обществом, чтобы в нем стихла хотя бы на время страсть деятельности.

— Я хочу вам дать новое поручение.

— Слушаю вас, Николай Николаевич.

— Там будет Сергей Григорьевич. Вы еще не знакомы?

— Нет, Николай Николаевич, я еще не видал князя.

— Теперь это совсем другой человек, не такой, как прежде. Он сожалеет о своих поступках. Так, по крайней мере, считается...— добавил Муравьев шутливо.— Так вот, езжайте к ним и кланяйтесь от меня Марии Николаевне, ни в коем случае не дайте им повода считать, что их положение имеет для вас какое-то значение... Да кстати, жена нездорова и не будет там, извинитесь... Сделайте им сюрприз. Они ждут вас, чтобы вы кое-что рассказали их любимому сыну, и, конечно, сами ни о чем не спросят. А вы улучите миг и расскажите старику, что представляет собой устье Амура. Там, верно, еще будет Сергей Петрович Трубецкой, так уж ублагодарите их. Разговаривайте в обществе о том, что придет в голову: про экзотические страны, как для дам и девиц у Заринных, что-нибудь про Южную Америку. А потом старикам отдельно. С вами Струве?

— Да...

— Ну и прекрасно. Он там как свой.

Геннадию Ивановичу очень хотелось поехать сегодня к Волконским и потому, что он слышал много об этих людях, и потому, что в душе его было то волнение, которое не стихало с тех пор, как в первый раз увидел Марию Николаевну. К тому же Екатерина Иваповна с сестрой и теткой сегодня должны быть у Волконских. Обещан музыкальный вечер и вообще много интересного.

Муравьев разговорился и немного задержал его.

— Мария Николаевна — человек очень своеобразный и необычайно деятельный. В доме все держится на ней, а Сергей Григорьевич считается у меня живущим в ссылке в Урике — деревне, неподалеку от которой вы проезжали по якутскому тракту. А жена его здесь, и он как бы приезжает сюда погостить, но на самом деле всегда живет в Иркутске, я сделал им это послабление. Моя жена ведет знакомство с Марией Николаевной, бывает часто у нее. Там постоянно все мои чиновники. Страсть Марии Николаевны — ее дети... Иногда ей западает в голову что-нибудь ужасное, и тогда нельзя дать ей утвердиться в домыслах. Прошу вас, не подавайте ей никакого повода к беспокойству.

Муравьев сказал, что поскольку Сергей Григорьевич считается живущим в ссылке в Урике с правом приез-

жать в Иркутск, он и устроился в пристройке. А иркутские обыватели из этого вывели, что жена его отселила, чтобы он не портил ей общества.

— Должен вам сказать, что ссыльные вообще всегда живут в тревоге. Вдруг иногда среди них пройдет какой-нибудь слух, что их высылают из Иркутска или снова хотят заключить в тюрьму, и они сразу всколыхнутся. Обычно поводом служат какие-нибудь внешние события. У меня ведь много разных ссыльных, и в этом все одинаковы. Правда, Сергея Григорьевича Волконского, кажется, ничем нельзя удивить по причине выработанной им своеобразной философии. Он убежденный народолюбец и противник современного общества, но, конечно, политики тут нет ни на йоту, подкладки никакой. Они образованные, умные люди, но живут в вечном беспокойстве. Может быть, поэтому и родилась такая философия, и теперь лично ему не угрозишь. Он стал как настоящий русский мужик... Вы увидите... Так поезжайте! Да помните мои советы. А впрочем, мотайте на ус все, что там будет говориться,— добавил губернатор, хитро прищурившись.— Хотя они ведут себя безупречно и я уже написал царю, что они теперь самые верные и примерные из его подданных, но мое дело поглядывать за ними.

«Что это он опять понес? — подумал Невельской.— Однако получается, как с Элиз, когда он сказал про нее в Аяне черт знает что! Что же он думает, что я шпионить за ними стану? Черт знает, как в нем все это уживается рядом с благородными идеями! Или он для отвода глаз говорит, на всякий случай...»

Невельской шел вниз озабоченный и удрученный.

Накануне у Невельского с Муравьевым опять наверху шел спор до поздней ночи, и они опять ни до чего не договорились.

Зашел Струве.

— Так едем, Геннадий,— сказал Бернгардт.

Накануне, явившись к себе поздно ночью в сильном волнении, капитан выпил со Струве на брудершафт. Он так и заявил Бернгардту, что хочет напиться за здоровье всех родных.

...На улице падал снег. Струве говорил, что у Волконских прекрасные дети, что Мишу с большим трудом три года тому назад приняли в гимназию и что теперь, когда

он закончил ее с золотой медалью и поступил на службу в канцелярию губернатора, перед ним открыта карьера. Он добавил,— капитан это слышал уже не раз,— что дети ссыльных лишены дворянства и должны быть записаны в крестьянское сословие.

Струве сказал, что он у Волконских частый гость.

В переулке у двухэтажного серого деревянного дома тротуар широко расчищен и снег сложен аккуратно. Тут же пустые санки, покрытые досками, на которых, видимо, вывозили снег, так как часть снежной горы срезана и из нее стоймя торчала деревянная лопата. Рослый старик спокойными, размеренными движениями подметал метлой тротуар, ступая медленно и твердо. На нем был полушубок и валенки.

— Как метет аккуратно,— заметил Невельской, обращаясь к Бернгардту, но тот шепнул ему в ответ трезвожно:

— Да это сам князь Сергей Григорьевич!

Санки остановились, и Струве выпрыгнул, за ним и капитан.

Рослый старик с седой окладистой бородой, держа метлу прижатой к полушубку и глядя зоркими глазами, выпростал из рукавицы руку и, слегка наклонившись всем корпусом, подал ее Струве. Невельской был представлен тут же.

Услыхав его фамилию, старик не стал кланяться, а, напротив, выпрямился по-военному, глаза его взглянули строго и властно, как бы начальнически, и в человеке с метлой вмг явился князь и генерал. Волконский подал капитану свою сильную, тяжелую, как гиря, руку и повел обоих молодых людей в ворота.

— Дворник мой заболел, а никто не может как следует вымести,— сказал Волконский.

Вошли в калитку. Кучер открыл ворота и стал вводить лошадей.

Двухэтажный дом Волконских сложен из громадных лиственничных бревен и выкрашен в светло-серую краску, которая днем очень идет к его широким светлым окнам.

По краям дома на улицу выходят два огромных окна, выступающих из стены в виде фонарей со стеклами с боков и спереди и с резьбой внизу в виде стеблей с листьями, так что они кажутся стоящими на изящных подстав-

ках. Подъезд к дому — во дворе, куда завели лошадей и куда гости вошли через калитку.

Здесь плоский фасад, широкие тройные итальянские окна со ставнями в нижнем и без ставен в верхнем этаже. В дальнем от ворот конце дома — крыльцо под огромным тяжелым навесом. Взойдя на него через широкие двойные двери, попадешь в сенцы с окошечками по бокам; потом пойдут какие-то коридорчики с боковыми дверцами и опять с окошечками.

Дом красивый, богатый по виду, с ярко освещенными в этот час окнами, с легкой оригинальной резьбой — пример простоты и своеобразия. Но поставлен он с расчетом на внезапный приезд жандармов или полиции. Поэтому нет дверей на улицу, а их место заняли окна, и парадное во дворе, и множество коридорчиков и закоулков, и можно заранее видеть, кто приехал.

Пока постучат в ворота, пока откроют калитку, пока пройдут через весь двор мимо всего дома, под окнами, которые в верхнем этаже не закрыты ставнями ни днем, ни ночью, пока им откроют дверь, потом немало времени пройдет в закоулках...

...Напротив дома через улицу — церковь. За нею видны остатки тайги, а вдали молодой сад, посаженный другим ссыльным — Сергеем Петровичем Трубецким. На виду крыша его дома с затейливой резьбой, с двумя крыльцами, и выше молодых деревьев подымается мезонин с сугробом на крыше. А дальше — сад и тайга.

Невельской уже слышал от Бернгардта и от других чиновников, что Трубецким отлично видны окна дома Волконских и будто тут существует целая система сигнализации. Какой вспыхнет свет ночью, как отдернуты занавеси днем, как и какое окно приоткрыто летом — все имеет значение. Над садами друг другу передаются новости, как по телеграфу. А иркутские обыватели утверждают, будто бы между двумя домами под землей проложен настоящий телеграф.

Волконский провел гостей через сени и узкие коридорчики. Появился лакей и стал принимать шубы. Тем временем сам князь снял полушубок и остался в простой серой русской рубашке, подпоясанной простым кушаком. Рубаха эта, в сборках, падала чуть ли не до колен.

Он разгладил бороду и любезно пригласил гостей в комнаты.

Вслед за хозяином они вошли в просторную залу в пять окон, обведенную низкой красной панелью и обставленную мебелью красного дерева, с клавесином, большой люстрой и с портретами детей на стенах. Между ними — великолепный портрет Марии Николаевны в юности, с тучей черных локонов под легким газом, со свежим сияющим лицом.

Мария Николаевна быстро вошла в залу к гостям. Она в платье из сипей тафты, с гипюровым воротником. Сегодня она казалась повеселей, чем в доме губернатора. Глаза те же, что и на портрете, — блестящие и черные, яркие и крупные, как смородины; лицо стало длиннее, губы шире, суше и темней, жестче, уж без припухлости, но лицо еще молодое.

Портрета хозяина нигде не видно. Геннадий Иванович вспомнил, что недавно слышал, как шведский художник Мозер пытался писать декабристов и за это получил от Зарипа приказание выехать из Иркутска в течение десяти дней.

— Екатерина Николаевна просит простить ее, — сказал капитан Марии Николаевне, — она нездорова и не будет сегодня.

Он заметил, что черные глаза Волконской на миг вспыхнули как-то странно. Но тут же Мария Николаевна любезно улыбнулась.

— Очень жаль... Мы так ждали ее, — сказала она обычным тоном, с оттенком грусти.

Сергей Григорьевич потому и пошел мести тротуар, что ждал капитана. Чем старше он становился, тем сильнее прежнего, часто до слез, волновали его проблемы, не касающиеся его личной жизни, а имеющие общее значение для всех людей, а также чьи-либо благородные подвиги и случаи самопожертвования. Быть может, он видел в действиях капитана что-то похожее на свои поступки в молодости.

Он слышал про Невельского и знал суть его секретного поручения. Когда Муравьевы приехали из Якутска и он услышал об открытии, то пошел к жене и спросил ее прежде всего, что за род Невельских, откуда они происходят, не слыхала ли она прежде о них.

— Нет, не слыхала никогда,— ответила Мария Николаевна.— Но Варвара Григорьевна говорит, что племянницы ее учились вместе с одной из Невельских в Смольном.

Князь полагал, что в Смольный нынче принимали всяких.

Но на другой день Мария Николаевна узнала у Муравьевых, что Невельские — древний русский род, дворяне средней руки из Костромы.

— Ах, из Костромы! — сказал Сергей Григорьевич.

Это уже была хорошая рекомендация. Предки Невельского в прошлом были выходцами из Западной России, из-под Невеля, оттуда и фамилия.

Вообще Сергей Григорьевич очень сожалел, что старая русская аристократия давала мало деятельных людей. Но сейчас он тревожился за судьбу великого дела, которое Николай Николаевич поручал Невельскому. Как он там сумеет все сделать? Как подойдет к населению и к китайцам? Не подражатель ли он англичан, не русский ли немец? Что он за человек? Если он моряк прекрасный, но как человек низок, ограничен, заведет там нравы колонии, полицейщину, даст волю торгашам, устроит такую каторгу, смесь английской Индии с Нерчинском. Начнутся мордобои, расстрелы...

Личность Невельского сильно его интересовала и беспокоила, и в тот день, когда капитан должен был приехать, Сергей Григорьевич не находил места. Он, быть может, потому и взял метлу в руки, чтобы озадачить моряка, чтобы тот видел, чем не гнушается рюрикович, словно желал подать ему пример.

Эта доля и удалства и молодечества, что свойственны русскому человеку, сохранилась у князя-революционера до старости лет вместе с барской требовательностью к славе рода, хотя сам он ходил как простой мужик и чуждался общества, собиравшегося на половине жены его, которая ради детей и их покровителей поставила дом на широкую ногу. И если изредка выходил он к гостям, то тоже только ради детей.

И вот капитан приехал и еще на улице выказал ему честь и уважение.

Ростом мал, но боек, во всяком случае, симпатичный... Однако Сергей Григорьевич был очень ревнив, ко-

гда речь шла о чести России, об ее истории, и он хотел, чтобы великое дело исполнялось достойным человеком, и тут мало быть славным малым. Он хотел знать о Невельском все и желал судить о нем сам.

В эти дни Волконского сильно занимал также раскрытый заговор Петрашевского. Сергей Григорьевич слышал о коммунизме и прежде и желал знать суть этого учения, проповедники которого, как видно, еще раз устроили и Николаю, и всю его клику.

Хотелось знать, в чем там дело, какова методика нынешних революционеров. Это было первое крупное политическое дело после декабрьского восстания. Россия не дремлет! Волконский готов был поверить во многое, что толковали про петрашевцев.

Ему приходилось скрывать свои убеждения, чтобы не поставить в неудобное положение семью и Николая Николаевича. В обществе поговаривали, что Волконский давно считает ошибкой и заблуждением свои прошлые действия, и сам он не опровергал этих разговоров, но в душе считал своими братьями тех, кто боролся против самодержавия, и с нетерпением ждал известий о судьбе этих безвестных юношей, которым грозила виселица.

Как он слышал, Невельской был знаком кое с кем из них.

Вошел Миша — кареглазый, с острым, умным лицом. Он одет по моде, в мундирном фраке. Его галстук повязан пышным бантом. Стали приезжать гости. Явился неприятный капитану, но очень любезный с ним Молчанов. Появились Зарины, «все три», как здесь говорили.

Взгляд Кати упал на Геннадия Ивановича и дрогнул, она сделала вид, что не замечает его. Но через секунду опять посмотрела, сдержанно улыбаясь, чувствуя, что совсем не должна избегать его, — ведь в этом знакомстве нет ничего дурного, и это не надо скрывать.

Вошла Нелли — тонкая и стройная, с необычайной белизной узкого лица. Глаза ее светлее материнских — светло-карие. У нее пепельные волосы, энергичное и гордое выражение маленького рта. Наивность взора придавала лицу ее необычайную оригинальность. Она зрела быстро в свои пятнадцать лет, как настоящая южанка.

Пришли Трубецкие: старик Сергей Петрович с тре-

мя дочерьми. Две младшие, с тонкими шейками и худенькими ручонками, выглядели совершенными детьми, какими-то только что вылупившимися, жалкими птенцами.

Приехал купец Кузнецов — сибирская знаменитость, которого Невельской уже встречал у Муравьевых в первый день приезда. Он уже знал, что этот сказочный миллионер в прошлом прискаатель, а одно время как будто не брезговал и «заработками» на большой дороге. Он огромного роста, седой, с обрюзгшим от старости нездорово-красным лицом. На висках его видны синие вздувшиеся сосуды, а от множества прожилок щеки и нос приняли лиловый оттенок. Он ходил небрежно, как бы тыча ногами в пол.

Струве сказал, что Геннадий Иванович рассказывает удивительные вещи про Тихий океан и про Америку. Живо завязался разговор.

На этот раз капитан рассказывал про спекуляции и аферы в Америке и упомянул, какая там нехватка людей; он, между прочим, сказал, что сам видел, как в Вальпарайсо пришел корабль с несколькими сотнями сирот, детей французских революционеров, погибших во время баррикадных боев в Париже.

— Куда же их везли? — спросила с тревогой Варвара Григорьевна.

— В Калифорнию, на золотые прииски, в рабство, на продажу предпринимателям, — ответил Невельской и вдруг сообразил, что он наделал, видя, что все замерли и даже Струве остолбенел. Тут только он вспомнил, что Муравьев и Бернгардт предупреждали его, а Струве еще клял Зарину: мол, всегда задает глупые вопросы.

«А я-то не лучше ее!» — подумал капитан.

Струве бросился на выручку.

— Но какие там дамы с черными распущенными волосами! — подхватил он, стремясь спасти положение. — Какие у них глаза черные! Это просто чудо. И прелесть что за климат, урожаи фруктов три или четыре раза в год!..

После ужина Струве вместе с Невельским оказались в пристройке, где на постели — серое одеяло, а на стенах — некрашенные полки с книгами.

Тут были Сергей Григорьевич, Сергей Петрович и Миша.

Невельской начертил на листке маленькую карту устьев Амура.

Оба старика были очень польщены. Говорили долго.

Волконский свел густые черные брови и положил тяжелые руки по обе стороны рисунка. Над этой маленькой картой он снова почувствовал себя генералом и военачальником.

— Теперь без промедления вперед! — воодушевленно сказал он. — Быстрее там занимать все стратегически важные пункты! Раз Николай Николаевич взялся, он поддержит вас во всем. Он знает, что делает! Это — кипятик-энергия. Но должен я вам сказать, Геннадий Иванович, что вы с ним не должны упустить одного наиважнейшего ресурса! Здесь в народе велик интерес к Амуру. У нас в Сибири время от времени по приискам и по деревням проходят слухи, будто люди собираются туда переселяться. И действительно, должен я вам сказать, однажды на Лене обманутые хозяином рабочие выбрали себе атамана и хотели переваливать через хребты. Вмешательством властей дело расстроилось, но сам выход, который придумали рабочие, — примечательная штука.

— Я искал людей, которые побывали бы на Амуре, — сказал Невельской, — но никого не мог найти, кроме одного тунгуса да еще штурмана Орлова, который служит в Российско-американской компании. А вы полагаете, что такие люди есть?

— Конечно, такие люди есть, — ответил Волконский.

— Рад был бы их видеть, но где ж они?

Волконский, обхватив тяжелыми руками ручки самодельного кресла и закусив верхнюю губу, покачал своей тяжелой головой.

— Никто не признается! — заметил Трубецкой, набивая табаком трубку.

— Люди, которые побывали на Амуре, опасаются ответственности, — подтвердил Струве.

Сергей Григорьевич погрозил своим толстым пальцем кому-то, чуть ли не тому, кого все боятся...

— Я вам советую встретиться с одним замечательным человеком из местных жителей, — обратился он к капитану, — с Михаилом Васильевичем Пляскиным. Он вам может быть очень полезен. Михаил Васильевич очень стар, но голова ясна совершенно. Он смолоду был бат-

раком у богатого купца, попал в плен к монгольским разбойникам и просидел у них лет пять. Потом был рабочим у богатых людей, охотничал, ходил далеко и последнее время служил кучером здесь, в Иркутске... У него дети в Восточном Забайкалье.

Невельской предполагал, что замечательный человек из местных жителей окажется какой-нибудь солидной персоной с капиталом, кем-то вроде самоучки...

Волконский заметил тень, пробежавшую по лицу Невельского.

— У меня есть еще один приятель, тоже прекрасный человек, — добавил он строго и назидательно, — бывший спутник беглого мопеха Саввы, проникавшего в верховье Амура и даже спускавшегося до среднего течения. Он теперь перевозчик на Ангаре и сейчас, когда река встала, живет на той стороне. К нему легко добраться. Очень милый и разговорчивый, и тоже память прекрасная. У него такой прекрасный огород на берегу Ангары! Они могут дать сведения и, быть может, помогут найти полезных людей... Конечно, Геннадий Иванович, сила России велика... Если мы не хотим лишиться всего, что нам принадлежит на Тихом океане, то и должны действовать решительно, на что и способен наш кипятик-энергия! Придется вам поубавить спеси у маньчжурского самодержца, нашего соседа.

Старик часто выражался в духе своего времени...

Когда возвратились в гостиную, подсел ссыльный Муханов — моложавый и высокий, с тонким бледным лицом, с острыми глазами и тонко выкрученными длинными усами, в потертом, но опрятном костюме.

Тонкие пальцы Миши забегали по клавишам. Нелли запела романс Виельгорского «Любила ль я». У нее чистый, звонкий голос.

«Несмотря, что выросла в сибирской деревне», — подумал Невельской.

Он заметил обращенный к нему пристальный взгляд Волконского. Видно, тот еще что-то надумал...

Потом пел Миша...

Потом Дорохова спела «Вьют витры». Взор Марии Николаевны стал глубоким-глубоким, и глаза казались еще черней. Весь вечер она была как зоркая орлица. Только сейчас она, казалось, ушла в себя,

«Что у нее на душе? — думал капитан, заметив перемену в ее лице. — Ведь она выросла на Украине, песню эту слышала с детства».

Нелли и Миша декламировали стихи черкешенки и пленника из «Кавказского пленника».

Я знаю жребий мне готовый,
Меня отец и брат суровый
Немилому продать хотят... —

читала Нелли.

В этот вечер казалось, что все приобретает какое-то особенное значение.

— Молчанов-то — губернаторский любимчик, — сказал миллионер Кузнецов, наклоняясь к капитану, — съесть хочет девчонку... Слетаются, как воронье....

В самом деле, Молчанов, откинувшись в кресле, впился взором в Нелли.

«Молчанов ухаживает за ней? — подумал Невельской. — Дети несчастных стариков! Нелли, Трубецкие — и тут же все чиновники». Капитану казалось сейчас, что и Катя ребенок, что она этим детям ближе, чем ему. Сестра, кажется, повзрослей, а она — дитя. Он видел, что здесь собрались и веселились почти дети. Ему стало неловко.

«Неужели и я стар? Неужели для меня может существовать только деятельность, открытия, общество таких же, как я... Может быть...»

А Екатерина Ивановна ему весело улыбнулась, потом сделала комически серьезное лицо, потом стала по-настоящему серьезной и, наконец, запела...

«Она, ангел, ангел! — думал он. — Все в ней прелестно!»

К уху капитана опять наклонился Кузнецов:

— Хороша девица! А вот сестра у нее — с характерцем. Вот уж кому-то кислица снится...

— Что вы, Евфимий Андреевич, мешаете слушать, — ответил ему капитан с досадой.

Тот махнул рукой.

— А как с Геннадием Ивановичем они поют! — заметила Варвара Григорьевна. — Геннадий Иванович исполняет дуэт с Катей, а Саша аккомпанирует, и такая прелесть получается!

Все стали просить Невельского спеть. Ему не хотелось.

Саша заиграла, Екатерина Ивановна опять подошла к роялю и взглянула на капитана, но тот не трогался с места, пока не настала пора вступать.

Когда, душа, просилась ты
Погибнуть иль любить...—

вдруг подымаясь и как бы пылко беседуя с Катей, запел он. Голос у него приятный, мягкий. Никому сейчас не пришло бы в голову, что эта глотка орала в трубу и от ее звуков, как одурелые, метались матросы.

Глаза Екатерины Ивановны засияли, потом она взглянула на него пристально и глубоко, но сразу же перекинула взор на ноты, но тут же, опять обернувшись к нему, быстро вошла в роль. Оба сильных голоса сплелись...

Зачем вы начертались так
На памяти моей,
Единой молодости знак,
Вы — песни прежних дней...

— Да вы, господа, прекрасная пара! — шутливо сказал Сергей Петрович, когда раздалась дружные хлопки. — Вам так и следует петь вместе!

— Где это они успели так спеться? — спросил Молчанов у Струве.

— У вас голоса прекрасно подходят друг к другу, — сказал старый чиновник-сибиряк с моржовыми усами, которому все эти вечера и нежное пение очень нравились.

Все стали просить Екатерину Ивановну спеть что-нибудь русское.

Катя взяла несколько сильных аккордов.

Моего ль я знаю друга...—

пачала она на низких нотах, широко, и чуть повела рукой.

Потом Нелли пела романсы, потом вместе с Катей — дуэт. Успех Нелли был самым шумным.

Гости уехали. Муж и жена прошли в маленькую дверь. Черные глаза Марии Николаевны выразили ужас.

— Я жду гибели, гибели! — прошептала она.

— Успокойся, мой друг! — сказал старик по-французски, но руки его затряслись.

Разговор происходил в одной из тех комнаток-закоулков, которые расположены были сбоку от прихожей.

— Успокойся, Невельской выложил мне все секреты с ведома Николая Николаевича. Конечно, она действительно больна, возьми себя в руки. Меня тревожит твое состояние...

— Меня мучает их будущее!

— Рано, рано! Зачем? Она ребенок!

— Она ничего не будет знать еще год или два, но пусть будет так. Если Молчанов попросит ее руки — я не откажу.

Большие глаза князя округлились и выразили гнев.

— О боже! — прошептал старик.

— Я не хочу гибели! Пойми!

Мария Николаевна резко повернулась и вышла. Мысли о том, что ждет детей, приводили ее в отчаяние. Все эти веселые вечера, сам этот богатый дом, угощения, балы — только для того, чтобы люди покровительствовали ее детям, чтобы ввести их в то общество, к которому они принадлежат по рождению. Она знает — они умны, способны, могут быть полезными людьми. Воспитание, преданность народу... Но теперь, когда раскрыт заговор петрашевцев и вся Россия в ужасе, сердце Марии Николаевны трепещет. Малейшего колебания Николая Николаевича достаточно, чтобы погубить детей, закрыть им пути. Иногда ей кажется, что детей отнимут, погубят, что у них нет будущего.

В юности она не страшилась своего горя, но грядущее горе детей приводило ее в ужас. Она знала, каков злодей Николай, как он мстителен, он не упустит случая... Злодей попытается издеваться над детьми, заглушит в них все, все...

Глава тридцатая

ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

Василий Степанович Завойко, еще осенью проводивший генерал-губернатора по новой аянской дороге и возвратившийся из Якутска к себе в Аян, был сильно озабочен.

Первое, что решил он, — нельзя позволить подорвать того, что сделано.

«Я еду на Камчатку и готов трудиться на пользу отечества. Первые действия на Амуре начаты мной по пове-

лению Компании. Все, что здесь начато, Компания может довести до конца. А тут вдруг этот Невельской!»

Завойко объявил жене, что не желает мириться с про-
исками и подкопами, которые подводит под него Невель-
ской.

— Что же ты хочешь сделать? — спросила Юлия Егоровна. — Где твои доводы?

— Да уж доводов-то у меня много, я только не знаю, с которого начать, чтобы доказать всю мою правоту. Хотя бы то, что он без инструкции открытие сделал. И тут нет никакой подлости с моей стороны, что я так верю в инструкцию и прибегаю к букве закона, потому что как раз он хочет присвоить то, что сделано другим. Обо всем этом я напишу в Петербург Гилюле, и уж он доведет до дядюшки. А дядюшке напишу, что сам я признаю открытие, как мне велено генерал-губернатором. Вот и пусть тогда дорогой дядя схватится за волосы, он снаряжал экспедицию Гаврилова, за которую мы с ним награждены! Боже мой, боже мой, за все отвечать Завойко как маленькому человеку, который прожил все свои лучшие годы в Аяне и только желал добра другим и не щадил себя и своих детей.

В его словах была доля яда, и Юлия Егоровна отлично понимала, в чей огород он кидает камни. Муж сетовал на ее родню. Он всегда был безукоризненным исполнителем всего, что требовал дядюшка, верным и надежным его глазом на побережье океана.

— Конечно, Юлечка, — говорил он, — как же Фердинанд Петрович мог не знать, что с Амуром, когда вон и Муравьев говорит, что еще в сорок пятом году Крузенштерн будто бы перед смертью уверял, что Амур должен быть доступен, и будто бы уже тогда Невельской заявил, что он как лучший ученик в корпусе у Ивана Федоровича непременно исправит ошибки своего учителя.

У Завойко мелькала мысль, что родня его по жене — люди тонкие, образованные, ученые, которые, как он до сих пор полагал, все знали и все могли и которым он верил и служил верой и правдой, и хотел, чтобы дети его, оставаясь русскими, во всем главном на них походили, — и вот оказывается, что эти-то родственники, а во главе их сам великий Фердинанд Петрович, на этот раз его подвели.

«Родственники меня подвели», — думал он, с досадой глядя на своих детей. Смутно подозревал он, не погубил ли свои способности, живя для родни и надеясь на нее.

Василий Степанович представлял себе, что Врангель, конечно, не очень обрадуется. Но все же для Фердинанда Петровича неприятность не такова, как для Завойко. «Меня тут корить начнут: мол, Завойко виноват, Завойко должен быть за все в ответе».

И он готов был обрушиться со всей своей силой и горячностью на первого виновника, на того, кто тронул все эти дела...

— Так напрасно они думают, что Завойко зря старался! Завойко будет прежде всего сам себе голова и не будет рассчитывать больше на других! Ох, Юленька! Завойко будет адмиралом на царской службе, а не на компанейской, и детей своих прокормит, хотя теперь всю жизнь придется бояться красного воротника!

В душе он проклинал сейчас своих родственников. Он свое дело делал честно, улавливал, что нужно им открывать и что не нужно. А они, оказывается, сплеховали и не смогли всего предвидеть. Правда, Гилюля в прошлом году писал, что Невельской идет на исследования и что надо поэтому поспешить с отправкой Орлова в лиман, договориться с гиляками, чтобы торговать там, и завести с ними приятельство, да спросить у них место для постройки редута. Ясно было, что до постройки редута далеко, но Гилюля спешил и писал это с ведома Фердинанда Петровича. А тут в Петербурге создали Амурский комитет и подняли шум, и Фердинанд Петрович, видимо, поделаться ничего не мог, когда Муравьев возбудил всех своих покровителей — князя Меншикова и графа Перовского, а дядя как раз терпеть не может Министерства внутренних дел.

Завойко все исполнил по письму Гилюли, отправил Орлова в лиман с двумя тунгусами, как было велено. А что до экспедиции, так он был твердо убежден, что Невельской наткнется на мели и повернет обратно.

— Ну кто же знал, что так все обернется! Да, дядюшка Фердинанд Петрович сильно подвел меня. Не знаю, кой черт его дернул показывать карты этому Невельскому. Вот надо теперь намекнуть на это в письме, пусть-ка дядюшка поймет, что он сам себя зарезал, допустив такую опрометчивость.

Когда начиналась брань по адресу родственников-немцев, Юлпя Егоровна не очень расстраивалась. Она со стороны матери была русская и считала себя русской, но сейчас, хотя и боготворила своих родственников, питала к ним неприязнь за своего мужа. Но все это не так уж важно, дело было сейчас в другом. Муж должен как-то действовать. Она знала, что в служебных делах он очень изворотлив и не было случая, чтоб не взял своего. Она хотела видеть в нем фигуру не меньшую, чем дядя, который тоже начинал с путешествий по ледяным пустыням и по восточным морям, но который свое сделал в жизни и теперь смел ошибаться. Но ошибаться Василию Степановичу... Это ужасно! Он жил тут не как ученый, не как открыватель. Он, с такой героической внешностью, энергичный, огромный, сильный и сейчас еще красивый, и вот оказалось, что не мог найти своего подхода в важном деле, надеялся на других. Ей было очень обидно, и злость бушевала в ее душе.

— Какне могут быть у Невельского открытия? — не мог успокоиться Василий Степанович. — Он просто хочет все подорвать. Все они давно подкапываются под Компанию. Да и открытия его, Юлечка, если рассуждать серьезно, ей-же-богу, ложны и сомнительны!

Но по твердому ее взгляду он видел, что она не верит этим доводам.

Василий Степанович клялся, что на Камчатке возьмет свое, там будет независимым хозяином и перестанет чувствовать над собой опеку...

«Но как он выйдет из положения сейчас? — думала она. — Он должен настоять на своем, доказать, что далеко не ошибся, исправить все вовремя. И как он поступит с Невельским?» В этих служебных делах она не могла подсказать ему ничего, да и просто не хотела, рассудив, что он сам виноват и пусть сам найдет, что делать...

— Юлечка, ну посоветуй!

— Ты же сам себе хочешь быть головой, так зачем же советы? Чтоб потом опять валить все на меня? Или опять на родственников?

— Так я уж знаю! Знаю, что мне делать! — свирепо сказал Завойко.

Он уже отправил рапорт Гилюле, где писал, что экспедиция Орлова все исполнила превосходно, что с гиляками договорились; главное, они согласны, чтобы русские

построили редут на их побережье, на полуострове Коль, выходящем в Охотское море. Он написал коротко и о Невельском, об его открытиях, то самое, что не понравится дяде. Ведь для Фердинанда Петровича дело осложнилось еще и тем, что он в свое время приказал отправить экспедицию Гаврилова, которая доказала, что Амур недоступен.

Спустя несколько дней Василий Степанович написал еще одно письмо в Петербург, все к тому же Гилюле, брату Юлии, любимому племяннику Фердинанда Петровича, или, как звали его чужие, Василию Егоровичу Врангелю, который сейчас вершил все дела в правлении Компании. Дядюшка на лето уехал к себе в поместье в Эстляндию и дел знать не хочет, рассорился со всеми в Петербурге.

Завойко написал кратко, помянул, что вечно благодарен дядюшке и вечно будет молить бога за его благодеяния, но что сам решил уходить из Компании и подтверждает то, что писал прежде. Дальше следовало кратко об открытиях Невельского.

— Вот теперь слушай внимательно, Юлечка, — сказал он, читая жене письмо.

А дальше было написано, что Невельской держится гордо, пошел к Амуру без инструкции, хотя и не имел права, но тут похвалялся, что открытия Компании ничтожны и будто ничтожно значение экспедиции Орлова... Напрасно дядюшка, как тут выяснилось, дозволил познакомиться Невельскому с картой Гаврилова, так как эту самую карту он и привез, лишь с другими цифрами промеров и самыми небольшими изменениями. Дальше Завойко писал, что трудно сказать, верно ли, что Невельской сделал исследования и как правильно он там все произвел, что действия Компании нужно продолжить, и полагает, что экспедицию Орлова надо опять послать весной к гилякам и все это дело взять на себя Компании, как она уже давно начала это и может довести до конца.

Тут он пояснил жене, что Компания могла бы обосноваться с факторией у гиляков, что они продадут нам землю. И тут же прочитал второе письмо, к дяде, написанное кратко, что Невельской вернулся с устья и что вход в Амур хорош, а вся остальная часть письма была заполнена рассуждениями о том, как относится Завойко

к предложению Муравьева стать камчатским губернатором.

— А уж больше я ему ничего писать не буду, остальное допишешь ты.

Юлия Егоровна сделала много замечаний по письму к Гилюле. Резкости были сглажены, обвинения смягчены. Она знала, что брат и так все поймет и примет меры. Она переписала письмо мужа своей рукой. Он написал только первую фразу вначале, что сам писать не может, потому что нездоров, и поэтому под его диктовку пишет Юленька...

Море шумело и било льдины. Тяжелый вал битого льда то вздымался под берегом, то опускался. Стояло самое плохое время для Аянского порта. Ветер дул с юга прямо в бухту. Этот ветер напоминал о неприятных разговорах с Невельским, который утверждал, что при южных ветрах Аян открыт.

Если бы не этот ветер, дующий в ноябре и декабре ежегодно и разводящий такое волнение, то бухта Аяна была бы первоклассным портом, и она такая именно и есть, но только не надо оставлять суда на зимовку и осенью не производить тут разгрузки и погрузки. Из-за этого ветра Невельской и другие ему подобные личности, конечно, еще будут придирааться к Завойко.

На зиму было заготовлено коровье и оленье мясо, бочки соленого и свежемороженого сала, мешки пельменей, связки колбасы, окорока, много картофеля и солевой черемши. Юлия Егоровна целыми днями занималась с детьми по-немецки, по-французски и по-русски. В компанейских амбарах все было в порядке, пушнина из Аляски отправлена вовремя, а та, что ждала зимнего пути, приготовлена в тюках. Муж и жена трудились не покладая рук, и все это видели. Казалось бы, их семейное счастье могло быть полным. А у Завойко дела одно другого неприятнее. У него мысли — как весной перевозиться на Камчатку, но и тут беда, вернее, огорчение, Указа о назначении нет! Посулы губернатора были, на посулы он щедр, а чина все еще нет. «Все еще я не адмирал и не генерал, хотя вот-вот уйду из Компании»,

Тут, в Аяне, ветер и ледяной шторм, а у Завойко все готово к зиме и подсчитано, сколько каждый служащий съест за зиму продовольствия и выпьет вина. Завойко обо всех подумал, даже о тунгусах, живущих вокруг.

А там, в Петербурге и в Иркутске, люди задавали балы, жили в свое удовольствие, шумели и хвастались, будто бы решали великие дела, которые он тут делает незаметно, и, конечно, хлопотали себе за это чины и ордена.

«А Василий Степанович Завойко,— думал о себе хозяин Аяна,— должен и кулаком и горбом делать черное дело. И вот оно, море, шумит и не шутит, и надо успеть все и всегда сделать. Завойко успевает. Его чернят и хотят отнять у него и у его детей то, что принадлежит ему. Ну вот, пусть Гилюля поймет, что дядюшка должен нести за все это ответственность. Невельского за его дерзости давно надо поставить на свое место. Компания пусть проверит, верно ли он там мерил или паврал».

Письмо было уже далеко,— верно, подъезжало к Петербургу, когда море встало. Теперь вокруг ледяное безмолвие. Лишь изредка, в очень сильный ветер, слышен далекий гул и шум. Это море грохочет у края льдов. Дети бегают на сопку и говорят, что видно, как водяные горы вздымаются далеко-далеко за огромным полем льда. Там сейчас бушует шторм! Но до Аяна шум почти не доносится. Только чуть слышно... Завойко сидит в эти дни у себя на мезонине и размышляет, что еще надо написать.

Письмо к дяде пошло со своим человеком — попутчиком, родственником Врангелей, который служил несколько лет на Прибыловых островах и нынче осенью возвращался в Петербург. Он и письма передаст, и еще кое-что расскажет. Жаль, что дядя не в Питере, а у себя в Эстляндии. Но Гилюля — золотая голова, с полуслова поймет все, что надо. Вот тогда уж Невельской узнает, как отнимать у других славу и как подкапываться! Что Завойко трудится, как крот, занимается делом, то это сразу понял даже Николай Николаевич и это видят все. Завойко стоит тут и честно служит. И если нападет враг и придется сражаться, то на первой позиции будет Завойко, который охраняет весь рубеж государства и который привел в повиновение даже американских китобоев...

В Петербурге стояла трескучая зима, и стены больших трех- и четырехэтажных зданий побелели от пнея, как что ребятишки в подъездах выцарапывали на стенах разные рисунки — лошадей и собак.

Российско-американская компания, зеленое трехэтажное здание которой стоит у Синего моста двумя подъездами на Мойку, по значению своему приравнивалась к самым высшим правительственным учреждениям. Давно прошло то время, когда пайщиками были ее создатели — сибирские купцы. Еще в начале века правление Компании переведено из Иркутска в Петербург, и все доходы от котиковых промыслов, от охоты на зверей в океане, на Аляске, на Курилах и на всем Охотском побережье идут в Петербург. Высочайшие особы были пайщиками Компании, богатейшие лица в империи, первые министры, любимцы государя, старые адмиралы, почтенные лица, вдовы самого высокого положения. Гилюля это всегда помнил и поэтому для правления Компании заводил всегда все самое лучшее.

Гилюля любил хороших рысаков и следил, чтобы компанейские славились в Петербурге и не уступали бы никому, кроме царских и великокняжеских. Он любил мчаться на рысаке, который вот этак артистически выбрасывает свои сухие ноги и звонко цокает на морозокованными копытами. Но ему нравилась не сама езда, а сознание своего положения в обществе. Гилюля, снимая бобровую шапку, раскланивается, то поспешая сам сделать это первый, вовремя, с достойным видом, то отвечая вежливо, то небрежно.

Он любил, чтобы полсть, цвет саней, костюм на кучере, упряжь — все было подобрано как следует. Он любил порядок во всех делах Компании, в больших и малых, великолепно поставил отчетность, любил, чтобы полы были натерты и в Компании и дома, брюки модны и выутюжены, чтобы к сестре его, страдавшей тяжелым гастритом, приезжал бы врач-педант, который все отлично определяет, требует точно держаться наставлений и не обращает никакого внимания на жалобы и предположения самой больной, чтобы брат его, гимназист, писал ему еженедельно отчет по всей форме о своих классных делах, и полагал, что этим приучает его к порядку и готовит к будущей карьере.

Гилюля читал английские и немецкие газеты, всегда следил внимательно за деятельностью Ост-Индской и Гудзонбайской компаний. Он хранил во всем честь Компании и был уверен, что лучше его никто не знает их, конечно, кроме дядюшки.

У здания Компании рысак встал как вкопанный.

— Пожалуйте, пожалуйте, Василий Егорович, — встретил его краснолицый швейцар. Коренастые люди в ливреях засуетились, раздевая и очищая его от снежной пыли.

Гилюля высок, у него редковатые волосы, плоские, жесткие светлые бакенбарды, широкое желтовато-бледное лицо, серые глаза, длинные руки. Он опрятен, одет свободно, удобно и богато, в лучшее английское сукно.

За последние дни у него немало хлопот...

Еще не получив частного письма Завойко, а имея лишь официальные известия от него, молодой Врангель прекрасно понял, что это скандал. Компания не смела оставить так этого дела. Ее престиж был превыше всего. В это время приехал в Петербург Михаил Корсаков — адъютант и любимец Николая Муравьева. Явился в правление, расхвастался, расхвалил Невельского и держался как-то уж очень независимо.

Гилюля, хотя и русский по матери, ко всему русскому относился с большим недоверием. Он водил компанию с молодыми немцами из баронских семей, и лучшим его другом был Мишель Рейтерн, который называл русских русопятами и русоперами. Гилюле всегда казалось, что к нему, к барону, вот такие русские, как этот Корсаков, как-то нехорошо относятся, дерзки и надменны, кажется, из зависти, недовольны, что на таком месте сидит барон Врангель, а не какой-нибудь татарский или боярский потомок — Мордин или Рылеев. Корсаков ему не понравился, но он, конечно, не подал вида. А известия были весьма неприятны. И посоветоваться, как тут быть, не с кем. Дядя, который все может и все знает, в Эстляндии. Как подступиться к нему? Гилюля понимал, что надо дать понять дяде, что его же репутация в опасности.

Гилюля очень любил колонии и все компанейские дела, хотя на восток не ездил далее, чем за пятьсот верст от Петербурга, когда служил в департаменте корабельных лесов в Морском министерстве и писал книгу о государственных лесах. Он никогда не видал Аляски, Камчатки и Тихого океана. Но радость его велика была всякий раз, когда оттуда приходила какая-нибудь новая карта, получался рисунок или приезжал алеут, не говоря уже о служащих Компании или караванах с колониальными товарами.

Гилюля с юности приучен восторгаться подвигами дяди, совершенными в колониях, и жить его интересами. К тому же управление колониями — дело оригинальное, модное. Правда, не все это понимают. Ведь в России этим очень мало интересуются, нет настоящего колониального духа, как у европейцев, хотя все сочувствуют делам славной Компании, которая владеет частью Америки. Кто еще в Петербурге может этим похвастаться?

Гилюля привык считать себя и Компанию единым целым. Он и в самом деле хорошо знал постановку дел в правлении Компании и живо сообразил, что открытие устьев Амура не только удар по престижу Компании: в будущем это повод для посягательств на привилегии Компании, на ее монополию. Могут заявить, что она не оправдала своего права заниматься там открытиями и исследованиями и эксплуатировать природные богатства, если одно из важнейших открытий сделано личностью из другого ведомства, и все это после неудач, которые постигли в этом же деле компанейских служащих.

«И ведь дядюшка Фердинанд Петрович получил высочайшую благодарность за эту экспедицию! Что же, этот Невельской воображает, что высочайшая благодарность была напрасна?»

Он глубоко был оскорблен и за дядюшку и за всю Компанию: в правлении он привык вершить все дела вместе с Политковским, который отлично понимал, что Василий Егорович ставленник дяди, и без его согласия ничего не делал.

Гилюля привык, что все происходящее на Тихом океане делается с ведома правления, распоряжаются в Аяне — Завойко, на Аляске — Тебеньков и Розенберг и обо всем докладывают сюда, в Петербург. Гилюля привык считать весь Тихий океан как бы собственностью дядюшки и вообще Врангелей, так как два места из пяти в правлении Компании принадлежат им, а Политковский никогда с дядей не спорит. Куприянов, правда, всегда в оппозиции, но его удалось изолировать. Он нервничает и выглядит смешным, хотя, конечно, служил там, плавал на Тихом океане, Куприянов — адмирал. Кто-то говорил Гилюле, что Невельской приходится ему родственником.

Гилюля не желал никому уступать ни на йоту. Завойко, конечно, понимал, какой шум теперь подымут тут, в

Петербурге, враги Компании, как накинутся на ее привилегии... Муравьеву нужен Амур, он тут все твердил об этом. Гилюля признавал, что Муравьев человек дела, тем более что государь любит его. Уж это зло непоправимое, когда государь любит того, кого можно бы и не любить. Людям, подобным Муравьеву, любовь государя и покровительство вельмож заменяют, по мнению Гилюли, энергию и деловые качества. По протекции им все дается. Но Муравьев осторожен, он не навредит Компании, и с ним приходится считаться.

Догадки, предположения и планы возникали в голове Гилюли, но он отвергал их, не находя выхода. День ото дня он приходил к мысли, что тут надо поднять дядюшку. Но как написать ему об этом? Очень опасно! По нынешним временам, когда перечитывается вся корреспонденция, письмо можно послать только с нарочным.

Дядя сам поймет, какой козырь в руки получают его смертельный враг — начальник Главного морского штаба князь Меншиков, который ненавидит в последнее время Компанию, и еще больший враг — министр внутренних дел Перовский. В морском ведомстве косятся на Компанию. А московские либералы хотели бы сами пробраться в колонии, портов там настроить, навезти туда лабазников, алтынников откуда-нибудь из Нижнего или из Иркутска...

Вот в эту-то пору и получил Гилюля частное письмо из Аяна от сестры и зятя.

А вскоре пришло известие от дяди. Он сообщал кратко, что Завойко написал об уходе из Компании. Сам дядюшка собирался в Петербург.

«Ну, теперь гром грянет над их головами!» — торжественно думал Гилюля, обкусывая гусиное перо.

Кое-что уж было сделано. В Министерстве иностранных дел Сенявин — начальник азиатского госдепартамента — ужаснулся, узнавши, что судно ходило в Амур без инструкции.

В Военном министерстве отозвались весьма неодобрительно о действиях Муравьева.

Сенявин сказал Гилюле, что граф Карл Васильевич Нессельроде сам будет докладывать обо всем царю.

Вскоре Гилюля узнал, что доклад состоялся...

ОБИДЫ НЕ ПРОЩАЮТСЯ

Жизнь русскую, не установившуюся, задержанную и искаженную, вообще трудно понимать без особенного сочувствия...

А. Герцен

Загремела щеколда, и огромная фигура Волконского с тяжелой сутулой спиной спустилась во двор, где снег, как видно, тщательно отгребали с той стороны, куда калитка открывалась. Сергей Григорьевич повел Невельского по тропе, протоптанной в снегу, к дверям маленького двухэтажного бревенчатого дома, нижний этаж которого был полуподвальным. Ставни в обоих этажах белы; крыша на доме высокая и горбатая.

Спустились по лесенке в полуподвал, открыли дверь, обитую кошмой, и вошли в просторную светлую кухню, с низкими окнами на солнце и с русской печью. На полу, у окна, на низеньком табурете сидел старик. У него в руках ичиг, а рядом на столике вар, суровые нитки, иглы, шило, куски кожи.

— Здравствуй, Михаил Васильевич, — снявши треух, поклонился ему Волконский.

— Здорово, здорово, паря, Сергей Григорьевич! — тонким голосом отозвался старик, подымаясь с табуретки. — Давненько не заходили, милости просим, к нам-то надо было бы уж давно, давно, да все чего-то вас нету. Все думаю, чё же это Сергей-то Григорьич-то глаз не кажет, дружка-то своего поджидал, поджидал.

— Знакомься, Михаил Васильевич, — капитан Геннадий Иванович Невельской.

— Пожалуйте, пожалуйста в зальцу, — выкинул обе руки старик в сторону по направлению к лестнице наверх. — Я, видишь, тут сижу, ичиги шью, светло, хоть цельный день обутки шить можно; видишь, я избу-то ловко-ловко поставил, все солнце на кухне... Анна! — крикнул старик, подбегая к крутой узкой лестнице и подымая голову наверх.

Со второго этажа отозвался женский голос.

— Поди-ка, поди-ка сюда, посмотри-ка, кто зашел-то. Уж не обессудьте нас, Геннадий Иванович, пожалуйста!

— Нет, что же, помиуйте!..

— Нет уж, в зальцу, в зальцу пожалуйста, — упрямо приговаривал Пляскин, видно желая поскорее выпроводить гостей из кухни. — Анна... Ах ты, тварь, зараза, — рассердился старик, наткнувшись на черную лохматую собаку, лежавшую у ножки стола, положив морду на лапы, и наблюдавшую за людьми. — Поди-ка ты, тварюга, на улицу...

Пляскин приоткрыл дверь. Собака нехотя вышла, словно испытывая неловкость за хозяина, что он так всполошился и всю вину сваливает на нее, разумную собаку, которая просто хотела послушать, что тут будут говорить, и посмотреть на нового человека. А старик из угодливости гонит ее вон. Собака подчинилась. Дверь захлопнулась. Хозяин вслед за гостями поднялся наверх.

Второй этаж разделен беленой перегородкой с занавесками на двери. Пол выкрашен, на окнах горшки с цветами, в углу свернута грубой какая-то кошма, на ней полушубок и в самом углу ружье.

— Маркешкино-то барахло убери отсюда, — велел жене Пляскин. — К нам сродственник приехал с китайской границы, гостит, ночует тут. Видишь, как спали, так еще не убрались, все некогда. Солнце в обед, а мы со старухой все крутимся да толчемся вокруг себя...

Пляскин и Волконский разговорились про разные здешние дела, про базар, про охоту и лошадей. Михаил Васильевич был предупрежден, что к нему зайдет капитан, но не знал, по какому делу.

Старики, оба седые и рослые, оба с длинными волосами, в простых рубахах, сидели напротив друг друга.

У Волконского брови густые, черные и крупный нос, властный, пристальный взор, густой голос. У Пляскина лицо скуластое, плоское, широкое, как у монгола. Усы жесткие, темно-русые, с густой проседью; борода растет плохо, он ее бреет, шея желтая, в морщинах. Он плечист, но суше Волконского.

Сергей Григорьевич сказал, что Невельской пойдет на Амур на корабле, зайдет с моря, ищет людей, побывавших на этой реке, хочет поговорить.

Пляскин, как и все иркутяне, уже кое-что слышал

про эти дела, однако сам побаивался беседовать с капитаном по многим причинам.

— Вот Маркешка-то бы рассказал, так ладно было бы! — воскликнул Пляскин. — Он поди бывал на Амуре-то? — обратился Пляскин к жене, вносившей блюдо с картофельными шаньгами и пирог с толченой черемухой.

— Да бывали ли, нет ли, уж как сказать, — уклончиво отозвалась Анна Алексеевна, моложавая черноглазая женщина с круглым лицом, скулы которого были сглажены ее полнотой. — Да, однако, уж и как сказать, не знаю. Тамо-ка они где-то близко живут. Амур-то у ног течет, так как не бывал.

— Ах, Анна Алексеевна, — воскликнул Волконский, — какие же вы дипломаты с Михаил Васильевичем! Да разве ты сам не бывал? — обратился он к хозяину.

— Да уж не знаю, бывал ли, нет, уж чё-то позабыл.

— Сам мне рассказывал, что смолоду с артелью ходил из Нерчинска на Амур, — обратился Волконский к капитану, — и еще говорил, что там трава огромная, выше человеческого роста... Как ты не помнишь? — пробубнил Волконский недовольно.

— Вот память-то стариковская, — прищурился хозяин хитро, но весело, так что оставалась надежда, что, быть может, вспомнит.

— Какой тут подвиг — на Амур-то ходить! Река и река! — сказала Анна Алексеевна. — Наш-то тятя так все сказывал, что, мол, Шилка да Аргунь, они сделали Амур... Подвига-то нет! Ей-богу, — улыбаясь, покачала она головой. — Только шибко взysкивают за это. Так нынче поди никто и не ходит. Маркешка-то сказывал, полиция в нашу станицу приехала, будто хотели даже запретить на китайской стороне сено косить. Уж это чё такое?

— Она, видишь, родом-то с Аргуни, откуда все походы-то начинались. Тоже поди знает, какие там неведомые страны! Девкой-то поди с отцом лапы сбила, огребаясь. Бечевой-то таскала лодки отцу. Она ведь дальняя, я ее брал, когда сам там скитался.

— Нет уж, ты изволь, выкладывай все, а мы тебя не подведем. Я помню, ты мне много рассказывал. Про какого-то знакомого, которого везли в клетке на верблюде из Китая.

— Так вот самый Маркешка и есть! — показывая на неубранную кошму, воскликнул Пляскин. — Спроси-ка его, так он расскажет. А я уже не помню. Да и где был, уж не знаю, названия все позабыл.

— До Каменки, говорил, не могли дойти, — снова, обращаясь к капитану, как бы между прочим обронил Волконский и хитро прищурил один глаз.

Хозяин вспыхнул.

— Пошто до Каменки не дошли? Нет, потом-то мы и до Каменки, и до Богдойки, и до Шилензы были, на Сухую Падь шли, чуть не до Улус-Модона... Пошто не могли до Каменки дойти? — с обидой сказал старик.

— Да ведь сам же ты сказывал, что боязно было, там стражники ходят.

— Нет, нет, Сергей Григорьевич! Ты чего-то хватил! Стражников там не бывало! Это летом мы встречали, они на лодках идут, их орочены берегом тащат, найон едет, жирный, как максун.

— Что такое максун? — спросил Невельской.

— Паря, как не знаешь! Для Сибири выхода ищешь, чтобы к морю дорога была, а сибирской рыбы не знаешь. Чем торговать-то будем?

— Разве максуном? — спросил Волконский.

— Конечно, чем не рыба максун, жира в ней — дивно! Паря, не рыба — объеденье. Сказывают, такой рыбы нигде нет. Пошто ею не торговать?

— А как-де вы на Амуре чуть с голоду не пропали?

— Ну, это где не бывает. Это поди-ка и в Москве с голоду пропасть можно. А потом мы знакомых завели, так уж больше не голодали никогда. Они нам позволяли из своих запасов брать. У меня знакомый есть, аж с самой Буреи, все звал к себе гостить и рассказывал. Он русские молитвы знает. Мало что у русских никогда не бывал.

— Что же он, крещеный? — спросил Невельской.

— Не знаю, крещеный ли Хунька? — обратился старик к жене, но та молчала, видно намереваясь держать язык за зубами.

Появилось вино, Пляскин и гости выпили по рюмке.

— А один раз зимовали мы в тайге, и была непогода, а Хунька мне стал рассказывать, что видал карту, на которой по-китайски все написано, и стал объяснять, что, мол, маньчжур обманывает Русь.

— Чем же?

— Да будто, видишь, границу признали по Становому хребту, а хребет идет и расходится надвое. По какой ветви — не сказано. Вот Хунька тот раз клялся, будто граница не так идет, не по тем горам, неверно нынче признана... Вот у нас в доме, жалко, бумаги нет, я бы нарисовал.

— Да вот бумага,— живо достал капитан тетрадь.

— Я, когда с экспедицией ходил, так видал карту, на Хунькину похожа.

Старик довольно толково нарисовал Становой хребет, идущий из Забайкалья к морю и разветвляющийся надвое.

Невельской сидел, вытянув шею. У него был такой вид, словно он сильно испугался. Глаза его перебегали с лица старика на тетрадь и обратно.

Внизу хлопнула дверь. Старик закрыл тетрадь, вскочил и сбежал по лестнице. Пришел сын его — мужик лет тридцати, недавно вернувшийся из дальней поездки.

— Наверх зайдешь, чего будут спрашивать — ни слова!

— Да я уж слышал, они проводников на Амур ищут,— отозвался сын.— Слышать, идет разговор. Туда собирают экспедицию.

— Молчи, дурак! — Старик сделал зверское лицо и показал кулак.— Ничего не знаешь! Был в Забайкалье — и все. Захочет Маркеша — пусть рассказывает. Где он пропастился?

— Сейчас зайдет,— спокойно отвечал сын.

— Вот Маркешка приехал,— сказал старик, возвратившись к гостям.— Он уж тасканный, его давить хотели и протокол с его сымали, и он ничего не боится. Он из той же станицы, откуда моя Анна. Старший-то мой сынок, Иван, нынче туда гостить ездил, шурин помер, так делились, ему доля вышла. Вчера же вернулся, не ближняя дорога, да Маркешка увязался с ним. Будет вам кстати.

Анна Алексеевна спустилась вниз. Там слышались какие-то приглушенные голоса,— видно, она давала Маркешке наставления.

Невельской попытался узнать у молодого Пляскина, бывает ли нынче кто-нибудь из жителей той станицы на Амуре.

— Никто не ходит,— отвечал Иван.

— А ты спрашивал?

— Пошто не спрашивал? — вспыхнул мужик. — Только нонче во всем дана линия. Так все соблюдают и имеют свое сознание! На первом месте — закон! Сполняем! «Врет верняком,— подумал капитан,— но, кажется, его не возьмешь».

Явился Маркешка. Он мал, с подростка, желт лицом, скуластый, сероглазый.

— Здравия желаю! — вытянулся он, завидя мундир офицера.

Через некоторое время все сидели за столом. Пляскин налил Маркешке водки, но тот отставил ее в сторону, хотя выпивал.

— Я Амур прошел сквозь,— заявил Маркешка с гордым видом. — Был в Айгуне, ходил зимой и летом, сызмальства. Продавал ружья, вернее, менял. Сам делаю, малопульки, и моими ружьями по всему Амуру бьют зверей. Могу соответствовать в полной форме. Знаю все. Сам был в Китае, и вывезли меня через Ургу на Кяхту в клетке, потому что я произвел смущение и даже сам китайский губернатор в Гирине со мной беседовал и улыбался.

Маркешка стал рассказывать про свои приключения. Водка стояла рядом, но он не пил, желая, чтобы все видели, что говорит он в здравом уме и в трезвой памяти.

— А пошел бы ты, Маркел, проводником в экспедицию на Амур? — спросил Волконский.

— Чего это? — переспросил Маркешка с недоумением.

— Паря, будут платить хорошо,— заметил Пляскин.

— Я за деньгами не гопись,— скривившись, небрежно вымолвил Маркешка.

— Послушайте! — воодушевившись, сказал Невельской. — Пойдет на Амур экспедиция. Это не на охоту и не просто для торговли, а государственная экспедиция! По повелению государя императора! Вперед и вперед, туда, где еще никто не бывал! Ведь вы человек, которого там знают. Сам говорите, что тунгусы охотятся там за вашими винтовками...

— А Муравьев про это знает? — спросил Хабаров.

— Знает.

— Я-то не пойду,— молвил Маркел.

Невельской стал говорить, что наступило время, когда может исполниться заветная мечта народа.

— Вообрази только, ты встретишь друзей, которые тебе вечно благодарны за твое оружие...

Но чем больше воодушевлялся капитан, тем сильнее зло разбирало Маркешку.

— Проводником не пойду,— заявил он капитану.— Рви, жги огнем, ваше высокородие, я сам себе сказал, что больше не пойду.

— Ты что же, ослушником хочешь быть? Ведь все мы исполняем волю государя. Нам нужны проводники...

— Могу самому царю сказать! Поди знает, что за глаза и царя ругают... Еще похвалит меня! Не пойду!

— Почему же? — недоумевая, мягко спросил Невельской.

Ему казалось, что тут какое-то недоразумение, может быть, каприз знатока своего дела...

Хозяин стал мигать Маркешке.

— Ты чего подмаргиваешь мне? — Тот оставил прочь рюмку с водкой.— А пошто твой сын Ванька Пляскин не хочет вести экспедицию? Он же тоже бывал. Не подмаргивай, не подмаргивай! Гляди, моргат, как девке! Хоть бы Ванька, хоть кто — никто не пойдет.

Невельской покачал головой.

Волконский положил свою тяжелую руку на маленькое плечо Маркешки. Тот молчал, чувствуя в эту минуту, что люди вокруг хорошие, но что он не может совладать с собой. Он понимал, что во всех его злключениях капитан не виноват, но удержаться не мог.

— Нет, я не пойду,— отвечал Маркешка, взглянув снизу вверх в глаза Волконского. «Когда сам хотел, за это пытали, а теперь кланяются! — подумал он, но не сказал, удержавшись, и молчал, размышляя.— На черта мне теперь ваши поклоны, забьете чуть не насмерть, а потом начинаете лизать, мол, ах, подвиг, иди проводником! Как сучки! А я не пойду! Такого расположения нету».— Я в темнице сидел у китайцев, было грязно и кормили худо. А потом вывезли меня в Расею и выпустили домой... А потом опять схватили — и в яму. Шибко обидно было... Я чуть на себя не покусился.— Маркешка всхлипнул.— И вот с тех пор здоровья нет и меня от всех казачьих учений оставили, службу не несусь! И проводником не пойду. Мог бы, но не пойду! Да уж и не могу! —

спохватился он.— Когда-нибудь до самого царя дойду! Я Муравьеву все сказал про это. Его превосходительство! А что...

Маркешка осекся и умолк.

Волконский спросил, глубок ли Амур в верховьях. Маркешка отвечал на вопросы охотно, но как только начинали уговаривать пойти проводником — злобился...

Когда гости уходили, хозяин и хозяйка униженно кланялись. Старик суетился с виноватой улыбкой, побежал в одной рубахе на мороз, провожал до ворот и опять кланялся. Гости видели, что перемена произошла неспроста, старик понимает свою вину. Свободное и дружеское обращение, с каким он встретил Сергея Григорьевича, исчезло...

— Вот вам наши современные землепроходцы,— сказал по-французски Волконский, выбравшись из калитки.— Но эти же самые люди пойдут за вами, когда убедятся, что вы твердо идете к цели. Полезен вам был этот разговор?

— Да, конечно.

— Тернист ваш путь, Геннадий Иванович! — молвил Сергей Григорьевич по-русски.

Невельской шел, вытянув шею, уставившись взором в одну плывущую точку. Глаза его горели. Он прекрасно понимал, почему вот в таких случаях упрямятся и капризничают человек, когда от него что-нибудь зависит.

Муравьеву он не собирался рассказывать про этот разговор. Тот как-то сказал, что народ надо пороть, учить и пороть.

А Маркешка через два дня поехал домой. Выбрался он на ледяной простор Байкала, завидел лес на горах. Ни лесу, ни горам нет конца и края. Привычная тоска охватила его.

«В Иркутске веселей,— подумал Маркешка.— И славный попался этот капитан, как он вскочил, вскричал, куда пойдет с экспедицией, как пройдет, руками размахался...»

И подумал Маркешка, что напрасно выказал свой нрав.

Теперь, оставшись один среди великой и безлюдной природы, он чувствовал, что тут никто ничего не делает,

хорошие люди редки, а капитан показывает, что готов постараться.

Казалось Маркешке, что, попроси его капитан еще раз, он бы пошел проводником. Но уж было поздно, не возвращаться же.

Но потом он вспомнил, как привезли его в Кяхту на верблюде, как его обидели, изругали свои же. Горько было все это видеть и слышать. Но это бы не беда. Вернулся Маркешка домой, жил в свое удовольствие, гордился, рассказывал, все признавали его подвиги, но вот в прошлом году, после приезда в Забайкалье Муравьева, вышли новые пограничные правила. Явились чиновники из Кяхты, вызвали Маркешку и давай ругать, зачем ходил на Амур. Маркешка за словом в карман не полез. Ему грозили, что увезут в город, как контрабандиста засадят в тюрьму.

И пошли придирки за старое.

Опять горькая обида охватила Маркешку, и он даже пожалел, что еще мало выказал досады капитану.

Хотя не капитан обижал его и держал в тюрьме, но Маркел Хабаров готов был теперь зло срывать на ком угодно, чтобы все люди знали, как он обижен ни за что. И пусть от Маркешки добра не ждут, если у них такие порядки. Теперь, если бы кто-нибудь из городских спросил Маркешку про какой-нибудь пустяк, и то он никогда не ответил бы толком, напутал бы назло. Новый прилив ненависти охватил его...

Глава тридцать вторая

ИРКУТЯНЕ

Несмотря на все свои сомнения и страхи, Муравьев энергично готовился к лету. Он составил обширный план действий, одной из частей которого был проект занятия устьев Амура.

Невельской также деятельно готовился. Его ожесточенные споры с Муравьевым продолжались.

Карты были вычерчены набело и отправлены в Петербург, в подтверждение рапортам, увезенным Мишей Корсаковым еще из Аяна. Уехали офицеры «Байкала», кро-

ме Казакевича, который оставался на службе в Восточной Сибири.

Капитан до мелочей обдумал все, подсчитал, сколько нужно взять оружия, пороха, муки, сукна, а также разных товаров для того, чтобы завести торговлю с гилляками и маньчжурами.

Муравьев клялся, что корабли Охотской флотилии — их было немного: «Байкал», «Иртыш», маленький транспорт «Охотск», бот «Кадьяк» — справятся с перевозками всех грузов, назначенных к доставке и на Камчатку и на Амур. Он твердил, что действовать надо надвое — и туда и сюда, и что главное, безусловно, Камчатка.

— Но как справиться? Ведь вы сами были в Охотском море и знаете, сколь оно капризно. Порядка в портах нет, придет распоряжение из Иркутска, так его еще не станут исполнять. Там каждый сам себе голова. Тот же Лярский больше разглагольствует...

— Я даю всем строжайшие предписания. Я сам там проехал, и они знают, что шутить не стану, — отвечал Муравьев. — Мы начинаем ныне наиважнейшее из всего сделанного в Сибири когда-либо после ее занятия. Ослушников я не пощажу, я им всем дал понять недвусмысленно.

Грузы, назначенные на Камчатку, как утверждал губернатор, уже двигались в Якутск и из Якутска в Аян и в Охотск. Уже посланы были приказания о сборе тысяч лошадей для перевозок по обоим трактам к морю всего назначенного на Камчатку. По замерзшей Лене на север то и дело мчались курьеры все с новыми и новыми распоряжениями. Якутские чиновники, по доходившим слухам, стоном стонали и ужасались все новым и новым требованиям и приказаниям Муравьева.

— Надвое! На Амур и на Камчатку! Вот наше святое правило, — говорил губернатор.

Чтобы осуществить все эти планы занятия в одну навигацию устьев Амура и перенесения порта из Охотска в Петропавловск, требовались огромные средства. Денег, отпущенных Петербургом, не хватало, и губернатор решил действовать на свой риск и страх. Капитан уже знал, что в кабинет губернатора ежедневно вызывались чиновники и Муравьев сам высчитывал с ними, где и какую копейку можно урвать.

— Средств мало! — говорил он. — Я обращусь к куп-

цам, но и на купцов надеяться нельзя. Поэтому я решаю послать часть экспедиции Ахтэ на хребет Джуг-Джур мыть золото. Считается, что они пойдут на розыски полезных металлов. Но на самом деле я приказал Меглинскому не возвращаться без пуда золота.

— Но возможно ли это? — спросил несколько удивленный Невельской.

— В Сибири-то? Да бог с вами! Тут я сделаю, что хочу, и никому отчета не дам. Это вопрос внутренний и англичан не касается, тут уж я без Петербурга знаю, что делаю. Я бы вообще все прииски из ведомства Кабинета его величества взял бы в казну. Скажу вам больше, я бы сам стал торговать. Да, да! Ведь есть же у нас казенные магазины. Почему бы все магазины на приисках не сделать государственными, а потом и вообще торговать по этому способу?.. Вожу же я товары на казенные работы. А в наше время государство не может шагу ступить, губернатор кругом зависит от купчишек и подрядчиков. Каково мне иметь дело с этими подлецами! Я бы все взял в руки правительства!

Муравьев худ и желт. На душе беспокойно, нет сна и, как назло, печень разболелась, доктора запретили ромок, и нечем успокоиться. А чем сильней расстраиваешься, тем сильней боль в боку. Забываться, кроме работы, нечем. Самое ужасное время — утро. Петрашевцы лезут в голову, будь они прокляты!

План занятия устьев Амура пока оставался в проекте, и хотя подготовка уже шла, но губернатор еще должен был снести с Петербургом и готовил бумаги для отсылки туда. Ожидалось мнение правительства, ответ на доклад и на представление губернатора по поводу открытия устья и занятия Камчатки.

Невельской решил, что если все будет благополучно, то после святок он поедет в Якутск сам, полагая, что надеяться там ни на кого нельзя, чиновники всё будут делать кое-как, провалят любое дело, будут пьянствовать, выставят такие доводы в свое оправдание, что ничего с ними не поделаешь. А грузы, снаряжение, подбор людей, проверку провианта доверить некому. Капитан решил, что сам будет и торгашом, и приказчиком, и вербовщиком, если понадобится, и рассуждения Муравьева по этой части ему нравились. Он намеревался сам выбрать людей в экспедицию: казаков, матросов, солдат.

Он много слышал о знаменитом здешнем Березине, который приходился родственником якутскому окружному начальнику Фролову, а через него и Дмитрию Ивановичу Орлову. Этот Березин служил сейчас приказчиком в Российско-американской компании. Когда Невельской жил в Якутске, Березина там не было. Но он наслышался о нем много. Теперь по его просьбе губернатор послал в Якутск бумагу с приказанием назначить Березина на это лето в помощь Невельскому.

Из Якутска Невельской хотел проехать в Охотск и еще до начала навигации увидеть свой экипаж. Жаль, конечно, что не выполнил обещаний, не побывал в Петербурге и не повидал матросских семей, письма и посылки послал со своими офицерами в Петербург.

Завойко и Лярскому тоже пошли бумаги от губернатора, с тем чтобы они оказали всяческое содействие Невельскому в любом деле, с которым он обратился бы к ним.

Муравьев составлял новый доклад для отсылки в Петербург.

В свободные часы капитан заканчивал свои записки о переходе через Тихий океан. Получалось не очень хорошо, ему не нравилось.

Однажды он подумал, что надо писать так, как рассказывал у Зариных... Предстояло описать шторм в океане. Капитан прекрасно помнил, как все это происходило. Шторм был сильнейший, а «Байкал» уверенно подымался, подбирая под себя волну, которая была выше его в несколько раз. Судно легко переходило через самые грозные валы. В те дни страшная буря четыре раза пронесла «Байкал» через экватор, и все кончилось благополучно.

Он вспомнил, как ждал решающего испытания у Горна. Перед уходом из Кронштадта все предсказывали гибель его судну. Хуже, чем просто предсказывали!.. «В Кронштадте все смотрели на мое судно с насмешкой, утверждали, что его мореходные качества плохи, что оно не будет всходить на волны!»

«А еще судостроители сомневались, хорош ли будет транспорт, неохотно шли на перемену проекта,— подумал он.— Только мастер Якобсон сразу согласился, сказал, что проект хорош. И заинтересовался даже. А потом говорил, что другие суда надо тоже строить по этому же образцу... Славный мой благожелатель Якобсон!»

Капитан встал, прошелся по комнате, подумал, что надо Якобсону написать теперь же, поблагодарить его, и, не откладывая дела в долгий ящик, сел за письмо в Гельсингфорс на верфь Бергстрема и Сулемана.

Кто-то постучал. Невельской вдруг подумал, что сегодня опять увидит Екатерину Ивановну... Он быстро поднялся. Вошел Муравьев.

— Утро какое чудесное! Вы уже работаете?

Губернатор прошел за арку в другую комнату и остановился около двери в сад.

— Вы не влюблены, Геннадий Иванович? — спросил он оттуда.

— Не знаю, — растерянно ответил Невельской, наклонив голову и бессмысленно глядя на бумаги, очень огорченный, что Николай Николаевич явился, не дал дописать и теперь, чего доброго, половина мыслей и выражений забудется.

— У меня есть к вам дело, — заговорил Муравьев, выходя из-под арки. — Вы знаете Евфимия Андреевича?

— Простите меня, Николай Николаевич...

— Что такое?

— Да вот я хочу дописать, так уж прошу...

— Что за счета!

Капитан сел за стол, и перо его быстро забегало по бумаге.

— Так как, Кузнецов вам понравился? — спросил Муравьев, когда Невельской все закончил и поднялся с виноватым видом. Должен вам сказать, что он от вас без ума и желает сдружиться с вами. Евфимий — самый богатый человек в Сибири. Он неспроста влюбился в вас. Он человек малограмотный, наслышался разных теорий и заявляет себя сибирским автономистом, хотя спит и видит — получать ордена из Петербурга. Мы и тем и другим обстоятельством должны воспользоваться. При всем своем самодурстве он человек не глупый, и помощь его нашему делу может быть неоценимо велика. Я делаю вид, что не обращаю внимания на его автономистские разговоры: мол, болтовня выжившего из ума старика... Едем сегодня к нему на обед. Ведь Кузнецов даст нам денег на Амур. Он уже дал мне миллион на больницу, и я дал слово, что назову ее Кузнецовской. Он ведь был, как называют американцы, бандит, такие сплетни ходят. Теперь, как говорится, «надо душу спасти». А ведь мы

с вами нищие, у нас ни гроша за душой. Наша обязанность смотреть на все реально и нашу дворянскую спесь оставить, если мы хотим действовать, а не только фантазировать.

«Он прав», — подумал Невельской.

— Поедем, поподличаем, Геннадий Иванович!

Через час сани губернатора подкатили к кузнецовской каменной ограде. Между двух тучных белых тумб открылись ворота. В глубине двора стоял двухэтажный деревянный дом.

В кабинете у хозяина в шкафах и на столах образцы золотых руд, белый кварц с желтыми прожилками, щербатые золотые самородки, рябые в углублениях и гладкие, как полированные, круглые на выпуклостях с осколками кварца в морщинах. Тут золотой песок в китайских чашках и редкие огромные самородки, из которых один величиной в два кулака. Тут же ржавые, черные, синие, зубчатые камни — образцы железных, серебряных, оловянных руд, каменного угля.

За обедом губернатор помянул про Амур: что трудно его занять, много требуется средств, а их нету. Петербург жметя, не дает ничего для Сибири. Отсюда идут туда целые караваны с золотом, серебрянка за серебрянкой.

— Качают наше золото, берут меха, всё тянут отсюда. А сибиряки — в темноте, отсталые. Подсчитать если, сколько одна Компания выкачивает отсюда богатств!..

Кузнецов слушал молча, смотрел не мигая, ловил каждое слово. Рассуждения Муравьева трогали старика, они были верны, попадали в самое сердце, но он знал, что губернатор зря не станет жалобить. Ему чего-то надо. Кузнецов примерно представлял что, но желал знать подробности, хотя и не торопился выказать свои чувства и соображения.

Муравьев помянул про Амур как бы между прочим и перевел разговор на кяхтинский торг, сказал, что вот Невельской интересуется, какие вкусы у китайцев, что они любят; он хочет торговать с ними на Амуре и завести приятельство, так надо бы дать ему руководство и линию по торговой части.

Кузнецов тут же повел гостей на двор, в амбар, и стал показывать, какое просо, рис, леденец и мануфакту-

ру получает он на Кяхте в обмен на свои товары. Стал объяснять, как узнавать сорта проса, каков должен быть хороший леденец, какая мануфактура лучше. Невельской набирал просо в горсть, подбегал к двери, смотрел на солнце. Старик почувствовал интерес к своему купеческому делу и оживился. Никогда и никто из образованных не затевал с ним подобных разговоров.

— Что же ты, Геннадий Иванович, хочешь записаться в гильдию и открыть лавку на Кяхте? — хитро спросил Евфимий Андреевич.

— Да нет, он все для Амура! — заметил губернатор, тоже на всякий случай запомнивший все, что говорил купец про торговлю.

Кузнецов рассказал, каких товаров требуют китайцы, и кое-что показал тут же в амбаре: красное сукно, назначенное на Кяхту, ножи, топоры. Он обещал свозить капитана на свои большие склады.

Вернулись в дом.

— Вот я тебе совет дам, Геннадий Иванович. В Казани производят шапочки и башмаки, отделанные золотом. Вещи эти возьми на подарки гилыкам и маньчжурам, и они будут от тебя без ума. Проси Николай Николаевича, чтобы заказал все и чтобы вовремя по зимнему пути доставили их в Аян.

Кузнецов советовал запастись железными изделиями, самыми пестрыми ситцами, особенно красным сукном.

— А нельзя достать мне где-нибудь карты китайской, как вы думаете? — спросил Невельской.

— Эх, Геннадий Иванович, все можно достать. И все можно сделать. Ведь вот если, скажем, с этим Амуром. Вот, ваше превосходительство, говорите, что средств не хватает. Да если поднять красноярского Кузнецова, Басниных, Трапезниковых, молодых Кандинских — миллионы бы сложили! Верфи бы свои завели, флот.

— Что же мешает, Евфимий Андреевич? — спросил Муравьев.

— Как сказать, Николай Николаевич, отец мой! — криво усмехнулся Кузнецов.

— Никто не мешает! Будут порты, флот, так поплывем всюду, — отвечал Николай Николаевич. — Но сначала надо плыть по Амуру, а плыть не на чем.

— Нужны пароходы, — заявил Невельской и переглянулся с губернатором.

— Обязательно нужны! Первый амурский пароход так и назовем именем кого-либо из почетных граждан в Иркутске, кто первый даст деньги.

Старик смотрел пристально и мутно. Всего капитала оставлять наследникам он не желал, да и так будет чего разделить. А надо, надо оставить по себе добрую славу в Сибири. Смолоду кайлил породу, крутил ворот, лямки на плечах носил, бывало, и пьянствовал, и мужних жен срамил. Но вдруг обрушилась старость и немощь, и не нужны стали огромные капиталы. А Муравьев тут как тут. Пожертвовал Евфимий на больницу — Муравьев исхлопотал орден. Лестно, с орденом ходит Кузнецов. Теперь Муравьев еще намекает. «Конечно, придется дать на пароход. Помру — Занадворов, мой зятек, гроша никому не даст».

Старик достал красный платок, вытер глаза, подумавши, что верно, будет у него еще один орден на старости лет, что его именем, старого-то разбойника, назовут больницу и приют и что, верно, тех же денег хватит на новое здание для института благородных девиц. И даже пароход пойдет по Амуру.

— А когда встанешь на Амуре? — спросил он Невельского, вскидывая лохматые брови.

— Вот это все от Николая Николаевича зависит, — невесело ответил капитан.

— От Петербурга, — сказал тот.

— Ты знаешь, Геннадий Ивапович, я молодой был... Узнаю, где открыли прииск и кобылка туда сбежалась — и я туда! И я беру, что мне надо! Вот так и ты... Разумей! А сколько стоит пароход?

Невельской рассказал, во сколько обходятся речные суда в Лондоне.

Муравьев перебил его, сказал, что пароход построим сами, переоборудуется Шилкинская верфь, машину будет делать Петровский завод, и поэтому станет она дороже английских.

— Зато будет своя.

— Два пуда золота даю для начала, — сказал Кузнецов, махнув рукой небрежно, как бы желая прекратить все эти разговоры.

— По рукам! — воскликнул Муравьев.

— По рукам!

Выпили шампанского за устройство пароходного сообщения на Амуре.

— А правда, что все старые генералы болеют из-за шампанского? — спросил Кузнецов у Муравьева.

— Как же! Трясутся, их под руки водят, это из них шампанское выходит!

— Я смолоду пил сивуху...

Кузнецову надоели разговоры про Амур. Он, как и всякий богатый человек, не любил, когда с него тянут деньги, хотя бы и на явно полезное дело. Он начал билетничать, помянул Волконскую, что она поедом ест мужа и отселила его, чтобы не портил ей хорошего общества, не появлялся в гостиной в своей мужицкой рубашке, что он завел себе знакомых мужиков и сидит с ними на базаре и рассуждает. А жена со злости чуть не лопнет.

— Вот, брат Геннадий Иванович, каковы наши благородные красавицы! Смолоду они красавицы, а к старости — ведьмы!

— Это не так, Евфимий Андреевич,— резко сказал Невельской.— Мария Николаевна благороднейшая женщина, мы с вами не стоим ее мизинца.

— Толкуй, толкуй, я все это слышал,— небрежно махнул рукой Кузнецов.

— Как вы можете так рассуждать, дорогой Евфимий Андреевич.— Невельской ухватил миллионера за пуговицу.— Сибирь вечно бы прозябала, не будь в ней таких людей! Много бы вы сделали со своими приисками для Сибири! Вы сами приобретаете от них интересы! Да и как вообще можно говорить,— он с силой подергал пуговицу,— Мария Николаевна совершила беспрецедентный...

— Она дочь хочет за Молчанова выдать!

— Может быть! Но это не ее вина! Поймите весь ужас ее положения! Нет, ее нельзя винить! Со страха за дитя бог знает что сделаешь!

Муравьев посмеивался, но в разговор не вступал. Евфимий, видя, в какой раж и пыл вошел капитан, отшатнулся в кресле, а тот хватал его за пуговицы, потом тыкал пальцем в грудь и почти кричал, уверяя, что Мария Николаевна человек благородный, что она лишь соблюдает известные условия и могла бы всем пренебречь.

Евфимий крикнул людей, чтобы подавали еще шампанского.

— Ладно, твоя правда! Видно, ты в самом деле Амур займешь, эка ты меня, старика, прижал! — пошутил он, обнимая умолкшего и несколько растерявшегося Невельского.

— Из дворян ли он? — спросил потом Евфимий у губернатора.

— Дворянин!

— Столбовой?

— Как же! Почему же сомнение?

— Да хватает он ловко... Знает! Этак за ворот взял меня и тянет к себе... Пальцы, так и гляди, подымутся... Как я, бывало, — со вздохом молвил старик.

— Да что вы, Евфимий Андреевич, он в морском корпусе воспитан...

— Значит, кажется мне! Может, нарочно люди намекают?

— Ерунда... Все знают вас с самой хорошей стороны! Это вам мерещится... А насчет ухваток Невельского... так ведь они с матросами не церемонятся, знаете, моряки каковы! Привычка! Поверьте, он не нарочно!

На другой день Евфимий Андреевич прислал за капитаном тройку.

Войдя в огромный кабинет старика, Невельской увидел разложенную на большом, видимо, нарочно для этого внесенном столе целую коллекцию старинных русских и китайских карт.

— Давно надо было посоветоваться с купцами, Геннадий Иванович, — бубнил старик, входя рядом с гостем в комнату и показывая на разложенные листы.

— А можно взять их себе? Мне следовало бы тут разобратся во всем хорошенько и сделать сверку... Да ведь надо было бы узнать, в каком году какая начерчена... Можно ли все это сделать? Где вы добыли все это богатство?

— Бери! Можешь все забрать! Я отвечаю.

«Трудно сказать, чьи сведения полезнее — Пляскина или Кузнецова...» То, что услышал Невельской в маленьком домике у Михаила Васильевича — о разветвлении хребта надвое, — сегодня подтверждалось. Действительно, от Станового хребта к югу шел другой хребет.

В этот день Кузнецов повез Невельского к другому сибирскому миллионеру — к Баснину.

— Дочка у него — облепиха, за ней миллион приданого! Женись! Будешь наш, сибиряк! Мы тебя на руках станем носить, разбогатеешь. Когда-нибудь тебя своей головой выберем.

В особняке Басниных зимний сад, померанцы со зреющими плодами, масса цветов.

Здесь собрались иркутские миллионеры, те самые бритые купцы во фраках, про которых капитан читал еще в Петербурге. Вышла Аделаида — прехорошенькая девица, про которую Геннадий Иванович уже знал, что она одной из первых закончила Иркутский девичий институт; она — воспитанница Дороховой, постоянно бывала у Волконских, Трубецких, Зариных, свободно говорила по-французски. У нее умные светло-карие глаза, гордый профиль, тяжелая коса.

Капитан танцевал с нею в этот вечер.

Отец ее, сухощавый, остролицый, с короткими седыми усами, рассказал Невельскому, что покупает дом в Петербурге.

Тут тоже все время слышалась французская речь, гремела музыка.

На ужин были сибирские деликатесы: байкальские омули, енисейская костерь и стерлядь, хариусы самого нежного копчения, оленина, строганина и даже необыкновенная свежая камчатская сельдь, доставленная в Иркутск в замороженном виде, сласти из сбитых кедровых орехов, какие-то особенные настойки на здешних травах и еще множество всякой всячины, свезенной чуть ли не со всей Сибири.

— Только бы нам отложиться от Петербурга, — во всеуслышание рассуждал, сидя в зимнем саду, под зрелыми померанцами, пьяный Кузнецов. — Мы бы тут, Геннадий Иванович, устроили республику. Ты видишь, какая у нас сила! Видал наших омулятников?!

— Николай Николаевич сказал мне, что непременно государь пожалует вам орден, — почтительно ответил Невельской.

Старик опять вынул красный платок. Очень приятно было услышать это. Баснин и Трапезников, верно, лопнут от зависти.

— Пойдем, — с трудом поднявшись, пробормотал старик...

В гостиных Иркутска в эту зиму в моде были морские разговоры, и казалось, что все сделались моряками. У всех на устах были морские приключения. Струве и Штубендорф, явившись из плавания, сильно способствовали развитию морских разговоров в обществе. Мадемуазель Христиани и Екатерина Николаевна возбудили интерес к морю и морякам среди дам. Появление морских офицеров во главе с Невельским окончательно превратило Иркутск чуть ли не в океанский порт, если судить по разговорам.

— Вы говорили, Геннадий Иванович, что во время плавания ваш корабль несколько раз садился на мель. Да? — горячо спрашивала Катя, сидя напротив капитана в маленькой гостиной, где он постоянно рассказывал про свои путешествия. — А что было бы, если бы он наткнулся на камни? Ведь вы шли там, где еще никто не бывал. Это могло быть?

— Конечно!

Часто вопросы, которые задавали сестры, были очень наивны, но именно поэтому на них хотелось ответить подробно и все объяснить.

— Вы не боялись, что ваш корабль погибнет?

— Я не думал об этом. Мы старались предупредить подобный случай, и впереди судна все время шли шлюпки и делали промеры.

— Но почему же тогда вы сели на мель?

— Невозможно измерить все вокруг.

— Но вы могли бы сечь на подводные скалы?

— Могли бы.

— Что бы вы делали тогда?

Он стал объяснять, как подводят пластырь из парусины, когда судно получает пробоину, и как снимаются с камней и с мели.

— Но если бы пробоина была большая, судно могло бы погибнуть? — с трепетом спросила она. — Что бы вы тогда делали?

— Спасали бы приборы, продовольствие и людей. На каждом судне есть шлюпки. На большом корабле их много, а на «Байкале» — баркас, вельбот и шестерка, то есть шлюпка, на которой шесть весел. В них мы можем посадить всех людей.

— А вы видели когда-нибудь, как гибнет судно? — спросила Саша.

Лицо у нее белое, чуть широкое в скулах, нежное, небрежно острый взгляд светлых открытых глаз и сильное выражение маленького пухлого рта.

А младшая, как о ней говорили, сама пылкость; в эту минуту — воплощенное внимание. Кроткое лицо ее рдело, в нем жило выражение непрестанного острого восприятия всего, что говорил капитан.

— Да, я видел кораблекрушения...

Он испытал это в своей жизни, видел страшные картины гибели массы людей, но не стал говорить об этом, а рассказал, как учебный корабль, на котором он плавал, получил пробоину, как спасали людей, и что когда уже мостик был в воде и все сошли, то последним спустился в шлюпку капитан.

— Почему же капитан сошел последним? — спросила Саша.

— Капитан всегда сходит с тонущего корабля последним.

— Ах, как это ужасно! Но скажите, почему, почему это так? — вспыхнула младшая сестра. — Неужели так должно быть?..

Хотя сестры выросли в Петербурге и были уже взрослыми девицами, по многое из того, что известно каждому, приводило их в изумление.

— А если бы ваш «Байкал» погиб, вы поступили бы так же? — спросила Катя дрогнувшим голосом.

Только моряк и капитан могут понять, как приятно услышать, когда милые губы впервые произносят название дорогого судна.

— Да, и я должен был сойти последним. — Тут капитан почувствовал, что невольно сказал это с оттенком гордости и хвастовства, хотя и старался казаться серьезным. — Есть капитаны, которые, даже имея возможность снастись, идут со своими кораблем на дно.

«Но как можно? Человек сознательно гибнет? Какая твердость, какая железная воля», — подумала Катя. Она быстро взглянула в глаза капитана. Оттого, что она впервые в жизни узнала об этом от Невельского, и оттого, что он говорил это так гордо, ей казалось, что он сам готов на такой поступок, если его «Байкал» пойдет на дно. Никогда бы не пришло ей в голову ничего подобного, и никогда не слыхала она о том, что капитан сходит последним или гибнет.

— Какое высокое благородство! — сказала она, когда Невельской уехал. — Ты понимаешь, Саша, как это возвышенно, какой в этом глубокий смысл, какое рыцарство!

— Да, это правда!

— Мы вечно слышим о благородстве, но пока что я привыкла видеть за мою маленькую жизнь вне стен института, что важные люди всегда избегают опасности и все находят это естественным...

— Вы знаете, я слышала мнение, что открытие господина Невельского имеет огромное значение, но оно, как, оказывается, говорят все ученые, уже невозможно, — заявила Варвара Григорьевна своим племянницам поздно вечером, после длительных бесед о чем-то со Струве, Пехтером и другими гостями, которые за последнее время неохотно слушали рассказы Невельского.

— Что значит невозможно? — удивилась Катя.

— Не знаю, мой друг! Это загадка науки. Мне кажется, ты много теряешь в обществе, отдавая такое внимание его рассказам. Должна сказать вам, что открытие господина Невельского недостаточно обосновано научно.

— Кто это говорит? Тетя, тетечка, да возможно ли? Это, право, смешно!

— Господин Ахтэ сам восхищен его подвигами, но он говорит, что другие утверждают и указывают, как это ненаучно. Ученые доказывают обратное, и господин Невельской не смеет опровергнуть лучшие умы человечества.

Вчера Струве как-то иронически заметил о Невельском: «Наш Генаша что-то не явился сегодня...» «Наш Генаша! — подумала Катя. — Неужели общество, которое с таким восторгом встречало господина Невельского, лгало, лицемерило?» Катя вспомнила общий подъем, когда приехал капитан в дворянское собрание, и сказала об этом тете.

— Ах, мой друг, тут была дань Николай Николаевичу. Но, мне кажется, если открытие ошибочно, это и его просчет! Пока все молчат, но говорят, что оплошность может обнаружиться и назревают события... Конечно, Геннадию Ивановичу опасности никакой, за все ответит Муравьев. Ведь капитан на прекрасном счету в Петербурге, он получил «Байкал» по протекции. Он много лет служил с его высочеством, и ему, конечно, всё простят. Он, конечно, очень мил, но так говорят. Инженер Шварц слышал, что даже купцы недовольны: мол, капиталы забором впустую, нет расчета. Что-то такое они говорят...

Катя встревожилась.

«Это низкие сплетни Ахтэ, который ненавидит Геннадия Ивановича! Они не коснутся его», — подумала она. Но ее заботило другое. Невельской смотрел на нее сегодня так, словно хотел сказать что-то очень важное.

Сестры ложились спать. Тускло горел ночник. Ушла горничная.

— Он скоро уезжает, — со вздохом сказала Катя. — Как он странно смотрел на меня сегодня. Как ты думаешь, почему?

— Вот видишь, ты дразнила меня, а сама влюбилась в рябого капитана, — засмеялась сестра.

— Он не рябой... Подумаешь, две-три маленькие рябинки. Рябой — это вон, как говорит наша Авдотья, такой изъеденный сплошь, конопатый.

Слухи о том, что открытие Невельского неверно, дошли и до Муравьева.

— Откуда, что — не могу понять. Какая-то ерунда, — сказал он Зарину. — Если бы знал, забил бы провокатора в колодки. Не знаю, почему вдруг стали сомневаться в открытии Невельского, ссылаются на ученые авторитеты...

Наступило рождество, все ездили в собор, и Муравьев опять делал вид, что молится истово, а возвратившись домой после обедни, уверял Невельского, что бога нет.

Начались балы. Элиз дала свой последний концерт в дворянском собрании и уехала из Иркутска. Предстоял концерт недавно приехавшего флорентийского артиста Горзанны, во всех домах — елки, готовились домашние спектакли. Катя и Саша уже разучили роли. У Волконских готовили сцены из «Ревизора» и из новой пьесы Кукольника.

Глава тридцать третья

ЗИМОЙ

«Перед отъездом я должен объясниться, — размышлял Невельской, прогуливаясь в меховой шинели по берегу Ангары. — Открыто признаться ей... И сказать Варваре Григорьевне и Владимиру Николаевичу. Будь что будет. Более я не в силах скрывать и противиться чувствам...»

Временами ему казалось, что он не смеет просить руки Екатерины Ивановны, что он слишком стар для нее, разница между ними почти пятнадцать лет, думал, что напрасно осуждал Молчанова, сам ведь старше его.

«И все же я не могу не сказать, что люблю... И тогда уж поеду в Аяц, в пустыню! Завтра увижу ее. А послезавтра поеду к ним и скажу все. Я должен так поступить. Я не смею не сделать этого. Долг мой обязывает меня. Как знать, может быть, я встречу сочувствие! А впрочем...» Он не представлял ясно, что ждет его, каков может быть ответ, в сколь ужасном положении окажется он, если откажут.

Он остановился над обрывом и осмотрелся. Иркутск необычайно правился ему. Зима стояла, как и всегда в том краю, суровая и солнечная. Сегодня ударил тот крепкий сибирский мороз, когда птица мерзнет на лету, снег сух и жесток, вокруг все бело. Дыхание валит клубами. Лошади белы, люди в мохнатой курже, над Ангарой — легкая спящая дымка; главы соборов скрылись в ней, и только кресты горят на солнце. В воздухе тишина, дома в снегу, они как бы зарылись в сугробы, на тумбах белые шапки.

Со своих крыш, заваленных толстым слоем снега, Иркутск тысячами труб гонит стоймя, прямо в небо, столбы белого дыма, и по тому, что они толсты, видно, как по градуснику, какой силы мороз сегодня. Воздух редкий и колючий, как крепкий табак, так что курить не хочется, пока не войдешь в теплое помещение, а солнце светит ярко, как светит оно только в Сибири, и за две-три версты слышно, как скрипят и поют на белоснежных улицах города и на Ангаре полозья тяжело груженных сапей и как где-то в далеком тумане кашляют и покрикивают возницы. Это и есть тот крепкий и здоровый мороз, от которого, по мнению сибиряков, вымерзает всякая зараза и хворь и который, чередуясь с летним сухим жаром, дает в той земле, вместе с чистым тасжым воздухом, человеку силу и здоровье.

Морозная, тихая Сибирь напоминала капитану детство в Солигаличске. Здешняя зима той была сродни, хотя и гораздо крепче. На душе у капитана тревожно и радостно.

Может ли быть большим счастье? Капитан никогда не был влюблен, и вот теперь это чувство пришло. На ка-

кие бы картины он ни смотрел, о каком бы деле ни думал, он во всем видел Екатерину Ивановну. Ему казалось, что любовь большее счастье, чем открытие новой земли, чем самый отчаянный подвиг... Даже и в сравнение не шло.

«А если откажет? Все равно я благодарен ей за это необычайное чувство, внушенное мне... А ведь тревоги в моем характере».

Как ни расположена была к нему Катя, но он полагал, что еще могут быть самые разнообразные непредвиденные помехи. Он уж написал матери, что любит и хочет просить руки, и со дня на день ждал ответа, и решил, что, если завтра письма не будет, все равно объяснится. Завтра в доме генерал-губернатора — бал, последний бал перед отъездом на океан. Капитан за последние дни не мог ни спать, ни работать как следует...

Внизу под берегом стояли илимки и ангарки — большие крытые лодки, на которых совершаются все великие путешествия по Сибири людьми, совершенно неизвестными, плавающими по рекам до океана, а также вдоль берегов Сибири и на морские острова. Имен этих мореплавателей никто не знает, и никто не представляет даже, сколь труден тысячеверстный путь вниз и вверх по реке, — недаром изобретены народом эти удобные лодки со своеобразными каютами и высокими бортами. Лодки вытасцены перед ледоходом на берег и теперь занесены снегом, снаружи остались лишь их мачты да острые носы. Кое-где целые баржи торчали из сугробов.

Заскрипели полозья; мимо капитана сходил какой-то сибиряк с ружьем в санях, с плечами, заросшими толстыми, белыми прядями инея. Он поклонился капитану, снял шапку, да так и не надевал ее, проезжая по направлению к ограде губернаторского сада, за которой виднелись раскидистые голоствольные деревья, тоже в снегу и в инее. Окна нижнего этажа дворца обмерзли сегодня дослепу. У форточек настыл лед и навис иней, похожий на связки толстой белой бечевы или на клубки белой шерсти.

Часовой в длинной мохнатой шубе, с огромным выбеленным лбом и с такой же грудью постукивал нога об ногу в окаменевших валенках около полосатой будки. У входа во дворец стояли двое часовых с ружьями. На их шинелях белый иней в виде пелерин, а кокарды похожи на круглые куски льда. Сегодня здесь сменялись кара-

ульные через каждые четверть часа, но чтобы вид был у дворца — шуб не надевали.

Капитан прошел в город, вышел опять на берег реки, посмотрел в ту сторону, где за горами был Байкал. Так ему и не удалось съездить на священное сибирское озеро, которое тут все звали морем. Само слово «Байкал» стало ему давно родным и близким.

Невельской вернулся поздно. Огромный дворец казался пустым. Слабые огни горят лишь в некоторых комнатах. При их свете едва можно различить мебель, портреты. На высокие окна падают тени лиственниц.

В эту пору не спит только один Николай Николаевич да его адъютанты и охрана.

Невельскому нравился этот дом, он казался ему последним замком на самом крайнем Востоке.

С юных лет он зачитывался морскими романами, потом Вальтером Скоттом. Не начитайся он про пиратов, о том, как вздергивали их на мачтах, быть может, не явился бы в нем интерес и к дальним морским путешествиям, и к открытиям. Может быть, точно так же рассуждал бы и он, как и многие в Петербурге, что, мол, меня никакой Амур не касается, зачем же лезть на рожон.

А еще раньше любил он читать о замках, о рыцарях, о битвах во рвах, и у подъемных мостов, и на стенах замков и воображал себя рыцарем, у которого свой замок и все готово к отражению врага, всюду охрана и часовые следят за подъездами.

В юности Геннадий бывал в Дерпте. В те времена еще не было Пулковской обсерватории, морских кадетов посылали проводить занятия по астрономии в Дерпт, где начал свою деятельность Василий Яковлевич Струве. Там, на холме, рядом с обсерваторией, устроен сарай с продольными щелями в крыше для наводки инструментов, стоявших на каменных тумбах; тут-то и занимались кадеты.

В те годы Геннадий впервые увидел развалины настоящих рыцарских замков. Потом он бывал во Франции, Швеции, Германии, Англии, в сохранившихся замках, на приемах, вместе с Константином.

Дом губернатора, особенно ночью, когда вокруг тишина, представляется ему настоящим замком. Эти толстые стены, своды, арки, лестницы, тайные ходы, охрана... Роскошные залы наверху...

Подземный ход ведет под целым кварталом, не в крепость, правда, а лишь в канцелярию. Есть и другой ход — к Ангаре. Позади дома — толстая стена, разделяющая сад и двор. Оказывается, внутри стены — ход, обширный коридор, ведущий туда, где ночует караульный взвод одного из лучших сибирских батальонов, прозванного в Иркутске муравьевской гвардией. И это на самом деле гвардия — по росту, по выправке, дисциплине. Капитану казалось, что в Муравьеве есть романтический дух.

И весь дворец, уж в самом деле как замок, обнесен стеной, низковатой, конечно. Только на Ангару открыт; к набережной не стена, а изящная чугунная ограда на каменном цоколе.

А вокруг деревянный Иркутск, а дальше хребты, Байкал, леса, Монголия, пустыни. Из глубины тех стран, из Китая, из-за великой стены сюда, во дворец Николая Николаевича, приезжают гонцы с дипломатической почтой, верховые китайцы и монголы.

У Невельского было одно важное, как ему казалось, дело. Он попросил у адъютанта узнать, можно ли к Николаю Николаевичу.

Офицер вскоре вернулся и сказал, что Муравьев ждет.

— Николай Николаевич, простите меня, но я хочу вторично обратиться к вам. Когда я приехал в Иркутск, то вы отбили у меня всякую охоту спрашивать о Бестужева. Да я и сам был смущен и готов был на самого себя подумать бог знает что, Николай Николаевич. Я встречался с казаками и со здешними купцами. Но я хотел бы также видеть Николая Александровича Бестужева.

— Вы думаете, он знает что-нибудь? — устало спросил Муравьев.

— Конечно! Он не может не знать. Ведь он образованнейший человек, который прекрасно понимает все.

— Он никогда не говорил со мной об этом. Он показывал мне свои записки и там — ни слова.

— Я уверяю вас, что это ничего не значит. Живя столько лет в Забайкалье, он не мог не заниматься тем, о чем мечтал еще в Петербурге.

Муравьев сощурился.

— Может быть, даже иркутяне не могут быть так нам полезны, как он. Ведь Бестужев и его товарищи замыслили взять Амур, это их давнишняя мечта.

— Откуда вы это знаете? — встрепенулся губернатор. Усталость его как рукой сняло.

— Да ведь Бестужев и Завалишин — моряки, они тысячу раз изучали все эти проблемы. Завалишин преподавал в корпусе, их до сих пор помнит весь флот. Уверяю вас, что у меня нет с ними никакого сговора, ведь мне было двенадцать лет, когда произошло восстание.

— Они государственные преступники, Геннадий Иванович!

— Николай Николаевич, — волнуясь, приговаривал Невельской, и руки его забегали по чернильницам и по гусиным перьям. — Я не прошу вас сделать это сейчас. Но если буду жив, здоров, то хотел бы встретиться, вернуться с Амура. Я не жду, что он мне откроет средства от всех невзгод, но мы с вами должны по крупице собирать все, что может пригодиться, от всех — от простолюдинов, от казаков, от купчишек, от ссыльных. Да, наконец, поговорите вы с ним сами.

— Нельзя, — отрезал Муравьев. И добавил мягче: — При первой возможности я воспользуюсь вашим советом, но не сейчас.

— Я ничего особенного не жду! Но беседа с ним...

— Я понимаю. А какие планы они связывали с Амуром?

— Я не знаю политической стороны дела.

«Вот тебе и замок, — думал капитан, спускаясь по лестнице. — Стоит мне подумать о Николае Николаевиче с благоговением, как обязательно он ляпнет что-нибудь, случится какая-нибудь неприятность. Опять подозрения у него мелькнули: откуда, мол, мне все это известно? Да мало ли что мне известно бывает, как и любому смертному. И что он делает политику из пустого дела!»

Тут Невельской вспомнил про разговоры, которые слышал у Басниных, что Муравьев хитер, у него свободно живут лишь те ссыльные, у которых влиятельные родственники в Петербурге. Через них он пользуется поддержкой таких лиц, как министр двора Волконский или как другой их родственник — шеф жандармов Орлов, брат которого женат на сестре Марии Николаевны Волконской. Иркутяне уверяли, что ссыльным, жившим в Забайкалье, Муравьев потачек не давал и знал, кому можно сделать послабление, а кого держать крепко, хотя все призна-

вали, что никаких притеснений и придинок от него не бывает.

Невельскому много приходилось слышать в Иркутске разных разговоров, и он отогнал все эти мысли. Решив, что раз нельзя встречаться с Бестужевым, то, конечно, обойдется без него, он подумал, что так, из страха, и отказываемся то от одного, то от другого, сами себе все осложняем, устраиваем затруднения.

Утром прибежал адъютант, поручик Безносииков, и сказал, что губернатор требует Невельского немедленно к себе. По тому, как испуганно смотрел на него Безносииков, ясно было, что произошло что-то неприятное.

Тут же адъютант сказал, что пришла почта.

В кабинете губернатора накаленная печь стучала вьюшкой, а форточка была открыта настежь, и белая пленка мороза врывалась в нее, расстилаясь по стене, тая внизу, у пола. Еще рано. Окна на восток замерзли. Адъютант закрыл форточку. Из другой двери вошел Муравьев. Вид у него встревоженный. Адъютант сразу вышел.

— Геннадий Иванович, только что прибыл курьер из Петербурга. Он доставил императорский указ. Прежде всего — не волнуйтесь. Есть приятная для вас весть. Поздравляю вас с производством в чин капитана второго ранга.

Пока Муравьев это говорил, у Невельского на душе похолодело, но сразу же отлегло.

Муравьев быстро и пронизательно взглянул ему в глаза. Взгляд был недобрый.

— Но вы едете не в Аян, а в Петербург. Вас требуют туда немедленно для личных объяснений, со всеми черновыми картами и журналами.

Ток пробежал по нервам капитана. Он в мгновение превратился как бы в сгусток энергии, готовый к борьбе.

Муравьев покусал ус. Глаза его сверкали.

— Карты получены и рассмотрены там. Вам не верят и мне тоже. Гиляцкий комитет, созданный по высочайшему повелению, рассмотрел наши рапорты и находит все ваши открытия сомнительными. Мужайтесь, Геннадий Иванович, вы не один.

«Я не смею сделать предложение, — вдруг подумал Невельской. — Милая Екатерина Ивановна, увижу ль я ее еще когда-нибудь?»

— Наш план занятия устьев под ударом, — продолжал Муравьев. Губернатор сам прочел все вслух. Царь пове-

левал: Охотский порт перевести в Петропавловск, которому быть главным русским портом на Востоке. Камчатка преобразовывалась в отдельную область, губернатором назначался Завойко, казна принимала на себя все расходы, затраченные Компанией на устройство Аяна и аянской дороги. Из Кронштадта в Восточный океан высочайше повелевалось направить крейсера для прекращения насилий, производимых иностранными китобоями. Экспедицию Ахта велено не посылать для определения границ, а направить на исследования в Уддский край.

— Это победа, дорогой мой Геннадий Иванович! — значительно заметил Муравьев, оставляя чтение. — Государь согласился, что граница не может идти по хребту!

Офицеры «Байкала» награждались чинами за кругосветный переход, а за опись устьев Амура — чинами и крестами. В этом втором списке награжденных были все, кроме самого капитана.

«Меня лишили чина и ордена», — только сейчас сообщил Невельской. Отлично понимая все, что читает и говорит Муравьев, он в то же время думал о другом: что он теперь не смеет говорить о своем чувстве, раз ему грозит такая опасность.

Невельской, склонив голову и неприязненно щурясь, смотрел на бумаги, и казалось, что видит сквозь них что-то совсем другое.

— Так выезжайте со всеми черновыми картами как можно быстрее! Я пошлю с вами подробное представление о крайней необходимости нынешней же весной занять устье вооруженным десантом и послать туда судно. Я поддержу вас всеми своими силами и средствами, пушу в ход все мои связи. Вы не одиноки, Геннадий Иванович.

— Почему такое недоверие? — пожимая плечами, спросил Невельской.

— Это дело рук Нессельроде! — сказал Муравьев.

— Я готов выехать сегодня же, — ответил Геннадий Иванович и поднял голову. Взор его был открыт. Перед губернатором был совсем другой человек — молодой и сильный.

— Вечером бал, и вы должны присутствовать. Я все обдумаю и напишу письма. После обеда мы с вами еще раз обсудим все. Ведь у нас все готово? Все планы составлены, и мы знаем, чего хотим. Я составлю подроб-

ную диспозицию, к кому из моих покровителей и с чем вы обратитесь. А завтра — с богом! Чуть свет — и копы будут готовы.

Муравьев сказал, что его также требуют в Петербург, но что он болен и при всем желании не может выехать.

— Вся надежда на вас, Геннадий Иванович. Прежде всего у нас сильная рука — граф Лев Алексеевич.

Они долго говорили.

Опять Невельской спускался к себе вниз по знакомой лестнице. Прошел через вестибюль, открыл высокую дверь, вошел в просторные, светлые комнаты. «Прощайте мои поездки к Зариным, книги, записки, прощайте мои занятия...»

— Евлампий, складывайся, утром едем в Петербург, — сказал он слуге и стал собираться.

Глава тридцать четвертая

БАЛ

Эта преждевременная чуткость не есть непременно плод опытности. Предвидения и предчувствия будущих шагов жизни даются острым и наблюдательным умам вообще, женским в особенности, часто без опыта, предтечей которому у тонких натур служит инстинкт.

И. Гончаров, «Обрыв»

Бал в доме генерал-губернатора всегда был большим событием в жизни Иркутска.

Плошки осветили колонны над входом, к подъезду стали подкатывать сани, из-под ковров и медвежьих полостей выбирались дамы, девицы, чиновники, военные и богачи. И, конечно, в этот праздничный и торжественный час, когда гости подымались по лестнице, убранной парадно и также освещенной плошками, а наверху гремела музыка, никому не приходило в голову, что генерал-губернатора и капитана Невельского, который считался всюду в Иркутске одним из самых близких его любимцев, постигли большие неприятности.

Муравьев нездоров, но отменять бала или не являться на него не пожелал. Весь город ждал этого вечера, и Муравьев решил выйти к гостям.

Некоторое время тому назад, когда у него разболелась печень, он, предвидя возможные события, думал: «Дай бог мне разболеться хорошенько», — но теперь сам не рад. «Хотя, — рассуждал он, — по нынешним временам, если бы я не был болен, так, ей-богу, лучше бы сказаться больным». Он чувствовал, что в Петербурге к нему недоверие, и решил, что сначала поедет туда Невельской. «Он человек быстрый, ловкий, у него есть связи и покровители, да еще характер упрямый и бесстрашие. Я дам ему все карты в руки, и пусть-ка он накинется на них. Я его тут выдержал, как на цепи, а теперь самая пора спустить...»

Однако болезнь давала себя знать. Муравьев старался не подавать вида.

Губернатор и губернаторша встречали гостей. Он — с лицом подурневшим и пожелтевшим, в новеньком мундире со всеми орденами, она — в платье цвета богемского граната, со множеством цветов, почти скрывавших по тогдашней моде ее волосы. Ее белое лицо, как всегда, было спокойно, радостно, а глаза сияли.

Свечи ярко осветили зал, сверкающий от множества хрусталя под потолком и у зеркал на стенах. Все замечали, что сегодня в этом зале появился, кроме обычного портрета Гаврилы Державина, которого вообще в Иркутске считали чуть ли не своим, — им сделана надпись на мраморном памятнике Григория Шелихова в Знаменском монастыре, он тут бывал, — еще один, огромный, в тяжелой раме, изображающий государя императора Николая Первого, тоже во весь рост, но еще больше державинского, и рама была массивней, и позолота на ней гуще. Лицо обычное, как на всех портретах, и тут художник особенно не старался, да на лицо мало кто обращал внимание. Но зато выписан был огромный мундир царя, ленты, звезды, ордена русские и иностранные, пуговицы, выпушки и окантовки, и это занимало многих входивших в зал, особенно служивых сибиряков, которые непременно хотели видеть, как у царя обстоит дело по этой части.

Портрет, блестящий свежим маслом и звездами, царствовал над шумной, разнаряженной толпой гостей, и можно было вообразить, что вместе с тем и над всей великой Сибирью.

Муравьев хотя и с прожестью в физиономии, но весел и бодр, как всегда. Этот новый портрет был его союзником. Он знал, что разит, сбивает с ног своих ненавистников, здешних доносчиков, тайных своих врагов, которые нищут на него доносы и эпиграммы, величая губернатора «чумой родимой стороны», а всех привезенных им чиновников — «навозными». Но теперь этот мундир в золотой раме, с приписанной к нему головой Николая, охранял Муравьева, покровительствовал ему, доказывал, что губернатор настоящий верноподданный.

Муравьеву часто казалось, что за ним следят, особенно теперь, что в его болезни захотят увидеть трусость. Он не желал выдавать ни своих сомнений, ни страданий...

По узкой лестнице подымались сестры Зарины, как называли в Иркутске Катю и Сашу Ельчаниновых. А за ними — дядя и тетя.

— Я никогда не ехала на бал с такой радостью, — говорила сестре Катя в этот день. — Только увидеть, как он взглянет, его лицо, поверь, это высшее счастье, которого я не знала никогда. Услышать, что он будет говорить...

Саша прощала сестре такие разговоры, зная, что Катя фантазерка.

Сестры уже слышали от дяди, что Геннадью Ивановичу, кажется, придется ехать в Петербург, зачем-то туда его требуют и, возможно, со дня на день он оставит Иркутск.

В кисее, с бирюзой в ушах и на шее, с голубым веером и розовыми цветами в белокурых волосах, Катя с волнением поднималась по маленьким старинным ступеням, ожидая, что сегодня произойдет что-то очень важное. Она даже не знала, огорчиться или радоваться за господина Невельского, что его призывают в Петербург, туда, где, как сказал дядя, у него друзья и высокие покровители и где его подвиги будут оценены по заслугам.

Увидя в толпе его лицо, она на одно мгновение почувствовала что-то похожее на страх. Он подошел с тревожным и острым взором. Разговор зашел о пустяках. Саша спросила:

— Мы слышали, вы уезжаете в Петербург?

— Да, — ответил капитан растерянно, опасаясь, что захотят услышать объяснения.

Это был первый вопрос за всю его жизнь в Иркутске, на который он не знал, как ответить.

— Когда же? — спросила Саша, глядя на него широко открытыми глазами.

— Утром...

— Так быстро! — с неподдельным огорчением воскликнула Катя. Этого она не ожидала.

Бал начался...

Геннадий Иванович танцевал с Екатериной Ивановной вальс. Мягкая, ласковая, несколько печальная улыбка не сходила с его лица. Музыканты играли все быстрее, все чаще мелькал мимо громадный портрет государева мундира в золотой раме и стена, обсыпанная пылающими свечами и хрусталем. И он и она молчали. Ему многое хотелось сказать, но он не знал, можно ли, смеет ли он это сделать, как начать. Сейчас, под музыку, он чувствовал особенно ясно, какой тяжелый путь предстоит ему, какой крест, может быть, придется нести, возможно разжалование, гибель... Тем прекраснее ему казалась Екатерина Ивановна. Он прощался с ней.

«Милая, любимая Екатерина Ивановна! Я люблю вас больше жизни», — думал он, бережно держа ее руку и чуть касаясь талии.

— Геннадий Иванович, — вдруг заговорила Катя, — скажите мне, почему так быстро все переменилось и вы вдруг решили ехать?

— Меня требуют в Петербург, Екатерина Ивановна...

— Когда же вы будете обратно?

— Я намерен возвратиться как можно скорей.

Ей казалось, что он волнуется и в то же время как-то странно сух и холоден. «Что все это значит? И смотрит как-то странно».

Музыка стихла. Они остановились, разговаривая, у окна, потом прошли в соседнюю комнату и дальше — в угловую, заставленную кадками с тропическими растениями и цветочными горшками на лесенках.

— Простите меня, Геннадий Иванович, но я вижу, что вы чем-то озабочены...

Она не смела предположить, что у него есть к ней какое-то чувство, что он может быть огорчен разлукой с ней. Самой жаль было, что он уезжает, она чего-то ждала. Ее волновала эта происшедшая в нем перемена.

Он решил, что надо сдержаться, нельзя открывать свои раны. Перед уходом из Петербурга в кругосветное он был откровенен со своей милой племянницей Машей —

девицей этого же возраста, рассказал откровенно про все свои неприятности, пожаловался на засилие бюрократов, открыл мечты о будущем, о том, чего хочет он для России. Маша — умница, прекрасно учившаяся в Смольном, — ничего не поняла и даже удивилась и расстроилась. Видно, дядя ей показался каким-то странным.

А в зале снова раздался грохот, там грянула музыка, и по паркету заскользили чиновники и застучали дамские каблучки. К Кате подлетел адъютант губернатора, поручик Безносиков. Он записан был на этот танец в ее маленькой книжечке.

Она просила простить, сказала, что дурно себя почувствовала.

— Екатерина Ивановна! — вдруг вспыхнув, сказал Невельской, позабывая все свои намерения. — В Петербурге сомневаются в истинности моего открытия. Меня хотят представить ослушником и преступником, обманувшим государя. Требуют, чтобы я немедленно выехал туда для объяснений. Я еду защитить свою честь и честь Николая Николаевича. — И он стал говорить и говорить, безудержно, страстно, подробно.

Ее щеки быстро покрывал румянец, в голубых глазах появилось такое выражение, словно смысл его слов не сразу становился ей понятен, а ее осеняло постепенно, она как бы рассматривала что-то сквозь прозрачную плену. Потом в лице ее явилось новое, прежде никогда не виданное им выражение силы и энергии. В этот миг в ней было что-то от еще неуверенной в себе орлицы, которая еще не зная как, но готова, расправив крылья, кинуться на защиту...

Она вспоминала сейчас разговоры Ахтэ, Струве, тети, озабоченность дяди... Как скуп он был на слова, когда сказал об отъезде Невельского...

А он думал, как она прекрасна... В зале опять стихла музыка, и потом опять танцевали...

— В Петербурге, вместо того чтобы обрадоваться и гордиться моим открытием, — возмутились и решили, видно, наказать за нарушение формальностей. — Он уже не в силах был сдерживаться. — Сегодня пришел царский указ...

При упоминании об императоре она вздрогнула, пугаясь, что капитан может непочтительно отозваться... Он на миг замер, заметив это ее душевное движение, и ничего не сказал.

«Он победит,— думала она.— Да, я чувствовала по его глазам, что произошло несчастье, но никогда бы не могла догадаться. Ах, дядя, как он скрытен!»

По гордому сиянию ее глаз он видел, что Катя волнуется, что она все понимает.

— Геннадий Иванович! — воскликнула она.— Я верю, что перед вами падут все преграды! Вашего открытия не могут не признать.

Снова послышался шум бала.

— Идемте,— весело сказала она, беря его за руку.— Слышите! Мазурка! Сестра ждет вас... Я чувствую себя лучше.

Это было время, когда от умения танцевать часто зависела карьера молодого человека.

Когда Муравьев служил в Вильно и в Варшаве и танцевал там на балах, польки приходили в восторг от этого блестящего офицера. Мазурку он плясал с огнем, сверкая взором, в его молодом и энергичном лице с припухшими глазами и густыми крыльями бровей была для полек какая-то иноземная, темная, смуглая красота, привлекательная своим своеобразием, в нем находили они что-то демоническое, когда он в экстазе падал к ногам дамы.

И вот сегодня, когда оркестр грянул мазурку, он чувствовал, что кровь его закипела и боль исчезла. Правда, теперь он был губернатором и вокруг нет прекрасных полек, перед которыми всегда так хотелось отличиться, чьи взгляды разжигали душу, которые и сами танцуют прекрасно. К тому же тогда ему нравилось танцевать мазурку среди враждебно настроенного народа. Своей мазуркой он разогревал холодные сердца. Все видели, что это настоящий пан, если он так лихо пляшет. Темперамент, ловкость, удасть, жар играющей страсти, плавность, легкость и красота понятны были полякам, ценились ими, и чудный танец располагал, хотя бы ненадолго, их сердца к врагу — русскому офицеру — гораздо сильнее, чем призывы и ласки наместника.

Муравьев, великолепно танцуя мазурку, уверял своих товарищей, что преследует этим цели обрусения и что это почти полицейская мера. И он не стыдился, что стал виленским помещиком, получив имение, конфискованное у одного из участников восстания. Он уверял, что паны —

дай им силу и власть — расправились бы не так, согнули бы в бараний рог всю Россию.

Он готов был присвоить вместе с виленским имением и прекрасный танец, и сердца красавиц полек. Но ловкость и страсть, являвшиеся в нем, вызывали к нему лишь симпатию и, как ни странно, располагали самого его к полякам.

Теперь он не смел так танцевать, да уж и росло брюшко, не было той удали. Но закваска еще была.

Когда заиграли мазурку, он сверкнул взором, взметнул брови и с гордым видом провел Марию Николаевну Волконскую мимо жандармского полковника и сибирских миллионеров. Звякнул шпорами, легко понесся на одной ноге. Этот воинственный мужской танец был по его характеру. Он вдруг картинно пал перед бывшей княгиней на колени, расправляя усы и вскинув завитую голову. Потом движения его смирлись. Он более делал вид, что отчаянно танцует, чем танцевал на самом деле. Он лишь делал намеки на движения мазурки, но плавно и ритмично. Он помнил, губернатору можно есть и пить сколько хочет, можно играть в карты, но танцевать слишком пылко не следует. Он остепенился, помня, что смолоду танцами делают карьеру, а в его возрасте и положении этими же танцами можно все испортить. С него было достаточно. Он все же бросил вызов своим врагам, показал, что никого не боится, что по-прежнему почтителен к жене опального князя и открывает в паре с ней мазурку.

А капитан тоже пал на колени, кружа свою даму, и даже гордой Саше казалось в этот миг, что сестра права: в самом деле, он не мал, а, напротив, почти богатырь.

Муравьев заметил радость капитана, и у губернатора опять мелькнула мысль, что он славный малый. Кажется, не понимает, на что идет...

...При разъезде Катя задержалась у выхода из залы.

— Что ты ждешь? — подошла к ней сестра.

— Я пикого не жду, — пожалала та полуголыми плечами.

— Ты так волпуешься сегодня, я вижу...

Подошел Невельской. Саша оставила их. Ее окружили молодые люди.

— Прощайте, Геннадий Иванович, — сказала Катя капитану. — Помните, что я желаю вам счастья и буду молиться за вас.

Она подала руку, взгляд ее на мгновение задержался на его глазах, потом вежливо улыбнулась, приседая.

В душе она желала ему счастья, верила в его победу, а у самой, когда она покидала бал, на душе стало так пусто, что захотелось горько заплакать.

Губернатор подошел к печальному, растерянному капитану, повел его к себе во внутренние комнаты. Они выпили бутылку шампанского и опять говорили о делах. Вскоре капитан ушел к себе.

Чуть свет зазвенели колокольчики.

— Ну, благословясь, Геннадий Иванович, посидим перед дорогой, — сказал слуга.

Вынесли чемоданы. На мороз проводить Невельского вышел Муравьев. Губернатор не спал в эту ночь. Он отослал адъютанта. Рядом лишь часовые и кучер.

Губернатор и капитан говорили по-французски.

— Так держитесь крепко, Геннадий Иванович. Напор будет сильный. Не поддавайтесь ни на какие уловки. Помните, что я всегда с вами и граф Лев Алексеевич поддержит нас. А если через месяц я выздоровлю, бог даст, отправлюсь в Питер, как там того желают!

Невельской не садился в кошевку. Он стоял, опустив руки. Ход мыслей его примерно был таков, как и при первой встрече с Муравьевым в Иркутске; в эти дни губернатор выказал мужество и высокое благородство. Но почему же он тогда не хочет плюнуть на ложное дело?! Тем более следует отказаться от окольных путей. Какой благородный человек будет искать их! Он желал, чтобы Муравьев был бы во всем честен и прям, хотел бы любить его, верить в него, как в свой идеал.

— Николай Николаевич, — с чувством вымолвил Невельской. Он был пьян и от разговора с Екатериной Ивановной, и от вина, и от сознания того, что идет чуть не на гибель и не боится, потому что ради великого дела.

И все время помнил Екатерину Ивановну; все разговоры с ней сегодня, ее лицо, руки, взгляды так и шли чередой в его памяти, о чем бы он ни думал.

— Николай Николаевич, — чуть не в слезах повторил он, — мы не можем действовать полумерами. Мы — великий народ! Россия и на Тихом океане должна выступить, как ей подобает, смело заявить о себе, ее величие нас обязывает. Глупо говорить об этом, хвалить самих себя, но на прощанье не смею удержаться... Николай Николае-

вич, в Портсмуте адмирал за столом сказал мне, что он юношей был под Лейпцигом и видел, что там русские гренадеры, как он сказал, маршировали колоннами навстречу верной смерти. Я, зная, что это говорит чуть ли не враг России, разволновался, мне горло сжало... Он сказал, что на всю жизнь это запомнил и сохранил уважение... Он старый человек, сказал искренне... Его положение исключает ложь. Он видел нашу кровь... А мы с вами... Простите, я люблю вас, я хочу сказать... У нас были примеры, Суворов... Да что говорить, тысячи примеров безумной отваги, подвигов... Отец Марии Николаевны вывел детей перед фронтом, когда солдаты дрогнули... Если бы этих примеров не было, если бы не были великим народом, смели бы действовать полумерами. Но мы не смеем, если хотим быть русскими!..

Муравьев стоял грустный. Боль схватила его с новой силой. Навязчивая мысль, что в Петербурге могут наплевсти бог знает что, не давала покоя.

«Уметь погибать — это еще не означает величия, — подумал он. — Русские все гибнут, и гибнут во имя величия, а живут другие...»

«Русский человек еще не живет, — вспомнил он фразу из какой-то статьи Белинского, — а только запасается средствами на жизнь...»

Невельской немного подождал. Ему, при всей его нервности, и не нужен был сейчас ответ губернатора. Он сказал, что хотел, что следовало выложить на прощанье.

Капитан улыбнулся.

— Прощайте, Николай Николаевич.

— Прощайте... Так помните, на вас вся надежда. Если провал — все гибнет...

Они обнялись и поцеловались.

— Ну, с богом.

Колокольчики зазвенели. Впереди была вся Россия: тысячи верст при сильном морозе — путь большой и страшный.

«Прощай, Иркутск, — подумал капитан, когда сани съехали на Ангару и стал виден город. — Веселье и балы, все пролетело как сон... Милый город...»

В предрассветных сумерках видны стали главы иркутских церквей.

«Милая Екатерина Ивановна,— размышлял он.— Да, я люблю ее». Звуки мазурки еще гремели в его голове, мелькали платья, цветы...

Сани мчались по Ангаре, отходя от берега, а Иркутск становился все шире и шире, ряды его домов охватывали все большее пространство справа и слева, а вдаль выступали все новые и новые строения. Небо бледнело, кое-где зажигались огоньки. Наступало хмурое утро. Мороз крепчал, и невозможно было не закрывать лица.

Вскоре переехали через реку и поднялись на другой берег. Сани мчались вдоль Ангары. Начался московский тракт. Теперь далеко виднелись тучные сопки в снегу, с целыми стенами вдоль реки из сплошных скал.

Вспомнилось, как подъезжал к Иркутску.

«Прощай, весь этот милый, ставший родным край, с Веселой горой, с которой открылся вид на новую жизнь, с прекрасным Иркутском, с необыкновенным Николаем Николаевичем во главе, с полудиким героем и патриотом Маркешкой, с моим «Байкалом», зимующим где-то в глубине снегов и льдов, с его прекрасной гордой командой, Охотск с Лярским, с офицерами, чиновниками, Завойко...» Все стало милым и близким в этот час капитану, согретым и освещенным любовью к ней, сквозь которую он смотрел сейчас на все.

Впереди долгий путь, и там, в конце его,— суровый, холодный Петербург, где люди черствы и строги, где сам он был выучен и вышколен, но где родились и созрели все его смелые замыслы в пору светлой ранней юности...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПЕТЕРБУРГ

Не от рожденья я таков.
Но я прошел через цензуру
Незабываемых годов.
На всех, рожденных в двадцать пятом
Году, и около того,
Отяготел жестокий фатум:
Не выйти нам из-под него.
Я не продам за деньги мненья,
Без крайней нужды не солгу...
Но — гибнуть жертвой убежденья
Я не могу... я не могу...

И. Некрасов, «Человек сороковых годов»

Глава тридцать пятая

РЫЦАРСКИЙ РОД ВРАНГЕЛЕЙ

На запад от Петербурга, за Гатчину, к Нарве, простирались леса, в которых тоже, как в Сибири, водились разные дикие звери, а изредка встречались даже медведи.

Еще дальше на запад места менялись. Там — мызы, кирки, пруды, небольшие поля. Это владения немецких помещиков. Среди полей, на холме, нередко можно увидеть развалины древнего замка. У дорог — длинные, крытые черепицей корчмы.

По дороге в Петербург в санках с ковром ехал седой, сухой барон в пыжиковой сибирской дохе. На носу у него узкие золотые очки; лицо широкое и жесткое, короткие усы. На облучке — белобровый старик кучер в финской шапке, похожей на ушанку, надетую задом наперед.

Адмирал Фердинанд Петрович Врангель отправился в эту зиму в Петербург почти как частное лицо. Знаменитый исследователь Севера и Аляски ушел в отставку. Несколько месяцев тому назад он подал прошение в Морское министерство, где служил начальником департамента

корабельных лесов. Он также оставил пост председателя правления Российско-американской компании, которой отдал много лет своей жизни.

Считалось, что из Морского министерства он ушел из-за несогласий с князем Меншиковым, который всячески ставил ему палки в колеса, обходил старого моряка наградами, а главное, не считался с ним и не обращал внимания на все его представления и проекты.

В Петербурге некоторые лица, знающие все эти дела, говорили, что причина расхождений между Врангелем и Меншиковым гораздо глубже и что у Фердинанда Петровича вообще много неприятностей, что тут замешаны вопросы политические. Но родственники адмирала уверяли, что ему надоела постоянная глухая вражда с ретроградом и немцеedom, поэтому Фердинанд Петрович оставил службу и, предпочитая жить на небольшой доход от имения, уехал к себе в Руиль, в Эстляндию.

Руиль — живописное место. По одну сторону пруда — поля и перелески, избы арендаторов, эстонских крестьян, с соломенными крышами, по другую — мыза помещика с садом и оранжереями.

Врангель жил в Руиле лето и осень, погружаясь в новые для себя интересы и заботы, стараясь повысить доходность имения, подходя к этому широко, со взглядами человека, привыкшего управлять огромными предприятиями. Он применял в своем хозяйстве новейшие научные способы и вел его согласно современным понятиям о правильной эксплуатации и о выгодном сбыте производимых продуктов.

Здесь не было того страха и общего оцепенения, которые царили в Петербурге, где общество было глухо возмущено всем и где нельзя было ничего начать без неприятностей.

Врангель давно не жил в Эстляндии. Россильоны — родственники жены его Елизаветы Васильевны, Швейбы, Гроты, Унгерны, Кайзерлинги, Штакельберги живо втянули его в свой круг.

Иногда приходилось ездить в Ревель, где среди города — крутой, укрепленный холм, со средневековыми церквями и башнями, облеплен как бы громоздящимися друг на друга особняками баронов. По обе стороны узких, кривых улочек-лестниц — колоннады, статуи и фронтоны древних гнезд остзейского дворянства. Обрывы холма под-

перты высочайшими каменными стенами. А вокруг, за стенами Вышгорода, по низине — масса лепившихся друг к другу домов; бедный древний город, населенный эстонцами, и порт с русскими матросами и каторжниками, кирпичи, кабаки, лавки, кривые улицы, базар.

На Вышгороде в особняках зимами жили эстляндские помещики — потомки ливопских рыцарей. Петербург, Москва и другие города были обширным полем деятельности для этих людей, и почти вся молодежь, воспитанная здесь, проходя через Дерпт, уходила на службу в столицу. Некоторые обретали там вторую родину, становились искренними патриотами России. Но отсюда же выходили жандармы, министры, полицмейстеры, придворные... Цари охотно брали на службу потомков рыцарей, чуждых духу русского народа, которые верно служили лишь короне, как ландскнехты.

В Эстляндии Врангель почувствовал, как много дала ему Россия и как мала и скудна средствами здешняя область и что ему придется привыкать к положению здешнего немца, к маленьким масштабам.

Выборы предводителя эстляндского дворянства, утверждение в должности нового пастора, покупка имения для своего друга Федора Петровича Литке, который по нынешним тревожным временам чувствовал себя не в своей тарелке в Петербурге и на всякий случай решил обзавестись в Эстляндии недвижимостью и сойтись с кругом людей, от которых не будет ни придинок, ни оскорблений, постройка завода для выгонки спирта, чтобы повысить доходы от имения, — таковы были новые обязанности и заботы почтенного моряка, который когда-то описывал Колыму, побережье Ледовитого океана, провел много лет на Аляске. О многих подобных делах он слышал и прежде, в детстве, но уж почти забыл. Приходилось привыкать. Россия отвергла его, не русские, а правительство...

Врангель понимал прекрасно, что жизнь в обществе эстляндских дворян и в кругу их интересов — это далеко не то, что жизнь и служба в Петербурге. Там провел он лучшие годы своей жизни, свою молодость, там осуществил свои мечты. Он любил русские книги, а со своим самым близким другом Литке переписывался только по-русски.

Врангель часто говорил, что русские не только крепостные, что среди крестьян много деятельных и относительно

свободных людей, что русские — особенно на севере, на юге и в Сибири — там, где нет помещиков, — люди дела, настойчивые, терпеливые, что это народ будущего.

В Эстляндии Врангель старался исполнять свои новые общественные обязанности так же добросовестно, как и все, что он делал в жизни.

Фердинанд Петрович стал учиться по-эстонски, зная, как важно разговаривать с окружающим народом на родном языке.

Соседям он предложил заняться выгонкой спирта, с тем чтобы сообща сбывать его казне или продавать за границу, имея в виду главным образом отправку его на Аляску, где спирта пьют много. До сих пор там в ходу было виски. Этот напиток добывали у контрабандистов. Врангель полагал, что тысячи три галлонов эстляндского спирта в год Аляска выпьет шутя. Это дало бы доход эстляндским помещикам значительно больший, чем продажа зерна со здешних бедных земель. Кроме того, в колониях будет вытесняться иностранная контрабандная торговля и под этим предлогом можно искать делу правительственной поддержки.

До сих пор все шло благополучно и развивалось правильно. Василий Степанович Завойко, женатый на племяннице Фердинанда Петровича, должен был стать главным управителем Аляски. Этот шаг давно готовил Фердинанд Петрович. Завойко мог бы дать ход торговле спиртом и крепкой рукой пресечь там всякую контрабанду американцев. Но тут произошло неожиданное событие — Муравьев переманил Завойко.

По нынешним временам вообще нельзя ничего сделать положительного. Все заглушено, во всем неясность. Будем думать о куске хлеба для себя, если правительству не нужна никакая деятельность!

Когда Врангель проехал Нарву и навстречу вместо эстонцев стали попадаться русские мужики, и по-другому заговорили сменные ямщики, да еще запели свои разудалые песни, и почувствовалась Россия, близость Петербурга, старые обиды вновь зашевелились в сердце адмирала. Он снова, со всей силой темперамента, входил мысленно в круг привычных интересов, и предстоящие хлопоты и неприятности в Петербурге встали перед ним во весь рост, а дела в Эстляндии показались ничтожными.

Он всегда был так щедро награжден, так обласкан... Что вдруг случилось? Из-за чего все рухнуло? Трудно было бы сразу ответить! Дело не только в Меншикове...

Но как бы то ни было, влияние Врангеля на Компанию сохранилось, оно все еще огромно, хоть он и ушел с поста председателя. Он знал, что компанейские дела будут решаться по его совету.

В Петербурге ждал его старый друг и приятель Федор Петрович Литке. Месяц тому назад Литке побывал в своем только что приобретенном имении Авандус по соседству с Руплем. Найти и купить его помогли родственники Врангеля. Пока что Фердинанд Петрович взял на себя управление Авандусом.

Литке закончил воспитание великого князя. Его бывший ученик женился и вскоре вступит в должность, станет управлять Морским министерством, а сам Федор Петрович все еще без места.

Авандус — прекрасное имение, с огромным озером, на котором Литке хочет завести шлюпку, чтобы на старости лет, когда окажется не нужен в Петербурге, — а он чувствует, что это скоро будет, — не забывать моря и морскую жизнь.

Возвратившись из Авандуса в Петербург, Литке уже успел за месяц написать своему другу кучу писем. Он писал через каждые два дня, не дожидаясь отхода почты на Гевель. Ему тоскливо...

В Петербурге также ждали Фердинанда Петровича старые друзья: Гесс, Гофман, Струве, Гельмерсен, старый товарищ Апжу и Врангели: брат Вильгельм — генерал, племянник — Гильом и вся семья покойного Егора. Все дела вел Гильом, энергичный, умный, исполнительный. Он очень всполошился нынче. Конечно, дела неприятные, и положение у Гильома трудное.

... Раннее детство Врангель провел в Эстляндии. Когда его спрашивали: «Кем ты будешь, Фердичка?» — мальчик отвечал гордо: «Я пойду в дальний мир, с луком и стрелами!»

Это был пылкий и умный мальчик, очень чувствительный и добрый.

Ему было десять лет, когда его родители умерли, а имение было продано. Детей разобрали родственники, но вскоре Фердинанда отвезли в Петербург и отдали в морской кадетский корпус.

В классе с ним оказался еще один Врангель — Вильгельм, о существовании которого он до сих пор даже не знал, так как род Врангелей вообще очень велик; ветви его есть в Швеции, в Пруссии, а в России Врангелей особенно много.

Фердинанд и Вильгельм сдружились на всю жизнь. У Вильгельма был брат Георг, или, как звали его по-русски, Егор, впоследствии Егор Егорович, который спустя много лет стал профессором русского права и уехал преподавать в Казань. Там он женился на дочери одного из казанских профессоров.

Фердинанд, уже будучи морским офицером, поехал в экспедицию на Колыму, в тот «дальний мир», куда он с детства стремился; по дороге заезжал в Казань и был очень радушно принят.

Вильгельм и Георг приходились Фердинанду отдаленными родственниками, но он всю жизнь был очень дружен и близок с ними.

Фердинанд стал адмиралом, всемирно известным путешественником, его родной брат Георг, когда-то оставшийся с ним вместе без средств и без поместья, — генералом и владельцем огромного имения на Украине, а однокашник и друг по корпусу Вильгельм, или, как называли его свои, Вильгеля, — адмиралом, начальником маяков и начальником гидрографических работ на южном побережье Балтийского моря.

А другой Георг — не родной брат — Егор Егорович, умер в 1841 году, но не в Казани, а в Петербурге, будучи уже профессором права в университете и воспитателем наследника престола Александра Николаевича.

И вот тут-то оказалось, после его смерти, что большая семья профессора осталась без средств. Заботу об этих Врангелях взял на себя Фердинанд.

Вскоре одна из дочерей покойного Георга вышла замуж за морского офицера Василия Завойко, с которым познакомилась на балу в доме дядюшки за два года перед этим, где присутствовали офицеры, уходившие на восток.

Завойко был на отличном счету у Фердинанда Петровича. В свое время его рекомендовал граф Гейден, слово которого было законом в морском ведомстве.

Василий Степанович Завойко — участник Наваринского сражения, замечательный практик, сильный и расторопный офицер... Куда его? Дядя решил, что такой создан для

колонии. Завойко не знал по-французски, да и по-русски писал плохо. Он и воспитывался не в Петербурге, в морском корпусе, а в Черноморских морских классах. Но, по мнению Фердинанда Петровича, это не беда. Завойко обладал многими бесценными качествами, которые проявил, будучи дважды в кругосветных путешествиях, один раз с самим Врангелем. Василий Степанович тверд духом, исполнитель, практически находчив, даже изворотлив. Врангель считал его настоящим русским человеком и охотно им руководил. Он решил, что в колониях Завойко гору своротит, ведь там не надо делать карьеру, разговаривая по-французски. Дядя прочил Василию Степановичу великую будущность.

Для начала он предложил ему маленькую должность — заведовать факторией Российско-американской компании в Охотске.

Среди родственников было много разговоров о назначении Завойко. Теперь Василий Степанович становился кормильцем большой осиротевшей семьи Егора Егоровича. Расчет Фердинанда был таков: честный и верный Завойко в Охотске должен присмотреться к делам, а потом, со временем, стать управителем всех колоний. Он будет кормить семью брата, а Компания получит администратора, русское имя которого не даст повода для кривотолков.

Врангель, как обычно в те времена, был убежден, что в деле может быть порядок только в том случае, если главным правителем станет свой человек, которому можно доверять. Он был уверен, что через несколько лет Завойко окажется на этой должности.

Служба в колонии была выгодной, там платили больше и давались лишние чины, а это имело огромное значение для семьи Георга. Завойко отчетливо понимал, чего от него хотят, и готов был не посрамить дядюшку.

«Дорогие дяденька и тетенька, — писал он с дороги, — вы нам с Юленькой как родные отец и мать, и мы вам вечно за это благодарны и целуем ручки».

Переводом фактории в Аян, постройкой новой аянской дороги и всей своей службой Завойко доказал, что он именно такой человек, каким его хотел видеть дядя.

Теперь Завойко был на отличном счету в Компании. Он много лет трудился не покладая рук и с замечательным самоотвержением и изворотливостью исполнял все, что желал дядя; он стал капитаном первого ранга, и уж все

было готово, чтобы назначить его главным правителем всех американских колоний России в Ново-Архангельск, на место Тебенькова, которого в своей среде Врангели звали кулаком.

Любовь, которую выражали в своих письмах к дядюшке супруги Завойко, глубоко трогала склонного к сентиментальности Фердинанда. Ему приятно было сознавать себя покровителем этой семьи. Врангель как бы выполнял свой патриотический долг, не замыкаясь в кругу своих друзей — петербургских эстляндцев.

Но теперь Завойко огорчил дядю. Он спутал все его расчеты... Появился Муравьев, увидал в нем дельного человека и забрал.

... Семья покойного Георга жила на Грязной улице в доме департамента корабельных лесов.

— Дорогой Фердинанд, — с гордо поднятой головой сказала дрогнувшим голосом Прасковья, вдова покойного Егора, и, наклонившись, в то время как адмирал целовал ее руку, поцеловала его в голову.

У Прасковьи властный вид. Она от природы гордая женщина, да еще переняла от немецких баронесс манеру держаться, говорить кратко и смотреть в глаза, немного таррацась. Правда, иногда бабушку Прасковью, что называется, прорывало, и она, так же как и баронессы между собой, любила наговориться всласть.

— Дядя, как мы рады! — ласково улыбаясь и приседая, вымолвили две девицы с выразительными глазами.

Маленькое торжество встречи доставляло радость и семье Егора, и самому Фердинанду. Катенька и Варенька поднесли дяденьке, для него и для тетеньки Елизаветы, маленькие подарки — очень мило вышитые вещицы; младший племянник Егор представил написанный отчет о том, как он учился за все месяцы с начала занятий, и показал тетради, учебники и письменный стол. На вопрос, кем он будет, Егор, краснея, признался, что хочет быть ученым и исследователем.

Врангель знал — это очень способный мальчик.

Мать с гордостью смотрела на детей, чувствуя, что вырастила их именно такими, какими приятно видеть дядюшке.

Конечно, Прасковья не вытерпела и заговорила о Завойко. Ей приятно было сообщить, что зять будет адмиралом и губернатором Камчатки и получит десять тысяч сереб-

ром жалованья, что Муравьев от него без ума, обласкал, сразу при первом знакомстве был откровенен, обедал с ним. Василий Степанович в дядюшке души не чаает, они с Юленькой вечно благодарны ему и что если он уйдет из Компании, то надеется, что дядя благословит его. И что у них в Аяне нынче чудный урожай картофеля и они сами копали землю, а Муравьев и вся его свита ужасно удивлялись.

— А какие у них дети, какие дети! — воскликнула Прасковья. — Юленька пишет, что так любят разводить цветы, пошли в дедушку. Это в них от покойного Егора. Юленька пишет, что старший — вылитый Егор Егорович...

Сейчас ей хотелось уверить Фердинанда Петровича, что дети Завойко не в отца, а в покойного Егора Егоровича, что они такие же прилежные, так же делают грядочки...

Приехал старший племянник, Гильом, как звали его свои, или Василий Егорович, как назывался он на службе; он всегда представлялся дяде самым замечательным из всех родственников. Русский со стороны матери, но настоящий петербургский пемец по духу — сочетание необычайно удачное для деловой жизни.

Гильом высок ростом, рыжеват, со скуластым лицом, длинным, слегка вздернутым носом, болезненно бледен, едок, раздражителен. Ему недавно исполнилось тридцать три года. Он не женат, страдает припадками и жестокими головными болями.

В делах он очень точен и аккуратен, и на него Фердинанд Петрович мог вполне положиться.

Гильом кинулся на шею к дядюшке.

Взгляд Фердинанда сух и холоден, хотя сердце тронато.

Адмирал невысок ростом, с прямой спиной и высокой грудью, с крепкой упрямой широкой шеей, с седыми бровями и красным лицом, всегда выражавшим решимость и строгость. Смолоду Фердинанд был отличным фехтовальщиком, и во всей его фигуре до сих пор сохранилось что-то такое, отчего казалось, что дядюшка, вот так выпятив грудь, поскачет на полусогнутых ногах взад и вперед со шпагой в руках и начнет наносить удары метко, ловко, сохраняя на лице выражение строгой, холодной решимости... Он и осматривал многочисленную семью родственников, как довольный своими учениками учитель фехтования, который каждому из них со временем может смело дать шпагу в руки. Это все были его любимцы, ради которых он часто забывал свой любимый «дальний мир». И в то же время

семья Завойко и Егора была его резервом, питомником отличных деятелей для Компании в будущем.

После обеда разговор шел в кабинете, где стояло два письменных стола: Гильома и его брата, мальчика Егора. Молодой барон рассказал об интригах против Компании, о делах в Географическом обществе; там тоже составила оппозиция, недовольны Федором Петровичем Литке, интрига инспирируется Министерством внутренних дел.

Старый почтенный адмирал слушал молча, не одергивая Гильома. А тот понимал это по-своему: молчание — знак согласия.

Гилюля вел разговор умело, пробуждая в дядюшке старые обиды, теперь уж не к одному князю Меншикову:

— Сейчас они попытаются раздуть что угодно, в том числе, я думаю, и открытие Невельского, если узнают о нем... Но откровенно скажу вам, дядюшка, что все-таки эта мнимая доступность амурских устьев представляется мне какой-то загадкой.

— Почему же загадкой? — снисходительно улыбаясь, спросил Врангель.

Невельской был учеником Литке и, кажется, не имел отпошения к этой толпе крикунов из Географического общества, где верховодили какие-то братья Малютины.

— Согласитесь, дядюшка, что ведь все было начато Завойко. Он послал этим летом в лиман Орлова. Мы не дали довести ему все до конца... А здесь все толкуется по-своему, с тайным умыслом. Князь Меншиков делает из этого целую манифестацию в пику нам и всей Компании, изощряется в русоперстве и упоминает при этом ваше доброе имя, дядюшка.

Глаза адмирала загорелись злым огоньком, светлые, почти выцветшие, они обрели блеск стекла. Гильом задел его за живое... Врангель ненавидел Меншикова и считал его способным на любую гадость.

Гильом сказал, что Компанию винят в небрежности: мол, по ее вине до сих пор устье Амура закрыто, якобы благодаря пренебрежению немцев к развитию Сибири и Аляски, что, дескать, «лютеранам» дороги лишь личные выгоды, а колонии пренебрежены, зря убиты будто бы огромные деньги на разные паллиативные средства, тогда как Компания давно могла все открыть и возить товары по Амуру, что экспедиция Гаврилова была отправ-

лена кое-как, для отвода глаз, что Компания пляшет под дудку Нессельроде...

— А русоперы впитывают все это, как губки, и разносят сплетни по Петербургу.

— Но ведь я сам дал Невельскому карту Гаврилова! — сказал Врангель. — Я помог ему, открыл секретное дело, чего не смел делать под страхом ответственности!

— Может быть, на это как раз и рассчитывали, когда подослали к вам Невельского. Да, дядюшка, все было подстроено! Так же сфабриковано, как процесс Петрашевского. Завойко уверяет, что Невельской привез с описи копию карты Гаврилова... Я сразу же подумал: нет ли тут провокации? Говорят же, что весь процесс Петрашевского дутый. Не есть ли и это открытие дело рук Перовского и Меншикова? Взяли карту, подставили ложные цифры и для обвинения немцев объявили об открытии! А Невельской — игрушка в их руках, так же, возможно, как и Муравьев...

Гильом говорил невероятные вещи, но они походили на правду. Действительно, у нас в Петербурге именно так принято действовать, вот такими хитростями, с необычайной изобретательностью, надо отдать справедливость.

«Какая мерзость!» — подумал Фердинанд Петрович.

— Я понимаю Завойко, — продолжал Гильом, — ему должно быть очень обидно. Но именно он может и должен вывести все на чистую воду. Его имя...

Врангель, гордо подняв свою седую голову, заходил по кабинету. «Да, Завойко... Он честен, прям. Уж он ударит в лоб смело, по-русски... Имя его вне подозрений... Но в то же время как-то трудно поверить, что Невельской подослан, ведь он ученик Литке... Возможно, конечно, что хотят захватить Амур, ищут лишь предлога...» Но это опять не вязалось с тем, что Врангель узнал как величайшую тайну недавно в Эстляндии.

Фердинанду Петровичу сказали под большим секретом, что существует тайное соглашение между Россией и Англией, по которому русские не должны ступить ни одного шага в Азии далее того места, где стоят сейчас.

Врангель опять вспомнил последнее письмо Завойко. Тот писал как-то странно, кратко, что вход в Амур оказался хорош, но по письму выходило, что с Невельским он как бы даже совсем не говорил.

Адмирал, зная осторожность Завойко, еще тогда подумал, что Василий Степанович, видно, сдерживается, старается писать о Невельском как можно короче... Конечно, он оскорблен...

«Во всяком случае, нельзя ставить под сомнение многолетнюю деятельность Завойко, а следует повременить и проверить все как следует».

Гильом сказал, что у Компании запросили мнение и объяснения. Правление дало ответ, что верит предыдущим исследованиям, что нужно видеть новые карты и все сличить. Ожидались черновые карты Невельского, и в самом скором времени прибудет он сам.

— А вы знаете, дядя, есть просьба Муравьева назначить Невельского к нему,— сказал Гильом с таким выражением, словно в этом таилась большая опасность.

Адмирал снова быстро заходил по комнате, словно готовый выхватить шпагу и скакать, скакать, нанося удары...

«Невельской опять пойдет на Амур! Конечно, вместо того чтобы проверить его, все подтвердится им самим. А Завойко и Компания — в стороне. Ловок Муравьев, нечего сказать! Василий Степанович легко согласился перейти к нему. Но будет ли прок? Не раскается ли он когда-нибудь? Не проклянет ли тот час, когда ушел из Компании?»

— Открытие Невельского надо проверить,— сказал дядюшка,— возможно, что тут не так все просто.

Врангель решил поговорить с Литке, а тот пусть узнает все. Действительно, что-то странное... Впрочем, как знал Врангель, бывают ошибки ученых и, конечно, бывают неожиданные открытия, но нельзя ставить под удар Компанию и честнейшего Завойко.

Фердинанд Петрович еще в позапрошлом году говорил о Невельском с Литке. Федор Петрович отозвался о нем прекрасно, утверждая, что это благородный человек, аристократ до мозга костей, настоящий молодой ученый и что Николай Николаевич Муравьев готов ему покровительствовать из самых благородных и высоких побуждений.

Врангель и Литке дружили всю жизнь, но не навязывали друг другу своих мнений. Фердинанд Петрович вполне доверял другу, хотя намерения Невельского ему не понравились еще тогда...

Но теперь он готов был держаться совершенно иного мнения о Невельском. По рассказам Гильома тот представлялся в непривлекательном виде.

Врангель знал, что в его положении нельзя поддаваться страстям; он, как старый адмирал и ученый, обязан решить все по совести, согласно интересам науки. Если Невельской в самом деле нашел вход в реку, то нужна проверка. Но и в таком случае Врангель не был бы в восторге от неприятного для него открытия, которое произошло как-то странно.

Есть ли пролив между материком и Сахалином, доступен ли Амур — оба эти открытия должна проверить Компания посредством людей, знающих тот край. Лучше всего поручить Завойко, он прекрасно распорядится. И нельзя позволить оскорблять Завойко. Сам того не желая, адмирал чувствовал — он помог Невельскому унижить Компанию, умалить значение долголетних трудов Василия Степановича.

«Но кто знал, кто знал!»

— Возможно, устье в самом деле доступно? А? Вот что! — вдруг быстро сказал старый Врангель.

— Ах, дядя! — в отчаянии воскликнул молодой барон. — Ну, этого никак не может быть! За две недели они осмотрели лиман, площадь которого равна нескольким тысячам миль, и доказывают совершенную нелепость, будто Сахалин остров...

— Ты думаешь?

— Да, да...

Врангель задумался и потом тихо, но значительно вымолвил:

— Все надо проверить... Откроется истина, и будет восстановлен престиж Компании...

О Невельском он решил поговорить еще с Политковским. Слишком доверяться нельзя. Конечно, ученые открытия так не делаются! Гильом прав.

...Гилюля недаром представлялся Фердинанду Петровичу самой замечательной личностью из всех молодых Врангелей. Девятнадцати лет от роду он поступил к дядюшке в департамент корабельных лесов, двадцати одного года стал столоначальником, в двадцать пять по совету Фердинанда Петровича, который желал, чтобы родные его не только служили, но и были бы деятелями, приносили бы пользу государству своей ученостью, соста-

вил труд «История законодательства о лесах в России», который был напечатан. После этого Василий Егорович пошел в гору.

Теперь, после того как дядя ушел из Морского министерства, Гильома назначили на его место начальником департамента. И здесь, при покровительстве дядюшки, он стал одним из пяти членов главного правления.

Если Завойко был своим человеком в колониях, то в Петербурге таким же был Гильом. Со временем Гильом стал бы председателем, а Завойко правителем в Ситхе; Фердинанд Петрович мог бы быть спокоен.

...Врангель много лет был главным правителем колоний на Аляске. Считалось, что это был золотой век Аляски. Добыча росла, дивиденды повышались.

Врангель с удовольствием жил в своем «дальнем мире», о котором он мечтал когда-то. Казалось бы, лучшего нечего и желать.

Впоследствии Врангель стал председателем Компании в Петербурге. Тут, в столице, он вскоре понял, что аляскинские дела идут не так благополучно, как всем кажется. Он попытался исправить положение, посылал туда людей, старался завести там собственное судостроение — там построили эллинг, — но всего этого оказалось недостаточно.

Адмирал почувствовал свое бессилие. Что бы он ни пытался сделать, все упиралось в какую-то стенку.

Протестовать, действовать решительно он не смел, помня, в какое время живет. К тому же за ним были грехи. У него, как и у Литке, были друзья среди участников тайного общества, которые подняли восстание четырнадцатого декабря на Сенатской площади.

Ход дел Компании в Петербурге считался вполне удовлетворительным, так как пайщики получали дивиденды, как обычно, а это было мерилом. Но сам-то Врангель видел, к чему идет Компания. Наступал век общего бурного развития. Торговцы и промышленники западных стран являлись на всех морях. Америка быстро развивалась и становилась первоклассной державой. В заокеанских колониях Франции и Англии строились города, проводились дороги. Из Европы хлынули переселенцы в Америку, Австралию, Канаду, Африку. Европейцы получили право торговать в Китае, в Шанхай и Кантон приходили целые флоты их судов с товарами.

А Российско-американская компания даже не смела явиться ни в один порт соседнего Китая, чтобы продать там те товары, которые Китай покупал издревле. Чтобы продать морские котики китайцам, нужно было переправить их через океан, в Охотск, оттуда в Якутск, а уж из Якутска в Кяхту. Это было позором России.

Врангель составил проект так называемой шанхайской экспедиции. Он просил правительство добиться разрешения для Компании продавать котиков в Шанхае или Кантоне, чтобы туда в год могли приходиться одно или два компанейских судна. Но даже в этом было отказано. Врангель ушел с поста председателя.

Причиной был не только провал шанхайской экспедиции, а общий застой дела в колониях. Аляска среди развивающегося мира оставалась каким-то оазисом со старосветскими обычаями.

Врангель не желал, чтобы порочилось его доброе имя ученого, известного всему миру. Он стыдился стоять во главе Компании и находил позорной, отсталой политику правительства, не решавшегося поддерживать ее интересы.

Хотя в солдатской песне и пелось, что «наша матушка Расея всему свету голова», но на самом деле было совсем не так, и стоило что-либо предложить, как правительственные бюрократы с презрением все отстраняли.

Только для акционеров дела Компании шли хорошо...

Врангель устранился, чтобы не позориться. Но, находя негодной политику правительства, он все же не намерен был отказываться от того, что давало ему средства. Протестуя против недостатков в колониях и против устаревшей политики, он не мог не жить за счет этой политики и привычно рассчитывал на дивиденды, которые получались с аляскинских и сибирских промыслов, управляемых устаревшими способами.

Сживаясь с эстляндскими помещиками, он все более смотрел на свой «дальний мир» как на предмет получения привычных выгод. Этот мир по-прежнему был дорог старому адмиралу, он вспоминал свою милую, далекую Аляску, алеутов-охотников и колошей — своих добрых знакомых. У него в Руиле была великолепная коллекция предметов быта, костюмов, произведений искусства народов «дальнего мира» — изделий из кости, гениально изо-

бражающих то сутулого и плосколицего русского чиновника в мундире, с прической, то собак на бегу, оленью парту с богатым чукчей, то медведей...

Все это воспоминания о былом... А нынче даже такой пустяк, как посылка судна в Китай, вызвал неудовольствие! Врангель чувствовал себя обиженным и непонятым...

И вот, когда Врангель ушел в отставку, Гильом оказался действительно неоценимо драгоценной фигурой. Председателем правления стал Политковский, а Гилюля — членом главного правления.

Молодой барон Врангель сразу сумел поставить себя.

Ход дел, непростительный для Компании, во главе которой стоит ученый адмирал, был вполне простителен, когда ее возглавляли Гильом и Владимир Гаврилович. И в то же время все члены правления, служащие, акционеры и сам новый председатель Политковский отлично понимали, что если Василий Егорович на чем-либо настаивает или что-то защищает, то это мнение не только его, но и distinguished Фердинанда Петровича, который стоит за его спиной и по-прежнему служит Компании своими знаниями и советами. Считалось в Петербурге, что только один Фердинанд Петрович по-настоящему знает постановку дела в колониях. При этом упоминалось про золотой век...

Политковский не смел сделать ни единого важного шага, не посоветовавшись с Гильомом, и часто обращался с письмами к самому Фердинанду Петровичу.

Многочисленные Врангели и их друзья были акционерами Компании, и если бы Владимир Гаврилович и захотел поступать по-своему, он не смог бы. Но он и не хотел этого.

Так, несмотря на уход адмирала с поста главного директора, семья Врангелей сохранила все свое влияние в Компании и в то же время имя славного адмирала было вне опасности.

Потихоньку говорили, что Врангель оскорблен, что у нас не ценят ученых. Иностранцы, в том числе известные ученые, считали Врангеля крупнейшим из современных русских деятелей науки, ушедшим из-за несогласия с политикой русского правительства. Они видели в его уходе еще один признак надвигающейся на Россию катастрофы.

...По нынешним временам Врангель не противился уходу Завойко. Фердинанд Петрович видел, что вопрос этот очень волнует всю семью Егора, что эти деликатные люди, конечно, хотят объяснить, сколь это важно для них, и в то же время понимают, как это щекотливо... И Завойко, хоть и пишет: «Как я, дядюшка, связан с Компанией честным словом, но как я есть императорский офицер, то не могу отказаться от чина адмирала», но он, конечно, тоже обеспокоен.

Гильом, волнуясь, рассказывал, что Муравьев обещает Завойко десять тысяч серебром в год. Врангель слушал с чуть заметной улыбкой.

Из писем Завойко, самого Муравьева, а также якутского комиссионера Компании он знал об успехе Завойко, о том, что генерал-губернатор в восторге от него. Это, конечно, успех самого Врангеля, его выбор. Муравьев умен и честен, пишет в Руиль, обращается почтительно к старому адмиралу, несмотря на то что тот не у дел... Но странно как-то получается, что все неприятности связаны с именем этого Муравьева...

Гилюля не мог не волноваться. Мать и сестры теперь целиком переходили на иждивение Завойко. Семья уже давно жила на средства Василия Степановича, правда частично, но он давал больше половины того, что расходовали.

Врангель еще в Руиле много думал обо всем этом. Василий Степанович очень нужен Компании. Но очевидно, что его не удержишь, да и не следует удерживать; хочет быть адмиралом, так пусть будет.

Врангель уже не стал говорить, как он рассчитывал на Василия Степановича, когда вместе с соседями и родственниками собирался продавать на Аляску ежегодно несколько тысяч галлонов эстляндского спирта. Ведь на теперешнего правителя Тебенькова нельзя надеяться, он вдруг упрется, понесет какую-нибудь чушь. Адмирал не говорил об этом Гильому из деликатности, чтобы не обидеть его, не показать, как Завойко спутал его карты, как вообще они — молодежь — считаются только с собой, а не со стариками.

Денежные дела сильно заботили Врангеля. Тут вся надежда на торговлю спиртом. Он просил Гильома выяснить, как обстоят дела с пошлинами, если спирт вывозить за границу.

Фердинанд Петрович и Гильом говорили между собой совершенно откровенно о делах, которые сулили выгоды им и их родственникам. Так обычно рассуждали в те времена и в правительстве и в Компании. К этому привык Врангель за долгие годы службы. Всякое дело рассматривалось акционерами с позиций личной выгоды.

Гильом не сразу заговорил о спирте. Но вопрос этот он великолепно подготовил, все изучил, уже выяснил о пошлинах, о возможном фрахте судов.

Гилюля сказал, что вместе с Политковским он обстоятельно обсудил, как отправлять спирт в колонии...

— Аляска была и останется, дядюшка, нашим рынком! Но, — топко улыбнувшись, вымолвил он, — с назначением Завойко мы приобретаем Камчатку. Муравьев хочет загнать туда десять тысяч солдат. Десять тысяч солдат — сколько же бутылок спирта за год? На каждого солдата хотя бы по нескольку бутылок! Убытки, которые мы несем от того, что Завойко не едет в Ново-Архангельск, мы возместим.

Гильом даже высчитал, сколько понадобится бочек, где их выгоднее покупать... Он утверждал, что все члены главного правления, кажется, согласны. Кроме Купринова...

Говорили о том, что Тебенков — плохой правитель колоний, а его помощник Розенберг — сущий жулик и проходимец, кажется, продал американцам на прииски продовольствие, назначенное для индейцев и колошей, и там люди перемерли с голоду, а Тебенков не может с ним ничего поделать, и что вряд ли вообще сумеет он устроить как следует со спиртом. Тут уж больше надежды на Завойко.

Дядя полагал, что Розенберг сбывает муку в Калифорнию на новые золотые прииски и поэтому на Аляске стало так плохо. Помянули о миссионере Иннокентии; тот писал адмиралу, жаловался на беспорядки в колониях, усиленно подчеркивал, что присылают служащих одних лютеран, да еще добавил в скобках — «зверей».

— Тоже немцеед оказался наш достопочтенный Иннокентий! — иронически молвил Гильом.

Молодой Врангель приготовил дядюшке еще один сюрприз. Фердинанду Петровичу назначалась пожизненная пенсия от Компании в две тысячи рублей серебром в год... Пока еще не утверждено, ожидается собрание

акционером... Гилюля предполагал, что опять неприятности будут, Куприянов вылезет с глупостями, хотя против пенсии даже он не протестует. Признает заслуги адмирала.

Фердинанд Петрович почувствовал глубокую благодарность к Гилюле, который так заботился о нем.

«Я не зря покровительствовал ему,— подумал Врангель,— я верно разглядел в нем будущего деятеля... Все подготовил — и торговлю спиртом, и пенсью...»

Чем отвратительней был окружающий мир, тем приятней сознавать, что ты у надежных друзей, у милых, преданных родственников, в этой уютной, чистой квартире...

Жаль только, очень жаль, что честь и славу древнего рыцарского рода поддерживаешь с таким трудом, что бюрократы и приказные теснят и, чтобы добыть себе средства к существованию, Врангелям приходится торговать спиртом!

Глава тридцать шестая

ЗАМЕРЗШЕЕ ОКНО

По дороге, размышляя о делах, Невельской решил, что не надо торопиться. Разжаловать успеют! Нечего пороть горячку...

В Петербурге должны судить петрашевцев. Хорошо, если бы процесс поскорее прошел... Пусть уляжется...

Жаль было, что верста за верстой Иркутск становился все дальше, хотелось бы к нему, а не от него. Уже теперь временами тоскливо. Обратно погоню, если все будет благополучно...

Он имел время подумать и поглядеть со стороны на все, что произошло. Каждый миг отдалял его от Екатерины Ивановны. Она весела, пляшет; пропляшут теперь до великого поста. Он ясно представлял всех ее кавалеров, веселую молодежь: Пехтерья-Риши, Пестерева, инженеров... «Там радость, оживление. А я? Из-за чего я еду? Из-за того, что так ясно. Еще дал слово отстаивать проект о Камчатке! А можно бы не ездить... Я бы уже мчался в Якутск, по Лене... А тут висит надо мной топор, жизнь мою ломают, я не посмел объясниться... Она

ангел чистый, я ей благодарен буду вечно, но как знать, что будет... Беда ждет меня впереди, но беда может быть сзади, кругом беда... Да еще явись немедленно! Стриженная девка косы не заплетет, а ты будь в Питере... Нет, я не стану спешить... Пусть они там беснуются!»

По свосму любопытству он, утром ли, когда бьет лютый мороз и все вокруг как залито молоком, вечером ли — на станциях, скинув доху, а иногда и шинель, в одном мундире, сидя с мужиками, расспрашивал их про жизнь. Здешние все хвалили землю.

— Земля-то хороша... — был один ответ.

— Земли-то много...

Такую дорогу может снести лишь человек с железным здоровьем, который не боится в одном мундире стоять на морозе, не пообедав ехать целый день после того, как утром наелся мяса, выпил водки... А вечером — борщ с мясом или пельмени... И так день за днем, день за днем...

Он наслышался по дороге про богатейшую жизнь на казачьей линии... Ему говорили, что можно ехать через Ялуторовск и Екатеринбург, а можно через казачьи станицы на Оренбург.

«На Екатеринбург путь короче... Но я так обратно поеду, — решил он, — быть не может, чтобы разжаловали. Не верю! Думать не хочу! Впрочем, загадывать не смею...»

От Омска капитан поехал другой, дальней дорогой на Оренбург. Леша Бутаков должен быть там, вернуться с Аральского моря.

«Лешка, Лешка! — вспомнил он своего старого товарища по корпусу. — Где-то ты сейчас, нашел ли устье Аму-Дарьи, описал ли ты Арал? Как он рвался туда, безумный искатель путей в Азию...»

Пошли станицы, богатые скотом и хлебом. Такой стране нужны пути — моря, реки, океан... Теперь, когда Федор Петрович доказал, что вдоль берегов Сибири плаванье невозможно и дальше Новой Земли прохода для судов нет и быть не может, — Амур, Амур нужен и гавани на Тихом океане, южнее его устья. Как Николай Николаевич не понимает! Умный человек, а слышать не хочет. Дураку простительно. Дурак считает дураками тех, кто не походит на него, а себя умным человеком. С дурака спроса нет! А Николай Николаевич? И вот я должен защищать Камчатку и все полумеры! Что же, буду, раз дал слово!

В голове его все время звучал какой-то мотив... Это Екатерина Ивановна играла. Мотив веселый, напоминающий поначалу о беззаботной юности. Ясно помнилось, как она играла, как была весела и беззаботна... Но вдруг ее руки стали медлительней. Ворвалась другая тема — раздумья. Катя взглянула как-то значительней, словно, разговаривая с ним этими звуками, желала объясниться, сказать, что все не так просто, как кажется, и не так весело, есть много, много серьезного. А тема мысли все глубже и глубже, и все больше у нее ответвлений, и все благородней она и страстней. Звуки растут, растут куда-то ввысь... И опять нежно-веселое легкомыслие... И еще страстнее и серьезнее отзвук. И вот обе темы сплетаются. И чем больше красок, веселья, радости у одной, тем серьезнее, проникновеннее, глубже звучит другая...

Это любовь! Вдруг ритм шагов, какого-то танца, обе, кажется, счастливо шагают по жизни... Одна все время возбуждает другую.

И вот первая стала нежно-задумчивой, а вторая, в бурном порыве, страстной, бешеной... Но первая тоже слышна ясно и отчетливо...

Геннадий Иванович стал думать, что у Бетховена есть отзвук для всякого чувства, для каждого человека, и так люди будут ощущать из поколения в поколение. Сейчас в снежном поле, где вокруг все бело — небо тоже бело, и лес бел, в один тон с полем, — ему пришло в голову, что, быть может, совсем не то писано Бетховеном, что почувствовал он, слушая Екатерину Ивановну... Точно так же можно совершить открытие в физике, в географии, в социологии, цель которого узка, но в нем выразится весь человек, и ему он отдаст всего себя. И такое открытие будет верно, совершенно, и, может быть, тогда люди последующих поколений найдут в нем ответы на свои вопросы... Оно будет служить таким целям, о которых открыватель и не предполагал.

— Я знаю, что мое открытие невелико, — сказал он однажды Екатерине Ивановне. — Другое дело, что значение этого может быть огромно, настолько огромно, что я сам еще этого не осознаю, а лишь предчувствую. Но это уж не я, не мое... Мой только первый шаг, я начал. Теперь все зависит от людей, как это говорят, от общества.

— Но разве вы не в обществе? — отозвалась она.

«Да, она тысячу раз права, разве я не в обществе? Разве я не должен добиваться?..»

Он опять вспоминал ее лицо, руки, то играющие на рояле, то сложенные вместе, когда она смеялась, мысленно любовался ее глазами, вспоминая все оттенки тех чувств, что владели ею,— то отзывчивость, то нежную лукавость, пристальность взгляда... В ее взоре отзвук на все, она всегда полна чувств.

«Зачем я уехал? За коим чертом я выбрал еще дальнюю дорогу? Из трусости! Уж коли ехать, то как можно быстрее. Чего ждать? Прямо надо лезть к зверю в берлогу... Но как бы я желал бросить все, вернуться, пасть к ее ногам... Ну да, я в обществе, я плоть от плоти, кровь от крови таков же, как все... Но все трусы, и я тоже... Неужели несчастье ждет меня?»

Тем прекраснее казалась ему Екатерина Ивановна, она сама, как музыка Бетховена. «Может быть, я напрасно не объяснился? Она бы сказала «нет», и я уехал бы... Знал, что не смею надеяться, и все! Но если она меня любит, то будет душой со мной... Но если она не любит, а просто чувствует ко мне уважение? Впрочем, чушь, что только не лезет нынче в голову. Если не любит, то я не смею даже о ней мечтать...»

Капитан уж ни о чем не расспрашивал мужиков, сидя по утрам за миской с пельменями. Сибирь больше не существовала для него, она, кажется, осточертела, он ничего не видел больше... Он гнал ямщиков, спеша как можно скорее приехать в Оренбург, миновать эту дальнюю, им самим избранную дорогу.

В Оренбурге, узнав, что Леши нет, что тот уехал в Питер, он даже обрадовался... Можно было не задерживаться... И он погнал перекладных дальше, спеша наверстать упущенные дни. И рад был, что едет один, что можно думать, сколько хочет, о чем угодно.

Из Петербурга дошли газеты. Напечатан приговор Петрашевскому и его товарищам. Александра в списке нет! Слава богу!

Сороковой день в пути. Каждый день — стужа, мороз пробивает сквозь шубу, чем дальше на север — дни короче. Едешь дольше, чем плывешь через Атлантический океан... Спишь — бьет головой о кузов. Бреешься, моешься на станциях наскоро, куски глотаешь, не жуя как сле-

дует, как голодный волк. Сам удивляешься, как все сходит, другой давно бы сдох.

Проснешься — небо полно звезд. Вспомнишь, как подъезжал к Иркутску, ночь на Веселой горе, и разберет: почувствуешь свое одиночество, кажешься сам себе какой-то гончей собакой, а не человеком, всю жизнь тебя носит, где только не был... До каких пор? Сорок дней коротаешь в думах, ждешь, вспоминаешь...

Подъезжая к столице, капитан решил, что к Мише сразу не заедет, после. К братцу на службу — ведь его утром нет дома... Да нет уж, увижусь после. Правда, с братцем стоило бы поговорить, ведь он служит в инспекторском департаменте Морского министерства, через его стол идут все назначения, все наказания, он все знает... Ну что за трусость!

Под утро, в темноте, проехали Царское село. Капитан дремал...

На подъезде к Питеру послышался барабанный бой... Распахнувши воротник, увидел он вдали на знакомом плацу серые ряды солдат, по очереди вздымавших палки. Ямщик перекрестился.

— Нынче строгости! — хрипло и невесело заметил он, видя, что и капитан всполошился.

Сани подъезжали к серым солдатским рядам. Барабанный бой внезапно прервался.

«Отхаживают! — подумал капитан. — Знакомая картина!»

Вскоре в барабаны ударили снова. Потом бой их стал удаляться.

«Николай Николаевич нынче тоже забил несколько человек!»

За заставой кибитка перегнала конногвардейцев, ехавших шагом по два в ряд. Розовый свет случайного луча, вырвавшегося сквозь муть неба, заиграл на их касках. У сытых коней екали селезенки, и длинные тела их, казалось, прогибались под тяжестью огромных всадников.

Капитан заехал к родным, наскоро переоделся, пообедал. Выйдя, взял вейку-финна.

— На Английскую набережную! — приказал он.

...Петр в снегу, как в горностаевой мантии... Дальше, мимо угла Сената, вейка вылетел на набережную, и перед капитаном открылась Нева во льду.

Небо низкое, вернее, не видно никакого неба, а всюду одна мгла. Вверх она густеет, а по сторонам, там, где

прозрачно, все серо — и дома, и лед, и суда. Только чернеет гранит над Невой, чуть-чуть гнется вдоль реки его толстая лента.

Сквозь мглу на противоположном берегу в слабой синеве отчетливо проступают башня обсерватории, фронтоны и колоннады зданий Академии наук, кадетского корпуса и горного института. От мороза и мглы вид их кажется еще строже и стройнее.

Вмерзшие в лед, стоят суда с голыми голубыми мачтами и редкими реями. Суда и под тем и под этим берегом, а возле здания биржи — целый лес мачт набился в Малую Невку. Там зимует торговый флот.

Напротив корпуса, у стенки, — трехмачтовая шхуна без рей.

Корпус — родной, здесь учился, прошла целая жизнь. Шхуна тоже родная; кадетом совершал на ней первое плавание, на ней чуть не утонул и об этом рассказывал Екатерине Ивановне, да, кажется, еще лишнего прибавил.

Тут все холодное и величественное, но все родное: суда, здания, дом Морского министерства, Адмиралтейство, верфи. Перед капитаном явилась вся его былая жизнь. Вид суровый и торжественный необычайно действовал на душу, лечил ее, встряхивал, напоминал о долге. От сознания, что всего этого можно лишиться навсегда, казалось, что тут особенно торжественно и хорошо. Какие счастливые люди живут в этом мире, все, кому не грозит разжалование!

А на берегу слева — тесно, один к другому — особняки Английской набережной, гнезда русской аристократии и богачей, торговавших за морем или пришлых из-за моря.

Но как-то невольно бросилось в глаза, что ведь все, что он видит, все это сейчас стихло, замерзло, замерло. Огромное количество судов без движения, а людей — без дела. И в Кронштадте то же самое в эту пору: флот замерз, в Военной и Купеческой гаванях полно судов, полузанесенных снегом, матросы учатся шагистике, строю, но не потому, что надо, они все знают давно, тысячу раз делали прием «вперед коли, назад прикладом бей!», а чтобы без дела не сидеть. Офицеры ждут субботы, чтобы с вечера уехать в Питер, тянут время и скучают. Вечерами, в собрании и по домам, жарят в карты, в биль-

ирд. В хорошую погоду, которая тут редка, выйдут прогуляться в новеньких шинелях по «бархатной» стороне.

И вспомнил капитан незамерзающие порты Англии, бухту Рио, Вальпарайсо, Гавай... Английский флот вечно в движении, в связях с колониями...

«А тут... замерзшее окно в Европу!» — подумал капитан.

Он вспомнил, как в сорок первом году в Кронштадте торжественно освящали памятник Петру, как стоял он в колонне перед зданием коменданта крепости, в саду, напротив Военной гавани, когда пал чехол и явилась огромная могучая фигура с подзорной трубой в руке. Открылась надпись на памятнике: «Оборону сего места... держать, не щадя живота».

Тогда трепет охватил все его тело... Как бы он хотел, чтобы для России открылся еще один выход в мир, оборону которого тоже надо держать... но от кого оборонять? От кого сначала? Здесь, в твердыне флота, созданной Петром, приходится принимать первый бой...

В Морском министерстве дежурный офицер сказал, что князь нездоров, дома. Его светлость повелел, как только Невельской прибудет, немедленно препроводить к нему. Невельской и обрадовался и озаботился.

На крыше одного из широких зданий с колоннадой, которое походило на дворец, явился силуэт ангела с крестом. Это английская церковь. Она на самом видном месте набережной — не доезжая трехэтажного особняка начальника Главного морского штаба.

Капитана провели в небольшой сад, вернее, во двор, обсаженный деревьями и обнесенный высокой стеной. Далее — через полуарку — в узкий длинный проезд и на задний двор. Капитан увидел белый каменный каретник с красными щитами нескольких ворот, а налево опять арку в узкий сводчатый каменный коридор и высокие двери в конюшни. Тут манеж — полукруглые окна в соседний двор, светло. Тяжело дышат и пофыркивают тучные, сытые лошади. Отдельно — лечебница, светлая зала с окнами под потолком.

«Ну, приехал, сунул голову в петлю! Господи, благовослови! А то ждешь и дрожишь, как тать под фушкой».

Князь Меншиков — очень высокий, сухой, с острым лицом, с коротко остриженными седыми усами, в длинной теплой куртке, совершенно не морского вида, со мно-

жеством карманов, — извинился, что не подает руки и не поднялся с табурета. Пахло карболкой. В станке между четырех белых столбов, вздрагивая, кося глазами, висел на ремнях сгромный орловский жеребец, топорща толстую губу в черных редких волосах. Конюхи бинтовали ему ногу.

— Ну, вояжер, только что прибыл? Ты, кстати, очень нужен, — заговорил Меншиков. — Письмо от генерала? Ну, как ты с ним? Карты? Это тоже нужно. Ну, как погода по Сибири? Говорят, там кони скачут по триста верст в сутки. Я вчера читал в «Ведомостях». Почитай вчерашний номер, правда ли все, что там написано?

Князь не стал брать пакеты и велел положить их па столлик.

Невельской почувствовал, что князь в отличном состоянии духа и благорасположен к нему. Здесь, кажется, не существовало той бури страха, что пригнула всю Россию. Меншиков спокоен по-прежнему.

Князь коротко спросил про исследования, про лиман и пролив, про карты, все ли тут и привез ли Невельской черновые. Время от времени он обращался к конюхам и делал им замечания. Когда больная нога была забинтована, ремни опустили. Князь поднялся, похлопал жеребца по тучной гибкой спине в яблоках, погладил ему гриву, ласково тронул морду и черные безволосые ноздри.

— Нравится тебе этот жеребец?

— Превосходный, ваша светлость! — быстро ответил Невельской, чувствуя, что надо держать ухо востро.

Князь сразу поставил его на прежнее место рядового офицера, словно Невельской не был ни исследователем, ни открывателем. За последние два года капитан уже потык от всего этого, и на душе у него шевельнулось неприятное чувство. Но он постарался укротить себя и уверить, что нечего донкихотствовать.

— А ты любишь лошадей? — осведомился князь.

Царь звал всех на «ты», и точно так же разговаривал с любезными ему подчиненными Меншиков.

— Очень, ваша светлость! Как известно, слабость всех моряков — верховая езда.

Он не мог сказать ничего более приятного князю, про которого враг его, военный министр Чернышев, пустил слух, будто бы он совсем не бывает на судах и даже не знает, что такое брамсель. А тут моряк, да еще вернув-

нийся из кругосветного, видит в его слабости свойство настоящего моряка.

Меншиков вымыл руки и взял письмо Муравьева.

— Ну, пойдем и займемся делами,— сказал он, прочитавши.

Написано было основательно, но и хлопоты предстояли немалые.

Невельской нравился князю еще и прежде. Карты привезены, все было сделано как следует.

Вопрос серьезный. Дело, конечно, не только в Амуре, эта проблема стала предметом разногласий двух придворных партий, и уступать нельзя.

Князю редко когда приходилось испытывать такие неприятности, как из-за открытия Невельского. И хотя он не любил волнений и людей, их производящих, но теперь этот офицер казался куда приятнее, чем прежде, когда он собирался в свое путешествие. Немало претерпев из-за его подвигов, князь невольно проникся к нему уважением. Меншиков ждал ободряющих объяснений и доказательств для подтверждения своей правоты в споре с противной партией в правительстве и получал их сейчас.

— Государь весьма доволен смелым твоим поступком и прощает тебя за самовольную опись. Он гордится, что это открытие совершено русским... Его величество великий князь Константин Николаевич ждет тебя с нетерпением, он принял в тебе участие...

Невельской, все время ожидавший, что с него еще потребуют объяснений, был тронут и почувствовал прилив горячей благодарности к царю.

И в то же мгновение он вспомнил своих друзей — Кузьмина и Баласогло. Князь заметил его смущение. Он провел Невельского в компаты, а сам ушел переодеться.

Через полчаса капитан был приглашен в кабинет. Меншиков тщательно и с большим интересом рассмотрел карты.

— Так вы с Муравьевым полагаете, что Амур в следующую навигацию следует занять десантом в семьдесят человек?

— Да, ваша светлость, семьдесят человек вполне достаточно!

— Сколькими же сотнями обойдетесь вы с Муравьевым, чтобы завоевать Китай? — взглянув светлыми, вы-

цветными глазами, спросил князь и чуть усмехнулся в пегие усы.

— Ваша светлость, там не Китай, и мы не завоеватели, — ответил Невельской. — Нам не придется стрелять, а китайцы станут соседями и лишь будут рады. Гиляки дружественны нам. Они сами предлагали строить Компании редут на их земле. Пушки и ружья мы должны иметь там лишь как средство для устрашения дерзких и отважных китобоев, а не против Китая. Наша сила будет в нашем влиянии на окружающее население, — увлекаясь, заговорил он, — мы поднимем русский флаг и будем исследовать страну. Нужны паровые суда и корвет для охраны побережья и для производства описей и промеров, продовольствие для людей и товары для продажи гилякам. Вот, ваше сиятельство, те способы, которые я осмеливаюсь представить на ваше рассмотрение, с тем чтобы вернуть тот край России... А силой в семьдесят человек мы сможем предотвратить там любое дерзкое покушение.

— А ну, дай вот эту карту... Что это?

Невельской объяснил. Речь дошла до полуострова на реке, и Невельской сказал, что там надо строить батарею и что полуостров назван именем великого князя.

Меншиков удовлетворенно кивнул головой.

— На устье Амура ты хочешь устроить Кронштадт, Кроншлот и Красную Горку?

— Да, это было бы отлично, ваша светлость!

По сравнению с былыми годами, в Невельском заметна перемена; он держался свободнее, говорил смелее и увереннее, судил основательнее и трезвее. И выглядел возмужавшим, крепким. Кажется, становится настоящим капитаном.

Выслушав ответы, Меншиков окончательно повеселел. Он увидел, что в борьбе со старыми противниками им была занята верная позиция, что все представления Муравьева документально обоснованы и подтверждаются.

— Ты отлично сделал, что назвал полуостров именем великого князя, — заметил он и добавил: — Лично я согласен, что устье Амура надо занять в следующую навигацию, а также дать суда и людей, раз открылось, что вход в реку доступен.

Однако были еще разные тайные дела...

Князь помолчал, потом поднял брови и многозначительно продолжал:

— Император тебя простил, но повелел решить вопрос в особом комитете министров. Председатель комитета — Нессельроде. Вот там и будет разбираться все, о чем вы с Муравьевым просите. Ждали карты и тебя для личных объяснений. Так смотри наберись духу! Будет сильное противодействие! Нессельроде уже представил императору доклад, в котором сомневается в истинности твоих открытий, разгорелся сыр-бор, загремели стулья, ты задел авторитеты, наши педанты заскрипели. Основываясь на доводах наших ученых и Компании, канцлер, — продолжал князь саркастически, — выставил против твоих донесений кучу своих бумаг. Азиатский департамент недоволен в свою очередь. А Чернышев рассердился, что ты делал опись, не имея инструкции... В Компании все взбелелись... Все ученые против тебя и считают твоё открытие невозможным...

Невельской, уставившись на князя, заморгал часто, словно сильный свет забил ему в глаза. Теперь уж он, кажется, позабыл, что находится в Петербурге, что обстоятельства требуют от него держаться совсем не так, как на корабле или в Иркутске.

— Ваша светлость! — воскликнул он, волнуясь и показывая двумя руками на разложенные по столу карты. — Как же могут быть доказательства против всего этого? И что значит мнение служащих Компании и каких-то ученых, когда деятели науки — гордость России — благословили меня...

— Кто же это?

— Да его превосходительство граф Федор Петрович Литке... Он всю жизнь говорил о Тихом океане. Тем более теперь, когда он научно доказал, на основании четырех своих экспедиций к Новой Земле, что плаванье северным путем вдоль берегов Сибири невозможно... Его высокопревосходительство Беллинсгаузен вполне был согласен... Анжу... Ваша светлость! Компанией же приказано было доставить для меня байдарку и алеутов в Петропавловск, Фердинанд Петрович Врангель сам написал и дал мне письмо...

Князь даже вздрогнул от неожиданности.

— Врангель? — Светлые глаза его, обычно спокойно-насмешливые, выразили подозрение, которое князь тотчас же погасил, видимо одумавшись, что быть не могло того, что мелькнуло у него в голове...

— Да, ваша светлость... Его превосходительство Фердинанд Петрович Врангель вполне сочувствовал нам... Я был у него перед уходом...

Невельской рассказал о встрече со старым адмиралом.

— Ну, ты не особенно доверяй его сочувствию, — сказал князь, — тут, кстати, дело далеко не в одних служащих Компании, как тебе кажется! Ведь Врангель нынче не у дел. Занялся сельским хозяйством...

Князь усмехнулся в усы.

«Что он говорит? — подумал Невельской. — Он, кажется, доволен. Да перед Фердинандом Петровичем преклоняется вся Россия, весь флот!»

— Ты только наберись терпения и не волнуйся прежде времени, — заметил князь. — Я вижу, что ты вспыхнул. Дело серьезное, и надо действовать спокойно.

Он мог бы сказать, что его самого винят в том, что он покровительствует слушникам в своем ведомстве.

— Значит, пока ты был в плаванье, наша русско-немец... то бишь Русско-американская компания переменяла свой взгляд... Как видно, у тебя завелись там недруги...

Снова обратились к картам. Невельской стал развивать свою теорию о том, что надо занять Сахалин и гавани южнее устья, но Меншиков ответил, что об этом рано заикаться, а то можно провалить все дело...

— А знаешь ли ты, что Бутаков нынче описал Аральское море и устье Аму-Дарьи?

— Да, ваше сиятельство, я ехал через Оренбург и слышал.

— И его и твое открытие — все в пику Нессельроде. Граф ведь твердит, что мы европейцы и в Азии нам делать нечего... Словом, через несколько дней ты представишь перед комитетом министров и сможешь выложить все самому графу. Но помни, что делу встретится огромное противодействие. В комитете только мы с Перовским будем отстаивать тебя, поэтому будь смел и тверд. Чернышев и слышать не хочет об Амуре. Берг и Сенявин — члены комитета... Да поменьше надейся на Врангеля...

Невельской стоял и слушал подробные наставления князя, чуть склонив голову, с выражением упрямства, глаза его горели. Уж чего-чего, а недоверия ученых он не ожидал. Он думал, не открыть ли князю все, не рассказать ли, что Врангель сам показал секретные карты

Гаврилова, чем очень помог... Он ведь от души пожелал успеха. Тут какая-то ложь! Но он не желал подводить Врангеля...

— Ты будешь у его высочества?

— Непременно, ваша светлость! Почту за величайшее счастье.

— Его высочество желает тебя видеть, но сегодня уезжает в Кронштадт и вернется завтра вечером. А сейчас поезжайте к Льву Алексеевичу Перовскому, — сказал князь, переходя на «вы». — Повторите ему все, что вы тут мне говорили, и скажите, что все карты у меня и я их рассмотрел и согласен с ними. Лев Алексеевич следил за вашим плаванием и будет рад вас видеть. Ему многое бывает известно, — значительно сказал Меншиков. — Он будет руководить вами. Да прошу вас сегодня ко мне отобедать, — добавил князь по-французски, делая вид, что хочет встать на своих больных ногах, и протягивая руку капитану. — Так поезжайте к нему прямо домой, и немедля!

«Смелым бог владеет! — подумал капитан, сильно приободренный князем и его любезным приглашением. — К Перовскому! Но, слава богу, значит, для меня кажется пока все благополучно».

Выйдя из дворца на набережную, он вспомнил совет губернатора, как говорить с Перовским, на какой струне играть.

Вот так, возвратившись из Сибири, почувствовал он, что тут кругом партии, личности, борьба, у каждого свои цели и интересы и что от него еще будут требовать неприязни к тому, кто до сих пор был приятен и дорог, и приязни к тому, кого он терпеть не мог, что мало открыть устье Амура там, на Востоке, куда труднее открыть его здесь, что тут действительно, может быть, как-то нелепо говорить о южных гаванях... Интересы морские здесь непонятны!

Но счастье, что Константин здесь. Он помнит и покровительствует!

«А Врангель ушел! У нас не берегут моряков. Вечное пренебрежение морским ведомством! Всегда мы на положении пасынков! Позор! Нет у нас интереса к морю! Черт знает что, губим то, что есть... Судим о России, как о сухопутной стране... Моря боимся, когда без моря мы ничто... Я не смею сказать морскому министру о гаванях».

нях, без которых Россия жить не сможет. В Петербурге, хотя город этот потому и построен тут, чтобы быть приморским и служить морю, меньше всего интересуются морем! Увольняют славных адмиралов! На берегу моря устроили себе сухопутную вотчину и во главе флота поставили сухопутного барина... Какое-то береговое, черт знает какое, понятие о флоте, море... Сидеть у замерзшего окна. Скоро ли наконец флотом станет управлять Константин?

...Но если тут какая-то подлая интрига — я не стану ждать... Я сам поеду к Федору Петровичу, поеду к Врангелю... Пусть судят сами, мое дело открытое».

Он хотел бы знать, тут ли Баласогло, прощен ли и отпущен ли, — тогда очень кстати встретиться и поговорить с ним, помимо того, что просто соскучился.

Невельской предполагал, какой толчок даст он размышлениям своих друзей, когда расскажет им про Амур, что там на самом деле, как это все выглядит... Это воодушевит Александра необычайно. Конечно, если он цел... И надо к братцу, потом к Мише, еще к дяде... И к князю обедать. Честь велика, отлично!

...А Меншиков, оставшись один, еще раз пересмотрел карты.

— Ясно как божий день! Компания напутала, а теперь хотят обвинить в подлоге моего офицера. А Чернышев... Вот я теперь покажу ему, что такое брамсель!

Глава тридцать седьмая

У МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

— Жаль, жаль, что Николай Николаевич заболел. Мы ждали его.

Министр внутренних дел, молодежавый мужчина лет пятидесяти, с густыми черными, слегка завитыми волосами, как-то странно взглянул на офицера своими красивыми глазами.

Лев Алексеевич спросил, любят ли Муравьева в Иркутске, как находят сибиряки его деятельность, как он вообще там живет и как чувствует себя Екатерина Николаевна.

Потом разговор пошел о погоде, словно для министра было очень важно, какая сейчас погода в Сибири, и снова вернулся к болезни Муравьева.

— А есть ли в Иркутске хорошие доктора?

Невельской старался казаться посмелей и попроще и выказывать, что ничего не боится.

— Есть превосходные доктора: Персин и Штубендорф!

Заметно было, что болезнь Муравьева как-то особенно заботит министра, что он огорчен неприездом Николая Николаевича.

Перовский задал много вопросов о кругосветном, о здоровье и поведении экипажа, о том, как пропал матрос в Портсмуте, об офицерах, кто отличился, чем, кто и как вел себя, потом вообще о путешествии.

Невельской, памятуя советы губернатора, с неподдельным жаром рассказал о Бразилии, о приеме у императора, о параде бразильских войск, потом о Гаваях, перешел к китобоям, к разбоям иностранцев, очень обстоятельно рассказал о подходе иностранного судна к южному входу в реку Амур и тут же — про Хилля, который намерен написать книгу о Сибири и о богатствах наших морей. Потом — про необычайное оживление деятельности англичан и американцев в Китае, на островах Тихого океана, о том, что шкипера их и офицеры военных судов клянутся, что расшибут всю Японию вдребезги, если она не откроет порты для торговли, что американцы уже собираются снаряжать экспедицию.

Перовский присматривался к Невельскому так, словно при прошлых встречах не разглядел его как следует. Он был строг и озабочен, но, кажется, не разбоями иностранцев у наших побережий, а чем-то другим.

Невельской говорил горячо, видно, намолчался за дорогу; речь его о событиях, важных и интересных, так и лилась. Перовский невольно увлекся.

В этом кабинете со множеством чучел животных и птиц и с коллекциями редких минералов офицер, примчавшийся на перекладных с берегов Тихого океана, был тоже как бы редкостью.

Сами эти слова: «Сахалин», «Амур», «гиляки» — необычайно редкие и непривычные, Невельской произносил как-то легко, уверенно.

Во власти графа Льва Алексеевича была обширнейшая и прекрасная страна, но сам он давно никуда не ез-

дил дальше Петергофа. Тем охотнее он совершал сейчас мысленно путешествие вместе с капитаном, побывал в бухте, из которой катил к океану свои таинственные воды великий Амур, видел стада китов, морские острова, где па скалах, по выражению капитана, как запорожцы, отдыхали громадные сивучи, а тучи птиц покрывали во-круг море на десятки миль, так что не видно воды, встречал гиляков в юбках из нерпичьих шкур и даже слышал, как они произносили русские слова, которым учили их алеуты и матросы, спутники капитана.

— Да вы артист! — смеясь и слегка откидываясь в кресле, вымолвил Перовский.

Из его глаз стало исчезать выражение профессиональной пристальности.

Лицо графа, с тех пор как капитан видел его в последний раз, стало несколько бледнее. Бледность шла лицу министра. Оттенялись начерченные бакенбарды и завитые волосы, которые Лев Алексеевич время от времени трогал над висками белой пухлой рукой.

У графа гордо посаженная голова и мягкие движения любезного и властного барина. У него одно из тех молодых и миловидных лиц, которые бывают у людей жестоких и до старости любующихся собой. Нынче Перовский в зените славы, в особенной милости у государя, осыпан наградами и почестями.

Все, о чем Лев Алексеевич сейчас слышал, было далеко-далеко, там, где Восточный океан, где люди в плоских шляпах, бамбуковые рощи... Моряк говорил вдохновенно и совсем не испытывал смущения, которое по нынешним временам заметно даже и у тех, кто не виноват...

А Невельской уже пошел про бивень мамонта...

— Да, да, расскажите мне, пожалуйста, что это за клык, о котором пишет мне Николай Николаевич! — заметно оживившись, сказал министр.

Невельской знал, что Перовский страстный коллекционер. Он, как и многие вельможи того времени, увлекался минералогией, археологией, нумизматикой, коллекционированием картин и других произведений искусства. Он гордился униками, которые удавалось приобрести в Европе или вывезти из глубины России. Ни у кого не было таких богатейших и редчайших коллекций, внушавших зависть всем стареющим и подагрическим люби-

телям редкостей, как у министра внутренних дел графа Льва Алексеевича.

Вместе с внутренними делами огромной Российской империи в его ведении находились и всевозможные источники добывания редкостей для своих коллекций, а также множество людей, посредством которых можно было, кажется, достать все, что захочешь, из-под земли и из-под воды, готовых приложить любые старания, чтобы угодить всеильному министру.

Все губернаторы России знали о страстях графа Льва Алексеевича, а уж губернатор, как известно, у себя в губернии мог сделать все.

Невельской рассказал, что бивень выпал в низовьях Лены из слоя вечной мерзлоты, на нем было мясо мамонта...

— Ах, так разве нельзя было с мясом прислать? Ведь нынче мороз!

— Клык был найден летом, но там холодно. Кажется, морозили во льду... Во всяком случае, Николай Николаевич принял все возможные меры, чтобы доставить хоть кусок мяса.

О деле больше не поминали. Напрасно Меншиков уверял, что граф Лев Алексеевич, как человек, которому многое известно, будет руководить и даст линию, как держаться на комитете.

Говорили про бивень мамонта, но Невельской отлично понимал, что теперь ему будет оказана поддержка гораздо большая, чем если бы разговор продолжался о самом деле. Поручкой тому было удовольствие, написанное на лице графа.

Невельской знал, что Перовский очень хитер и на ветер слов не бросает, не делает необдуманных поступков, он зря не выкажет радушия.

Отпуская капитана, Перовский, как бы между прочим, помянул, что шум поднят большой. Сказал также, что теперь очевидно, что исследование лимана в сорок шестом году было произведено поверхностно и небрежно.

— Графу Путятину из-за всех этих сведений отказано было в осуществлении проекта идти к устью Амура и в Японию...

Лев Алексеевич просил Невельского завтра вечером к себе. Он намеревался показать его знакомым...

Невельской поехал домой, потом к брату.

Обедал он у Меншикова. Тот сказал, что военный министр беспокоится: нет войск для охраны устьев Амура, а Вронченко вопит, что нет средств в Министерстве финансов.

«На все есть средства, на французскую оперу, на парады и черт знает на что...» — думал Невельской.

После обеда, когда Невельской откланялся, князь спросил его:

— Куда же ты?

— На Васильевский остров. Мне непременно надо увидеть сегодня Михаила Семеновича Корсакова...

— Того, что прибыл курьером?

— Да, ваше сиятельство.

— Так погоди...

Князь позвонил и приказал подать к заднему крыльцу Громобоя.

— Это тот жеребец, которого ты мельком видел. Поедешь и посмотри каков, потом скажешь свое мнение. Заметил ты Громобоя?

— Как же, ваша светлость... Прекрасный... Я еще прежде знал его.

Могучий жеребец процокал копытами под каменным сводом, мимо знакомой конюшни и сада около огромной стены, отделявшей усадьбу князя от улицы, в высокие ворота, и Невельской очутился на Шпалерной...

Если Меншиков из-за открытия устьев Амура претерпел неприятности, то могущественный министр внутренних дел натерпелся из-за этого же сущих страхов. Одно время казалось, что и над головой его грянул гром...

Покровительствуя Муравьеву, он добился у государя инструкции на опись. Николай подписал ее.

Но вот сыщики Перовского, опередив тайных агентов Третьего отделения, обнаружили, что на квартире у чиновника министерства иностранных дел Буташевича-Петрашевского собираются молодые люди, сочувствующие идеалам французского социализма и коммунизма.

Время было грозное, на Западе бушевали события. Император повелел действовать беспощадно. В кружок Петрашевского были посланы агенты. Они присутствовали на собраниях, слушали своими ушами чтение письма Белин-

ского к Гоголю, рассуждения о системе Фурье, крамольные речи...

В одну ночь все участники кружка были арестованы. Их обвинили в заговоре и в подготовке бунта.

Выяснились подробности, неприятные для самого Перовского.

Один из посетителей Петрашевского, сибиряк Черносвитов, имевший пай в золотопромышленной компании в Восточной Сибири, в бытность свою в Петербурге объявил участникам кружка, что народ Сибири ненавидит петербургское правительство, что там ждут призыва к революционному восстанию; мятежи там бывали не раз, народ знает, как взяться за дело, нужно только начать.

Черносвитов звал всех ехать в Сибирь, уверял, что это прекрасная страна с огромным будущим. Он говорил, что для успеха восстания непременно надо занять Амур. Мысль его многим понравилась, хотя Черносвитову не доверяли, так как он прежде был исправником.

И вдруг один из арестованных показал на допросе, что Черносвитов уверял его, будто бы генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев хорошо знает его взгляды, сочувствует им и готов поддержать такое восстание.

Перовский был потрясен. Ужас охватывал временами министра, раскрывшего весь этот заговор. Муравьев — его родственник. Об открытии Амура пришлось хлопотать у государя! Все спугалось в один клубок!

Полетели запросы в Иркутск. Жандармские офицеры помчались в Сибирь, схватили и привезли Черносвитова. Тот подтвердил, что река Амур необходима для России, что сибиряки мечтают о ее возвращении. Он дал письменные ответы на все вопросы и уверял, что о Муравьеве сказал из пустого хвастовства, а что в самом деле никаких заговорщиков и единомышленников у него в Сибири нет.

Расследование продолжалось. Запрос Муравьеву был послан, но тот уехал на Камчатку, а из Иркутска ответили, что там все спокойно.

И вдруг в бумагах Петрашевского найдены были записки о Сибири, писанные еще до встречи с Черносвитовым, где автор утверждал, что Сибири суждено быть отдельной империей, что в ней якобы разовьется свободная русская жизнь...

Оказалось, что и другие арестованные очень интересовались Сибирью, а также рекой Амур. Они подтвердили, что будущее развитие Сибири было темой их бесед.

Час от часу не легче! Неужели они желали воспользоваться покровительством министра? Страшно подумать!..

В бумагах арестованного Баласогло найдена была странная записка без даты от какого-то Невельского.

— Невельского? — изумился Перовский, когда ему доложили об этом.

«Александр Пантелеймонович! Ко мне в десять с половиной часов будет Кузьмин, офицер генерального штаба, о котором я тебе говорил. Он вчера был у меня и хочет непременно с тобой познакомиться, переговорить об известном тебе предмете. Сделай одолжение, приходи ко мне, я буду с ним ждать тебя до двенадцати часов».

Очень странная записка! Что это за «известный тебе предмет»? Почему офицер генерального штаба? Что это вообще за таинственность? Оказалось, что это тот самый капитан-лейтенант Невельской, который ушел на «Байкале» на опись Амура и инструкцию для которого хлопотал Перовский. Дело, казалось, грозило крупнейшим скандалом. Похоже, что нити заговора тянулись во флот и в Генеральный штаб.

Перовский чувствовал себя так, как будто сам попал в списки заговорщиков.

Следователи потребовали от Кузьмина и Баласогло признания, что «известный предмет» и есть занятие Амура, что по этой реке хотели подвозить вооружение для повстанцев, как говорил об этом Черносвитов.

Дальше оказалось, что Кузьмин и Баласогло — старые приятели Невельского. Оба упрямо показывали, что в записке речь шла лишь об экспедиции, Невельской желал их взять с собой, одного как специалиста по делам Востока и знатока языков, а другого как опытного топографа. Оказалось, что он познакомил их с Муравьевым и пытался устроить на службу в Сибирь.

От Петрашевского требовали признания, что он разделял взгляды Черносвитова. Тот ответил, что считал Черносвитова провокатором, а что заметки о Сибири, найденные при обыске, есть лишь теоретические рассуждения.

Перовский опасался, что следователи, как рьяные пожарные, растаскают по бревну и тот дом, который не го-

рит, что достанется Муравьеву, а потом еще бог весть, что будет...

«Не будь я родственником Муравьева и не знай я его как свои пять пальцев, ей-богу, решил бы, что он сам во главе заговора и выжидает удобного случая... Больше того, со стороны я бы сам казался себе виноватым... Вот какие бывают ошибки!»

Перовский добился, чтобы председателем военно-судебной комиссии был назначен родной его брат генерал Василий Алексеевич. Он повел дело умелой рукой и действовал по-военному. Всех, кто упоминал на допросах о Муравьеве, он отстранил от дальнейшего следствия и освободил от суда.

Василий Алексеевич сумел представить дело так, что вся эта линия в деятельности заговорщиков — пустяк, пустая болтовня, хотя она и пугала правительство и дворянское общество призраком новой пугачевщины, хотя Черносвитов был единственным, кто действительно призывал к восстанию, указывал к нему средства, обещал поддержку в народе.

Братьям Перовским и всему правительству, а также самому царю наиболее опасными представлялись действия и разговоры тех, кто усвоил мысли, пришедшие в кружок с Запада. Василий Алексеевич и взял на это упор. Ведь это были мысли и идеи, которые уже произвели революционные перевороты на Западе, и их страшились.

Черносвитова отправили в ссылку... А тех, кто говорил о Фурье и коммунизме, вывели в декабре под виселицу, где им сначала прочли смертный приговор, а потом объявили замену казни вечной каторгой.

Тень от Муравьева была отведена.

Перовский так представил все перед государем, что Муравьев оказался единственным, кто это все предвидел и требовал занятия Амура для того, чтобы упрочить силу власти в Сибири, запереть устье этой великой реки сильной русской крепостью, поставить в ней гарнизон, который не допустит никакого иностранного влияния на Сибирь. По словам Перовского, Муравьев утверждал, что это будет препятствием любому бунту в Сибири и новой пугачевщине, которая могла бы быть еще страшнее, так как ее питали бы по Амуру на современных пароходах и во главе ее встал бы не безграмотный казак, а Петрашевский с его идеей «коммунизма».

Муравьеву было отписано, да так, чтобы читал между строк и понял, как необходимо по нынешним временам держать язык за зубами.

В эти тревожные дни на аудиенции у государя Перовский поймал себя на мысли, что следит за самим Николаем и пытается найти в его речах противоправительственные суждения.

Сообразив, что лезет ему в голову, он ужаснулся и из дворца поехал прямо в Александро-Невскую лавру, к митрополиту, признался ему в своих мыслях, как в тяжком грехе...

В душе Перовский вообще мало кому верил... Поэтому он невольно поглядывал и на Невельского с недоверием, когда тот явился к нему по приезде из Иркутска.

Перовский решил твердо поддерживать амурское дело, начатое Муравьевым. Как бы там ни было, Невельской, если он даже в какой-то мере близок к заговорщикам, лишен опасного влияния. Возможно, конечно, что к нему тянулись нити, а он пытался воспользоваться Муравьевым. Но теперь это не опасно. Невельской остается, может быть, единственным человеком, который способен исполнять все исследования.

Перовский понимал, что обстоятельства времени обязали правительство придать кружку Петрашевского вид настоящего заговора.

Но если правительство не придавало значения взглядам петрашевцев на Сибирь, то Перовский из протоколов допросов узнал много любопытного. Например, Нессельроде они называли подлецом и мерзавцем, а это в глубине души очень понравилось министру. Он вообще любил знакомиться с мнениями арестованных и узнавал часто дельные мысли.

Однажды он полушутя признался Муравьеву, что в его положении независимое и оригинальное мнение можно слышать только от арестованных.

Теперь, после расправы над петрашевцами, правительство, как полагал Перовский, должно было воспользоваться их мыслями. Он сам желал выказать себя покровителем ученых и путешественников. Следовало начать какие-то значительные дела, вырвать у революционеров их козыри.

Петрашевцы говорили о немецком засильи в России. Перовский полагал, что тут следует принять меры, поте-

спить немцев, например в Географическом обществе, вице-председателем которого был Федор Петрович Литке. Он вилял и, по мнению министра, не имел твердого взгляда. Конечно, что же это за Русское географическое общество, где сидят почти одни немцы!

А тут Муравьев, побывавший на Камчатке и Сахалине, прислал на предварительный просмотр статью для «Известий Географического общества», в которой опровергал статью Берга, недавно появившуюся в «Известиях».

Обилием фактов в руках Муравьев совершенно уничтожал всю позорно пассивную современную позицию Географического общества, да и правительства также.

Статья написана как бы в ответ на космополитические воззрения Берга. В частном письме Муравьев едко заметил, что, быть может, правительство по высшим политическим соображениям уступит иностранцам не только устье Амура, но и саму Камчатку, как ныне уступлены иностранцам китобойные промыслы в Охотском море!

Муравьев — либерал — блестяще написал, но понимает, что век не либеральный, так писал сначала министру внутренних дел... И верно сделал!

Перовский намеревался принять крутые меры. Он решил посадить рядом с Литке своего человека. Самой подходящей фигурой представлялся генерал Михаил Николаевич Муравьев. Пусть немцы трудятся, но глаз за ними будет. К тому же Перовский искренне полагал, что делает услугу русской географической науке, когда на все видные места в обществе сядут надежные лица из генералов и правительственных деятелей. Поводом для переворота могли быть предстоящие перевыборы в Географическом обществе. А Михайло Муравьев близок Министерству внутренних дел. А то вон из Географического общества многие попали в крепость.

Перовский также считал совершенно правильной мысль истрашевцев о влиянии России на сопредельные страны Азии.

И конечно, пужен Амур. Чтобы держать Сибирь в повиновении. Заткнуть выход из Сибири наглухо такой пробкой, чтобы никто и не смел помышлять о каких бы то ни было бунтах.

Невельской — отличный моряк — может быть незамеченным помощником и исполнителем. Для Муравьева он,

конечно, необходим. Только держать его на виду, следить...

По всем этим причинам министр внутренних дел вполне сочувствовал всем намерениям капитана Невельского, которого он считал верным исполнителем замыслов Николая Николаевича. А уж Муравьев будет за ним приглядывать. Он это умеет. Да и у Невельского, даже если он и виноват, крылья теперь подрезаны. Перовский решил твердо поддерживать все представления Муравьева на предстоящем комитете.

Глава тридцать восьмая НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ

Геннадию Ивановичу так хотелось повидать Баласогло, что он не утерпел и на рысаке светлейшего подкатил сначала на Морскую, с тем чтобы остаться, если придется.

Там его как ошпарили кипятком. Поднявшись по гнилой лестнице, он встретил совершенно незнакомых людей в квартире Александра. Капитан разыскал дворника, и тот объяснил, что Баласогло взят полицией и посажен в крепость. Несколько присмотревшись к офицеру, бородач разговорился. Он, оказалось, слышал, будто бы Александра Пантелеймоновича погнали в ссылку, а жена его съехала на другую квартиру и, как слышно, собиралась к мужу.

Что тут правда, что прибавлено — трудно судить. Похоже на правду. Невельской сел в сани и помчался на Васильевский остров.

В этот вечер Корсаков поведал много интересного. Сам он по прибытии в Петербург явился к министру двора Петру Михайловичу Волконскому, передал ему письмо от Марии Николаевны. Он рассказывал, как тронут был Волконский, плакал, слушая о родных; Миша получил аудиенцию у государя и с восторгом про нее рассказывал. Его величество задавал вопросы, и Миша помнил все их чуть ли не наизусть. Несколько раз поминалось имя Невельского...

Миша вообще даром времени не терял. Он всюду бывал, был и у Меншикова и у Перовского, о чем капитан уже слышал от самих министров, на которых Корсаков

произвел прекрасное впечатление, и у великого князя Константина, который читал при нем рапорт и будто бы также с большой благосклонностью отозвался о Невельском...

Дядюшка сенатор Мордвинов возил Мишу по знакомым и показывал, как чудо, и все изумлялись, что он плывал по Охотскому морю и был на Сахалине. Доволен им был и другой дядя — Дубельт, которого Миша называл дядей Леней.

Корсаков сиял, довольный своим успехом. К нему собирались бывшие товарищи — офицеры Семеновского полка, в котором служил он до Восточной Сибири, чествовали его в ресторане Палкина за необыкновенное морское путешествие, подобного которому еще никто из семеновцев никогда не совершал, называли великим мореплавателем, целовали и качали.

— А ведь действительно, как вспомнишь, где я был! — с чувством сказал Миша, вскакивая с дивана.

Михаил Семенович засыпал Невельского вопросами, тот не успевал отвечать.

— А что Екатерина Николаевна? Готов ли портрет государя для новой залы? Как Зарины? Как Роз и Бланш? Которая больше понравилась вам?

Невельской попристальной взглянул на него и тоже вскочил с дивана.

Он почувствовал, что Миша для него теперь самый близкий и желанный человек, что встречи с ним он втайне ждал все время, что здесь, в столице, Миша — свой, «иркутский», почти родной, недаром еще по дороге помнил о нем все время; он приятнее и ближе, чем все петербургские родственники.

Приятно смотреть на сияющее, юное, румяное лицо Миши. Оно дышало здоровьем и молодостью, напоминало встречу в Аяне, Николая Николаевича, Иркутск...

Да, Миша самый дорогой и совершенно бескорыстный друг; казалось, какой-то теплый свет счастья светил капитану, когда Миша был рядом. И о чем бы они ни говорили, во всем подразумевалась «она».

— Так тебе нравится Бланш?

— Я люблю ее, — сказал Невельской. — Я никогда не любил... Вот говорю тебе открыто... Но все это проклятое дело помешало мне объясниться. Ах, если бы ты знал, как досадно! Я временами рыдать готов... Миша, Миша,

если бы ты знал, что у меня на душе, какая буря, какой восторг и как горько в то же время.

Корсаков сам был без ума от Невельского, рассказывал про него и про его необыкновенные подвиги, где только возможно, всем родственникам и должностным лицам, и дяде Лене Дубельту, и дяде Мордвинову, и всем теткам.

Но на мгновение, как ни восхищался он Невельским, а подумал, может ли Геннадий Иванович иметь успех у такой блестящей красавицы, какова Екатерина Ивановна, не напрасны ли его порывы и надежды? «Впрочем,— решил он,— что за глупости, ведь он герой, а женщины любят героев... Ей-богу, я бы сам полюбил его, будь я жемщиной».

— Как это прекрасно, если бы ты знал... Я высоко вознесен своим чувством. Смотрю на все как-то по-другому. И поверь,— добавил капитан, как бы догадавшись о мыслях собеседника,— если даже она не любит... Я ее люблю и боготворю и буду любить вечно. Кто полюбил в тридцать пять лет, тот уже не разлюбит. Когда был в Иркутске, стеснялся часто бывать там, и теперь каюсь... всю дорогу готов был волосы рвать на себе... Я не смел дать волю чувствам. Как я винюсь на этот раз! Вечная мысль о деле, когда я должен был дни напролет любоваться ею...

Корсакову тоже не хотелось оставаться в долгу. Его роман с Элиз был известен Невельскому, ему льстило, что об этом говорили в обществе. Он спросил о ней.

— Мадемуазель Христиани выехала из Иркутска на рождество. Она просила кланяться тебе, если встречу. Тогда еще я не знал, что еду в Петербург...

— Я желаю ей добра,— вспыхнув, сказал Миша.

Разговорились об Иркутске, о таких мелочах тамошней жизни, как будто сами находились там, а не в Петербурге. Говорили много и беспорядочно. Невельскому все было приятным здесь, в этом доме на Васильевском острове; казалось, какую-то частицу любви своей к Кате он переносил на Мишу, словно тот был ее любимым братом.

Говорили о романтическом, необыкновенном мире — об Иркутске, который там, далеко за горами и просторами... Миша был частицей этого мира, единственный во всем Петербурге, дороже адмиралов, министров и даже самого царя и флота. Невельскому в самом деле казалось, что он даже похож на Екатерину Ивановну; такой же белокурый, радостный, свежий, с такими же голубыми глаза-

ми. Он смотрел на него в самом деле как на брата любимой невесты.

— А ты любишь Николая Николаевича? — воскликнул Миша. — Я люблю его, как отца и мать! И какие прекрасные люди с ним служат! Знаешь, он подобрал, как говорят англичане, настоящую *group in purple*¹.

— Мне тоже нравятся его сотрудники! Я люблю Николая Николаевича.

— Да? И ведь, помпишь, у нас в Иркутске не говорят «ехать к губернатору», а «ехать во дворец!» Свита, действительно!

Говорили о Нессельроде, Перовском, о статье, посланной Муравьевым для «Географических известий».

— Я не мог спросить об этом Льва Алексеевича, а он сам не сказал мне ни слова, заговорить было неудобно... Но раз он тебе ничего не говорил о ней, то я спрошу непременно.

— Он благороден! — воскликнул Миша. — Поверь, даст ход статье! Он прочел ее при мне и с большим сочувствием отозвался.

— Ты думаешь, понравилась ему?

— Он вполне согласен! Ведь Николай Николаевич пишет, что ни одна из экспедиций подобного рода не имела для России такого значения. Он имеет в виду, что ни Крузенштерн, ни Литке...

Невельской приумолк при этих словах, сообразивши, что хорошо сделал, не заговорив с Перовским про статью, и то можно подумать, что он искал бы похвалы себе.

Что Крузенштерн и Литке могли давно все выяснить, но не выяснили, это была мысль, запавшая ему в голову давно, еще в корпусе, и он ее выложил Муравьеву в Аяне, и перед этим говорил не раз, и всюду не стеснялся высказывать ее прежде, даже до смешного дошло — однажды в корпусе поспорил с самим Крузенштерном.

— Ты знаешь, как я уважаю и люблю Федора Петровича, но, конечно, именно по причине исследований, которые доставили ему всемирную известность, он упустил важнейшее: не исследовал Амура и Сахалина, что для России по важности не может сравниться с измерением температур воды и глубин в океане. Как и Крузенштерн! Он исследовал острова в Тихом океане, на которых те-

¹ Свиту (букв.: группу в красном).

перь прекрасно расположились европейцы. А слона-то не заметили. Я не раз говорил Федору Петровичу...

— Да, в Охотском море! — вспоминал Миша. — Я никогда не забуду... Ты представляешь, что меня больше всего поразило в американцах? Представь, подходит шлюпка, поднимается шкипер китобоя. Я полагал, что это вроде наших петербургских немцев. Ничего подобного, простой мужик в шерстяной рубахе, очень прост и держится просто...

— Это для них кусок хлеба. Они идут бог весть на какой риск, но знают свое дело. Ты был когда-нибудь у них на борту?

— Нет.

— У них суда содержатся очень порядочно. И дисциплина.

— Да, представь, это поразило меня! Ты читал в газете записки об Америке? Они печатаются в «Петербургских ведомостях».

— Да!

— Это чистая правда! Действительно, там все грубо и неотесанно. У меня такое же впечатление. Но знаешь, я не могу себе простить одного, — лицо Миши выразило досаду и огорчение, что было непривычно видеть на его обычно спокойном и счастливом лице, — знаешь, шкипер прислал мне ящик сигар! И я взял! Чувствую, что отвратительно... Не догадался тут же выбросить за борт.

Невельской улыбнулся. Сигары, конечно, пустяк, стоит ли так огорчаться, но эти сигары, кажется, были могущественным средством... Конечно, американцы умели... Сигары и апельсины...

Миша стал говорить, что в семье у них неприятности, помянул дядю Лению Дубельта. Капитан уже слышал от кого-то в Иркутске, что Миша, когда ехал туда, получил в подарок от дяди Лени сюртук и очень этим гордился.

— Ты знаешь, дядя рассказывал, у него ведь обо всем сведения, что наш миссионер Иннокентий, якобы услышавши о социалистах, заявил, что он тоже социалист.

Пришел Сергей Корсаков — брат Миши, в квартире которого на втором этаже и происходил весь этот разговор.

Сергей — молодой человек с высоким белым лбом и пышными темными бакенбардами. Он высок ростом, модно одет. Это известный инженер.

Разговор переменялся, Миша, видно, что-то хотел ска-

зять про открытый заговор и, кажется, про какие-то связанные с этим неприятности, может быть, для дяди, как предполагал капитан, но умолк.

Вскоре перешли в гостиную. Невельской познакомился с женой Сергея.

После ужина Сергей ушел к себе. Капитан и Миша перешли в комнату Миши.

— ...Геннадий Иванович! Я должен сказать тебе тайну, но поклянись.

— Клянусь! — встрепнулся Невельской.

Через Дубельта и Мордвиновых многое могло быть известно Корсакову.

— У Петрашевского допытывались, был ли он знаком с вами...

— Со мной?

— Да... Ты понимаешь... Ростовцев, из военно-судной комиссии, и дядя Мордвинов — приятели. Это истина!

— Я не знал Петрашевского! Честное слово! Слышал его имя, но не знал.

— Но все благополучно, — поспешил успокоить его Миша, — дядя сказал мне... и дядя ждет нас с тобой, непременно просил привезти. Ты знаешь, брат Коля, о котором говорил Сергей... Ты не понял! Брат Коля тоже замешан был. И знаешь за что? Он читал сочинение, которое называется «Солдатская беседа». Вообще переарестовали массу народа, задеты оказались многие. Все стали хлопотать, обращаться к дяде и к Ростовцеву. И ты знаешь, что сказал Ростовцев? Что все члены следственной комиссии будто бы в большей или меньшей степени сами стали фурьеристами...

«Значит, не зря мне показалось, что Перовский поначалу присматривался ко мне как-то странно, — подумал Невельской. — За всех хлопотали... Только за Александра некому было...» Он не стал скрывать от Миши знакомства с Баласогло, полагая, что поступил бы неблагородно.

— Может быть, его в Иркутск? Я постараюсь узнать.

— Ты думаешь, в Иркутск?

— Очень возможно...

— Дай бог! Это было бы прекрасно! Если бы ты знал, какой замечательный человек Александр Пантелеймонович.

— А что они хотели? Я знаю Николая. Он честнейший и благороднейший человек. Ведь они только рассуж-

дали о Фурье, говорили о цензуре. Правда, такие вещи говорить открыто не следует.

— Да...

— Хорошо, что мы с тобой понимаем это.

— Да, это их ошибка.

— Они хотели невозможного! Должна быть постепенность в развитии. Не правда ли?

Невельской молчал.

— Говорят, что у них было много хорошего в намерениях! Это благородные люди, но заблуждались ужасно, и если бы им удалось, то, говорят, было бы что-то вроде девяносто третьего года.

Невельскому не хотелось рассуждать об этом. Известие о том, что имя его упоминалось, произвело на него сильное впечатление. Он ответил уклончиво.

— Трудно сказать, Миша, что было бы.

— Да, так вот мой двоюродный брат Николай пострадал из-за того, что у него нашли в списках эту «Солдатскую беседу»... Сочинение очень остро написано. Ты знаешь, у меня есть экземпляр. Дядя Мордвинов очень обеспокоился, узнав, за что пострадал Николай, и попросил Ростовцева показать эту «Солдатскую беседу». И знаешь, дядя списал копию своей рукой, а потом я выпросил себе, дядя дал под величайшим секретом, я могу дать тебе почитать... Дяде самому очень нравится. Знаешь, я читал с восторгом... Черт возьми, как верно, когда я прочел — поразился!

Миша пошел в соседнюю комнату, рылся там долго и вскоре вернулся с тетрадкой в руках.

— Вот, возьми...

— Так ведь это дядин. А если он у тебя потребует?

— Нет, это уже я сам переписал своей рукой, это мой... Можешь читать, только не попадайся, и боже спаси тебя кому-нибудь показать...

Невельской подумал, что, видно, дело зашло далеко, если добрались до солдат. Он вспомнил свой экипаж. С какой горечью и недоверием провожали его матросы! Тяжело было им оставаться. Там сухо, только поднеси спичку! Так же как и везде. Видно, отважные были люди, если не боялись обратиться к солдатам. Тут он вспомнил Волковского и Бестужева, которые начинали примерно так же.

Речь зашла об авторе «Бесед»; он был офицером, там еще замешано много офицеров.

«В том числе и мой Павел Алексеевич», — подумал Невельской про Кузьмина...

Миша оставлял Невельского ночевать, но тот сказал, что его ждут дома, у брата, и что завтра он, верно, переедет в гостиницу.

— А у тебя есть портной хороший? — выходя на улицу, спрашивал капитан. — Ты знаешь, какой воротник я купил в Аяне для зимней шинели!..

Миша вышел проводить Геннадия Ивановича до извозчика. Ночь была темная. По всей улице горели фонари, освещая мостовую, стриженные деревья вдоль тротуара и заборы.

На Васильевском острове почти у каждого дома — сад. Подъезды домов затейливые, с укрытиями и крылечками. Вдали видны торговые ряды и бульвар из подстриженных деревьев. Налево два больших каменных дома как бы соединены высокими воротами. Дальше деревянные дома со ставнями.

Невельской подумал, что все это: заборы, сады, чистота и мороз — похоже на Иркутск, как раз на ту часть его, где живет Екатерина Ивановна... «Странно», — подумал он. Никогда Васильевский остров не казался таким милым и привлекательным.

На углу, напротив торговых рядов, крытых черепицей, которая видна при свете фонарей, стояли извозничьи санки. Капитан взял лихача и простился с Мишей. Договорено было на завтра, кто и что делает. О предстоящем комитете в этот вечер толком даже и не поговорили, как о деле, к которому еще придется вернуться много раз.

— Тетрадку не забудь, спрячь хорошенько, — спохватившись, крикнул Миша уже из темноты.

Вечер капитан провел дома с теткой, кузенком и его женой. Братец Никанор, в чине капитана второго ранга, тоже рассказал такие новости, что волосы могли стать дыбом.

Допоздна при свете свечей в кабинете Никанора капитан читал «Солдатскую беседу».

«Все верно! — думал он. — Правда горькая...» Он вспомнил, как Миша выказывал сочувствие. «Но что ты будешь делать со своим дорогим дядей Дубельтом и с его сюртуком, если народ когда-нибудь разъярится и начнет бить и вытряхивать всех жандармов... И нас с тобой заодно, тоже может случиться!»

Муравьев всегда останавливался в гостинице «Бокэн», самой новой и роскошной в Петербурге, очень удобной тем, что она находилась в центре города, на Исаакиевской площади: Адмиралтейство, Главный морской штаб, Министерство иностранных дел и все правительственные учреждения рядом. Николай Николаевич очень хвалил эту гостиницу. На этот раз Невельской решил поступить по его примеру и еще вечером сказал об этом брату, в скромной квартире которого он остался ночевать. Утром капитан послал Евлампия узнать, есть ли помера, и переехал, расставшись со своими самым любезным образом. Ему надо было заниматься да, кроме того, предстояло принимать людей — знакомых, товарищей, и вообще не следовало падать духом, — быть может, еще придется формировать экспедицию.

Из гостиницы, взявши извозчика, он отправился на Фурштатскую к Федору Петровичу, но его не застал, Литке уехал в Географическое общество.

Рысак подкатил капитана по набережной Мойки к трехэтажному дому с колоннами и мраморными бюстами в маленьких круглых нишах. Это особняк Пуштина, недавно отделанный запово. Рядом мрачный — для каждого, кто помнит страшную историю гибели поэта, — дом старухи Волконской, в котором жил Пушкин... Тут когда-то в юности останавливалась Мария Николаевна. Географическое общество снимало в перестроенном особняке Пуштина несколько скромных комнат, заставленных шкафами со всевозможными редкостями по отделам зоологии, этнографии и геологии, с новейшими приборами по физике и астрономии, с глобусами, досками для развешивания карт, с древним оружием на стенах.

Помещение тесное, но капитана, когда он вошел еще в первую комнату, уставленную стульями, где, видно, происходило накануне заседание, охватил благоговейный трепет, какой испытывает каждый молодой ученый, вступая в подобное учреждение.

Он тут же вспомнил, что будто бы министр внутренних дел, как сказал вчера Миша, полюбил Географиче-

ское общество и хочет предоставить ему новое и обширное помещение в самом здании Министерства, на Фонтанке, у Чернышева моста.

В одной из комнат, в углу, за столом, склонив свою лысую голову, сидел в одиночестве и что-то быстро писал Федор Петрович Литке.

Заслышав шаги, он насторожился и вскинул взор. Капитан увидел острое, знакомое лицо.

— Христос спаси! Вы ли это, Геннадий Иванович? — воскликнул Литке, раскидывая руки.

Высокий, стройный и статный, с широкими плечами, с похудевшим, но свежим лицом, по обе стороны которого пущены пышными клоками седеющие бакенбарды, с лысой, острой головой, он быстро подошел, горячо обнял капитана, и они по-русски, крест-накрест, трижды поцеловались.

По тому, как засверкали светлые глаза адмирала, как не было в нем ни тени важности, свойственной военным, а особенно военным в больших чинах, видно было, что его адмиральский мундир — не препятствие для бесед живых, даже бойких, для излияний пылких и даже для споров.

Литке, очень подвижной, даже торопливый, в свое время молодым офицером немало претерпел за это по службе, но таким, видно, остался и до старости.

— Ну вот, я вам говорил, что все будет благополучно... И никаких придирок! Я их знаю! Так на Модербанке?

— Так точно, Федор Петрович...

— Ну и прекрасно! Все прекрасно. И войны еще нет... Хотя,— добавил Литке шепотом, с юмористическим видом, как бы играя в таинственность,— в Петербурге все приведено в боевую готовность.

Когда в сорок восьмом году «Байкал» отправлялся из Кронштадта, старые адмиралы долго размышляли, как пройти Европу. Главное, что капитан доставлял в восточные моря не продовольствие, а пушки и порох на случай войны... Лутковский, Гейден, Анжу, фон Шанц обсуждали, какие взять меры предосторожности, все они хорошо знали английские порты и порядки там. Невельскому посоветовали по приходе в Портсмут не становиться на Спитхэдском рейде, а подальше от крепости, на Модербанке, чтобы в случае чего уйти, как в свое время Головин на «Диане» с Капского мыса. Теперь все это в прошлом, смешно вспомнить, какие ожидались опасности.

Невельской тут же рассказал, как он вообще хотел не являться к портсмутскому адмиралу и это можно было бы сделать, но сказали, что тогда не дадут воды. Когда потом явился, никаких расспросов не было, адмирал оказался прекрасным человеком, пригласил обедать... Литке знал этого адмирала.

— На наше счастье, у нас волнами снесло рубку в Немецком море, так я сказал, что нужен ремонт, и поэтому мы встали там... Адмирал еще предупредил меня, что действуют кромвелевские законы и нельзя чинить судно своими материалами, должны оплатить ввозную пошлину, но тут же объяснил, как обойти законы, найти купца, и он все сделает и произведет работу.

Невельской рассказал про Лондон, хвалил доки.

— Мой дорогой Геннадий Иванович, — погрозил Литке своим длинным пальцем, — поосторожнее, братец, по нынешним временам вас сочтут космополитом за такие разговоры.

— У меня в Портсмуте человек сбежал. Такая каналья! Мастеровой Яковлев, на хорошем счету был, полиция говорит — увели торговцы.

— Вот мы не воспитываем пат-ри-о-тиз-ма в простом человеке. Потому и сбежал! Время прошло, когда матрос служил не рассуждая. Люди при соприкосновении с Европой понимают многое...

Быстро перешли к столу. Появились карты, и пошел разговор, продлившийся несколько часов, но обоим собеседникам показалось, что промелькнули лишь минуты.

Литке уже слышал, какой шум поднят вокруг открытия Невельского, нагородили бог знает чего. Но истина очевидна. Он знал — Геннадий Иванович со странностями, но верил ему, как самому себе!

Литке не пустился в похвалы, как это любят делать в таких случаях адмиралы и другие важные лица. Он расспрашивал о найденном проливе, о фарватерах, о самой реке, о населении, о течениях... Смотрел таблицы температур...

За эти годы Федор Петрович еще сильнее поседел и постарел, хотя лицо еще свежо. Когда Невельской уходил из Кронштадта, положение Литке было неопределенным. Он закончил воспитание великого князя и ждал назначения.

И вот Невельской успел обойти вокруг света, сделать открытие и вернуться через Сибирь, а положение Литке все еще без перемен.

На днях Меншиков предложил ему должность командира Архангельского порта. Горько стало старому адмиралу. Он был создателем Географического общества, вся жизнь его связана с Петербургом, где многие морские офицеры воспитаны им, многие ученые открытия подготовлены. Он понял, что его стараются убрать из столицы.

Литке не чувствовал себя стариком, он бодр, полон сил. «В странное, тяжелое время мы живем», — писал он в эти дни своему другу Фердинанду Петровичу. Литке винили в либерализме, утверждая, что у него в Географическом обществе собирались вольнодумцы. Государь, сыну которого он отдал много лет своей жизни, казалось, не был благодарен и не желал защитить его от нападок. А тут еще, как слышал Федор Петрович, его стали называть «немцем». Это было оскорбительно для него. Он всю жизнь отдал России. «О том, что при дворе полно немцев, некоторые из них даже по-русски не говорят, об этом ни слова, а про меня вспомнили, что лютеранин, что создатель певческого общества в Петербурге!»

Федор Петрович знал, что его авторитет всемирно известного ученого не допустит, чтобы совершили какой-то отвратительный поступок... Он верил, что не посмеют, что и Константин, его воспитанник, со временем все поймет и придет на помощь.

Когда расследовали дело петрашевцев, Федора Петровича не осмелились вызвать в следственную комиссию, имя его не упоминалось, а один из важных чиновников этой комиссии сам приезжал к нему поговорить о молодых людях, объявивших себя коммунистами.

Литке никогда не приходило в голову, что он не русский: он верно служил трону и науке. Но теперь, когда он чувствовал, что затевается какая-то интрига, что все пути для него закрыты, да все делается тайком, глухо, внешне как будто пристойно, как будто его по-прежнему уважают, но в то же время в воздухе носится что-то такое, от чего на душе отвратительно, Федор Петрович невольно сближался с теми «немцами», кто оказывался в таком же положении, как он...

И, конечно, еще ближе стал он с Врангелями, с Платоном Чихачевым, Бэрром, Гальмерсеном, Рейтернами —

со старыми друзьями. Перед ним встал вопрос, что делать, как жить дальше...

В том обществе, где он жил, было как-то глухо, люди знали, что самое доброе их намерение будет истолковано превратно: нередко они отказывались от исполнения своих замыслов...

И вот в эту-то пору всеобщего разброда и застоя, когда казалось, что все запрещено и никакая научная деятельность невозможна, вдруг, как гром при ясном небе, пришло известие о необычайном открытии Геннадия Ивановича.

Литке плакал, услышав, как блестяще совершил Невельской свое исследование. И следом — еще одна новость: Александр Бутаков описал устье Аму-Дарьи и Аральское море... Это еще одно потрясающее известие. Подуло свежим ветром. Открыт путь к Тихому океану и другой — в глубь Средней Азии, туда, где древнейшие страны мира, может быть, в Индию... Молодежь принесла в Петербург, в затхлый воздух чиновничьей столицы, дыхание огромных просторов.

Литке втайне гордился. Он задумал хлопотать Бутакову золотую константиновскую медаль, а пока собрать у себя всех старых друзей — и «немцев», и русских, и этих молодых офицеров, которыми может гордиться наш флот и вся Россия.

«Тут есть заслуга и старого «немца», — думает он и сдерживает старческие слезы, которые просятся на глаза от восторга и боли при виде этих карт, разложенных перед ним, вычерченных по тому самому новому способу, как он учил.

Да, Невельской и Бутаков, казалось, привезли с собой весну. В оскорбленной душе старого адмирала ожили надежды. Какие перспективы открывались перед наукой! Если бы удалось расшевелить наши азиатские дела!

— Геннадий Иванович, сын мой туда рвется теперь, милый Костя мой, хочет непременно на Тихий океан. Он счастлив будет видеть все.

Литке рассказал, что в Европе уже известно о нашей экспедиции на Аральское море.

— Гумбольдт заинтересовался! Мы написали ему... какую бурю восторга вызвало бы ваше открытие, если бы мы посмели о нем объявить! Все ученые Европы благодарили бы вас... Вам здесь не верят, все держится втай-

не, мы не смеем ни о чем объявить! А предай мы это гласности, вся мировая наука была бы на нашей стороне.

Невельской подумал, что Гумбольдт, может быть, никогда и не узнает о существовании «Байкала»...

Литке стал говорить, что общество бездействует, что если Струве и Рейнеке составляют планы новых экспедиций, то это более инерция, привычка к деятельности, чем сама деятельность.

— Разве это мы могли бы сделать? Василий Яковлевич ведь машина паровая, а не человек, он горы может своротить... А ваш покорный слуга, — развея руками, раскланялся Федор Петрович, — трутень! Работаю только потому, что не привык сидеть сложа руки. Мы стали учеными чиновниками, Геннадий Иванович! Вот Петр Александрович Чихачев уехал, живет в Париже, напечатал там свои труды.

Литке выложил перед капитаном огромный, роскошно изданный том книги Петра Чихачева на французском языке об его путешествии на Алтай.

Литке ждал Невельского давно. По инерции, как он говорил, а скорее всего по необыкновенной страсти к науке, он многое подготовил для Геннадия Ивановича. Следом за книгой Чихачева появились карты, полезные для Невельского, новые лоции, новые труды ученых на разных языках. Мир жил, ученые в разных странах полны были деятельности. Литке всем интересовался, все знал. Он достал из стола вырезку из гамбургской газеты со статьей о том, что американцы в будущем году намерены отправить экспедицию к берегам Сибири, что судовладельцы и китобои потребовали от президента занятия удобных гаваней где-либо на материке, на Татарском берегу или в Японии...

«Так они исполнили, что хотели», — подумал капитан.

— Это солидная газета и печатать ложных сведений не станет. А наш директор азиатского департамента Сениян? Что они думают, наши дипломаты, со всей своей азиатской политикой! Геннадий Иванович, молю вас, не упустите момента, действуйте решительно!

Невельской знал об интересе американцев к Сибири и каков масштаб их требований, знал, что все исходило от простого народа — шкиперов и судовладельцев, мужичья, по сути дела, которые хорошо понимали, что требования их выполнимы, и запросто обращались к президен-

ту, тогда как у нас нельзя было и заикнуться ни о чем подобном... Разница огромная! И, уж конечно, президент не станет толковать, что, мол, нежелательно ущемлять русские, или английские, или чьи бы то ни было интересы. Дома у Литке были еще вырезки для Невельского, журналы, книги...

Заговорили об иркутском губернаторе.

— Муравьев — прелюбопытнейшая личность! Главное, он сумел внушить царю, что действует правильно! Поразительный пример. Вот и вам надо держаться того же! Как он разрубил этот узел с Охотском...

— Но как раз тут, Федор Петрович, он ошибается. Перенос порта на Камчатку — ложный шаг...

Литке склонил голову набок и развел руками. Он взглянул с таким удивлением, словно не узнал Невельского.

— Я люблю и глубоко уважаю Николай Николаевича, но уверяю вас, что это решение губительно!

Добродушная улыбка появилась на лице ученого. «А ну послушаем», — как бы выражала она.

Невельской повторил все свои доводы, что средств морских нет, что нельзя их распылать...

— На Камчатку хотят загнать тысячи людей — это миф, безумие! Будет голод! При нашей неразберихе, бедности в средствах, бюрократизме все затянется бесконечно. Надо перевезти десятки тысяч пудов груза, да еще чиновников, попов с семьями. А что сможет сделать Муравьев, когда он за тысячи верст оттуда, а там будут распорядиться пьяницы и делать все по-своему. Все это означает, что Амур останется заброшенным! Откуда мы возьмем суда для амурской экспедиции? Англичане смеются над нами: «Иртыш» — флагман русского военного флота на Тихом океане — бывший английский угольщик! Это же анекдот... Все средства уйдут на Камчатку! Обескровим сами себя. А есть ли у нас в Балтийском море суда, годные для отправки в те моря? Нет!

— Охотску не следовало существовать сто лет тому назад, — возразил Литке. — Если мы будем рассуждать, что до перехода на Амур нельзя трогать Охотска, то этот позорный, гнилой порт будет существовать вечно. Муравьев совершенно прав, и я готов подписаться под всеми его действиями!

— Чем и пособите погубить все дело!

— Правительство никогда не разрешит занять устье Амура, прежде чем не будут предприняты дипломатические шаги! Муравьев прекрасно это понимает! Запишите это, Геннадий Иванович, не разрешит!

На этот раз развел руками и картинно поклонился Невельской.

— Тогда все гибнет, с чем вас и поздравляю!

— Но это не в наших с вами силах! — с досадой ответил Литке.

Глаза капитана сверкнули как-то странно, лицо стало почти юным, щеки зарделись, казалось, он готов был на что-то с безумной решимостью...

«Бог знает что он задумал,— подумал Литке, заметив этот фанатичный взор.— Верно про него всегда говорили, что наш Геннадий Иванович не маковое зерно...»

— Но по нынешним временам надо действовать трезво и осторожно,— ласково заговорил адмирал.— Поверьте, что ни один из нас, старых вояжеров, побывавших на Камчатке, не будет протестовать против Петропавловска. Имея такой превосходный порт, оставлять его пустым? Ждать занятия его врагом в случае войны? Нельзя далее оставлять такую превосходную гавань незанятой... Милый мой Геннадий Иванович, в лучшем случае все ваши справедливые доводы долго-долго останутся гласом вопиющего в пустыне... Вы впадаете в отчаяние! Все ваши пылкие представления правительству — шторм во льдах! Давайте действовать вместе, основываясь на реальной поддержке Муравьева, на фактах, исходя из действительных возможностей. Его высочество поминал про вас и расспрашивал, нет ли у меня сведений. Правда, он сейчас занят другим, он все свое время употребляет на составление нового морского устава, но он окажет всемерное содействие. Только молю вас, укротите свой характер, не спорьте, не требуйте невозможного. Один опрометчивый шаг может все испортить. Поверьте, Муравьев прав, в будущем может быть два превосходных порта: и на Амуре и на Камчатке. Но все в свое время. А пока наше счастье, что Константин начинает управлять делами... Это будет полный переворот, общее движение вперед...

Невельской ответил, что все эти рассуждения ошибочны, в основе их общий неверный взгляд на Амур, помянул статью Берга...

Непочтительный отзыв о статье, напечатанной в «Известиях Географического общества», был очень неприятен Литке, но он все объяснил характером Невельского и еще тем, что Геннадий Иванович сделал великое открытие и, конечно, страдает за его судьбу, хочет там скорее все занять — естественное желание как можно скорее довести до конца дело, начатое собственными руками. Федор Петрович ответил, что не следует спорить о том, что ясно, надо действовать, что Константин будет завтра, надо явиться. Великий князь может оказать самую сильную поддержку...

— Его высочество сам начинает управлять министерством! — повторил Литке с гордостью, как говорят о возмужавшем сыне. А в душе Литке испытывал глубоко затаенную боль, он говорил все это тоже как бы по инерции, привыкнув жить много лет интересами великого князя...

И вдруг капитан почувствовал, что Литке не может быть в душе доволен. «Как же, его воспитанник входит в должность, а сам он не у дел и сказал мне еще перед моим уходом в плаванье, что его выбрасывают за ненадобностью, как старый блохшик...»

Невельской знал характер Константина, его аккуратность, исполнительность (вот и теперь он начал с того, с чего хотел, — с составления нового морского устава, и будет сидеть над этим), знал его умение неукоснительно следовать, чему полагается, и при этом не переступить границ дозволенного. Все это сам Литке воспитывал в нем. И сейчас капитан встревожился не только за Литке, но и за себя: найдет ли он, кроме сочувствия, настоящую поддержку у Константина.

Литке заметил, что молодой офицер расстроен, и попробовал утешить его.

— О! Геннадий Иванович, не вешайте носа прежде времени, мы с вами еще многого не знаем, а когда будем у его высочества, я думаю, он кое-что скажет нам...

В тот же день Невельской оказался на другом полюсе петербургской жизни — у дядюшки Куприянова.

— Нашли чем хвастаться. Да ты слышал, как нас теперь называют? Жандармы Европы! Это наш-то мужичок, который спит и видит пустить красного петуха своему по-

мещику! Его-то пристроили на эту должность! И все получили ордена за такую кампанию — срам и позор, братец! Кого воевали? Повстанцев?! Они с голыми руками, с вилами, — кричал на Невельского дядюшка Куприянов, отставной адмирал. — Разогнали мужиков! Позор, всем вам позор! Константин — наша надежда — с Александром был там! Честь невелика, грех...

Слюна летела потоками из дядюшкиного рта. Куприянов обо всем судил резко, безапелляционно и не говорил иначе, как во весь голос или стуча кулаками по столу. Главная черта характера его — прямота, которой он не желал класть никаких границ.

— Это, брат, не к чести нам! — загибая мизинец и суя кулак чуть ли не к носу племянника, хрипло кричал он. — Англичане и французы оскорблены, они, брат, раздувают это. Мы — жандармы Европы! Вот что им надо! Это их оскорбило, и дураки будут их министры, да-с, дураки-с, если не воспользуются и не накладывают нам. Этим они, брат, разъярят всю Европу! Кой черт, скажи, нас гнал помогать немцам! Пусть бы венгры отложились! Что венгры, что славяне — их взгляд на австрийскую монархию един. Смотри, Генаша, тебе англичане тоже накладывают! Возьмут, возьмут они у тебя устье Амура, помня мое слово, отымут, ты далеко не уедешь там, где Компания наша. В наше время, действуя безумно, можно что-то совершить! Ты не ждал инструкции — поэтому открыл! Тебе, брат, никогда не позволят ничего, никогда ни единой бумаги вовремя не дадут... Подлецы! Шайка! Помни это, ушкуйником будь! Открой, как Ермак, и бей челом, проси прощения... Англичан не бойся! Ударят — бей сам! Ни на йоту не спускай...

Дядюшка сел на своего конька и пошел честить Компанию.

Известно было, что молодой Врангель считал его ничтожеством, который хвалился былыми заслугами, совершенно непрактичным человеком, но ужасался и бледнел, когда на заседаниях Куприянов брал слово.

От дяди в страхе были все, но его речи выслушивали с удовольствием, хотя считалось опасным быть знакомым с ним, разделять его взгляды.

Дядя всегда и везде говорил о проделках Врангелей, поносил Фердинанда Петровича. И сейчас Куприянов взялся раскрывать племяннику всю подноготную

Компании, какие там затеваются аферы и что в них участвуют и Врангель, и сам Литке, и все адмиралы — эстляндские помещики, что они беднеют на своих рыцарских землях, на Украине не всем удастся завести поместья.

Невельской попытался оправдать Фердинанда Петровича, но тут Куприянов разъярился еще сильнее.

— Будь им благодарен, поцелуй их куда-нибудь, когда англичане у тебя Аляску из-под носа заберут!

Дядя — член правления Российско-американской компании. Он ученый, известный моряк-гидрограф, участник Апапского боя и многих экспедиций в Тихом океане. Он был главным правителем колоний в Аляске, трижды обошел земной шар, в честь его на Тихом океане названы острова, мысы... Сам Невельской назвал один из заливов его именем.

Дядюшка доживает свой век в страшной вражде с Врангелями. Считается, что Куприянов — бич Компании. На собраниях акционеров он выкидывал такие штуки, что даже князь Меншиков стал обрывать его.

Он судит о делах Компании так, словно это банда спиртоносов и грабителей, которую надо разогнать.

«Врангель! Да это мерзавец!»

Дядя стал в Петербурге притчей во языцех, но, как знал Невельской, старик иногда подавал весьма дельные советы... И он был вполне согласен со взглядами дяди на венгерскую кампанию. Конечно, это позор, подавили восстание против австрийцев! И все эти ордена, награды, разговоры противны.

А Куприянов знал, с кем толкует, и надеялся, что племянник многими сведениями о здешних делах воспользуется, приведет в порядок и допечет, даст бог, кого надо. Нрав Генпадия он знал. Что и женушка моя — одна кровь!

— Да ты знаешь, что про тебя говорят в Компании? Что ты прохвост, взял чужую карту у Врангелей и поставил на ней другие цифры. Послезавтра комитет, ты хоть в канун его от глупости отрешился бы. А то тебе плюют в глаза, а ты все — божья роса! В подлоге тебя винят! А ты хвали побольше своего Литке... Врангели будут стараться подвести тебя под разжалование!

Невельской остолбенел.

— Дядя...

— Кой черт, дядя! — перебил его Куприянов.

Он долго еще бранился. Невельского разобрала досада, что дядя все это видит, а бранится как-то впустую.

— А вы что делаете, дядя? — разозлившись, спросил он.

— Что я делаю? Что я делаю?.. — рассердился Куприянов и развел руками.

Он ничего не делал...

Невельской уехал от дяди, раздумывая обо всем, что тот наговорил.

Невельской знал, что дядя не делает и сотой доли того, что мог бы, что ему живется очень тяжело от этого. Дядя, конечно, взбалмошный, резкий, странный, но многое, что он говорил, сбывалось и прежде. Может быть, и то, что он прокричал так иступленно сегодня, тоже походило на истину.

Дядя многое сделал в свое время для Геннадия, помог матери устроить его в корпус, посеял хорошие семена в его сердце. Дядя — друг Лазарева...

Едва капитан приехал в гостиницу, как следом появился очень оживленный Миша. Он был днем у министра внутренних дел, тот расспрашивал об экспедиции, смотрел вместе с ним карты, пересланные Меншиковым.

Невельской рассказал, что завтра вместе с Литке явится к Константину...

Миша, в свою очередь, сообщил, что Перовский отозвался с большой похвалой об исследовании Амура.

Они сидели в креслах напротив друг друга. Миша улыбался счастливо, уверенный, что дело получает сильную поддержку...

«Но что Врангель? Странно... — думал Невельской. — Неужели Фердинанд Петрович так сказал обо мне?» Невельской перестал сомневаться, в душе его поднималась буря. Он желал честно и прямо говорить, открыто доказывать свою правоту. Сегодня в разговоре с Литке капитан просил устроить встречу с Врангелем, но Федор Петрович оба раза, когда об этом заходил разговор, как-то увиливал... Черт знает что! Какие-то загадки... Однако после беседы с Куприяновым капитан решил больше не спускаться... Дядя не стал бы лгать. Он мог преувеличивать, выказать излишнюю страсть, ярость...

— А ты знаешь, Лев Алексеевич сказал, что статья не будет напечатана... Но подчеркнул, что она не останется без последствий! Я придаю его словам большое значение. Он так и сказал: по нынешним временам печатать не следует, так как там задеты важные политические вопросы, но примет меры самые строгие... А важные политические вопросы на Востоке надо замалчивать.

— К кому примет меры министр?

— Да к Географическому обществу, конечно.

«Этого не хватало!» — подумал Невельской, но смолчал.

В Якутске вместе с Муравьевым он возмущался статьей Берга, а потом дал против нее Николаю Николаевичу превосходные доводы и множество фактов, опровергающих ее, разбивающих в пух и прах все хитросплетения и домыслы и всю ложь автора, утверждавшего, что Амур не нужен России. Но он совсем не думал, что ответом Муравьева начнут, как дубиной, подшибать ученых.

— В тысячу раз полезней было бы, Миша, ее напечатать, а самого Берга оставить в покое. Важно опровергнуть ложный взгляд, чтобы общество видело, что мы лжецов опровергаем. Неверный взгляд должно разбить, чтобы все узнали. А то вот в воздухе что-то носится... Ведь если так сказал Лев Алексеевич, то слова эти можно понять в том смысле, что будут приняты какие-то меры против Географического общества и Берга, а статья останется лежать на столе у графа. Значит, ложная статья Берга не будет опровергнута. Ах, Миша! Я уже сказал сегодня Федору Петровичу, что взгляд Берга позорный, что это подлость, что в то время, как мы начали там исследования, он нам воткнул нож в спину!

— Ну вот видишь! Ты же сам согласен... Ведь Лев Алексеевич желает справедливости... Ну, разве не следует дать бой?

— Бой! Следует дать, но не валить ученых! Не прятать, брат, статью, которая объяснила бы обществу все, и это было бы в тысячу раз важнее, чем, например, устранение Берга от сотрудничества в «Известиях», чего многие не заметят, а кто заметит, так поймет это как бессмысленное оскорбление, не зная сути вопроса.

— Ты будешь говорить о статье с Львом Алексеевичем?

— При удобном случае скажу ему свой взгляд. Какая-то уклончивость, непрямота наших деятелей меня мучает. Много прекрасных, порядочных, образованных, а не втолкуешь простой истины, словно будущее никого не заботит... И ведь сидишь без дела, толчешь воду в ступе. Чем я тут занят? Еду к князю, ко Льву Алексеевичу, к дядюшке, к Федору Петровичу... Ну, все это хорошо, но ведь я-то сижу без дела, явился сюда, чтобы ездить, хлопотать, кланяться. А дело там стоит, дела полон рот, а мы будем здесь переливать из пустого в порожнее...

Невельской в отчаянии схватился за голову. Он не сдержался и выложил все про Камчатку: что не согласен с планом Муравьева, а Литке напрасно поддерживает ошибки Николая Николаевича и космополитические взгляды Берга, который хотя и говорит, что желал бы...

— Он желал бы, и Николай Николаевич желал бы... Все желают! Да что значит «желал бы»? «Желал» или «не желал»? Если нет, так нет! А если да, так борись и бейся насмерть! Неужели, Миша, мне, как советует дядюшка Куприянов, придется за всех крест нести?

Видя испуг в Мишиных глазах, Геннадий Иванович стал уверять, что сам искренне любит Николая Николаевича...

— Не сочти за подлость с моей стороны эти слова. Я не пожалею жизни за него, но желаю, чтобы он имя свое навеки вписал в историю...

Невельской, казалось, чуть не плакал от горечи и досады, руки его, судорожно схватывая воздух, тянулись к собеседнику, то он бил кулаком по столу, как бы копируя дядюшку Куприянова, то хватал Мишу за пуговицы; шея его удлинилась, глаза горели фанатически.

Миша отчасти был удручен, но не совсем понимал, как можно написать статью, резко критиковавшую деятельность общества, и не соглашаться с мерами, которые желал принять граф, чтобы очистить атмосферу... Но Мише нравилось, как Невельской смело судит, как опровергает мнения, невзирая на лица. Миша желал бы учиться у него, брать с него пример, а пока старался все запомнить, чтобы потом рассказывать, когда это перестанет быть тайной.

Капитан вдруг умолк, потом обернулся и крикнул человека. Тот пошел в другую комнату номера со свечами.

— Пора, брат, на бал к графу... Сейчас переоденусь и поедем скорей, — сказал Невельской. — Мы, верно, и так опоздали, заговорившись.

Вскоре оба офицера спустились по лестнице, извозчик уже ждал у подъезда. Покатили по площади мимо Исаакья, огромные грапитные колонны которого слабо светились, отражая ночные огни. Миша сказал, что через два дня бал у дяди Мордвинова, будут прелестные девицы, дядя прислал приглашение Геннадию Ивановичу...

Глава сороковая МЛАДШИЙ СЫН ЦАРЯ

— Здравствуйте, витязь наш отважный, удалой добрый молодец, богатырь наш, свет Геннадий Иванович, сила ваша молодецкая да удаль русская чудеса сотворили!

Такими шутливыми словами встретил Невельского великий князь Константин Николаевич — рослый, белокурый юноша, с выхоленным белым лицом, румяным и здоровым, что называется, кровь с молоком.

Константин обнял Невельского, почтительно, но ласково поздоровался с Федором Петровичем.

Несмотря на форму и безукоризненную выправку, в нем было что-то от капризного большого ребенка...

Константин едва мог дождаться утра, так желал он видеть Невельского и услышать все новости из его уст. Он вставал рано, как и отец: в половине восьмого начинались занятия. Вчера, возвратившись в свой Мраморный дворец из Кронштадта после поездки по ледяной пустыне моря и узнавши о прибытии Невельского, он едва сдержался, чтобы тут же ночью не послать за ним в гостиницу «Бокэн» карету.

В кабинете князя горели свечи.

Сразу пошел горячий разговор. Невельской быстро разложил карты, а также целый альбом рисунков.

Константин расспрашивал обо всем со знанием дела, с живостью и нетерпением, часто перебивая Невельского. Копии этих карт он видел прежде, а некоторые из них велел переснять для себя.

Невельской стал последовательно и сжато излагать весь ход описи. Когда речь зашла о самом устье, а потом о походе вверх по реке, Константин стал серьезен, голубые глаза его кидали то на карту, то на капитана по-отцовски косые и раздраженно-властные взоры.

Невельской уже знал, в чем тут дело, Литке предупредил его.

— А что же это? — небрежно спросил Константин, показывая на полуостров, названный его именем, и как бы не замечая надписи.

— Как я уже докладывал вашему высочеству в рапорте из Аяна, это главный и важнейший пункт, который предоставляет нам возможность господствовать на устье, поставив крепость, главные укрепления которой можно расположить именно на этом полуострове. Форты будут находиться на обоих берегах, и крепость станет подобна нашему неприступному Кронштадту. Ее орудия смогут простреливать всю реку. Полуостров господствует на устьях, а устья — ключ ко всему краю. Только установив на полуострове вашего высочества сильные батареи, мы откроем Тихий океан для России: у нас будет второе окно в мир, отсюда наши суда пойдут во все страны и на все моря, отсюда откроем мы гавани, расположенные южнее устья, теплые и незамерзающие, о которых я не престанно слышал от гиляков... Эти гавани пока не заняты никем, обо всем этом имею смелость представить вашему высочеству особую записку. Амур будет нашим внутренним скрытым и недоступным для врагов путем... А этот полуостров — ключ ко всему и важнейший стратегический пункт. Поэтому, ваше высочество, я дерзнул назвать этот полуостров вашим именем, с которым для нас, моряков, связана надежда на светлое будущее русского флота.

Константин вспыхнул. Счастливый румянец еще сильнее пробился на его щеках. Несмотря на все объяснения в рапорте Невельского и мягкие уверения Литке, ему до сих пор не совсем ясно было, почему его именем назван незначительный полуостров вдаль от устьев, среди пресной воды. Поначалу показалось даже несколько обидным. Но сейчас Невельской сказал очень ярко.

Геннадий Иванович тут же подал великому князю записку о предполагаемых действиях на устье, о поисках южных гаваней, с приложением расчетов, что потре-

буется и когда и с чего следует начать, с подробными объяснениями, когда и какие действия предприняты были иностранцами, с описанием того, как подходило военное английское судно к устью минувшей осенью...

Вчера и всю ночь сегодня капитан дописывал этот доклад. Рассердившись на Литке, он не утерпел и решил сказать Константину все прямо и откровенно, хотя и обещал Муравьеву поддерживать Камчатку. Но он полагал, что тут никакого нарушения слова нет, великий князь знает его давно, любит, кажется: подло было бы скрывать истину. Ночью, вернувшись с бала, он засел в своем номере за дело и выложил все откровенно, а потом переписал начисто.

О Камчатке не упоминал, но это был косвенный разгром всего муравьевского плана, и Литке сейчас это понял. Хотя он и знал, что Невельской принес с собой записку, но не представлял, что тот далеко пойдет...

Невельской, не стесняясь, стал объяснять свой взгляд: какие должны быть действия и что сейчас должно предпринять правительство в самую первую очередь, чтобы не губить дела. Он высказал свой взгляд на Камчатку.

Литке был смущен, слушал с мягкой улыбкой. Эта нервная настойчивость, порывистость, нежелание считаться с обстоятельствами всегда не нравились ему в Невельском. Сейчас он хватил лишнего. Литке неловко было, что перед великим князем Невельской пытался, по сути дела, опровергнуть умные и осторожные шаги Николая Муравьева, которого все уважают и в планы которого все верят.

Невельской, чувствуя, что тут надо не потерять возможности, хотя он и понимал всю трудность своего положения, пустился, что называется, во все тяжкие, зная, что сейчас, как у мужика весной, день кормит год.

Вся суть проблемы вскоре была изложена.

Невельской оговорился, чтобы не ставить Литке в неудобное положение, что Федор Петрович со многими из его предложений не согласен, но что он не смеет умолчать, считает своим долгом и святой обязанностью сказать чистую правду, что он и Федора Петровича умолял взглянуть на дело иными глазами...

Константин слушал с интересом...

Литке со своей стороны не желал ставить Невельского в двойственное положение и сказал осторожно, но

твердо, что считает расчеты Муравьева совершенно правильными, порт надо переносить на Камчатку, а что во всем остальном он вполне согласен с Невельским и что настало время, когда надо наконец совершить решительный шаг.

Это был трудный миг для Федора Петровича, но он решил, несмотря на все свое недовольство Невельским, что действия его следует поддержать сейчас, а не когда-нибудь. Он знал, что ему, как учителю, Константин верит.

— Но как же, Федор Петрович, мы совершим решительный шаг, если все наши средства, ничтожные и без того, отправим на Камчатку? — возразил капитан.

Литке сказал, что после открытий Бутакова и Невельского не может далее продолжаться наша пассивная азиатская политика, политика Сенявина — он не рискнул сказать «Нессельроде»...

Князь стоял с задумчивым видом, держа карандаш на самом устье Амура. Он чувствовал сейчас себя обладателем огромных сокровищ — так много превосходных предположений по части Востока услышал он от обоих моряков.

Литке и Невельской знали, что Нессельроде продолжает свою политику, что давно уже носят слухи о заключенном тайном договоре с Англией, по которому государь обещал будто бы, что русские не станут продвигаться в Азии.

Необходимо было разбить всю эту политику. Младший сын царя, воспитанный Федором Петровичем в духе либерализма, сам участник «тихоокеанских мечтаний», мог по-юношески прямо и честно сказать все отцу и сделать для России — как представлялось обоим морякам — величайшее и славное дело. Он мог объяснить всю позорность Азиатской политики канцлера. Константин и теперь помнил: Амур и Тихий океан — в широком смысле, конечно, — важны. Но он приучен был подходить ко всякому делу с осторожностью, с должной подготовкой, сообразуясь со взглядами окружающих. У него еще не было умения бороться, преодолевать сопротивление.

Константин мечтал ехать путешествовать в Италию — отец не разрешал... Он желал перевооружить флот, но приучен был к мысли, что и этого сразу сделать нельзя.

А сейчас время суровое, только что открыт заговор и революционеры наказаны. Константин знал то, чего не

знал никто: всех подозревали, отец недоволен Федором Петровичем...

Константина не покидала мысль, что все осуществится, что все будет развиваться правильно, что произойдут великие перемены во флоте и он даст им начало. Нельзя исполнить всего сразу: он понимал, что государственные дела требуют внимания и терпения. Сочувствуя Невельскому, он стоял задумавшись, с застенчиво-счастливым видом. Он нахмурился, лишь услышав доводы против Камчатки... Ему хотелось иметь там порт.

Невельской ждал отзыва, хотя высочайшие особы не отвечают.

— Ваше высочество! — горячо воскликнул он. — Простите за дерзость, но одного слова, сказанного вашим высочеством перед комитетом, достаточно было бы, чтобы решение изменилось...

Константин желал бы помочь, конечно... Но при всем расположении к Невельскому и Литке он не мог и не должен был объяснять им всего...

Константин спросил о посещении Рио-де-Жанейро. Невельской рассказал о встречах с адмиралами и как был на параде и потом получил аудиенцию у бразильского императора.

Потом он сказал, какое прекрасное впечатление произвел на него король Гавайских островов Камехамеха, добавил, что офицеры и экипаж «Байкала» отлично отдохнули во владениях Камехамехи, приняты были радушно, снабжены всем необходимым для перехода до самой Камчатки.

— Всю пасху провели мы на Гавайских островах. Король расспрашивал много о России. На прощанье его величество просил передать генерал-губернатору Восточной Сибири и начальнику порта в Охотске, что в случае, если России будет грозить какая-либо опасность от англичан или какой-либо другой морской державы, его величество предупредит об этом письмом, которое придет с надежным китобойцем...

— Он образованный человек?

— Да, вполне... хотя, по обычаю, держит при дворе ваклинателей и татуировщиков.

Константин задал несколько вопросов о Японии и японцах, Невельской заговорил об американской экспеди-

ции в Японию, рассказал, что говорят гилляки о своих торговых поездках к японцам.

Сведения из газет и журналов, а также последние телеграфные известия Константин знал. Но у него были свои мечты.

— Благодаря вашим подвигам, Геннадий Иванович, — заговорил он, — мы снова можем вспомнить, — тут Константин, улыбаясь, переглянулся с Федором Петровичем, — о проекте кругосветной экспедиции в Японию. Мы должны постараться опередить в этом американцев! Я не забываю мыслей, изложенных Евфимием Васильевичем Путьятиным. Его доклад я храню...

Мысль о проекте Путьятина явилась, едва известно стало об открытии Невельского. Константин считал ее вполне осуществимой теперь и уже поделился с Литке. Теперь, если осуществится все, можно отправлять экспедицию, она сможет опереться на новый порт на устье... Ведь Путьятину отказано было именно потому, что Амур недоступен.

Литке с гордостью посмотрел на своего воспитанника.

— Но успеем ли мы? — вдруг тревожно спросил Константин, обращаясь к Невельскому.

— Ваше высочество, все будет зависеть от того, как быстро сумеем подготовить мы подобное предприятие, найдутся ли у нас годные суда, как скоро займем мы устье.

— Американцы тоже не успеют осуществить это слишком быстро, — сказал Литке. — Пока палата решит, да что скажет президент. Им тоже нужны суда, в век пара не пойдут они открывать Японию на парусных судах... А тем временем мы не должны сидеть сложа руки. Муравьев и Геннадий Иванович должны действовать пынешней весной на устье.

Беда была в том, что нет судов, удобных для быстрого перехода вокруг света и для крейсерства в Тихом океане. Надо было строить или — скорее — покупать.

Стали говорить, что Японию могла бы открыть для торговли Компания. Невельской выложил свой взгляд на Компанию. Он подтверждал доводы Муравьева. Нужно, чтобы хоть одно судно пошло охранять тихоокеанские воды.

Константин любил фантазировать, но он знал, что несбыточные фантазии вредны, что замыслы должны

быть реальными и сообразовываться с действительными возможностями. В его положении слово должно быть веским, подкреплено делом. Проекты же Невельского походили на самые смелые фантазии, поэтому, несмотря на то что они очень нравились Константину, он совсем не собирался поддерживать их в полной мере, так как опасался, что опытные люди, на мнение которых, несмотря на свое положение, он всегда опирался, не одобряют его. Он мог поддержать Невельского, но лишь в пределах исполнимого...

...Амур и все «тихоокеанские мечтания», которым предавались и прежде трое собеседников, мечтания, которые теперь начинают реально и постепенно осуществляться, — все это было лишь частицей тех грандиозных реформ, которые Константин намеревался провести.

В соседней комнате — бассейн. Великий князь провел туда гостей. У миниатюрного причала стоит маленькая модель парового судна.

Вошел адъютант, зажег спирт, налитый в машинное отделение модели. Спирт вспыхнул, топливо разгорелось, маленькая паровая машина запыхтела, заработал гребной винт, и пароходо-фрегат двинулся...

При всей любви к отцу Константин втайне мечтал о том времени, когда воцарится брат. Он ничего не смел делать сам, средств, нужных для флота, государь не отпускал...

Заговорили о судах, которые опять по заказу Лазарева строились в Лондоне для Черноморского флота. Константин расспрашивал Геннадия Ивановича о его английских впечатлениях.

Он, единственный из людей, когда-либо возглавлявших морское ведомство, имел ясные понятия о значении машин и техники. Литке постарался, чтобы у Константина были теоретические знания инженера, хотя ему и не хватало практики.

Здесь же чертежный стол. Невельской рисовал новые винты, шатуны, кривошипы, рассказывал об изменениях в устройстве гребного вала, о новых колесных пароходах...

Он опять помянул про свое, просил его высочество обратить особое внимание на то, что без паровых средств нельзя будет производить исследования Амура, а тем более идти эскадре в Японию.

Ругали приказных бюрократов из морского ведомства. Смотрели модели двух строящихся парусных судов — линейных кораблей — и восхищались, какой все-таки красавец корабль парусный по сравнению с паровым, и хотя Невельскому стыдно было в душе, что строятся именно такие суда, но он не дал воли языку...

— А теперь ждет нас скатерть-самобранка, — улыбаясь, сказал Константин, — покажу вам, гости мои заморские, свои хоромы боярские. Погуляем, как предки наши... Познакомлю тебя, Геннадий свет наш Иванович, со своею княгинюшкой...

У Литке был вид счастливый и загадочный, словно готовился какой-то сюрприз.

Литке и Лутковский желали вырастить Константина совершенно русским человеком и поэтому привили в нем необычайную любовь к русской старине.

Войдя в большую залу с окнами на Неву, Невельской удивился. Он увидел перед собой высокую стену, сложенную из настоящих бревен, наверху, под самым потолком, возвышалось что-то вроде башни. Была и другая бревенчатая стена и третья — целый сруб из толстейших сосновых бревен, наложенных прямо на паркет.

В зале Мраморного дворца построен настоящий боярский дом из бревен, с резьбой на дверях и окнах, с петухами и коньками, с высокой крышей, с башнями и теремами.

Через двери, окованные серебром и золотом, прошли в сени, а оттуда узким и низким ходом, как в настоящем доме боярина, наверх в палату, расписанную в древнерусском стиле.

На огромном столе, накрытом скатертью, — ендовы, ковши, кубки, чаши-побратимы, серебряные и золотые блюда и тарелки. Слуги одеты, как дружинники.

Константин, до того оставивший гостей, вошел вместе с супругой. Оба молодые, стройные, белокурые.

Невельской был представлен великой княгине. Он и Литке поцеловали ее руку. Константин и великая княгиня были одеты в древние русские костюмы — в парчу и сафьян, она в кокошнике с тройной цепью огромных жемчугов на груди.

— Позволь, Геннадий свет Иванович, — восторженно сказал Константин, — взять тебя под белы руки, сажать на дубову скамью.

Литке лучше Невельского знал древнерусские названия всех этих многочисленных ковшей и кубков и всякой другой посуды и тут же устроил ему маленький экзамен, на котором капитан сразу провалился.

На дубовой скамье за столом опять сблизись с древнерусского, и речь пошла то по-русски, то по-французски про венгерскую кампанию 1849 года, о том, какие были битвы и победы. Это первый военный поход, в котором участвовал Константин в своей жизни: он получил крест за участие в сражении.

Невельской сказал, что поляки и русины в Австрии, говорят, очень рады были, что пришли русские. Константин покраснел, на этот раз густо, до ушей. Литке смутился. Великая княгиня ничего не поняла, но заметила общее замешательство.

Когда Константин уезжал в действующую армию, Николай насторожайше повелел не касаться тамошних славян и не разговаривать с ними, особенно по-русски. В крайнем случае Константин смел спрашивать их по-немецки, но только не по-русски. Так велел государь, провожая сына.

«Они не должны видеть в сыне русского царя своего союзника против их законной власти — против австрийского императора», — сказал Николай.

Константин испугался, когда Невельской заговорил про австрийских славян.

А Невельской слышал от Миши, которому рассказывали бывшие сослуживцы-офицеры, что наши солдаты, перейдя границу Австрии, очень удивились, что там их все понимают отлично и многие жители называют себя «руськими» и сильно походят на украинцев.

«Дернул меня черт заговорить про славян», — подумал Невельской, сообразивши, что дал маху.

Литке перевел разговор на Европу.

Константин ждал втайне, когда же наконец окончатся эти запреты и можно будет поехать в Европу запросто, посмотреть там все, исполнить свою заветную мечту — отправиться в Париж! Часто у него шевелились надежды, что с воцарением брата личная жизнь его станет вольнее, интереснее. Как бы он хотел путешествовать... Но государь строг, тяжел, требователен... Константин мечтал, что со временем приблизит всех ныне отвергнутых: Врангеля, Литке, даст им широчайшее поле деятельности.

Прощаясь, великий князь сказал Невельскому, чтобы на комитете держался стойко. Он обещал обстоятельно познакомиться с его запиской.

А Невельской покинул Мраморный дворец с ощущением, что Константин хотя и желает ему добра и что, видно, ходатайствовал перед царем о прощении за опись без инструкций, но много еще не может сделать. Он все еще не был хозяином флота, смутился при разговоре о славянах, зависим... Даже за Литке, за своего учителя не смеет заступиться как следует. Литке — основателя Географического общества — отправляют в Архангельск!

— Ну, Геннадий Иванович, теперь ваше дело в шляпе! — сказал Федор Петрович, когда они вместе вышли на набережную и пошли вдоль Невы. За ней темным силуэтом лежала Петропавловская крепость. Лед па реке гладкий, расчищенный, виднолось множество мальчишек с салазками, они катались с ледяных гор.

— Теперь перед вами, Геннадий Иванович, все ясно как божий день. Только вам не следует рвать с места, воодушевляться несбыточными фантазиями.

Литке полагал, что Константин свое возьмет со временем, все осуществит, и что сегодня очень важный день.

Сейчас старый адмирал подумал: «Чудак наш почтенный Генаша, все чем-то недоволен: всякий другой человек на его месте прыгал бы до потолка!»

А «Генаша» действительно расстроился. Он совсем не находил, что «дело в шляпе». Он заметил, что Константин вскипел, когда речь шла о пассивности азиатского департамента... Он мог бы сделать необычайно много! В его силах! Как он слушал: сочувственно, с восторгом! Но как доходит до дела, принимает глубокомысленный вид... Он колеблется... Федор Петрович сам виноват, виноват тысячу раз — привил ему все свои качества. Семь раз отмерь — один отрежь. Вот мы и начнем мерить, а шкипера китобоев отрежут. Так думал капитан, простившись с Федором Петровичем.

Не такой поддержки желал он. «Сейчас надо действовать смело, дерзко даже, собрав все силы воедино... Я стараюсь, но тщетно, никто не соглашается в полной мере. Каждый понимает меня по-своему, и ни о каком единстве нет речи».

У Невельского было ощущение, что его любимая, взлезающая мечта и начатое им дело — все попало в руки

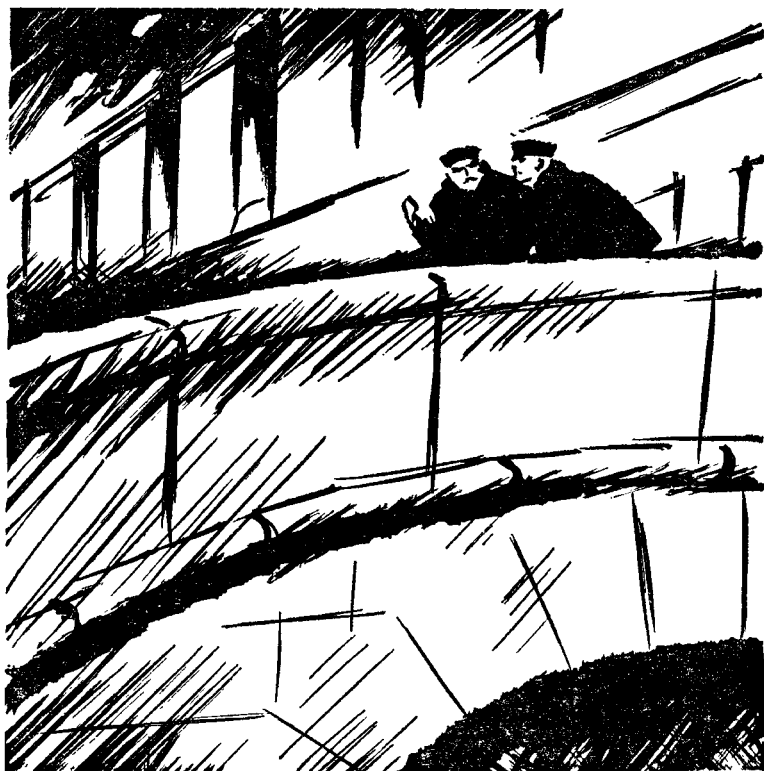


людей, казалось бы, близких — он доверил им все свои замыслы. Но тут, оказывается, они собираются перекроить все по-своему и от его планов берут лишь какую-то часть.

«Я твержу всем одно и то же, как фанатик, как начетчик, и не могу доказать».

Невольно вспомнились другие друзья... Впрочем, может быть, попади его дело в их руки, они тоже бы перекроили его по-своему, еще решительнее распорядились бы... Но их нет, они исчезли и, может быть, поэтому кажутся идеальными. Но без них тоскливо...

Он вспомнил Александра. Какой толчок мыслям и делам давали беседы с ним и с его друзьями! «Я-то цел...» Но, оказывается, исчезла среда, которая питала его идеями. Самые отчаянные его замыслы приходились «тем» по душе.



А с людьми, настроенными официально-патриотически, располагающими огромной властью, «честными» и влиятельными, он как-то не мог договориться... Они его не понимали.

Капитан раз видел в Петергофе, как садовники спиливали молодое деревце, порядочное уже, которое выросло не там, где надо. Некоторые ветви его были отрублены и лежали, зеленые и яркие, в то время как ствол уже раскатали по полену. И он почувствовал себя сейчас живой отрубленной ветвью погибшего дерева. Нужна почва, чтобы не засохнуть...

Константин Полозов уехал. Никанор Невельской сказал, что не знает куда... С большим трудом выхлопотал он право выезда за границу. Кажется, во Франкфурт сначала. Алек-

сандр — в ссылке. Геннадий Иванович ездил искать Павла Алексеевича Кузьмина, но и его не было. На квартире, где жил он в позапрошлом году, сказали, что арестован и выслан, взят не здесь, а у родственников...

Куда бы он ни поехал, пусто, следы расправы всюду. Петербург как метлой выметен...

Миша один как родной, но еще дитя во многом...

Пришло в голову, что хоть и один остался, но, как живая ветвь погибшего дерева, должен пустить корни. Оп снова стал невольно думать о том, что было целью его жизни. «Я осуществлю ее ради всего святого, ради Екатерины Ивановны, которая верит мне». Иного выхода не было, он чувствовал, что должен забыть своих друзей... «Но у меня есть любовь моя и цель моей жизни... Екатерина Ивановна, милая, если бы вы знали, как любовь к вам исцеляет меня. Не полюбил бы я, верпо, погиб бы, сошел бы с ума».

Ему казалось, что великий князь не чувствует сути его замыслов, не видит его тревог. Он, конечно, добрый, любит меня, заинтересовался, но он не смеет разбить ложные понятия авторитетов, взять все в свои руки, схватить быка за рога... И Литке жестоко ошибается.

«А что, если я погибну, засохну, как отрубленная ветвь? Ведь я совершенно одинок, почвы нет, никто еще не согласился со мной,— пришло ему в голову.— Но пужели никто и никогда не отзовется мне, кроме этих загубленных людей?»

Сердце его сжалось от предчувствия. Он вдруг понял старую истину, что один человек ничто. Он был одинок, ему казалось, что он больше не найдет друзей, свободных от условностей жизни, сочувствующих его интересам... Друзей нет. Пусто...

«Может быть, ум мой высохнет от одиночества и бесплодной борьбы и стану я со временем косным, смирившимся служакой, обозленным и холодным... или раздражительным крикуном. Стану при каждом слове бить кулаком по столу, орать, как дядюшка Куприянов. И то и другое — смерть...»

Капитан стоял на углу Невского. Ветер дул с Невы. Вечерело... Зима, огни, пора театров, балов, все веселы... Вокруг толпа, проезжают экипажи. Проходят стройные офицеры в модных шинелях, со шпагами в карманах... А капитану город показался пустым.

МАЛЕНЬКИЙ БИСКВИТ И РЮМКА МАЛАГИ

«...Закреть Америку»...— во, кажется, сие от меня не зависит?

*М. Е. Салтыков-Щедрин,
«Сказка о ретивом начальнике»*

Граф завтракал рано, при свете огней, в голубой столовой с пилястрами из мрамора и с низкими белыми печами, на которых изображены были голубые вакханки, венки и светильники. Он сидел за столом, маленький и черный. Служили трое слуг. Это было точно так же, как в доброе старое время во Франции.

На слугах короткие бархатные штаны с бантами и белые чулки. Стояла тишина. Стол ломился от множества драгоценной посуды, фарфора и хрусталя. В огромной серебряной вазе живые цветы, по сторонам свисают пышные груды зелени. Все это из собственных оранжерей графа. Там, за городом, этот маленький живой старичок любит назначать свидания молоденьким дамам, таким же прекрасным и светлым, как эти голубые вакханки на двух жарко натопленных печах.

Быстро подносятся блюда...

Но граф в том возрасте, когда нельзя съесть ничего лишнего. Не только лишнего, но и вообще граф не хотел есть утром, у него не было аппетита.

Весь этот поток посуды и все эти бесшумно снующие, вышколенные и почтительные пожилые слуги-иностранцы — все было лишь торжественным обрядом, самоутешительным спектаклем, одним из тех обычаев, о которых в свете говорили как о знаках приверженности канцлера старым порядкам даже в личной жизни.

Так каждое утро.

А граф мог съесть только один бисквит и выпить только одну рюмку малаги.

Иногда за завтраком он вызывал повара. И тогда совершенно откровенно, не сдерживая своих желаний, оживленно жестикулируя, канцлер России объяснял, сколько тмина, корицы, перца и гвоздики надо положить в какое-нибудь кушанье к обеду. Поминались артишоки,

спаржа, маслины... Граф испытывал наслаждение от разговора про еду гораздо больше, чем от самой еды...

За последнее время граф Нессельроде осунулся и постарел. В прошлом году умерла жена его, Мария Дмитриевна... Обстановка вокруг была такой же торжественной, и все той же огромной властью располагал канцлер России, но на душе у него становилось пусто и глухо.

Семья Гурьевых, с которой граф сроднился тридцать семь лет тому назад, была одной из крепких русских семей. Начало этому новому аристократическому роду дал выскочка из купцов, крепкий толстосум. Гурьевы не прочь были сблизиться, а еще лучше — породниться с немцами.

Женщины из семьи Гурьевых отличались особенным здоровьем и силой характера.

Гурьевы увидели в ездившем к ним молодом чиновнике по дипломатической части разумного и оборотистого человека, да еще со своей особенной хваткой. Они дали понять, какие выгоды ждут молодого Нессельроде...

Мария Дмитриевна оказалась женщиной не только здоровой, но и умной, энергичной, властной, и спустя несколько лет после брака Нессельроде оказался у нее под каблуком.

Насколько он презирал русский народ, настолько она презирала своего мужа. Мария Дмитриевна была из тех женщин, которым безразлично, какую политику, прогрессивную или консервативную, ведут их мужья, но которые любую политическую программу мужа умеют подчинить потребностям семьи и превратить в политику обогащения, помогая этим и его карьере, и славе и умея заставить его хорошенько нажиться на тех принципах, которые он избрал в своей деловой жизни.

Это был брак, в котором не много волнений любви, но всю жизнь сплошные волнения из-за успехов и выгод.

Мария Дмитриевна умела проникаться идеалами мужа, предвидеть то, чего он не замечал. Она первая заметила то ужасное влияние, которое имел на русское общество Пушкин. Ведь он первый опозорил, осмеял ее мужа, написавши стихи, в которых намекал, что отец ее мужа был беглым солдатом австрийских пудренных дружин... Когда настал удобный момент, она при помощи своих добрых знакомых без сожаления помогла расправиться с Пушкиным, в котором видела гадкого дворянчика, не уважающего священных принципов, провозглашенных ее Карлом Васильевичем.

Она знала, что ее Карл не так умен, как считают. Но она именно это и ценила в нем, так же как и государи...

Бывали времена, когда Карл Васильевич чувствовал, что этот семейный деспотизм для него тягостен. Но он терпел, зная, что посредством этого брака сроднился с Россией.

Он был продажен и не стыдился этого. Нессельроде думал о себе, когда, оправдывая одного из иностранных дипломатов, сказал: «Его обвинили в подкупности, но он воспользовался деньгами лишь от тех, кто разделял его консервативный образ мыслей».

И вот после тридцати семи лет брачной жизни, в течение которых Мария Дмитриевна руководила им, часто не меньше, чем государь император, ее не стало. Нессельроде почувствовал, что близок конец и его карьеры. Он остался без привычного руководителя, без той энергичной, направляющей силы, которую всегда чувствовал в жене. Теперь осталось лишь катиться по инерции и повторять зады феодальных времен, твердить о принципах Священного союза, о священной рыцарской чести, о преданности великим идеалам...

Спасение Нессельроде было в том, что для продолжения его вечно консервативной политики не нужно было изобретать ничего нового. На все были готовые рецепты, как всегда у консерваторов, при условии, конечно, если они не собираются отступить.

«Ничто не ново под солнцем» — любимое изречение графа Нессельроде. А традиции и не новые приемы, которыми приходится пользоваться консерватору, за полвека своей службы Нессельроде изучил в совершенстве.

Он очень образованный и сведущий человек, но лишь в кругу консерваторов. Нового он не знал и не хотел знать, но для своего общества был величайшим ученым из дипломатов.

Россию он не знал и не хотел знать...

Он любил природу, но только там, где она была в кругу предметов хорошего тона. Он лазал по горам в Швейцарии, но только в Швейцарии. Уж это было увлечение европейского высшего общества!

Он всю жизнь любил себя и свои наслаждения и, кажется, был отомщен за это... Сын его оказался неудачным: ни в мать — не деловит и не крепок, и ни в отца —

не ловок и не изворотлив, не гибок умом; худшее и от отца и от матери...

Мечта Гурьевых не осуществилась. Вместо двойной ловкости — русской и иностранной — лишь слабость и болезненная страсть к наслаждениям, недостатки вдвойне...

Жизнь русского общества была неприятна графу. Он не видел Пушкина и творений его не знал, так же как не читал и не представлял значения русской литературы. Он считал лучшими русскими писателями Греча, Булгарина и Кукольника, тех, кого Белинский называл чернильными витязями. Но граф терпеть не мог Белинского, а «домашние дела чернильных витязей» были для него сутью литературной жизни России. Их-то книги он и рекомендовал как значительнейшие явления русской культурной жизни иностранцам, которые интересовались духовной жизнью России. И те только удивлялись, что лучшие русские писатели оказываются немцами, да еще пишут такую дрянь. Европа не знала ни Лермонтова, ни многих других, ни философии и идеалов декабристов. В Европе, как всегда, считали, что в России хороших писателей нет.

Нессельроде, как и сам Николай, не понимал значения машинерии и промышленного переворота, который происходил на Западе.

Как и сам Николай, он жил традициями прошлого века. Клейма и кнуты были доказательством правоты взглядов царя и канцлера...

В голове Нессельроде было целое собрание разных методов и приемов старой дипломатии, целая кладовая консервативного хлама, собранного со всей Европы, из всех графств и королевств, больших и малых, со всех конгрессов, конференций и сговоров, тайных и явных, со всех торжеств и праздников.

Этих знаний, которыми он дорожил и гордился, было, по его мнению, достаточно, чтобы управлять Россией. Именно из-за них он считался образованнейшим дипломатом...

И вот теперь граф съедал бисквит, единственное удовольствие, которое он мог позволить себе до пяти часов вечера, а потом через множество комнат и гостиных, увешанных дорогими картинами, отправлялся в служебный кабинет.

Его квартира в третьем этаже нового здания, перестроенного Росси для главного штаба и двух министерств, почти сливалась с Министерством иностранных дел. Как в политике, так и в расположении комнат трудно было сказать, где начиналось Министерство и где кончалась собственность графа.

Он не любил прогулок в зимние дни и появлялся на улице лишь в карете.

Поэтому к его приходу комнаты проветривались, а потом нагревались, чтобы канцлер пользовался свежим воздухом, но не простудился, так что ему незачем было появляться на улице.

В кабинете, где под тупым углом сходятся две стены — одна с окнами на дворец, другая на штаб гвардейского корпуса, тройные рамы, как и во всех комнатах и залах: Нессельроде не переносит никаких звуков улицы...

Дел множество, но, при всей своей ограниченности, граф умел каждое решить опять-таки по традиции, как бы слегка прикоснувшись к нему рукой художника и мастера, помня и зная, как прежде, в старину, решались подобные дела.

Если же дело оказывалось новым, каким-то таким, каких еще не бывало, отражало эту новую странную жизнь, которая заглушалась и каралась правительством, то это дело, по той же старой традиции, откладывалось. Рекомендовалось изучать его, но хода ему не давать, если нельзя было совсем отвергнуть. Чаще оно отвергалось совсем. И само «изучение» вопроса, и вежливое уведомление об этом, которое канцлер непременно посылал, чтобы не быть невежливым и не уклоняться от прямого и честного ответа,— все это было лишь формой отвержения.

И все это в роскошном здании, где всюду амуры, полуобнаженные богини и на плафонах и на печах, в серебре, в гипсе, бронзе, лепные рельефы — цветы и венки, и опять амуры и гирлянды, и опять лепные светильники с пламенем, где живые цветы в вазах в рост человека, масса люстр, и зеркала необычайной чистоты, и полулюстры, где Помпейский салон, концертный зал, и зал Египетский с полуколоннами из желтого мрамора, и еще салон, в котором для подтверждения преданности идеалам монархии и рыцарства небольшой портрет одного из Людовиков рядом с большим поясным Павла Пер-

вого. В этом здании — цветы на паркете, парадный сервиз парижской работы из бронзы с малахитом, мебель и отделка зеркал из резного ореха, и все это по рисункам великих мастеров до самых мелочей, до хрустальной чернильницы в готическом кабинете с тройными рамами, чтобы не слышно было никаких звуков того народа, которым управляют.

«Несчастный народ!» — любили говорить в салонах русские и иностранцы, но в глубине души понимали, что равновесие сохраняется, пока этот народ несчастен, пока он не проявил коренных здоровых сил.

Сегодня в готическом кабинете канцлера должен предстать пред его глазами председатель Российско-американской компании Политковский. Тот уже ждал в приемной.

Секунда в секунду он был приглашен в кабинет.

...Если бы канцлер не был «подлецом», как называли его многие в Петербурге и штатские и военные, а видел бы прошлое и будущее страны, которой служил, и интересовался бы ее народом, то он, решая вопросы Российско-американской компании, должен был бы видеть в ее деятельности начало тех отношений между Россией и странами на Тихом океане — Америкой, Китаем и всей Азией, которые все более давали знать о себе.

Но Мария Дмитриевна недаром считала своего мужа мелочным. Весь этот грандиозный вопрос будущего и настоящего, от которого, быть может, зависела судьба человечества, что уже в то время видели многие, для Нессельроде не существовал. Государь терпеть не мог разговоров о чем-либо подобном. Америка была не настоящая страна, какое-то сборище мужиков и торгашей, какая-то насмешка, карикатура на страну. Не должно быть ни Америки, ни ее бурно развивающейся жизни, ни Китая, чья мерная жизнь была нарушена: глухие народные волнения то тут, то там колыхали его могучую тяжелую грудь.

Дипломат видел бы все это, предусмотрел бы, что это значит, он понял бы, что именно там будут величайшие потрясения, от которых нельзя будет закрыться рукавом... Как говорил иркутский губернатор Николай Муравьев, надо предвидеть это будущее и воспользоваться существованием Компании, чтобы установить тесные отношения и с Гудзонбайской компанией в Канаде, и со Штатами, и с Гавайями, и с самим Китаем. Бог дает нам в руки средства, а мы от них как черт от ладана! Пока Компа-

ния мертва, а она может быть могущественнейшим средством в наших руках...

О чем-то подобном просил и Фердинанд Петрович Врангель. Он обращался почтительно, просил не протестуя — одно судно в год. Это скорее напоминание, чем требование. Как Петр Иванович Бобчинский просит напомнить государю императору, что проживает-де в таком-то городе.

Но государь и канцлер незыблемо знали: Священный союз и священные принципы! Россия — европейская держава! Мир — это Париж, Петербург, Лондон, Берлин и Вена. Мировые отношения — отношения между этими городами.

После революции 1830 года во Франции государь провозгласил «легитимизм» основой своей политики, и вот тогда-то канцлер и повесил в салоне портрет Людовика рядом с Павлом Первым.

А Российско-американская компания казалась ему делом далеким... Доходы от котиков, добываемых в северных морях, конечно, полезное дело, выгодная коммерческая политика, очень хорошее предприятие... Вовремя прибрали его к рукам петербуржцы!

...Все проблемы Компании канцлер хитро свел к тому, посылать или не посылать одно судно с мехами в Шанхай... Он знал, что Фердинанд Петрович, кажется, ушел из-за этого, но что же делать! Сам Нессельроде терпеть не мог этих надменных прибалтийских баронов: он знал, что они его презирают и очень рады были в свое время эпиграмме Пушкина насчет австрийских пудренных...

— После тщательного изучения вопроса, — глубоко-мысленно и сухо, но с живыми искорками в черных глазах сказал канцлер, — нам в настоящее время представляются все еще невозможными и нежелательными подобные действия...

Он доказал это: нельзя тревожить Китай, погубим торговлю на Кяхте, обеднеют акционеры, встревожится богдыхан. Востока не следует касаться. Наше счастье, что Аляска на Севере. Нельзя задевать интересы иностранцев...

Все доводы были стары. Политковский слушал с величайшей почтительностью... Это губастый, усатый человек, с большим белым лицом, лысоватый, с огромными бакенбардами.

При всем своем глубоком уважении и преклонении

перед Нессельроде он, дождавшись, когда канцлер смолкнет, попытался выразить несогласие.

Он сказал, что торг на Кяхте не рухнет.

— О! Далекое нет! По мнению Фердинанда Петровича, без этого Компания не может существовать. Одно судно в Шанхае будет началом.

— Одно судно ничего не решит! Что там одно судно, когда там сотни разных судов... И там опасно! Смута в Китае и пираты, все это заставляет насторожиться.

Политковский уже знал, что время опасное, что во Франции события не стихли. В Европу путешествия запрещены, въезд есть исключительно для французов, едущих, чтобы поступить в гувернеры, для дипломатов и актрис, приглашенных в Михайловский театр. Да, в Китае опять что-то вроде войны из-за ввоза опиума или из-за чего-то в этом роде... И смута.

— И пираты! Английские и американские пираты,— весело сказал Нессельроде. Похоже было, что он в хорошем настроении.

Политковский знал, что Тихий океан вообще опасен, там нужно действовать очень осторожно, там колонии западных держав и чужие интересы.

Заговорили об экспедиции Невельского.

Политковский сказал, что опись «Байкала» не дает ничего нового, во всем полное сходство с описью Гаврилова.

— Только там нет фарватера, а здесь есть?

— Да, ваше сиятельство,— кисло, но почтительно ответил Политковский.

— А каково же мнение достопочтенного Фердинанда Петровича? — спросил Нессельроде.— Жаль, что его нет в Петербурге!

— Он здесь... Фердинанд Петрович, к сожалению, болен... Он очень предан науке, и на этом часто играют. По его мнению, следует подвергнуть тщательной проверке все результаты экспедиции «Байкала». В Компании есть почтенные служащие, которые занимаются исследованием Амура давно и смогут все изучить, так как они все отлично знают. Мы готовы принять меры.

«Поздно вы спохватились!» — подумал Нессельроде.

Он знал обо всех планах иркутского Муравьева, о них доносил Ахтэ в корпус горных инженеров к генералу Бергу, Берг — сюда.

Политковский сказал, что летом в лиман послан был Орлов.

— Он описал побережье, скупал соболей, которых, по его словам, как он выразился, ваше сиятельство, «хоть коромыслом бей». Завойко предлагал открыть вблизи лимана факторию с тем, чтобы этих соболей скупать. Это тем более важно, что и Орлов и Невельской привезли сведения о независимости гиляков.

У Нессельроде была хорошая память, и он помнил Орлова и как еще в прошлом году тот договаривался с гиляками, что можно построить редут на их земле.

Политковский ответил, что необходимо построить редут, купить для этого землю у знатных гиляков.

Сам Политковский никогда в тех краях не был и не представлял, что за редут, и что за гиляки, и как покупать у них землю, но ход дел в том виде, как они излагались на бумаге, знал превосходно.

— Тут необходима чрезвычайная осторожность! — заметил Нессельроде.

Политковский почтительно поклонился, зная, что подобные намеки зря не делаются.

Нессельроде спросил, в чем же разница карт Гаврилова и Невельского.

— Может быть, там ошибка?

— Мы сомневаемся в истинности цифр, выставленных на карте Невельского, ваше сиятельство...

Этого-то и надо было канцлеру.

— Ах, так? По есть ли у вас доказательства? — спросил он.

Никаких доказательств пока не было. Политковский ссылаясь на какие-то письма частных лиц и служащих Компании, на мнение членов правления... Но все это было не то, что требовалось канцлеру.

Нессельроде дал понять, что правительству нужны сведения, опровергающие открытие Невельского. Он сказал, что Компания должна представить свое письменное мнение несколько в ином виде, не такое, как доклад...

Канцлеру известно было то, чего не знал Политковский: в основе отношения к открытию — тайные секретные сведения, секретные договоры и тайные опасения. Они-то важнее всего. Но нельзя пустить в ход их, нужны благопристойные доводы, которые можно выставить открыто, которые очень плотно покроют все тайны.

Он знал, что важные секреты — основа отношений к человеку, который сам не должен ничего знать. В этом сила тайны.

Политковский все чувствовал. Главное было не то, что решалось явно.

Какой-то слух, тень, брошенная на доброе имя, — и человек лишался чинов, орденов, не продвигался по службе: его желания толковались превратно, он чах, более прозябал, чем жил, и все это было результатом тайн, которых он не знал и о существовании которых даже не предполагал...

Но Муравьева нельзя было победить тайной. За него такие мастера секретов, как Перовский с его полицией, который на каждый ход ответит ходом.

Поэтому нужно было начать с иного, хотя бы с малого.

Кроме целей общегосударственных, у Нессельроде были и свои цели.

Он обещал государю политику, обеспечивающую «европейское спокойствие». Это была основа основ. Но были тайны, которых не знал даже император. Это отношения Нессельроде с англичанами. Он умело выведывал тайны у английских дипломатов, но и сам иногда кое в чем оказывал им услуги. А открыто все делалось во имя рыцарских идеалов, легитимистических принципов и православной веры, и тут пускались в ход тайны, уже известные государю...

...Политковский подъезжал к зданию Компании.

«Какой мерзавец Сенявин!» — думал он.

Политковский — один из тех рыхлых людей, которых уважают за их вид, за рассудительность и за... полное бессилие, которое обнаруживается, если надо решить что-нибудь самостоятельно, а за спиной нет привычного советчика.

Но на этот раз и он рассердился. Врангель был против Нессельроде, а Нессельроде не согласен с Врангелем! Кого слушать?

Вместе с Гильомом он в тот же день поехал к Фердинанду Петровичу.

— Невельской ищет встречи с вами, дядюшка, — говорил Гильом.

— Я не имею ни малейшего желания встречаться, — отвечал дядя. — Я уже сказал Федору Петровичу. Рад

буду, если его открытие подтвердится, но сначала надо проверить.

Гильом стал уверять дядюшку, что открытия нет, есть подлог.

— Это именно так, дядюшка!

Политковский рассказал о своей беседе с канцлером. Решено было, что Компания потребует проверки всех открытий.

— И тогда видно будет, что надо делать, — сказал старый Врангель.

Молодой Врангель очень рад был, что дядя завтра уезжает. Уже все сделано, выяснены все возможности торговли спиртом, все известно о бочках, пошлинах, фрахте... Решен вопрос с пенсией... А Прасковья Врангель исполнила все поручения Елизаветы Васильевны.

— Я представляю, дядюшка, ваше деревенское житье-бытье! Согласитесь, в этом есть своя прелесть. И летом и зимой вы совершенно свободны, окружающее общество боготворит вас, вы всюду желанный, дорогой гость. И вместе с тем вы незримо вдохновляете нас...

Старый адмирал потрогал свои узкие золотые очки, достал из кармана белый носовой платок, нервно покусал губы, вытер сухие усы.

Гилюля надеялся, что с отъездом дяди можно будет свободнее сослаться на его мнения, объяснить, почему Фердинанд Петрович сомневается, действовать решительнее.

«Уж теперь я отомщу! Прихлопнем этого моряка... Я уничтожу Невельского».

Как человек болезненный и раздражительный, молодой барон желал быть беспощадным с теми, кто шел против него или делал затруднения и неприятности его близким — Завойко, Юлии...

Собственные страдания болезненного Гильома давали, по его мнению, право доставлять страдания и жестоко поступать с другими.

Через несколько дней в Министерство иностранных дел к начальнику азиатского департамента Льву Григорьевичу Сенявину, который только что вернулся из Москвы, приехал родной брат бывшего председателя Российско-американской компании — барон Георг Петрович Врангель.

Он жил на Украине, где владел огромным поместьем. Он приехал в Петербург по своим делам. Георг не застал брата, который отправился обратно в Руиль.

Гильом воспользовался этим. Он избрал дядюшку орудием своей мести. Он так разжег старика, что тот впал в бешенство и решил немедленно ехать к Льву Сенявину, с которым давно дружил, и доказать, что у него есть в столице связи, что он влиятелен.

— Только умоляю вас, дядюшка, не проговоритесь! — провозжая Георга Петровича, просил Гильом.

— Как можно! — ответил дядя.

С Сенявиным его связывала старая дружба...

Георг Врангель — почтенный тяжелый старик, с умными, острыми глазами, — сказал, что приехал объяснить по очень важному делу, не терпящему отлагательств.

— Я полагаю себя обязанным, Лев, поставить тебя в известность. Я буду с тобой говорить совершенно откровенно и начистоту, как всегда... не тая ничего, — говорил он, несколько волнуясь, так что тряслась его вспотевшая кожа, висевшая на шее мешками, как у старого яка, — скажу тебе, как старому приятелю, новая карта устьев Амура — совершеннейший обман! Это истина! Я понял сразу! Брат в ужаснейшем положении...

Георг всегда вмешивался решительно во все дела Компании уже по одному тому, что во главе ее стояли родственники. И он знал, что Лев Григорьевич принимает большое участие в его родственниках.

— Что ты говоришь? — изумился грузный Сенявин.

— Он где-то видел карту описи Гаврилова — это просто удивительно — и, представь себе, ею воспользовался! Да, да, у нас есть данные, что Невельской выдал карту Гаврилова за свою! Вот в чем секрет! Прошу тебя, поставь в известность канцлера. Ведь он председательствует в комитете.

— Какие же данные? Скажи мне.

— Карта Невельского и карта Гаврилова как две капли воды похожи одна на другую!

Лев Григорьевич молчал, колеблясь между желанием верить Георгу и опасением, что у того мало доказательств, чтобы подкрепить свое мнение.

— Поверь мне, Лев! Клянусь тебе, что это правда!

Лев Григорьевич Сенявин — правая рука графа Несельроде — был глубоко возмущен поступком Невельско-

го. Он сразу сказал, что дело грозит ссорой с Китаем, закрытием кяхтинского рынка.

Теперь он видел, что Компания с опозданием кинулась отстаивать свои привилегии, наконец почувствовав, что открытие Амура моряками военного флота может оказаться страшным ударом по ней.

— Пойми, Лев, ты сам акционер и знаешь, что значит дивиденды. Ведь все доходы Компании пойдут прахом, если колонии станут доступны всем и каждому! Ведь это подрывает все! В сферу ее деятельности вдруг врывается какой-то человек и делает открытие... А оно ложно, ну, ложно!

У Сенявипа было точно такое же положение. В сферу деятельности азиатского департамента ворвались точно так же, и тоже подрывали авторитет, и те же самые лица.

— Пойми, пойми, Лев!

Хотя Георг знал от Гильома, что брат Фердинанд Петрович показал Невельскому карту, но молчал об этом и уверял, что говорит все прямо и начистоту.

— Офицер этот, видимо, где-то снял копию карты и потом привез ее и утверждает, что сам делал промеры. А Фердинанд Петрович молчит, хотя ему очень больно, ты сам знаешь, как он щепетилен.

— Но где? Где и как могли видеть карту?

Георг Врангель развел руками, глядя на Сенявипа и как бы сам пзумляясь этому обстоятельству.

— Я просто не знаю и поражаюсь, где действительно могли ее видеть? Но видели, видели! Ну да!

При всей своей дружбе с Сенявипым старый Георг совсем не собирался открывать семейного секрета и бросить тень на брата, который не смел открывать государственной тайны.

— Но что всего поразительнее, так это то, что господин Невельской всюду на карте Гаврилова прибавил по десять футов к цифрам промера и объявил, что открыл Амур, тогда как это невозможно! Но ведь там Завойко, он сам исследовал, изучил все вопросы, и Невельской не ожидал, конечно, этого и нарвался. А у нас там есть люди! Василий Степанович, как человек прекрасно знающий условия, конечно, сразу понял, в чем дело. Он очень справедливый и честный человек...

Сенявин слушал с большим интересом.

— Мы верим карте Гаврилова и исследованиям вели-

ких мореплавателей Крузенштерна, Браутона и Лаперуза, — постарался успокоить он собеседника.

— Ведь это ужас, ну ужас! — восклицал обнадеженный Врангель.

— Туда надо было послать другого человека, — солидно заметил Сенявин.

— Это авантюрист какой-то! Я точно знаю, что Василий Степанович прав! Ну, подумайте, — переходя на «вы» и как бы обращаясь ко многим людям, продолжал генерал, хотя, кроме Сенявина, в кабинете никого не было, — приехал туда и честно служит, прекрасно устроил все свои дела, построил новую дорогу и мы, акционеры, затраты сделали на основании того, что Амур недоступен, а является этот офицер и опровергает все наши многолетние исследования. Я отлично понимаю Завойко, он оскорблен! Он и так хочет уходить! Ведь его, как ты слышал, верно, хотят губернатором, и он уйдет, конечно... Кому приятно!

Сенявин сейчас сам понимал отлично, что значит ломка карьеры. Его карьере также грозили опасности.

— Я доложу графу о твоих подозрениях, — сказал Сенявин. — Но есть ли у тебя доказательства?

— Мое честное слово — порука! Сличите карты — вот доказательство! Да, да, — подтвердил Врангель с таким чувством, словно хотел сказать, что надо, надо наказать этого офицера.

— Ведь есть же наука, авторитеты! — восклицал он. — При сличении карт оказалось, что такая же карта висит в Аяне!

— Но где он достал эту карту?

— Я просто не понимаю! — восклицал Георг.

Сам Сенявин уже собрал карты английских, французских и немецких путешественников, книги и ученые труды, донесения Пекинской миссии, достал позапрошлогодний доклад графа Нессельроде на высочайшее имя, который сам когда-то писал за графа.

Груды карт и документов были приготовлены к бою.

Тучное тело Сенявина разбирала дрожь при мысли, что будет, если китайцы закроют кяхтинскую торговлю.

Сенявин обещал Георгу доложить обо всем канцлеру.

— Я очень прошу тебя, Лев! Ты знаешь, какое участие я принимаю в семье Завойко.

...Сенявин принес министру целую кучу разных бумаг.

— Доклад, представленный Компанией, свидетельствует против открытия «Байкала».

Нессельроде просмотрел бумаги.

— А есть ли письменное мнение Фердинанда Петровича?

— Нет, ваше сиятельство... Адмирал Врангель выехал из Петербурга!

— А есть ли какие-нибудь документы, подтверждающие, что там подлог? Все ссылаются на Завойко. Есть ли хоть одно его письмо об этом?

— Нет, ваше сиятельство. Завойко сам, видимо, из щепетильности и благородства, ничего не написал об этом.

Сенявин рассказал о своем разговоре с генералом Врангелем.

Нессельроде, выслушавши его, быстро снял свои очки и улыбнулся.

— Ах, Георг Врангель! Наш Георг Врангель! — воскликнул он иронически. — Где же это мог видеть Невельской карту? Да конечно, только в правлении Компании у Фердинанда Петровича! Где же еще? Не у меня же в министерстве! Фердинанд Петрович показал ему карту! Вот теперь понятно, почему наши Врангели забегали! Маленьким дитятей притворяется наш Георг Врангель. Посоветуйте ему быть поосторожней, — добавил канцлер серьезно, — если он не хочет бросить тень на доброе имя Фердинанда Петровича. А кто этот Завойко?

— Зять Фердинанда Петровича! — ответил Сенявин.

Нессельроде умолк, подняв брови и как бы что-то обдумывая.

— Конечно, свидетельство подлинного знатока и местного человека было бы важно, — сказал канцлер. — Но его мнения нет. Он, видно, предпочитает действовать предположительно...

Нессельроде видел, что все уклоняются. Адмирал Врангель не решается заявить открыто, прячется за спину правления, которое представляет бумагу о своем несогласии с открытием Невельского, но не опровергает факта, упоминает о необходимости тщательной проверки. Завойко тоже прячется. Прямых улик нет. Все Врангели возмущены, но все действуют предположительно.

— Мы не можем привлечь офицера за подлог, не поставив Фердинанда Петровича в невыгодное положение!

Сенявин почтительно поклонился.

Нессельроде чувствовал: в душе, кажется, все бояться, что устье действительно открыто. Очень похоже на это, в самом деле! Он сам это понимал. И если Врангель показал Невельскому карту, то, значит, уже тогда за спиной Невельского стояли сильные люди.

— Этот Невельской, видно, большой хитрец! — сказал канцлер. — Вот и надо передать его в распоряжение тех, кого он пытается опровергнуть. Пусть он будет проверен Компанией. Пусть они воспользуются и еще раз исследуют землю гиляков, торгуют там под компанейским флагом, но не касаясь устьев Амура.

Компания была почти филиалом министерства Нессельроде. Она не ступала шагу без спроса. Канцлер надеялся, что правление Компании не поставит его в глупое положение. Но открыто о подлоге нет оснований говорить на комитете.

— Ну, а что Пекин? — спросил граф, имея в виду, что Китай должен заявить протест за опись устьев Амура русским судном.

— Молчит, ваше сиятельство... — как бы извиняясь, отвечал Сенявин. Он знал, что граф ждет из Китая протеста. Но протеста не было.

Глава сорок вторая

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

От Зимнего дворца расстилались широкие просторы, вымощенные булыжником, который уложен был в виде больших квадратов, и поэтому петербургские площади похожи на грандиозные паркетные полы. Перед Зимним — плацпарад, в другую сторону — Дворцовая площадь, а дальше, вдоль Адмиралтейства, — громадная Адмиралтейская.

Масленица еще не скоро, на Адмиралтейской балаганы не начинали ставить. Площадь пуста. Стоит сумрак и жестокий мороз.

Множеством мостов, улиц и переулков эти придворцовые просторы соединяются с Сенатской, Исаакиевской, Покровской площадями, со всем Петербургом, с Марсовым полем, утекают к Конногвардейским казармам, к Гвардейскому экипажу, к Измайловскому, Павловскому,

Семеновскому, Конногренадерскому полкам... Здесь все приспособлено для парадов, разводов караулов и шагистики. С раннего утра на этих площадях начинается маршировка и учение. Потом гремит музыка. Здесь можно шагать и по пять и по пятьдесят человек в ряд. Целые корпуса маршировали тут в царские дни, вытягиваясь в «нить полков блестящих, стройных». Площади превращались в сплошную лавину медных касок, киверов, штыков, усов, разноцветных мундиров, накрест перепоясанных белыми лосиными ремнями.

Сейчас дует морозный ветер, площадь бела, но подметена чисто, поэтому ясно проступают все линии, по которым выложены камни, и вся мостовая кажется расчерченной.

По Адмиралтейской площади перед зданием Адмиралтейства тянется кажущийся бесконечно длинным двойной ряд низких деревьев с колючей стриженной гущей ветвей. Деревья вблизи императорского дворца подчиняются строгой дисциплине. Их стригут. Они стоят, как солдаты, стройно, слитно, двумя шеренгами.

Было время — еще недавно — деревья были выше. Тогда войска еще носили старую форму. Нынче переменяли мундиры, и штаны другие, и решено было, что такой бульвар подходит лишь к брюкам в обтяжку. Деревьям приказали осесть. Гуще ветви! Стрижка шаром! Весь двойной ряд их, тянущийся далеко-далеко, к манежу, что за площадью, приосел, и кажется, что осел и сам манеж — огромное здание: отсюда оно кажется маленьким портиком за бесконечным пустым плацем.

Кажется, что этот плац тянется до горизонта. Очень тонкая лесть архитекторов государю России, если плац его гвардии так велик, а вдали, как маленькая беседка для отдыха, колоннада огромного манежа, который отсюда кажется грациозной безделушкой. Среди людной столицы создана площадь с иллюзией бесконечности.

Но вот решили, что деревья низки. Бетанкур предложил не запрещать им расти. Но ни о какой самостоятельности не могло быть речи. Деревьям приказали вытянуться, и они вытянулись. Они были довольно высоки, когда капитан уходил в плаванье. Но, как заметил он, теперь император, видно, опять преобразовывал природу. Они слова низки, и ветви каждого, как еж или гнездо аиста, в трезубых деревянных вилах.

Подъехав к зданию министерства, Невельской быстро вошел, наклонив слегка голову, с видом опоздавшего человека, доложилась чиновнику и разделся. Он заходил по комнате, как бы ожидая чего-то с нетерпением. Он не допускал неприятных мыслей, но отчетливо представлял опасность...

Все эти дни — встреча за встречей, разговоры... Опять писал записки и письма в Иркутск, занимался в Географическом обществе, помогал Литке, читал, делал выписки...

Вид плафонов, паркета с цветами был неприятен. Ему казалось, что можно возненавидеть России за эту роскошь, за эту торжественную красоту, созданную для людей, которые совсем не заслужили от России всего этого... Но надо крепиться. «Тяжелый у меня характер, — думал он, — зачем беситься, глядя на то, чего другие и не замечают. Плетью обуха не перешибешь». Потом мелькнуло, что существует масса разных взглядов на жизнь. «Теперь, после разгрома петрашевцев, ничего не поймешь, что можно, чего нельзя. Одни правы, но бессильны, как Александр, и если веришь им — губишь себя. Другие мертвы мыслью, но хоть что-то можно сделать под их покровительством... Вот какова моя философия! Меншиков и Перовский покровительствуют мне, хотя быть может, в их-то покровительстве и есть опасность. Черт знает, как они понимают вопрос, и могут все загубить полумерами... Константин еще юн, «моя надежда!» Дай бог! Что-то он сделал?»

В это время в кабинете канцлера тоже шла подготовка к заседанию.

— Ну как, все еще нет листа из Пекина? — спросил Нессельроде у Сенявина. Разговор происходил в Зеленом кабинете.

— Нет, ваше сиятельство! — отвечал почтительно тучный Сенявин.

— Как нет, как нет? Что они думают? — пробормотал канцлер. В глубине души он удивлялся, как плохо поставлена у китайского императора дипломатическая часть.

— Наши министры и Муравьев сами не понимают, на что хотят толкнуть Россию, — говорил граф, проходя с Сенявиным по длинной галерее, соединявшей его квартиру с кабинетом и парадными залами Министерства иностранных дел. Эта галерея без окон, вернее, коридор с

полусводчатым потолком, увешана картинами и освещена множеством свечей, горевших в бра.

Нессельроде надеялся, что рано или поздно государь вполне согласится с ним и откажется от Амура вообще. Всюду считалось, что страной правит сам царь. Но в случаях, грозивших опасностью, канцлер умело сеял страх. В семье Романовых не было душевного спокойствия с тех пор, как задушен Петр III, задушен Павел, ходят тайные слухи, что не своей смертью кончила Екатерина, а дворянство достаточно выказало себя в декабре двадцать пятого года... У Нессельроде были очень веские доводы и были союзники. Они представляли подоплеку дела об Амуре по-своему и знали все не хуже Перовского.

Дворцовая площадь полузамыкается с трех сторон огромным зданием Главного штаба, с колесницей и шестеркой бронзовых лошадей над въездной аркой. В крыле этого здания, выходящем на Мойку, помещалось Министерство иностранных дел.

Здесь, в этом совершенно новом, желтом, как бы вызолоченном здании, должно было решиться сегодня, будет или нет возвращена России огромная территория на востоке, с протекающей по ней одной из величайших рек мира.

Кони цокали копытами по огромной, почти пустой площади, с часовыми в касках и с одиноким ангелом на гранитной колонне, который то скрывался, то появлялся в глубине низкого петербургского неба, в сумрачном облаке.

Лакированная карета выехала через арку, мимо рыцарских доспехов в желтых нишах. Другая — вся в зеркальных стеклах и со стеклянной дверью — подкатила к подъезду со стороны широкого и выгнутого Певческого моста, накинутаго на узкий, в грязном снегу канал, сжатый двумя стенами гранита.

Входя в здание нового Министерства иностранных дел и подымаясь среди огней и позолоты по коврам лестницы, встречаясь наверху, в зале, вельможи разговаривали друг с другом любезно, со слабым оживлением.

Все чувствовали, что сегодня быть бою. Кажется, что в новых открытиях, о которых пойдет речь, таится опасность... Есть какое-то странное совпадение в намерениях молодых путешественников, упорно стремящихся на вос-

ток, со взглядами только что уничтоженных революционеров во главе с Петрашевским, которые тоже толковали о грядущем пробуждении Азии и стремились туда.

Все это настораживает. Ведь колоннады, созданные знаменитыми мастерами, и так величественны, и никто не заподозрит в слабости империю, если она откажется от странных предложений, побуждающих страну стремиться в круг иных государств, к иному океану, а быть может, и к новому, иному будущему.

Вошел граф Нессельроде и занял место в конце длинного стола, уходившего зеленым полем к полуарке с торжественными лепными украшениями.

Несмотря на несколько неприятную внешность и очень малый рост, сейчас этот старик вызывал чувство почтительности и уважения, и, едва он появился, все смолкли.

Заседание началось. Директор азиатского департамента тучный белолицый Сениявин изложил суть дела. Потом стали читать документы.

— Его долг был ожидать императорского повеления! — сказал, когда чтение закончилось, военный министр Чернышев, плотный и рослый, в сюртуке с эполетами на толстых плечах и с выпуклой грудью, которая покрыта была звездами и орденами.

— Пригласите сюда капитан-лейтенанта Невельского, — сказал Нессельроде.

Невельской вошел, встал, вытянувшись в конце длинного стола. Стройная фигура его в черном мундире, с орденами на груди и на шее, выражала готовность исполнять повеления, и тут не к чему было придрачиться, но глаза смотрели остро, возбужденно и зорко, осмеливаясь присматриваться, словно в этот единый для армии и флота образец офицерской персоны по ошибке вменена какая-то не соответствующая уставу душа.

Стоял полудневный петербургский сумрак. Заседание шло при свете множества свечей, ярко горевших, как на балу, в бра на стенах, в люстре над столом и в подсвечниках. В глубоких креслах сидели важные старики в лентах и звездах. Тут было почти все русское правительство. Невельской подумал, что эти почтенные старики не могут быть несправедливы...

— Капитан-лейтенант Невельской, на основании чего вы произвели опись? — при общей тишине обратился к

нему граф Чернышев. У военного министра властное белое лицо с тяжелыми, чуть обрюзгшими щеками, пышные усы, светлые глаза и темные редкие волосы, зачесанные с пробора на лысину. Он смотрел на Невельского с тем видом надутой профессиональной свирепости, которая так свойственна людям, привыкшим грубо повелевать и попирать человеческое достоинство по долгу службы. Но лицо его было не только свирепо. Чернышев по примеру царя умел одновременно придавать ему выражение снисхождения. Именно с этим видом свирепости и лицемерной милостивости обратился он к капитану.

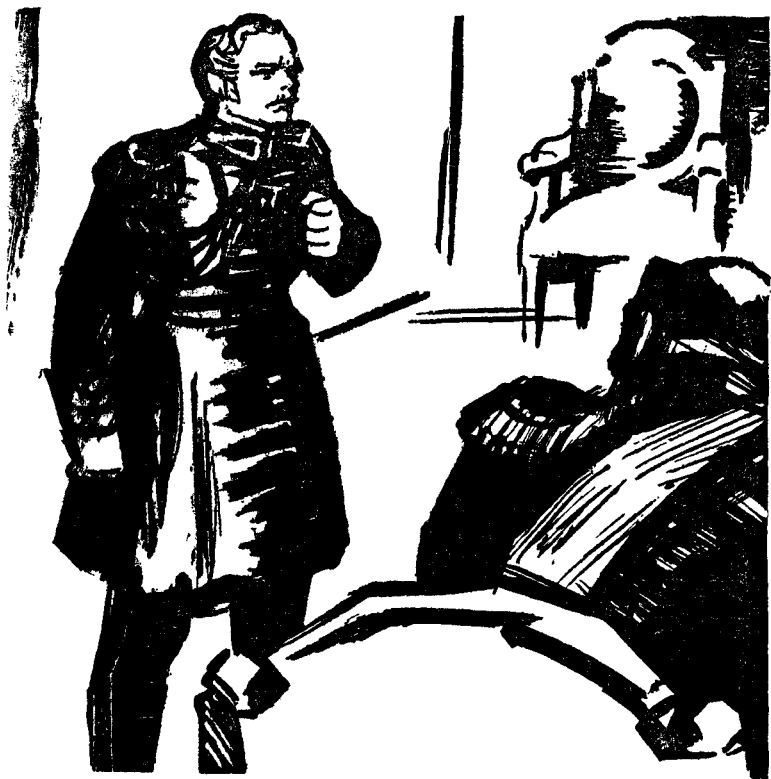
Теперь Невельской уже видел перед собой не русское правительство. Перед ним был Чернышев, которого, как он знал давно, боялись почти все, а многие ненавидели. Это он пытал декабристов, вел допросы и гарцевал на коне у виселицы, когда вешали...

Невельской хотел отвечать, но почувствовал, что заикнется, и замер. Моложавый Перовский с пышными черными бакенбардами метнул на него выразительный холодный взор, как бы призывая: «В бой!» В этом взгляде были и гнев и опасение, что офицер струсит. Взгляды враждебные и взгляды ободряющие скрестились, они были подобны ударам бича в воздухе. Одни требовали мужества, другие угрожали.

Невельской почувствовал весь ужас своего положения. В грозное время он стоял перед лицом жестоких и бессердечных судей, которые уже многих уничтожили без всякого сожаления, он, осмелившийся пренебречь их приказаниями и законами.

— Отвечайте, откуда вы могли знать суть императорского указа до получения его,— продолжал военный министр, как бы беря вопрос на себя и желая сбить с толку того, к кому обращался. Это было ему привычно, он гордился тем, что умеет допрашивать. Хотя Чернышев был министр военный, но, как и каждый близкий царю Николаю, чувствовал себя и деятелем Третьего отделения, избличал, раскрывал, доносил и преследовал, чему научился еще в дни допросов декабристов.

— Отправляясь на опись, я исполнил долг мой, ваше сиятельство,— слегка дрожащим голосом заговорил Невельской и тотчас взял себя в руки.— Наказывать или миловать меня за это может один государь! — глухо и гордо добавил он.



Чернышев поднял изогнутые брови.

— Почему же вы не ждали инструкции?

— Если бы я ждал утвержденной инструкции, время, нужное для описи, было бы упущено, — почтительно отвечал Невельской. — У меня на руках была копия указа...

— Вы получили неутвержденную копию, а не указ! — перебил его Чернышев. — А это значит, — обратился он к членам комитета, а всего более к Перовскому, — что исследования незаконны! Это значит также...

— Господа! — угрожающе перебил граф Перовский. Надо было пояснить намек Невельского, а то все делают вид, что не понимают. — Есть высочайшее мнение. Его величество всемилостивейше простил капитан-лейтенанта Невельского за опись без инструкции.



Все стихли, услышав произнесенное имя того, кто властен был над этими людьми и кто был тут неподалеку, за площадью с ангелом на колонне, чей золотой штандарт с черным орлом торжественно полоскался на ветру за окном на крыше дворца.

Теперь надо было уравновесить силы и влияние.

— Величайшие ученые всех европейских народов сошлись на том, что Амур с устьев недоступен, — заговорил Нессельроде. Очки его, блестящие при свете свечей, полузакрывали глаза и крупный нос с маленькой горбинкой.

Потоки буйных черных с проседью волос зачесаны со щек и висков вверх и взбиты искусно на голове, видимо, для того, чтобы придать канцлеру роста. Нессель-

роде держится просто. Движения его полны изящества и достоинства.— А капитан-лейтенант...— Тут, как бы запнувшись, канцлер поискал на бумаге фамилию офицера, но, казалось, не мог найти и сделал почти незаметный жест рукой, который, однако, все заметили и который как бы означал: «Ну, бог с ней, какая бы ни была у него фамилия». Он продолжал: — А капитан-лейтенант не согласен с ними и утверждает, что Сахалин остров, из чего выводится заключение, что необходимы политические действия... Мы рассмотрели все карты и документы и находим сведения, представленные нам, сомнительными...

Глаза канцлера, живые и острые, поблескивали, а говорил он сухо и то, что все уже слышали.

— Ваши карты противоречат всем документам,— строго и ласково обратился канцлер к Невельскому,— а также докладу, представленному на высочайшее имя...

— Так не высочайшему мнению, а вашему докладу они противоречат,— саркастически заметил до того молчавший, сухой и прямой как палка, седоусый князь Меншиков.

Все оживились и стали переглядываться, покачивая головами. Дело завязывалось. Ударила тяжелая пушка.

У Невельского отлегло на душе.

— Мало ли что у него в докладах пишется! — как бы про себя пробубнил в усы князь, и на этот раз раздался взрыв откровенного смеха.

— Я уверен, что вы грубо ошиблись,— продолжал Несельроде, не обращая внимания на Меншикова.— Может быть, следует вовремя отказаться от ваших утверждений,— добавил он назидательно.— Вы совершили опись самовольно, наспех, кое-как, без надлежащей научной подготовки. Ученые не согласны с вами, и вы заслуживаете строгого наказания.

Поднялся генерал Берг. Он небольшого роста, со щуплым лицом, на котором ввалились темные ямки, с узким подбородком, с черными, закрученными вверх усами и с острыми маленькими глазками. Эти глазки выражали опьянение собственным величием. К его закрученным усам, верно, очень идет каска. Берг — генерал-квартирмейстер русской армии. Карты, планы, розыски путей — по его части. В былые же годы он подавлял восстание в Польше и залил кровью Варшаву: за это ода-

рен и обласкан царем Николаем, и с тех пор во взоре Берга величие и выражение пресыщенности и равнодушия. Он сух, заносчиво горд, точен: он отправляет экспедиции, значится в числе членов-учредителей Географического общества, хотя приглашен туда лишь для «благонадежности», и считает себя покровителем ученых и ученым.

— Вот у нас есть современные карты...— заговорил он, выпуская из-под черных усов, как жало, острое, маленькой верхней губы.— Вот тут стоит на устье Амура китайская крепость. Посмотрите, как все показано подробно. В крепости имеется десятитысячный гарнизон и флот. Есть также карта Крузенштерна и карта штурмана Гаврилова с приложенным к ней донесением нашего достопочтенного адмирала и ученого Фердинанда Петровича Врангеля... Мы также располагаем рядом новейших сведений, представленных Российско-американской компанией... Есть также мнение Компании... Есть мнение ее председателя адмирала Врангеля...

— Господа, надо заслушать капитан-лейтенанта,— сказал граф Лев Алексеевич Перовский, показывая, что не собирается слушать Берга. Перовский в комитетах слов на ветер не бросал. Сейчас все увидели в этом выхоленном барине с приятным, располагающим и молодежь лицом всесильного министра.

Усы Берга, казалось, встопорчились еще круче. «Меня перебивают?»— выражал его взгляд, в котором сквозь опьянение собственным величием засквозила обида. Перовский даже не посмотрел на него.

Капитан подошел ближе к графу Нессельроде, где на стене над зеленым сукном стола висела знакомая карта, вычерченная штурманскими офицерами «Байкала».

— При подходе с юга глубина уменьшается, и видимая картина Сахалина и материкового берега такова, словно они составляют единое целое,— начал Невельской,— таков вид с юга, откуда подходил Крузенштерн. А жители тех мест— гиляки, когда я просил их чертить план, в знак того, что между берегами можно проходить на лодке, проводили черту. Можно понять, что они рисуют перешеек, тогда как на самом деле они показывали, что тут вода. Эти объяснения могли ввести в заблуждение предыдущих исследователей.— Говоря это, капитан несколько раз провел нервно по карте, между берегом

Сибири и Сахалином.— А тут вода! Вода! — воскликнул он, увлекаясь и как бы желая обрадовать членов комитета. Он продолжал с сияющим видом, которого не мог подавить, обращаясь ко всем присутствующим.— Лаперуз, видимо, не понял их объяснений и решил, что эти черты означают перешеек!

— Лаперуз не понял? — подняв брови, спросил тенором Берг.

— Да, нами найден тут пролив... В самом узком месте его ширина семь миль. Мы прошли между вот этими мысами. Оказалось, что никакого перешейка нет, и нам открылся вид на Японское море.

Все стихли и невольно слушали Невельского. Тот успокоился, заговорив о любимом деле. Всем видно было, что это человек живой, и рассказывал он, радуясь искренне. Для него уж более не имела значения страшная власть его слушателей, их звезды, чины и заслуги.

Он говорил складно, а эти почтенные старики всю жизнь ценили тех, кто складно рассказывает. Лишь Несельроде заерзал в своем высоком кресле, видимо не желая поддаваться общему чувству интереса. Радость Невельского была так видима и неподдельна, что сильнее всех доказательств располагала в его пользу.

— Что же касается крепостей и вооруженной силы на устье Амура, — продолжал он, сияя от того, что дорвался наконец и выкладывает все правительству, и блеснул взором через стол прямо на Берга, — то сведения об этом неверны! Никаких сил там нет! Мы поднялись на шестьдесят миль вверх от входного мыса и, кроме гиляков, никого не видели. Деревни их указаны на карте. Гиляки объяснили нам, что они никакой и ничьей власти над собой не признают и дани никому не платят. Нас всюду встречали дружески... Гиляки брались быть проводниками... Не только никаких войск и укреплений, но и вообще ничего правительственного влияния там нет и, видимо, никогда не было. И это так же верно, как то, что я стою здесь. Теперь, когда вековое заблуждение рассеяно и стало известно, что вход в лиман и в реку Амур возможен с севера и с юга, опасность чрезвычайно велика... — Он на миг умолк, видимо чувствуя, что надо собраться с духом, прежде чем выложить все остальное.— В Охотском море мне непрестанно встречались китобойные суда как американцев, так и европей-

ских наций, которые, пользуясь полной безнаказанностью, не только считают себя вправе вести лов и охоту в наших водах и грабить прибрежное наше население, но и не признают там за нами никаких прав.— Он заговорил быстрее, опасаясь, что перебыют, а сказать надо было.— По рассказам русских жителей Аяна и Охотска и служащих Российско-американской компании, граждане Соединенных Штатов очень желали бы основать где-либо там станцию для своих китобойных судов. Гиляки утверждают, что американцы в этом году пытались пройти Южным проливом в лиман. Подробные сведения о том, какие действия предполагает там начать эта нация, помещены также в этом году в европейских газетах... Весь край, при возможности проникнуть в лиман Амура с юга, может стать добычей смелого пришельца, если же ныне мы не сможем принять решительных мер... Я сказал все, и в справедливости мной сказанного правительству легко может удостовериться.

Чернышев вздохнул.

— Я не верю всему этому,— проговорил он, как бы отгоняя мираж и обращаясь к Бергу за содействием. Он желал заглушить собственный интерес.

Тут князь Меншиков сказал, что карты тщательно рассмотрены.

— Полагаю, господа, что следует послать крейсер для охраны морей, а также продолжать исследования...

— Капитан-лейтенант нарисовал нам яркую картину,— заговорил тучный Сенявин,— но документами и картами предыдущих исследований доказывается, что картина там совершенно противоположная.

— Ваши документы, Лев Григорьевич, составлены понаслышке пьяными попами-миссионерами в Пекине,— заметил Меншиков, и фигуры в креслах опять закачались.

— Документы Министерства иностранных дел не могут быть неверны,— ответил Сенявин с обидой и достоинством.

Граф Чернышев решил еще раз рвануться в бой со старых позиций. Он оттолкнул лежавшую на столе малую карту Невельского и, придвинув к себе старую министерскую карту, рассматривал ее.

— Как же вы прошли между Сахалином и Татарским берегом? Ведь здесь перешеек.

— Нет, ваше сиятельство, там и-пролив,— чуть

заикаясь, ответил капитан. Мускулы лица его нервно задрожали.— Эта карта ош-шибочная, в-вот карта опи-си.— Он показал на свою карту.

— Ваша карта мне не нужна,— спокойно заметил военный министр, но за этим спокойствием таилось угрозы и ненависти больше, чем в любом самом свирепом ответе.— Браунтон и Крузенштерн утверждают, что тут перешеек!

— Там пролив, ваше сиятельство,— спокойно и почтительно ответил Невельской и еще добавил: — И это т-так же верно, как т-то, что я стою здесь.

— Шарлатан! — откидываясь к Бергу, пробормотал Чернышев, не спуская с капитана своего зоркого полицейского взора.

— Наш русский великий исследователь Крузенштерн утверждает, что Сахалин полуостров! — снова начал свою речь усатый Берг, и в глазах его опять расплылось выражение надменности, словно не его только что обрывали.— Донесения нашей православной миссии говорят о том, что на устье Амура четыре тысячи войска, а также флотилия. А капитан-лейтенант Невельской утверждает, что он входил в устье Амура, но крепости не видел. Что же это значит? Это значит, что капитан грубо ошибся! Если бы там не было перешейка, то Крузенштерн вошел бы в лиман с юга. А если он не мог войти в лиман с юга, то это значит,— с торжествующим видом объявил генерал-квартирмейстер,— это значит...— еще торжественней повторил он,— что перешеек есть!

— Да и как это возможно! Занять силой в семьдесят человек устье реки! — вдруг вспыхнул Чернышев, который, вопреки собственному намерению, все сильнее убеждался в правоте Невельского.— Где мы возьмем силы, как войска перебросим в такую даль, если иностранцы пошлют армию?

Перовский, как бы молчаливо повелевая, взглянул на капитана.

— Я объяснил причину, по которой могло сложиться ошибочное убеждение. Повторяю, что Сахалин остров...

— Так, значит, Крузенштерн ошибся! — заговорил Чернышев.— Лаперуз ошибся, Браунтон ошибся, Министерство иностранных дел составило ложные документы, Миддендорф, ныне всеевропейский признанный ученый, произвел ошибочные исследования! Наш достопоч-

теннейший адмирал Врангель и Российско-американская компания ошиблись и ложно действуют, научно опровергая открытия «Байкала», один капитан-лейтенант произвел все самовольно, наспех и не ошибся!

Раздался общий презрительный шумок, а Чернышев бросил на капитана из-под изогнутых бровей гневный взор, который очень шел к его сильному и мужественному лицу.

Возмущались ошибкой, якобы совершенной при описи. Но подоплека была другая. В действиях Невельского усматривали крамолу, но доказать этого нельзя. Знали, что арестованный петрашевец Черносвитов вел разговоры, будто восстание против правительства вспыхнет в Сибири и что по Амуру будут снабжать революционные войска оружием...

«Конечно,— полагал Чернышев,— если бы оказалось, что устье доступно и есть пролив,— благодать для этих хвостов!» Чернышев считал, что надо этот пролив закрыть, если он даже и открыт. Он знал по протоколам допросов, что Невельской был знаком с революционерами. Но больше всего военный министр подозревал Муравьева, которого выгородил Перовский. Могло быть, что все исследования Амура вообще обман. Им не фарватер нужен, а просто они хотели поставить там своих людей. Их цель — свить там гнездо, а потом по Амуру возить оружие и контрабанду. Хитрый и подлый заговор, вот что надо доказать! Да и какое может быть исследование в такой короткий срок! Правда, Чернышев сам не совсем верил в свои домыслы, но они хороши как тайные доводы, и он полагал, что кашу маслом не испортишь.

Перовский ручался за Муравьева и Невельского, и Третье отделение тоже никаких претензий не имело, но в Третьем отделении — Орлов, родня ссыльных Волконских, за которыми Муравьев ухаживает в Иркутске. Все переплелось. Чернышев уж говорил однажды канцлеру, что крамола, кажется, пробралась и в Третье отделение.

— Мы можем проверить произведенные исследования,— наконец заговорил Нессельроде.— Здравый смысл, предшествующие солидные исследования и карты убеждают нас как раз в обратном: капитан-лейтенант ошибся! — улыбаясь, обратился он к Чернышеву, словно успокаивая его, и добавил как бы между прочим: — Может быть, произвел не там исследования...

— Попал не на ту реку,— подхватил Чернышев.

— Или прошел не тем проливом...— добавил Сенявин.

— Не извольте сомневаться, Карл Васильевич,— Меншиков махнул ладонью,— прошлые исследования ошибочны... Чего не бывает! Ведь там океан, а не Маркизова лужа.

Это был оскорбительный намек. Нессельроде когда-то учился в морском корпусе, но плавал только между Петербургом и Кронштадтом по той части залива, что в память ленивого маркиза де Траверсе, возглавлявшего когда-то флот, прозвана Маркизовой лужей. Словом, князь, видно, хотел сказать, что сфера канцлера — Маркизова лужа. Все так поняли это, видимо, и в прямом и в переносном смысле. Опять все закачались в креслах, одни со смеху, другие от того, что хотели показать, как это не смешно, как возмутительно...

— Нам следует вспомнить о высочайшем повелении, которое состоялось пятнадцатого февраля прошлого года.— Канцлер с грустью возвел глаза на плафон, делая вид, что не слышит. Упоминание об императоре всегда верное средство заткнуть рот остряку.— Его величество указал нам, что следует основать зимовье на юго-западном берегу Охотского моря с тем, чтобы оттуда Российско-американская компания могла бы производить торговлю с гиляками. Нам следует держаться этого высочайшего повеления.

Меншиков демонстративно повернулся боком, как бы показывая, что не желает дальше слушать.

— Повеление было до исследования,— сказал он с таким видом, словно хотел доказать, что опять говорить разрешили полоумному...

— Вот здесь и основать зимовье,— продолжал Нессельроде, водя по карте,— где-либо в приличном расстоянии от Амура. Иностранцы тогда не смогут подойти к устью реки, так как с юга доступ им преграждает перешеек, соединяющий Сахалин с материком, а подход корабля с севера будет замечен в зимовье.

— В Морском министерстве карта с перешейком отвергнута,— не утерпел князь Меншиков.

— Мы верим карте достопочтенного Крузенштерна,— тоном человека, напоминающего об уважении к науке, сказал Нессельроде.— Таким образом, и все покушения на реку Амур со стороны иностранцев предотвращены

самой природой... И ни в коем случае не касаться устьев Амура, под страхом тягчайшего наказания.— Тут канцлер взглянул на Невельского, про которого, казалось, забыли...

Начиналась та беспорядочная перепалка, которая не раз случалась между министрами на заседаниях.

Вскоре капитана отпустили. Он вышел в приемную, где, волнуясь, ждал его Миша Корсаков.

— Ну, что? — кинулся тот с места...

— Нет еще решения! Лев Алексеевич сказал, что вечером сообщит... Они слепы... Миша, это несчастье... Миша, Миша! Но, по-моему, дело не совсем проиграно,— вдруг сказал Невельской, и глаза его странно блеснули.

— Кажется, решают ставить пост в заливе Счастья....

— Какой приткий иркутский губернатор! — заметил Берг, когда заседание окончилось и все стали подыматься.— Послал офицера, чтобы опровергнуть все мировые авторитеты! Не проще ли понять, что по какой-то причине составлены ложные карты.

— Именно! По какой-то причине!

Однако при Перовском говорить о том, какова причина, опасались.

— Этого капитана следовало бы, ох, следовало бы под красную шапку! — сказал Чернышев.

— Еще не бывало, чтобы офицеры русского флота составили подлог при описи,— заметил князь Меншиков.— Не знаю, как у вас, Александр Иванович, в Военном министерстве...

— То есть как это? — остолбенел тот.

— Да так, глупости говорите! Как это ложные карты?

— Мне кажется, мои офицеры...

— А что же вы на моих?!

— Ваше сиятельство... Ваша светлость...— густым и сильным басом стал услаивать ссорившихся толстый черноусый украинец, министр финансов Вронченко.

— Это крамола, господа! Закрывать, закрыть надо этот пролив! Как это открыли? Чушь какая-то! Да как это так быстро? Тут явно какая-то цель...

— Успокойтесь, Александр Иванович, заговорщики вас не тронут, вы им не страшны,— насмешливо сказал князь.

— Вы ли это говорите?

— Да, я, Александр Иванович! Не в заговоре ли я с Петрашевским, по-вашему? Что вам всюду мерещатся страхи? Вот уж не в характере военного министра.

Меншиков и Чернышев тут вспомнили друг другу старые обиды, Нессельроде, саркастически улыбаясь, собрал бумаги и вышел. С шумом и перебранкой собрание министров разошлось.

Кареты опять покатались мимо вновь отстроенного дворца и величественных зданий, при виде которых каждый из отъезжающих чувствовал себя творцом и участником великих дел. А по улицам в эту свирепую стужу, сгибаясь от ветра, брел простой народ, мужики в шапках, бабы в платках...

Глава сорок третья

ГИЛЯК, ГОЛЬД, ТУНГУС И РУССКИЙ

Дмитрий Иванович Орлов ехал из Аяна берегом Охотского моря на юг. По всем признакам, весна нынче должна быть ранняя. Опасаясь, что опоздает и не увидит вскрытия льдов в лимане,— дорога далекая,— он спешил.

Море бескрайней белой степью уходит вдаль. Сегодня солнце ярко светит. Белый пламень как от каленого железа бьет со всех сугробов. Снега сплошь горят от множества сияющих мельчайших алмазов...

Солнце с каждым днем прибывало, а мороз еще держался, нынче первый день потеплело. Старики тунгусы в одной из деревень уверяли, что скоро оттепель. Дмитрий Иванович думает — не начинают ли сбываться их предсказания. На одной из прибрежных скал видел он сосульки. Солнце в самом деле жаркое, на скалах таяло.

Снега так слепят, что смотреть больно. Даже тунгус Афоня, привыкший к такому яркому свету во время своих зимних путешествий, и тот жалуется, что глаза болят.

По дороге несколько дней прожили у тунгусов — меняли оленей, с приплатой, уставших на свежих. Наст — очень трудно кормить оленей... Дмитрий Иванович и Афоня решили, что у гиляков надо будет пересесть на собак. Но не известно, есть ли у лиманских гиляков юкола.

— Уже снег.— Афоня хорошо говорил и по-гиляцки и по-русски и был отличным переводчиком, но вместо слова «еще» говорил «уже». Так привык он прежде, и никто не мог его отучить.— Долго уже будет... Когда туман — лучше,— говорит Афоня.

До устья Амура еще далеко, хотя в пути давно. По льду ехать скорее, сечешь напрямик морские заливы, устья речек. Нарта за нартой бегут по равнине, звеня боталами, приближаются к становому берегу.

Дмитрий Иванович выехал пораньше, как приказано было губернатором; об этом же писал Невельской, просил, чтобы, несмотря на любые возможные случайности, добрался вовремя.

Думаешь — бог весть когда доедем, как встретят... До устья реки Орлов не доходил еще ни разу, но бывал в деревеньке Коль, неподалеку от лимана, дважды: в прошлом и в позапрошлом годах. Там живут гиляки, есть знакомые, на них вся надежда. Особенно на одного — бойкого, ловкого, который давно знает русских.

Сегодня, кажется, в самом деле теплей, рановато начало припекать для здешних мест. Солнце с каждым часом горит все ярче.

Вот уж нарты мчатся по берегу, по насту на отмели, под скалами. Кажется, верно, на утесах тает, с уступа на уступ, видно, капает, блестят капли.

На сердце у Дмитрия Ивановича и надежда и тревога. Он хочет верить, что исполнит все поручения и тогда его простят. Муравьев и Невельской должны исполнить обещание...

— Что, Афоня, деревня близко? Обедать скоро будем? Проголодался?

— Уже нет. Уже не хочу, — отвечает тунгус. — Деревня далеко...

Собака где-то ласт: далеко, может быть, за пять-шесть верст, кто-то едет... На ледяной площади моря, за прибрежными торосами, становится видна нарта, видимо, охотник поехал. Неужели на пропарины бить тюленей? Значит, уже есть тут пропарины? Афоня и Орлов долго смотрят в ту сторону. В здешних местах встретить человека — событие. Он их не видит: солнце перевалило за полдень, и тени от утесов сейчас скрывают их, да и на фоне камней берега вряд ли оттуда что заметишь.

— Вся деревня один дом, — говорит Афоня.

Он соскакивает и бежит по насту рядом с оленями. Потом Орлов бежит, а Афоня правит.

— Еще вспотел! — говорит Афоня.

Шея его, тонкая и смуглая, открыта ветру. Афоня в меховой рубахе из потертого пыжика, перепоясан сыро-

мятным ремнем, на боку — нож в деревянных складных ножнах. Его черные, давно не стриженные волосы косичками торчат из-под повенской беличьей шапки. Афоня одет плохо, но любит щегольнуть новой шапкой. У него маленький нос, маленькие черные глаза и широкие искрасна-смуглые щеки.

Справа из заваленных снегом сопок, как из огромных сугробов, чернеют громадные камни материка. На них, когда подъезжаешь поближе, глаз отдыхает от слепящих снегов.

Орлов слышит — по морозному тихому воздуху опять доносится собачий лай. Охотник далеко. За версту-две можно в такую погоду отчетливо слышать, как люди разговаривают.

Всюду лед, всюду застывшее море, берег обледенел. Печальные картины...

Афоня тоже уверяет, что нынче весна будет ранняя.

Орлов вспомнил иные годы, иную весну... Он улегся в нарте, весенний воздух пьянил. Дмитрий Иванович уснул. Ему было жарко, он распахнулся. Проснулся — олени мчались. Он почувствовал озноб, соскочил, побежал, но согреться не мог.

— Заложило грудь, за нос меня схватило! — сказал он Афоне и стал чихать.

Ночевали в деревне у тунгусов. Орлов чувствовал, что курить не хочется. Это плохой признак.

Надо было бы полежать в юрте, переболеть, но Дмитрий Иванович беспокоился, что время пройдет, вскрытия Амура и лимана сам не увидишь, промеров не сделаешь, и тогда экспедиция Невельского не получит нужных сведений. Выйдет, что посылали зря. Поэтому Дмитрий Иванович решил не останавливаться в юрте, чтобы вылежаться и переждать, пока спадет жар. Наутро помчались дальше. Он переносил свою болезнь на открытом воздухе, веря в силу своего железного здоровья и в свою привычку к подобным путешествиям.

С утра голодных оленей кое-как покормили в тайге. В этот день наступила настоящая оттепель. Исхудавшие за дорогу животные с трудом тянули по мокрому снегу и по протаявшим галечникам тяжело груженные нарты.

Орлов совсем разболелся. Временами казалось, что он не доедет, что молодая жена его останется вдовой, что сам он человек погибший, никто о нем не пожалеет...



С юга подул сырой ветер. Солнце пекло все сильнее. На берегу под снегами зашумели ручьи, побежавшие с сопок и из распадков. Вешние воды, проедавая морской лед, уходили под его толщу, куда в трещину между голубых и зеленых льдин страшно заглянуть.

Ночевали на открытом воздухе. Ночью ударил мороз. Афоня с вечера расчищал снег, рубил дрова, жег костры. На прогретой земле спали в меховых мешках, под шкурами, под звон боталов: олени паслись в тайге, добывали себе мох из-под снега.

Орлов знал, что прежде осени жены не увидит, он не впервые в таком пути. Компания всегда посылала его на самые трудные предприятия. Он человек бесправный, ссыльный. Ему запрещено водить суда, а вот на байдар-

ке через море или вот этак па оленях — пожалуй, отправляйся. Начальники факторий пользовались его опытом и знаниями, и часто с горечью, бывало, сознавал он, что делает много, а никто и никогда не помянет его трудов... С него требовали, ему приказывали. Орлов все исполнял безоговорочно. Компания держала его на службе, кормила, как вольного, а не как ссыльного. Орлов знал, что должен быть за это вечно благодарен. Ему приходилось делать описи неведомых берегов, заводить сношения с инородцами, искать места, годные для основания новых поселений.

Нынче осенью пришло приказание из Якутска за подписью Муравьева. Там было написано: «Отправить штурмана Орлова к устью реки Амур на всю весну, наблюдать за вскрытием льдов». Орлов удивился, что в бумаге пазывали его штурманом. Он ведь лишен штурманского звания. Давно уж никто не называл его так, кроме Невельского. Тот в прошлом году этак первый к нему обращался... Похоже было, что придет прощение. Орлов оживился, воспрянул духом. Он почувствовал в этом деле руку своих новых знакомцев.

Со следующей почтой пришло письмо от самого капитана. Невельской писал подробно о своих планах, очень дружески, и делал подробные наставления, какие наблюдения где делать, как и что говорить при этом гилыкам...

В конце письма капитан просил осознать всю важность порученного дела, стараться исполнить все отлично, желал успехов и здоровья и кланялся жене Орлова, словно писал равному себе.

В тот день Орлов пришел домой из фактории, прочитал письмо вслух и долго сидел на табурете, погруженный в думы.

«Неужели я снова буду штурманом? — думал он. — Снова стану человеком?»

— Ты уж постарайся, — сказала ему молодая жена. Обычно она бывала недовольна, когда его посылали в далекий путь.

Из-за любви Орлов все потерял, стал ничем... Но не жалел, что убил человека, любя женщину. Но и она погибла. Он женился на другой, на молодой, но помнит первую. Молодая жена полюбила Дмитрия Ивановича, и он к ней привык и, быть может, сам того не замечая, по-

любил ее со всей силой человека, которому никогда в жизни не пришлось любить.

Впервые за много лет Орлов собрался в дорогу с большой охотой, с надеждой, что в жизни его начинаются перемены.

И вот, как назло, болезнь свалила и связала его. В былое время и раздумывать бы не стал, слег и отлежался бы в первой юрте. «Не зря столько лет я работал на Компанию,— думал он, проснувшись ночью и слыша далекий гул льдов, взламываемых в глубине моря,— меня выучили...»

Прежде Орлов много плавал по океану, бывал в Калифорнии, на Ситхе, на Аляске. Он знал по-английски, по-тунгусски и по-колошски.

Утром с моря ветер гнал густой туман, бросал его на темный лес в горах, застилал долины. Посерели камни берега. Над головой мчался серый поток мокрого холодного воздуха, жег легкие. В груди хрипело. Кашлял Дмитрий Иванович, кашлял и Афоня хриплым кашлем.

— Чё, Дмитрий,— спрашивал Афоня у лежащего на нарте Орлова.— Теперь лучше? Уже не лучше?

— Теперь лучше,— отвечал Орлов.

— А почто трубку не куришь? Чё, погода плохая, табак сырой? Давай сушу маленько...

Но Орлову все еще не хотелось курить, и трубка не курилась, от дыма вязало во рту.

— Худо! Надо курить! — говорил тунгус.

Звенели колокольчики на оленьих шеях. Караван все бежал и бежал к югу.

На другое утро ударил мороз, схватил и заморозил всю влагу в воздухе, ссыпал ее на землю и на лед. Ветер подул с севера, крепчая час от часу. Стали ясно видны солнце и бескрайняя равнина моря с набитыми и нагроможденными льдами.

Справа из снегов материка опять отчетливо выступили черные камни. Тайга над ними казалась слабой сизой щетинкой. Но когда караван, огибая торосы, подходил к скату берега, слышно было, как эта маленькая щетина грозно гудела.

Орлову полегчало. Жар спал, захотелось курить. И трубка курилась.

— Трубку куришь — так хорошо! — замечал Афоня.— Трубку куришь — не помираешь никогда! Давно бы

меня слушал! Ты, Дмитрий, не пугайся. Когда хороший мороз, то как раз зараза вымерзает и будешь здоровый. Когда тепло — бойся, туман — худо!

Афоня — старый приятель Орлова. Был грех у тунгуса, он любил выпить. Афоня жил в тайге, его иногда вызывали в Аяв, чтобы ходить с русскими, проводить: жизнь при фактории, постоянное общение с чиновниками и приказчиками, встречи с китобоями приучили его к подачкам и пьянству. Напиваясь, Афоня спускал всю добычу первому встречному. Когда же компанейских поблизости не было, то и Афоня становился человеком дельным и трезвым, хотя при случае выпить не отказывался. Но едва вблизи появлялся корабль или приезжали купцы, как Афоня по целым дням клянчил «водоськи».

Ветер с севера нагнал тучи. Стал падать снег. Ледяной покров моря закурился, словно многие тысячи труб, скрытых в снегу, гнали под ветер дым из своих топок.

С каждым новым ударом ветра с ребер льдины, битых бурей по осени и, подобно падающим стенам, косо вмерзшим по всему морю, взлетали дымящиеся клубы метели.

Изредка в тучах проступало солнце, и казалось, что вблизи его желтого диска ветер кидает целые снежные тучи.

Природа была беспокойна, погода то и дело менялась; и точно так же беспокойно было на душе у Орлова. То казалось ему, что все идет на лад, то напротив, что теперь уже не поспеешь... Иногда думалось, что Невельской ничего не сможет, что тут свои порядки, он не в силах их перевернуть. Тогда и ему — Орлову — придется вековать под ярмом.

Поседевшие олени быстро бежали сквозь несущиеся потоки снега. Упряжка за упряжкой, привязанные друг к другу, вызванивали боталами, и звук их менялся. С закрытыми глазами Орлов узнавал, где едет: под горой или по равнине. Вот звенят густо — значит, справа гора. Даже привык различать по звуку, когда горы выше, когда ниже.

Мороз крепчал. Афоня, смотревший дорогу, все время жаловался на глаза. Ветер жег ему лицо, глаза слезились, ресницы смерзались. Тунгус то и дело крепко жмурился и сдирал с ресниц ледяшки.

Мороз начинал пробираться через шубу, сквозь меховую рубашку. Ноги еще слабы, но делать нечего, как-то надо согреться. Дмитрий Иванович прыгивал и опять бежал.

— Давай я буду дорогу смотреть,— сказал Орлов, прыгая на нарту.

— А ты место хорошо помнишь?

— Однако, помню.

Орлов был тут летом, снимал берег: теперь вид совсем другой, все переменялось. Где однажды он описывал берег — то место помнил всю жизнь. Тунгус спрыгнул и побежал, а потом, согревшись, лег на нарту и уснул, зная, что Орлов найдет дорогу. Теперь Дмитрий Иванович сдирал ледяшки с ресниц.

Он опять вспомнил письмо Невельского, как тот писал: «Дорогой Дмитрий Иванович... Молю вас... Обращаюсь как к брату... Дело от нас требует самоотвержения, и никто не в силах заставить исполнить это... Лишь сознание долга... Это мой долг и ваш, и от нас с вами все зависит...» Отрывочные фразы мелькали в голове. Чуть не заплакал, прочитавши. И жена притихла, не бранилась, как обычно, не обижалась за мужа, что на него опять все тяготы...

«Долг мой», — думает Орлов. Невельской писал о цели экспедиции как о великом деле. И стал Орлов думать, почему он так писал. Разве не мог он приказать, как все другие это делали? Орлов стал вспоминать все рассуждения Невельского.

Нарты остановились. Из сугроба торчала труба и валил дым.

— Ага! — вскакивая, закричал Афоня. — Приехали! Узнаешь место? Это как раз Коль! Вот дом Позя. Смотри, вон трубы. Как домов много! У-у! Ну, Дмитрий, теперь отдохнем!

Гиляки повыскакивали из своих наполовину вкопанных в землю, занесенных снегом жилищ. Толпа обступила приехавших.

— Здорово, Позь! — сказал по-русски Афоня рослому и широкоплечему гиляку, который вышел в собачьих торбазах и в меховой рубашке, с непокрытой черной, как вороново крыло, головой. У него крупный лоб, широкий и плоский нос, широкие скулы, острые глаза, серьга в ухе и твердое, решительное выражение лица. Он в щегольской юбке из нерпичьих шкур. Его волосы длинные и тщательно зачесаны назад.

— Дмитрий! — улыбаясь, воскликнул он, обнял Орлова и поцеловал в обе щеки.

Дмитрий Иванович точно так же поцеловал его.

Орлов в прошлом году приезжал па Коль в поисках Невельского и гостил у Позя. Этот гиляк был знаменитым человеком. Он единственный из гиляков, свободно разговаривающий по-русски. Несколько лет тому назад он служил проводником в русской экспедиции академика Миддендорфа, который в своих записках назвал Позя «гениальным выродком из своего племени», — так поразила тот ученого своей сметливостью, способностями и отвагой. Его имя академик Миддендорф переделал на немецкий лад, и с тех пор русские его звали Позвейном.

Дмитрий Иванович еще в прошлом году сдружился с ним.

Хозяева и гости пошли в юрту. Тонкие бревна ее внутри черны от сажи и блестят. Юрта довольно обширна. Она разделена надвое. В передней части — на низких столбах — кормушки для собак, которых тут множество.

— Хорошо, что мы тебя застали! — сказал Орлов.

— Только вершулся! — отвечал Позь.

— Откуда?

— С Карафту... Сахалин, по-вашему... Опять туда ездил.

Позь вел торговые дела всюду. Он бывал у японцев на Южном Сахалине, у маньчжуров и гольдов на Амурсе, постоянно совершал целые путешествия зимой на нартах, а летом на лодках. Он мог проехать огромные расстояния, чтобы сменить несколько десятков орлиных хвостов или сотню соборей на шелковые халаты, водку, крупы. Он знал край, умел грамотно начертить на бумаге направление гор, реки, фарватер.

Орлов еще в прошлом году решил, что Позя надо непременно познакомить с Невельским. Дмитрий Иванович рассказал о цели своего приезда. Гиляк сразу же согласился помочь.

— Ты немножко поживешь у нас, — сказал Позь, — будет медвежий праздник... Медведя играем, маленько отдыхай... Олени пусть кормятся... я велю девкам перегнать их на хороший ягельник... Мы поедем на моих собаках до Иски. Ты знаешь, где Иски? Это то место, где в прошлом году было судно, которое ты искал. Оттуда поедем на Пронгэ. Там лиман и река близко. Оттуда еще дальше поедем. На Иски найдем нужных людей.

Орлов принял из рук жены Позя чашку брусники, залитую горячим жиром, и с наслаждением стал есть.

Он поражался, слушая хозяина: тот сразу входил во все его дела.

Лохматые, сумрачные гиляки сидели на корточках вокруг Орлова и пристально к нему приглядывались.

— А где капитан? — спросил Позь.

— Какой капитан?

— Которое судно к нам приходило, — где? Оно еще придет?

Позь сказал, что в прошлом году был в отъезде и не видел капитана, когда приходило судно.

Орлов не ожидал такого вопроса и оказался в затруднительном положении. Гилякам можно обещать лишь то, что обязательно выполнимо, а ручаться за Невельского ведь трудно. Завойко выказывал неверие во все его замыслы. «Однако отступить не смею. Риск есть риск».

— Как же! Капитан обязательно придет, — спокойно сказал Орлов.

Позь осторожно расспросил Орлова, что собираются тут делать русские, останутся или уйдут, и добавил, что, по слухам, которые дошли до него с Иски от тамошних гиляков, капитан говорил, будто вернется обязательно, русские прогонят маньчжуров, если те явятся грабить и поставят тут сильную охрану.

Орлов тут же подтвердил Позю, что все это чистая правда, и добавил, что так и должно быть, если не случится какого-нибудь несчастья.

— У меня есть на Иски один знакомый, — продолжал Позь. — Он не гиляк, а гольд, родом с Амура. Он тебе как раз пригодится... Мы к нему заедем.

Афоня достал товары из тюков. Началась меновая.

Позь сначала выложил плохие товары. Он пристал к Орлову, чтобы тот дал ему спирта за бумажный цветок, привезенный от японцев.

— Зачем мне бумажный цветок? — тревожно глянув из-под своих толстых черных бровей, спросил Орлов.

Он знал, что дружба дружбой, а гиляк, видно, хочет его околпачить. Он знал слабость Позя, тот до смерти любил поторгашить.

— Меняйся! — шепнул Афоня. — Бери!

Орлов подумал, что Афоне, видно, выпить хочется и что тут, если недосмотришь, оберут... Он рассмеялся и сказал, что все же за такую дрянь ничего не даст.

Позь пытался уверить его, что за такие красивые вещи, как этот цветок, японцы требуют соболя или выдру. Видя, что Дмитрий понимает его хитрость, он показал хорошие товары, привезенные от японцев: котлы, лакированную посуду, фарфоровые чашки, халаты. Оказалось, что он прекрасно знал цену на все эти товары.

— А ты нынче веселей,— сказал Позь.— Прошлый год приезжал, у тебя глаза не такие были. Наши люди любят, когда купец с веселыми глазами ездит. Тебе, однако, нынче удача будет... А как ты живешь в Аяне? У тебя юрта не такая, как у нас? Я сам русские дома не видел, а слышал, что у вас дым в дыру не идет, печка не такая, крыша тоже другая и пол гладенький, сучок не цепляется. Я хочу к тебе приехать когда-нибудь.

— Рад буду,— отвечал Орлов.— Блины ел?

— Слышал только.

— Блинами угощу...

Позь не забывал родину своего отца и часто бывал на охотском берегу у тунгусов, но еще никогда не доходил до Аяна.

Позь стал рассказывать, как ездил на Карафту, у богатого японца купил картинки. Он тут же показал их. На них нарисованы голые японки.

— И еще картинку видел... Дома нарисованы, целый город на горе, из горы — дым.

Живя у Позя, Орлов окончательно выздоровел. Гиляки справляли медвежий праздник, и Дмитрий Иванович, взявшись с ними за руки, танцевал вокруг медведя. Потом зверя убили, освежевали и, по старому обычаю, мясо его и шкуру втащили в юрту не через дверь, а через дымовое отверстие в потолке.

Через неделю Позь, Афоня и Орлов двинулись на собаках в путь. Позю обещана была хорошая плата товарами, и часть ее он получил вперед. Начались места, в которых Орлов еще никогда не бывал. По слухам, сюда иногда доходили маньчжуры.

Перед отъездом Орлов слышал, что Невельского вызвали в Петербург. Как он успеет обернуться? Явится ли вовремя? Если в июле или в августе не придет судно, то нынешний год пропал. Тогда только на будущий год возможно высадить десант. А Завойко едет на Камчатку, ему некогда будет этим заниматься. А что я один буду

делать, без десанта?.. Вот я и буду ждать теперь всю весну и все лето.

На этот случай Орлову приказано было оставаться в устье до тех пор, пока река вновь не покроется льдом.

«Легко сказать!»

Среди моря залегла высокая песчаная коса. Вершина ее заросла кедровым стланцем. Сейчас и заросли и коса завалены снегом и кажутся огромным белым валом. За косой, у замерзшего залива, приютилось стойбище Иски — несколько бревенчатых юрт. Снег замел их до крыш. Тут уж настоящая гияльская земля. Дальше, как знает Орлов, начинается лиман. Залив Иски в прошлом году Невельской назвал заливом Счастья.

Орлов видел его карту, когда встретил «Байкал» в море, идя на байдарке с Афоней.

У Позя на Иски — друзья и родственники. У одного из них, коренастого крепкого гияляка, и остановились. Хозяина звали Питкен.

С Орловым за руку поздоровался другой гияляк — молодой, красивый парень невысокого роста. Войдя в юрту, гияляк скинул с плеч своих белую накидку и маленькую шапочку, которая на макушке украшена была соболиным хвостом.

У него ясные и острые глаза, горбатый нос, голова с покатым лбом. Передняя половина головы выбрита дочиста, а остальные волосы длинные, расчесаны и заплетены в косичку.

— Вот это тот парень, про которого я тебе говорил, — сказал Позь, — его зовут Чумбока. Он убежал из своих родных мест!

Орлов объяснил гиялякам, что весной на Иски придет судно. Он показал половинку от дубовой доски, потом орла на русской монете и объяснил, что на доске вырезана эта же птица о двух головах, но потом доску раскололи пополам. Одну половину оставили в Аяне, и ее привезут с собой русские, которые придут в Иски на корабле. А другую половину он привез сюда сам...

— Когда корабль придет, то вы спросите, есть ли доска или нет. Если есть, то сложите обе половинки, и получится вот эта птица. Тогда примите этих людей, как своих. Бояться не надо, они хорошие люди. Это чтобы вы знали, что они русские.

— А когда корабль без доски придет,— добавил от себя Позь,— ничего тем людям не показывайте и про нас не говорите.

Все гиляки закивали головами. Они знали Позя, верили ему. Тот роздал искийским гилякам подарки: русские ножи, топоры.

— Я русских знаю! — сказал Чумбока.

— Откуда знаешь? — спросил Орлов.

— Я из-за вашего ружья поплатился.

Орлов никак не мог понять, что это за история произошла, переводчики не могли перевести толком, а Чумбока смотрел с видом несколько виноватым.

Чумбока был очень рад приезду Орлова. Еще в прошлом году он был на «Байкале», слышал, что русские опять приедут, запасался оружием, сшил хорошую одежду, но не гольдскую, а гиляцкую. Он надеялся вместе с русскими вернуться летом в родные края и отомстить там своим врагам.

Ему хотелось поговорить с Орловым.

— А ты на Амур пойдешь? — спросил он, выбрав миг, когда другие гиляки умолкли...

— Нет, пока еще не пойду...

Чумбока не ожидал такого ответа и опечалился.

— А капитан сюда придет? — ревниво спросил у Орлова толстый Момзгун.

Орлов сам бы рад был, если бы кто-нибудь ему сказал, приедет капитан или нет... Его теперь только растреивали новости, о которых он узнал еще перед выездом из Аяна. Капитан мог, конечно, задержаться... Оказалось, что тут, на Иски, Невельской в прошлом году перезнакомился чуть ли не со всеми гиляками и всем будто бы наобещал, что обязательно вернется, чтобы они не боялись разбойников китобоев. Хозяин сказал, что ходил с капитаном к Южному проливу. Орлов вспомнил: Невельскому не верили, что Южный пролив существует. А тут об этом говорили все запросто, никому в голову, конечно, не приходило удивляться. Питкен рассказал, как капитан жалел людей, как все русские обрадовались, когда нашли пролив, стреляли в воздух...

— А как зовут капитана? — спросил Чумбока.

— Невельской...

— Невельской! — отчетливо и с восторгом повторил Чумбока.

О капитане в этот вечер было много разговоров.

Орлов понял, что здешние гиляки надеются на капитана, как на каменную гору. Они приписывали Невельскому разные геройства, которых тот никогда не совершал.

Все это сильно заботило Орлова: он чувствовал, что они ждут бог весть чего. Он догадался, что многие из них и не видели его в глаза, а, наслушавшись всякого вранья, приписывали ему свои выдумки...

Орлов решил, что уж если обнадеживать гиляков, то как следует. А то никакой поддержки от них не будет. Они даром помогать не возьмутся... Семь бед — один ответ. Если все будет благополучно, то, бог даст, расхлебаем. И Орлов сказал, что Невельской на Амур пойдет и тут будет всех охранять.

— А далеко он пойдет? — спросил Чумбока.

— Далеко ли — не знаю!

— К нам не пойдет?

— Он ведь не знает, где вы.

— Верно! Он скоро придет?

— Летом...

И чем дальше шел разговор, тем больше чувствовал Орлов, что ухо надо держать востро, но действовать смело, что отвечать можно только так. Если тут попытаться обойтись полумерами — все провалится. И он понял, как прав был капитан, когда он ссорился со всеми, требуя, чтобы непременно в будущем году ему разрешили пойти сюда с десантом, а Камчатку пока оставить.

И почувствовал Орлов, что волнуется, что сам рад за гиляков.

— А маньчжуров русские прогонят?

— Когда мы здесь жить будем, тогда уж их не надо!

— Слушай, Дмитрий, — заговорил Чумбока, — а здесь дом будешь строить?

Час от часу становилось трудней отвечать на вопросы...

Орлова угощали любимым гиляцким кушаньем: смесью тюленьего жира с давленной брусникой. Только кто сам ел мось после тяжелого и голодного пути по морозу, тот знает, какое это прекрасное кушанье. Тут и жир, и разная приправа, и ягода — все, что нужно для здоровья. Орлов достал спирт, и мось стала еще вкусней.

«Веселая компания», — подумал Дмитрий Иванович, глядя на оживившихся исайцев.

А разговор опять про капитана.

— Я менял собак, и мне за хорошую собаку дали плохую,— приставал Момзгун,— не может ли капитан помочь?

— А он лечит?

— А не знает ли он, когда лучше бить нерп? Вот мы давно спорим...

Орлов отвечал, что такие дела капитана не касаются, что лечить он не может, но что человек он справедливый, хотя в мелкие дела не станет путаться.

— Теперь мы товарищи с тобой! — хлопнув Орлова по плечу, сказал Чумбока.— Теперь ты поезжай смело, мы тебя в обиду не дадим. Мы с тобой теперь союзники... Вот у нас что есть.— И он вынул из-за пояса нож.— Но знаешь, не всегда союзники хороши.

Все стихли.

— У одного старика был товарищем медведь.

Гиляки слушали со вниманием.

— И еще один товарищ был... лиса!

Все заулыбались.

Чумбока стал рассказывать сказку о том, как один охотник доверился медведю и лисе. Сначала его хотел съесть медведь, которого старик попросил помочь наловить рыбу.

— Медведь сказал: «Иди в лес, нарви соломы, я тебя кушать буду, на солому положу...» Старик пошел, стал резать ножом траву. Тогда пришла лиса и спрашивает: «Что, старичок, плачешь?» Старик отвечает, что его медведь хочет убить. Лисичка говорит: «Не бойся, беги скажи, что по твоему следу идут охотники. Тогда медведь спросит: «Куда мне спрятаться?» — а ты скажи: «В углу спрячься». А я пойду и спрошу: «Где медведь?» — а он подумает, что это охотники. А ты скажи, что медведя нет. А я потом спрошу: «Что, мол, это в углу такое?» Ты скажи, что это котел. А я скажу: «Ударь топором, чтобы звон был». Ты возьмешь топор, а медведь скажет: «Потише, потише». А ты ударь топором и убей, и вместе будем кушать...»

Чумбока рассказал, как старик напугал медведя и тот спрятался.

— Вот лиса бежит. «Старик, у тебя медведь?» — «Нету». — «Скажи нет», — медведь просит. «Нету...» — «А что там в углу черное?» — «Это я котел перевер-

нул». — «Ударь, если котел, — пусть зазвенит». Старик ударил топором и убил медведя. Забежала лиса. Они стали медвежье мясо варить. Вот лиса говорит: «Давай я в люльку лягу, а ты мне будешь в рот толкать мясо, а я буду кушать». Они так сделали. Старик лису привязал и накормил, а потом говорит: «Ну, хватит». Потом лиса старика привязала. Немножко покормила, а потом перестала кормить. Старик спрашивает: «Почему меня не кормишь?» — а лиса молчит и все кушает сама. Наконец все съела и сама залезла на старика, напачкала и убежала в лес. Вот какие союзники бывают! — заключил Чумбока при общем хохоте. — Вот у тебя, — обратился он к Орлову, — тоже будет два союзника — гиляк и гольд... Но не такие, как медведь и лиса...

Все долго смеялись и хвалили Чумбоку.

Утром Питкен пришел с моря радостный.

— Уже рыба есть! Погода меняется... Зима кончилась.

В этот день пустились в путь на лодках, подбитых полозьями. Их тянули собаки. Огромные полыньи стояли на льду. Афоня, Позь, Чумбока и Орлов гнали собак, иногда сами бежали рядом с упряжками...

— Скорей! Скорей! — кричали по-тунгусски, по-гиляцки и по-гольдски.

Ночевали на острове Лангр у гиляков. Орлов заслушался рассказов про грабежи, которые устраивают на Амуре купцы-маньчжуры, как уводят они женщин и детей. Похоже было, что не ради вознаграждения стараются помочь ему и капитану его новые друзья.

На другую ночь в стойбище Пронгэ, под скалами материка, ночевали в одной юрте с приезжим маньчжурским купцом.

Это был еще не старый человек с крупным лицом и тяжелой нижней челюстью.

К удивлению Орлова, Позь, который всегда ругал маньчжуров, стал с ним обниматься и целоваться, они всю ночь играли в карты, пили китайскую водку...

А когда на другой день поехали дальше, Позь сказал:

— Это худой человек... И я его шибко на мене обманул. Наврал, что товар хороший, а дал плохой.

— Зачем же?

Позь сказал, что купцы сами честно никогда не торгуют.

— Точно делаю, как они... Не придерешься! Они сами меня научили! Так всегда бывает с теми, кто сам обманывает.

— А что будет, если они узнают и станут тебе мстить за то, что ты их обманул?

Позь показал на нож, висевший у пояса.

Потом Позь рассказывал о том, что на Амуре есть разные народы: люди с бритым лбом и с двумя косами.

На остановке Афоня принес осетра.

— Рыбу видал? — спросил он Орлова. — Глаза уже живой! Уже не помирался! Уже дышит! Лед расходуется, хорошо!

— Гуси скоро полетят, — говорил Позь, — их худая погода держит.

— А как хорошая погода будет, гуси сразу приедут, — подтвердил Афоня, пластая пожом рыбину.

— Скоро будут! Туман подымается — ветер будет. Туман на низ пойдет — тогда ветра не будет.

Вдали за огромной площадью льдов, залитых водой, виднелся хребет, а из него поднялась большая гора. Она так далеко, что кажется прозрачной. Ветер налетел, казалось, упал с той горы прямо на середину лимана, на широкие воды, залившие весь лед огромным голубым озером. Синие пятна побежали по воде, голубые лучи разбежались по лиману во все стороны.

— Погода теплая, — говорил Афоня, — гуси скоро доедут!

Наступала весна...

КНИГА ВТОРАЯ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СНОВА В МОРЕ

Я вижу: вздымая хребты,
Чернеясь, как моря курганы,
Резвятся гиганты киты,
Высоко пуская фонтаны.
Предчувствуя славный улов,
Накрываясь до рей над волнами,
Трехмачтовый бриг-китолов
Под всеми летит парусами.

Омулевский (И. Федоров)

Глава первая

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

— Все кончено! — сказал Невельской, когда Иркутск скрылся за деревьями. — Поверь, Миша, я не сожалею!

«Он утешает себя, — подумал Корсаков. — Как он любит, вот действительно человек умеет любить!»

— Но Ахтэ я никогда не прощу, — сказал Миша, приподнимая лицо из мехового воротника.

— Ты его не образумишь. Подлец подлецом и останется!

— Я так и сказал, что оставляю за собой право потребовать сатисфакции.

— Вызови на дуэль подлеца, а удар придется по Николай Николаевичу.

Кони побежали быстрей. Ямщик в рыже-белой дохе поднял локти, натягивая вожжи.

Невельской все время помнил Екатерину Ивановну. Чувство горькой обиды не покидало его. Рухнуло все, на что он надеялся. Она любит другого! Ну пусть, пусть пляшет с Пехтерем! Как он жестоко ошибся!

Один Миша оказался истинным другом, не оставил в беде, закатил скандал Струве, резко разошелся с Ахтэ

и со всей компанией, рискуя ради дружбы даже своим положением.

Выехали из Иркутска с таким опозданием, что теперь трудно добираться. Давно бы надо оставить город.

После приезда из Петербурга Невельской сделал предложение племяннице Зарина. Сначала он пытался объяснить с Екатериной Ивановной. Та почему-то сильно смутилась. Геннадий Иванович обратился к Варваре Григорьевне и получил отказ. Екатерина Ивановна стала избегать его.

Миша, посвященный во все еще в Петербурге, попытался переговорить с Варварой Григорьевной, но та держалась как-то странно, толком ничего не сказала. Миша полагал, что нельзя сдаваться, и составил план новой «атаки». Решили говорить с Владимиром Николаевичем, надеясь, что Катя по-прежнему любит Геннадия Ивановича, но что все портит тетка.

Поехали к Зариным, чтобы объяснить. Сначала беседовали все вместе, потом Невельской и Владимир Николаевич — в кабинете. Зарин был любезен, но как только капитан попросил открыть причину отказа, воздвиг такую стену, через которую Невельской долго не мог проникнуть. Наконец он услышал, что Катя любит другого. Миша тем временем продолжал беседу с Варварой Григорьевной. Убедившись в полном провале, он не стал дожидаться Невельского и уехал — надо было спешить к Николаю Николаевичу. Кроме Екатерины Николаевны, он был единственный, кого допускали к больному.

Невельской проклинал себя. Отказ был полнейший. Когда вышел от Зариных, понял, что все кончилось. Стало горько на душе. Он жалел Екатерину Ивановну и себя жалел, что гибли самые светлые и радостные надежды... Мгновениями являлось озлобление против всего на свете.

Пришел домой, встретился со Струве, сказал, что удивлен, как можно было не предупредить, если она любит Пехтера и была помолвлена.

Наступала весна. В дороге ничего не было собрано. Надеялись, что на Лене лед еще крепок и в Охотском крае холода продержатся.

Геннадий Иванович и Миша задержались еще на несколько дней.

Губернатор был плох. У него сильнейшие боли в печени, свота. Ему пускали кровь.

В городе среди чиновников шли слухи, что служебное положение Муравьева непрочно.

Екатерина Николаевна, узнав от Миши об отказе, поехала к Зариным, но, возвратившись, сказала Корсакову, что тут нельзя ничего поделать: Катя любит Пехтера.

Владимир Николаевич, кажется, полагал, что Муравьевы намерены повлиять на Катю, и занял твердую позицию, желая не дать в обиду племянницу, хотя Невельской ему еще недавно нравился.

Муравьев, узнав об отказе Невельскому, готов был видеть в этом интригу, которой Зарины поддались.

Свою болезнь губернатор объяснял неприятностями. Прежде пил, ел жирное, острое, и чего только не ел! Не знал, в каком боку печень. И вот организм дрогнул.

— Это не печень, это процесс Петрашевского,— говорил он.

— Пройдет процесс, пройдет и печень! — отвечал ему на это большой шутник доктор Персин.— Но лечить надо. И лучше с эскулапом, чем с красным воротником!

Как только Муравьеву стало полегче, он пожелал видеть Геннадия Ивановича.

Невельской сказал, что ничего не готово к поездке, и просил разрешения у губернатора задержаться в Иркутске еще на несколько дней.

Муравьев поморщился не то от боли, не то от этой просьбы...

И вот весна, распутица, тяжелейшая дорога. Теперь приходится расплачиваться за каждый лишний день, проведенный в Иркутске.

Солнце томило. Сани пришлось сменить на телегу. Невельской и Корсаков ехали, сняв шубы. Всюду цвела верба, набухали почки. На дороге — лужи и глубокая грязь.

В вербное воскресенье у деревни Качуг увидели долгожданную Лену. Она лежала сплошной лентой, но за береги уже выступили.

Ямщик уверял, что в Якутске еще зима и чем ниже, тем лучше будет дорога. На станции подали сани для вещей и верховых коней для обоих офицеров.

Дорога по берегу чем дальше, тем хуже. Местами приходилось переезжать целое море грязи. Ночью ехали в санях. Утром Невельской задумал ехать по реке.

— Мне кажется, лед посредине крепок, — сказал он.

— Ты рискуешь...

— Двум смертям не бывать... Если погибну, туда и дорога. Но скорей всего со мной ничего не станется... Эй, борода! — спросил он ямщика. — Сможем ли переправиться через забереги?

— Рисково, п[а]ря барин!

— Попробуем!

Ямщик обернулся опасливо.

— Едем по льду! Мне эта проклятая ваша езда в санях по грязи осточертела. Сворачивай, два рубля на водку! Чтобы не трусил!

— Мы не трусим! — с обидой сказал ямщик.

Невельской сел верхом на отпряженную пристяжную. Кони осторожно вошли в воду. Под ней был лед. Ямщик сидел на кореннике. На запасной лошади навьючены вещи.

Посредине реки еще цела была накатанная зимняя дорога со всеми вешками. Невельской спешил. Коня подпрягли к кореннику, и сани помчались.

День и ночь ехали по льду и, кроме прибрежных скал в снегу, ничего не видели, да и смотреть ни на что не хотелось. В одном только месте, где Лена узко сжата крутыми утесами, капитан ненадолго высунул голову из воротника.

День и ночь стояла мгла, иногда и берегов не видно — вокруг лед в снегу, едешь как по ледяной пустыне.

Днем моросило. Ночью пошел дождь. Сугробы стали шербатыми.

— Хорошо, что Меглинский вперед поехал и отдаст в Якутске приказание приготовить нам лошадей, а то по такой дороге в порты нам с тобой не поспеть, — говорил капитан.

— А ты помнишь, что сегодня страстная суббота?

Невельской вспомнил мать, к которой заезжал в Кинешму по дороге из Петербурга, вспомнил, как говорил ей, что любит прекрасную девушку, намерен свататься, и мать благословила.

В ночь ударил мороз, пошел снег и завывла вьюга.

Офицеры спали в плетеном коробе на сене, прижавшись друг к другу. Разговлялись на станции ночью, христосовались с крестьянами, ребятам роздали подарки, ямщикам по полтине.

До следующей станции еле дотащились, кони выбились из сил. Невельской с Мишей дошли пешком.

Дальше дорога стала лучше. За сутки в морозной мгле промчались по льду около двухсот семидесяти верст.

Утром на станции гостям накрыли стол две красивые девушки в праздничных нарядах — дочери смотрителя.

— Какие милые девицы! — шепнул капитан.

Миша присматривался сонно. Белое юношеское лицо его было хмурым.

У старшей черты лица приятны: прямой нос, маленькие припухлые губы, густые темные брови. Она смущалась, но потом разговорилась, оставила свою застенчивость, прислуживала за столом и, глядя на капитана, все время улыбалась.

Невельской спросил, как тут живет. Девушка сказала, что никогда еще не бывала в Якутске и не видела города.

Офицеры предложили девушкам выпить, те согласились и, стоя, опорожнили по рюмке. Между тем кони были перепряжены. Капитан все разговаривал. Пельмени его убывали медленно. Миша ел с жадностью.

Наконец поднялись, стали расплачиваться. Невельской дал девушке пять рублей. Та поклонилась.

«Что он, с ума сошел, такими деньгами кидаться!» — подумал Корсаков выходя.

— Скоро обратно поедem! — ласково сказал Невельской красавице.

— Милости просим! — кланяясь, ответили грудными голосами обе девицы.

— Прелесть что за красотки! — сказал Невельской, когда опять покатили. — Белые, глаза, брат, репой! Как этот Гоголь пишет, что теперь таких только в захолустьях встретишь...

Он, кажется, успокоился, и Миша подумал, что очень хорошо, если так. Вскоре Невельской уснул сладко, как человек, начинающий выздоравливать.

Ночью похолодало. Капитан очнулся. Полозья саней скрипели, как в сильный мороз. Отлично видны были огромные скалы на берегах, черный лес на вершинах,

облака, звезды. Невельской вдруг вспомнил все происшедшее в Иркутске, Екатерину Ивановну, ее когда-то ласковое обращение, полное сочувствия его замыслам, а потом эта ужасная внезапная перемена, ее холодность и смущение при встречах; вспомнил Варвару Григорьевну, свое недоумение и недогадливость, неожиданный отказ, позорный разговор с Владимиром Николаевичем, свою боль, обиду, ссоры, задержку, всю путаницу со сборами, насмешливые взоры окружающих... Он почувствовал, что задыхается от горечи, выскочил из саней и побежал за мчавшейся упряжкой.

— Как ты не устаешь, Геннадий? Разве можно так бежать! — услышал он через некоторое время голос Миши.

На морозном ветру бежалось легко, Невельской не чувствовал ни валенок, ни тяжелой одежды, тело постепенно согревалось. Он бежал и бежал, ощущая прилив сил, свою молодость, стараясь не думать о том ужасном, что стряслось с ним в Иркутске. Потом завалился в сани и велел ямщику гнать.

«Да, он умеет любить, — думал Миша. — Счастлива будет та, на которой он женится!»

Миша вспомнил, что у сестры Веры, которая живет с папенькой и маменькой в Тарусе под Москвой, нет жениха и это заботит всю семью. Как хорошо, если бы Невельской на ней женился! Лучший друг стал бы мужем сестры... Миша решил написать об этом домой и братцу в Питер, посоветоваться. Папенька и маменька, верно, будут очень довольны...

Глава вторая

«РАСПЕКАНЦИЯ»

В восемь часов вечера солнце еще не заходило, и видны были главы якутских церквей. У заставы на дрожках, в сопровождении двух конных казаков, офицеров встретил городничий, рослый, седоусый старик, одетый не по-зимнему — в шинели и фуражке.

Невельской стал расспрашивать о дальнейшем пути, готовы ли кони, какова дорога на Аян, идут ли грузы

для Амурской экспедиции и для Камчатки и что делает областной начальник Фролов.

Хотя городничий от некоторых ответов уклонялся, но можно было догадаться, что дела из рук вон плохи.

— Позвольте, я сейчас же еду к Фролову! — сказал капитан.

Городничий предложил свои дрожки, сказал, что сочтет за честь, и Невельской на рысаке помчался в город.

Когда Миша и городничий приехали к областному, там уже шла перепалка.

— Вот, возьмите с него, — сказал Невельской, беспремонно показывая на краснолицего коренастого Фролова, — коней нет, и грузы стоят на месте!

— Позвольте, Геннадий Иванович, я вам не сказал, что стоят-с... Я сказал, что распутица и нет возможности собрать коней в требуемом количестве.

— Что значит «в требуемом количестве»? Значит, коней нет!

— Что же я могу поделывать! Судите сами, я посылаю распоряжение, а якуты угоняют лошадей в горы.

— Но есть у них кони? Или они передохли? Почему вы дотянули до распутицы? Разве не следовало выехать самому, и разослать чиновников по тракту, и позаботиться во-вре-мя! Все должно быть на месте, в портах! — Капитан повернулся к Корсакову. — Вот мы с тобой должны расхлебывать всю эту кашу... Вы прекрасно знаете, — снова подходя к Фролову, сказал он, стараясь быть спокойным, — на Камчатке жизнь сотен людей будет зависеть от того, доставите вы грузы или нет...

Фролов глянул из-под бровей зло и хищно.

— Зная, что люди будут умирать с голоду, я бы на вашем месте ни минуты не посмел сидеть в Якутске! — раздражаясь, сказал Невельской.

— Геннадий Иванович! Вы не знаете, что за народ якутские старшины, — меняя тон, и стараясь быть любезным, и делая вид, что не замечает упреков и повышенного тона Невельского, сказал Фролов. — Вот поживете у нас, так узнаете... Да отдохните сначала. Геннадий Иванович и Михаил Семенович, вас все ждут, все желают вас к себе. Хорошо время проведете у нас на праздниках. А мы тем временем приготовим лучших лошадей.

— Я говорю с вами о деле и полагаю, что такие рассуждения неуместны, — холодно сказал капитан. —

Я официально прошу вас именем генерал-губернатора немедленно представить мне полную картину движения грузов.

Фролов опять глянул зло.

— Да имейте в виду, — продолжал капитан, — что завтра же мы с Михаил Семенычем выедем на тракт, чтобы проверить все, что вы нам представите. Мы желаем сами во всем убедиться, пока не поздно. Генерал дал нам предписание принимать любые меры, действовать, как мы найдем нужным, исходя из обстоятельств.

— Как же вы поедете, когда нет дороги и нет коней? Да я и не смогу вас отправить.

Оказалось, что у Фролова к отъезду офицеров ничего не приготовлено. Дело не только в лошадях: нет ни одежды, ни проводников. Что было — забрал проехавший за несколько дней перед этим горный инженер Меглинский.

Муравьев отдал Меглинскому приказание начать работы в горах на вновь открытом богатом месторождении и намыт там за лето пуд золота. Про пуд этот губернатор никому, кроме Перовского, решил отчета не давать. Все это для будущей Амурской экспедиции. Губернатор идет на риск, а Фролов ничего не мог приготовить!

«Оставить нас без коней, без одежды и проводников! — подумал капитан. — И грузы стоят... Да ведь это черт знает что! Он хочет, чтобы пожил в Якутске и поплясали на балах... Что же мы, в балаган явились? Привык к развращенным чиновникам, которые за пляской с хорошенькой дамой да за кутежом позабудут все...» Мысль о танцах вдруг разъярила капитана.

А Фролов смотрел хитро, лицо его приняло льстивое выражение.

— Вам была бумага, где ясно все сказано, — сказал Невельской. — Вы знаете суть возложенного на вас поручения? Как же смели вы пренебречь своей обязанностью?

У него мелькнула мысль, что Фролов, как и все они тут, может быть, еще не верит в открытия на Амуре.

— Позвольте, однако... — обиделся Фролов.

— Оставить нас без средств к исполнению долга! Как вы смели?

— Как вы сказали? — обиженно отозвался Фролов.

— Молчать! — крикнул Невельской так, что вздрог-

нули находившиеся в комнате городничий и исправник.— У вас все в развале! Это равно измене!

— Позвольте, позвольте...

— Под суд пойдете!

Корсаков, краснея, вмешался в разговор.

— Требования Геннадия Ивановича вполне справедливы!

— Как вы смеете мне в глаза смотреть после этого? Как смеете, я спрашиваю? — Невельской ударил кулаком по столу.

Он был сильно возбужден, Миша еще не видал его таким.

«Все прорвалось! — подумал он, втайне радуясь, что Невельской закатил такую распеканцию бездельнику Фролову.— Областной действительно поступил гадко. Как можно было нам ничего не приготовить!»

Фролов полагал, что этакую уйму грузов сразу не перевезти, лошадей всех заготовить невозможно, что это дело нескольких лет, а не одного года, как желает Муравьев. Несколько сот лошадей с грузами двигались по тракту. Конечно, лошадей не хватает, во многих пунктах грузы лежат, но Фролов все же помнил про это.

Невельской изругал городничего и исправника. Как человек чуткий и дальновидный, он сразу уловил во всех здешних чиновниках тот же дух самодовольства, что и у Фролова. «Сознают, что в их руках все средства, что без них тут шагу не ступишь!»

— Вешать надо! — сказал он спокойно, подходя к Мише.

Фролов, было притихший, на этот раз не выдержал.

— Как изволили сказать? За что? Я верой и правдой... — закричал он.— Никогда за всю службу... ни от кого...

Слезы навернулись у него на глазах.

— Мол-чать! — накинулся на него Невельской.— Вам нет иного названия за все, что вы допустили! Помните! Вы подлец!

Миша ужаснулся. Такого скандала он не ожидал.

Фролов помертвел и зашатался. Городничий поддержал его.

«Вот ему подарок на пасху!» — в горе подумала жена Фролова, подслушивавшая у двери.

Едва вывели областного, как исправник, толстый и на вид неуклюжий человек, стал уверять, что сейчас перевернет весь Якутск, что кони будут как из-под земли, что тотчас же закажет шить одежду и длинные болотные бродни, достанет наилучшие седла.

Утром чуть свет приехал городничий, привез Невельскому кожаный костюм для верховой езды. Он сказал, что Фролов отошел, с ним лучше, но сегодня еще болен. Городничий хитро улыбался.

— Бродней нет. Мечусь, мечусь, но пока еще не достал... Но все будет...

Городничий уехал.

Миша еще вчера уговаривал Невельского, что с Фроловым надо помириться, извиниться, быть может. Сегодня он опять помянул об этом.

— Я знаю, что говорю, Миша. Надо повесить подлеца, и извиняться к нему не пойду, пусть знает. Я их всех бы перевешал своей рукой. Я знаю, какой несу крест добровольно, на что иду, а они, подлецы, свои обязанности не могут исполнить! Что это за приглашение остаться в Якутске поплясать? Да я и государю, и военному суду скажу, что он — подлец...

Все утро у офицеров толпились гости. Их приглашали во все дома. Вскоре опять приехал городничий, на этот раз с исправником, привезли длинные новые бродни, смазанные салом.

— Нашел! За четыре рубля серебром! — торжественно объявил городничий.

К вечеру квартира была завалена вещами. Люди, присланные городничим, укладывали все в тюки.

Миша днем ездил проведать больного Фролова и, вернувшись, сказал, что тот располагает множеством замечательных сведений об Амуре, что он совсем не плохой человек и, видно, хочет помириться.

Невельской поехал к областному с требованием немедленно дать распоряжение по всему тракту о срочном сборе лошадей.

Корсаков сопровождал его. Он удивлялся в душе, как Невельской заботится о переносе охотского порта на Камчатку, как входит во все подробности. «А ведь был против Камчатки!..»

Фролов принял Невельского холодно.

— Как же нам говорить с вами, ваше высокоблагородие, если вы оскорбляете? — сказал он неприязненно.

— Кто из нас прав, а кто виноват — разберет губернатор, — заявил Невельской. — А сейчас я призываю вас исполнить долг и отбросить личные обиды. Под предлогом ссоры между нами мы не можем уклоняться от исполнения своих обязанностей.

«Экая пьявка!» — думал областной. Он приказал написать распоряжение и послать его с курьером.

— Это люди без долга и чести, — сказал, выйдя от него, капитан.

Наутро Невельской и Корсаков встали в четыре часа, написали письма генералу и родным в Россию. Конюхи были поданы. Проводить отъезжающих явились чиновники. Приехал и Фролов. Невельской не подал ему руки, сдержанно поклонился.

Фролов очень беспокоился за своего родственника, приказчика Березина, который вел караван в Аян. Невельской догонит его в тайге на тракте. Что там будет? Как он накинется на Березина и сорвет на нем зло? А Березин единственный человек, на которого можно положиться. Но как втолкуешь это Невельскому? Фролов и боялся капитана, и рад был бы замять происшедшую ссору, и не мог решить, как поступить, писать ли жалобу. Подозревал, не нарочно ли сказаны Невельским оскорбления. Он ведь друг генерала!

Вечером, в двухстах верстах от Якутска, на станции, которая находилась в юрте, крытой дерном, Невельской сказал Мише, показывая на молодую полную якутку, выносившую ведро с молоком:

— Смотри какова! Глаза черные и разрез как у чилийской красавицы. А формы?

— Не в моем вкусе...

— Посмотри, сколько в ней живости, женственности, при ее полноте. Какая свежесть!

Над тайгой летели караваны гусей и лебедей.

А еще через неделю в глухой и по-весеннему голой тайге Корсаков и Невельской прощались, стоя среди кочек, там, где тропа двоилась. Правая — аянская — шла прямо в воду, в болото, и, как говорили якуты, надо было ехать десять верст по воде. Левая шла в горы, но за ними — по слухам — тоже болота.

Корсаков ехал налево, в Охотск, наблюдать за перенесением порта, за движением грузов по охотской дороге. Невельской — на Аян.

Проводники попрощались и разъехались на вьючных лошадях. Один из якутов сидел на иноходце, ожидая капитана и держа в поводу его коня. Казак, спутник Корсакова, трусил за вьюками, ушедшими на Охотск.

— Налево пойдешь — коня потеряешь... — пошутил Миша.

— Направо пойдешь — голову потеряешь... — добавил Невельской.

Они постояли, глядя друг другу в глаза, и подали руки.

— Прощай, Миша, дорогой мой друг! Прощай, брат! — сказал Геннадий Иванович. — Один ты желал мне всегда добра!

Корсаков заморгал.

— Верь мне, кто полюбил в тридцать пять лет, тот никогда не разлюбит. Я люблю ее и не разлюблю никогда! Прощай!

Они обнялись и трижды крест-накрест крепко поцеловались.

Миша дал шпоры своему коню и стал догонять поехавшего вперед проводника.

Невельской сел в седло и тронул коня. Вскоре он въехал в болото и поднял ноги на седло. Лошади шли по брюхо в воде.

...Через потоки грязи, болота, тайгу, по рекам пробирался Невельской на Аян, проклиная новую компанейскую дорогу.

Не раз винил он себя, что зря обидел Фролова, что груб с людьми. Но на станциях опять кричал, требовал старшин, угрожал. Грузы всюду лежали, лошадей не было, люди, назначенные следить за транспортировкой, пьянствовали. День ото дня убеждался он, что все остановилось, никто ничего делать не хочет.

— Почему же нет коней? — спрашивал капитан на одной из станций.

— Нету... — отвечал горбоносый низкий якут, плотный и широкоплечий, родовой староста и местный богач, державший, по слухам, всю округу в кулаке.

— Где двести пятьдесят коней, которых ты обязан был выставить?

Якут молчал.

Другие якуты, собравшиеся тут же, с ненавистью смотрели на Невельского. Он налетел внезапно. Якуты были далеки от той цели, которой их обязывали служить. Они видели в Невельском только злого чиновника.

— Приготовить розги! — велел казакам Невельской.

Якут встревожился.

— Вашескородие, хороший господин... — заговорил он, а глаза его забегали.

— Ты староста? Ты должен был поставить коней? Так вот я тебя выпорю, и будешь знать... — сжимая кулак и поднося его к лицу старосты, грозно сказал капитан.

Пришли казаки с розгами. Явились понятые, двое стариков — один русский, другой якут.

— Мер-завец! — крикнул капитан на повалившегося в ноги старосту. — Будут кони или нет? Или запорю тебя, мерзавца...

Он схватил богача за ворот и тряхнул его.

— Будут, будут...

— Я вас выучу, что значит не исполнять приказание генерал-губернатора!

Невельской на всех станциях требовал собирать людей и распекал старост... Одна была у него надежда, что впереди идет Березин с караваном и грузы, нужные для Камчатки, доставит вовремя.

В десяти верстах от перевала через хребет сплошь лежал снег. Невельской измерял его глубину — в среднем было пять четвертей, но чем дальше, тем снег становился глубже. Кони выбивались из сил.

Невельской велел искать оленей, а сам расположился на компанейской станции, которая находилась в землянке. На плоской бревенчатой крыше ее — толстый слой снега, вокруг — ни единой постройки, только загон для лошадей и тот почти не виден из-за снега. Куда ни кинь взор — всюду снег и снег. Тут уж толщиной в сажень. Из сугробов торчат редкие лиственницы и тощие белые березы. Вдали за лесом сияет гребень хребта.

Якут-смотритель послал за оленями. Капитан велел делать себе широкие охотничьи лыжи.

Тут еще стояла зима.

— Никогда не бывало на нашей памяти, — говорил один из казаков, сопровождающих капитана, — чтобы в эту пору держались такие холода...

Василий Степанович Завойко готовился к лету, к переезду на Камчатку. Он был назначен на должность губернатора Камчатской области, надеялся, что со дня на день должен стать контр-адмиралом, и беспокоился, почему указ об этом не приходит.

Он с нетерпением ожидал вскрытия льда и прибытия судов, которые зимовали в Охотске и должны были перевозить людей и грузы из Аяна на Камчатку. Он чувствовал прилив сил и готов был к деятельности.

Поздняя и холодная весна связывала ему руки. Вдали море вскрылось давно, но у берегов широкой и крепкой полосой стоял лед и вся бухта была во льду, а на сопках и в тайге лежали глубокие снега. Завойко знал, что за хребтом страшная распутица, что на болотах сейчас утонешь в море грязи и что Березину нелегко пробиваться с караваном. Давно уже посланы якуты встречать Невельского.

Завойко уверен был, что Невельской запоздает к началу навигации и упустит время: чего доброго, провалит все — вот тогда, полагал он, Николай Николаевич и все высшие лица в Петербурге увидят, на кого они возложили надежды и что за человек Невельской! Как же можно поручать такое дело неопытному человеку, выдвинутому по протекции! Василий Степанович считал, что теперь дела лучше пошли бы без Невельского.

«Я сам бы все закончил на Амуре так же успешно, как начал. Там Орлов — мой человек, который доведет все до конца без треска и шума, получше Невельского. Орлов еще проверит все его открытия как следует. Все это дело начато Компанией и Компанией должно быть завершено. Так судит и дядюшка, и не может судить иначе. Я же сразу увидел Невельского, каков он! Поручили ему Амур! Ну вот, пусть и расхлебывает теперь! Лето на Амуре наступило, а его нет. Они еще поклонятся Завойко, который много лет печется об этом».

Василий Степанович сидел в магазине, разбирая свой запас гаванских сигар.

Нужно было четыре тысячи штук приготовить Михаилу Семеновичу Корсакову, тот просил для дяди, сенатора

Мордвинова, чтобы послать в Петербург, а еще нужно перед уходом на Камчатку отправить сигар дядюшке Фердинанду Петровичу и братцу Василию Егорычу, которым уже послана часть по осени и еще посылке зимой.

Прибыв на Охотское побережье, Завойко, как человек практичный, быстро понял, чем могут быть полезны китобои. Апельсины и бананы с Гаваев, кокосовые орехи, муку, консервы, разные вещи он получал от них. Но апельсины и бананы в Питер не пошлешь. А хорошие сигары, настоящие гаванские, любит покурить каждый najważнейший вельможа в столице, а при нынешних пошлинах таких сигар там не достанешь ни за какие деньги. У Завойко запас их не переводился.

Послышались колокольцы, и вскоре прибежал старик молоканин, живший в доме у Завойко, и сказал, что якуты приехали, Березин с караваном на подходе и, видно, завтра будет.

— Ну, слава богу! — сказал Завойко, поднимаясь с табуретки, перед которой двое компанейских приказчиков в меховых сюртуках, стоя на коленях, укладывали сигары.

— И этот... ну... приехал... как его... — продолжал старик, — Невельской!

— Что ж ты, старый дурень, молчишь! Полтавской галушкой подавился? Осел!

Завойко пошел в дом, переоделся в мундир и вошел в гостиную, где его ожидал капитан.

— Дорогой Геннадий Иванович, — широко улыбаясь и раскидывая руки, воскликнул Завойко, — как рад я вас видеть, как рад! Что же, думаю, не едет Геннадий Иванович! Ну как же, как же, наш дорогой, проехали вы, какие новости, как там его превосходительство Николай Николасвич?

— Вот уж могу сказать, что я проклял вашу дорогу, Василий Степанович, — полушутя ответил Невельской, слабо улыбаясь и остро глядя на Завойко снизу вверх уставшими, лихорадочно блестящими глазами. — Если бы не Березин, не знаю, как бы я добрался.

«Только приехал, не успел порога переступить, а уж колет глаза», — подумал Завойко.

— Вам, наверно, не понравилось, что грязно и через реки пришлось переправляться на плотках? Так то тайга, как же не быть воде, Геннадий Иванович!

Капитан стал ругать дорогу, реку Маю, сказал, что измерял фарватер, что он узок и извилист и буксирного парохода там завести нельзя. Потом сказал, что транспорты стоят, лошадей нет, подрядчики — мерзавцы, грузы не перевозят, а якутские чиновники бездельничают.

— Все запущено! Какая лень, бестолочь, пьянство! Вешать мало!

«Что он такой разъяренный приехал? — удивился Завойко. — В своем ли он уме? Как можно, войдя в дом, наводить такую критику и говорить такие слова!»

— Двенадцать тысяч пудов казенного провианта, назначенного на Камчатку, где-то в пути. На Алдан пришло три тысячи шестьсот пудов. Половина пойдет на лодках... Чтобы доставить остальной груз, надо еще две тысячи сто пятьдесят лошадей... Я послал нарочного в Якутск, чтобы выгоняли народ из селений на тракт!

Завойко не ожидал от Невельского таких забот о провианте для Камчатки. «Что он так беспокоится?»

— А от Амги до Май двести верст — сплошное болото. Сколько же времени пойдут транспорты? Дай бог, чтобы в августе прибыли в Аян!

Капитан ругал скопцов, живущих у тракта.

— Реки боятся! Тут нужны не скопцы, а чтобы потомство росло и привыкало к местным условиям.

Невельской совсем не хотел обидеть Завойко. Говорил он от души, делился тягостными впечатлениями и не сознавал, как больно ранит собеседника. Он все время помнил свое. Боль жила в его душе, и капитан не видел из-за нее, что было каждому очевидно, он становился слишком откровенным, находил в разговорах отдых и облегчение.

Завойко решил выказать хладнокровие.

— Чем вы так огорчены и встревожены, дорогой Геннадий Иванович? Я обеспокоен, не произошло ли с вами несчастья?

Невельской остолбенел на миг, раскрыл глаза, заморгал, уставившись на хозяина, и немного покраснел.

«Тут что-то есть!» — подумал Завойко и сказал:

— Мужики действительно подлецы, и якутское начальство ленится. Так против всего этого примем меры общими силами, но зачем же так волноваться?

Невельской решил, что Завойко не может ничего знать.

— Как же не несчастье! — ответил он сдержанной. — Ведь срывается все... Больше скажу, грузы разворовываются под всякими предлогами.

— Так, пожалуйста, не волнуйтесь, Геннадий Иванович! Ведь вы только что приехали, и нам еще будет время все обсудить. А вы мне ничего не сказали про Николая Николаевича, правда ли, что он болен?

— Да, он болен... Я был в Петербурге и на обратном пути задержался...

Начались взаимные расспросы.

— Так вы задержались в Иркутске?

— Николай Николаевич просил меня об этом, — не смущаясь, сказал капитан. — Он был очень плох... — А как Орлов? — спросил он после небольшого раздумья.

— От него было известие. Он прислал письмо с тунгусами, пишет, что в мае достиг устья...

— Расцеловать вас, Василий Степанович!

«Единственный дельный человек среди всей здешней братии!» — думал капитан про Завойко.

Вышла Юлия Егоровна. Невельской передал ей поклон от знакомых и от брата Василия Егоровича. Вечер прошел в разговорах про Петербург и про политические новости. Потом толковали о предстоящей амурской экспедиции.

Завойко замечал, что Невельской временами рассеян, отвечает невпопад, все время о чем-то думает.

— Ах, Юленька, — сказал он жене, когда гость поднялся на мезонин, где ему отведена была комната, и супругам можно было поговорить по душам, — за что ему дали капитана первого ранга? Этого я не могу понять! За Амур? Так я могу только сказать: ха-ха! — яростно, но приглушенно воскликнул Завойко. — За что? За то, что присвоил чужую славу! Вот что значит человек съездил в Петербург! Схватил то, что мы с тобой добывали годами тяжкого труда! Это, Юленька, сделано, чтобы он не зависел здесь от меня! Несправедливо это! — сказал Василий Степанович, усаживаясь на кровать. — Я совсем не могу примириться! За то, что я начал Амур исследовать, а он пришел на готовое? Теперь он говорит про грузы с таким видом, будто бы я не забочусь... А разве Березин не мой человек и не мной послан? Он привел караван, и все в целости и сохранности. Разве Невельской не видит этого? Разве он не понимает, что я все безобразия искореняю и

искусь о казенном интересе... Нет, Юленька, я просто не знаю, что тут будет! Никакой другой человек не выдержал бы на моем месте! А я еще заботился о нем, послал навстречу ему якутов, никто другой не ждал бы его на моем месте в такое время!

— Почему он дядюшку не повидал? — сказала Юлия Егоровна. — Он странно выглядит, — кажется, чем-то расстроен.

— Да, он не в своей тарелке! Не знаю, как это удалось ему в Петербурге выйти сухим из воды... Но дядюшка не захотел с ним встретиться. Невельской хвастается, что видел дядю Георга у Литке, где были все ученые!

Юлии Егоровне еще многое было неясно. Невельской приехал обласканный, облеченный полным доверием, но в то же время чем-то огорченный. Успех Невельского — несомненен. Но его дерзости муж должен положить предел. Хорошо, что у Василия Степановича есть на этот раз гордость. Она желала, чтобы честь открытий на Амуре принадлежала ее мужу...

— Да, два чина! — сказала она. — Он оказался проворным!

— Он подлый и низкий человек! — вспыхнул муж. — Да разве мне не следует два чина? Гораздо больше, чем ему! И я это докажу! Но ведь я, ты знаешь, Юленька, чинам не придаю значения, как и дядюшка, который всю жизнь из-за этого обойден и обижен...

Подумав несколько, он сказал:

— А что, если я тоже потребую себе два чина, Юленька? Пусть генерал-губернатор даст мне то, что я заслужил. Я напишу ему, что это очень оскорбительно для меня, если Невельскому дали за мои открытия два чина, а я должен ждать производства...

— Ты напиши обо всем Михаилу Семеновичу, но без колкостей.

— Ты думаешь?

— Это не будет обращением к генералу, но когда Михаил Семенович получит твое письмо, то от себя непременно напишет об этом Николаю Николаевичу...

— Так я и сделаю, Юленька. Я напишу завтра же... Невельской говорит, что Корсаков раньше нас отправится на Камчатку. Я рад этому, и мы с тобой примем его там как самого дорогого гостя и еще поговорим с ним обо всем

этом... Но, ей-богу, не знаю, как я смогу снести все придирки Невельского, так мне больно и неприятно! Слышишь, шаги наверху? Это он не спит и ходит, что-то придумывает, вместо того чтобы спать. Уверяю тебя, Юленька, это ужасный человек...

— Мы не поговорили вчера о главном, Василий Степанович,— сказал капитан, придя утром в кабинет Завойко.

— Да я уж сижу спозаранок и смотрю ваши бумаги и требования, Геннадий Иванович,— отвечал Завойко,— но почти ничего не могу вам дать из того, что вы требуете для снабжения экспедиции Орлова, кроме самой малости. Пришел караван с Березиным, но там вы знаете, что за грузы: инструменты и товары для Аляски, а из казенного груза — порох.

— Как же быть?

— У меня нет и фунта гречневой крупы! Мы ее давно не видели! И муки мало. Ей-богу, так! Сами же вы видели, что делается на дороге. Транспорты стоят, и, бог весть, когда они прибудут!

Невельской на этот раз смолчал.

— Когда придут транспорты, тогда пожалуйста! Но ведь время уйдет, и меня здесь не будет, и вам нельзя ждать...

Снабдить экспедицию теплой одеждой Завойко также отказался.

— У меня нет теплой одежды. Компанейский товар так плох, что я не рискую предлагать. Но скажу вам, что все эти варежки, кухлянки и валенки есть в Охотске в компанейском магазине, это я знаю, только не могу сказать, сколько штук. Вы как будете писать Михаилу Семеновичу, то просите, чтобы приказал он Лярскому не продавать ничего, а то и там их не будет. Я pošлю нарочного тунгуса, и он ваше письмо доставит в Охотск.

— Мне кажется, Василий Степанович, что вы шутите. Я не могу поверить тому, что вы говорите,— глянув неприязненно, сказал Невельской.

— Я бы и сам так подумал на вашем месте. Но у меня нет ничего. Ей-богу, так! Все есть в Охотске, и вы можете потребовать оттуда все необходимое для экспедиции Орлова. Ведь там главный порт! — Он упрямо назы-

вал отряд, шедший под командованием Невельского, «экспедицией Орлова».

— Василий Степанович! — воскликнул Невельской. — Все сроки пропущены. Вместо того чтобы готовить экспедицию, я ездил в Петербург, куда меня вызвали, я рассказывал вам вчера... Я не мог ничего подготовить как следует. Моя надежда была на вас и на Лярского, вы знаете также, что со мной поехал Миша Корсаков, он отправился в Охотск, чтобы следить за перевозкой грузов, и он также будет помогать мне и отправит сюда на кораблях что возможно. Но более всего я надеялся на вас. Я же не говорю о том, что генерал пишет вам своей рукой... Василий Степанович, я прошу вас подумать и помочь общему делу!

— Как же вы желаете от меня того, что я не могу, а сами не считаетесь со мной и моими трудами, ругаете аянскую дорогу. Подымаете такой крик из-за того, что вам неудобство было, когда вы ехали. Так я уже знал, что для вас, как человека непривычного, будут неудобства, и послал людей встретить вас, и они напрасно ждали вас целый месяц...

— Как вы меня поняли, Василий Степанович? Если бы речь шла обо мне, о том, чтобы только мне по этой дороге одному ездить, я бы и не заикался. Мне удобства не нужны, и я приехал жив и здоров. Но как путь к океану — аянская дорога никакой критики не выдерживает!

«Час от часу не легче! — подумал Завойко. — Вон куда клонит!»

— Так вы уверяете меня, что аянская дорога нехороша? — спросил он язвительно.

— Это правда, что же скрывать, и парохода на здешней реке никогда не будет при ее извилистом и узком фарватере.

— Не будем спорить, история нас рассудит, Геннадий Иванович. А что до меня, то я не могу исполнить предписания генерала. Просите все потребное для экспедиции Орлова в Охотске у Лярского. И еще я не знаю, что смогу дать для компанейской лавки, для расторжки с гиляками. Мне еще требуется подумать об этом, и я не знаю, смогу ли все представить в должном комплекте.

«Ничего нет для меня!» — подумал Невельской. Спорить и ссориться не хотелось. Он поднялся к себе.



Вскоре за ним прислал Завойко. Вместе обедали и опять беседовали. Потом Завойко пошел на заезжий двор потолковать с людьми, которые прибыли с караваном, и посмотреть доставленные грузы.

Невельской отправился к Орловой, но не застал там никого.

С крыш висели огромные сосульки. Мальчишки везли на собаках обледеневшую бочку с водой. Снег подтаивал. С моря дул ветер. Видно было, как за кромкой льдов вздувались белые валы. Море вдали было ярко-синим. Видны белые полосы плавающих льдов. Шум волн глухо доносился издалека. А у берега тихо, тут еще зима. Дальше плавающих льдов на синей яркой полосе стоял, не поддаваясь качке, сверкая белоснежным парусом,

стройный китобой. Он уже пришел на промысел! Что-то гордое и хищное было в далеком судне. Оно напоминало капитану об опасности. Ему казалось, что здесь никто не понимает, что означают эти красавцы суда. Там, где хозяева бессильны, являются дерзкие и отважные хищники.

Дразня капитана, судно гордо стояло за льдами в открытом море.

«А я не могу выйти из Аяпа!»

Невельской долго стоял и любовался судном, и с гордостью за своего брата моряка, и с болью, что у нас тут нет всего этого. Он вспомнил разговор с Завойко, его упреки, обиды, думал, что он мелочен, не видит того, что перед глазами. Горько стало на душе. Не в первый раз встречал он ненависть и неприязнь к своему делу, к себе, к своим замыслам.

Невельской подумал, что во всех его петербургских несчастьях, может быть, виноват Завойко. Эта мысль и прежде приходила ему в голову. Теперь он видел — Завойко раздражен, ревнив, завистлив, горяч. «Он зол на меня. А я ни шагу тут без него не могу ступить». Он вспомнил все, что говорил Лярский про Завойко и как тот уверял, что Завойко не простит Невельскому открытия Амура, вечно будет пакостить.

Невельской поднялся на пригорок и пошел дальше по протаявшей тропе.

Тайга стала мельче и реже, ветер крепчал. Вдруг за лесистой сопкой, на которую он подымался, тоже заблестело море, широкое, ровное и торжественное. Вид его и тревожил, и возвышал душу, и отдалял все заботы, лечил боль.

В просвете между сопок море стояло высокой светлой и прозрачной стеной.

Собственные страдания показались сейчас ничтожными. Капитан вспомнил, как Элиз говорила однажды, глядя на море и на горы: «Это стоит хорошего концерта!»

«Море, — подумал капитан, — всюду и всегда одинаковое, и в чужих странах оно как небо — всегда родное!»

Он возвратился в Аяп. На улице ему повстречалась молодая круглолицая женщина в капоре и в шубке. Она шла в сопровождении старика якута, несшего на плечах мешок, который он, видимо, привез издалека. Невельской узнал ее. Это была Орлова.

— Вы ли это, Харитина Михайловна? Здравствуйте, очень рад вас видеть... Я заходил к вам...

Орлова сообщила, что собирается к мужу, что от него было письмо, весной он добрался до устья, а с тех пор нет ничего.

— Не съели его там гиляки?

— Бог с вами, Харитина Михайловна, он человек бы-валый, да и они не людоеды.

Орлова говорила о своей предстоящей поездке на устье Амура так просто, словно в этом не было ничего особенного. Она сказала, что возьмет с собой картофеля и семян, заведет там огород.

Вечером Невельской убеждал Василия Степановича, что нельзя в этом году перебрасывать на Камчатку тысячу человек, что, прежде чем их туда гнать, надо высчитать точно, сколько муки может быть доставлено в Петропавловск в продолжение навигации, и тогда, положив по два пуда в месяц на человека, можно узнать, сколько народу смеем туда отправить.

— Сколько народу сможем прокормить, столько и брать, а в противном случае будет голод! Надо все высчитать и не загонять людей на верную гибель.

«Экий дотошный человек! — подумал Завойко. — Ему все не дают покоя транспорты с продовольствием!»

Завойко не нравилось такое вмешательство нового чиновника особых поручений, но он видел, что совет дельный, и согласился. Решили немедленно написать обо всем Корсакову, который должен с Лярским отправлять людей из Охотска.

— Теперь о торговле с гиляками, Василий Степанович. Я не могу просить компанейские товары в Охотске, когда здесь, в Аяне, самая большая фактория. Это смешно! Я прошу иметь в виду, что мне нужны такие предметы, чтобы гиляки наглядно убедились в превосходстве русских товаров перед маньчжурскими. От того, какие товары у нас будут, зависит очень многое!

— Где же я возьму эти товары, Геннадий Иванович?

— Василий Степанович, разве вы не обязаны дать то, что у вас есть? Тогда скажите прямо, что не хотите содействовать мне. Я здесь два дня живу, сплю, обедаю, а дело стоит...

— Так вы думаете, что я личными соображениями руководствуюсь? — краснея, спросил Завойко. — Да как вы

можете это говорить! Вы, может, думаете, что Завойко вас обманывает? Вот посидите на моем месте и тогда говорите!..— вскричал Василий Степанович, вскакивая и показывая на свое кресло.— Пожалуйста, берите муку и крупу, когда придут. Сами же вы видели, что транспорты нынче стоят. Вы же не будете их ждать, а у меня муки слишком мало. Не могу же я на Камчатке с голоду умирать! Так, пожалуйста, напишите жалобу генералу или в Петербург.

— Да что толку, что я буду писать! Дело погибнет, никакое мое донесение не поправит его. Что мы, в бильярд играем, Василий Степанович?..

— Да где я все возьму, что вам надо? Да я и не обязан этого делать. А хоть вы и будете по особым поручениям, но не можете распоряжаться компанейскими товарами. Ваша экспедиция правительственная, секретная, вот и благоволите все, что вам надо, получить у Лярского, о чем я и приказываю ему.

— Вы подходите формально, и это удивляет меня... Что за игра, Василий Степанович? Если есть у вас, так выдайте! Да разве у Компании и у правительства не одна цель? Ведь вы сами знаете, что лавка при экспедиции будет компанейская, что Компания — ширма экспедиции.

— Да откуда это вы взяли, Геннадий Иванович, что я не хочу? И как это вы смеете рассуждать, что Компания — ширма, когда она капиталист и главный владелец всех промыслов и земель? А насчет товаров для лавки, то вы ошибаетесь! Не ваше дело беспокоиться о ней. За лавку отвечает Компания. Уверяю вас, что позабочусь о ней не хуже...

— Как это лавка меня не касается? — вспыхнул капитан, и губы его задрожали.— Да в лавке вся суть! Посредством лавки мы должны влиять!

— В лавке надо торговать и скупать меха, а не влиять и не разводить политику...

— Василий Степанович, вы говорите со мной, словно дело, которое исполнять я прислан, чуждо вам... Ушам своим не верю! Вы со мной, как с представителем враждебной нации...

— Как будто я враг Амуру, так вы меня выставить хотите? Да не вы это дело начинали! Я об этом все время забочусь! Это вы тут хотите проводить свою политику! Да! Вам не удастся!

— Вы понимаете, что говорите, Василий Степанович? Мы оба перед родиной и престолом обязаны участвовать общими силами в этом деле! Какая у меня политика, Василий Степанович?

— Так вы-то знаете, что у меня ничего нет!

— Тогда я прошу завтра же открыть мне амбары, — сказал капитан. — Именем генерал-губернатора я требую от вас официально.

— Так я официально заявляю вам, что амбары компанийские!

— Ка-ак? — подскакивая к Завойко, закричал капитан.

— Да! — закончил Завойко.

— Василий Степанович, мы напрасно кричим. — На миг Невельской печально улыбнулся.

«Да он сумасшедший!» — подумал Завойко.

«Какой дурак Завойко! — говорил себе Невельской, подымаясь на мезонин. — Конечно, у него есть все, но он никак славой не считается. Опять чуть не разругался, как с Фроловым!»

За окном была ночь. Выл ветер, и слышался накат. Капитан походил по комнате, сел на койку, снова встал. Хотелось написать Корсакову. Подумал, что, быть может, надо написать Зарину, извиниться... Нет, надо писать Мише о деле.

Ветер, как водопад, рушился на мезонин. Капитан потрогал печь. Она была теплая. Он был благодарен Завойко, что печь вытоплена. Завойко деятельный хозяин, но нельзя простить ему эгоизма. Он чувствовал, что предстоит борьба с Завойко. «Из-за чего? Глупо! Тяжелое наше время!»

Он вспомнил козни, что строили против него в Петербурге. Сплошной мрак, зло, противодействие всюду... Он старался не думать о несчастье, постигшем его в Иркутске.

«Пулю пустить себе в лоб? Если бы не Амур — думать бы не стал! Но, кажется, я разбит, нервы плохи. В таком состоянии нечего писать. Напишу утром. Утро вечера мудренее...»

— Боже мой! Кому доверился Николай Николаевич! Он только что кричал и грозился и сразу стал смеяться! — сказал Завойко, придя к жене. — Я не могу принять всерь-

ез все его слова! Я не знаю, как можно поручать ему дело! Не могу понять, что с ним произошло... Он так погубит весь Амур и Николая Николаевича... Нельзя доверить кораблей сумасшедшему. Он их разобьет. Я тебе говорю, что он сумасшедший, говорит, а у самого слезы на глазах... Может быть, Юленька, он совсем не такой плохой человек, но я не могу простить ему нахальства.

Утром Завойко одумался и явился на мезонин к Невельскому, просил не сердиться, уверяя, что вчерашний разговор был пустой и что он сам предлагает Невельскому пройти по амбарам и все посмотреть.

— Я готов, Василий Степанович!

— Я совсем забыл, что у меня есть теплые рубахи, каких не может быть у Лярского,— говорил Завойко по дороге.— Я сегодня встал чуть свет и не спал всю ночь, вспоминал и теперь могу сказать это.

— Зачем же вы тогда доказывали мне вчера, Василий Степанович? — упрекнул Невельской.

— Вы так требовали и кричали, что мне некогда было опомниться. Но вы, если желаете, можете написать на меня генералу. Я могу отпустить для экспедиции все, что у меня есть, так как это наше общее дело!

В амбарах нашлись нужные вещи. Завойко обещал дать для экспедиции часть муки и сухарей, соли, уксуса, сахару.

— Но кухлянок и ватников дать не могу. Их нету! И гречишной крупы нет! Все это есть в Охотске. И еще посоветую вам, затребуйте оттуда тесу и кирпичей. Это все есть у Лярского, а я на Камчатке обойдусь. Напишите об этом Михаилу Семеновичу.

Для компанейской лавки Завойко давал красное сукно, ситец, леденец и другие товары, о которых Невельской даже и не помышлял.

— Ах, Юленька, если бы ты видела,— говорил Завойко после обеда, когда гость ушел наверх,— он лезет во все мешки! Это не дворянское занятие! Я не знаю, откуда он такой, несчастье и наказание иметь с ним дело! Другой бы стыдился и не смел упрекать меня, когда я незаконно согласился снабдить его всем на свой страх и риск... Березин слышал от якутов, что Невельской делал с ними на тракте! Якуты уже теперь спрашивают со страхом, какой дорогой Невельской обратно поедет.

— Почему же?

— Говорят, что он грозил им виселицей... И это когда я выказываю якутам ласку и заботу, он порет их... Я думаю, Юленька, что скорее всего он в самом деле сумасшедший, и я напишу генералу, чтобы он меня уволил или убрал Невельского.

— Не делай этого, — улыбаясь, сказала жена.

— У меня голова трясется, когда я подумаю, что, как чиновник особых поручений, он может быть прислан ко мне на Камчатку. Не знаю, за что такое наказание! Но я ему выставлю свой план, что я намерен делать. Ведь я не пощажу на Камчатке ни взяточников, ни купцов, ни самих попов! Вот он тогда увидит мои замыслы!

Глава четвертая

А ЛЬДЫ ВСЁ НЕ УХОДЯТ

В шторм взломало лед в бухте. Ветер проносил по морю мимо Аяна бесконечные караваны льдин. Ветер менял направление, льды шли в другую сторону, движение их не прекращалось, не видно было им конца. Иногда льды отходили прочь от берега, и море становилось чистым. Но вдали, там, где обычно оно синело, сплошными белыми цепями громоздились торосы. В эту пору суда не могли пробиться между ледяных полей и скал и подойти к Аяну.

На льдинах, на жарком солнце грелись нерпы. Стада их, как упряжки ездовых собак, положенных каюром, виднелись на ближних плавающих льдинах.

Невельской и Завойко целые дни проводили теперь вместе, обсуждая планы обеих экспедиций. Вечерами заходили Харитина Михайловна, приказчик Березин и священник с женой. Мужчины играли в карты.

Живя в Охотске, а потом в Аяне, Завойко многому научился у того якутского начальства, которое не боялось, что планы и предписания высших властей останутся неисполненными. Условия и обстоятельства тут были таковы, что всегда, во всяком случае можно было на что-нибудь сослаться — на болота, на якутов, на скопцов, на метели, морозы, непроходимые тропы, на ветер и шторм на море, на американцев или на отсутствие

кораблей. Тут все оказывалось неопределенным и ни на что твердо надеяться не приходилось.

Можно было получать какие угодно планы, обещать сколько угодно раз, что они будут выполнены, а потом ничего не делать, заморить людей голодом и остаться невиновным, сославшись все на те же обстоятельства,— разворовать продовольствие и не отвечать. Природа и стихия были тут союзниками и великой ширмой, за которой делались темные дела.

Можно было обещать и даже не пытаться сделать, можно было лениться, пить, играть в карты, вместо того чтобы скакать верхом несколько сот верст и следить за продвижением грузов и за их сохранностью,— тут все сходило.

Завойко знал все эти уловки и умел противиться им. Умел он строить, заставлять людей работать и уважать дело. Он понимал толк в рыболовстве, в садоводстве и в огородничестве. Дядюшка Фердинанд Петрович недаром считал его изворотливым и оборотистым. Вся немецкая родня его жены если поручала какое-нибудь дело Василию Степановичу, то и надеялась на него как на каменную гору.

Завойко понимал, что ему дадут чин контр-адмирала и назначают губернатором на Камчатку для того, чтобы он выполнял грандиозные планы Муравьева.

«Муравьев — мастер фантазировать,— полагал Василий Степанович.— Приходится поддакивать ему и браться выполнять все. Но потом посмотрим!» Завойко верил в свой практицизм и знал, что исполнит лишь то, что на самом деле нужно. А за чушь и выдумки браться не стоит!

Невельской скльно обижал его своими разговорами. Он подозревал, что, если не вся мука придет, Невельской подымет шум, мол, люди начнут на Камчатке умирать с голоду. «У другого умрет хоть половина — все сойдет, а с меня спросится. Ох, я бы лучше не брался за все это! Невельской скор на слова и на соображение, берется всех учить. Он обо всем живо догадывается!» Это не нравилось и пугало Завойко, который и сам был зорек и такую же способность увидел в Невельском. Завойко готов был возненавидеть его, видя в нем соперника. Но как часто бывает, люди, неприязненно относящиеся друг к другу, начиная работать вместе и часто встречаясь, чув-

ствуют, что их неприязнь постепенно рассеивается. Не из страха перед ответственностью Завойко снабдил экспедицию. Василий Степанович старался доказать, что он тоже патриот, и много уже сделал тут, и еще больше может сделать, и что амурское дело ему не чужое, и он тоже человек больших масштабов, и его не следует ставить в один ряд со здешними чиновниками.

Завойко показал Невельскому сметы, расчеты, а также разные бумаги и распоряжения, где видно было, какие меры он принимал к тому, чтобы грузы были вовремя в Аяне.

— Скажу вам, Геннадий Иванович, больше! Даже из тех трех тысяч пудов, которые, как вы видели, лежат на Алдане, половина не дойдет до Аяна! Вот каковы обстоятельства!

Завойко показал копию своей бумаги губернатору, которую послал он полтора месяца назад с просьбой разрешить снабжать Камчатку морем, на купеческих судах, как снабжает Компания свои колонии.

— А то ведь на будущий год Камчатка потребует провианта шестьдесят тысяч пудов. На это надо шесть тысяч лошадей. Вот видите! Я тоже полон дум и веду расчеты. Иначе нельзя!

Похоже было, что Завойко искренне хочет рассеять неприятное впечатление от ссоры. Василий Степанович стал жаловаться на Лярского, что тот завидует ему и вредит, запросил у губернатора продовольствия на год меньше, чем надо, чтобы подорвать камчатское дело. Оказалось, все сметы и ведомости на перенос порта ложные. Составлял их Лярский. Он указал в ведомости, что оборудование порта «весит» сто шестьдесят тысяч пудов, а сам включил в сметы дрова, бревна, старые створы.

— Разве можно дрова возить за море? Я вычеркнул все лишнее и оставил к перевозке лишь сорок тысяч пудов. Почему он так сделал, Геннадий Иванович, я вам скажу. Он в дружбе с купцами и вместо дров погрузит их товары... По смете купеческой кладки к перевозке назначено тысячу пудов, а возьмут втрое, вчетверо, и купцам обходится это дешево.

Завойко сказал, что с уходом льда ждет прибытия судов. В Охотске сейчас «Иртыш», «Охотск», «Курил». Эти суда должны взять там большую часть населения и

грузы, зайти в Аян. На одном из них с семьей должен был отправиться на Камчатку сам ее новый губернатор.

— Я знаю, что вы не можете расстаться со своим судном! Но так как мы оба служим общему делу, то вы должны меня понять. Я просил бы вас, Геннадий Иванович, оставить мне ваш «Байкал», когда он придет с Камчатки. Я написал бы в Охотск, чтобы «Иртыш» не заходил за мной, а шел бы прямо на Камчатку и мы не мучили бы зря людей. А вы пошли бы к устью Амура на небольшом боте «Ангара», который только что построен и спущен на воду в Охотске. А «Байкал» — судно самое емкое в здешней флотилии — был бы предоставлен для перевозки грузов на Камчатку из Аяна, а потом и из Охотска.

Невельской задумался, переменялся в лице и умолк. Ему неприятно было расставаться со своей командой.

— Я все сделаю для вас, дорогой Геннадий Иванович! И ваша команда будет сохранена.

— Хорошо, я согласен, — сказал капитан, лицо его прояснилось. — Я согласен! — твердо повторил он еще раз.

— Я это знал! Вы благородный человек!

Завойко крепко пожал руку Невельского.

Капитан обещал немедленно написать обо всем Корсакову, а Завойко — отправить письмо в Охотск утром с нарочным.

Мысль о том, что Миша на днях получит письмо и узнает все новости, оживила капитана, и он подумал, что многое хочет сообщить своему товарищу.

— Как мы теперь действуем заодно, то и я вам хочу дать советы, Геннадий Иванович, которыми вы, если захотите, можете воспользоваться, и тогда увидите, как Завойко думает об Амуре. Послушайте меня, Геннадий Иванович! Михаил Семенович, как вы мне изволили сказать, набирает в десант казаков. Так боже вас упаси от этого! Не вздумайте брать их в экспедицию!

— Да что такое?

— А то, что все они торгаши и знают якутский язык. Гиляки понимают по-якутски, а вы не понимаете. Так казачишки станут обманывать вас, и грабить гиляков, и сами внушать им всякое против вас, что только захотят. Поверьте Завойко!

Василий Степанович советовал отписать Корсакову, чтобы казаков не присылали, а выбрали бы людей из охотских матросов.

Невельской думал о том, что в десант надо взять некоторых людей с «Байкала», что они в команде будут здоровым ядром.

— А кто вам будет стирать белье для офицеров? — спросила капитана за обедом Юлия Егоровна. — Орлова поедет к мужу, им нужна прислуга. Напишите Михаилу Семеновичу, чтобы послал матросов семейных...

Завойко стал говорить, что по тем трудам тяжким, которые ждут его на Камчатке, мало ему десять тысяч рублей в год и чина контр-адмирала, что по всем законам ему еще следуют подъемные и еще один чин. Он просил у Невельского совета, стоит ли все это потребовать.

Потом он стал развивать свои планы овладения Амуром.

— Вот бот «Ангара» уже должен быть спущен в Охотске. Так вы введете его в устье Амура и пришлете мне как губернатору официальный рапорт, что бот выбросило в устье Амура и что своими средствами вы его выручить не в силах. И такой же рапорт пошлете генерал-губернатору. А он уже будет знать все заранее. Мишь бы один раз сплыть, там начнется плаванье по всему Амуру. Это мой плап. А бот «Ангара» пусть зимует у вас как ни в чем не бывало...

Завойко принес капитану отколотый кусок доски с какими-то вырезанными знаками.

— Вот посредством этой штуки вы займете Амур, — шутливо сказал он. — Была доска цельная, а тут от нее одна половина. Вторую половину увез Дмитрий Иванович к гилякам. Да! Когда вы на судне придете в их землю и не встретите Орлова, то предъявите эту доску. И они живо принесут другую половину и приложат ее к этой, и выйдет, что эти половины — одно... Вот и будут знать, что пришли русские...

В ночь Невельской засел за начатое письмо Мише. Теперь, оставшись наедине, он отогнал от себя все неприятные мысли и воспоминания и отдался любимому делу, ради которого и писалось это письмо, и проходила вся жизнь.

Он написал, что решил идти не на «Байкале», а на «Ангаре» или лучше всего на «Охотске», и поэтому «Охотск» должен быть снабжен на целый год и что судно это останется на зимовку в Амуре. Просил не брать в экспедицию казаков, просил, чтобы все люди, назначен-

ные в экспедицию, были молоды, умели владеть топором, чтобы на каждого был запасной комплект готовой одежды, сапожный и рубашечный товар. Он высчитал все: и кухлянки, и нитки, и патроны... Получилось огромное письмо. Про Иркутск он не помянул ни словом. Все было еще очень свежо, и лучше не трогать.

Капитан просил прислать секстант, два хронометра, сертификационный горизонт, морской месяцеслов. Написал о женатых матросах и о том, что видел на тракте. Он заклеил конверт и, глядя на льющиеся капли красного пылающего сургуча, вспоминал, как в Петербурге его вызывали на комитет, допрашивали... Теперь он готовил ответный удар. Сейчас, когда письмо было написано, он ощутил снова, что готов на все, но что удар надо тщательно подготовить.

— Я докажу им! — сказал он себе в сотый раз и потушил свечу.

Василий Степанович тоже приготовил письмо.

Наутро в Охотск верхом на оленях ускакали тунгус и казак с сумкой на груди.

Глава пятая

НАДЕЖДЫ

Солнце пригревало все сильнее. В оранжерее поспели маленькие бледные огурцы. На сопках распускалась зелень. В комнатах появились огромные букеты черемухи.

Бухта совершенно очистилась от плавающих льдин, и по ней сновали лодчонки обывателей и шлюпки с матросами. Тучи птиц летели над Аяном, спускались на скалы и на чистые воды залива. Иногда то на озерах, то на речке раздавались выстрелы охотников.

Завойко повел своего гостя в оранжерею, показал, что там растет.

— Так вы говорите, что генерал в Иркутске про мой арбуз вспоминал?

— Да, я не раз слышал от него!

— Ведь арбузов никто и нигде не может тут вырастить. А знаете ли вы, каких мне это стоило забот и за чем я старался? Я хохол и хочу, чтобы мои дети видели, як же кавуны растут. И генерал очень удивлялся и ска-

зал мне: «За этот арбуз вас стоит назначить на Камчатку, чтобы вы ту страну преобразовали, как Аян».

Завойко рассказал, что берет с собой старика скопца, который отлично знает, как разрабатывать целину, сеять и выращивать на ней хлеб, и что он выхлопочет у генерала для этого старика жалованье в триста рублей серебром в год.

Идя из оранжереи, они остановились посреди сада. На этот раз Завойко ухватил гостя за пуговицу и говорил, что на Камчатке много травы и туда он завезет прежде всего коров, чтобы на каждого человека было по скотине, и одним этим поставит на ноги новоселов. Потом он стал говорить, как укрепит Камчатку и что генерал обещает прислать триста орудий.

В этот день Завойко, Невельской, поп и приказчик Брезин опять играли вечером в карты. Завойко ругал Воилярлярского: он взятки, мол, берет с купцов и на судах повезет на Камчатку их товары под видом казенных грузов, а капитаны судов — приятели Воилярлярского и действуют с ним заодно, особенно Гаврилов, в такие молодые годы назначенный командиром «Иртыша». Завойко уверял, что пресечет деятельность купцов на Камчатке, установит таксу на товары, и Камчатка заживет славно. Потом он стал говорить, что лес будет возить из Ситхи, и туда пошлет зимовать суда, и сделает это на своей риск и страх.

Невельской не хотел возражать, по Завойко на этот раз сам вызвал его на разговор.

— Скажите мне, Геннадий Иванович, как вы про то думаете?

— Поймите меня правильно, Василий Степанович,— сказал Невельской. Он положил карты. Поп и приказчик смотрели с неудовольствием, зная, что он будет долго говорить, а игра приостановится.— О Камчатке и вы, и Николай Николаевич имеете превратное представление. Надо трезво смотреть на то, что она собой представляет, особенно вам. Нельзя приказом на бумаге вырастить хлеб и заселить такую страну, как Камчатка. Пока что Камчатка представляет собой Авачинскую губу без всяких средств, питающих ее. Губа и губа! И все! Она может ожить, ваша Камчатка, если зайдем Амур и земли по Амуру, когда к ней будет подвоз по Амуру и морем, когда к ней появится интерес у населения. С Амуром

она все, а без Амура — ничего! Я это говорил тысячу раз и скажу вам. Имей Камчатка средства сообщения с Сибирью — ей цены не было бы, развился бы величайший порт, явился бы флот, торговля, судостроение. В случае нападения врага она была бы подкреплена изнутри и средствами защиты, и продовольствием. Мы не англичане, у нас земли много, и земли удобной, у нас переселенцы до тех пор не поедут на Камчатку, пока она не будет связана единой жизнью с Сибирью. Обижаться на меня за это нельзя. Идти против того, что я говорю, это не против меня идти, а против природы!

— Так что же, по-вашему, надо Камчатку отдать врагу? — спросил Завойко.

— Я не говорю этого.

— Позвольте, позвольте... Теперь я скажу... Разве я прошу чего-нибудь? — Он тоже бросил карты.— Нет, и удовольствуюсь тем, что мне дают. Я не составляю сметы и не прошу сотни тысяч. Я хочу развить Камчатку как она есть. Я думаю о коровах, о посевах, о бревнах, я не воодушевляюсь несбыточными мечтами. Вот здесь, в Аяне, лов рыбы я начал сам, и сыт. А люди тут с голоду мерли. И люди знают, что с Василь Степановичем не пропадешь...

Поп кивал головой, иногда прищуривался, поглядывая на записи, желая убедиться, велик ли проигрыш, если не придется отыгрываться.

— Я трудом своим поднял эту страну! — кричал Завойко.— Что был Аян? А теперь тут четыре амбара, дома, сад, огороды у всех жителей, оранжерей, которой люди из Калифорнии удивляются. Там у них нет ничего подобного, несмотря что райский климат. Так разве нельзя жить на Камчатке? Разве нельзя построить там дома и казармы и завести огороды? Вы видите, умею я это делать или нет?

«Это верно! — думал Невельской.— И мне надо многому поучиться у Василия Степановича!» Он замечал, что Завойко рассуждает сбивчиво, что он эгоист до мозга костей, но в делах последователен и настойчив.

— Я знаю и не раз слышал от вас, что надо открыть еще одно окно в мир. Но окно уже прорублено и вы, мой дорогой, не Петр Великий! А на океане мы стоим. Вот в окошке он виден отсюда! И будет еще Петропавловск! Что же до Амура, то вы знаете все, и разве я говорю

что-нибудь? Хотя там, может быть, никогда суда не пойдут! И тот Амур затерялся в песках, и кто будет там плавать, тот не рад станет, и вас помянет недобрым словом, и не будет знать, как оттуда выбраться.

«Дурак и эгоист!» — подумал Невельской.

Завойко взял карты и снова бросил их с досадой. Поп стал уговаривать его.

— Не смейте меня успокаивать! — закричал на него Василий Степанович.

У молодого бритого приказчика Березина вид был такой, словно он желает тоже вмешаться в этот спор и едва сдерживается. Поп, видя, что тут толку не будет, ушел и увел с собой Березина.

Невельской и Завойко остались одни и долго спорили...

Невельской поднялся к себе на мезонин.

Чувство одиночества снова начинало его мучить. «Только один Николай Николаевич со мной... Не будь его, ни минуты бы я тут не служил! Да еще друг у меня Миша, милый Михаил Семенович! Как-то он сейчас с Вонлярлярским?»

Тяжело было идти за оленями на лыжах или сотни верст ехать верхом. Но еще тяжелее это вечное одиночество, эта угнетенность, это чувство, будто обречен вечно идти по дремучему лесу с топором и прорубать, прорубать лес без конца и не видеть просвета. Эта душевная борьба с препятствиями: с упорством, завистью, подозрениями, косностью и, наконец, с открытой ненавистью: борьба, которую он вел в одиночестве, была тяжелей борьбы физической. Он непрерывно поступался своей гордостью и самолюбием. «Господи,— думал он,— дай мне силы сделать, что я хочу! Я не пощажу себя... Дурак! Он радоваться должен, что я без понуждения, по своей воле стараюсь и делаю для него же — кулака, делаю без ропота, видя лишь будущее. Сколько их у нас, этих сытых, крепких, хитрых кулаков, тупых до бесконечности в своем эгоизме, но могучих и упрямых!»

Он увидел в окне далеко в море — оно было светло, и небо светло, хотя час и поздний,— корабль. Очертания его показались знакомыми.

— «Байкал»? — встрепенулся капитан. Он мгновенно поднялся.— Да, это мой «Байкал»,— подумал Невельской, как бы опомнившись от тяжелого кошмара.

С вечера, при противном ветре, «Байкал» не мог войти в бухту. Якорь бросили на рассвете.

Завойко и Невельской отправились на судно.

Командиру «Байкала» штурману Кузьмину за сорок. Он среднего роста, коренаст и плотен. У него короткие усы, на темных висках ни единого седого волоса, нос крупный, лицо смуглое и крепкое.

Кузьмин считается самым лучшим и самым опытным из всех наших моряков на побережье Восточного океана. Муравьев назначил его командиром «Байкала», чтобы сохранить судно и экипаж.

Евграф Степанович Кузьмин вырос на Охотском море, более двадцати лет тому назад за отличные способности произведен из юнг в штурманские помощники, а затем в штурманы. До этой зимы, с окончанием навигации обычно преподавал в штурманском училище в Охотске.

Штурман Кузьмин не жал руки гостям, а лишь слабо держал их в своей тяжелой и широкой ладони, которой, казалось, стоит едва сжаться, как она раздавит всякую другую руку.

Матросы стояли слитно, стройно. Когда Невельской встречался с кем-нибудь глазами, торжественно-серьезный взгляд их менялся и глаза становились по-детски счастливыми.

Завойко принял рапорт и поблагодарил экипаж за службу и за переход. Матросы прокричали: «Рады стараться!»

Невельской поздравил с благополучным окончанием зимовки и поблагодарил от имени губернатора.

Завойко объявил, что сейчас Невельской зачитает императорский указ о награждении экипажа «Байкала» за открытие устьев Амура в прошлом году. Невельской прочел, команда кричала «ура». Все матросы награждались деньгами.

Кузьмин выслушал приказание Завойко, приложил руку к козырьку и скомандовал: «Вольно». Он закурил трубку, с любопытством приглядываясь к Невельскому. Тот стал обниматься и целоваться со своими матросами.

— Здравствуй, брат Подобин!

— Здравствуйте, Геннадий Иванович! Мне ли письмо?

— Есть... И тебе, Веревкин. Вот от жены...

Матросы, стоя в строю, старались не пропустить слова. Капитан привез письма и еще несколько пришло в Аян с почтой, он все роздал. Многие не получили писем, но все почувствовали сейчас близость родины и каждый был благодарен капитану и встревожен, словно всем привезли вести из дому.

Матросам приказали разойтись. Они обступили капитана.

— Вот вам молодцы ваши! — сказал Кузьмин.

Невельской что-то буркнул, кивнув головой.

— Берегу их, как малых ребят, — добавил штурман. — Нежить приходится...

— Лишьком, Геннадий Иванович! — подхватил боцман Горшков, тоже получивший письмо и спрятавший его за пазуху. Он не желал выказывать слабости и бежать сразу читать.

Все были взволнованы и денежной наградой, и указом царя, и встречей, и письмами.

— Как, братцы, зимовалось на Камчатке? — спросил капитан, все еще не чувствуя в себе ни былой силы, ни задора.

— Шибко маслено! — заметил молоденький Алеха, желавший угодить капитану.

— Слава богу, Геннадий Иванович, — отвечал усатый приземистый Козлов. Он за зиму сильно поседел. — Помнили твой приказ! Радуйся, вашесбродие, все живы-здоровы!

Невельской радовался, но слабо, как радуется человек после тяжелой болезни своим первым нетвердым шагам.

— Терпели, как велел! — угрюмо подтвердил Иван Подобин — любимец капитана и постоянный критик всех его распоряжений.

— А где же Фомин?

— Я тут! — гаркнул здоровяк матрос с повязанным лицом. Тая дыхание, стоял он позади товарищей. В строй ему не велели вставать, у него распухло лицо, и он вылез на палубу, когда скомандовали разойтись. — Мне письмецо? — с испуганным видом спросил матрос, проталкиваясь. Он широколиц, с маленькими глазками.

— Нет...— Капитан внутренне смутился, что напрасно обнадежил, а матросы захохотали над Фоминым.

— Что такое, думаю, откуда? — сказал тот с деланно смешливым видом.— Никто никогда не писал!

Сегодня он видел, как получали письма товарищи, и, когда его выкрикнули, у него душа замерла. А хотел бы и он получить весточку.

— Ты еще шире в плечах стал! — сказал Фомину капитан.

— Разъелся на берегу! — молвил Шестаков.

Шестаков — самый грамотный и удалой в экипаже, самоучка, перерешавший за зиму весь задачник, подаренный ему капитаном, не получил сегодня письма. Ему должны были писать из дому на Охотск, он здесь не ждал вестей. Капитан сказал, что был в семье его брата, матроса, и что к ним в Кронштадт приезжала сестра из деревни.

Матросы рассказали капитану, что в Петропавловске зима была славная, заготавливали дрова, потом лед, как провели праздники, как шли оттуда.

— Своя земля! Соленая капуста да цвелье сухари. Рыба еще была — ели досыта.

Как-то странно, словно с обидой сказал это Шестаков. Жесткое решение капитана на самом деле многих задело за сердце. Не думали матросы, что капитан не исхлопочет им зимовку на Гаваях. Там у Шестакова остались знакомые, там славная земля, питание стоит гроши, жить можно было без тоски. Думать не хотелось, что доверия не было экипажу после таких открытий. Неужели боялось начальство, что схватим в Гонолулу венеру? Что погибнет дисциплина? Не раз говорили об этом матросы с осени на Камчатке. Но все, казалось, забылось со временем.

Завойко, Невельской и Кузьмин пошли вниз.

— Чего-то кислый наш Геннадий Иванович! — сказал Иван Подобин, когда матросы остались одни.

— Гулял всю зиму, теперь примется за нас! — молвил Конев.

— Теперь первое дело — Амур! — с важностью рассуждал Тихонов, получивший «старшего унтера».

— Аму-ур! — с насмешкой сказал Конев.

Он только что прочел письмо, присланное из пензенской деревни, и почувствовал неприязнь к службе. Ко-

нева всегда хвалили, но он никогда не умилялся начальством и, казалось, никакими торжествами или пламенными речами нельзя было зажечь его крепкую крестьянскую душу.

«Давнули где, что ль, нашего Геннадия Ивановича?» — размышлял Иван Подобин, желавший всегда и во всяком деле додумываться до причин. Без причины человек не мог так осунуться и перемениться взором. Судя по тому, как читали приказ и при каких чинах капитан вернулся — стал первого ранга, по службе ему везло... «Загадка! — решил матрос. — А может, еще и сам не знает, что и как делать... Эх, господа!»

Матросы заметили новые эполеты и перемену в лице капитана.

— Девки его истаскали за зиму! — при общем смехе добродушно объявил Фомин.

— За новые-то эполеты! Все обмывал их поди! — заметил Бахрушев.

Невельской вошел в каюту. Он вспомнил, как жил в ней, мечтал, надеялся...

— Василий Степанович! — воскликнул Невельской. — А ведь сама судьба за то, чтобы мне идти на «Байкале»! Ни «Охотска», ни «Ангары» еще нет, и бог весть когда они еще выйдут из Охотска.

Кузьмин просветлел лицом. Он уже толковал с Завойко на палубе, пока капитан разговаривал с матросами, и был очень недоволен тем, что «Байкал» пойдет на Камчатку, а экспедиция к Амуру отправится на «Ангаре».

Кузьмин шел в Аян в полной уверенности, что судно пойдет на Амур.

— Со дня на день суда будут! — ответил Завойко. — Ведь на «Охотске» идет ваш десант.

Невельской стал излагать свой план. Он предложил, не теряя времени, идти на «Байкале» на устье. Тем временем подойдет «Охотск». «Байкал» с Амура вернется в Аян, а «Охотск» сменит его и пойдет на Амур.

Завойко не желал мешать делу и не дал воли своим обидам. Он сразу согласился.

Долго говорили, что грузить, когда и как. Решено было сразу готовить судно к плаванью. На день команду отпускали на берег.

Когда Завойко и Невельской поднялись на палубу, чтобы съехать на берег, к борту подошла шлюпка, матросы с рук на руки стали передавать оленьи окорока, свежую рыбу, туеса с мороженой ягодой, бутылъ уксуса, любимого матросами. Подняли мешок с горячим хлебом — по приказанию Василия Степановича пекарня работала всю ночь.

По лишней чарке оба капитана назначили всей команде от себя.

На прощанье Кузьмин сказал Невельскому, что среди матросов было много толков, как пойдут к Амуру, — все они давно ждали этого.

Кузьмин знал, что Невельской очень ценил и любил команду «Байкала», что в прошлом году, уезжая в Петербург, принял меры, чтобы ее не расформировали и чтобы на зимовку она пошла, имея все необходимое.

Команда «Байкала» нравилась Кузьмину. Он считал за честь командовать судном, на котором матросы взяты из экипажей «Авроры» и «Ингерманланда». Тут не приходилось кричать. Люди делали все быстро. Экипаж подобран из здоровых и сильных людей. Многие теперь уже унтер-офицеры.

Тем удивительней было для него, что Невельской соглашался отпустить «Байкал» обратно на Камчатку, расстаться со своими матросами, которые так к нему рвались.

Кузьмин в душе не очень любил Василия Степановича, хотя и ладил с ним. Но по долгу службы он обязан стоять за охотское начальство, хотя и понимает, что лучшего администратора и хозяина, чем Завойко, в этих краях еще не бывало. Но сам он мог служить с кем угодно. Кузьмин дело знал, и его за это все уважали.

Кузьмин опять подержал руки офицеров в своей тяжелой огромной ладони.

Завойко и Невельской сели в шлюпку.

...Через день началась разгрузка. Работали казаки, якуты и матросы.

Пришла почта из Иркутска. От генерала ничего не было. Невельской получил письмо от Литке. Тот благословлял Геннадия Ивановича на подвиг, писал, что счастлив, верит, что скоро начнется движение на Восточном океане, советовал не нарушать обычаев жизни туземцев.

Завойко тоже получил письма. Одно из них было от якутского комиссионера Компании.

— Юленька, Юленька! Так я уже знаю, почему Невельской сошел с ума! — поспешил Василий Степанович с письмом в комнату жены. — Оказывается, наш Геннадий Иванович сватался в Иркутске к племяннице гражданского губернатора Зарина, которая давно любит другого... И она выдала Невельскому арбуз! Так вот почему он явился такой бешеный и бил по дороге якутов... А как дело было в марте, то арбуз, Юленька, был соленый!

Невельской пришел в гавань. Люди работали охотно. Шестаков раза два подавал дельные советы, как лучше разгрузить судно, что куда укладывать.

Капитан слушал своих людей и удивлялся. В прошлом году он их тянул за собой, объяснял им цель, принуждал, уговаривал. Нынче, казалось, поход на Амур им нужнее, чем ему. Матросы мгновенно исполняли любое приказание.

«Мне надо взять себя в руки, — думал капитан. — Люди ждут от меня подвига, а я, кажется, раскис. Они рвутся туда, и уж не я их, а они меня тянут вперед, меня, павшего духом.

У людей не было видно ни тени огорчения, обиды, озлобления, недоверия, как в прошлом году осенью, когда прощались. А что бы случилось, если бы «Байкал» зимовал в Охотске и там команду растасовали бы? Теперь, при таком падении своих сил, я никогда бы не нашел новых людей!»

— На Амуре я, Геннадий Иванович, уговаривал одну... — рассказывал Фомин, когда матросы отдыхали. — Ох, соглашалась!

— Гилячка? — спросил капитан.

— Как же! Черноморденькая! Теперь бы встретить ее! Вот Козлов не верит, а я говорю, гиляки исподнее тоже носят, на бабах штаны из рыбьей кожи... Как камчадалки. Одинаково!

Матросы смеялись.

Вечером Кузьмин, Завойко, поп и Невельской опять играли в карты, пили виски, спорили...

Ночью Невельской сидел над бумагами, готовя их к отсылке в Иркутск.

Судно стояло на рейде. У Евграфа Степановича все готово. Невельской задерживался на берегу. Кузьмин уж

знал теперь, что он за человек. У него мысли, кажется, рождаются сразу по две или по три, и он бежит от дела к делу, хочет исполнить то, что невозможно сделать одному, а Завойко не очень ему сочувствует, вот Невельской и крутится как белка в колесе.

Матросы тоже ожидали приезда капитана. Они не собирались его ни о чем спрашивать, полагая, что в плаванье поговорят с ним по душам. Они слышали в Аяне, что капитаном тут недовольны, что он со здешним начальством не ладит.

Наконец приехал капитан.

— Молодец Завойко! — сказал он Кузьмину, поднявшись на палубу. — Как обещал, так все и сделал!

День был ясный, когда вышли из бухты, море, казалось, набухло, оно стало громадней, светлей, пошло навстречу судну большими, пологими, светлыми, голубовато-зелеными волнами без гребней. Изредка вдали вспыхивали белые огни. Это гребни дальних волн отражали слепящее солнце.

«Я иду вперед, — подумал капитан, — а мысли мои позади». Сегодня долго думал он над бумагами, посланными в Иркутск. Не то хотелось бы написать туда...

— Что же это, Геннадий Иванович, открывали мы, а займут охотские? В десант так чужие, — говорил вечером Подобин, стоя у руля. — Такую силу везем: пушки, груз, продукты такие хорошие, товар какой! Я посмотрел — одно сукно чего стоит!

— А зачем тебе такое сукно?

— Заслужил бы... Своим послал...

На «Байкале» тихо. Кузьмин и Невельской негромко отдают команду, нет ни рева в трубу, ни матерщины. Гоцман тоже не орет, люди делают все быстро и дружно. Вот они побежали к левому борту, взялись за снасти, и уж исполнено приказание: все расходятся.

— Хочу, брат Подобин, часть наших людей взять в экспедицию, — говорит капитан своему рулевому.

— Вы уж берите всех с судном...

Пробили склянки. Подобин сменился.

— Чего тебе Геннадий Иванович сказывал? — спросил его Козлов, когда капитан сошел вниз.

— Чё-то не ухватилось нашему капитану, — уверял Фомин. — Подменили его... Красоточка какая-то околдовала.

— Завойко ему не потрафил, — ответил Подобин.

— Сам сказал?

— Нет, он ничего не говорил. На «Охотске» команда из здешних, видно, Завойко хочет своим дать выслугу...

Матросы не забыли присланную на судно черемшу, бруснику и свежее мясо, они только удивлялись, почему Завойко зол на капитана. Объяснение нашлось — у Невельского чины, он в Питере был, а этот сидит в Аяне.

— Погоди еще... он нашего капитана обставит, — заметил Конев. — У Завойко — сила! — И добавил потихоньку: — Куда нашему до него! Вот у Завойко зимовать. Этот бы прокормил.

Утром синели на траверзе полосы Большого Шантара. Дул попутный ветер. Шли под всеми парусами.

Шестаков ходил заниматься к капитану и, возвратившись, сказал, что «Байкал» в Амур не пойдет.

— Нас, брат Шестаков, не спрашивают... Приказано ставить пост на Иски! — молвил старший унтер-офицер Бахрушев.

— Место нехорошее...

— Что же поделасшь! Якорная стоянка, пресная вода, что еще нам надо?

— Капитан говорит: «Поставлю пост, а уж там посмотрим...»

— Это он может! — согласился Горшков.

Шестаков замечал, что капитан пишет какие-то бумаги, буквы на них крупные, писаны не по-русски... Похоже, объявления... «Где он их приклеит?» — думал матрос.

...Кузьмин покуривал трубку и молчал.

Уплывала вдаль слабая синь Большого Шантара. Пропли остров Кусова, похожий на крутую гору среди моря. Видны за кормой его темные морщины в густых лесах и желтоватые грани стосаженных скал. Море вздувается под ними, медленно подымая на скалы белые кружева.

— Где будем сгружаться, вашескорodie? — спросил Фомин у Невельского.

Такие разговоры разрешались еще на «Авроре» у Литке. Когда капитан появлялся на баке, матросы говорили обо всем, что их тревожило.

— Десант высадим в заливе Счастья.

— Где рыба шла? — спросил матрос.

— Да, где шла рыба, где много было белух в прилив...

— А кто же пойдет на устье?

— Пока поставим пост на Иски.

— Надо бы устье занимать, Геннадий Иванович,— сказал Козлов.

— Конечно, надо!

— Братъ, так за рога! А почему нас сменит «Охотск»?

Невельской объявил, что «Байкал» берет больше груза и пужен для транспортировки на Камчатку.

— На одну ложку две горошки хотят, Геннадий Иванович! — сказал Козлов.

Лицо Невельского быстро оживилось, взор принял воишественное, обычное для него, острое выражение.

«Вот он когда ожил!» — подумал Иван Подобин, тоже торчавший на баке. Он не был на вахте.

«Подлецы! — подумал капитан. — Матросы понимают!»

— Я, Геннадий Иванович, хочу спросить... — заговорил Шестаков.

— Пожалуйста...

— Когда описывали полуостров Князя Константина, вы говорили, что надо там пост поставить...

Невельской улыбнулся.

— Я пойду туда после.

Матросы неодобрительно молчали. «После» — это значит не с ними, а с охотскими.

— Ты много хочешь, Шестаков. Да ведь мы уже говорили с тобой.

Матросы стали вспоминать знакомых гиляков, беглого русского, названия селений, хотя и перевирали их. Теперь, когда снова подходили к устьям Амура, все вспоминалось.

— Что же, Геннадий Иванович, сгрузим десант, и все? — спросил Козлов.

— А что бы ты хотел?

Матросы утихли. Никто не ответил.

— Когда сгрузимся, тогда посмотрим! — сказал капитан. — Еще не знаем, как там наши, как Дмитрий Иванович.

— Сам Амур открыл, а говорит, что пост будет в счастье! — рассуждали матросы.

— Что ее открывать? — отозвался Конев. — Река и река! Она сама открыта. Зашли и смерзли.

— Он уж знает, где что ставить! — сказал Тихонов.

— Это мало важности, что капитан...— отвечал Конев недовольно.

Капитан сказал, что вызовет добровольцев из экипажа, которые пожелают остаться с ним на берегу в экспедиции.

Конев в душе считал себя открывателем Амура. Он первый в прошлом году во время описи заметил стада белух, решил, что, видимо, идут за рыбой на пресную воду, и предсказал, что близка большая река.

А реку первый увидел Веревкин и считал себя первооткрывателем. Оба матроса из-за этого недолюбливали друг друга.

На траверзе синел островок Рейнеке, тупой лиловый мыс Литке слился с вечерними сумерками. Утром видны были огромные утюги сопок, между ними лес, внизу отмели. К полудню сопки стали ниже и отошли от берега, над отмелями тянулась низкая темная полоса тайги. И эта полоса стала отходить, отделяться от отмелей, а пески стали выше, шире, круче... Вскоре тайга совсем исчезла за ними. Прибой грохотал и вил вихри у крутой косы. За сплошной полосой песка, очень далеко, чуть голубели лесистые хребты.

— Коса Иски начинается,— сказал капитан.

Штурман взял высоту. Матросы узнавали место. Близок был вход в залив Счастья.

На берегу стали видны лодки и толпа гиляков, из-за косы вился дымок.

Кузьмин на пляшущей по волнам шлюпке отправился туда с шестью матросами.

Глава седьмая

В ДЕНЬ ПЕТРА И ПАВЛА

Когда Кузьмин вернулся, Невельской съехал на берег, увидел гиляцких собак, ослепительно чистый, сверкающий на солнце песок, нескольких гиляков на возвышении. Он поднялся к ним.

За косой открылся тихий, мирно сверкающий залив Счастья. Невдалеке гиляцкие юрты, около них на песке нарты со щербатыми белыми полозьями из старых ребер кита; рыба и красные туши нерп сушатся повсюду. Он

почувствовал, что счастлив видеть все это и что в нем рождается былая энергия.

Навстречу капитану через косу быстро шел высокий, чернобрый человек в гилияцкой рубахе.

— Дмитрий Иванович!

— Геннадий Иванович!

— Поздравляю, мой дорогой! Вы — поручик корпуса штурманов. Чин возвращен вам.

Орлов обнял Невельского.

— Харитина Михайловна здорова, послала письмо, гостинцы, бочку браги... Все благополучно. Как у вас?

Они сели на песок. Орлов, вытирая пальцами слезы, некоторое время не мог говорить. Вокруг уселись лохматые гилияки и матросы, тут же устроились гилияцкие собаки.

«И в самом деле, — подумал капитан, — разве мне одному отказали? Чем я лучше других? Не гибнуть же из-за этого... Больно было, но вот я опять крепок. Разве я проклят и не встречу в жизни человека, который полюбит меня?»

— Как вы сказали? — спросил он Орлова, не вникнув еще в смысл его слов, но удержав в памяти конец фразы: «...лес рубить надо на той стороне».

Орлов, чтобы недаром шло время, нанял гилияков заготавливать бревна для построек, но не знал, где строиться, было на примете несколько удобных мест.

Невельскому тут нравилось, и приятно было сидеть с гилияками — не хотелось уходить с этого прокаленного солнцем песка, от этих слабо набегающих из тайги запахов.

— На той стороне залива лес очень хороший, — повторил Орлов. — Гилияки охотно взялись нам помогать. Вот они, наши лесорубы!

Гилияки, сидевшие вокруг капитана и Орлова, смотрели на него пристально.

— У меня урядник и двое казаков на «Байкале». Они рубщики.

— Не Николай ли Пестряков?

— Он и Егор с Андрияном...

В Аяне были слухи, что Орлов погиб, что гилияки враждебны и никогда не позволят на своей земле обосноваться. А тут все мирно и спокойно. Гилияки сидят доверчиво, и по лицам их видно все лучше, чем из любого рапорта.

И рубят они лес... Видно в дружбе с Дмитрием Ивановичем.

Орлов рассказал, что река Амур, на устье которой прибыл он в апреле, вскрылась месяц тому назад, а здесь льды ушли только что... И сейчас еще видны были кое-где, как бы чудом сохранившиеся на солнцепеке, глыбы льда.

— А на Амуре лед давно прошел, и южный фарватер вскрылся еще в мае. С юга подходило к лиману какое-то судно...

— Сами видели?

— Видел сам, Геннадий Иванович!

Орлов рассказал об исследованиях, что производил всю весну.

Невельской приказал сигналить Кузьмину, который сразу после встречи с гиляками, отдав им доску-талисман, вернулся на судно. Сигнальщик передал, чтобы ждали гиляка-лоцмана идти в залив.

Подошел высокий гиляк.

— Здравствуй, капитан! — сказал он, протягивая руку Невельскому.

Тот поднялся и пожал ее.

— Это Позь, Геннадий Иванович. Мой приятель и проводник.

У Позя широкое лицо, умные, зоркие глаза.

— Надо вести судно в залив! — сказал ему Орлов по-гиляцки.

— Поедем, капитан! — обращаясь к Невельскому как к равному, сказал Позь.

Орлов сходил за своими вещами в гиляцкую юрту.

Все спустились с обрыва вниз. Прибой время от времени накатывал большую волну. Матросы, Позь и Невельской, подхватив шлюпку за борта, побежали по кипящей воде. Море угостило их несколькими сильными ударами, окатило с ног до головы. Они прыгнули в шлюпку, сразу их подняло на огромную высоту, матросы налегли на весла, и шлюпка полетела вниз. Отошли от берега, и волны сразу стали меньше. С трудом перепрыгивали на шторм-трап и забирались на борт «Байкала». Шлюпку подняли.

Теперь на песчаном берегу виднелась маленькая кучка гиляков.

— Здоров, Евграф! — воскликнул Орлов.



— Магарыч, магарыч с тебя, Дмитрий,— говорил Кузьмин, обнимая старого приятеля, и вытер глаза двумя короткими толстыми пальцами. Тяжелое, загоревшее лицо Орлова было спокойно, когда капитан отдал ему письмо Харитины Михайловны. Только руки дрожали, когда он прятал письмо за пазуху, видимо, так же как Горшков в Аяне, желая отложить чтение на другое время.

Позь встал рядом с Подобиным. По тому, как он рукой показывал, куда держать, Невельской решил, что гилек бывал на кораблях прежде.

Судно вошло в залив. Тут дул тот же ветер, но поверхность воды была зеркальна. Отлив, вода низкая, вдали полосы мелей и лайд, на их мокрую грязь, видно, нанесло морскую траву, они кажутся желто-зелеными. Множество

куликов, как белые искорки, рассыпаны на мелях, толстые черные утки, похожие на бутылки шампанского, пролетают парами.

— Вери гут! — сказал Позь.— Отдавай якорь, капитан! И гиляк пошел с юта.

Невельской, Кузьмин, Орлов, боцман Горшков, Позь и казачий урядник собрались в каюте капитана. Невельской объявил императорский указ об основании поста в заливе Счастья. Обсуждали, как свозить тяжести и десант, как доставлять лес, кто пойдет на лесорубку, как выбирать место для поста, делать промеры.

Оставшись с капитаном и Позем, Орлов рассказывал о своих наблюдениях за приливами и отливами. По его словам, вход в залив Счастья и выход из него вполне возможны в самую малую воду. Позь подтвердил это.

Орлов наблюдал также за режимом льдов в лимане, за вскрытием реки и делал промеры на фарватерах, ведущих из лимана. Он рассказал очень неприятную для Невельского новость, что при сильном южном ветре на северном баре, при отливе, такой сгон воды, что фарватер сильно мелеет. А на юге лимана в эту пору море уже чисто и фарватер южный открыт. Туда, видно, идет главная масса речной воды.

Невельской озаботился всем этим.

— Мы весны тут не видели, Геннадий Иванович! — говорил Орлов.— Ждем судна, а лед все ходит, все гоняет его течением от Амура и к Амуру, как прилив и ветер прибойный — льды найдут с моря — станет зима!

— Я видел такую же картину в Аяне...

Говорили о гиляках и маньчжурах, о их взаимоотношениях, о здешней туземной торговле.

— Китоловы, Геннадий Иванович, все знают залив Счастья. Здешние гиляки терпят от них. Тут у них стоянка и налив пресной воды на речке Иски. Коса и стойбище гиляцкое тоже называется Иски. Верстах в четырех от устья у них зимники. Там тайга, охота хорошая и зимой теплей, чем тут, на косе... А летом приходят суда, торгуют с китоловами... И рыба тут морская, нерпы, белухи...

Орлов опять помянул, что южный фарватер удобен, что всюду ходят китоловы и что здесь льды, что южный фарватер, ведущий в Японское море, вскрывается раньше северного и раньше залива Счастья почти на целый месяц.

Невельской возбужденно заходил по каюте. В нем подымалась новая волна озлобления.

— Мы будем сидеть во льдах в заливе Счастья, а любое судно тем временем через южный фарватер сможет заходить в реку... Подлецы! Лезем и в Иерусалим, и в Грецию, а Сибирь не можем защитить.

Орлов не сразу понял, кого Невельской честит. Даже тут, в далеких краях, люди побаивались в те времена подобных суждений.

— Решено обойтись полумерами, Дмитрий Иванович! Не позволяют занимать Амур! То, что я прочел, это все! — сказал капитан. — Пока иного нет. И еще, слава богу, что есть этот залив и его разрешено нам занять! Действительно — залив Счастья! А что бы мы делали, если бы его не было! За что зацепились бы? Но мы с вами не должны ждать, когда китобой войдут в реку... Наше дело, Дмитрий Иванович, — сказал Невельской, уставившись на собеседника, — действовать! Повеление исполним, Дмитрий Иванович! Но если мы, — он засмеялся суховатым неприятным смешком, — будем делать только то, что свыше велено, — все погибнет! Будем исполнять, что сами найдем нужным, что нам подскажет здешняя обстановка.

Орлов надеялся, что с приходом судна окончилась эта постоянная тревога, когда ждешь, что вот-вот маньчжуры явятся и всадят тебе нож в спину. Как ни дружественны были гилияки, но все же они страшатся маньчжур, да и у гилияков законов нет. Нож их закон! С ними говоришь и не знаешь, чем вдруг можешь обидеть. Однажды какой-то нустяк в юрте сделал, а они вдруг как вскочат все и закричат. Оказывается, нарушил обычай. Лег спать не в ту сторону ногами. Еле уладил.

Эти долгие месяцы Орлов жил совершенно один среди чужого народа и ладил с ним, хотя никто не знает, чего это ему стоило.

— На Амуре, конечно, лучше бы строиться! — уклончиво заметил он.

— Пост ставить будем тут. Надо укрепление выстроить, днем и ночью быть наготове, если кто сунется — рыло разобьем!

— Когда я жил на Погиби, приезжали гилияки с южного побережья, — продолжал Орлов свое, — и рассказывали, что нынче, как только море у них очистилось, кроме

того корабля, который я сам видел, приходили еще два больших судна и стояли на якорях, ждали, когда разойдутся льды, и хотели идти на север искать проход в реку, делали промеры, но не дождались будто бы и ушли...

— У европейцев есть и китобои грамотные, могли читать перевод с японского, описание Мамио, и попытаться все проверить, да и от туземцев они многое могут узнать.

Вечером сделали баню. Двое матросов парили Орлова и окатывали горячей и холодной водой. Орлов не только давно не парился, но и не мылся. В заливе вода все еще холодная.

Спал он в каюте. Думал с вечера о том, что писала жена. Он ждал ее с «Охотском».

Утром капитан и Орлов, взяв с собой боцмана и казначьего урядника, съехали на берег.

Шлюпка пробороzdила килем песок. Краснолицый Колев выскочил, держа конец.

Здесь тихо, не то, что с морской стороны. Там за косой шумело и волновалось море, казалось оно выше песков.

Офицеры, сопровождаемые гиляками, поднялись на гребень косы, поросший кедровым стланцем и можжевельником. Перед ними расстилались бледные воды залива со множеством банок и отмелей. Большой и низкий песчаный остров Удд тянулся на юго-восток. Кулики и утки носились повсюду. Видимо, на острове были их гнезда. Между косой и островом пески и море.

Место невеселое, но Невельскому оно нравилось. Воротами в море синел узкий пролив между низкими песками. Там грохотал бурун.

По другую сторону косы, все в белых гребнях, шумело иссиня-зеленое море, иногда прыгали белухи, показывая свои белые спины, чернели головы нерп. Чайки белой пуховой тучей висели над морем, наполняя воздух страстными криками. Их было бесчисленное множество, и они белели повсюду, куда только хватал глаз, кажется, до самого горизонта металась пушинки, разносимые ветром. Толстые и жирные, они, когда море выплескивало рыбную молодь, падали на разбившуюся волну и с рыбой в клювах летали совсем низко, у самых лиц людей, стоявших жалкой кучкой на этом огромном песчаном берегу.

Невельской чувствовал, как он мал среди этой великой природы. А окружающие ждали, что скажет капитан, и

все обращались к нему. Но то, что пришло ему на ум при виде этих туч чаек над зеленым прибоем, он не мог высказать никому...

— Осенью большая волна идет,— заговорил Позь, показывая рукой на море,— как сюда ударит — и пойдет на залив. Если шибко крепкий шторм, тогда худо...

Позь провел всех туда, где коса выше.

— А юрты ваши не смывает? — спросил Орлов, косясь на Невельского и говоря все это для него.

Позь помолчал, морща лоб, и живо обернулся к старым гилякам, повсюду сопровождавшим капитана, и спросил, не было ли на их памяти подобных случаев.

— Нгы, нгы,— замотали те головами и стали что-то объяснять.

— Нет... юрты не смывает,— перевел Позь.

Офицеры и гиляки обошли всю косу, побывали в зарослях стелющегося кедра на гребне; ближе к лесу кедр стал крупней и стволы его были не так корявы и даже выше людского роста. Прошли через гиляцкое стойбище. Дети, женщины вышли встречать гостей. Старики приглашали их в свои дома.

Шагах в пятистах от стойбища Позь остановился.

— Вот тут, капитан, хорошее место! — сказал он.— Глубоко. Как раз подойдет судно! Коса высокая. Вода осенью через косу пойдет, мало пойдет, много не пойдет.

Невельской решил завтра начать делать тщательные промеры от этого места до входного мыса, исследовать залив.

— Тут как раз прямвахтер! — сказал Позь, показывая на мыс. «Прямвахтером» он называл прямой фарватер.

— А ты как думаешь, Шестаков? — спросил капитан.

— Китолов сюда приходит? — спросил матрос.

— Конечно! — ответил Позь и хитро прищурился.

— Гиляки, Геннадий Иванович, хотят, чтобы мы рядом стояли.

Урядник спросил, близка ли тут вода, можно ли копать колодцы. Боцман Горшков поинтересовался, есть ли берегом дорога на речку Иски, что впадает в залив.

Гиляки отвечали, что колодцев не копают, что тропа на речку есть, но далеко, и летом никто пешком не ходит, ближе на лодке доехать, что китобой бывают, грабят и обижают.

— Тут русские жить будут? — спросил у Позя один из стариков.

— Да, будут тут жить.

Невельской велел сказать гилякам, что китобои не будут их больше обижать, что русские этого не позволят, нарочно селятся там, куда приходят китобои.

Гиляки стали ему кланяться.

— Мы знаем тебя, ты хороший человек! — похлопывая капитана по плечу, сказал один из стариков.

Молодой гиляк с косой показал на море.

— Американ! — сказал он. — У-у! Паф-паф! — Гиляк схватился за грудь, как бы показывая, что ранен.

Все засмеялись.

— Американ... — Гиляк быстро сделал движение рукой, показывая, что корабль входит в залив. — Русский паф-паф! Американ бурл-л... — представил он как бы захлебывающегося водой человека.

Гиляк этот, по имени Чумбока, был, кажется, всеобщим любимцем. Едва он начинал говорить, как все оживлялись.

Позь позвал гостей в стойбище. Зашли в одну из юрт. Подали угощение: японскую рисовую водку, которую хозяин разливал в маленькие китайские чашечки.

Хозяина звали Питкен. Трудно сказать, сколько ему лет. Он румян, широколиц, живой, бойкий, веселый. У него еще молодая жена.

Гиляки стали рассказывать, что южнее устья Амура есть залив, туда входят суда, там очень хорошие места. Они чертили все это на бумаге, в записной книжке капитана, показывали, как течет Амур, как и где впадают в него реки, где тропы в страну русских, где перевалы с Амура к морю и какие там гавани. Позь торговал и во время своих поездок бывал очень далеко. Он рассказывал про Сахалин. Сказал, что южнее моря теплее, водятся акулы, киты тоже есть. Когда у него не хватало русских слов, Афоня помогал.

— Вот этот парень жил у японцев, — говорил Афоня, показывая на молодого гиляка Чумбоку.

— Это мой лесоруб. Он каждый день спрашивал, когда капитан придет, — сказал Орлов.

— Почему он с косой? — спросил капитан.

— Он не гиляк, а гольд, бежавший от преследования. Гольды носят косы, у маньчжур моду переняли.

Гиляки опять угощали водкой, ягодой с жиром, мясом и долго рассказывали. Матросы и казачий урядник заметно утомились.

— Ну, можно у вас тут строиться?

— Можно!

— Мы Дмитрия Ивановича не обижали,— сказал хозяин,— он оставлял у нас товары свои, мы их не трогали...

На судно вернулись поздно.

Утром по свистку боцмана всех подняли на аврал. Приехал Позь. Пришло несколько лодок, в них человек двадцать гиляков. Матросы спустили на воду баркас, шестерку и вельбот.

Началась перевозка грузов.

Капитан с четырьмя матросами отправился на вельботе делать промеры.

Чумбока, подойдя в лодке борт о борт к вельботу, тронул Невельского за руку и показал в море. Далеко-далеко, как белое перо, воткнутое в воду, виднелся парус китобоя...

В день Петра и Павла на косе установили мачту.

Невельской объявил своей команде, что в память государя Петра Великого — основателя русского флота, предвидевшего значение Тихого океана в развитии государства, пост будет называться Петровским.

Прочитали молитву. Подняли флаг. Матросы дали залп из ружей.

Наступило время отправлять «Байкал» в Аян. На смену с десантом и запасами должен прийти «Охотск» или «Ангара».

Невельской составил длинный список разных предметов, которые оказались нужны сверх того, что предполагалось прислать сюда на «Охотске».

— Только бы Василий Степанович не задержал «Охотска»,— сказал Кузьмин.

— Он дал мне слово, что не задержит.

— Мало ли что бывает,— уклончиво молвил Кузьмин.

«Конечно, он может «Байкал» взять, а судна мне не прислать. Уж что-то он очень любезен был, когда меня провожал, и все твердил, что сам, мол, сделает все, что на его слово можно положиться как на каменную гору.

Может быть, это фальшь?» Теперь, когда рядом были такие ясные, трезвые и простые люди, как Позь, Кузьмин, матросы и гиляки, неприятно, даже противно вспоминать свое аянское житье-бытье у Завойко и все ссоры с ним, а еще неприятней его любезности. За всем самому надо следить, чтобы потом локти не кусать: тут жаловаться некому.

Отправились на гиляцкой лодке к лесорубам. Озеро мелело. Зелень на лайдах, морская трава, опять утки. Стало совсем мелко. Озеро превратилось в болото.

Вскоре показалась палатка лесорубов.

— Что же это, Геннадий Иванович, за топоры! Лиственницу не берут, — пожаловался урядник Пестряков, прибывший сюда накануне на гиляцкой лодке. — Вот посмотрите!

— Завтра пойдет «Байкал», я напишу в Аян. Это наша с тобой вина, мы проглядели в Аяне.

— Разве Василий Степанович станет выбирать по письму хорошие топоры? Да ему теперь некогда! Надо кому-то ехать туда, чтобы самим отобрать.

Капитан осмотрел лес, палатку, где жили урядник и казаки, стоящий рядом шалаш лесорубов-гиляков.

Когда Невельской вернулся на косу, Позь спросил:

— Капитан, судно куда пойдет? В Аян?

— Да...

Позь бывал в Китае и у японцев на промыслах, он видел много разных народов.

— Поехать бы юрты Дмитрия Иваныча посмотреть, — сказал он, хитро улыбаясь.

Невельской ничего не ответил.

Виды новой страны лечат душевные раны. В эти солнечные дни, когда Петровское зимовье было заложено, и на пустынном месте начал основываться первый на Амуре пост, и закипела бурная работа, — стало действительно то, что много лет было лишь мечтой, — Геннадий Иванович почувствовал, что ему легче. Он снова обретал энергию и твердость духа. И каждое бревно, пригнанное по воде на пост, радовало его... Свое неудачное сватовство он, казалось, вспоминал спокойней. Но он помнил все — с первого счастливого дня и до последнего, когда он вышел из кабинета Зарина.

Ему захотелось написать Владимиру Николаевичу, объяснить, почему так все случилось. Капитан последнюю

ночь проводил в своей каюте. Завтра он съедет на берег, а послезавтра, чуть свет, «Байкал» выйдет из залива.

«Но сделает ли Завойко то, что надо? У Василия Степановича правило — своя рубашка ближе к телу. Где возможно будет, он урежет, и я получу все с опозданием. А может, в Аяне есть письма для меня, и я узнаю, что в Иркутске?..» Эта мысль задела капитана за живое. «Может быть, действительно мне сходить на «Байкале» в Аян самому? А то я буду сидеть тут и ждать погоды, когда Василий Степанович соблаговолит все отправить. Кузьмину он откажет, а мне не посмеет... И надо мне написать письма и все покончить... Пора забыть ее... Я должен написать Владимиру Николаевичу и Пехтерю. Я должен все забыть. Мое счастье — корабль, море, открытия. Вот моя семья...»

Он желал поступить благородно по отношению к Екатерине Ивановне. «Напишу Владимиру Николаевичу, пусть она навсегда простит меня, и попрошу его забыть все, мы должны с ним помириться, попрошу прощения, если оскорбил его. Ведь я ничего не знал! Никто не сказал мне ничего...»

Он решил написать также и Пехтерю — жениху Екатерины Ивановны, извиниться и перед ним.

Он желал отречься от своей любви, но при всяком воспоминании об Аяне и Иркутске испытывал сладкую боль и ловил себя на этом чувстве. Его тянуло в Аян, иногда ему казалось, что какая-то надежда еще есть, иногда объяснял он свое желание ехать в Аян тем, что там его ждут, быть может, важные известия от Муравьева. Когда он ехал по Лене, он тоже ждал почты...

«Но какая надежда? На что я могу надеяться? Все кончено. Она вышла замуж, на что же я смею еще уповать? Зла Пехтерю я не хочу. Смешно ненавидеть человека за то, что она его любит. Он и сам мне нравился, я всегда был с ним хорош, он неглуп, казался мне милым и скромным...» Вспомнилось, как несколько раз Пехтерь вечерами приезжал во дворец, заходил к «честной братии нижнего этажа» и вид у него был расстроенный, кажется, хотел он узнать что-то... «Все ужасно получилось, и я был безумен, — полагал Невельской, — судьба моя решена, но пусть у них не будет обо мне дурного мнения, пусть они будут счастливы...»

Сказано — сделано... Надо идти на «Байкале»! Стало легче на душе, казалось, теперь он совсем не сожалел о полученном отказе.

Надо было писать Перовскому, Меншикову, великому князю и генералу, сообщить то, что видел, чего не знать им нельзя, описать прибытие на косу, дружескую встречу с гиляками, сообщить о результатах экспедиции Орлова.

«Зачем лезть на рожон? Зачем губить себя? Я все подготовлю этими письмами и тогда рискну...— думал он.— Теперь надо как следует объяснить им все обстоятельства, особенно сказать об иностранных судах, которые подходят к южному фарватеру, чтобы потом, когда я сделаю дело, понятно было, что я не мог поступить иначе».

Потом он подумал, что в Аяне могли быть письма и из России от матери, от друзей и от Миши.

Капитан вспомнил, что есть на свете Миша, генерал, родные, друзья. Захотелось еще раз туда, где он мог почувствовать родину, стоявшую за его спиной. И даже встреча с Завойко теперь уж не представлялась ему чем-то неприятным. Он надеялся, что сделает все без больших разногласий с ним.

Утром он объявил Кузьмину и Орлову, что идет на «Байкале» в Аян.

Девять матросов с «Байкала» вызвались перейти в экспедицию. Они и трое казаков оставались на косе с Орловым. Невельской оставлял им вельбот и баркас. Еще накануне с «Байкала» свезли фальконет, бочки с порохом, ядра. На берегу, у мачты с флагом, белели две палатки. Рядом матросы и казаки ставили сруб избы. Сегодня все в сборе.

Невельской съехал на берег, собрал людей у мачты и объявил, что уходит в Аян, вернется сразу, как только будет судно.

Матросы оставались охотно. Тут — дичь, свежая рыба, запасы муки. Славный кок — Фомин.

— А как с десантом, Геннадий Иванович? — спросил Козлов.— Когда подмога будет?

— Я иду за ней.

Весть, что капитан пойдет на «Байкале», облетела всех и на судне и на берегу. Казаки писали письма домой, матросы просили добыть в Аяне все нужное для зимовки, урядник уверял, что недодали продуктов. Орлов писал

жене свои соображения, что ей сюда ехать надо не сейчас, а осенью.

«Гиляки, казаки, матросы — все ждут от меня чего-то, что я в Аяне разрешу все их дела, в рот мне смотрят и готовы за меня, кажется, в огонь и в воду... Так зачем мне «то» общество? Вот люди, для которых я живу и жить буду, я с ними, это мой мир... Матросы мои меня радуют, девять человек согласились охотно остаться в экспедиции, а у меня на душе боль и тоска, что я не таков, каким должен быть. Нет, еду в Аян, рву все окончательно...»

Глава восьмая

ДЕПУТАТЫ

Капитан заканчивал наставления уряднику Пестрякову, когда Позь с Афоней вошли в палатку.

— Ты уходишь на корабле, капитан? — спросил Позь у Невельского.

— Ухожу.

— И Дмитрия Иваныча возьмешь?

— Нет.

Гиляк присел. Пот катил градом с его лица.

Невельской заметил, что Позь, кажется, чувствовал какую-то перемену в планах русских и, быть может, угадывал в них что-то непрочное.

Капитан только что хотел послать за ним урядника.

— Хорошо, что ты пришел.

Всю весну Позь помогал Орлову, ездил с ним всюду, производил промеры, знакомил его с людьми. Орлов говорил, что когда придет на судне капитан, устье реки будет занято русскими. Но вот капитан пришел, стали строить пост, но к югу русские не идут, а капитан уезжает в Аян. Позю это не нравилось. Зачем же народ встревожили? Позь связывал с действиями русских свои виды на будущее. Он работал не только потому, что хорошо платили. «Для чего же мы с Дмитрием старались?»

— Ты, капитан, на Амур не идешь, а уезжаешь обратно, почему так? Наши люди много будут об этом говорить, если ты уедешь. Все надеялись, что ты пойдешь далеко по Амуру и займешь там места, как обещал Дмитрий.

Капитан закусил ус. Гиляк попал ему не в бровь, а в глаз. Лишний раз он убеждался, что слово, данное гилякам, держать надо крепко.

«Действительно, подло мы выглядели бы перед ними с нашей трусостью и полумерами».

— Это правда,— сказал Невельской.— Но я подумал хорошенько и решил, что должен поехать на несколько дней в Аян.

— А люди подумают, что тебе у нас не понравилось. Ведь ты раньше не хотел этого делать. Старики говорят, что ты, наверно, струсил...

Невельской стал объяснять, что в Аян придут грузы, там надо выбрать для экспедиции хорошие товары.

Это было понятно Позю. Он торговец и знал, что нелегко выбрать нужные товары.

— Ты оставляешь тут людей?

— Да. Двенадцать человек.

— Люди говорят, что, быть может, вы все потом уйдете. Что им отвечать? Ведь мы помогали вам, манчжурские купцы нам этого не забудут.

— Отвечай всем, что иду за товаром. Караваны с товаром еще не подошли, когда мы уходили из Аяна. Я судно это оставляю там, возьму другое.

— «Байкал» оставишь?

— Да, «Байкал» оставляю. Он нужен в другом месте.

Капитан не мог объяснить, что опасается остаться совсем без судна. А Позь опасался остаться без капитана.

Вошел Орлов. С ним был Чумбока.

— Здорово, Позь! Ну, сказал капитану, что хочешь поехать в Аян? Он хочет поехать погостить к нам в Аян, Геннадий Иванович, посмотреть наши юрты.

Офицеры как-то говорили между собой, что хорошо было бы, если бы представители гиляков явились в Аян. Они рассеяли бы все ложные представления о взаимоотношениях экспедиции с гиляками. Завойко бы с ними поговорил и убедился... А то в Аяне верили слухам, будто гиляки хотят вырезать экспедицию.

— А разве ты хочешь ехать? — спросил Невельской.

— Конечно! — оживился Позь.

— Так. Пожалуй, возьмем тебя.

— Я давно хочу в Аян поехать,— улыбнулся Позь.

— Там большой начальник? — спросил Чумбока.

— Большой... Больше меня.

— Он все запишет, что ты скажешь,— добавил Орлов, обращаясь к Позю,— и отправит в Петербург к царю.

— Плохо, капитан, что не пойдешь на Амур! — внезапно ввязался в разговор Чумбока.

Невельской знал, что гольд весной помогал Орлову. Историю его Дмитрий Иванович рассказывал.

— Я ждал тебя, думал вместе пойдем,— продолжал Чумбока.— Но зачем же ты пойдешь в Аян, ведь ты уже ходил один раз?

Невельской повторил объяснения.

— И тот раз ты говорил людям, что вернешься и пойдешь на Амур, а не пошел и опять уезжаешь... Еще раз вернуться хочешь? — спросил Чумбока.— Что же ты зиму делал?

— Всегда сначала надо хорошенько подготовиться,— заступился Позь за капитана.

— Я бы тоже хотел с тобой поехать, посмотреть, как ваши люди живут. Хочу видеть, что там такое, что ты все время туда едешь,— продолжал Чумбока.

— Дай-ка закурить, капитан! — сказал Позь, с расстроенным видом усаживаясь на табуретку.

Чумбока тоже набил трубку. Он похлопал капитана по плечу.

— Вот мы тебя зовем к нам, а ты не едешь. Плохо! А мы ждем и думаем и не можем понять, что такое? Разве ты нас обманываешь? Пусть аянский капитан пишет царю большую записку, чтобы послал сюда много людей. И кораблей не один, а много. У-ух! — Чумбока раз мечтался.— Пусть царь знает, чего гиляки хотят...

— Вообще говоря, дельная мысль,— заметил Невельской, обращаясь к Орлову.

Помня совет Литке не ломать обычаев туземцев, не навязывать им ничего, он не запрещал гилякам хлопать себя по плечу. Пусть держатся свободно.

— Еще Питкен в Аян просится,— сказал Орлов.

— Тут много их найдется! — заметил молчавший до сих пор Афоня.

— Питкеп захочет еще бабу с собой взять,— добавил Пестряков.

Невельской подумал, хорошо бы, конечно, чтобы гиляки сами объявили о своих желаниях в Аяне, да просили бы Завойко составить бумагу и послать в Петер-

бург, да сказали бы, что они хотят и о чем просят. Эта бумага произведет впечатление в Петербурге. Там любят выражение покорства от новых племен и народов и в этом смысле все поймут. Льву Алексеевичу будет легче действовать. Завойко поговорил бы с гиляками один на один, без меня, и в самом деле во всем убедился бы. Гиляки смышленные и, кажется, лучше меня ему втолкуют.

— Я могу взять двух человек с собой. Только соберите сход и выбирайте сами, кому ехать. Да помните, когда приедем в Аян, аянский джангин спросит вас, зачем вы приехали и чего хотите, вы должны будете ответить за всех, а не только за себя. Посоветуйтесь со своими.

Гиляки ушли. Офицеры уехали на судно.

На другой день под вечер у палатки собралась толпа гиляков. К ним пришел капитан.

— Переведи им, Афоня: если они хотят, чтобы русские тут жили и торговали, пусть пошлют со мной своих людей. Пусть эти люди все скажут капитану в Аяне, а он напишет царю, о чем гиляки просят. Уж тогда меня и мой корабль никто не задержит в Аяне и мы обещаем прийти и защищать вас от маньчжур и американов.

Афоня перевел. Гиляки стали переговариваться. Когда они умолкли, капитан спросил тунгуса:

— Что они говорят?

— Они говорят, что пришли сюда потому, что уже выбрали двух человек. Поедут Позь и Питкен.

— А может быть, лучше тебе, капитан, сначала сходить на Амур и запать там места, а потом идти в Аян и менять там корабль большой на меньший? — спросил Чумбока. — Потом делай что хочешь. Тогда и поедут Позь и Питкен, которых мы выбрали.

— Вот вы выбрали Позя, — сказал капитан, обращаясь к толпе и не отвечая на вопрос Чумбоки, — но ведь Позь наш друг. Может быть, Позь думает одно, а вы другое? Может быть, есть люди, не согласные с Позем...

— Зачем так говоришь, капитан, — ответил один из стариков. — Здесь собрались люди из нескольких деревень. Мы собрали соседей с Удда. Все согласны с Позем. У гиляков ум один. Позь и Питкен скажут все, что мы думаем.

— Идите, собирайтесь в дорогу,— сказал им капитан.— Когда взойдет солнце, будем тянуться из гавани. К ночи вам надо быть на корабле.

— Ты не беспокойся, капитан, мы найдем, что сказать в Аяне,— говорил Позь.

— Капитан, а у тебя баба есть? — спросил Питкен, тот самый румяный и широколицый гиляк, к которому заходил в юрту Невельской, когда осматривал косу.— Нету? Худо! Оставайся у нас, и мы тебя женим. Будешь тут на косе жить. Место очень хорошее.

— Теперь, Дмитрий Иванович, только бы нам самим не разрушить веры в нас,— сказал капитан, заходя с Орловым в палатку.— Начали мы хорошо.

— Ух, в Аяне много товару! — говорил Чумбока, стоя у палатки в толпе гиляков.— Я слышал, люди рассказывали... Там дом как гора, и в середине до самой крыши — пушина...

Орлов накануне подлил масла в огонь, рассказал гилякам про аянские магазины, про службу в аянской церкви.

«Они чуть не упрекают меня в трусости,— подумал капитан, простившись с гиляками и отходя в шлюпке от берега.— Наслушался я сегодня достаточно!»

Из ночной тьмы подплывали огни «Байкала».

Глава девятая

ЕНИСКОЕ

Через два дня вошли в Аянский залив. Аян неузнаваем. Залив чист. Жара, сопки в зелени, в гавани оживление, полно судов: пришел «Охотск», стоит «Ангара». Из Америки пришел компанейский корабль «Атка», тут же два иностранных китобоя.

На берегу — казаки, якуты, матросы. Готовятся к отправке на Камчатку. Грузят чуть ли не весь Аян на суда. Разгружают «Атку», из Америки пришла пушина.

«Повезут ее в Китай через полсвета на тысячах лошадей, когда на этой же «Атке» можно дойти в Шанхай прямо, и копейки будет стоить, да англичане, видишь,

не вселят... Подлецы, господа петербуржцы!» — подумал капитан.

Увидя Невельского, идущего с берега вместе с Кузьминым, Завойко на миг остолбенел.

— Это вы, Геннадий Иванович?

— Как видите, Василий Степанович!

— Так я очень рад! Но разве вы не ставите пост? А «Охотск», слава богу, прибыл благополучно, и «Ангара» тоже, и я изготавливаю «Ангару» для следования к вам...

— Пост уже поставлен в день Петра и Павла и наречен Петровским в память августейшего флотоводца. Слава богу, что прибыли «Охотск» и «Ангара».

«Э-э, да он, кажется, трусил остаться без судна! — подумал Завойко. — Каков храбрец из Петербурга! Ох, не думал я, что он еще и трус!»

— Так идемте, что же мы разговариваем посреди улицы...

— Главная новость, Василий Степанович, — со мной прибыли послы гиялков. Беседуйте с ними и убедитесь, каковы они к нам, что желают, и пошлите об этом в правительство. Вся моя надежда на вас и на вашу помощь... И второе — я прошу вас дать мне не «Ангару», а «Охотск».

— Так это очень важно, что прибыли послы гиялцкой пации, Геннадий Иванович! На наше с вами счастье, пришел из Америки на «Атке» преосвященный Иннокентий. Он уж умеет беседовать с дикарями. Он все подтвердит, и это будет верно и принято правительством. Дай бог такого свидетеля во всех наших с вами делах, Геннадий Иванович!

— Есть ли мне письма?

— От Николая Николаевича вам нет ничего!

«Я, как всегда, напрасно надеялся! Столько надо написать ему — кажется, умом сразу не охватишь, выложить все планы, просить обо всем, что так необходимо. Но что с ним — бог весть! Что там, здоров ли он, жив ли?»

— Ну, а как Орлов?

— Он жив, здоров. Прекрасно справился, все приготовил отлично, лучше нельзя желать.

— Я вам говорил, а вы не верили... А что Амур?

— Да хорош! Орлов нашел еще один фарватер, гиялки показали. Одиннадцать сажень глубины, а в малую

воду четыре. Вот что значит он был с языком, а мы в прошлом году без переводчиков на протоку попали.

Невельской сказал, что решил занимать устье и просит помочь.

— На то у вас нет полномочий...

— Так вот об этом я и говорю...

— Так то невозможно!

— Нет, Василий Степанович, возможно. Это надо сделать... Суда иностранцев подходят... На свой риск... И поставлены уже посты! Что же? Бояться нам с вами ответственности — значит все провалить...

«Язык у него заплетается, как он палит! Заговариваться стал. Ей-богу, сумасшедший, и мне жаль, что такое дело поручено ему!»

— Весной я спускаюсь из Забайкалья по Амуру... А Орлов на устье и все держит в своих руках. В будущем году все занять! Это реально! Я клянусь, гиляки — залог... Помогают нам и рады нашему приходу. Все обследую, и будет ясная картина! Пост поставлен, заложен краеугольный камень. Учреждены будут наблюдательные посты в лимане и на устье Амура, куда запрещается касаться... Беда, Василий Степанович, не за горами, и нужны наши с вами решительные действия.

— Я готов, Геннадий Иванович! Да что за беда? Мне своей беды хватит, дай бог с Камчаткой справиться!

— Весной к лиману подходило судно, меряло воду и землю!

«Ох, он каждый раз, возвращаясь оттуда, твердит про это судно. Он знает, что в Петербурге того страшатся, и пугает их этим чучелом. Оно у него то и дело ходит к лиману!»

— А раз было весной, то, верно, придет и осенью. Как мне быть? Вот я поставил на-блю-да-тельные посты там, куда мне запрещено было идти, с тем чтобы при встрече с иностранцами было им объявлено... — продолжал Невельской. — Я пишу губернатору, мне нужен лишь намек, и я действую. Мне не надо инструкций об этом, я потом докажу, что не мог поступить иначе.

— Я бы сказал, что не слышу всего этого. Но я этого не скажу, потому что должен быть прям и честен, и взять ответственности не могу... Что я могу — все делаю. Теперь есть товары, караваны пришли. Но что не могу...

— Ах, что значит не можете! Вы можете все! Вы губернатор Камчатки, в вашем ведении и Аян, и Охотск, и все их ресурсы.

— Вот уже едет сюда новый начальник на мое место — Кашеваров, и я ему оставляю предписание.

Невельской знавал Кашеварова прежде.

Капитан распечатал письмо Миши. Перед отъездом Корсаков писал из Охотска, что сам идет на Камчатку на «Иртыше», а на «Охотске» отправляет для амурской экспедиции все, о чем просил Невельской: инструменты, оружие, порох, две пушки, слонину, муку, сеть для лова рыбы, теплую одежду, кирпичи, тес, двух семейных пожилых матросов, нитки.

Он писал также, что удивлен, откуда Завойко взял, что казаки понимают по-якутски, что он выбрал наилучших и что они едут на Амур с охотой, все они якутов совсем не знают, что среди них он посылает Беломестнова и Парфентьева, которые считались лоцманами в Охотске.

«Вот за это спасибо!» — подумал Невельской и готов был поцеловать эти листы, присланные Мишей. Верного и доброго друга, надежного и старательного в деле почувствовал капитан.

Невельской засуетился, сказал, что сейчас же отправляется на «Охотск».

На судне капитан осмотрел грузы, порасспросил штурмана Чудинова, худого чернявого командира «Охотска», про Мишу, про сборы...

На палубе выстроился десант, сформированный Мишей Корсаковым: десять казаков, назначенных из Охотска в экспедицию. Тут были и ражие ребята, вроде знаменитого охотского Парфентьева, белобрысого рослого мужика, со скуластым, изможденным на вид лицом и с большими красными ушами. Но в большинстве казаки — мелкота. Гижигинцы и охотцы не отличались ростом и видом.

Они со страхом и благоговением смотрели на делавшего смотр Невельского, о котором слышали, что он «даже Амур открыл», реку сказочную, о которой толковали с давних пор. Казаки мечтали глянуть сами на «этот Амур».

— Как фамилия? — спрашивал капитан у правофлангового.

— Парфенчьев!

Невельской еще в прошлом году заметил, что все местные жители шепелявят.

— Как фамилия? — шел он дальше по ряду.

— Беломешнов! — отвечал казак с рыжими усами. У него тихий голос и кроткий, немного испуганный взгляд.

— Аношов! — отвечал Аносов, черный, как жук.

— Овцынников! — внятно гаркнул рослый и худой парень.

У каждого казака под второй пуговицей на мундире бумажка, в которой указано, что ему выдано из имущества.

— Кто же завел такую моду? — смеясь, спросил Невельской.

— Ляшкин! — громко, но тихо выкрикнул Беломестков.

Капитан сообразил, что речь идет о Вонлярлярском.

Невельской поговорил с казаками. Они, кажется, в самом деле охотно шли в экспедицию. Он слышал, что эти люди отважные таежники, некоторые бывали проводниками экспедиций, прекрасно управлялись с лодками на море и на горных реках, хотя по их наивно-детским взорам, по тоненьким голосам, по всему их невзрачному виду в это трудно было поверить. Но и при этой невзрачности было в них что-то удалое, лихое — и в их манере шапку носить набекрень, и в бойких ответах.

Казаки тоже были довольны. Капитан не орал, как Вонлярлярский, к морде не лез, «выше рыло!» не кричал, поговорил даже про одежду, спросил про сапоги, не промокнули ли на новых местах, и не надо было ему врать, хвалить казенные харчи, отвечая на вопрос: «Маслено ли едите», который при начальстве любил, бывало, задавать «Ляшкин».

— Если сыро на Амуре, так, однако, промокнем! — бойко говорил Беломестков.

Все видели, что капитан молодой, с этим можно пошутить, взор у него острый, веселый.

Невельской уехал.

— Неужто он открыл? — говорили казаки после смотра.

Говорили, что «проштой» и «славный капитан», «смотрел оружие и портянки», хотя Невельской делал то же, что обычно на таких смотрах, но казаки восторгались: «Везде прошел!», «Ушами не хлопает!», «Вошел в Амур и открыл!»

Невельской, уехав с «Охотска», думал: «Кажется, я шел сюда, чтобы покончить раз и навсегда, а я так огорчился! Значит, у меня была надежда? Я ничего не сделаю, если так будет продолжаться. Я должен все забыть, найти в себе силы...»

Крепостной его Евлампий, заболевший и отставший под Якутском, когда капитан ехал сюда весной, ныне прибыл в Аян. Невельской сказал ему, что надо перебраться на «Охотск» и привести там в порядок капитанскую каюту.

Гиляков на «Байкале» уже не было. Кузьмин сказал, что их тут встречали с большим почетом.

Завойко послал к гилякам своего помощника Лохвицкого. Тот привел их с судна к себе домой, поместил каждого в отдельной комнате и приставил им в услужение двух казаков.

На другой день гиляки были в церкви. После обедни Лохвицкий представил их Завойко и пресвященному. Все было необычно для гиляков.

— Да что же понравилось вам у нас? — ласково улыбаясь, спрашивал Завойко.

— Мне понравились лошади! — сказал Питкен. — Я сегодня их видел.

— Понравилась служба в церкви! — сказал Позь, знавший лучше, что надо отвечать в таких случаях.

Лохвицкий про лошадей не стал писать. Он записал, что понравилась служба в церкви.

Старый миссионер смотрел на гиляков зорким взглядом, как на богатство, у которого еще нет хозяина и в котором надо разобраться хорошенько. Он проверял, верно ли гиляки отвечают на те вопросы, что не раз задавались старым миссионером по им самим изобретенной уже давно системе, — так ли, как в других местах. Ведь писать об этой встрече придется в синод и ответы должны быть удобны для представления их в отчете, значит, на них надо наводить.

— Ну, а чья же там у вас земля? — ласково и хитро спросил он, уверенный, что гиляки ответят как надо.

— Там живут гиляки, — отвечал Позь.

Завойко и Иннокентий переглянулись как счастливые родители, когда дитя подает надежды и отвечает, что и взрослому впору.

— Как, чья земля? — переспросил у товарища Питкен.

— Да, чья у вас земля? — спросил обрадованный епископ, но в голосе его послышалось понуждение отвечать поверней.

Питкен впервые в жизни услышал такой вопрос и недоумевал. Он потрогал брови, поморщил лоб, но никак не мог сообразить, чего от него хотят, о какой земле речь, о песке?

— Да, да! Чья у вас земля? — с ласковой назойливостью повторил Иннокентий.

Завойко постарался растолковать вопрос, переглядываясь с епископом и изредка щуря в его сторону глаз, как бы показывая, что сейчас дело пойдет, ответят как надо!

— Вода, земля — одинаково, — ответил Питкен.

«Еще совсем дикари! — подумал епископ. — Сожаления заслуживают! — Но сердце его сжалось от восторга. — Не отличают своей земли от воды! Еще все у них ничье!» Даже островитяне Тихого океана, самые дикие, и те знали, какой остров свой, какой чужой.

— Кто же живет на той земле? — попытался подойти Завойко другим путем.

— На той земле живем мы. Больше никто не живет, — отвечали оба гиляка.

— Там земля наша! — сказал наконец Позь.

Завойко и епископ опять радостно переглянулись.

Несмотря на преклонный возраст, епископ Иннокентий всегда впадал в радостное возбуждение, когда встречал племена, у которых миссионеры еще не были и которых можно впервые просвещать и вразумлять. Культурных и образованных по-своему китайцев они, видно, не знали, раз не понимают таких простых вещей, как собственность на землю.

«Вот куда сына-то, сына-то Гаврилу — на Амур! — думал епископ Иннокентий. — Вот поле ему будет! Пусть катится все само, ком растет, а Гаврила съездит в Москву,

женится, да и за дело! Приход ему тем временем поспеет!»

— А платите ли вы дань? — спросил Завойко.

— Мы? Нет! Никакой дани не даем!

— Города, села китайские есть у вас?

— Нету!

— А были?

— Выше были. Далеко-о... Теперь нету. Все ушли. Города большого, как Аян, не было. Загородка была и фанзы в ней.

А епископ радовался за Гаврилу. Он был взволнован, как старатель, нашедший богатую россыпь. И хотя по старости сам уж не мог мыть это золото, как надо бы, по сыну пригодится... И, конечно, нельзя оставлять такое богатство непромытым!

Гиляки сказали, что они терпят насилия от пришельцев, что они хотели бы жить спокойно, что от русских они плохого еще не видели и поэтому просят, чтобы Орлов и Невельской со своими людьми остались у них и защищали их, и что это не только они говорят от себя, но и все гиляки хотят того же.

Теперь Иннокентий нахмурил брови и присматривался к гилякам сурово, как бы вглядываясь прямо в их души.

— Ну, а скажите, — спросил он строго, — кто подучил вас сказать все это?

— Кто подучил? — переспросил Позь. На этот раз он сморщил лоб. — Никто не подучил! У нас ум один, и мы все так думаем, — весело улыбаясь, сказал гиляк.

— Дмитрий нам советовал, — сказал Питкен.

— Как? — встревожился епископ. «Неосторожность! — подумал он. — Как можно посылать послов, а что нельзя».

— Да он все звал, съездите посмотреть юрты наши на Аяне, — продолжал Питкен.

— А капитан подговаривал?

— Подарки давал? — спросил Завойко.

— Подарки давал! — ответил Питкен. — Но не подговаривал.

— Нет, нет, он не подговаривал, — подтвердил Позь.

— А первый это придумал один парень с Амура, он все говорил: вот бы поехать на Аян... А потом говорил Дмитрию об этом, потом Позю и нам, поезжайте и про-

сите, а то у Дмитрия силы мало, пусть большой начальник на Аяне еще даст силы и царю напишет.

— Верно ли это?

— Верно! Конечно! — отвечали оба гиляка спокойно.

— А капитан пойдет на Амур? — спросил Питкен тревожно.

— Вот тут все записано, что вы говорили, — кладя ладонь на бумаги, наклоняясь и как бы стараясь быть поближе к гилякам, громко, как с глухими, заговорил Завойко. — Все это мы пошлем царю. Он прочтет и узнает, о чем гиляки просят. А пока Невельской пойдет к вам. Я разрешаю ему!

— А сколько до царя езды? — спросил Питкен. — Если быстро ехать?

— Три месяца, — ответил Завойко.

— А теперь я тебя спрошу, — заговорил Питкен, обращаясь к Иннокентию.

— Спроси! — настораживаясь, с достоинством и улыбкой ответил епископ.

— Кто тебе сказал, что будто нас подучили?

— Никто не говорил, — ответил он.

— А зачем же ты тогда спрашиваешь? Разве мы тебя обманули когда-нибудь, что ты нам не поверил? Зачем придумываешь?

«Ну какие дикари, какие дикари!» — подумал священник, опять приходя в хорошее настроение.

— Хотел узнать я, не подучил ли вас кто плохому, верно ли вы от себя все это говорите, — ласково сказал Иннокентий.

— Да кто подучит? У нас были Дмитрий Иванович и капитан! Разве они учат обманывать? — сказал Питкен, глядя с недоверием на русского шамана.

— Теперь я еще хочу спросить, — заговорил Позь.

— Пожалуйста, спрашивай, — ответил епископ.

— Русские придут к нам и будут жить, но они не будут теснить нас и прогонять с тех мест, где мы живем? Старики слыхали, что русские приходят, а потом обижают... Капитан обещал, что мы будем жить вольно. Правда это?

— Конечно, правда! — поспешил ответить Завойко.

— Да, это правда, — спокойно и твердо ответил епископ.

Гиляки улыбнулись и стали кланяться. Завойко при-

гласил их на обед. Присутствовали епископ, аянский поп, Лохвицкий, Невельской, офицеры всех судов и чиновники, едущие на Камчатку. После обеда Лохвицкий водил гиляков по амбарам.

Завойко одарил послов красным сукном, топорами, ножами, безделушками для женщин. Он еще раз беседовал с обоими гиляками, спрашивал, не бьет ли их кто из русских, не обижает ли, не плевал ли им кто-нибудь в лицо.

— Никому никто не плевал, — отвечали гиляки.

— Такого даже не знаем! — сказал удивленный Питкеп.

Невельской, услышав от гиляков, как они довольны обхождением епископа и местного священника, в тот же день пришел к Иннокентию. Тот жил в домике аянского попа, своего родственника. Невельской не присутствовал во время бесед Завойко и епископа с гиляками, но знал, о чем шла речь, от гиляков и от Завойко. Епископ принял его очень радушно, сказал, что в восторге от гиляков.

— Славное вы дело делаете, бог вас не забудет! Я знаю, знаю секрет вашего зимовья в заливе Счастья, — с деланной хитростью говорил епископ. — А один ваш гиляк посадил меня в галошу и осрамил! — Он шутливо передал разговор с Питкепом.

Невельской хохотал от души.

— Ваше преосвященство! — сказал Невельской. — Гиляки тоже довольны и, я бы сказал, в восторге... Но не пора ли начать внедрять православие и просвещение в их пароду, воспитать веру в бога и любовь к нашему государю?

Невельской стал просить Иннокентия, чтобы тот послал на «Охотске» осенью священника на Петровскую косу на зимовку.

— Солдаты и матросы тоже будут рады, если в праздники у них в пустыне будет служба, что можно будет исповедоваться...

Невельской надеялся, что епископ охотно согласится. И хотя он говорил, что не желает ломать обычаи и образ жизни гиляков, но полагал, что раз гиляки довольны и служба в церкви им нравилась, то надо просить для них попа. Он даже подумывал, что дельный поп-миссионер мог бы быть секретарем экспедиции. Ничем не гнушаются настоящие миссионеры!

Кроме того, Невельскому такой человек нужен был как свидетель, который бы, побывав в землях гиляков, подтвердил, что они независимы и что никакого влияния буддистов там нет. Невельской много читал о миссионерах-подвижниках и знал, что их влияние и в Африке, и в нашей Америке — огромно. Новая религия, как он сам думал, может возбудить большее расположение к русским. К тому же поп крестил бы, а крещеный человек считался русским. Да еще он чувствовал, что, заполучив миссионера, он втянет в амурское дело церковь, а уж тогда правительство будет смотреть на это по-другому.

Хотя он, как и большинство моряков того времени, искренне верил в бога, но не любил попов и считал их дармоедами, такими же как чиновники, но полагал, что на этот раз от миссионеров будет польза.

Но едва он заговорил об этом, как епископ стал холоден и серьезен. Иннокентий сказал, что не может дать миссионера. Невельской не столько удивился этому отказу, сколько перемене, которую он заметил в епископе. Тот сразу замкнулся и поджал губы.

«Чем он недоволен?»

Капитан мысленно сам поставил себя на место миссионера и стал с жаром доказывать, что есть возможность пострадать во имя церкви, понести божье слово не по приказу, а по собственному убеждению.

«Ишь чего захотел!» — слушая его, с большим неудовольствием подумал Иннокентий.

К тому же он хотел, чтобы там сначала все было подготовлено как следует, и вот уж тогда-то сын Гаврилы поедет. Сам он намучился смолоду, а сыну того не желал. Сын приехал с ним из Америки, где жил год после окончания Иркутской духовной семинарии. Отцовское сердце при мысли о том, что амурский приход будет когда-нибудь его, сжималось от умиления. Но не хотел он Гавриле такой жизни, какую сам прожил, пусть Гаврилы поедет, когда там все устроится хоть немного. Он не желал тягот для Гаврилы, но в то же время не хотел, чтобы сын пришел на все готовое. Надо, чтобы Гаврилы считался начинателем, открывателем, воздвигнувшим крест в диком народе, чтобы и у него была слава. Пока же Гаврилы не был женат, не имел права на приход, то и речи быть не могло о посылке какого-нибудь другого священника на Амур.

И, слушая, как капитан сказал, что служители церкви должны радоваться, когда представляется возможность пострадать за веру, подобно святым, он подумал, что Завойко, кажется, прав, говоря, что Невельской не от мира сего человек.

А Невельской говорил искренне, допускал существование фанатиков веры, истинно верующих. Таким человеком считал он Иннокентия.

Иннокентий смотрел на Невельского неодобрительно, подозревая недоброе, быть может, издевку над миссионерами. Он много слышал плохого об этом человеке.

«Видишь, какой приткий! Нет, еще не время на Амур миссионеров посылать,— думал епископ.— Потрудись там еще, докажи, что там Россия, тогда получишь!»

Он сказал Невельскому, что будет хлопотать обязательно о назначении священника и, скорей всего, в будущем году получит позволение, а тем временем найдет подходящего человека.

— Но первая зимовка самая трудная, ваше преосвященство. Я много раз слышал, что миссионеры творят чудеса, когда людям тягостно. Нужен священник осенью... Корабль пойдет еще раз, я приду сюда, и мог бы священник идти на зимовку. Как же крестить, совершать требы?

— Право крестить там, где нет священника, дано каждому верующему. Можете и вы, Геннадий Иванович,— сказал епископ,— окрестить любого гиляка.

«Вот мне теперь только не хватало еще стать попом!» — подумал капитан. Когда-то он ругал попов вместе с Александром Баласогло, а теперь самому придется...

Епископ совсем не хотел ссориться с Невельским. Он рассказал ему за чашкой чая, как сам смолоду приехал на острова, как дикари его боялись, как перевидал он на своем веку множество вот таких людей, вроде, как он выразился, «ваших гиляков», лечил их, учил, проповедовал им. А заодно чинил им чайники и обучал рыбу ловить.

Капитан слушал и думал, что все относится к его экспедиции как к рискованному опыту, «ждут» одобрения Петербурга и настоящей уверенности в том, что ему все удастся, пет ни у кого.

«Что же, попом так попом сам стану!» — подумал Невельской, глядя на широкое, смуглое лицо старого, седого миссионера.

— Кашеваров приехал! — входя в комнату, доложил старик молочанин.

Кашеваров — новый начальник Аянского порта — приехал служить на место Василия Степановича. Его ждали давно.

Вошел пизенький человек, с узким лицом, но с крупными скулами. На нем погоны капитана второго ранга.

Кашеваров родился на Аляске. Отец его полуалеут, а мать — алеутка. Он первый из алеутов окончил штурманскую школу в Кронштадте. Впоследствии много лет служил в колониях, его считали способнейшим офицером и деятельным человеком. Он был автором нескольких интересных статей, помещенных в петербургских журналах.

У Кашеварова были слабости. Он вырос в народе угнетенном и подавленном и всю жизнь страдал от желания показать, что он не хуже других и ни в чем русским не уступает.

Но со временем, хотя он и говорил при всяком удобном случае, что все народы равны, сам стал презирать алеутов. Ставши офицером, он зазнался, особенно когда в печати появились его труды. Сам того не замечая, он перенимал все худшее от бюрократов и чиновников, среди которых жил и которых прежде ненавидел. Несколько последних лет он провел в Петербурге. Теперь стал капитаном второго ранга и был назначен начальником Аянского порта.

— Где же ваша семья? — спросил Завойко.

Василий Степанович знал, как едет Кашеваров. Тридцать человек рабочих шли вперед и рубили тайгу, чтобы повый начальник Аяна мог проехать на тарантасе. Путешествие продолжалось в несколько раз дольше, чем обычно. Впервые в истории Аяна и всего побережья человек приезжал сюда таким способом.

— Моя семья скоро будет, и к ее приезду я хотел бы видеть помещение начальника порта.

— Вот дом, но куда я не уехал, вы будете жить во флигеле.

Завойко сказал, что через несколько дней уходит на Камчатку и что тогда Кашеваровы могут занять дом.

— Да, завтра же начнете приемку дел!

Завойко предупредил Кашеварова, что приехал Невельской с Амура и что на «Байкале» пришли послы гилякской нации просить русских остаться на их земле.

Через несколько часов на тропе, по которой, кроме верховых, до сих пор никто не ездил, появился тарантас — невиданное чудо в Аяне. Толпа работников шла вокруг с топорами. В тарантасе сидела молодая полная белокурая женщина, с уставшим, но приятным лицом, и с ней группа черноглазых ребятишек.

— Вы же свою семью могли погубить с этим тарантасом, — заметил Завойко. — За что вы их так трясете по корням да по кочкам? Куда бы проще ехать верхом или в посылках...

— Я считаю унижительным, чтобы моя жепка скакала на лошади, — ответил Кашеваров.

Устроивши все с Кашеваровым, Завойко зашел в порт и встретил там Невельского. На «Охотске» заканчивались приготовления к плаванию. Невельской сказал, что привез письма для отправки в Иркутск и в Петербург.

Завойко рассказал по дороге про Кашеварова.

— Вот письма, Василий Степанович!

Невельской написал губернатору, что пришел на «Байкале» в Аян из залива Счастья, где заложил краеугольный камень и строится пост. Он просит Муравьева разрешить действовать, глядя по обстоятельствам, и что, имея такой намек, он совершит то, что найдет нужным, и представит отчет губернатору, исходя из чрезвычайных обстоятельств и положения на месте...

— Да вот еще письма Пехтерю и Зарину... Вот это я Пехтерю пишу, что если Николай Николаевич в отъезде, чтобы он переслал ему немедленно, — стал объяснять Невельской, чувствуя, что вот-вот покраснеет и что глупо объяснять Василию Степановичу, о чем и почему писано одному из чиновников губернатора. Он действительно писал об этом Пехтерю, но он писал еще и о другом. Писал он и Зарину про все, о чем думал на косяке.

А письмо Корсакову на Камчатку Невельской просил Василия Степановича передать лично. Завойко обещал это сделать.

— А вы знаете, Геннадий Иванович, что, ссылаясь на вас, гиляки требуют, чтобы русские обещали не притеснять их? — сказал Василий Степанович.

— Иначе они не стали бы помогать нам, Василий Степанович. Первое — не калечить их, как Фролов и чиновники калечат жизнь якутов, а предоставить им жить так, как они жили.

— Но ведь рано или поздно попадут и к гилякам наши купчишки... Да и мужичок наш чего стоит...

— Может быть! — ответил капитан.

— Да уж обязательно... Поплачут и они, и их потомки от нашего брата... Так, ей-богу, не стоило бы внушать...

— Но пока у вас есть свобода действий, Василий Степанович, мы должны сделать для гиляков все возможное. Сами же вы хотите ограничить деятельность купчишек на Камчатке... И я постараюсь... Ведь это, Дмитрий Иванович, его заслуга, он своим ласковым обхождением расположил гиляков к нам, — сказал Невельской. — А без их содействия и речи не могло бы быть об учреждении наших наблюдательных постов на их земле.

Ночью капитан вернулся на судно. Он вошел в свою каюту и подумал: «Завтра мне идти на «Охотске». Прощай, мой «Байкал!» Он вспомнил, как мечтал в этой каюте. Опять вспомнилась музыка, грохот бала, она в толпе, в бальном платье, вся в цветах, ее блестящие глаза, вызывающе гордое выражение лица... «Она вся в белом... В фате... А я завтра ухожу на «Охотске». А письма пошли! Не думал я, что мне так больно будет. Казалось, что уж забыл...»

— Капитан наш что-то очень печален, — удивлялись подымавшиеся на палубу подвахтенные.

— Что с ним сделали?

— Был такой веселый!

Утром Невельской простился с командой и перешел на «Охотск». Судно вышло на рейд.

Невельской поехал проститься с Завойко и Кашеваровым.

— Прощайте, Василий Степанович!

— Прощайте, Геннадий Иванович...

— Дороги наши расходятся, и мы долго не увидимся!

— А вот посмотрите, Геннадий Иванович, что будет на Камчатке через пять лет! Да... Камчатка будет процветать. И вот увидим, что будет через пять лет на Амуре...

«Да, трудно сказать, что где будет», — подумал Невельской.

— Посмотрим! — сказал он.

Они пожали друг другу руки, обнялись.

— Ну, дай вам бог, Василий Степанович! Я желаю вам счастья! Только не губите Амур Камчаткой, не отбирайте у него все средства и суда...

«Не вытерпел, уязвил! — подумал Завойко.— И я же сдержался, не сказал ему, что он разграбил свое же бывшее судно. Взял из команды девять лучших матросов, оружие захватил, гребные суда, без которых «Байкал» как без рук. Я утерпел, а он...»

«Я ждал от него содействия, а он формалист,— подумал Невельской.— И голова его набита глупостями и предрассудками! Ну, что же! Мне не детей с ним крестить! Мне терять нечего... Я понесу свой крест один».

После полудня судно со всеми грузами, с казаками, матросами, матросскими женами, с пушками и с коровой для Петровского вышло в море.

Казаки приставали на баке к Евлампью.

— Паря, чё такое крепостной?

— Человек, такой же, как и все,— недовольно отвечал слуга Невельского.

— В крепости служит?

— Нет, крепость на него составлена, бумага, по ней право барина владеть человеком. Крепостной — значит барский.

— Чё, ваш продают, покупают?— Сибиряки заранее покачали головами, ожидая ответа, но крепостной умолчал.

— Как в Рашее-то, а яблоки-то у ваш раштут? — спросил Аносов.

— Растут... Это есть...

— Гошпода важные у ваш! Ш крепостными! — рассуждал Беломестнов.— И ты крепостной?

— Да.

Сибиряки с удивлением смотрели на этого человека, как на зверя в клетке.

— А мы вольные, у наш этого нет!

— Тебя продавать и покупать можно?

Евламий плюнул и ушел.

— Крепостной ш нами едет! — удивлялись казаки.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВСТРЕЧА НА ТЫРЕ

Николаевск был основан... в 1850 г. известным Геннадием Невельским, и это едва ли не единственное светлое место в истории города.

А. П. Чехов, «Остров Сахалин»

Глава одиннадцатая

МОЛОДАЯ ВДОВА

Синел огромный горб горы Князя Меншикова. Шлюпка входила в амурский лиман. Вокруг — мели... Сильный ветер с юга стихает, отлив, сгон воды на барс.

Невельского очень озаботил Орлов, когда сказал, что, возможно, выхода из лимана при южном ветре и при отливе нет. Правда, согнало воду. Все же этот бар проклятое место! Действительно, в прошлом году было глубже. Позь тоже подтверждает, что глубины тут ежегодно меняются. «Как быть? Что делать? — думает капитан. — Конечно, двадцать футов — глубина достаточная...»

Сейчас капитан чувствовал, что с этой рекой совладать не так просто, что не сразу дается она, тут надо сидеть годы и делать промеры тщательные. Здесь, в лимане, он еще ясней понял, как мало знает сам об этой стране, хотя знает больше всех других.

Благополучно прибыв в залив Счастья, капитан оставил пост под начальством Орлова. Там рубили лес, возили, строили. «Охотск» стоял на рейде. У палаток выставлены две пушки, ходят часовые, развеивается флаг. Капитан с шестью матросами, с Позем и Афоней отправился на Амур.

Вчера весь день капитан просидел в юрте на отмели при входе в лиман. Слышно было, как метет песок и мел-

кую гальку. Видны желтые горбы воды. Дул ветер в одиннадцать баллов.

Сегодня отлив, сделали промеры. Надо идти дальше в реку и действовать, осматривать все. Хотя глубины есть, но ныне все не так, как в прошлом году.

...Шлюпка шла по лиману к входному мысу, который синел слабой, чуть припухшей у обрыва полоской за морем. А далеко слева, как облако на закате, остров Сахалин. Напротив Лангра берег его выступал ближе, даже вершины деревьев различались в трубу.

С новой силой представилась старая забота...

Вход в реку есть, конечно! И есть южный канал! Это главное. Но не этим он утешал себя. «Амур еще не все. Главное — юг, те гавани, о которых слышал еще в прошлом году, о которых говорили нынче гиляки». Чем больше слышал он плохих отзывов об амурских устьях, тем страстней стремился к югу. «Амур — путь. Там, на юге, — колыбель флота... Если бы Амур был еще капризнее, еще недоступнее, и то я обязан бы был твердить, что он хорош. Как иначе добиться его занятия?! Если время такое, что этой толпе петербургских чиновников пельзя ничего втолковать! И флот вечно будет мне благодарен. И залив Счастья — поймут — заслуживает этого названия, хотя Завойко зовет его «заливом Несчастья». И Амур пужен, хоть тут и мели и вход в него есть, хоть и труден. Наши не займут, если я выкажу хоть долю своих сомнений, даже Николай Николаевич поколеблется!»

Капитан спешил на реку. У него было много намерений. Он желал узнать, каковы пути из верховьев реки к гаваням на побережье. Изменения на фарватере, происшедшие за год, лишь убеждали его, что надо спешить.

Гиляки не знали расстояний, хотя и довольно верно чертили, кроме них, никто не знает, где эти гавани. Одна, ближайшая к устью, — видимо, Де-Кастри, описанная в свое время Лаперузом. К ней есть путь с Амура, гиляки уверяют, что она недалеко.

Ночевали под скатом берега.

Утром было тихо и ясно. Природа девственная. Нигде ни лодки. Прошли под крутыми стенами входного мыса и в безветрие, при ясном небе поднялись на веслах вверх по течению.

Парило. Над дальним берегом синела коническая гора. Облака зацепились за ее вершину. К полудню подул ве-

тер. Поставили паруса. Вскоре река разыгралась, к вечеру добрались до Константиновского полуострова.

Утром осматривали полуостров. Судя по прошлогодней карте, большей части его не хватало.

— Вода снесла! — сказал Позь.

Он показывал на следы наводнения; на берегу лежали, скрытые в траве, деревья с илом в голых ветвях. «Что же это за вода была! — думал капитан. — Устье чуть не занесло, острова и мысы смыло!»

На устье речки, выбегавшей из сопок, — гилияцкая деревня. Когда шлюпка подошла к ней, навстречу выбежал по отмели молодой человек с косой.

— Да это наш Чумбока! — обрадовался капитан.

...Возвратившись из Аяна на Петровский пост, Невельской огорчился, узнав что Чумбока ушел. Он заметил Орлова, что тот напрасно отпустил амурского гольда.

Невельской полагал, что Чумбока может оказать пользу экспедиции. К тому же гольд нравился ему. Сейчас при виде его капитан обрадовался. Сумрачное настроение как рукой сняло. Было что-то особенно приятное в том, что он встретил человека, об уходе которого пожалел. Это показалось хорошим предзнаменованием.

Деревня, к которой подходила шлюпка, состояла из трех юрт со свайными амбарами, построенными под обрывом. Берег, крутой, высокий, выступал в реку гористым мысом, похожим издали на старого медведя с пегой головой, склоненной к воде. Над обрывом — хороший березовый лес. За мысом река шире, она образовывала там огромный залив, расположенный между сопки и во всю длину свою соединенный с Амуром.

За юртами в чаще кустарников — речка. Позь сказал, что по берегу этой речки идет тропа до перевала через горы, что перевал низок, пройдя его, попадешь как раз к верховью речки Иски. По берегу тропа пойдет вниз до самого залива Иски.

— Так из этой деревни сухой путь к нам в Петровское? — спросил капитан.

— Да, отсюда...

— Значит, сюда придут топограф и олени?

Об этой прямой дороге от Петровского поста на Амур Невельской знал. Уходя с Иски, он приказал прислать по ней на Амур к первому августа топографа и двух матросов с тем, чтобы заснять полуостров Куэгда, на котором

сегодня ночевали. Эта сухопутная экспедиция должна была прибыть на оленях, на которых приехал весной Орлов. Искайские гиляки прежде оленей не заводили. Орлов еще в позапрошлом году узнал, что в верховьях речки Иски есть ягель, и поэтому рискнул добираться сюда на оленях. Он советовал капитану к зиме закупить для экспедиции у тунгусов целое стадо оленей.

Позь сказал, что от залива Счастья сюда можно добраться горой за два дня, а можно и за день...

Тут гораздо теплей. Сегодня жаркое солнце. Ярко-синяя река широка. На другой стороне ее тучные густо-зеленые сопки.

После отъезда капитана из Петровского Чумбока перестал рубить лес. Ему уже рисовались картины изгнания маньчжурских купцов. Он мечтал о возвращении домой, в стойбище гольдов, в родную семью, туда, где похоронен отец, где живет брат.

Дождаться, когда капитан вернется, он мог бы, но не желал сидеть сложа руки. Ему не терпелось. Он решил, что надо помогать капитану, и, явившись к Орлову, сказал, что хотел бы отправиться на Амур, и добавил полутья, что надо взбунтовать там людей.

Орлов, человек немало пострадавший в жизни, не склонен был к таким штукам. Он знал, что надо действовать очень осторожно. Речи Чумбоки показались ему опасными и сам он — личностью, от которой нужно держаться подальше. Он уклончиво ответил, что надо дожидаться капитана.

Чумбока обиделся. «Зачем же терять время даром? — думал он. — Надо идти на Амур, там сказать всем людям, что через несколько дней придет капитан». Чумбока ездил всю весну с Дмитрием Ивановичем и замечал, что тот не очень благоволил ему. Орлову больше нравился богатый и серьезный Позь... Пусть Позь ему нравится, это неплохо. Чумбока не завидовал.

Он в душе был недоволен, что его не взяли в Аян, но понимал, что ведь он амурский, не гиляк, чужеземец, гиляки своих послали. Они всегда Позю слушают. «А ведь я придумал, я первый сказал Позю — съезди в Аян, попросись, скажи там капитану все... А Позь еще замаялся, сначала не решился. Он тоже как Дмитрий. Только потом, когда сами русские до этого додумались, Позь стал говорить, что хочет ехать!»

Чумбока обратился к Орлову не за разрешением. «Я сам могу без Дмитрия идти куда хочу». Ему хотелось, чтобы русские подкрепили добрым словом да снабдили его своими вещами, он хотя бы самым дряхлым старикам подарил бы по ножу. Но он лишний раз убедился, что люди не понимают и не слушают его. Чумбоке уже приходила в голову мысль, что русские не совсем понимают, какими они должны быть.

«Жаль, конечно, ехать без подарков для стариков! У русских так много хороших вещей. Но не беда!» — решил Чумбока. Он отдал Орлову топор, сказал, что уезжает, лес рубить больше не будет, и без лишних разговоров ушел из палатки.

Свои вещи у него были собраны. Приятель перевез его через залив, и Чумбока, закрыв уши белым накомарником, пошел по долине речки Иски в горы.

Была еще одна причина ухода Чумбоки. Он решил больше не жить в семье своего спасителя Питкена, которого прежде звали Тыгеном.

Ему не хотелось больше жить около Питкена и считаться его младшим братом. Хивгук, которую теперь звали Лаола, нравилась Чумбоке. Питкен по закону, как младшему брату, в свое отсутствие разрешил Чумбоке спать с ней.

Но что в этом хорошего! Приезжает муж с охоты и она идет к нему! И приходилось обманывать своего спасителя, отговариваться, что не можешь идти с ним на охоту, что совсем больной или что видел сон, не предвещающий успеха. Такая жизнь надоела.

Вот теперь Чумбока опять привык к Хивгук-Лаоле, пока Питкен от имени всех гиляков совершает важное путешествие! А придет Питкен из Аяна и она опять будет с ним? Нет, лучше этого не видеть! И как смешно русские называют Питкена! Они зовут его Паткен!

Лаола уговаривала Чумбоку остаться. Но Чумбока ушел.

Через два дня он был в стойбище Новое Мео на Амуре, на устье речки Каморы. Там жили знакомые гиляки. Он сказал, что скоро маньчжурским торгашам и разбойникам конец, пришли на Иски русские и скоро будут здесь, начнут строить свой город.

Речь Чумбоки полилась. Прорвалась вся его ненависть к маньчжурам. Он стал рассказывать про русских. Тут

он заметил, что одна толстощекая румяная гиялячка все ему улыбается. С ней — ребятишки... Оказалось, что она хозяйка одной из юрт, молодая вдова. У мужа братьев не было, и поэтому после его смерти она одинока. У нее гостили дядя и тетя с устья Амгуни. Дядя ее, старик Чедано, оказался очень почтенным человеком. Чумбока рад был познакомиться с таким хорошим семейством.

— Ты, пожалуйста, скажи русским, когда они придут, чтобы приходили к нам, — сказал Чумбоке дядюшка Чедано. — Жаль только, что ты не привез ни одной русской вещи...

Чумбока на мгновение смутился. Опять ему обидно стало, что Орлов поскупился...

— Тут жил неподалеку Фомка. Он ушел, говорит, что боится русских, — сказал один из старых гияляков.

Кудрявцев, беглый из России, скрылся. Это был верный признак, что приходят лоча.

Уезжая, дядюшка Чедано посоветовал гиялякам стойбища Мео быть порадушнее с Чумбокой, а племяннице сказал, чтобы она пригласила его жить в свою юрту. Он серьезный человек и говорит так, что его ни в чем дурном невозможно заподозрить, у него не баловство на уме и поэтому пусть живет. Чумбока заметил, что его хозяйка хороша собой, очень весела. «Почему она так весела? — думал он. — Ведь у нее муж помер». Чумбока уехал из Мео, потом вернулся, потом опять уехал. Повсюду он вдохновенно рассказывал людям в соседних стойбищах о грядущих событиях.

Накануне приезда Невельского он опять вернулся в Мео. Хозяйка пекла ему с утра лепешки из купленной у маньчжурских торгашей муки. Чумбока услышал от нее, что уж дней пятнадцать как на Иски пришел корабль, привез страшного зверя — корову, проезжали вчера люди с Иски... И еще, говорят, пушки на Иски привезли, солдат и двух русских женщин.

— Вот бы мне посмотреть на них! — говорила Мумтыгха.

Утром, легок на помине, явился сам капитан. Он обнял и поцеловал Чумбоку. Вот и плюпка его, паруса, матросы в куртках, даже маленькая пушечка на плюпке, товары с собой, красное сукно, ситец, ножи.

Чумбока чуть не плакал от радости. Все так, как он говорил! Теперь люди видят, каковы русские, какой слав-

ный, добрый, веселый и простой человек их капитан! Он улыбается всегда, когда с гиляками говорит, он только в одиночестве печален... Даже сам Чумбока не ожидал, что Невельской привезет такие товары и что на шлюпке у него будет пушка.

На отмели происходил торг. Конев уже набил руку в меновой с гиляками. Невельской сам, как простой приказчик, менял в доме старого гиляка топоры, ножи, иголки, зеркала, кричал, спорил, угощал, съел кусок собачины, рассматривал меха.

— Забавный какой этот лоча! — удивлялись люди.

Чумбока и Позь объяснили, что через несколько дней придут сюда русские на оленях. Один из меоских гиляков — Эльтун — обещал проводить их на Куэгду, где топограф должен был производить съемки.

На рассвете Чумбока вышел из юрты и разбудил Позя. Часовой с ружьем стоял у шлюпки, в которой закрыты парусной пушка и товары. Там как большая постель — все укутано.

Чумбока и Позь поехали в лодке, быстро наловили рыбы — сетка у Позя с собой, — зажгли костер, поставили варить уху.

Разговор зашел о том, что видел Позь в Аяне.

— А знаешь, русские не такие, как я думал, — сказал Чумбока.

Позь немного удивился. Ему никогда не приходило в голову ничего подобного. Чумбока сказал, что среди русских есть трусы.

«Но не все ли равно, есть среди них трусы или нет, — думал Позь, — важно, что они выгонят маньчжурских торговцев...»

Позь судил по-деловому. Он сказал, что на полуострове Куэгда капитан хочет поставить такой же пост, как в Петровском, но сначала подыметесь вверх, хочет посмотреть все по Амуру. Через несколько лет здесь будет русский город, порт, торговля большая, сюда придут корабли, здесь будут строить большие суда. Капитан ищет, где кедр, где дуб. Для постройки кораблей ему надо.

Позь мечтал, что крестится и в этом городе построит себе большой бревенчатый дом с крашеным полом, с печами, откроет торговлю...

Из палатки вышел Невельской.

— Барометр хорошую погоду показывает, капитан, — сказал ему Позь.

Проиграл горн. Матросы выстроились. Капитан поздоровался с ними. Потом матросы купались и завтракали. Капитан что-то писал.

— Что такое барометр? — спросил Чумбока у Позя, сидя в шлюпке вместе с русскими и глядя на отплывающий берег с обрывами, лесом и юртами.

Позь стал объяснять, что существует атмосфера, что воздух имеет вес.

Чумбока слушал внимательно.

— Я сам удивлялся, когда академик мне это объяснял!

Глава двенадцатая

ТАЕЖНАЯ РЕКА АМГУНЬ

На Амуре стояло настоящее лето. После Охотского моря капитан чувствовал себя тут, как человек, долго работавший на сквозняках в холодном подвале и вырвавшийся на прокаленный солнцем и закрытый высокими стенами маленький двор. Здесь континентальная жара, эти места нельзя сравнить с гнилым, туманным и вечно холодным побережьем Охотского моря.

Амур спокоен. Целый день идти приходилось на веслах. Люди выбивались из сил. Но стоило пристать к берегу, как ни о каком отдыхе никто и слышать не хотел. В песок вбивали колья, натягивали палатку. Рубили дрова. Раздевшись, матросы ловили неводом рыбу.

Позь, Конев и Шестаков, поставив палатку, ушли в тайгу. Афоня хозяйничал на стане — помогал Фомину, исполнявшему должность кока. Козлов сидел с ружьем.

Капитан сам рубил дрова. Он тоже греб наравне с матросами и тоже выбивался из сил. Теперь, наработавшись топором, он уселся и спокойно глядел на реку. Воображение стремилось дальше. Оно рисовало те места, откуда бегут эти воды, хребты, покрытые буйной растительностью, нетронутые плодородные земли. Там еще теплей, там юг, там гавани или совсем не замерзают, или замерзают ненадолго. Ему казалось, что есть и такие, что не замерзают. Только воображение открывателя могло с

такой силой рисовать страну, в которой он никогда не был. Но признаки этой страны он видел, чувствовал повсюду, она уже начиналась.

За время путешествия из Аяна в Петербург и обратно, а также в плавание по Охотскому морю он досыта рассмотрелся на кожи, шкуры, чапаны, меха, ватники, в которых и зиму и весну закутана была северная Сибирь. Между Аяном и Якутском, как он слышал, и летом все ездили в коже и мехах, там и летом стояли туманы на болотах, и летом был север суровый и невеселый, хотя земля полна ископаемых и золота и лес хорош, в Якутии пастбища прекрасные, скота много и хлеб растет.

...На берегах и тут сыро. Но от этих болот идет теплый пар, и трава буйная, как джунгли, растет выше человеческого роста. На склонах высоких сопок, над крутыми берегами густой зеленью стояли леса. Климат и тут суров. Но давно наступило лето... А что же южнее?..

В тайге раздались выстрелы. Это матросы охотятся. После зимовки на Камчатке, после Аяна и тяжелого плавания здесь, в лесу, на отмелях у тихой теплой реки — отдых.

«Чего бы мне это ни стоило, — думал Невельской, — я проложу дорогу на юг». Гавани на юге не давали ему покоя, снились по ночам, одна другой удобней, по только ветер и шторм мешали в них войти, приходилось ждать, пока стихнет... Наяву была лишь шлюпка, шесть матросов и гиляки, а на Иски — транспорт «Охотск». В кармане — повеление правительства не сметь касаться устьев.

А он оставил Орлову объявление на нескольких языках о том, что устье занято русскими, и велел эти документы предъявлять иностранцам, если в залив Счастья придут их корабли набирать пресную воду.

Утром пристали к гиляцкой деревне. Едва вышли на берег, как собрались гиляки. Началась торговля и взаимные расспросы.

Подшел седой, лысый гиляк небольшого роста. С ним целое семейство: старуха, двое сыновей, молодая женщина, девушка и ребятишки.

Старик держал в руках широкий туес с желтой нельмовой икрой и медную бутылку водки, а молодые гиляки по осетру и туес с рисом.

— Капитан, вот хороший старик дедушка Чедано к тебе пришел, — сказал Позь, подходя к Невельскому. —

Это мой знакомый. Он жил на Мео и слышал о тебе от Чумбоки. Он гостинцев принес.

Гиляк положил подарки перед капитаном и стал опускаться на колени, но Невельской поднял и обнял старика и сказал, что перед ним не надо на колени становиться. Парни и ребятишки стали подходить к капитану, уверенно обхватывали его шею смуглыми руками и целовали в щеки, а он — их.

Матросы, готовившие обед у костра, принялись на доске ножами пластать осетров.

Невельской пригласил гиляков к обеду. Их угощали ухой, осетриной с уксусом и гречневой кашей с маслом. Все выпили водки, принесенной стариком.

«Какой гиляк славный!» — думал чуть захмелевший Фомин, подавая старику еще одну мутовку с кашей.

— Мы радуемся, что лоча с нами торгуют и нас защищают! — занскиваяще улыбаясь, говорил капитану Чедано. — Теперь маньчжуры будут бояться нас обижать! Правда? — пристально взглянул старик.

— Как же они вас обижают? — спросил капитан.

Чедано всхлинул.

— Вверх по Амуру, за устьем Амгуни, на той стороне, есть камни на правом берегу. Эти камни давно-давно упали с неба. Мы их бережем...

— Они там богу молятся, — пояснил Позь.

— А маньчжуры говорят, что, если не будем платить им албан, — продолжал Чедано, — столкнут эти камни в воду и река делается бурлива, рыба ловиться не будет.

Невельской сказал, что никто не смеет со здешних жителей требовать дань.

Чедано сказал, что ездил на Мео гостить, а сам живет неподалеку от устья Амгуни, на другой стороне реки. Старик брался сопровождать Невельского на Амгунь.

На другой день вошли в устье Амгуни. Шлюпка шла под парусом среди островов, заросших тальниковыми лесами. Река разбивалась тут на рукава. За поймой видна сопка, покрытая густым лесом.

Когда подошли ближе, видны стали кедры и ели, а по увалу — липы и дубы. Пристали к берегу. Капитан перешагнул на бескорую лесину, сломанный ствол ее полуутонул в воде и в песке. Он вскарабкался по обрыву. Кусок белой материи под фуражкой спасал его уши и шею от мошки. Следом лезли Козлов с ружьем в руках

и Конев с ружьем за плечами и лопатой, оба тоже с белыми тряпками под фуражками.

В траве валялись кедровые шишки. Капитан поднял одну. Сторона, лежавшая на земле, сгнила, а с другой орехи целы и вкусны.

Над головой раскинул мохнатые ветви огромный черно-зеленый кедр.

— Копни! — велел капитан Коневу.

Матрос стал рыть землю.

— Какова земля?

— Да как скажешь! — уклончиво ответил Конев.

— Земля — жир! — молвил Козлов.

— Пахать можно?

Конев еще посмотрел на землю, потом с любопытством огляделся вокруг, наверх, на деревья, и взглянул вдаль на видимые сверху острова и протоки.

Разводя руками густую хвою подлеска, капитан спустился с обрыва. Приходилось здесь задерживаться, чтобы сделать наблюдения.

Чедано обрадовался, увидя, что капитан взял в руки секстант.

Бивак разбили за протокой, на отмели, у обрыва высокого острова, где обдувал ветерок и было меньше мошки. Стоило только пристать к берегу, как матросы находили множество занятий, рубили лес, охотились.

Чедано повел капитана и двух матросов по острову.

Над волнующимся морем высокой травы взлетали тучи птиц. В углублениях, забитых илом, на засохшей грязи гнили завалы рыбы, расклеванной птицами. Всюду на острове такие высохшие лужи, заваленные гнильем и рыбьими скелетами. Когда спадала вода, рыба, потеряв доступ к реке, сбивалась в груды на усыхавших озерах и дохла. Птицы еще не успели убрать все это.

Матросы смотрели, качая головами. Тут погибли тысячи пудов рыбы.

— А сколько же ее в реке! — молвил Алеха.

Конев растер в руке черный влажный ком.

— Земля хорошая, а пахать нельзя — вода покрывает, — молвил он с глубоким сожалением.

Позь объяснил, что не Амгунь так высоко подымается, а сам Амур, и вода оттуда заходит.

— Подпирает, значит! — добавил тунгус.

— Земля хорошая! — твердил Козлов.

— Чё толку! — ворчал Конев. Ему, как всегда, все что-то не нравилось.

— Разве на бугре нельзя пахать? — спросил его капитан.

— На бугре можно, вашескорodie! На бугре можно целую деревню посадить.

В походе все сжились с капитаном и разговаривали запросто.

Матросы еще смотрели землю в разных местах на острове и на материковом берегу.

— Наверху ярицу можно сеять. Овес тоже! — окал костромич Веревкин. — Но шибко трава коренястая...

Невельской замечал, что матросы ожили после того, как на высоком незатопленном берегу увидели хорошую землю. До того, особенно в лимане, с тоской поглядывали они на все эти леса и скалы, видя в них еще одно каторжное место, где людей будут истязать, морить голодом и держать при казенном деле. А вид доброй земли пробуждал иные надежды... Похоже было, что тут толк мог быть, что стоило тут стараться не только ради выслуг и казенного интереса, которому было уже посвятили себя эти люди. Все они до сих пор в душе не надеялись на эту землю.

— Быть не может, чтобы каждый год так высоко вода подымалась, — рассуждал у костра Шестаков.

Измученные, изъеденные мошкой, матросы расселись с мутовками на песке, на ветерку.

— Нынче, видно, снега большие были...

— Здесь всегда большие снега, — ответил Позь.

Рыба, лес, меха занимали матросов, но ничто не будило в них такого жадного любопытства, как земля.

«Люди еще хлынут сюда, — думал капитан. — Тут будет у нас вольное крестьянство».

На реке появились две берестяные лодки, а за ними бат — лодка, долбленная из дерева.

Течение быстро принесло их. Ехавшие оторопели, увидя незнакомую одежду матросов и необыкновенную шляпку.

Позь, поспешно поднявшись, подошел к ним.

— Это лоча, — сказал он.

— Лоча? — Приезжие испуганно переглянулись.

— Это хорошие лоча! Это капитан от Иски, — подошел Чедано.

Видя, что тут Чедано, приехавшие вышли на берег.

Худой рябой круглолицый амгунец пощупал сукно на мундире капитана, потом заглянул ему в глаза, потрогал пуговицы, ремень, глянул на оружие. Невельской позволял осматривать себя так, словно бы был на примерке у портного. Он уже не в первый раз замечал, что здешние люди прежде всего обращают внимание на одежду — из какого материала она сделана, на украшения и на пуговицы — прямо как мещане в Питере!

Эти люди не похожи на гиляков — они меньше ростом, волосы у многих русые. Он знал, что на Амгуни обитает народ, называемый негидальцами.

— К нам пойдешь? — спросил маленький амгунец с серебряными браслетами на жилистых, жестких руках.

— Пока не поеду. А далеко ли?

— Три ночи спать. Только. Совсем близко...

Позь объяснил, зачем тут капитан.

Невельской велел показать гостям товары.

— Если ищешь хороший лес, у нас много хорошего леса.

Невельской расспросил, растет ли дуб на Амгуни, много ли кедра.

Негидальцы достали меха, которые они везли в одно из амурских селений. Туда, по их словам, должны приехать купцы.

Тут же началась меновая. Потом гостей накормили.

Они стали поразговорчивей и признались, что поначалу очень испугались, узнав, что пришли русские. Оказалось, что из-за хребтов приходят якутские купцы, обижают их и внушают страх к русским.

Невельской выслушал жалобы и сказал, что хотя он не знает якутских купцов, которые сюда ходят, но зато знает большого русского начальника, главного во всей Якутской области и во всех других близких отсюда областях, и расскажет ему обо всем, а тот запретит купцам из Якутска сюда ходить обманывать и обижать тут людей. Он сказал, что торговцы из Якутска ходят сюда тайно, без позволения царя, а им делать этого не велено, что их надо гнать отсюда, а что для торговли русским товаром открыта теперь постоянная лавка на Иски, где будет все, что надо, и по дешевой цене. Летом на лодке, а зимой на собаках будет приезжать из Иски на Амгунь человек и торговать, и цены будут не такие, как у купцов.

— Меня затем сюда и послали,— сказал он,— чтобы я увидел, как тут живут люди, и в чем у них нужда, и кто их обижает. Русский царь велел мне сказать, что берет эти земли себе, и велел за всех заступаться и всем помогать.

Амгунцы жаловались на купца Новгородова.

— Он сильный, у него работники есть, он не один ходит. Мы все в долгу у него, и он делает тут все, что вахочет. Как нам быть?

Невельской ответил, что запишет все жалобы на Новгородова и тому придется отвечать за свои поступки. Негидалцы обещали за это подарки, но капитан ответил, что сначала надо все сделать, а пока не за что принимать подарки.

Невельской велел одарить гостей. Им дали по ножу и по топору.

Чедано сказал амгунцам, что капитан ездит и смотрит места, где жили русские.

— Такие места у нас есть на Амгуни,— ответил маленький негидалец,— там теперь остались ямы и камни.

«В здешних краях, видно, никогда не придется путешествовать в одиночестве»,— подумал капитан, спускаясь вниз по течению в сопровождении нескольких лодок.

На устье Амгуни семейство Чедано уже ждало гостей. Был приготовлен ужин из мяса молодого лося.

Весь вечер Невельской расспрашивал гиляков и негидалцев про направление рек и хребтов и про пути к закрытым гаваням на берегу моря.

Старик Чедано повесил голову.

— Что ты такой печальный? — спросил его капитан.

— Сюда, наверно, идут маньчжуры,— сказал он таинственно.— Они говорили. Нынче их много придет! Странно, когда они приходят...

Негидалцы признались, что они ехали на Амур торговать с маньчжурами, но теперь не будут, и что они очень рады, что встретили русских и выменяли у них все, что нужно, и завтра поедут обратно и всем расскажут новости про Новгородова. Узнает вся Амгунь, что ему запрещено сюда ходить.

Поздно вечером вернулся Чумбока, не ездивший на Амгунь и задержавшийся в соседней деревне, где он тоже слышал, что маньчжуры нынче хотят прийти с большой силой собирать дань и выгнать русских.

Гиляки и негидальцы па ночь удалились в свои балаганы. Чедано с семьей улегся в своем шалаше.

Капитан сделал записи и задул свечу. Костер угас. Вокруг была крошечная тьма и тишина. Время от времени плескалась невидимая волна.

«Что в этой тьме — бог весть, — подумал капитан, забираясь под полог, расставленный на песке рядом с палаткой. — Если слушать гиляков, так тут могут быть всякие неприятности. Но их-то мне и подай!» — подумал капитан, засыпая.

Ночью Чедано выскочил из балагана и стал что-то кричать.

— Что там такое? — спросил капитан, просыпаясь.

— Гилякам что-то почудилось, вашескородие! — спокойно ответил часовой.

Это был Шестаков. Голос его ночью строже.

Чедано ходил по берегу, бормоча. Из-под соседнего полога Позь стал говорить с ним по-гиляцки. Вскоре старик ушел и все стихло. Остаток ночи прошел спокойно.

Утром, когда матросы сели завтракать, пришел Чедано и сказал, что собрался в дорогу, может ехать. Вскоре палатка и все вещи были уложены. Семья Чедано оставалась в шалаше. Негидальцы простились с капитаном и отправились к себе на Амгунь, их лодка под парусом быстро пошла от берега.

— Геннадий Иванович, — говорил Шестаков, обращаясь к капитану, — гиляки нам вчера толковали, что есть места, где земля рыхлена... Когда-то пахали...

— Сказывают, там уж березы в два обхвата выросли, — заметил Алеха. — Афонька говорит, наверху виноград растет!

— Вот дуб! — подымая багор и задерживая подходившую к борту лесину, заметил Конев. — Видать по наноснику, что дуба где-то тут много. И по наноснику же видно, что и земля вверху хорошая. Вон в дупле какой чернотом. Откуда-то его несет...

— Гиляки-то, вот народ, Геннадий Иванович! — подхватил Алеха.

С тех пор как вышли из Кронштадта, парень вырос, возмужал, стал настоящим матросом.

— Вот и гиляки сказывают, и Афонька говорит, что наверху тепло и такие деревья растут, что он по-русски названия не знает, — сказал Козлов.

Теперь матросы приглядывались ко всему. Там где-то, далеко-далеко и в то же время не очень-то далеко, — на дубе еще листья не завяли, пока несло его, — была дивная, богатая, вольная страна, где на черной, паханной когда-то земле выросли березы в два обхвата, — значит, никто нынче не жил; где было тепло, рос виноград. Никто из них еще не видел этой страны, но уж про нее слышались и она угадывалась по многим несущимся оттуда предметам по реке, и от этого представлялась еще более прекрасной.

— Вон видать Тыр! — сказал Позь, показывая на большую деревню на противоположном берегу. — За ней скалы, река делает поворот.

Чедано сидел на носу лодки и все время всматривался в даль.

Глава тринадцатая

МАНЬЧУРЫ

Невельского иногда винили в торопливости. Он думал часто о нескольких делах сразу. И сейчас он думал о том, что до морских гаваней ему в этом году нечего и мечтать добраться, уже поздно, а расстояния огромны, и что первого августа надо быть у Константиновского, придет топограф, и надо в залив Счастья. Всюду успеть надо, тысячу всяких вещей требовать в Аяне от Кашеварова. В то же самое время он думал, что Пехтерь и Зарин, верно, уж получили письма. «Пехтерь, очевидно, не станет делать тайны, тогда как я искренне писал, хотел извиниться». И в то же время он помнил, как Орлов с ним прощался, с каким-то неудовлетворением, что-то хотел, видно, сказать и не сказал. «А Екатерина Ивановна уж, верно, замужем...»

— Маньчжуры! — вдруг испуганно воскликнул Чедано.

«Маньчжуры? — подумал капитан, очнувшись, как от сна, — а вот их-то мне и надо!»

— Где они?

Гиляк показал на берег. Деревня была близка. Она тянулась вдоль берега. Невельской навел трубу. На каждой крыше торчали по две неотесанные жерди, как рога. У бе-

рега виднелись большие мачтовые лодки, а на отмели черпала огромная толпа.

— Это не купцы, — сказал Позь тревожно. Он поглядел в лицо капитана.

— Братцы, суши весла! Ружья к бою! — приказал капитан. — Осмотреть все!

Когда все было готово, он приказал зарядить фальконет ядром, укрыть и его и ружья брезентом, выложить наверх красное сукно, ситец и товары.

— Весла на воду! Лево руля! — приказал капитан. — Прямо на деревню!

— Есть лево руля! Держать прямо на деревню! — повторил Козлов.

Шлюпка с большой скоростью мчалась к берегу, и приближалась решающая минута, от которой — капитан отчетливо это понимал — зависели его собственные действия и вообще все открытия в этом краю.

Матросы и гиляки смолкли. Все смотрели на капитана. Все ждали его приказаний. Он должен собраться с силами, подняться во весь рост, решиться... Надо было действовать осторожно, но с достоинством.

— Одерживай! — приказал капитан.

— Есть одерживай!..

Шлюпка пошла круче. Туго гнулся при свежем ветре разрезной парус.

Чумбока вынул из ножен нож, который он вчера точил весь вечер, осмотрел его и снова вложил.

— Руби рангоут! — приказал капитан.

Мачты убрали, и в тот же миг шлюпка крепко врезалась килем в песок, шагах в двухстах от толпы.

Капитан, натянув фуражку, вышел из шлюпки, приказав быть при себе Афоне и Позю без оружия. Чумбока вышел с ними.

Огромная толпа уже двигалась навстречу. Маньчжуров много, они видны среди гиляков. Они рослей, чем туземцы, в халатах с квадратами на груди. Это солдаты. Одни в шляпах, у других на бритых с косами головах маленькие шапочки. Маньчжуров в толпе человек тридцать. В руках луки, у некоторых ружья с дымящимися фитилями. Ватага гиляков, опережая их, спешила к берегу. Слышалось шуршание сотен ног о песок и гальку.

Невельской с тремя проводниками поднялся на берег.

Маньчжуры сразу остановились в пескольких шагах от него. Из их толпы выступил рослый важный старик, с медно-красным лицом, большими ушами и с длинными белокурыми усами, свисавшими по углам рта. У него шарик на маленькой шелковой шапочке.

Старик с подозрением оглядел Невельского, шлюпку, увидел безоружных матросов, яркие товары на банках и снова взглянул на капитана.

— Кто ты такой? — спросил он. — И по какому праву пришел сюда?

Позь перевел.

Невельской видел все: и эту дерзкую надменность, и грозный отряд, и страх на лицах огромной толпы гиляков, и твердую решимость на лицах своих спутников — Позя и Афони, которые, конечно, чувствовали, что сейчас решается все.

— А кто ты такой? — ответил капитан. — Зачем и по какому праву ты пришел сюда?

Позь охотно перевел и, кажется, повеселел немало, а вся огромная толпа гиляков оживилась, чувствуя, что капитан не поддается. Любопытные, испуганные гиляки теснились вокруг маньчжуров.

Проводники стали по обеим сторонам капитана и не сводили глаз с маньчжура, готовые в любой миг схватиться за пожи. Гиляки чувствовали, что русский не боится, и души их замирали от восторга.

— Я — маньчжур! — гордо сказал старик, выслушав перевод с достоинством. — И никто, кроме нас, не смеет бывать здесь!

Снова начался перевод.

— Скажи ему, что я — русский! — ответил капитан. — И что тут паша земля и никто, кроме нас, русских, не смеет сюда приходиться!

Маньчжур, услышав такой ответ, на миг опешил.

По ряду его спутников пробежал ропот. Некоторые из маньчжуров смотрели с любопытством.

— Поэтому я требую, — продолжал капитан, — чтобы ты с товарищами немедленно оставил эти места.

Маньчжур усмехнулся. Он разглядел, что у этого человека оружия нет. Он стал переговариваться со своими.

— Это не ваша земля! — сказал старик примирительней, чувствуя, что пришелец в его власти и расправиться всегда не поздно. Он подал какой-то знак.

— Чья же это земля? — спросил Невельской, замечая этот знак и подходя к нему поближе.

Старику подали обрубок дерева, затянутый красной материей. Маньчжур, с важностью поводя рукой по усам, стал садиться, но тут Невельской, шагнув вперед, внезапным ударом ноги вышиб из-под него обрубок. Старик вскочил, а обрубок покатился толпе под ноги.

— Мы оба должны разговаривать стоя или оба сидя! — резко сказал капитан.

Лицо старика густо покраснело.

Гиляки живо подкатили Невельскому какой-то обломок.

— Садись, садись! — ласково сказал ему Чумбока.

Видя, что капитан садится, маньчжур тоже поспешно уселся.

— Так чья же это земля? — спросил капитан.

— Тебе нет никакого дела до того, чья это земля, — надменно ответил маньчжур. — И мне нечего с тобой разговаривать. Нас много, а вас мало. — Он поглядел на толпу.

Маньчжурские солдаты угрожающе стеснились. Толпа гиляков вдруг хлынула прочь, оставляя Невельского и верных ему проводников и перебегая на сторону маньчжуров.

— Если... — начал было Невельской, но, как иногда с ним бывало, почувствовал, что заикается, и вдруг увидел, что оружие зашевелилось над толпой, что проводники заслоняют его грудью, взяли за ножи. Он выхватил двустольный пистолет и наставил маньчжuru в лоб. — Стой! — Невельской схватил старика за ворот. — Если хоть один пошевелинется, я тебя пристрелю!

Позь выкрикнул эти слова. Афоня и Чумбока с перекошенными от злобы лицами занесли ножи. На лодке уже сдернули холсты, сверкнул фальконет, фитиль вспыхнул в руке Козлова, пять матросов с ружьями в руках ринулись на берег к своему капитану.

— Ну, кто теперь осмелится меня тронуть? — спросил капитан, отпуская старика.

Толпа гиляков с громкими криками радости и удивления хлынула обратно от маньчжуров к русским.

Чедано заплакал от радости.

— Бросай оружие! — грозно крикнул Позь.

Вдруг все захохотали! Гиляки показывали на старика маньчжура. Тот отскочил, согнулся и кланялся капитану.

Видя его испуг, Невельской, спрятав пистолет, подошел к маньчжур. Голова старика мелко затряслась.

— Послушай меня,— сказал капитан,— не бойся...

Старик все кланялся. Невельской взял его за руку, желая успокоить.

— Мы не сделаем тебе и твоим товарищам ничего плохого.

— Да верно ли, что ты русский? — спросил старик.

— Кто же я, по-твоему?

— Не рыжий ли ты с того судна, что весной было на Погиби?

— Русский! Русский! — закричали гиляки со всех сторон.— Это старший русский от Иски...

Старик заглянул в глаза Невельского и подозвал одного из своих спутников, румяного, толстого, в шелковой кофте и простых синих штанах. Тот показал серебряный полтинник с орлом.

Невельской достал такой же рубль.

— Одинакова! Русска денъга! Моя знаю! Моя Кяхта бывала! — воскликнул румяный по-русски.— Моя знаю, моя торгует Кяхта. Это рубля! — Он стал говорить со стариком по-своему.

Старик взглянул веселее.

Невельской приказал разбить палатку. Капитан пригласил в нее маньчжур. С ним вошли четверо его спутников, одетые поопрятнее других, в том числе румяный толстяк, бывавший в Кяхте.

Подали чай и вино.

Глава четырнадцатая

ЛЮДИ ИЗ ЗАЛИВА ДЕ-КАСТРИ

Старик, войдя в палатку, все еще кланялся. Невельской, взяв его за локоть, пригласил садиться.

— Садись, теперь не бойся,— сказал Позь.

Старик перевел дух, вытер лысину рукавом халата. Он и его спутники оглядывали устройство палатки, которая так скоро появилась.

Гиляки и остальные маньчжуры сбились у входа, вытягивая шею и прислушиваясь к голосам в палатке.

— Весной на Погиби приходило большое судно. Об этом у нас в городе стало известно,— глухо заговорил

старик.— Мы решили, что это судно рыжих,— с улыбкой и с поклоном добавил он.— Мы приняли вас и ваших людей за рыжих.

Старик назвал свое имя и сказал Невельскому, что он чиновник из города Сан-Син-Чен, а двое его слуг — купцы.

Невельской сказал, что ему приятно познакомиться с чиновником соседнего дружественного государства.

— С русскими мы совсем не хотели ссориться,— добавил маньчжур ласково.— Мы слыхали, что в прошлом году ваше судно тоже было в реке, и этим совсем не тревожились.

— Врет! Они и русских хотели отсюда гонять,— добавил от себя Позь, переводя.

Невельской сказал, что он действительно русский, назвал свою должность и имя и добавил, что послан сюда по повелению государя.

Старик поклонился. Он сказал, что рыжие подходят здесь к морскому берегу, спускают людей с крестами, которые ходят от стойбища к стойбищу и уговаривают молиться своему богу. А команды кораблей занимаются насилиями и грабежами.

Подали табак. Все стали закуривать. Козлов набил длинную серебряную трубку и подал ее маньчжур. Капитан сказал, что просит принять эту трубку в подарок.

Конев принес чай и налил чашки. Появилось вино. Старик понемногу освоился с обстановкой.

— Почему же рыжие сюда приходят? — спросил Невельской, попыхивая трубкой.— Ведь они на это не имеют права. Может быть, они хотят войти в реку с моря и занять эти земли?

Маньджуры, услышав перевод, насторожились.

— Мы об этом тоже беспокоимся,— ответил старик.

— Нынче весной мои люди видели английское судно. Оно совсем близко подходило к устью реки. Люди с него делали промеры и, видно, ожидали, когда разойдутся льды...

— Как видишь, услышав о рыжих, мы пришли сюда с оружием! — сказал старик.

Невельской налил вино и стал чокаться. Старик это понравилось. Все выпили.

Капитан затаился дымом, отвел левую руку с трубкой, а правой разогнал табачное облако и, взглянув на старика, сказал:

— Но теперь рыжие сюда не придут. Мы пришли сюда по повелению нашего государя и поставили вооруженный пост в заливе Иски. Такой же пост я поставлю на устье реки. Теперь мы не пустим сюда рыжих. Никто не посмеет делать здесь грабежи и насилия — ни англичане, ни какие-либо другие люди. Наш государь велел мне охранять эту землю и здешнее население. Точно так же он приказал охранять приезжающих сюда торговцев. Поэтому вам здесь не следует оставлять своих вооруженных людей. Мы защитим вход в реку сами.

Старик положил свою длинную трубку на землю и, сложив руки, взглянул на Невельского — казалось, искреннее и горячее чувство охватило его.

— Очень приятно слышать, что ты охраняешь устье реки и непустишь сюда рыжих, — сказал он и добавил с почтительным поклоном: — Твои слова для нас как сахар.

Следуя примеру старика, четверо его товарищей также сложили руки и поклонились.

Невельской спросил, далеко ли им ехать до города Сан-Син-Чена. Он видел, что старик мнетя и что-то не договаривает. Капитан не торопил его с объяснениями.

Из шелковых рукавов маньчжуры тянули загорелые руки в браслетах и кольцах то к чаю, то к пачкам табаку, набивая свои длинные трубки с маленькими медными головками. Заметно было, что они вежливы и скромны в гостях.

Снова все выпили. Невельской спросил маньчжура, долго ли он ехал от своего города.

— Город Сан-Син-Чен? В верховьях Сунгарь-Ула, вот этой реки, — показывая в ту сторону, где за подотнищем палатки был берег Амура, отвечал высокий сухой маньчжур, с длинными черными усами и в длинном черном халате. — В Сан-Сине живет наш губернатор.

Невельской слышал прежде, что почти всю торговлю в Кяхте ведут с китайской стороны сан-синские купцы. Они скупают русские товары, увозят их за великую Китайскую стену и привозят оттуда чай. Розовощекий молодой толстяк оказался не маньчжуром, а китайцем, одним из таких купцов сансинцев, торгующих на Кяхте. Его взяли в эту экспедицию на случай встречи с русскими. Он знал много русских слов, но произносил их так неправильно, что его трудно было понять. Толстяк перебил

усатого, уверяя, что русские, постоянно бывающие на Кяхте, понимают его отлично и сами говорят по-русски точно так же, как он, и долго объяснял Поэю еще что-то.

— Он говорит, от Сан-Син-Чена ехать вверх по реке два дня и там, где лодки дальше не идут, надо садиться на коня или верблюда, и еще надо спать семь ночей до богдыхана...— объяснил гиляк.

— Верна! Правильна! — вскричал толстяк по-русски.

Речь шла о том, что от верховьев реки семь дней пути до Пекина.

— Тут наши люди нигде не живут, и больших деревьев здесь нет до самого устья Черной реки, знаешь Черную реку? — добавил старик. — А здесь живут только разные собаки вроде вот этих гиляков, — кивнул старик на толпу у входа.

Поэ спокойно перевел его слова.

Гиляки лезли в палатку, заглядывали под парусину.

Усатый маньчжур в черном халате сказал, что там, где в Амур впадает Уссури, при слиянии рек, бывает ярмарка.

За разговорами Невельской узнал, что с реки Уссури есть перевалы к морю в закрытые бухты. Подтверждались рассказы Поэя и других гиляков.

Гости сидели, поджав ноги, в облаках дыма, как бы чего-то выжидая.

— Ну, а теперь давайте торговать! — сказал капитан.

— Давай, — обрадовался старик. Это куда спокойней, чем толковать на политические темы. К тому же дело сулит барыши.

— Козлов! — крикнул капитан.

Матрос, растолкав гиляков, явился.

— Все убрать! Подавай образцы товаров. Конева сюда! Будем меняться! — обратился он к старику, черная дымящейся трубкой табак.

Матросы внесли ситец, плис и красное сукно. Маньчжуры вскочили и закричали, не слушая, кажется, друг друга и хватая руками куски материи. Только старик сидел, спокойно посасывая трубку.

Толпа зашумела. Всем хотелось в палатку, каждый желал протиснуться. Рабочие маньчжурских купцов не могли пройти с товарами.

— Надо бы, Геннадий Иванович, вынести торговлю наружу! — сказал Козлов.

Капитан посоветовался с маньчжуром. Тот закивал головой.

Козлов был хозяйственный человек. В портах он обычно ходил с подшкипером на базар. Матрос велел гилякам и маньчжурам, толпившимся у входа, отступить и сесть.

— На свету, чтобы без обману! — подмигивая толстому китайцу, сказал Козлов. — Чтобы все было видно, — пояснил он, показывая пальцами сначала себе на глаза, а потом на товары.

— Моя понимай! — ответил китаец.

Козлов уселся рядом со стариком. И матрос и старик — разглаживая усы, с большим достоинством поглядывая друг на друга.

Появились и маньчжурские товары: мешки с крупой, леденцы в бумажных кулечках, ящики водки, оклеенные синей бумагой, и синяя бумажная материя.

Конев развязал мешок, нагреб полные ладони проса, попробовал и сбросил все обратно.

— Смотрите, Геннадий Иванович! — обратился он к капитану.

Тот и сам все видел. Торговля маньчжур была палицо.

Тень пробежала по лицу старика. Он как бы взглянул на просо глазами капитана и почувствовал, какая это гниль и заваль. Старик, подумав, что русские откажутся меняться, живо глянул направо и налево и, увидя толстяка, подозвал его.

— Велит плохие товары унести, — быстро переводил Позь, — сердится...

— Такое просо мы привозим только для гиляков, — стал оправдываться старик. — У нас на лодках есть хорошее просо и рис. Сейчас принесут.

— Сахар чистый! — молвил Конев, пробуя леденец с видимым удовольствием.

Толстый купец просиял. Это были его леденцы. Пока маньчжуры переругивались, он подsunул матросу свой кулечек.

— Таким пшеном кормить птиц, а не людей, — сказал Конев.

Позь перевел.

— У гиляков нет домашних птиц, — глубокомысленно ответил усатый маньчжур в длинном черном халате.

— Вот уже несут, — обрадовался старик.

Появились новые мешки. Маньчжур вскочил и сам развязывал их. Стоя перед Невельским, он лил ручьями крупное красноватое пшено между пальцев.

— Нравится? — почти кричал он.

— Преотличное просо, — сказал капитан, беря горсть. — Верно ведь, Козлов?

— Точно так, вашескородие!

— Да где растет такое?

— На Сунгари, в верховьях, — радуясь, что товар понравился, отозвался старик. — А вот посмотри рис!

— А вот какой мука! — приставал румяный китаец, бывавший на Кяхте — О! Сымотли! — восклицал он по-русски.

— Этот хлеб растет под Нингутой, на Хурхе, — поучал усатый маньчжур. — Река Хурха в географии называется Муданьцзян. Там много крестьян из Китая, они сеют пшеницу. Нингутинская пшеница — самая лучшая в Маньчжурии.

Держа рис на ладони и глядя на его крупные перламутровые зерна, Невельской подумал, что в верховьях — земледельческая страна, что там действительно тепло, гораздо теплей, чем здесь. Не зря туда стремились католические миссионеры, внушая маньчжурам еще в древние времена неприязнь к России.

Старик схватил кусок красного сукна.

— Цена? — азартно вскричал он.

Капитан сбросил рис с ладони, поднял лицо кверху и, прищурившись, стал высчитывать. Всем маньчжурам понравилось, что Невельской так сощурился и сам стал похож на маньчжура.

Для людей, оставшихся на зимовку, нужны были и водка, и просо, и леденец. Невельской знал, как рады бывают матросы, когда к столу прибавляется что-нибудь сверх обычного казенного довольствия. Он посоветовался с Козловым. Перевели цену ситца, сукна и плиса на просо и рис.

Матрос схватил старика за руку и, хлопнув что было силы, выкрикнул цену. Все маньчжуры радостно закричали. Пшено и рис они даром получили от китайцев-арендаторов, а капитан давал сукно, ситец, плис.

— Я беру! — быстро сказал старик, садясь как курица и кладя руки на куски.

— Ситца давай, ситца давай! — кричал по-русски кяхтинец.

Невельской уступил все по дешевке.

Все товары разобрали. Торговля окончилась. Маньчжуры сияли.

— Напрасно собаки гиляки нас пугали русскими, — говорили между собой маньчжуры.

— Твоя хороша человека! — говорил кяхтинец. — Богата купец!

— Я очень рад, что с тобой познакомился, — сказал старик. — А теперь мы хотим, чтобы ты пришел к нам в гости. Мы будем очень рады.

Невельскому самому хотелось побывать у маньчжур. Он сказал, что благодарит за приглашение и будет обязательно.

Маньчжуры откланялись и удалились. Все они были веселы. Только старик, казалось, был чем-то озабочен.

Капитана обступили гиляки.

— Ну что, капитан, видал, какие маньчжуры? — спросил Чумбока. — Тебя-то они боятся. А если тебя нет, они другие.

Толпа зашумела. Сквозь нее продрались какие-то люди в меховых лохмотьях. Они опустились перед капитаном каждый на одно колено, вытягивая вперед руки, сложенные горстью, ладонь на ладонь.

Позь поговорил с ними.

— Это люди из залива Нангмар! — сказал он капитану. — Вот ты хотел узнать про этот залив. Ты пазываешь их место Де-Кастри.

«Очень кстати», — подумал капитан.

Один из приехавших черен лицом, сухощав, проворен, серые глаза его бегают. На голове волосы заплетены в косичку.

Другой — седой, с косматой головой, с мохнатыми белыми бровями, с длинными усами и тоже сероглазый.

Капитан стал обнимать своих новых гостей. Он подумал, что судьба, кажется, опять помогает ему. Сам он не может добраться в Де-Кастри, так оттуда явились люди.

— Мы давно тебя ищем! — заявил черный тщедушный нангмарец. — Слыхали, что ты поехал вверх по реке. Ты Нангмар знаешь? Ну как не знаешь? — удрученно

воскликнул он.— Нынче у нас судно было, рыжие приходили, воду, дрова брали. Ведь мы с тобой знакомы! Ты на Погиби был прошлый год? — спросил он.

— Был!

— Ну, а я в Нангмаре живу! — воскликнул нангмарец с таким видом, словно встретил родственника, который не узнавал его по недоразумению.— Араску знаешь?

— Араску не знаю!

— Ну как не знаешь? Знаешь! — с досадой воскликнул нангмарец.— Простлый год ты воду мерял? Ну, конечно, мерял! В Араскиной деревне ночевал. Лодку у Араски брал. Как не знаешь! Вот он, Араска! — с обидой и надеждой воскликнул нангмарец, показывая на своего товарища, дрожавшего от страха.— Он там живет, а я на этой стороне, совсем в другом месте.

Он как бы хотел сказать, что мы же с тобой друзья, вот тебе доказательство, чего же ты еще ждешь?

Араска, лохматый, босой, топтался на месте.

К восторгу всей толпы, дед и капитан стали обниматься.

— Ну, вот этот самый Араска,— толковал маленький нангмарец.— Он — Араска, а я — Еткун. Еткун имя слышал когда-нибудь? Нет?

Сам Араска все еще дрожал от волнения, как видно побаиваясь, и ни слова вымолвить не мог.

— Он на той стороне моря живет, а я на этой. Ты ему помогал то лето? Ну, конечно, помогал, я знаю, что помогал. Потом его обижали. Араска пошел на Погиби... А с тобой тот год гиляки приходили? Ну, конечно, я знаю, что приходили. Я тоже с тобой всюду пойду. Ладно? Араска со старухой к нам приезжал и все про тебя рассказывал, как ты воду мерял, землю мерял, что за рыбу им дал, никого не обижал, громко не кричал, говорил потихонечку. Ну, конечно, я тебя знаю! — И разговорчивый нангмарец подступил к Невельскому и тоже обнял его, показывая, что нечего тут официализировать.

— Ну, раз так, то пойдем ко мне! — смеясь и обнимая гостей за плечи, сказал капитан и повел их в палатку.

Еткун сиял... Он наконец добился своего. Капитан признал его своим приятелем, выказывал ему то госте-

приимство, про которое напгмарец слышал так много и которое он так желал испытать сам.

Перед Еткуном и Араской появились угощения: табак, чай, каша.

Невельской узнал от гостей все, что его интересовало о заливе Нангмар. Залив был закрытый, глубокий, удобный. Это, конечно, гавань Де-Кастри, описанная Лаперузом.

Еткун сказал, что слух о путешествии капитана распространился повсюду, и по Амуру, и прошел побережьем Татарского пролива на юг, и что об этом знают во всех деревнях в лимане и на Сахалине, и все люди едут сюда...

— А как же вы сюда попали? — спросил Невельской.

— Лодками!

— Но ведь до залива суша.

— А мы тут близко живем. Через маленькую сопочку ходить, и попадешь на море.

— Разве залив Нангмар близко от Амура?

— Конечно, капитан! — сказал Позь. — Есть место, где река близко подходит к морю...

Невельской, чувствуя, что сведения очень важные, достал бумагу и велел Позю расспрашивать и рисовать.

Еткун и Араска, который уже успокоился и оказался толковым стариком, объяснили, что река изгибается и близко подходит к морю, а потом опять отходит от него. Тут же все начертили. Оказалось, что от Амура отходит в глубь гор громадное заливное озеро Кизи, которое отделяется от моря узким и низким перешейком.

— У деревни Кизи есть протока в озеро. По реке едешь и в озеро не заезжаешь, а протокой пойдешь, потом по этому озеру надо ехать и ехать, потом по речке, а вылезешь и берегом до Нангмара близко, — говорил дед Араска.

— Мы сюда прямо на своих лодках пришли, — пояснил Еткун, уплетая сухари.

— По воде?

— По горе! Как не понимаешь! Таскали лодки. Там есть у нас деревянная дорога.

— Как рельсы там у них, — объяснил Позь, слышавший о железных дорогах.

— Как не знаешь? — удивился Еткун и отложил сухарь в сторону. — Почему про нашу дорогу не знаешь? Хорошая дорога...

Это было целое открытие. Первое, о чем подумал Невельской, услышав, что там перешеек узок — о чем не мог не подумать всякий образованный моряк, — нельзя ли там прорыть в будущем канал. Сократить путь в Японское море, избежать устья, из-за которого столько неприятностей и в науке и в правительстве. Как бы он желал немедленно идти в Нангмар!

Еткун продолжал объяснять, что бревна лежат по всему сухому пути.

— Люди ездят на охоту с Амура на Сахалин. На Тыр торговать мы ездим. Кто едет — увидит, где бревно сгнило, сменит, лесину новую срубит и положит.

В толпе гостей капитана нашлись и другие жители обоих побережий пролива. Все стали наперебой рассказывать о своих местах.

— Куда же пошло от вас судно рыжних? — спросил Невельской.

— Туда! — показал Еткун на север. — Вот спроси брата. Он видел это судно в море.

— Что же они делали там? — спросил Невельской Араску.

— Они стояли как раз напротив нашей деревни. Лодка ходила-ходила кругом. И потом парус подняли и пошли обратно.

— А мимо Погиби лодка проходила? — спросил Невельской.

— Не-ет! Далеко до Погиби не дошли. Там кругом мелко было, они дорогу не знают.

Еткун и Араска стали говорить, что китобои грабят дома и насилюют женщин.

— Да что, разве только рыжие грабят! — воскликнул один из гиляков, сидевших тут же. — А эти маньчжуры, которые в шалаше поселились, тоже так делают!.. Ты спросил их, зачем они сюда пришли?.. Они тебе сказали, что пришли торговать! Не-ет, они не только торговать пришли. Они и грабят тут всех, и требуют по соболю с мужика и с мальчишки, а кто не даст, бьют или мучают... И девок у нас тоже хватают. Они тебя обманывают, когда говорят, что торговать сюда пришли.

В палатку вместе с нангмарцами и гиляками забрал-

ся какой-то сухой старик с косой, в круглой шапочке и в короткой бумажной куртке. До этого разговора он молчал.

— Это все верно, что гиляки говорят,— сказал он капитану через переводчика.— Маньчжуры обижают их...

Позь объяснил, что это китайский торговец и он просит поторговать с ним.

— Я торгую честно и не обманываю,— сказал китаец, улыбаясь и поглядывая на капитана зоркими маслянистыми глазками.— Привезу хорошей крупы и все, что надо... Мне хотелось бы купить красного сукна... Я много слышал, что ты тоже честно торгуешь. Все говорят, какой ты хороший человек. Мы с тобой оба честные.

Невельской сказал купцу, что согласен торговать с ним, но сегодня пойдет к маньчжурам и поэтому все торговые дела придется отложить.

Нангмарцы стали просить Невельского приехать к ним и защищать их.

— Я пришлю к вам на будущий год своих людей,— ответил капитан.— А чтобы до того никто не смел вас обижать, дам вам завтра бумагу, на которой будет написано, что эта земля и все, кто на ней живет, находятся под охраной и покровительством русского царя и поэтому никто не смеет вас обижать.

Позь долго растолковывал нангмарцам, что это за бумага и что на ней будет написано, как предъявлять ее людям, которые явятся с моря.

Еткун и Араска не сразу поняли. Зато старик торговец живо сообразил, о чем идет речь...

— Я очень рад слышать,— заявил он,— что теперь русские будут охранять торговцев и что ты запрещаешь тут всякие насилия...

По приказанию капитана Козлов принес небольшую дубовую доску, тут же расколол ее топором надвое.

— Одну половину я отдаю вам,— сказал капитан нангмарцам.— Когда пошлю судно или лодку, от меня люди пойдут по льду или берегом, то отправлю с ними свою половину. Вы приложите ее к своей и будете знать, что человек от меня.

Он отдал половину доски Араске. Тот спрятал ее в кожаный мешок.

— А когда дашь бумагу? — спросил Еткун, наконец сообразивший, в чем дело.

— Завтра.

— Ну, ладно...

Гиляки и нангмарцы, зная, что капитану пора идти в гости, стали расходиться.

Старик китаец тоже вышел из палатки. Лицом к лицу он столкнулся с Чумбокой.

— Гао Цзо? Это ты? — с изумлением вскричал Чумбока.

В толпе народа, которая съехалась на Тыр, когда туда явились русские, было несколько мелочных китайских торговцев, прятавшихся среди гиляков. Гао Цзо был один из них. Он находился у палатки, когда капитан торговал с маньчжурами, и видел русские товары.

Гао одет бедно, и вид его невзрачен, но на самом деле он богат, гораздо богаче других торгашей. Он даже богаче маньчжурских чиновников, путешествующих под охраной. У него больше денег и товаров, чем у сопровождающих их маньчжурских купцов, для которых русские вынесли все свои товары. Но маньчжурские купцы пользуются всеми правами. А Гао Цзо все делает на свой риск и страх и всю жизнь скрывает свое богатство, рядится бедняком, дает взятки маньчжурским чиновникам за право торговать в здешних местах, запретных для простого китайца... Еще не бывало такого чиновника, которого Гао не удалось бы подкупить. Поэтому старик делает большие обороты и чувствует себя хозяином в низовьях реки. Правда, кому не надо, он этого не показывает. В землю гиляков он стал ездить недавно.

Чтобы зря не раздражать маньчжуров и не возбуждать излишней зависти и у них, и у своих соперников-купчишек, Гао остается скромным на вид человеком и одевается бедно. У него даже нет своей лавки. Вся масса товаров, которую приплавляет он ежегодно на судне из Сап-Сина, развозится по домам туземцев, по разным деревням, а само судно идет на слом.

Гао — энергичный, верткий человек, необычайно цепкий и настойчивый. «А что, если я стану торговать у русских?» — пришло ему в голову, когда он услышал, что эта земля принадлежит России. Но уж никак он не ждал, что встретит тут Чумбоку. «Вот еще выходец с того света!» — подумал он.

Гао Цзо узко сощурил глаза, подобрал голову в плечи, ссутулился и принял вид дряхлого старика. Ловкач и разбитной торгаш спрятались.

Вдруг Гао оживился. Его черные глаза чуть приоткрылись. Раскрылся рот, как бы в радостном изумлении.

— Это ты? — слабо вскричал старик.

— Да, это я!

— Как я рад! Как рад! Ведь я ищу тебя!

— Ты меня ищешь? — удивился Чумбока и нахмурился. Он зло и с подозрением оглядел торгаша.

Гиляки живо обступили их.

— Хорошие вести тебе от брата, — быстро залепетал старик. — Ух, как я рад, как будет твой брат рад, что я тебя встретил. Твоя мать, ты знаешь, жива. Да! Ой, какая крепкая старуха!

Чумбока вспомнил мать, Удогу, родной дом, родную деревню.

— Брат твой, узнавши, что я еду сюда, просил тебя найти. Мы теперь дружны с ним, — говорил старик, слабо улыбаясь, трепля пальцами плечо гольда, и, чуть-чуть приоткрыв свои веки, зорко поглядывал живыми, молодыми, черными и блестящими глазами то на него, то на толпу. — Он всегда просит меня что-нибудь узнать о тебе, когда я в низовья реки еду! На этот раз я почувствовал, что встречу тебя. Как я рад! Как рад! Пойдем, тут моя лодка... Я с сыном приехал, он в соседней деревне пока. Мы ведь теперь и сюда ездим.

Гиляки обрадовались.

— Вот, Чумбока, хорошо! Хорошего человека ты встретил! Иди!

— Ты и тут торговать будешь? — спросил Чумбока.

— Да, хочу немного поторговать...

Чумбока знал, что Гао Цзо, если захочет, умсет очень складно врать. В свое время он причинил Чумбоке и всей его семье много горя, но сейчас гольд охотно слушал вести о родне.

Гао уверял его, что брат хорошо живет, не в долгу.

— Он счастлив! Весел! А какая дочка у него! — присаживаясь на полусогнутых ногах и поднимая лицо кверху, восклицал Гао. — Ах, как она ручками взмахивает, как лепечет! Ах, дети, я так люблю маленьких детей!

Гао Цзо знал, что если хочешь расположить к себе человека, показать, что ты добрый, и скрыть свои наме-

рения, то надо разговаривать про детей или — еще лучше — сделать детям подарки, оказать им внимание, ласково заговорить, восхититься. Такого человека, которому дети правятся, их родители всегда честным сочтут. Самым страшным злодеям дела их сходят с рук, если они деток приласкают.

Старик повел Чумбоку к лодкам и стал рассказывать про его родную деревню.

В это время Афоня что-то крикнул Чумбоке. Гао не отпускал его. Он сказал, что привез что-то от брата...

Афоня крикнул Чумбоку еще раз.

— Ну, погоди,— сказал он купцу.— Мы с тобой еще поговорим.

— Обязательно поговорим! Старое давно забыто, мы дружим с братом, и я рад тебе...

Чумбока пожалел, что надо уезжать на весь день на промер протоки. «Но ничего, я еще увижу Гао. Я из-за него не еду на родину, думаю об опасности, а он, оказывается, друг мне и брату!»

Чумбоку охватило душевное волнение, когда он поехал с матросом на гиляцкой лодке. Много лет Чумбока ненавидел этого торгаша, мечтал ему отомстить. Из-за него бежал он из родных краев. Гао Цзо опозорил память его отца...

А теперь, когда Чумбока встретил его и может наказать, Гао оказался таким добрым и ласковым, так хорошо рассказывал про родных... «Я не ехал на родину из-за опасности, которая мне грозила от него и от маньчжур, а Гао, оказывается, мой друг. Как тут быть?» Торгаш сильно озадачил его.

«Ну, ничего, пока вернусь, все обдумаю!..»

Глава пятнадцатая

В ГОСТЯХ У МАНЬЧЖУРОВ

Старик маньчжур был и обрадован выгодными сделками, и расстроен. Он чувствовал, что все меняется даже здесь. Когда он был молод, то власть маньчжуров была могущественна. А теперь даже гиляки не уважают! Какие страшные перемены с тех пор. Рыжие хозяйничают

всюду, рвут нашу страну на части. Подлые, низкие люди из простолюдинов поднимают голову. Всюду восстания... Тяжелое время! Дворяне живут хуже, чем в прежнее время, зато торгаши наживаются, особенно те, что заводят дела с иностранцами в портах, в Шанхае, например, торгуют опиумом и развозят его по всей стране. Из-за торгашей гибнет дворянство — цвет народа! Гибнет, приучаясь к яду, привезенному иностранцами, наш народ. Страшные времена!

«Если в городе будут меня винить, что не задержал русских, то ответ прост. Не желал кровопролития, поэтому избежал столкновения. Губернатор, когда отправлял, сказал: при встрече с русскими не ссориться, быть полюбозней, как водится между соседями. Объясню, что хотел быть благоразумным, сойтись с ними, выказать вежливость и выведать намерения». Старик мысленно пытался оправдать себя, но он знал обычаи и законы своей страны: неприятности могли быть.

«Купцы мои, кажется, не очень озабочены, что сюда явились русские, — думал старик, глядя на спутников, — им горя мало. Низкие люди! Рады, что смогут извлекать тут выгоды».

У капитана сила и товары. Не плохо бы, конечно, самому завести с ним дружбу и торговать. Он не продает яда, его торговля простая и честная. Может быть, по своему справедливы намерения русских.

Старик был человек умный, надменный и строгий. Его потому и послали сюда, чтобы все проверить. Он считался одним из самых честных сан-синских чиновников. То, что он увидел у русских и услышал от капитана, заинтересовало его. Русские, конечно, решили занять эти земли! Он чувствовал это по общей обстановке, по твердой уверенности капитана, по настроению гиляков, которые поголовно передалась русским. Как они, собаки, переменились!

Старик уж несколько лет не ездил сюда. На этот раз и он, и его спутники, бывавшие здесь раньше, почувствовали себя гостями, а не хозяевами.

Старик знал, что дружба с иностранцами, интерес к их жизни власти не поощряют, что это унижает чиновника в глазах начальства.

Но теперь такое время, что и явно и тайно всех начинают занимать чужеземцы. По закону все запрещено чи-

новнику, но теперь многие извлекают выгоды за счет отступлений от старых обычаев и порядков, от самых основ, на которых стоит империя. Что-то случилось, и все стало расплываться. Власть строга еще, конечно, крепка, сильна, но умный человек видит — все идет не так, и не мне, полагал старик, маленькому человеку, противиться ходу событий. Сама судьба посылала и ему удобный случай. Русские товары в Кяхте дороги... А здесь они очень дешевы.

В душе он давно уже осуждал многие законы в своей стране. Как бы просто, казалось, можно жить и торговать к обоюдной выгоде!

Противоречивые чувства владели старым маньчжурским чиновником, когда он сидел в ожидании гостей, приказав повару приготовить самый лучший обед.

Русские уже собирались, и Козлов сказал капитану: — А как у старика глаза разбежались на товары, Геннадий Иванович! Вот уж он доволен будет подарками! Старухе отвезет красного-то сукна!

«Он не токмо Амур, себя заложит...» — подумал Козлов и сказал мрачно:

— Торгашить горазды!

Старик вышел встречать гостей с улыбкой, вежливо поклонился, развел руками и пригласил их в шалаш, сделанный из елового корья. Пол был устлан белыми циновками из рисовой соломы.

Капитан передал подарки: старику — красного сукна и ситца, а его спутникам — по отрезу от сукон попроще.

Старик принял все с поклонами. Капитан заметил, что он немного озабочен.

Все уселись на низкие скамеечки. По обе стороны капитана — Шестаков и Козлов, а с ними рядом, прямо на циновках, поджав ноги, — Позь и Афоня.

Перед русскими поставили маленькие лакированные столики. Старик устроился напротив капитана.

Служили двое бойких молодцов с черными косами. Водку подали в медных бутылках. Появилось красное вино. Пили из маленьких фарфоровых чашечек. Одно за другим подавались блюда: черепаховый суп, острые соусы, рис, курица, свинина, бобы. В одном из кушаний оказались и свинина, и курица, и что-то вроде рыбы, но было вкусно.



Невельской опять расспрашивал про край, про реки и селения. Маньчжуры отвечали на этот раз гораздо охотней и лишь изредка переглядывались, и тогда капитану казалось, что они все еще чего-то опасаются.

— С тобой выгодно торговать,— наконец сказал старик,— мои товарищи хотели бы продолжать с тобой торговлю.

— На Иски у меня лавка и селение,— отвечал Невельской.— Приезжайте туда на будущий год, и будем торговать. Вам нужны наши товары, а нам — ваши. Мы будем рады, если ваши купцы будут приходить к нам. Мы будем очень довольны. Мы будем соблюдать ваши законы, когда будем у вас, а вы, когда бываете здесь,— наши.

— Это хорошо! — сказал старик. — Очень приятно слышать! Но вот что меня беспокоит: скажите, правда ли, — продолжал он, несколько волнуясь, — не ошиблись ли вы, сказав, что здесь русская земля?

— Да, это правда! — спокойно ответил капитан.

— Но почему же прежде об этом ничего не было известно?

— Мы всегда знали об этом, только не занимали эту землю, потому что не было причины беспокоиться. А теперь, когда сюда подходят на судах рыжие, мы решили преградить им вход в реку.

— Но почему вы говорите, что тут земля ваша? Как вы можете это доказать?

Невельской сказал, что есть договор, по которому земли между хребтом и морем не разграничены и что теперь решено эти земли занять.

Старик стал говорить о направлении гор и о границе. Он доказывал, что граница пошла по горам, велел подать кисточку, тушь и бумагу и стал чертить горный Становой хребет. Он нарисовал, как этот хребет двойится, не доходя верховьев Амгуни: одна ветвь идет на север, а другая к Амуру и перебрасывается через реку.

Капитан сказал, что тут и спора быть не может, и долго объяснял, и доказывал старику свое, и сказал, что граница идет по южной ветви хребта, что там главные горы, а не здесь, и что русский император твердо держится того, что эти земли русские и их ни за что не уступит.

— Я с вами согласен, — сказал старик вежливо. — Когда я выслушал ваши доводы, то вижу, что они верны. Но я боюсь, что у нас думают по-другому.

— Надо полагать, что наш император сам убедит в этом вашего и не нам, людям подчиненным, решать все это. Нам остается исполнять то, что прикажут. Я же, чтобы не подвести вас, дам вам бумагу, в которой все будет написано от имени нашего правительства.

Старик в душе обрадовался.

— А как же быть теперь с данью? Ведь мы собирали тут дань. Каждый год в казну государя поступало отсюда несколько сот соболей...

— Ни о каком сборе дани я не слышал, — ответил капитан. — Если это было, то производился незаконный сбор и мы об этом не знали прежде. И заранее скажу,

что мы не потерпим никаких сборов здесь... Торгуйте, но дань собирать нельзя.

— Это большой ущерб для нашего государства.

— Но что значит сотня незаконно получаемых соболей по сравнению с теми выгодами, что получают обе стороны от взаимной торговли... Разве вы не видели наших товаров? А нам нужен рис, просо, водка, леденец, и мы все это будем покупать охотно.

Старик задумался. Молодцы с косами убрали одни блюда и подавали другие. Маньчжурские купцы стали рассуждать, где лучше встречаться для взаимной торговли. Опять говорили о том, где и какие реки впадают в Амур, где какие селения, когда в них ярмарки... Оказывалось, что ближайшее селение маньчжуров находится отсюда в двадцати днях пути вверх по течению.

Старик объяснил, что плавание в низовьях реки частным лицам запрещено, что купцы идут сюда, давая взятки чиновникам, и что он взял их с собой, получив на это разрешение, но неизвестно, допустят ли их еще раз сюда в будущем году. Хотя, конечно, они постараются приехать на Иски.

Он сказал, что если в самом деле все устроится так, как говорит капитан, то надо русским привозить свои товары в верхние селения.

— Там лучше места, и тебе там понравится! — сказал старик. — На устье Уссури мы могли бы с тобой торговать гораздо выгодней, чем на Кяхте. Так мои товарищи говорят.

Невельской чувствовал, что сошелся с настоящей Азией и сущим Китаем, который считается чем-то скрытым и недосыгаемым. А тут как на ладони все становилось ясным: Кяхта с ее глупыми ограничениями будет со временем не нужна. Ему даже показалось, что эти люди тоже тяготеют своими тупыми повелителями и своими старыми законами и ищут общения с другими народами. Он видел — народ этот неглуп, ясно и остроумно выражает свои мысли, совсем не страшится иностранцев, как принято думать. Лица этих людей совсем не такие, как их рисуют. Были красивы и старики и молодые. Он подумал, что с занятием Амура, конечно, рухнут все привилегии торгующих в Кяхте, что Россия и Китай невольно сблизятся.

Маньчжуры интересовались Россией и Европой. К их великому удовольствию, Невельской велел принести атлас и показал карту мира, на ней Англию, сравнил ее с Китаем и сказал, сколько там населения и сколько в Китае.

Старик подвыпил и сказал, что тут есть еще одна статья дохода и капитан может ею сам воспользоваться. От простой торговли с гиляками доходы невелики...

— Мы берем девок у этих собак и увозим в город. Вы видите, что это за народ...

При этих словах кровь бросилась Позю в лицо, но он перевел все слово в слово.

— Можете и вы! — Старик подмигнул капитану. — Гиляки — поганое племя, и нет греха отбирать у них баб.

Невельской ответил:

— Русский царь это знает и велел смотреть, чтобы этого не было.

— Что тут плохого? Это не люди! — Старик огорчился. — Они ведь и сами не очень беспокоятся за своих девок. Мы только так же поступаем, как они сами!

— Нет, этого больше делать нельзя. Да и ваш закон запрещает отбирать женщин у народа. А по нашему закону за это следует строгое наказание.

«С капитаном трудно спорить... Жаль, конечно, что не во всем удастся с ним договориться... Вообще с этими землями давно не все ясно, — думал старик. — Сюда одно время запрещали ездить... Неужели они не разграничены? Всегда поминались какие-то государственные тайны, когда речь заходила про эти места. Впрочем, у нас всегда и всюду тайны... Как же можно твердо и с уверенностью отстаивать то, чего даже я сам не знаю толком. Теперь я даже возразить как следует не могу капитану!»

Старик признался, что теперь, когда капитан обещал ему бумагу, он согласен взять подарки, а то не знал, как быть, не желая обидеть гостя, но и принять не мог со спокойной совестью...

На прощанье старик расчувствовался, хвалил капитана, что он очень хороший человек. Ему все еще многое было неясно, но заговаривать о своих сомнениях он не решался, опасаясь, что в самом деле капитан прав, дело решено правительствами и тогда возражения лишь

оскорбят гостей. Губернатору он предъявит правительственную бумагу. Негодяев торгашей, которые сюда ездят и грабят гиляков и тут наживаются, старик сам не любил. Пусть русские заберут у них все доходы и заставляют исполнять свои законы!

Маньчжуры проводили русских и дружески простились.

Глава шестнадцатая

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Было жарко и душно. Уставший капитан лег в палатке. С вечера слышал он, как приехали в лодке Фомин и Чумбока.

Пошел дождь. Ночью капитана разбудил Шестаков.

«Я давно не спал так крепко», — подумал Невельской.

Палатка трепетала от ветра. На реке бушевал шторм. Шлюпку пришлось перетащить повыше на берег. Часть товаров перенесли в палатку.

На рассвете волны стихли. Дождь перестал. Ветер переменялся, набегал слабыми порывами. В деревне были собаки.

Козлов подал к чаю китайский леденец. После завтрака, оставив у палатки двух часовых, капитан отправился на шлюпке к Тырским утесам.

Мимо проплывала деревня и шалаш маньчжуров, их лодки, вытасченные на берег. Кое-где виднелись люди у вешалов. За деревней ветер гнул заросли тальников.

Рыжий Тырский утес высился над рекой. Шлюпка пристала у его подножия. Сверху шли две лодки.

— Кто-то рано едет, — заметил Козлов.

— Отовсюду, капитан, люди едут, тебя хотят посмотреть! — сказал Позь.

Чедапо провел Невельского наверх. Там, на площадке, над самой кручей, стояли каменные столбы. За рекой видны были горы, туман и облака.

Под утесом слышались голоса.

Две лодки с гиляками в белых шляпах, видимо, те, что шли сверху, пристали к подножию скалы.

Когда Невельской спустился вниз, рядом со шлюпкой стояли две плоскодонки. Люди с косами в берестя-

ных шляпах поднялись с песка. Взоры их были изумленно-радостны.

— Вот, капитан, к тебе издалека люди приехали, — сказал тунгус Афоня, оставшийся с матросами у шлюпки.

— Ты Невельской? — подходя к капитану и протягивая дрожащие руки, спросил босой, смуглый дед в коротком халате.

Толпа приезжих обступила капитана.

— Я их языка не знаю, — сказал Позь. — Сейчас хорошего переводчика возьмем. Чумбока из их стороны. Эй, Чумбока, иди, верховские приехали, — крикнул он, прикладывая руки ко рту.

Гольд задержался в зарослях. Он выбежал и, увидя чернолицего старика, остолбенел.

— Дедушка Иренгену!

Рядом с дедом стоял другой старик с дожелта прокуренными усами и с темными, похожими на трещины, впадинами на щеках. Это был дядюшка Дохсо, отец Одаки, убитой жены Чумбоки. И Кога, длинный, как журавль, дедушка Кога, с тремя седыми волосками на подбородке, который когда-то так любил Чумбоку.

«Уй-уй! Как они постарели! Какая одежда на них бедная на всех! Рвань! Кругом все свои, родные...» Чумбока готов был кинуться к ним, обнимать всех... На миг он почувствовал себя вернувшимся домой. Но тотчас же горькие воспоминания охватили его. Он вспомнил, как жил с дядей на озере, как старик радовался счастьем дочери и как потом все они, вот эти его близкие, любимые им люди, убили свою родную сестру и племянницу, а его выгнали. Сердце рвалось к ним, к своим, но нельзя было забыть... И так больно стало, что Чумбока готов был заплакать.

Он взглянул на капитана, ища поддержки.

— А-па-на! — пролепетал тем временем дядюшка Дохсо, узнавши в переводчике своего бывшего зятя. Худые, черные ноги дядюшки задрожали так сильно, словно Дохсо пустился в пляс.

И снова вспомнил Чумбока былое. Когда-то, еще парнем, он с Одакой любезничал и с дерева в лодку дядюшки Дохсо свалился — лесина треснула, и он прямо к Одаке полетел, — и вот тоже тогда у дядюшки ноги затряслись. Так с ним бывает, когда сильно испугается.

И сейчас он опять струсил. А сын его Игтонгка побледнел. Чумбоке стало немного жаль их.

Дохсо не знал, как тут быть. Но дедушка Иренгену, который либо не узнал Чумбоку, либо не хотел обращаться на него внимания, заговорил с Невельским.

— Так это ты Невельской?

— Я!

— Мы к тебе приехали,— сказал старик твердо.— Мы слышали, что пришли русские, что ты едешь...

Невельской не понимал его больше.

— Ну, помоги,— обратился хитроумный дедушка Кога к Чумбоке,— пусть русский с нами поговорит.

Чумбоке достаточно было взглянуть на капитана, как боль его ушла куда-то в глубь души. Вот и он стал переводчиком, не только Позь! И Чумбока теперь наконец пригодился капитану. Гордость охватила сердце молодого гольда. Он стал тверд, как железо. Он резал взглядом сузившихся глаз своих родственников и стал переводить, стараясь все подробно передать Позю, а тот переводил капитану.

Говорил дедушка Иренгену. Остальные все смотрели и слушали.

Старик сказал, что живется плохо, что они просят Невельского прийти на Гэнгиэн, поселиться там и охранять их.

Все гэнгиэнцы стали кланяться и просить, у многих на глазах были слезы. Чумбока увидел, что жизнь его родных не была за эти годы счастливой.

«Не стали вы счастливыми оттого, что жену мою убили! — подумал он.— А вот говорили, что от нее злые духи рождались и что от нас все несчастья!»

Переводя речь старика, который стал перечислять беды гэнгиэнцев, Чумбока чуть сам не заплакал, и жаль было их, и зло на них разбирало, и горько было.

— Мы привезли тебе подарки! — Дядюшка — старик скуповатый, всегда все прятал и всем родным говорил, что у него нет ничего, а на этот раз вытащил соболя, черного, пушистого.

Невельской не стал отказываться от подарков. Он пригласил всех к себе в палатку на Тыр.

— Поедемте туда,— сказал он,— и там мы обо всем поговорим.

Чумбока отправился с Невельским.

Когда шлюпка Невельского подходила к деревне, на окраине ее тырские гиляки тянули невод. Напротив пих, на берегу, сидели на корточках рабочие с маньчжурских лодок. Видно было, как гиляки бросили им несколько рыбин.

Из шалаша, кутаясь в халаты, вышли маньчжуры. Когда шлюпка подошла ближе, они стали усердно кланяться. Невельской велел пристать.

— Маньчжуры загуляли, вашескорodie! — заметил Козлов. — Вон один на ногах не стоит...

— Им теперь не фартит! — подтвердил Шестаков. — Гиляки говорят, что бить их собираются.

Невельской вышел на берег.

Старик встретил его. Он поклонился капитану. Маньчжуры обступили Невельского, приглашая к себе. Вид у них был невеселый. От некоторых несло вином. Усатый маньчжур, похожий на ученого, едва держался на ногах.

— Мне очень нужно поговорить с тобой, — сказал старик.

Капитан вошел в шалаш. Матросы остались на берегу, проводники последовали за капитаном.

Маньчжуры предложили водки.

— Надо и вам согреться, сегодня ветер и день холодный! — перевел Позь слова старика. — А вы все время в разъездах.

— Мы очень рады тебя видеть, — продолжал маньчжур. — Всю ночь мы были в тревоге и я совсем не спал.

— Что случилось?

— Гиляки пытаются делать насплия над нами! — сказал старик. Глаза его зло блеснули. — Разве вы не сказали нам, что будете охранять нас и торговать с нами?

— Да, я так сказал.

— Мы это говорили гилякам, а они не верят и оскорбляют нас. Говорят нам, что мы собаки и что русские нас прогонят. Сегодня ночью в наши шалаша кидали камни. Они кричат нам обидные слова, никто не продаст юколы, не хотят ловить рыбу, и гребцы, взятые нами, разбежались. Мы так не можем тут торговать. С голоду умрем. Когда мои люди стали уговаривать их, они посмеялись и разошлись.

Капитан пообещал принять меры.

Он сказал, что сегодня будет читать объявления от имени правительства и даст обещанную бумагу, поэтому просит чиновника с товарищами прибыть через некоторое время к его палатке.

Он еще посидел немного у маньчжуров.

— Вы не знаете, что за народ гилияки, — жаловался старик. — Вот вы жалуете их семьи. А у них нет семей. Они долгов не отдают, при всяком удобном случае хватаются за ножи. Вам очень трудно жить с ними будет, капитан. Напрасно вы за них заступаетесь. Они этого не заслуживают. Кроме воровства и обмана, вы от них ничего не увидите. И вас они охотно предадут, если будет выгодно. Вы видели, как они вчера перебежали от вас к нам и от нас к вам, они всегда за тех, кто сильнее.

Невельской терпеливо выслушал старика.

— Приходите к полдень к моей палатке, я сделаю там объявления, а потом разберем все, о чем вы просите, и если найдутся виновные, то я накажу их, — сказал капитан.

Когда он вернулся к своей палатке, там его ждала огромная толпа. Тут же были гэнгиэнцы.

Капитан пригласил их в палатку. Чумбока опять переводил. Угощали чаем, вином, сладостями, табаком, не хуже, чем маньчжуров. Старики получили от капитана подарки.

— Сколько же дней ехать сюда от Самогирского озера? — спросил капитан.

Пока Позь переводил это Чумбоке, дед Иренгену сморщил лоб, как бы мучительно напрягая память. Старик не дождался гольдского перевода.

— Семь ден! — вдруг выпалил он по-русски и, привскочив в испуге, оглядел всех сидящих справа и слева, как бы совершив ужасную оплошность и опасаясь, не замечена ли она кем не следует.

— Так ты знаешь по-русски? — с удивлением спросил Невельской.

— Знаю! — все еще в испуге ответил старик.

Уже давно-давно не говорил он по-русски. Когда-то дедушка Иренгену жил по ту сторону хребтов и считался русским тунгусом.

— Как же! Конечно, знаю! — повторил старик, глядя на капитана по-детски ясным взором, а губы его тряслись. — Ведь я крещеный,

Никогда прежде Чумбоке не приходилось слышать, что дедушка Иренгену крещеный и знает по-русски. Только теперь понял он, как это ухитрялся старик узнавать, что говорят между собой русские, когда торговцы приезжали в его деревню.

То, что дальше услышал Чумбока, изумило его еще сильнеей.

— Мои отцы, — продолжал дедушка Иренгену, — когда я был маленький, пришли на Гэнгиэн из-за хребтов... — Запас русских слов у старика окончился и далее он продолжал по-гольдски. — Тогда много людей на Амуре ушло. В те времена не то сильная болезнь по Амуре прошла и люди вымерли, не то маньчжуры всех увезли к себе куда-то. Вот наши старики, жившие за горами, об этом узнали и пошли жить на реку. А вот мой парень! — добавил старик по-русски, показывая на долговязого шестидесятилетнего Когу. — Жаль, капитан, что ты не пойдешь к нам жить. Иски — плохое место. У нас теплей и веселей.

Невельской объяснил, что к Иски могут подходить большие морские суда, поэтому там построен русский пост.

— На будущий год мы поставим посты и лавки на Амуре, — сказал он.

Гэнгиэнцы рассказали, как проехать к ним. Опять пошла речь про реки, хребты и озера.

Между тем у палатки собрался народ, слышались громкие голоса.

— Маньчжуры пришли, — входя в палатку, сказал Афоня.

Гольды переглянулись тревожно.

— Сегодня мы будем читать бумагу от нашего царя, — сказал капитан, — и вы слушайте. Маньчжуры тоже пришли слушать, но не бойтесь их...

— Так ты толмачом у лоча? — обратился к Чумбоке дедушка, выходя из палатки.

Все с уваженьем посмотрели на своего бывшего родственника.

— Ты нам много хорошего сделал, — заговорил Дохсо, стараясь задобрить парня. — Говорил за нас. Спасибо тебе!

— Вот наши лодки, — показал Кога.

— Пойдем к нам, поговорим.

— Расскажешь, как жил и как сюда попал. Ты хорошо по-гиляцки выучился!

— Я думал, что вам хорошо жилось! — сказал Чумбока.

Гэнгиэнцы смущенно умолкли, чувствуя себя глубоко виноватыми. Особенно ясно это было сейчас, после разговора с русскими.

Все пошли к лодкам. Ведь лодка это часть дома.

— У-у! Знакомые лодки. Вот в этой я ездил. А эта дядина... А что же брат не приехал? — спросил Чумбока. — Я слышал, что он разбогател?

— Какой разбогател! Да кто тебе это сказал?

— Это сказал Гао!

— Гао? — удивился Кога. — Где ты его видел?

— Здесь!

— Гао здесь?!

— Он и губит твоего брата, — заговорил Дохсо. — И сыновья его... Мстят ему за тебя, изводят его...

— Что же ты смотришь? — говорили сородичи. — Ходишь с капитаном, а сам не догадываешься, что сделать надо. Гао обманул тебя. Твой брат до сих пор в долгу.

В это время толпа зашумела. Матросы выстроились с ружьями.

Из палатки вышел капитан. Рядом с ним стоял Позь, державший в руках несколько свитков бумаги. Тут же встали Афоня и Чумбока.

Маньчжуры столпились слева от капитана. Они улыбались и кланялись ему, как доброму знакомому.

Невельской поднялся на обрубок дерева и бегло оглядел огромную толпу. Глаза у него колючие, но веселые. Позь подал ему бумагу. Капитан, не разворачивая, держал ее в руке.

— Хотя русские давно здесь не бывали, — объявил он, — по всегда считали всю реку и земли от Каменных гор Хингана до моря, а равно и всю страну вдоль моря с островом Карафту своими.

— До русского царя дошли известия, что иностранцы, бьющие китов, стали приходить к здешним берегам, что они делают насилия над здешними жителями и хотят войти в реку и занять эту страну. Чтобы защитить здешнее население от иностранных судов и не допускать тут насилий, мы поставили вооруженные посты в зали-

ве Иски и на устье Амура. Всех здешних жителей великий русский царь принимает под свое покровительство и защиту, о чем я, посланный для этой цели от царя, и объявляю...

— Никто теперь у здешних людей не смеет брать даром какую-либо вещь: лодку, мех, рыбу, так же как никто не смеет заставлять здешних людей работать на себя. Никто не смеет чинить тут никаких обид, хватать тут женщин или уводить людей в рабство и не смеет собирать дань.

— Чтобы все это, что я сейчас сказал, было известно приходящим сюда чужестранцам, я оставляю вам вот эти бумаги, на них написано все, что я сказал.

В тишине слышно было как, разворачиваясь, зашуршал пергаментный свиток.

— «От имени Российского правительства,— подымая бумагу, торжественно читал капитан,— объявляется всем иностранным судам, плавающим в Татарском заливе...— Позь и Чумбока сразу же переводили,— что все берега этого залива и весь Приамурский край... до корейской границы, с островом Сахалином, составляют Российские владения, и никакие обиды обитающим тут жителям не могут быть допускаемы. Для этого поставлены российские военные посты в заливе Иски и в устье реки Амура...»

После чтения Невельской обратился к старику маньчжуру и подал ему бумагу. Тот поспешно улыбнулся.

— Мы, русские, всегда будем рады видеть вас или ваших товарищей на Иски и торговать с вами,— сказал капитан.— Если ваши люди пойдут к нам или будут в других дальних путешествиях по этим краям и встретят рыжих, пусть они покажут это объявление... И вы предъявите его у вас в Сан-Сине.

Старик осторожно принял свиток обеими руками и почтительно поклонился.

После этого капитан обратился к Еткуну.

— Вот ты просил у меня защиты от иностранцев. Возьми этот лист, Еткун. Ты слышал, что там написано?

— Да, я слышал и все понял! — ответил Еткун.

— И я! — подтвердил Араска.

— Когда придет судно с моря, покажешь эту бумагу и скажешь им, что все жители залива Нангмар теперь находятся под защитой русского царя.

Капитан свернул бумагу и отдал Араске.

— Зря никому не показывай!

— Как же! — воскликнул гангмарец.

Гао Цзо тоже пробился вперед. Он часто и усиленно кланялся и улыбался, глядя открытыми глазами на капитана, желая обратить на себя внимание. Ему до смерти хотелось заполучить себе такое объявление. «С такой бумагой я бы зажил на русской земле!»

— Ты обещал мне такую же бумагу... Я здешний житель... Мне приходится много ездить... Я грамотный человек, торгую, везде бываю, мог бы всюду показывать такое объявление. Я бы всем его переводил и толковал. Я знаю все языки, а кто знает языки и торгует, тот самый...

— Я тебе не могу дать бумаги,— перебил его капитан.— На тебя есть жалоба... Остайся здесь и жди! Придержи его,— велел капитан Шестакову.

Матрос встал рядом с Гао. Вдруг старый торгаш увидел гангиэнцев.

— Ты обещал мне бумагу,— слабо улыбаясь, лепетал Гао.

Позь перевел его слова. Невельской не ответил.

— Теперь ты иди сюда, дедушка Иренгену,— сказал Позь старику гангиэнцу.— Вот бери такую же бумагу. Да скажи приезжающим в вашу деревню торговцам, что если кто-нибудь из них будет делать насилия или обманывать, то мы будем наказывать. Понял?

— Понял! — громко по-русски выкрикнул дед.

Он спрятал футляр с объявлениями за пазуху, застегнул халат и обхватил капитана своими слабыми руками за шею.

— Прощай, капитан Невельской! — говорил старик маньчжур.— Спасибо тебе за все! Не забудь нашей просьбы и приходи торговать вверх по реке.

Маньчжуры стали кланяться и благодарить капитана.

— Разве вы уже уезжаете? — спросил Невельской.

— Да, у нас все готово, и мы собрались в путь.

— А как же разбор вашей жалобы? Я должен как следует узнать, кто виноват.

Маньчжур несколько смутился. Он благодарил, уверял, что надо ехать и жалоба его теперь не имеет значения. Стоит ли заниматься такими пустяками.

— Нет, я должен разобрать все,— сказал капитан.

Толпа сбилась плотней.

— Здесь многие люди плохие поступки совершают,— сказал капитан, обращаясь к толпе.— Сегодня ко мне поступили жалобы, что здесь нельзя торговать, находятся люди, которые бьют купцов и не исполняют то, что обязались. Я эти жалобы должен разобрать. А вы все слушайте и помогите мне решить все справедливо.

— Вот Хомбан сказал мне,— продолжал капитан, показывая на старика с седыми усами,— что сегодня ночью его помощников побили и ограбили, а одного ранили.

Невельской попросил его рассказать, как все было, показать виновных.

Старик вышел и с большой важностью оглядел толпу. Среди гиляков началось движение. Видимо, виноватые пытались спрятаться.

— Вот он! — Один из маньчжуров ловко поймал какого-то гиляка и вытащил его из толпы.

— Да, вот он виноват! — подтвердил старик.

Гиляк побледнел.

— Ты ранил ножом моего человека! — закричал, обращаясь к нему, старик.

Маньчжуры зашумели и задвигались, ругая притихших и смущенных гиляков и требуя наказания.

— Я все скажу сам...— Гиляк вырвался из рук державшего его солдата.

Невельской видел, что гиляки в большой тревоге. Вместо того чтобы помочь им, русские заступались за маньчжуров.

— Что у вас случилось? Почему ты ударил человека ножом и подбивал своих товарищей убивать маньчжуров? — спросил гиляка Невельской.

— Я никого не ударил ножом!..— крикнул тот.

— Врет, врет!

— И другие виноваты, не он один! — кричали маньчжуры.

— Если все возьмутся за ножи, что же будет? Тогда никто сюда с товаром не приедет,— сказал капитан.

Все маньчжуры закричали:

— Да, да! Он виноват! Он ранил нашего человека. Они ночью кидали камни в наш балаган! Так торговать нельзя. Гиляки нас обманывают...

— Было так?

Гиляк молчал.

— Скажи правду! — велел ему Позь.

Гиляк стал, волнуясь, отвечать.

— Он говорит, неправда, не ударил ножом, — перевел Позь.

— Где тот человек, кого он ударил? — спросил Невельской.

Из толпы выступил один солдат.

— Где твоя рана?

Сначала маньчжур сказал, что рана на груди под кофтой. Невельской велел раздеться и показать рану. Маньчжур смутился. Все засмеялись и закричали, что он врет, что раны нет.

— Он хотел ножом ударить, — оправдывался солдат. — Прикладывал нож мне к груди.

— Он только замахнулся ножом, — кричали гиляки.

— Он только хотел ударить, — сказал Позь, — нож, говорит, выхватил и маньчжуры убежали...

— С кем ты был? — спросил капитан у маньчжура. — Покажи мне своих товарищей.

Маньчжур замялся, а гиляки показали на двух солдат.

Тут обе стороны стали кричать: одни уверяли, что их избили, другие доказывали, что ничего подобного не было.

Обвиненный гиляк вдруг рассердился, кинулся на маньчжурского солдата и схватил его за грудь.

— Шестаков! — велел капитан.

Матрос встал между маньчжуром и гиляком.

Позь спросил у присутствующих, знает ли кто-нибудь, почему так произошло. Выяснилось, что дело это давнее, что маньчжур когда-то избил гиляка, отнял у него халат и котел и что тот теперь грозился ему отомстить.

— Ты должен был прийти ко мне, а не хвататься за нож.

Гиляк потупился.

Другие гиляки закричали, что виноват маньчжур.

Капитан понял, что тут дело не такое простое. Показывая, что не торопится с его разбором, он уселся на пеньки и закурил трубку.

— Рассказывай все,— сказал капитан гиялку,— что, когда и как у тебя он отнял.

— Все говорите! Капитан все хочет знать о вашей жизни...— объявил Позь.

Тут капитан услышал, как гиялков втягивали в долги, спаивали, обманывали. Выяснилось, что все здешнее население в кабале у купцов, приехавших с маньчжурами, что гиялков грабят и обманывают, отбирают у них детей, насиляют женщин.

Дул холодный ветер. Нашли тучи. Сегодня впервые почувствовалось дыхание недалекой осени.

«В России мужики тоже в кабале,— подняв воротник шинели, думал капитан,— может быть, местами не лучшей. Здесь, на Амуре, мы утверждаем справедливость, а там у нас беззакония немало. Пока что надо упорядочить здешнюю торговлю. Из государственных соображений необходимо развивать торг русских с маньчжурами, нельзя изгнать их совсем...»

Между тем языки развязались.

Из толпы выступил коренастый лохматый старик с красным лицом. Его новый халат был разорван.

— А ты думаешь, что другие маньчжуры не такие? — спросил он, хватая Невельского за рукав.— Ты думаешь, он лучше их? — показывая на маньчжурского чиновника, продолжал старик.— Да ты знаешь, что он тут раньше делал? Перед твоим приездом меня били за то, что я выдру хорошую добычу, и ему не оставил, а купил материи у купца и сшил себе вот этот халат.— Старик показал на какое-то подобие халата, разорванное на спине и на боках.

Другой гиялк стал жаловаться Невельскому на одного из маньчжурских солдат; тот пьяный залез ночью в его юрту и пытался изнасиловать женщину.

— Вот теперь придется вам платить за все! — говорил маньчжурам толстый, румяный гиялк в голубой стеганой шапке, видимо, торговец.

— Мы с вами торгуем, и вы не должны касаться моих дел с гиялками,— волнуясь, сказал старик, обращаясь к Невельскому.

— Нет,— отвечал капитан,— я тут должен смотреть за порядком. Так мне велел мой царь. Со мной вы торгуете честно, и мы с вами приятели, но вот гиялки жалуются на вас. Давайте разберемся.

— А разве гиляки нас не обманывают? — вскричал старик, проявляя необычайную живость. — А разве гиляки нас не грабят? — кричал он, обливаясь потом. — Да чего стоит сегодняшняя ночь! Тогда выслушайте и наши жалобы.

— Вы правы, грабить никто не смеет. И я буду наказывать грабителей.

— Они воруют! Они нападали на нас!

— Но разве гиляки могли осмелиться напасть на ваш отряд? — спросил Чедано. Теперь он уж не боялся пришельцев. — У вас ружья, а что у нас?

Толпа опять засмеялась, а маньчжур помрачнел и умолк.

Капитан терпеливо слушал, продолжая сидеть на пенке. Старик, прижимая кулаки к сердцу, признал свою вину. За разорванный халат он согласен был уплатить. Невельской велел отдать двум гилякам отнятые у них на этих днях меха.

Капитан на первый раз простил гиляка, который пытался ударить маньчжура пожом, объяснив, что он был много раз обманут и что раны он не нанес, хотя и пытался. А солдату велено было вернуть котел.

— Но котла нет у меня!

— Верни товаром. Возьми у купцов, — сказал капитан.

Другого гиляка, укравшего у маньчжура чайник, привели сами гиляки. У него отобрали чайник и отдали маньчжурам.

Худого и усатого маньчжура, любившего порассуждать о географии и науках, уличили в том, что он в прошлом году отнял свинью у гиляка. Гиляки потребовали свинью и штраф. Они объяснили, что так следует по их закону. Потом судили гиляков, виновных, как уверяли маньчжуры, в краже двух чашек крупы. При разборе оказалось, что гиляки обмануты на меновой. Толстый кяхтииец, ложко обвинивший гиляков, сам попался. Когда его судили, у палатки етоял сплошной хохот.

— Как хорошо русский судит! — говорили гиляки.

— Никого не бьет! Маньчжуры его слушаются!

Маньчжуры винили гиляков, что те не хотят работать гребцами и выкрикивают громко обидные слова.

— Почему же гребцы разбежались? — спросил капитан. — Надо доставить тех, кто вас нанял, на место, как договаривались.

Оказалось, что гребцам ничего не платят, они работают за харчи, да и те плохие. Невельской договорился о цене за греблю, а гилякам велел работать, как обязались.

— Ну, теперь твоя очередь,— сказал Невельской, обращаясь к Гао.

Гао давно стоял ссутулившись, вобрав голову в плечи и быстро соображая, что и на какой вопрос отвечать. Но оказалось все очень просто: одна из гилячек пожаловалась на Гао, что тот плохо оценил сегодня ее единственного соболя и сказал ей грубые слова.

Спор был улажен. Гао сразу согласился уплатить старухе, что следует. Он ожидал иного.

Толпа расходилась. Чумбока ушел с капитаном в палатку. Туда же пошли маньчжуры. Капитан позвал их пить чай на прощанье.

Маньчжуры долго сидели у него. Опять начались разговоры про край, про торговлю, про рыжих...

Капитан дружески простился со старым чиповником, приглашая всех маньчжур приезжать к себе в гости, и сказал, чтобы они не разрешали своим людям обижать гиляков.

Глава восемнадцатая

ВОЗМЕЗДИЕ

Гао, желая поскорей убраться, зашагал к своей лодке, скрытой между больших гиляцких плоскодонок.

Он сетовал на себя. Надо же было лезть к капитану! Хорошо еще отделался... Он-то ждал, что гэнгиэнцы могут напасть. Одна надежда, что дома они в его власти и поэтому не посмеют.

Вчера, встретив Чумбоку, Гао подумал, не уехать ли, но решил, что нечего бояться. Невельской, как понял Гао,— купец, с ним выгодно завести дела, торговать. Ради ничтожных дикарей купец не обидит купца. Гао надеялся, что русский не придаст значения жалобам Чумбоки, а сам Чумбока так тронут рассказами о брате, что должен позабыть свое зло. Не умеют долго злиться дикари. Они слабые. Их поманишь чем-нибудь, и сердце у них отходит.

Гао подошел к лодке, сожалея, что нет сына и нельзя сразу уехать. Он стал собираться, когда кто-то тронул его за плечо. Гао оглянулся: перед ним стоял Чумбока.

— Мне тебя надо! — сказал он. — Я вчера хотел поговорить. Я подумал, что ты не всегда лжешь и обманываешь. Сегодня приехали родные, и я узнал, как живет брат. Выходи из лодки!

Гао что-то хотел сказать, перешагнул через борт, улыбнулся, ласково тронул руку Чумбоки.

Подошли гиляки и гэнгиэнцы.

— Вот скажи при них, что ты всегда обманывал меня и брата... Объяви, что мой отец не был должен, что ты ложно приписал ему долг после смерти...

Гао Цзо сощурил глаза, вобрал голову в плечи и опять принял вид дряхлого старика.

Чумбока взял его за руку и рванул с силой.

— Идем к капитану!

— Веди его к капитану! — закричали столпившиеся гиляки. — Он повесит его! Это самый большой обманщик из всех торговцев.

— Ах, это он?

— Иди! — крикнул на торговца Кога.

— Что тебе надо? — умоляюще спросил Гао у Чумбоки.

— Отвечай, был его умерший отец тебе должен? — хватаясь за нож, хрипло крикнул гиляк Хурх, старый друг Чумбоки, знавший всю его историю.

— Его отец? — переспросил торгаш.

— Не прикидывайся дураком! — заорал Хурх. Он вынул нож и поднес острие его к лицу Гао.

Двое гиляков притащили старшего сына Гао, рослого, шустрого парня, приехавшего вместе с отцом и отлучавшегося по торговым делам в деревню.

— Нет, не был должен! — воскликнул Гао. — Но разве вы не слышали, капитан сказал, будет наказывать тех, кто осмелится угрожать ножами?

— Отец не был должен? — спросил Чумбока.

— Не был! — ласково сказал Гао. — Его отец не был должен! — радуясь своей находчивости, продолжал торгаш, обращаясь к толпе. — Это виноват приказчик. Он придумал. Сам украл мой товар, а сказал на умершего.

— Врешь! — крикнул Чумбока. — Правду лучше говори! Кто придумал?

— Зарезать его!

Гао, казалось, лишился голоса.

— Говори! — закричал на отца Гао-сын, которого гиляки стали бить.

— Ни ты, ни твой брат мне не были должны. Отец твой не был должен!

— А кто придумал? Ты? Или ты? — замахнулся Чумбока на Гао-сына.

Гао что-то забормотал себе под нос. Он вдруг почувствовал, что дело плохо, и повалился на колени перед Чумбокой.

— Нет, погоди! — сказал гольд. — Давай все подсчитаем. Кто вернет нам с братом все, что ты забрал у нас за долги отца?

— Что с ним разбираться! Хороший случай, потащим его обратно к капитану, — убеждал друга Хурх. — Узнаем, как он дело решит. Опять будет за маньчжуров, может быть. Если он его не повесит, то мы сами потом это сделаем. У меня есть хорошая веревка...

— Нет, нет! Я все скажу! Только не убивайте! Я честный, но несчастный торговец.

Гао боялся не смерти. Он опасался, что если капитан все узнает, то запретит ему торговать и того же потребует от маньчжуров.

— Трудно все сосчитать, долговой книги нет... Когда ты вернешься домой...

Чумбока угрюмо молчал.

— Давай его штрафовать! — закричали гиляки.

— Я тебе все отдам, — умолял Гао.

Чумбока стал вспоминать, в какой год и что давал он торговцу.

Все уселись на песок. Начались расчеты. Глухой гул шел по толпе, когда Чумбока уличал купца в обманах.

Гао обещал отдать всех соболей, взятых за мнимый долг отца. Он пошел в лодку и принес мешок. В нем было пять соболей.

— Мне их не надо! — ответил Чумбока. — Вот люди приедут и скажут брату, что долга за ним нет больше. И этих соболей возьми, Кога, с собой, я их посылаю брату... А теперь все же пойдем к капитану и подтверди при нем все, что сказал тут...

Как Гао ни упирался, но его повели к палатке.

— Это опять ты? — узнал капитан торговца. — Что ты еще наделал?

— Это тот самый торгаш,— говорил Чумбока,— о котором я тебе еще на Иски рассказывал...

Невельской сидел на пеньке, курил и долго слушал.

— Теперь мы тебя накажем! — наконец сказал он торговцу. — А ну, братцы, в линьки его! — приказал капитан. Фомка и Алеха подошли с линьками в руках.

Гао схватили.

— Капитан! — сказал Чумбока. — Не удивляйся, но я слышал, что русские попы учат, что за преступление можно прощать. Пусть он вернет долг брату, а ты не наказывай его. Я прошу об этом...

— Дурак, почему не даешь выпороть! — заорали гилляки.

— Сына надо тоже хорошенько выдрать,— говорил дед Ичинга.

— Выпороть их обоих! — сказал капитан. Он велел вернуть сейчас же всех маньчжуров.

Пришли маньчжуры, собралась большая толпа. Ударил барабан. Гао-отца и Гао-сына отхлестали.

— Вот это по-русски!

Хохот стоял кругом.

— Стервятник попался! — радовался Хурх.

— Если еще попадешься,— сказал капитан Гао-отцу,— накажем не так. За такие преступления — виселица... Да погоди... Будешь платить долги... Давай разберемся...

После обеда матросы сняли палатку. Русские готовились к отъезду.

Чумбока простился с гэнгиэнцами, передал привет родным и отправился туда, где готовилась к отплытию шлюпка капитана.

Глава девятнадцатая

НОВЫЙ ПОСТ

После целого года, проведенного в путешествиях по канцеляриям и складам от Петербурга до Аяна, после длительных и тягостных разговоров и вынужденного безделья наконец все сразу сделано.

«Представлю еще один рапорт о том, во что они никогда не верили!» — думал капитан. Он торжествовал в душе.

Теперь, очевидно, придется признаться, что правительство трусило и верило заведомо ложным сведениям. Компания обманула царя... Пусть Нессельроде и Сенявин схватятся за головы!

Он внутренне ликовал, представляя себе, как взбесится канцлер, который, когда капитан уезжал из Петербурга, с таким ученым видом, ссылаясь на множество авторитетов, объяснял ему, что делается на Амуре и как тут осторожно следует себя вести.

«Но открытие совершено, посты будут поставлены! Если меня накажут за то, что я исполнил, то им — позор! Правительству придется признать и подтвердить все мои действия. Да и Николай Николаевич, если он жив и здоров, не будет сидеть сложа руки... А хорош Амур», — продолжал размышлять капитан.

Река опять была в разливе. Сильный встречный ветер вызывал порядочное волнение, и шлюпку подбрасывало. На крутых скалах стоял густой лес из огромных голенастых белых берез. Толстые длинные стволы стеснились в полосатую стену над камнями утесов. Березы сильно качались, стволы их гнулись, зеленые шапки клонились на сторону. Там, на крутых склонах гор, видно, отчаянно выл ветер, но здесь не слышно было даже шума леса: его заглушал грохот и плеск волн. Шлюпка пошла к левому берегу.

— Вот в этой деревне, капитан, маньчжур торгует! — сказал Позь.

На песке стояла черная мачтовая лодка. На обрыве виднелись амбарчики на сваях и несколько глинобитных юрточек.

В небольшом стойбище остановились. Матросы наменяли у гиляков свежей рыбы и сварили обед.

Торговца еще не было дома. Он, по словам Позя, оставался на Тыре. Это был один из тех, кого там судили.

Капитан вошел в дом к гиляку, где жил торговец. Он смотрел и слушал, как торговались матросы с приказчиками. Невельскому пришло в голову, что китайцы живеи маньчжуров. Они веселей, чаще шутят и в то же время держались просто и с достоинством.

Хозяина дома — гиляка, у которого выменяли рыбу, — звали Умгх. Он рослый, с могучими плечами. По словам Позя, Умгх знал по-маньчжурски. Сидя на поджатых ногах, он о чем-то рассуждал с приказчиками.

— У него отец был китаец,— сказал Позь, кивая на Умгха.— Его мамка спала с китайцем. Про него все говорят — в нем китайская важность!

«Действительно, в нем есть важность»,— подумал капитан, и тут только сообразил, что и манерой держаться, и всем своим обликом Умгх похож на китайца. Китайцы — земледельцы. Гордая, древняя нация... К сожалению, сюда попадают охотники легкой наживы, не те, что своим трудом создали одну из древнейших цивилизаций.

Торговцы угостили Невельского водкой. Он просил их приезжать на Иски торговать. Они обещали.

Все жители стойбища долго стояли под обрывом у фанзушек, видимо беспокоясь за судьбу русского суденышка, пустившегося под парусами в такой ветер. Но шлюпка шла уверенно.

Позь сидел на корме подле капитана и говорил, что удивляется, откуда русские взяли, что здесь есть города.

— Миддендорф тоже про это всегда спрашивал.

— А ты, Позь, держись за русских,— сказал Шестаков,— тебя тут большим начальником сделают.

— Я еще в Петербург поеду,— отозвался гиляк.

Матросы засмеялись.

«Он в самом деле пойдет далеко!» — подумал капитан.

Матросы после Тыра, где гиляки выказали много отваги и явно сочувствовали русским, стали с ними порадушней.

— А вот приказчик, первый-то раз отпускал нам товар в Аяне,— потихоньку рассказывал товарищам Конев, сидя на посу за парусом,— так сказывал, что, мол, не все начальство за капитана. Завойко кричал на нашего-то, дескать, отпускаю товар, а сам не знаю, что мне будет за это, и, мол, есть генералы, что нашим недовольны. И так, видать, ему не хотелось товар отпускать... А капитан наш этот товар размотал, раздарил да все по дешевке роздал. Я ему вчерась говорю — дешево отдаем, в Расее и то за такую цену каждый схватит. Мол, Завойко, говорю, обидится, а он говорит, обойдется все, мол, двум смертям не бывать, а одной не миновать.

— Отчаянный он стал! — отвечал Фомин.— Как маньчжура хватил!

— Ладно, что не ждал, когда маньчжуры нападут, сам первый ударил, а то бы и его схватили, и нам бы тогда...

«Эх, я бы тут жил себе вольно!» — думал Конев, глядя на берега.

По службе он был очень исправен и старателен, но офицеров не любил и капитана всегда поругивал. Все удивлялись, когда он попросился с судна в экспедицию. Еще на родине, под Пензой, слышался Конев, как живут беглецы в степи у башкир и киргизов. Видел он потом селения выходцев из Европы и в Америке и на Гаваях и полагал, что люди в них живут не хуже, чем у башкир.

После того как повидали на Амгуни землю и особенно после Тыра, матросы стали совсем по-другому смотреть на здешние места. И хотя еще ни единого русского селения не было на берегах Амура, а вольный Степка сам сбежал от своих, матросы, спускаясь вниз по реке, чувствовали себя так, словно вокруг были знакомые места, хотя знали они всего лишь несколько стойбищ да промеривали нынче и в прошлом году фарватеры. Но никто из них еще не ступил в тот темный, грозно качавшийся лес, что стоял на сопках.

Погода переменялась, и тучи разошлись. Ярко светило солнце, и Амур стал опять синий, как морской залив. Огромные сопки, теперь уже без скал, но все так же покрытые буйным лесом, обступали его. Шляпка подходила к знакомым местам. Вдали, весь в яркой зелени, — полуостров Куэгда. На нем в прошлом году ночевали, выше не пошли, от него спускались по правому берегу до Японского моря. Нынче опять высаживались на нем. Это то самое стойбище Новое Мео на устье речки Каморы, где были несколько дней тому назад, где встретили Чумбоку. Отсюда через горы дорога на Иски.

Видны знакомые юрты.

«Хорошие места! — думает Конев. — Я бы написал домой, заманил, и все бы сюда переселились!»

Все матросы с удовольствием смотрели на приближавшийся березовый лес.

— Ну, Степанов, что задумался? — спросил капитан у Алехи. — Нравится место?

— Как же! Ндравится, вашескородие!

— А что здесь будет?

— Тут? — переспросил матрос, глядя на тот самый берег, что еще несколько дней тому назад казался пустынным и наводил страшную тоску. Лицо Степанова просияло.

— Не здесь, Геннадий Иванович, а вон там! — Он показал вдаль, на полуостров.

— Что же?

— Там? Город! — залихватски воскликнул Алеха.

— Порт! — добавил Козлов.

— Эллинги! — подхватил Алеха.

— Да... Порт! — молвил озабоченно Козлов, как бы сознавая, что до того, как на месте этих дремучих лесов будет порт и город, с матроса еще сдерут три шкуры.

Невельскому казалось, что матросы живей интересовались всем окружающим. «Дай бог, если после Тыра они поняли, что свое отстаивают и что бояться тут нельзя, если хочешь снести голову на плечах!» Правда, матросы ни слова не говорили о переселении, но похоже было, что эта мысль зашевелилась у них. Он не раз толковал им, что сюда будут переселять народ. Прежде они пропускали эти разговоры мимо ушей.

«Конечно, — думал капитан, — первых людей сюда начнут переселять насильно, как все у нас делается. И вряд ли кому захочется ступить в эти леса без принуждения, превращать их в плодородные поля. Люди не предпочтут эту землю «той», родной и любимой, с мечтой о которой часто даже матрос не расстается за долгие годы службы. Я и сам люблю свое, костромское, сольгаличское... А хотелось бы увидеть, как будут здесь жить люди, созреет ли тут хлеб... Но падет крепостное право, будет подъем, движение, народ хлынет...»

А день жаркий, летний.

— Экая теплынь! — говорит Алеха.

— Ветер-северяк подует, так сразу осопатит! — отвечал ему с невозмутимым видом тунгус Афона.

«Конец у нас все хулит, — думал Шестаков, — а уж сам прицеливается — почем меха, какая где рыба, он уж знает, чего и мы не знаем!»

Шлюпка пристала к берегу на устье речки Каморы. Хозяин одной из юрт гиляк Эльтун сказал, что четверо русских с оленями пришли вчера через горы из Иски и он проводил их сегодня дальше по берегу на полуостров Куэгду. Эльтуну за труды дали несколько локтей материи.

Чумбока сказал, что завтра придет на Куэгду, забрал мешок и вылез из шлюпки.

С гиляками попрощались, и шлюпка пошла дальше.

Вечерело.

Подходили к полуострову Куэгда, названному в прошлом году Константиновским. Совсем стихло. Шли на весах. Наверху леса и травы. Слеталась мошка. На берегу никого не видно, ни на обрыве, ни на отмелях, и нигде не заметно дымка от костра. Вот уж и желтые песчаные, с камнями и скалами, обрывы.

— Значит, тут будет город? — обратился вдруг капитан к Степанову.

Матрос оглянулся.

— Тут!

Он посмотрел вверх на обрывы и опять оглянулся через плечо на товарищей.

— Город будет! — вдруг, хитро улыбнувшись, молвил и Конев. — С Аялом место несравнимо!

Позь в это время думал, откуда и как капитан успел получить повеление от своего царя строить тут город. Аянские русские об этом ничего не говорили. Даже напротив, сказали, что пост будет на Иски, больше ничего не сказали. Что в Аяне не любят капитана, хитрый Позь приметил. Но что капитан мог делать что-нибудь своевольно, вопреки повелениям, гилиак не смел предпологать.

Шлюпка пристала к берегу. Раскинули палатку. Афоня пошел за дровами.

— А вон и наши, Гсинадий Иванович, — заметил Козлов.

Среди глубоких трав и кустарников к берегу пробрались несколько человек с красными лицами и с белыми платками на головах, обмахиваясь ветвями от комарья.

— Верно, наши! — говорили матросы.

Невельской различил офицерские погоны топографа.

Вскоре матросы обступили казаков Парфентьева и Беломестнова, которые сопровождали офицера, а топограф подошел к палатке капитана.

— Ну, как в Петровске? — спросил его Невельской, припав рапорт.

— Все слава богу! — отвечал пожилой скуластый офицер, одетый в шинель, несмотря на жару.

В заливе Счастья строили казарму, магазин и флигель для офицеров. Сквозь эти сведения и разговоры о постройках, запасах и торговле повеяло родным, своим,

флотским. Дела команды и поста были как бы семейными, дорогими и близкими.

— Мы оленей отводили на ягель. Их нельзя тут долго держать,— говорил Парфентьев.

— Шли обратно и с горы увидели шлюпку, Геннадий Иванович, так скорее стали спускаться,— молвил топограф, подкручивая усы.

Он достал из своей сумки карту, на которую нанес прямую сухопутную дорогу сюда из залива Счастья, через хребты.

У топографа и казаков за мысом была разбита своя палатка. Они переехали вечером поближе к капитану.

— Ну, как съездили, Геннадий Иванович? — спросил у капитана казак, притащивший вьюки.

— Слава богу, Парфентьев! — отвечал капитан.

— Тебя бы с нами! — молвил казаку Козлов. — Чуть в переплет не попали.

На другой день с утра выбрали место для поста. Решили строиться на удобной площадке неподалеку от палаток.

Застучали топоры. Матросы валили деревья, вырубали кустарники.

— Эх, ягоды там, Геннадий Иванович, — говорили они, спускаясь к обеду с обрыва. — Какой только нет... Малина, смородина... и черная...

За день площадка была расчищена от зарослей. Козлов и Конев выбрали длинную лесну, спилили ее, сняли с нее кору и поставили над обрывом мачту.

Под флашштоком установили фальконет.

Чумбока приехал с Эльтуном. Они пригнали две лодки. Гиляки поехали оповещать народ по деревням, чтобы завтра утром собирались все на Куэгду.

Позю заодно велено было купить хороший невод для лова осенней рыбы. Капитан знал, что кета скоро пойдет из моря и забьет все речки. Ход этой красной рыбы он видел впервые в прошлом году.

Позь вернулся поздно вечером, привез десяток серебряных кетин.

— Уже рыба пошла! — сказал он. — Невод завтра привезут. Я сторговал новый, его старик кончает вязать.

Вечером Невельской собрал своих людей. Матросы уже знали, что остаются здесь при шлюпке и фальконете

держат пост на реке до осени, а капитан уходит. Вместе с ним отправлялись и Афоня с Позем. Начальником поста оставался Козлов.

— Ты знаешь теперь, как обходиться с гиляками и с маньчжурами,— сказал ему капитан.— Будь тверд с маньчжурами, ни на шаг не отступай.

Невельской отдал Козлову объявления на трех языках о том, что край до Кореи занят русскими, и велел предъявлять иностранцам, если те войдут в реку.

— В случае опасности пошлешь человека по суше в Петровское. Олени остаются тут. Держать часового при пушке и флаге днем и ночью. Да чтобы ночью горел сигнальный огонь.

Свечи для фонарей капитан получил с топографом из залива Счастья.

— Кто заболет — в Петровское! Если не в силах будет схватить или случится ранение — пошлешь на оленях за фельдшером.

Грядущие опасности отчетливо представлялись матросам. Они глядели настороженно и слухали, стараясь все запомнить, чувствуя, что на них возлагается важное дело.

Определены были размеры пайков. Матросы тут же обсудили с капитаном, что надо прислать сюда из Петровского, а что попросить в Аяне для зимующих. «Охотск» должен был доставить туда капитана и вернуться. Спорили много. Конев сказал капитану, что надо немедленно прислать соли из Петровского.

— Ты бы сам, Геннадий Иванович, посидел без соли! Чудаки! — ругал он казаков.— Соль позабыли! А рыба псйдет? Уж соленая рыбка не то, что вяленая!

Невельской сказал, что пришлет.

Шестаков разглядывал карту.

— А где Корея? — спросил он.

Капитан показал. Матрос прикинул расстояние.

— Можно в одну навигацию описать! — сказал он.

Капитан и Позь старались угадать, где примерно те заливы и гавани, о которых было так много разговоров в эти дни и о которых гилякам было давно известно.

— Видишь, Шестаков, какая широта! Примерно Италия,— говорил капитан.— Помнишь Италию, Козлов?

— Как же!

Когда-то Козлов был в Италии с «Авророй».



Утром, меж пеньков от берез и елей, на вырубленной площадке собралась толпа гиляков.

Матросы с ружьями и казаки выстроились у флага.

— Братцы! — заговорил капитан, обращаясь к своей малочисленной команде. — Мы поднимаем на этих берегах русский флаг. Берегите его честь и славу. Не спускайте глаз с реки. Обращаюсь к вам не как к моим подчиненным, а как к дорогим и родным моим товарищам и братьям, в отваге и преданности которых я уверялся не раз. Помните, стоять тут, пока не пойдет шуга, смотреть в оба и, если кто явится, — дать объявления, а нападут — биться, не щадя живота. Гиляков и маньчжуров не обижать. Живите с ними дружно.

Позь все перевел толпе гиляков.

Невельской сказал, что называет пост Николаевским во имя царствующего императора. Переводчики объявили об этом толпе. Гиляки стояли ни живы ни мертвы.

— Хранить вход в реку зорко, братцы!

— Р-рады стараться! — к удивлению гиляков, враз гаркнули матросы.

По команде «шпанки долой» головы обнажились. Невельской прочитал молитву.

— К подъему флага приготовиться! — скомандовал он.

Шестаков встал у флажштока. Все стихли в торжественном молчании.

Позь объявил гилякам, что в знак того, что русские сюда вернулись и навсегда занимают эту землю, они поднимают флаг.

— Пошел флаг! — раздалась команда.

Шестаков стал быстро перебирать руками, и андреевский флаг пополз вверх.

Раздался залп. Ухнул фальконет. Матросы закричали «ура».

Гиляки тоже начали кричать, размахивая руками.

После церемонии всем им были розданы подарки.

Невельской позвал к себе старых гиляков, угощал, беседовал с ними, рассказал, какой русский царь великий, что зовут его Николай Павлович и как он послал его сюда. Капитан просил гиляков при случае всюду и всем объявлять, что здесь теперь русские.

После обеда гиляки стали расходиться.

Утром все готово было к отъезду капитана. К палатке подвели олепей. Позь и Афоня навьючили двух, а пятеро шли под верхом.

— Так, значит, Козлов, чуть что — в Петровское! — говорил капитан.

— Так точно, вашескородне! Чуть что — в Петровское!

Козлов был хозяйственный человек, при нем оставался грамотный Шестаков. Теперь у Козлова был пост, люди, шлюпка, пушка, продовольствие. Он знал, что надо, как велел капитан, людям дать занятие, чтобы не томились и не скучали. «Занятий хватит, — думал Козлов. — Дай бог управиться, лес заготовить на тот год. Чистить место». Оставались олени — это для сообщения с Петровским и на мясо, в случае голодовки.

— А уж чуть что — в Петровское, — твердил Алеха, испуганно глядя на собравшегося к отъезду капитана.

— Уж там все, — отвечал Конев.

— Так все ясно? — еще раз спросил капитан Козлова.

— Все, вашескородие!

— И гиляков не обижать!

— Само собой, Геннадий Иванович!

— Да ничего не брать у них даром.

Капитан обнял и перецеловал всех своих матросов по очереди.

— Будем крепко смотреть, — говорил ему растроганный Фомин.

— До будущей весны, братцы!

Как всегда, жаль ему было расставаться со своими спутниками. У всех на глазах были слезы. «Нечего жалостить их и себя», — подумал капитан и, опираясь на костыль, забрался на оленя.

— Так полушубки я пришлю, — сказал он. — Уж скоро на ночь часового придется одевать потеплее.

Позь и Афоня уселись на оленей верхами.

— Ну, что, капитан, поехали? — спросил Афоня.

— Поехали!

Афоня крикнул по-тунгусски, и олени пошли.

Невельской въехал в заросли травы, и все скрылось — река, матросы. Только вдали громоздились над травой горы правого берега, и казалось, что они совсем близко и что нет за этой травой широченной реки, что трава так и тянется до их подножий.

Синело ясное небо в редких облаках.

Чумбока тоже ехал на запасном олене. Он провожал капитана до устья Каморы.

Капитан улыбался кротко и счастливо. У него было хорошо на душе, что пост поставлен, объявления на трех языках даны Козлову, матросы оставались охотно, хотя и грустили. «Конев — подлец, даже его слеза прошибла».

Вскоре миновали заросли травы и снова выехали к реке. Через час были в стойбище Новое Мео.

Здесь остановились, опять беседовали со стариками. Начались взаимные расспросы. Договорились, что гиляки за плату будут возить сюда грузы с Иски.

Наконец всё решили, вышли из юрты и стали опять садиться на оленей.

— Так я, капитан, тут остаюсь,— сказал Чумбока.

— Да, ты тут нужен.

— Мне не хочется на Иски...

— Из-за Орлова?

— Не-ет! Дмитрий хороший! Я не боюсь его. Знаешь, капитан, ты подумай хорошенько. Я тут помогать буду. Я твой помощник, помогаю тебе. А ты мой помощник, помогаешь мне. И я буду здесь говорить, что русские пришли. Я скажу всем, что земля эта будет защищаться русскими. Так?

— Да, говори смело! Если волос упадет с твоей головы, скажи, что капитан от Иски сразу найдет обидчика. Тебе надо что-нибудь из вещей?

— Дай мне выбрать хороший нож и топор, больше мне ничего не надо. А когда захочешь увидеть меня, скажи Позю, гиляки меня найдут. Я буду на Мео жить, здесь. Пусть весной Дмитрий сюда приезжает. Я ему помогу. Прощай!

В дверях юрты стояла голоногая, широколицая, молодая, свежая и плотная гилячка. За нее прятались малыши.

Чумбока посмотрел на женщину и хотел что-то сказать, но не знал, как начать, и улыбнулся виновато.

Капитан и так все понял по одному его взору и по улыбке. А у самого кольнуло сердце.

Олени пошли по тропе вдоль речки. Лес сразу скрыл путников. Тощие, но высокие деревья густо росли на низком обрыве над потоком. Вскоре исчезли и Амур, и горы дальнего берега, и даже неба не стало видно за широкими и густыми вершинами деревьев. Капитан впервые вступил в амурскую тайгу.

Он подумал: «Теперь в Петровское, а потом в Аян... И в Иркутск...»

Глава двадцатая ВЕЛИКАЯ ТАЙГА

Вдруг лес поредел, раздвинулся, и небо открылось. Выехали на старую, зараставшую молодняком гарь. Огромные рыхлые и мягкие стволы догнивали повсюду среди сильных свежих побегов, некоторые еще были

крепки. Тропа огибала упавший ствол толщиной выше роста крупного оленя. Начались заросли ольшаника, потом пошла мелкая береза, но чем дальше, тем лучше и крупней был лес.

— Тут есть две тропы, капитан. Одна идет по речке, а другая через горы. По речке ехать удобней, а через горы прямо, но трудно и маленечко дальше. Но если хочешь, то посмотришь, там есть место, сверху видно и Амур и море.

— Конечно, поедем верхней тропой. К приливу успеем?

— Конечно! Мы хорошо выехали, капитан, — ответил гиляк. — В тайге ночуем и завтра доберемся на Иски, как раз будет прилив, большая вода, а то все равно будем сидеть, в отлив лодка не пойдет...

Олени стали подыматься в гору. Лес становился гуще. Попадались ели, высокие пихты, лиственницы с косматыми, растрепанными ветром ветвями. Огромная древняя ель стояла с разорванной корой, видно ее голое белое тело, у некоторых мертвых елей ветви в зелени, но это не хвоя, а какие-то мхи и лишайники.

Начался лес из старых берез.

«Такой роскоши я в жизни не видел», — подумал капитан.

Были березы высочайшие, но были и невысокие, но очень толстые, как древние дубы, и стволы их расходились натрое, начетверо. Большие березы росли по две, по три поблизости друг к другу, а между ними — черные ели. Дальше береза пошла еще тучней, с толстой глинце-витой листвой, со старой желто-белой корой в черных мозолях и глубоких морщинах.

Крутая сторона хребта, поросшего этим буйным лесом, была солнечной. Из-за вершин леса показались сопки за Амуром, но пока еще реки не было видно. Она залегла где-то глубоко между теми сопками и горой, на которую подымался капитан.

Вот над обрывом огромное дерево обнажило корни и склонилось к земле: на солнцепеке необычайно рослый, гораздо выше человека — стрельчатый иван-чай, с пирамидой розовых цветов. Всюду малинники.

— Вон видать Амур, — приостанавливая оленя, сказал Позь.

Невельской посмотрел направо. Под дальними сопками виднелась яркая полоса просины. Она казалась маленькой среди этой бесконечной, желтовато-зеленой росыши лесов, между тучных лесистых сопок.

— Вон там Куэгда, — показал Позь.

Но среди этого лесного океана не видно было ни поста, ни флага, ни пушки, ни часового с ружьем. Горсть людей, оставленная капитаном там внизу, где-то затерялась, исчезла. Невольно зашевелились мысли — хватит ли сил все тут сделать?.. Ведь страна эта бесконечна, а цель еще далека. «Где-то за этими горами южные гавани, которых я еще и не видел, а я иду не к ним, а в Иски, в Аян, в Иркутск и в Петербург... Боже, какой путь проехать надо туда и обратно, чтобы решать, смею ли я подойти к южным гаваням! Голгофа и крест мой... Но посмотрим, что они теперь со мной сделают, — со злорадством подумал капитан, — они убили бы меня и стерли бы с лица земли мои открытия, но посмотрим, как им это удастся... Вот он, Амур, вот хребты, пустыня... Вот куда мне не дозволено было являться... Это реальная картина. Кто докажет обратное? Да, впрочем, что это я на вершине хребта, как Дон-Кихот!»

Афоня слез с оленя и плл горстями воду из горного ключа. Позь, свесившись с оленя набок и навалившись на костыль, ждал, когда капитан посмотрится.

— Что, Афоня, жарко? — спросил Невельской тунгуса.

— Малепечко...

— А ночью здесь, на хребте, холодно, капитан. Бывают теперь заморозки, — сказал Позь.

Тропа пошла зигзагами вверх. Через некоторое время Позь, показывая рукой вдаль, сказал:

— Смотри!

Очень далеко, между двух сопок, — как натянутая прозрачная голубая занавеска. Это море. Вернее, лиман, великий, как море...

Позь тем временем смотрел вниз.

— Ты погляди, капитан, в свою трубу.

Невельской навел трубу на реку и на язычке суши, торчавшем среди воды, заметил что-то пестрое.

— Неужели флаг виден?

— Конечно! — улыбаясь, ответил Позь. Он своими охотничьими глазами без всякой трубы разглядел флаг на Куэгде.

А занавеска между гор стала синей.

— На лимане ветер подул, — молвил Позь.

Ночевали за перевалом у ручья. Ночью подморозило, и под ногами оленей чуть похрустывало. Видно, смерзся в корку верхний слой мхов. Стояла палатка, горел костер.

«Прекрасный край! — подумал капитан. — Вход в реку отличный, фарватер хорош, — говорил он себе. — Конечно, надо еще измерять. И река — чудо! Лес корабельный, берега высокие, хлеб будет везде расти... Столько здесь рыбы... Климат в тысячу раз лучше, чем на гнилом Охотском побережье».

— Узнай хорошенько нашу жизнь, капитан, — говорил Позь, — тогда поймешь, почему все гилияки хотят, чтобы русские здесь жили.

«А я, кажется, сделал тут то, на что и не рассчитывал!» — думал Невельской. Он опять вспомнил встречу на Тыре, где, сам того не желая, нанес сильный удар по надменной, замкнутой жизни маньчжурских купцов... Он стал думать, что должен посвятить себя этой стране, и даже лучше, что так все получилось, может быть, вообще не надо ему жениться. «Но не глупо ли, я еду в Иркутск! Когда же доберусь я до Де-Кастри?»

Легли все вместе, прижавшись друг к другу и укрывшись шинелью и куртками Афоня и Позя.

«Однако тут сыро и холодно. Это в августе-то такой мороз... Может быть, поэтому и листва такая толстая на березах, как из кожи», — подумал капитан, засыпая.

Утром Невельской вспомнил все происшедшее за последние дни: пост поставлен, река занята, всем об этом объявлено.

Стоял туман между березами, и смутно, на фоне красного гребня солнца, различались в нем рога оленей. Капитан утешал себя, что южнее, на берегу моря, которое он сам видел в прошлом году, гораздо удобней жить, центр русской жизни будет там...

Снова поплыли деревья в тумане. Красное солнце закрылось синим бугром сопки.

Туман рассеялся. За голубыми хребтами — красный восход. Небо быстро желтеет. Солнце выходит из-за гор.

Олени вышли на бескрайнюю марь, поросшую редкими мелкими березами. Кругом стояли хребты. В далекой синеве плыли облака. Где-то за хребтами море, за

морем — Сахалин. Цепи хребтов, реки, болота, леса обступили Невельского. «Этот мир велик, а нас горсть, — думал капитан, — и мы должны изучить его. А в Петербурге на шею мне надели гирию. И с этой гирей я должен брести по неведомым землям».

— Капитан, уже ягода есть! — радостно сказал Афоня. Он набрал голубицы в шапку. — Хочешь?

Невельской взял горсть. Холодная ягода освежила горло.

Снова началась густая тайга. Олени шли медленно.

— Залив близко, — сказал Позь.

Ехали около обрыва, по берегу тихой речки Иски.

— Тут можно будет и на лошадях ездить со временем, — сказал капитан.

— Дорога горой сухая, — согласился Афоня.

— На море прилив начинается, вода в речке тихо бежит. Скоро остановится, — говорил Позь.

Лес редел. Впереди открылся залив. Олени перешли лужи, забитые гнилой травой, дохлой горбушей и илом. Над долиной речки, на обрыве, — мелкая береза, ольшаник. Устье, как и у всех охотских речек, — заболочено. Не поймешь, где речка кончается, где начинается мелководный залив, всюду трава, лайды, бесконечные протоки.

На возвышенности — несколько юрт. Это зимнее стойбище Иски. Сюда от снежных бурь, от ветров и штормов в тайгу под прикрытие сопок уходят на зиму гиляки. Тут и дров много, и волна не дохлестнет, и пласт льда не накатит с моря и не срежет эти бревенчатые жилища. И звери лесные близко.

— Лучше бы тебе тут дом строить, — сказал Позь.

— Нет, надо, чтобы с моря пост видели...

Капитан въехал на олене на этот островок среди болотистой тайги. Залив стал виден во всю ширь. Ближе к стойбищу он зарастал травой. Это прилив затоплял отмели, болота на берегах и лайды.

По берегу шли двое матросов. Завидев капитана, они подбежали и вытянулись. Оба они с «Охотска».

— Откуда, братцы?

— С Орлова мыса, вашескородие! Гиляки сказывали, рыбы дадут. Так меня урядник послал в деревню.

Радость матросов, казалось, была велика. Они видели капитана на олене, в торбазах и сетке. Они услышали от

него много новостей. Узнали, что товарищи их остались на посту на Амуре. Это казалось трудней и опасней, чем работать в лесу.

— Ну, как там Шестаков? Цел? Маньчжуры не схватили его? — спрашивал один из матросов.

— Места на Амуре охраняет, — отвечал Афоня.

«Места на Амуре» представлялись страшными.

— Рубишь, а ружье наготове, — рассказывал матрос. — Медведей что скота, ходят, ягоду едят, близко подойдут — не боятся. Казак у нас убил одного. Они ягоду сгребают... Ходят, как коровы.

Матросы еще не привыкли и побаивались и этого леса, и медведей.

Капитан расспросил, как идет работа. Потом он заехал в зимнее стойбище, где жило несколько семей, и договорился с искайскими гиляками, чтобы поставляли на пост свежую рыбу, а зимой мясо.

Вдали залив был чист. Отчетливо виднелась коса, на ней силуэты пяти палаток. Левей палаток стоял «Охотск». А правей виднелось еще два судна.

— Американ пришел! — сказал Позь.

«К нам гости! — подумал капитан. — Славно!»

— Задерживаться не будем! — сказал он.

Позь позаботился заранее, еще когда уходили на шлюпке из Петровского. Здесь уж ждали капитана искайские гиляки с мелкосидящей плоскодонной лодкой. Вооружившись шестами и веслами, они уселись в лодку. Позь взялся за шест. Афоня оставался. Он должен был угнать оленей на пастбище. Матросы взяли под козырек, капитан пожелал им всего хорошего. Они, придерживая ружья, побежали к крайней юрте, видимо, за рыбой.

Лодка тронулась. Вскоре пошли по такой мелкой воде, что гиляки вылезли и с трудом тянули лодку. Днище ее шуршало о песок.

Теперь коса вдали исчезла, а пять палаток видны отчетливо. Они кажутся синими и стоят прямо на воде среди моря.

Стало глубже. Все залезли в лодку. День был ясный, вода чистая — видны все рыбы. Проплыли мимо лайды, усыпанной множеством быстродвигающихся серых бекасов. Иногда вверх белым брюхом плыла, вынесенная речкой Иски, горбуша, выметавшая икру и погибшая. Плес-

кались живые горбуши, прыгали, шли на речку, торопились на нерест.

Всюду — в цвет песчаного дна — камбала. Ее множество. Опустит гиляк шест, камбала вздрогнет, пласт ее метнется, замечутся другие пласты, малые и большие. Все дно, казалось, в несколько слоев выстлано камбалой. Камбала мчится, как молния, и вдруг встанет, замрет, и песок, поднятый ее бегом, кое-где покроет ее, и она станет в один цвет с дном, ее не видно.

Стало еще глубже. За лайдой открылся мелкий залив. Он весь в чистых желтых банках и отмелях, просвечивающих сквозь зеленую воду, с синью глубоких фарватеров. Далеко коса, виден дымок, люди, груды черных бревен.

«Орлов строится! — подумал капитан. — Как-то он обошелся с китобоями?»

Лодка шла вдоль берега. Неподалеку от поста, у летнего стойбища Иски, там, где берег утыкан жердями, на которых устроены вешала и сушатся красные пласты горбуши и тушки нерп, стояли гиляки. Они смотрели на шедшую лодку. Капитану показалось, что вид у них обиженный и они хотят что-то сказать, но он не стал останавливаться, надо было сначала на пост.

На одном из кораблей в трубу стал виден звездный флаг Соединенных Штатов.

Орлов встретил капитана на берегу. Он рапортовал о состоянии поста, о ходе работ.

— Что у вас за суда стоят?

— Один американский, а другой английский китобой.

— Передали им объявления, которые я оставлял?

— Нет... — замялся Орлов.

Невельской вспыхнул. Он помнил гордый парус китобоя, который видел весной на синем открытом море, наблюдая из Аяна.

— Как же так, Дмитрий Иванович? Ведь я приказал вам!

— Да ведь время еще есть, они постоят тут...

— Мы должны радоваться, что китобой пришли и что мы можем объявить им... Так нельзя, вы подрываете дело! Что за нерешительность! Вы что же, Дмитрий Иванович?!

Орлов рассказал, что с китобоями произошло столкновение.

— И даже вышла маленькая потасовка, Геннадий Иванович.

— Хорошо, — сказал капитан, выслушав его рассказ. — Тем лучше!

— Но вот стоит другое судно, Геннадий Иванович, — продолжал Орлов. — «Пиль» — английское. Гиляки опознали шкипера и говорят, что он бывал тут прошлые годы и грабил их. Американский шкипер — мой знакомый, бывал у нас в Аяне и подтверждает, что «Пиль» в самом деле стоял тут в сорок восьмом году...

— Так немедленно подготовить всю команду, а сами на вельбот и шкиперов ко мне. А у деревни гиляков выставить двух часовых.

Глава двадцать первая

КИТОБОЙ

Они были англичане... те,
что вцепились
в бока Бурого Медведя,
и некоторые — шотландцы,
но наилучшим, о боже, и
отважнейшим вором был янки.

Редьярд Киплинг

Один очень старый, но еще крепкий гиляк Влезгун, живший в стойбище Иски, ездил каждую зиму к маньчжурам, покупал у них водку, а летом менял ее китобоям на всякие нужные предметы. Его жена хранила водку в зимнем стойбище, и матросы с лесорубки искусно скрыли от своего капитана, зачем явились на Иски. Муж ее торговал в летнем стойбище, но больших запасов водки там не держал.

Многие китобои знали Влезгуна.

Американское судно пришло набрать воду, и заодно матросы хотели раздобыть водки. Шкипер, увидев русское судно, палатки и русский флаг на берегу на матче, был весьма удивлен.

Утром шкипер сам съездил к Влезгуну, отдал ему старые штаны, рубаху и разные другие вещи, получил ящик

водки и отправился к себе, делая вид, что военный пост не имеет к нему никакого отношения.

Днем шлюпка с судна ходила по большой воде на речку Иски налиться пресной водой. Позже шлюпка отвалила снова. Она шла вдоль берега и пристала у гиляцкой деревни. Матросы вышли на берег и отправились к Влезгуну.

Это были крепкие ребята, несколько месяцев не видавшие берега. Они подвыпили у Влезгуна и на обратном пути снова вышли на берег и пошли по юртам.

Гиляки знали, что теперь их охраняет великий русский царь и Дмитрий Иванович. Матросы смеялись с мужчинами, шутили. Смеялись и гиляки, хотя взгляды их были испуганными. Еще накануне, когда корабль входил в бухту, старики были у Орлова и спросили, как поступить, прятаться ли женщинам и детям и вооружаться ли мужчинам, как делали прежде. Орлов сказал, что ничего этого делать не надо. Но все же, когда в дом входит пьяный матрос и смотрит на женщину озорными глазами, невольно станет не по себе. Гиляки посетовали, что послушались русских.

Орлов, видя, что американцы собрали вокруг себя толпу и что двое из них танцуют, размахивая руками, велел часовому следить, что там происходит. Через некоторое время часовой дал выстрел. В стойбище завязалась драка между гиляками и американцами.

Началось с того, что американцы, зайдя к гиляку Отху, жившему в ближней к посту юрте, стали просить у него водки.

У Отха была красивая молодая жена и дочка лет четырнадцати. Дочь он отослал утром к бабушке в летнее стойбище, а жена была дома.

Гиляк объяснил, что водки у него нет. Один из матросов, совершенно пьяный — белокурый, рослый парень, только что танцевавший на улице, стал хватать жену гиляка, как бы увлекая ее танцевать. Другой матрос выбросил ее мужа из юрты, а гилячку обнял и посадил к себе на колени. Та закричала. Белокурый матрос рванул гилячку за руку к себе... Но тут Отх ворвался в свою юрту. С ним был Хурх с ножом в руках. Более трезвый матрос повалил Хурха ударом ноги. Китобои схватились за ножи. Набежали гиляки. Тотчас же сбилась целая ватага матросов, разгоняя гиляков пинками.

В это время раздался выстрел. Люди с ружьями побежали с поста в деревню.

Китобой врассыпную кинулись к шлюпке. Белокурый матрос, так зверски схвативший гиялчку, упал. Его схватили. Он пытался вырваться. Подоспел Орлов и велел связать ему руки. Матроса увели на пост.

С судна съехали двое американцев и спросили начальника поста.

Орлов немного говорил по-английски и мог сказать в случае нужды о главном. Он объяснил американцам, что ждет их шкипера, который должен дать слово, что он накажет виноватого и что такие случаи больше не повторяются.

Рослый рыжий американец, от которого пахло водкой, загорячился и стал подступать к Орлову. Он протянул руки, как бы желая схватить офицера за мундир. Матрос Синичкин загородил Орлова ружьем, видя, что другой американец тоже лезет. Рыжий не успел опомниться, как двое казаков скрутили ему руки.

Подошел баркас. Из него высадился штурман Чудинов, командир «Охотска», с десятью вооруженными матросами.

Американцы убрались.

Через час съехал шкипер, с ним были матросы. Один из них держал в руках длинную бамбуковую палку.

Шкипер оказался старым знакомым Орлова, бывавшим в Аяне. Это был один из тех американцев, что доставляли в Аян все, что там требовалось. Он дружески поздоровался с Орловым, сказал, что рад его видеть, попросил отпустить матросов, обещая строго наказать их.

Орлов не стал спорить и согласился.

— Я ни в чем не виноват, я разговаривал с ними, а они меня связали,— оправдывался рыжий.

Шкипер строго прикрикнул на него.

Орлов знал, что у китобоев на судах большой порядок, но и зверское обхождение с командой.

Один из американцев схватил своего связанного белокурого товарища за ноги, повернул его ничком и бегом поволок к лодке. Тот старался поднять лицо, чтобы не лишиться на нем кожи, рубаха у него разлезлась. За ним бежал курчавый американец и сильно бил его по спине и бокам длинным бамбуком.

Шкипер сидел у Орлова, они дружески глядели друг на друга, выпили вина. Орлов как мог объяснил, что устье реки занято русскими, и расстался со шкипером по-приятельски.

...Пост обстраивался. На песке поднялся розовый сруб будущей казармы и сруб поменьше — домик начальника поста. Матросы вытаскивали из воды бревна, нарубленные на материке и пригнанные по заливу. Слышался звон пилы.

Орлов вернулся на вельботе. Офицеры вошли в большую палатку, полуоткрытую к заливу, и уселись за дощатым столом. Плещущая вода, залитая солнцем яркая синь неба и далеких хребтов, ветер, заполаскивающий парусину, стружки на песке и эти белые, чисто выструганные кедровые доски стола, — во всем свежесть и новизна.

Большая палатка служила офицерам спальней и столовой, кабинетом для занятий.

Вскоре явились оба шкипера.

Американец вошел первым и, сняв шпрокополую шляпу, вынул трубку изо рта и протянул капитану свою коричневую ладонь. Это был рослый сухой человек, в желтом жилете и черном пиджаке. У него седые курчавые волосы, морщинистое лицо, быстрые глаза и живость взора, несвойственная возрасту, длинные ноги и тяжелые кулаки; судя по виду, это настоящий янки, sharper — «скоблила» из Бостона или Род-Айленда.

Капитан пригласил его садиться.

Тот полез по скамье в глубь палатки и, выложив документы перед капитаном, уселся с трубкой в кулаке, куртаясь дымом.

Англичанин тоже с трубкой, плотен, коренаст, с маленькими мутно-голубыми глазами, по которым никак нельзя догадываться о его чувствах, крепко пожал руку капитана, кивнул головой, положил на стол судовой журнал и папку с документами, а сам присел на край скамьи, кажется не ожидая услышать ничего нового.

Невельской знал, что за люди перед ним. Это искатели наживы. Для них не существовало ни законов, ни справедливости, они верили в силу оружия и еще в свои кулаки. Невельской по-своему уважал их, зная, что это хо-

рошие моряки, но он знал также, что, если сразу не положить конец их безобразиям, они обнаглеют.

— Ну, как дела? — спросил Невельской запросто.

— Не так плохо! — улыбаясь, ответил американец.

— Очень хорошо! — холодно, но любезно сказал англичанин.

Невельской сказал, что эта гавань, устье Амура и все побережье до Кореи занято русскими.

Американец ссутулился, словно его поймали за ворот, а англичанин стал моргать, уставившись на капитана. Смutilo их то, что Невельской говорил по-английски, и оба шкипера сразу почувствовали, что перед ними человек, который может доставить им большие неприятности. Это напоминало далекие родные края и такие же строгие разговоры в своих портах.

Невельской спросил, зачем суда пришли в залив Счастья.

— Налиться водой, — отвечал англичанин.

— Да, за пресной водой, — сказал американец.

— Какая команда? — спросил капитан. Он посмотрел судовые документы. Все было в порядке. Американское судно приписано к Род-Айленду, английское — к Порт-смуту. — Бывали здесь прежде?

— Да, сэр! — ответил американец.

— Нет, сэр, именно в этом заливе в первый раз, но в соседних бухтах случалось, — ответил англичанин.

— Вам известно, что теперь здесь русский пост и мы строим порт?

— Нет, сэр! — ответил англичанин. — Это нам не было известно до сих пор.

— Да, сэр, — ответил американец, — мы видим русский флаг, и об этом нетрудно догадаться.

— Повторяю: устье Амура, весь край с островом Сахалином и все побережье до Кореи занято русскими, — сказал Невельской. — Мы всегда считали эти земли своими. Вот вам правительственное объявление об этом. — Он подал шкиперам по бумаге. — Мы поставили вооруженные отряды здесь и на устье Амура.

Шкиперы взяли объявления и прочли английский текст.

— До Кореи? — удивился американец.

— Да, до Кореи.

— Но кто же будет занимать? Где ваш флот?

— Вот флот! — кивнул капитан на «Охотск». — И я, и мой отряд... И всюду поставлены посты. Всякая дерзость и непослушание будут приняты нами как неуважение к русскому флагу и императорской короне. Россия присылает сюда крейсера. Во всех гаванях посты, и никакие самовольные действия не могут тут быть чинимы!

«Что он тут сделает с этой старой посудиною, которая развалится от холостого выстрела?.. И с горстью людей? Впрочем, черт знает, какие посты поставлены. Кажется, сорвиголова. Надо поговорить с ним дружески, тогда ясней все станет».

Если бы шкипер-американец заподозрил хоть на миг, что у капитана, кроме «Охотска», нет ни сил, ни средств подтвердить свои требования, он плюнул бы на все и ушел, но он сидел и с интересом слушал. Теперь понятно было, почему Орлов — старый приятель — стал холодноват, держался не так, как в Аяне.

«Но зачем же так горячиться?» — думал американец.

— Прошу вас, господа, помнить и предупредить обо всем, что вы от меня слышите, всех своих товарищей: мы запрещаем бить китов в Сахалинском заливе. Повторяю, придут русские крейсера, будут задерживать браконьеров. Никакие насилия не могут чиниться здесь местным жителям. Мы за это будем строго наказывать... Все население состоит под покровительством императора...

— Сэр, я наказал моряков, — заговорил американец, когда Невельской кончил. — Вы не знаете, что за люди у нас на судах! — с чувством воскликнул он, как бы радуясь случаю пожаловаться в хорошем обществе на свою ужасную жизнь. — Это сброд! Я послал налить бочки, а они увидели женщин... — Он подмигнул и развел руками.

— А где же граница? — спросил англичанин, долго рассматривавший объявление.

— До Кореи весь берег принадлежит России, — повторил Невельской. — Побережье — наша граница.

Англичанин вздохнул, как бы немного волнуясь.

Американец поднялся и горячо пожал руку капитану.

— Благодарю вас, сэр! Я буду исполнять все, что вы требуете. Конечно, никаких насилий.

И, как бы желая рассеять эту неприятную атмосферу взаимного недоверия, американец посмотрел на Невельского, улыбаясь.

Англичанин тоже поднялся.

— Я прошу вас задержаться,— обратился к нему Невельской.

— Что такое? — вздрогнул маленький шкипер.

— У меня есть сведения, что ваше судно два года тому назад было у соседнего острова.

— Да, сэр,— уклончиво отвечал тот.— Да, и тут был!

Капитан смотрел ему в глаза.

— Гиляки жалуются, что вы совершали там недостойные поступки. Дайте свои объяснения.

— Сэр,— начал Джо,— вы поймете меня.— Он решил делать вид, что откровенен с человеком, который свободно говорит по-английски.— Вы поймете меня, сэр! Мы топили там китовый жир. Но никаких недостойных поступков...

— Вы христианин? — резко спросил капитан.

— Да, но я китобой, сэр, и в Тихом океане... Но Библия у меня всегда с собой... Я понял вас, сэр... там не было ничего особенного. Но знаете, что за сброд на китобойных судах. Вот посмотрите на мои руки...— Спокойствие стало изменять шкиперу.— Я был тяжело ранен и не вставал. Мы продаем жир в Гонолулу, американцам. Когда туземцы работают, вытопка идет. У меня был помощник. Он взял в залог женщин. Я всегда против этого.

— А где женщины?

— Как только я очнулся, их немедленно высадили... Мы отпустили их на восточном берегу Сахалина. Да они уже вернулись сюда благополучно.

— Укажите точно пункт, где их высадили.

— Вряд ли смогу вспомнить.

— Смотрите, а то вздерну на рею! — вдруг сказал капитан, видя, что шкипер мнетяся.— Знаете, что полагается за работорговлю?!

— Никакой работорговли, сэр... Широта... Если не изменяет память...

Невельской все записывал.

— Вы были здоровы, так утверждают спасшиеся. Говорят сами женщины, что вы отпустили их только из суеверия, когда корабль сел на мель и вы стали молиться. Вы еще опасались, что нападут гиляки, которые собрались на берегу?

— У нас был буйный парень. Гарри Чайз, сэр. Он американец. Перешел с американского судна. Этот матрос

утонул на рейде в Гонолулу. Он свалился за борт вместе с бочкой жира. Бог наказал его, сэр, этого парня. Как раз он заменял меня во время болезни. Это правда. Он был красивый парень.

Теперь шкиперы переменялись ролями. Подвижной и темиераментный американец смотрел с невозмутимым видом, чувствуя всю выгоду своего положения, когда тут открывались преступления почтще тех, что совершили его люди.

Англичанин же стал подвижным, нервным, он то вскакивал, то размахивал руками, то прижимал их к груди.

— Почему вы так долго были в сорок восьмом году у этого острова?

— Здесь довольно удобно топить жир. Берег как хороший мол.

Джо заметно смутился. Разговор ему совсем не нравился. Похоже было, что капитан хочет дознаться кой о чем посерьезней, чем увоз гилячек. Джо ждал здесь Хилли...

— Убили сразу несколько китов. В таком случае буксируем их к берегу.

— Сколько китов?

— Трех, сэр. Одного вытопили в море.

Когда капитан снова заговорил о судьбе гилячек, Джо, вместо того чтобы насторожиться, приободрился и даже повеселел. Было очевидно, что неприятней всего для него разговор о причинах длительного пребывания у острова Удд.

— Да кто же знал, сэр,— заговорил американец, как бы желая выручить коллегу,— что гилякам покровительствуют русские. Мы полагали, что они независимы...

— Дальше к югу я не могу разрешить плавание,— сказал капитан.— Приходите торговать, брать пресную воду, мы рады будем гостям... Нам нужны будут ваши услуги,— сказал Невельской.

— Сэр, мы могли бы не ссориться...— сказал Джо.

Американец деусмысленно покашлял в волосатый кулак.

— Вот читайте! — Капитан подал Джо бумагу.

«Я, Джо Хендли, капитан китобойного судна «Пиль», приписанного к порту Портсмут, в 1848 году летом, в августе месяце, находясь на широте...»

Гиляки заглядывали в палатку и видели, что рыжий с кислым лицом что-то пишет.

Невельской убрал бумагу и спросил, где бьют китов, каких, как... Из судьи и резкого, требовательного допросчика он, заинтересовавшись рассказами шкиперов, превратился как бы в их товарища, моряка, расспрашивавшего о промысле...

Когда шкиперы вышли, жители Иски толпой стояли у палатки. Они с любопытством заглядывали в лицо Джо, желая удостовериться в происшедших переменах. В иное время Джо ударил бы кого-нибудь из них за это по зубам. Но сейчас прошел спокойно.

Чудинов провожал гостей до шлюпки.

— Мне кажется, что он сумасшедший, этот русский капитан. Берег до Корен принадлежит ему! Как вам это правится? — говорил американец. — И дай ему во всем отчет! Где, сколько котиков, как учим гарпунеров, какой гарпун, какие пушки!

Дойдя до шлюпки, американец остановился и сделал испуганное лицо.

— Черт возьми! Я, кажется, не все документы свои взял! Опасно оставлять у русского. Вы поезжайте, — сказал он, обращаясь к Джо, который мрачно уселся на корме своей шлюпки, — а я скоро заеду к вам...

— Простите, капитан, я, кажется, забыл трубку, — сказал он Невельскому, возвратясь в палатку. — Ах, черт возьми... Да вот она, у меня в руках, — весело продолжал янки, — моя вечная рассеянность! — Он сделал серьезное лицо. — Заодно я кое-что хотел сказать вам. Этот англичанин, который был со мной, — негодяй! Имейте это в виду. Настоящий пират и торговец невольниками... Они тут грабят, всем это известно. Но этот негодяй, — показывая трубкой вслед шлюпке, продолжал он, — пытался еще и обмануть вас. Это шпион, поверьте мне — старому морскому волку.

Невельской с некоторым удивлением смотрел на американца.

— Почему вы решили это?

— Он сам проболтался мне, что в тысяча восемьсот сорок восьмом году ждал какого-то человека, который должен был спуститься откуда-то, чуть ли не из Китая, по Амуру. Англичане, сэр, лучшие шпионы в мире. Мы, янки, торгуем и всюду посылаем товары, а они хотят все захватить силой. Почитайте их журналы за прошлый год, сэр,

там только пушки и парады на всех страницах. Теперь каждый молодой англичанин желает отличиться перед своей королевой. Новый век в Англии! Я давно заметил, что тут дело не чисто! Зачем ему идти к югу, когда там мели, и пресная вода, и нет никаких китов? А он стоял тут у острова. Недаром околачивался здесь два года тому назад и теперь снова явился. Он мне сразу не понравился. Хорошо, что вы все тут заняли!

Американец засиделся.

Орлов опять угостил его, на этот раз брагой, бочонок которой прислала ему из Аяна молодая жена.

Невельской любил поговорить со шкиперами.

— Сэр, а вы бывали в Англии? — спросил американец у Невельского.

— Да.

— Осмелюсь спросить, сэр, где? У вас великолепное произношение!

— Плимут, Портсмут, Лондон.

— Много раз?

— Да.

— В каком же году последний раз в Плимуте?

— В сорок шестом.

— Позвольте, не на русском ли фрегате?

— Да, на «Авроре». Вы ее знаете?

— Да! С сыном русского императора? — Как американец, он питал слабость к титулованным особам.— В сорок шестом году я читал об этом в газетах. Я был в Плимуте, делал тимберовку. Писали во всех газетах, какой пир был задан...

Кружки поднялись, и моряки снова выпили.

— В Бостоне и в Рой-Айленде наши хозяева собрали подписи под петицией президенту. Мы требуем сильной экспедиции в Японию. Нам нужны там удобные гавани. Мы не имеем права приставать к берегам Японии. Нам не позволяют набирать пресной воды. Войдите и в наше положение. У нас здесь промыслы, а нет станции.

Перед Невельским был характерный тип одного из бывалых американских моряков. Он многое знал и оказался любопытным собеседником.

Американец рассказывал про браконьеров на Аляске, про золотую лихорадку в Калифорнии, он знал Тихий океан как свои пять пальцев, терпеть не мог англичан, гово-

рил, что русских на океане ждет большое будущее, промысел и торговля должны быть свободны, а англичан надо выгнать отсюда...

— Когда нет китов, я рублю лес на ваших берегах и везу на Гавай. Так я зарабатываю, если нет улова. Там в цене бревна. Многие здания строятся из русского леса. Я мог бы рубить и тут лес, нанимая гиляков, и устроить тут на берегу постоянную жироварню... Русское правительство получало бы доход... Я вам скажу еще об англичанине. Вы должны это знать... Я вижу, что вы благородный человек и поймете меня. Англичанин — такой негодяй — сказал мне, что у них парламентские выборы и свобода торговли, а в России деспотизм и законы русских противоречат принципам свободных мореплавателей. Так он сказал... Знаете, сэр, англичане всегда подчеркивают, что другие народы не понимают их принципов. Но ведь в Америке у нас, капитан, демократия, и республика, и полная свобода, но я не говорю об этом, а подчиняюсь вашим требованиям. Вы понимаете меня? Что касается меня, то людей прекрасней, чем русские, я не встречал, и мы всегда понимали друг друга.

— А что бы вы сказали, если бы я вошел со своими кораблями в бухту Род-Айленд и открыл там охоту на случайно зашедшего кита?

Американец понимающе улыбнулся и закивал головой, как бы показывая, что ценит остроумие капитана.

— Написали бы в газету, — сказал он, — и все были бы рады прочесть.

Он желал выяснить, что за человек капитан, возьмет ли он при случае взятку и верно ли то, что он говорит о занятии всего края. По его мнению, здешние русские также искали при удобном случае выгод от иностранцев, как и чиновники в Штатах или в испанских республиках и королевствах или как китайские мандарины на Вампу, где с их помощью продавались целые транспорты опиума.

Невельской сказал, что ему жаль огорчать собеседника, но стало известно, что китобой оставляют костры на берегу, а от этого огромные пожары.

«Что они со мной сделают?» — подумал американец и сказал уклончиво, что в нынешнем году он уходит с полным грузом жира.

Невельской спросил шкипера, знает ли он американца Нокса на Камчатке и что это за фирма, от которой тот торгует. Нашлись общие знакомые в разных портах.

— О, начальник Аянского порта Завойко — мой друг. Он прежде был в Аяне, а теперь, говорят, назначен губернатором на Камчатку. Мы дружно живем, — поспешил уведомить шкипер. — Вот господин Орлов знает, что я и прежде следил за своей командой и у меня никто не смел насилиничать.

Американец поднялся и горячо пожал руку Невельскому и Орлову.

— Очень рад был познакомиться. Поздравляю от души с новосельем. Правда, тут холодно и все гавани замерзают, но вы, русские, народ крепкий и привычный. Еще будем встречаться в этой луже. Будем знакомы. Если что-нибудь надо вам привезти из Гонолулу или Род-Айленда, то я сделаю с большой охотой. Теперь мы соседи. У нас теперь есть тоже порт на Тихом океане — Сан-Франциско... Мексиканцы не знали ему цены!

Он попрощался с офицерами, как с дорогими друзьями, и между прочим спросил:

— А что будет с протоколом на Джо?

— Отправим в Петербург — как там посмотрят... Хенд-ли, видимо, придется ответить, — сказал Невельской. — Ведь это не шутки. Он совершил преступление.

— Ваш капитан прекрасный человек! Это счастье — служить под его командованием, — сказал американец Орлову, который на этот раз понял его английскую речь.

— Друг, друг, а на всякий случай спросил про протокол, — сказал Орлов, вернувшись с берега. — Сам боится, как бы не попасть.

Американец, проезжая мимо «Пиля», окликнул шкипера:

— Алло! Дружнице!

— Алло, — отозвался с борта.

— Ну, как вы?

Джо со злой физиономией выглянул из-за фальшборта.

— Что этот сумасшедший? — спросил он.

— Большой фантазер! Он мне даже рубить запрещает, говорит, что от этого пожары... Но он был с сыном русского царя в Англии. Кажется, важная особа. Не шутите с ним.

— А что вы скажете про объявление? Вы прочтите его хорошенько... Вы хорошо прочли? Я тоже не в восторге! Но уж тут ничего не поделаешь!

— У них сумасшедшее правительство и люди тоже!

— Только сумасшедший может грозить повесить на рее за гиляков!

— Держите ухо остро! Протокол идет в Петербург... Попробуйте умаслить его...

Джо выругался.

— Не падо было подписывать! — сказал американец. — Вам теперь нельзя идти к югу, там русские посты. — И добавил едко: — Как вам правится, что русские заняли берег до Корен и хотят плавать по Японскому морю?

— Черт их дери, — ответил Джо. — Тут гавани девять месяцев в году подо льдом. Они замерзнут, и вместо того чтобы плавать по морю, будут большую часть года сидеть на берегу и выкалывать суда... А зачем же вы обругали меня при русских?

— Кто? Я? — удивился американец. — Вот уж ничего подобного! Напротив, я хотел за вас заступиться и еле сдерживал свое возмущение.

— Поднимайтесь ко мне.

— Благодарю. Меня ждут на судне. «Ничего интересного у этого бродяги!» — подумал американец.

Он кивнул головой, и негры взялись за весла.

— Гуд бай, дружище!

— Гуд бай! — отозвались с английского китобоя.

«Черт знает, — думал американец, — если вся его сила в гнилой посудине, то можно не бояться и бить китов... Но, судя по тому, как разговаривал капитан, и что он прислан из Петербурга, да как решительно его люди спрятали буйных матросов, похоже было, что он в самом деле располагает силой. Как бы то ни было, мной на руки получено их правительственное распоряжение... Но Джо хуже, чем мне, приходится!»

В этот день в залив вошел бременский китобой, и шкипер с американского судна видел, как туда отправился русский вельбот, потом, как немцы везли своего шкипера на берег и как потом тот возвращался с недовольным видом.

«Кому может такое понравиться!» — подумал американец.

Английский и бременский китобои ушли утром при попутном ветре, держа курс на северо-восток. Американец еще стоял.

«Охотск» приготовился к выходу.

Проводить капитана собралась вся команда. С мыса Орлова приехали в лодке казаки и матросы-лесорубы.

Капитан и Дмитрий Иванович еще раз обсуждали и проверяли по записям, что еще нужно взять в Аяне для зимовки. «Охотск» уходил в последний рейс. По возвращении в залив Счастья он встанет на зимовку. В Амур капитан решил его не вводить. Судно нужней было здесь, где постоянно китобои. На зиму решили его разоружить, пушки поставить в Петровском. Орлов должен весной явиться на мыс Куэгду и, как только оттает земля, начать там постройку казармы и укрепления.

Невельской опасался, что в Аяне получено еще какое-нибудь новое распоряжение, что еще захотят отправить куда-нибудь «Охотск».

— Я никуда из Аяна не уеду, пока сам, своими глазами не увижу, что «Охотск» ушел сюда, — говорил капитан Орлову.

Вспомнили про якоря. В Петровском — как называли новый порт — якорей не было.

Капитан оставлял Орлову запас объявлений на английском языке и велел предъявить их.

На другой день «Охотск» вышел в море.

«Теперь дай бог ветра попутного! Надо спешить действовать с другой стороны, с другого конца делать это же дело. Нестись в Петербург сломя голову, пока не поздно, чтобы там известия не успели раньше меня. Быстро в Петербург, и все спасать! Объяснить, почему даны объявления иностранцам и почему сказано на Тыре, что земля наша. Маньчжурам добираться до Сан-Сина месяц, там еще неделя в Пекин, и лист пойдет в Петербург. Раньше поспеть... Я тут превысил все полномочия! На тракте погоню, но дай бог до Аяна не заштилеть!»

Море и паруса одинаково серы и в один цвет с чехлами на шляпках и чуть посеребрёнными утренней росой

крышами палубных надстроек. Но на судне еще тень. Черный ливень снастей падает с матч на палубу.

Судно идет галвинд. Справа в ясной голубизне моря над самой водой изжелта-красная полоса зари. Она все набухает и калится.

«А ведь приедешь в Кинешму,— думал капитан,— наслушаешься про скиты, отшельников». Точно так же, как наслушался он вчера про Калифорнию и Гаваи. Рассказы американца были весьма интересны, и многое еще раз почувствовал капитан. Соседями здесь были не монахи и начетчики и не мордва, татары и черемисы, а практичные американцы. Шкипер опять вчера был в гостях. Он сильный и отважный и по-своему даже образованный человек. Прежде чем отправиться в новые моря на браконьерство, он изучал новейшие карты, читал газеты, интересовался новостями, знал довольно хорошо здешние моря и побережья. Оказалось, он прекрасно знал и Машина, и Завойко, и других русских. Ему известно было, когда вскрываются наши бухты. Он мечтал, что ему разрешат бить китов в Пенжикинской губе. Он хотел зимовать там. Кстати, и фамилия американца была Шарпер. Он, конечно, вы скаблывал наши берега, добывая выгоды, но от него, верно, могла быть и польза. Шарпер, как он уверял, полюбил русских. Сибирь интересовала его очень. Он расспрашивал о ценах на меха и о добыче золота. По его словам, закупка и доставка машин из Америки — дело вполне осуществимое, и он даже назвал фирмы...

Его рассказы о том; что американские судовладельцы собираются подать петицию президенту с требованием открыть Японию, показывали, что объем торговли у американцев тут огромен, что суда их всюду и что они ищут новых рынков для торговли. Китай связан договорами с англичанами — они добиваются торговли с Японией.

Шарпер уверял, что нет такого товара, который нельзя было бы доставить в любой пункт побережья, а оттуда в Сибирь.

Торговля на Тыре, встречи с маньчурами и американцем стояли в памяти. Только теперь капитан обратил внимание на то, что там, казалось, не заметил. Вспоминная подробности, замечания собеседников, он смотрел вдаль и чувствовал, что тут все же будет у России настоящее окно в мир, широкое, открытое, без немецких застав под носом.

Невельской полагал, что теперь на очереди новые задачи и решать их надо быстро, одну за другой, занимать места по Амуру, строить посты, исследовать реки, побережье, спустить сплав по Амуру, заключить договор с китайским правительством, ставить посты до Кореи, строить города по всему Амуру и открыть широкую торговлю с Китаем. Теперь это так очевидно! Рухнет Кяхта и с ней доходы акционеров Компании и в их числе самого канцлера. Пять миллионов их денежек полетят в трубу.

Вывести на Амур переселенцев со всей России из государственных крестьян. Открыть эти земли для славян — для поляков, чехов, русин — пусть идут к нам и живут. Польза будет им и Сибири.

Послать в Китай и Японию экспедиции, а на побережье строить порт. Исследовать край и пробивать дороги к гаваням от рек. Закупить в Америке пароходы для Амура и машины для судостроительных заводов. Завести широкую торговлю с Америкой. Построить на Амуре эллинги... В Сибири есть все. Сибирь построит заводы и дороги, задымятся трубы, откроются недра.

Он вспомнил рассказы декабристов и Иркутских купцов про сибирское железо, золото, руды. Ему казалось, что будет время — поднимется и разовьется Азия. Главное движение будет здесь, на этом океане, между противоположными материками Старого и Нового Света.

Вдали уже видны огромные тупые скалы. Они кажутся плывущими в розовом облаке. Из зеленой воды взгромоздились черные каменные столбы, и вокруг, как бушующая пурга, носились стаи белых птиц.

Загрохотала якорная цепь. Перед глазами был порт, не тот, что в мечтах и планах, а реальный: дома, сарай, несколько лодок, вешала для рыбы.

Приехавший Кашеваров передал Невельскому письма.

— От Николая Николаевича! — обрадовался капитан.

Муравьев писал, что едет в Петербург, там будет решаться все, что он всемерно и целиком разделяет взгляды, как действовать на Амуре, и поддержит. Он просил Невельского выехать немедленно по возвращении с Амура в Петербург. Миша получил майора...

— Слава богу! — сказал капитан. — Муравьев здоров и в бою!

Кашеваров знал, что Невельской должен немедленно ехать. Сложив губы дудкой и прижмурившись, он выслу-

шал капитана, когда тот перечислял все, что надо отправить Орлову.

— Компания не согласится на расширение торговли в земле гляков! Нужно позволение правления.— заметил Кашеваров.

— Но ведь «Охотск» на днях уходит в Петровское и больше не придет.

— Я должен спестись с правлением Компании.

— Что же вам бояться правления? Там сидят приказные бюрократы, и вам бы, Александр Филиппович, исследователю и писателю, человеку, знающему эти края, не следовало бы плясать под их дудку.

— То есть как?

— А вот как. Вы помните, что Завойко женат на племяннице Врангеля и ему позволяется все. А вы не племянник Врангеля!

— Прошу вас так не выражаться при мне! — тонким голосом выкрикнул Кашеваров.

Однако Невельской ему сильно польстил.

Кашеваров сказал, что обдумает все и просит Невельского к себе, что постарается все решить. Он съехал на берег.

Невельской посмотрел ему вслед, покачал головой и сошел к себе. Он еще раз перечитал письма. Конечно, шла гроза. Муравьев отчетливо это понимал и сам выехал. Он настороже. В этих письмах было главное — поддержка. Ясно было, что Муравьев предвидел, какие действия совершит капитан на Амуре. Плакать хотелось от сознания, что не одинок... «Муравьев поехал в Петербург с Екатериной Николаевной... И я туда!»

А о «ней» ни намека... Но теперь я свободен от этого гнетущего чувства! Что значат происки Завойко? Я открытие сделал, у меня есть любимое дело — оно мое счастье и отрада».

Невельской съехал на берег и удивился. Березы, росшие перед домом Завойко, кто-то срубил. Дом, большой и когда-то красивый, осиротел. Сад за домом цел, но, как показалось Невельскому, поредел.

Жена Кашеварова вышла к обеду в модном платье с цветами, сильно надушенная и напудренная. А в комнатах не проветрено, мебель нечиста, окна пемыты. На стенах, вышивочки, бантики, кружева, корзиночки, всюду яркие, но несвежие пуфики...

Жаль на миг стало, что нет здесь Василия Степановича и Юлии Егоровны, нет и былого порядка.

Вообще было такое ощущение, что Аян опустел.

Кашеваров сказал, что в будущем году он решил построить шпиль на здании конторы и перенесет туда свой кабинет, что на шпиле будет флаг заметней и это пусть увидят все подходящие с моря иностранцы. У дома он желал перестроить крыльцо, чтобы в будущем подъезжать на колесных экипажах. Видимо, он говорил об этом, чтобы объяснить, почему березы срублены.

Есть люди, деятельность которых, куда бы их ни назначили, состоит в ломке того, что построено было до них. Эти люди ломают стены, переделывают старые дома, поновому проводят улицы. Они с ненавистью сокрушают все, созданное их предшественниками и соперниками, даже вырубают сады, показывая людям, что всего этого больше не будет, что труды предшественников никуда не годятся.

Кашеваров сказал, что давно следовало бы построить арку на выезде из Аяна и написать, что это есть начало великого пути через Сибирь из Азии в Европу, и что это должны видеть те, кто приходит сюда на судах. Он удивлялся, почему Завойко не соорудил ничего подобного к приезду такой особы, как Николай Николаевич.

«Как может разумный и способный человек, совершивший важные открытия, написавший прекрасные статьи, нести такую чушь и околесицу!» — думал Невельской.

Он знал, что Кашеваров много учился и с ранних лет выказал большие способности. Но, видно, не развил всех их. Он вырос там, где все бедно, нет общества, где люди не объединены, подчиняются произволу, где в почете грубость, наглое высокомерие.

Потом он учился в Петербурге. Он многому набрался и в столице, и в колониях от людей, которые, желая для иностранцев или начальства создать иллюзию процветания и достатка, строят деревянные арки и шпили и видят в этом признаки благоустройства и цивилизации.

Теперь, когда Кашеваров стал начальником порта и капитаном второго ранга, он, явившись в родные края, тоже решил «строить». К тому же надо было не ударить лицом в грязь перед иностранцами и поддержать честь, славу и величие государства.

Обед был скучен и невкусен после былых обедов в этом доме, но выпили две бутылки французского вина.

Кушанья подавались с разными фокусами и назывались по-французски.

После обеда следовало поговорить о деле. Перешли в кабинет. Там тоже перемены. Портреты царя, Врангеля, Фурье и Розенберга, но все замызганное какое-то, как в плохой уездной канцелярии.

— Александр Филиппович, я совсем не хочу, чтобы вы подчинялись мне. Поймите меня как офицер...

— Нет, я вижу, вы хотите играть первую скрипку!

— Поймите меня, без этих товаров и припасов новое дело гибнет. Пока Николай Николаевич исполочет высочайшее повеление, люди с голода сохнут. Ведь «Охотск» уходит.

— Ни о каком высочайшем повелении я не знаю. Это все ваши выдумки! Вы действуете незаконно, и я не могу за вас отвечать!

— Как вам не совестно, Александр Филиппович, говорить мне все это,— беря Кашеварова за пуговицу, сказал капитан любезно, но голос его дрожал от волнения.

— Не извольте меня стыдить! Это неуместные рассуждения!

— Боже мой! Окститесь! Давайте о деле...

— Я только о деле!

— Василий Степанович обещал мне, что вы...

— Что мне Василий Степанович! Какое мне до него дело! Имейте в виду, что я снимаю с себя всякую ответственность за ваши действия на Амуре! Товаров туда дать не могу, и вообще я отказываюсь говорить о том, что мне не будет приказано!

— Я не понимаю, как вы, Александр Филиппович, можете нести такую чушь. Да осознайте, что вы губите амурское дело. Вы — морской офицер, человек, которому должны быть дороги интересы России! Амур будет русским. И это не утопия! — подчеркнул Невельской. — Стыдно, стыдно, вам...

— Я все понимаю и глубоко сочувствую вам... Но как бы я вам ни сочувствовал, я не могу...

Он рассказал, как в день отъезда Завойко собрались на прощальный обед гости и он похвалялся, что выведет Невельского на чистую воду.

Постепенно Кашеваров менялся и наконец согласился отпустить товары и сказал, что возьмет ответственность на себя.

«Охотск» решили отправлять немедленно.

Невельской побывал с Кашеваровым у Орловой. Харитина Михайловна — стройная молодая женщина, с карими глазами и здоровым цветом лица. У нее прямой нос, брови черными густыми дугами.

Когда капитан приходил первый раз на «Байкале», она не поехала к мужу, а лишь послала ему бочонок браги и гостинцы. «Когда картофель соберу, тогда поеду, — сказала она Невельскому. — А то на казну какая надежда! Свое так уж и есть свое!» Теперь огород был убран, и у нее все готово к отъезду. Она везла мужу картофель и овощи. Целую телегу с мешками отправили на пристань для погрузки на судно, и, судя по этому, Кашеваров еще до беседы с капитаном знал, что «Охотск» скоро пойдет в залив Счастья.

— Дай бог здоровья Василию Степановичу, — говорила Орлова. — Это он научил нас снимать тут такие урожаи! Здесь картофель куда раньше поспевает, чем в Охотске!

— Неужели и в Охотске?

— Как же, и на кошке растет! В гальку садят!

Она оставляла в Аяне домик, строенный в самые трудные годы их жизни с мужем. Это было, когда мужа считали каторжником. Теперь она ехала к нему — свободному человеку — строить и обживать другой такой же домик и заводить новое хозяйство.

— Жаль уезжать отсюда, — говорила она, — с каким трудом нам тут все досталось! Вот огород этот... И я вот черемуху и боярку тут из тайги высадила. Правда, свои остаются. Да жаль насиженного места.

— Да, еще просьба, Александр Филиппович. Мне якоря нужны, я не написал это в ведомости, — сказал Невельской.

«Охотск» заканчивали грузить.

— У меня нет якорей! — сухо ответил Кашеваров.

— Я сам видел у вас якоря.

— А я вам говорю, что у меня их нет!

— Вы убедитесь... Пойдемте, — сказал капитан, подымаясь и беря фуражку, — я покажу вам.

Кашеваров на миг смутился, но тотчас опять приосанился и принял суровый вид.

— По смете у меня не значатся якоря, и это значит, что их у меня нет.

— Вон они лежат, видно отсюда! В Петровском нет верпа... Якоря нужны до зарезу...

Кашеваров вспыхнул и замахал руками.

— Как я могу! Это не мои якоря, может быть! Как я знаю, чьи это якоря!

Капитан ушел на берег, вызвал матросов, велел забрать два якоря и поднять на борт.

Прибежал Кашеваров, стал кричать.

— Якоря не ваши? В ведомости их нет? Что же вы беспокоитесь? — ответил капитан.

Вечером они опять спокойно разговаривали. Кашеваров искренне уверял, что боится Василия Степановича, поэтому так сказал про якоря. Между прочим, Кашеваров спросил, скоро ли капитан будете в Петербурге, и смотрел как-то странно.

Невельскому показалось в этот вечер, что Кашеваров скучает о Петербурге. От одного его оторвали, к другому он, видно, не пристал, и сам, кажется, не мог понять, тяжело ему без Петербурга или без Аляски... За алеутов он и за тунгусов и гиляков или за петербургских бюрократов?

Кашеваров дружески и откровенно рассказал в этот вечер, как он провел детство, как учился, как ходил на опись побережья Аляски.

На другой день «Охотск» ушел.

Невельской собирался в Якутск. После обеда он отправился на прогулку.

День был жаркий, капитан спял в тайге мундир и, свернув, положил его на траву, а сам в белой нижней рубашке уселся на берегу. «Дело не зверь — в лес не убежит», — вспомнил он пословицу.

Море было так спокойно, так горело солнце, так хорошо было в этот ясный осенний день и так ярко вспыхивали в глубине моря волны, что капитану никуда не хотелось. Он лег на гальку и закрыл глаза. Даже думать ни о чем не хотелось. Потом надоело так лежать, сел, разулся и, засучив штаны выше колен, выставил босые белые ноги солнцу.

Он задремал. Когда очнулся, то увидел ораву мальчишек. Они ловили удочками рыбу, стоя на старом полуразвалившемся причале. Капитан заметил, что на крючки насаживают не червей, а кусочки рыбы. Ловилась камбала.

Геннадий Иванович вспомнил, как он сам ловил на Волге... Поднялся, засучил штаны повыше, побрел через заступившую на отмель воду к причалу и вскарабкался на стоймя вбитые бревна.

— Здорово, ребята!

— Здравствуешь, дяденька! — бойко отвечали мальчишки.

— Как улов?

— Слава богу! — звонко отвечал толстогубый, белобрысый мальчик с выдавшимися скулами.

— Дай я половлю...

— Лови!

Невельской закинул удочку, сразу клюнуло, он вытащил плоскую бьющуюся пластинку.

«Как тут ловится!» — подумал он.

Ребята то и дело наперебой вытаскивали больших и малых рыб.

— А ты чё, дяденька, не аянский? — спросил худой, болезненный парнишка лет четырнадцати.

— Не аянский...

— С «Охотска» поди оштался? — улыбнулся веснушчатый бледный мальчик с черными глазами, бегая взором с удочки на дядю и обратно.

— С «Охотска».

— Там как у вас? Маслено поди кормят? — спросил старший парнишка.

— Кормят маслено.

— На Амуре теперь хорошо? Ага?

— Конечно, хорошо! Вырастете и переселяйтесь туда.

— Ты был?

— Был.

Ребята заговорили о кораблях и о капитанах. Называли кого-то ушедшего на Амур «дикоплешим барином», что он «всех костерит»...

Невельской, казалось, ничего не слышал. Ему хотелось все бросить, сидеть вот так с детьми на солнце.

«Будут ли у меня дети? — Как бы хотел он, чтобы у него были свои такие вот косматые головы. — Я ходил бы с ними рыбу ловить!»

Постепенно тревожные мысли вновь овладели им, он оделся и направился к дому. По дороге увидел дом Завойко, пеньки от берез.

«Но все-таки жаль Кашеварова! — думал капитан.— Мечтает об алеутском флоте и об устройстве на Аляске фаланг по Фурье, а сам бюрократ. У Завойко хоть в порядке все было и в доме сытно, чисто, просто. Сад был хороший. Еще вспомнишь Василия Степановича тысячу раз...»

Наутро подали коней. Капитан попрощался с Кашеваровым очень любезно, благодарил его.

Кашеваров говорил на прощанье о высоком долге, о том, что будет служить идее.

Колокольцы зазвенели, якуты защелкали языками, и караван тронулся...

Глава двадцать третья

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

Едешь через Сибирь и не знаешь, погубят ли все дело и тебя самого в столице, когда доедешь, и поэтому непрерывной чередой лезут в голову разные мысли. А ехать надо еще несколько месяцев. И каждый день придумываются новые доводы в свое оправдание, и лезут новые страхи, и пробуждаются новые надежды.

Дорожные неприятности, неудобства, синяки, набитые седлом, спасают от ожесточения. И чем хуже дорога, чем отвратительней езда, чем противней еда, тем меньше думаешь о цели. Человек, который совершал бы это путешествие с комфортом и в добром здравии, непременно сошел бы с ума по дороге в Петербург.

А Невельской проклинал дорогу и ее строителя, кажется не сознавая, что должен быть благодарен Завойко и благоговеть перед этой спасительной дорогой, отвлекающей от дум о будущем.

Говорят, что первую половину дороги путник думает о том, что позади, а вторую — о том, что впереди. Еще рано было думать об Иркутске.

Невельской вспоминал, что было, — Орлова, Завойко, гиляков и своих матросов, представляя, как там на Николаевском-на-Амуре посту Козлов командует...

Капитан ехал верхом по тайге, где всюду сплошь звенели бегущие ручьи. Они текли у подножия деревьев, вы-

бегали из кустарников, рассыпались, падая со скал. Даже в вершинах хребтов повсюду текла вода.

Похолодало. Это уж не Приамурье! Правда, и там заморозки в августе. Здесь на больших речках начался ледоход. В тайге, в горных долинах, между лиственниц тихо падал снег.

Вокруг безмолвная пустыня: редкий лес, замерзшие, заиндевевшие кочки и болота, сопки в снегу, обметанные инеем стволы деревьев. Птицы улетели.

День походил на день, сменялись станки — юрты с косями, как бы падающими стенами, под плоской крышей с землей и с травой. А за поскотиной — лиственницы и скалы, нищее население — объякутившиеся русские скопцы, забывающие свой язык. Тут почти не было никакой торговли. Изредка какой-нибудь купец привозил сюда водку, и на таких станках все были пьяны, и капитану приходилось кричать и грозить.

В Якутске, как и в прошлом году, он дожидался ледостава. Путь по Лене, теперь уже такой знакомый, был куда легче, чем весной. Толстый лед накрепко заковал великую реку. Огромные скалы обступили ее. Как-то, глядя на уступы и на полупадающие каменные столбы, вспомнил капитан Мишу. Тот все мечтал, что надо на Лене в этих скалах построить крепость. Говорил, мол, вот будет неприступная твердыня! Мечта была смешная и наивная! Но Миша далеко не фантазер, он охотник до дела реального.

На морозе в санях, в дымных юртах капитан прожил два месяца. И все эти два месяца он был наедине со своими невеселыми думами.

«Если бы можно было миновать Иркутск! — думал он в последний вечер накануне приезда в сибирскую столицу, когда на тракте стали часто попадаться обозы. — Попробуй въезжать сюда той же дорогой».

Этот город был ему когда-то дорог. С каким восторгом рассказывал он про него в Петербурге и в Кинешме!

Въехали в город в полдень. Тут тепло. Ангара и не собиралась замерзать, снега нигде не видно, небо высокое, ясное.

И вдруг он увидел переулок с серыми домами и сад... Переулок сворачивал от главной улицы к Зариным. «Тут дом заринский, — подумал он. Боль охватила его душу. — Я люблю ее...»

— Гони прочь отсюда! — сказал он вознице, тыча его в спину.

Возница обернулся быстро и, с удивлением посмотрев на ездока, подумал: «Не пил как будто. До сих пор ехали мирно и дружно, а стал заговариваться».

Невельской надеялся, что Амур, залив счастья, Тыр, китобой — все это заслонило ее, что он железный человек и все уже забыл... И вот все полетело прочь... Рана открылась. «А я-то еще радовался, что падо спешить в Петербург и не придется оставаться в Иркутске. Скорей отсюда! В тайгу, в юрты!» Спать в санях казалось ему легче, чем жить в огромном, пустом для него Иркутске, населенном множеством совершенно чужих людей.

Приехали во дворец. Дежурный чиновник передал письма от Муравьева.

Дом губернатора в самом деле пуст. Не спуют чиновники, нет обедов, не гремит по вечерам музыка, и шторы опущены в окнах второго этажа. «Честная братня нижнего этажа» в разъездах — кто в Питере с губернатором, кто носится по Восточной Сибири.

Дежурный провел капитана в отведенную для него комнату. Между прочим, рассказывая о новостях, помянул, что Корсаков недавно прибыл, но так же по требованию губернатора немедленно выехал в Петербург и сожалел очень, что не дождался Невельского, хотел с ним вместе ехать. Помянул про Зариных. Владимир Николаевич задержался нынче с супругой и с обеими племянницами на водах, недавно вернулся и сейчас в отъезде.

«С племянницами? — чуть не вырвалось у Геннадия Ивановича. — Боже мой! Так она не вышла замуж?! Что же за причина?»

Невельской не спал всю ночь, вскакивал, ходил по комнате.

Утром надо было сделать покупки на дорогу. Он сам поехал в город. Около базарной площади, где стоят ряды телег с поднятыми оглоблями, его окликнул бородастый мужик в шляпе, сидевший на виду у всех с двумя такими же мужиками.

Вглядевшись, Невельской узнал Сергея Григорьевича Волконского. Капитан слез с телеги и, спотыкаясь, побежал к нему. Они обнялись.

— Мой дорогой! — сказал по-французски Волконский. — Откуда же вы?

Невельской, заикаясь, начал выкладывать все.

— Это невероятно! — сказал Волконский, поднимая брови и отступая шаг назад.

А Невельской все говорил и хватал старика за пуговицы.

— Еду завтра же... Николай Николаевич требует немедленно.

— Так поезжайте к жене. Мария Николаевна всегда помнит вас. Общество ждет вас, вы у всех на устах.

— Ты знаешь, — сказал Волконский, придя к жене и целуя ее руку, — я встретил Невельского. Он выглядит отлично. Щеки — кровь с молоком. Скачет утром в Петербург и вечером обещал быть у тебя. Поразительные известия! Он занял устье Амура и поставил посты. Россия обязана ему навеки!

Мария Николаевна сидела за столиком. Чем старше она становилась, тем чаще сидела за этим столиком, где хранились письма родных и где она писала им ответы, где сберегались счета, деньги и драгоценности детей. Она подняла голову.

У Волконского летом были неприятности. Привезли петрашевцев, а он пришел на пристань к самой цепи часовых у парома, крикнул им слова приветствия, подняв руку.

Теперь он считается совсем отселенным женой и в гости приглашает к ней, а не к себе.

Мария Николаевна слушала, держа руки на столе и чуть вскинув голову, с гордым выражением, означавшим душевный подъем. Глаза ее были устремлены вдаль. Она думала о том, что Амур может быть будущим для ее Миши, что ее сын, может быть, когда-нибудь вернется оттуда героем, пышущим здоровьем, загоревшим мужчиной, полным сил и страсти к любимому делу.

Невельской открывал перед ее любимым Мишей широкое поле деятельности. Сын пойдет когда-нибудь в новую страну, туда, где еще не знают людской подлости, где еще нужны люди подвига, обрекающие себя на службу народу добровольно. Прежде такой страной ей представлялась Аляска, где дух свободы, как тогда полагали, близок. Но

теперь открыт Амур. Это ближе и родней, и цель глубже. Она давно ждала известий оттуда и сознавала отлично, что значат действия Невельского. Если бы она была молода, она и для себя и для мужа не желала бы большего счастья, как идти в новую страну, идти, конечно, свободно...

...А Невельской, переехав наутро через Ангару на пароле, понесся по московскому тракту.

«Боже мой,— думал он,— ведь я все делал, чтобы забыть ее! Я хотел быть выше всего! И все опять полетело прахом! Она не замужем!»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧЕТВЕРТОЕ ПЛАВАНИЕ

Никогда ты не встретишь
большей любви, чем была
любовь Пассук.

*Джек Лондон, «Мужество
женщины»*

Глава двадцать четвертая

ВЕСЕННИЕ МЕЧТЫ

После бала, на котором Екатерина Ивановна говорила с Невельским перед его первым отъездом в Петербург, она вернулась домой расстроенная и встревоженная.

— Он ничего не сказал тебе? — спрашивала сестра.

— Он уехал полный своих замыслов, воодушевленный... — отвечала Катя.

Ей было очень больно. Она ждала этого бала, разговора, признания.

На следующий день все заметили персмену в Екатерине Ивановне.

— Барышню как подменили! — говорила Дуняша.

Варвара Григорьевна надеялась, что все минет: девичья любовь не вечна. Увлечения у племянниц бывали и прежде.

Катя становилась все печальней...

Варваре Григорьевне пришлось услышать нелестные отзывы о Невельском. Она решила прийти на помощь Кате и рассказала девицам, что слухи о том, что открытие Невельского ложно, очень упорны.

— Поверь, мой друг, — обратилась она к Кате, — мы все попали в смешное положение. Да, мы поддались его красноречию. А больше всех Николай Николаевич...

Этот разговор имел, кажется, противоположное действие тому, на которое рассчитывала Варвара Григорьевна. Катю трудно было разубедить.

У Зариных часто бывали Ахтэ, Струве, Мазарович, Грот, оставшийся в Иркутске, и многие другие офицеры и чинов-

ники. Все это общество развлекало сестер. Часто приезжал Антонин Пехтерь, красивый молодой человек — жгучий брюнет, племянник предпринимателя Ришье, дворянин, получивший воспитание в Париже. Недавно он поступил на службу в канцелярию генерал-губернатора.

Это общество при Кате судило о Невельском осторожно, но общее мнение было не в его пользу. Нередко его поминали иронически, а ничто не убивает так молодое чувство, как тонкая насмешка. Без нее говорили откровенней.

— Рябой колдун! Чем он прельстил такую красавицу? — сказал однажды Ахтэ.

Вскоре о Невельском, казалось, позабыли.

Наступил пост. Балы прекратились, но молодежь ездила в дом Зариных по-прежнему.

И вот пришло известие, что Невельской возвращается. Из Петербурга писали, что он получил два чина и, благодаря покровительству великого князя, ему все удалось очень легко. Вскоре стало известно, что он поехал к матери в Кинешму. Струве как-то заметил, что он, наверное, хочет там найти богатую невесту.

— Господин Невельской для меня не существует, — сказала однажды Екатерина Ивановна сестре.

Она не желала больше страдать. Гордость ее была уязвлена.

Тетя уверяла Катю, что Пехтерь будет просить ее руки. В обществе восхищались Пехтером, говорили, что он образован, прекрасный товарищ. Все уверяли Катю, что они прекрасная пара. Общество склоняло мнение и чувства Кати, как сильный ветер клонит дерево и заставляет его расти криво, если дует долго, ровно и в одном направлении.

Пехтерь — весел, остроумен. Все помнили, как читал он у Волконских письмо из Парижа, в котором описывались ужасы революционных событий. Но потом он раскрыл секрет, что это письмо сочинил сам.

Дядя не очень радовался намерению тети видеть в Пехтере жениха младшей своей племянницы. Но мужчины иногда не имеют голоса в таких делах.

Пехтерь сделал предложение и, после споров дяди с тетей, ему дано было согласие. Однако об этом знал очень узкий круг людей. Своя семья и друзья Пехтеря: Струве, Мазарович и еще двое-трое, умевших держать язык за зубами.

Саша все еще не могла выбрать жениха. Тетя полагала, что сначала надо выдать старшую, поэтому хотя Пехтерь и получил согласие, но о помолвке не объявляли и свадьба не была назначена. Она совсем не хотела, чтобы младшая вышла замуж, а старшая при всей ее красоте и множестве поклонников была бы объявлена «старой девой». Ездили в дом из-за обеих сестер. В доме царило веселье, постоянно танцевали, даже в пост плясали под фортепиано. Тут все были влюблены, все наперебой старались заслужить расположение сестер-красавиц.

Кажется, сердце Саши склонялось к выбору красавца Мазаровича.

... Приехал Невельской.

Он вошел в гостиную Зариных сияющий, обратился к Екатерине Ивановне, как к желанному другу, полный мыслей и впечатлений.

Она сказала себе, что надо быть совершенно спокойной. Тетя винила ее, что она такая простушка.

«Нет, теперь все изменилось, я больше не ошибусь, Геннадий Иванович!» — сказал ему при новой встрече ее чуть потупленный взгляд, полный достоинства.

«Она избегает меня», — подумал тогда Невельской, все еще не веря тому, что произошло.

Катя полагала, что у нее должны быть и есть воля и гордость. Дело зашло далеко. Он был лишь памятью о чем-то светлом и ярком...

— Невельской мучается из-за тебя, — сказала ей сестра.

— Он мучается? — с улыбкой ответила Катя.

— Ну, сжался! Поговори с ним.

— О! Он не услышит от меня ласкового слова. Ни одной улыбки! Он недолго помучается. Те, кто ищут покровительства и забывают обо всем остальном, не мучаются...

— Но, сестричка...

Приехал жених, опять с цветами. Катя радовалась. Унижения, которые переносил Невельской, ее тронули ее.

Невельской говорил с тетей, ездил к дяде. Ему хотелось узнать, что произошло... И когда он снова приехал к дяде, тот, недовольный настойчивостью капитана, все сказал. Тетя возмущалась. Назойливость Невельского становилась неприличной.

Кате нравилось, что из-за нее двое ездят, оба страдают. Вдруг она узнала, каков был Невельской во время разговора с дядей.

— Он... знаешь... Не смейся... Он рыдал! — говорила сестра.

— Рыдал? — спросила Катя с недоумением.

В душе ее что-то шевельнулось, и на миг в лице явилось выражение сомнения. Она ждала приезда жениха в этот вечер. В воздухе носилось что-то страшное, кажется, шла гроза, люди стали беспокойны, приезжали и уезжали, что-то говорили, всюду суета — так казалось Кате.

Невельской поссорился со Струве из-за того, что тот не предупредил его и тем самым поставил в такое положение. Все стало известно, и про события в доме Зариных заговорил весь город. Узнали, что Катя помолвлена, и хитрость Варвары Григорьевны была разгадана.

Катя видела Невельского у Муравьевых перед его отъездом. В этот вечер с необычайным подъемом, и в то же время удивляясь своему спокойствию, она спела два ромаса.

— Он герой, прекрасный и мужественный! — вдруг сказала она сестре, возвратясь. — Он таким мне показался сначала и таким останется для меня навсегда. Путь его благороден. Перед ним подвиги, и он будет велик... А мой путь — иной. У меня будет счастье. Но я всегда буду помнить героя, промелькнувшего в моей жизни.

Невельской уехал «наконец», как выразилась тетя. Общество разразилось бранью и упреками по его адресу. Оказалось, что перед отъездом он многих задел, оскорбил Струве, надерзил Подушкину. Его винили в том, что сведения о своих открытиях он фабрикует сам, а на деле нет того, о чем он докладывает.

Катя оскорбилась. Человек, который так любил ее, не мог быть негодяем. Пехтерь встал на сторону Невельского, он утверждал, что это благородный человек, и Катя была очень благодарна жениху.

Тетя выложила в эти дни все, что слыхала о Невельском дурного.

Перед отъездом у дяди был Мишель Корсаков, но держался с сестрами холодно. Струве рассказывал им потом, что Невельской уехал в странном состоянии и что Мишель один из тех, кто ему сочувствует.

Перед отъездом Невельского приезжала Екатерина Николаевна, впервые после того, как заболел Николай Николаевич. Она сказала, что Невельской — честнейший человек, умница, что наветы на него ложны и бездоказательны, что он герой в полном смысле этого слова.

— Он лишь пешка в руках Николай Николаевича! — уверяла Варвара Григорьевна.

«Блестящий офицер, гордый морской волк, два чина, ласки великого князя, всеобщее признание в Петербурге! И он рыдает из-за девицы, которая выказала холодность! Она полюбила другого! В нее влюбляются все! Да, теперь это ясно всем «иркутским индюшкам!» Катя торжествовала. Под фортепиано в пост она танцевала с женихом мазурку в ту ночь, когда капитан не спал в своем коробе. Она чувствовала, что любима. Неудачная любовь Невельского лишь возвышала ее над всеми и придавала ей особенную прелесть в глазах общества. Ей казалось, что она не только умна и красива, но коварна и мстительна.

Общество все еще говорило о Невельском.

— А наш Генаша — вот добрый молодец! Пошел в гору, — толковал Ахтэ. — Сумел вывернуться от разжалованья!..

Но однажды Кате показалось, что она сделала что-то нехорошее. Ей почему-то начинали надоедать танцы, наряды, все то, чем она так увлекалась. Она все время помнила, что выказала холодность и презрение Невельскому.

«Ему больно! Он рыдает, он пал духом. Я не ожидала этого! Он уехал! Впрочем, слава богу! Я счастлива! Так легче. Забудем о нем!»

— А куда он поехал? — спросила она дядю.

— Кто? — встрепенулся дядя.

— Господин Невельской.

— В Аян.

— Да-а! Он говорил мне, есть две дороги... А потом?

— На Амур!

— Да, он мечтает только об этом. Он говорит, что Китай со временем будет велик и что Америка станет торговать...

Пришла пасха.

Милая, красивая сестра, сидя вечером в гостиной, вдруг спросила у Мазаровича, верно ли, что Невельской закупил в

магазине китайские редкости. Вопрос был пустой, сказано только, чтобы что-то спросить, не так ведь много тем в Иркутске, но в глазах девушки столько нежности, она так женственна, что все были в восторге и даже Катя улыбалась, видя, как принимаются всеми сестричкины слова. Чем красивей становилась Саша, тем милей она казалась обществу. Катя рада была ее успеху не меньше, чем своему.

Даже случайное напоминание имени Невельского заставляло Катю призадуматься. Ей немного жаль было той умственной жизни, что начала у нее складываться во время бесед с ним.

Свадьбу Кати Зарины решили отложить на осень. И семья и общество были смущены и взволнованы тем, что Невельской решился свататься к просватанной невесте. По сути дела произошел скандал, и Владимир Иванович решил, что надо дать морю успокоиться. Да и к свадьбе ничего не было готово.

Тетя полагала, что все надо делать осенью, когда будут деньги с двух деревень, принадлежавших племянницам.

Муравьев выздоровел. Он увольнял одного за другим чиновников, которые выказали себя за время его болезни с нехорошей стороны. Ахтэ послан был на Север. Меглинский еще прежде отправлен с поручением губернатора на Джукджур.

Через некоторое время после отъезда Ахтэ получены были от купцов, торгующих на Севере, известия о его апекдотической скупости и трусости. Он обсчитал хозяйку квартиры в Якутске, заплатив ей в шесть раз меньше, чем следовало.

Пехтерь потускнел и однажды пожаловался Варваре Григорьевне на обиды, которые ему якобы чипят по службе.

Вся компания эlegantных петербуржцев ожидала неприятностей, и даже Струве притих.

Наконец дело у Саши сладилось. Мазарович — приятель Пехтеря — был объявлен ее женихом. Сестры выходили за друзей.

Зарины уезжали на Байкал, а Катя расставалась с Пехтерем, который все это время был ее лучшим другом. Теперь, когда объявлено о помолвке, Пехтерь готов был ждать.

По Байкалу из Лиственничного ходил маленький чистенький парходик, перевозивший господ в Горячинск на воды.

Путешествие по озеру-моря поразило Екатерину Ивановну. На всю жизнь запомнилась ей необычайная голубизна воды, первое утро на Байкале, синева гор, ясность озера-моря, скалы под водой...

— Это поразительно! — сказала она и подумала: «Вот тот мир, в котором живет Невельской. Его мир прекрасен! Люди, живущие в нем, должны быть необыкновенными».

В Горячинске сестры много ездили верхом. Катя все уверенней сидела в седле. Она настойчиво училась, желая, как она говорила, ездить не хуже Екатерины Николаевны, совершившей беспрецедентное путешествие в Охотск.

Иногда сам дядя учил ее скакать через препятствия и переезжать верхом горные речки. Дядя — старый офицер, участник балканских походов — прекрасный наездник.

Часто Катя одна выезжала на берег Байкала и останавливалась на скале, в раздумье глядя с огромной высоты на бесконечную гладь воды, по которой разбегался видимыми струями и пятнами ветер. Здесь Катя много думала о своих отношениях с Геннадием Ивановичем. Теперь, вдали от Иркутска, на берегах озера-моря, она понимала, что не зря люди испытывают к нему ненависть, они завидуют ему.

Казалось, есть глубочайший смысл в том, что произошла размолвка. Она по-другому на все взглянула. И теперь думала, что, встретить его снова, она почувствовала бы себя виноватой перед тетей и дядей, по снова охотно слушала бы его. Иногда ей казалось, что она глубоко любит Невельского и любовь к нему только теперь созрела.

Но Пехтерь — жених... Все за него, все решено.

С пароходом приходили письма от Пехтеря. Он очень остроумно описывал мелкие события иркутской жизни. Свои отношения с чиновниками, с которыми служил в канцелярии генерал-губернатора, изображал в несколько комическом виде.

Письма очень хороши, в них ни единой тени, ни лишнего слова, но много тонко выраженного уважения, преклонения и нежности... Иногда — засушенный цветок, сорванный на прогулке во время раздумий там, где бывали вместе... Немного сентиментально, но в таком письме — трогательно.

Катя тайне желала поскорее видеть жениха и выйти замуж, чтобы все закончилось, чтобы забыть свои неприятности и не доставлять тревог семье.

Дядя излечился, и вся семья снова отправляется в Иркутск, на этот раз по сухопутью, на лошадях.

Дорога спускалась на юг в отдалении от моря, а потом огибала его, кое-где выходя на берег. Иногда Байкал открывался во всю ширь. Вид моря, огромного, девственного в своей голубизне, редких парусных судов на его блестящей поверхности, этих скал отвесных, этих великих иссиня-черных лесов на огромных хребтах и панорамы гор, открывавшихся с каждого луга, с поймы моря, гор, из которых, как уверял дядя, вытекали реки, впадающие уже в бассейн Амура,— опять напоминали капитана Невельского.

Ехали с лакеями, горничными и казаками. Для девиц взяты были у бурят иноходцы, и сестры по большей части скакали верхом. Ночевали в палатках или в избах у русских крестьян. Всюду губернатора встречали хлебом-солью.

Подъезжая к Иркутску, к перевозу через Ангару, Катя радовалась, что сейчас она погрузится в привычную суету городской жизни.

Ангара — это серебристо-голубой ключ в пятьсот сажен шириной, зловеще быстрый, запавший между лесов и гор. За ней знакомые дома, соборы, дворец...

Жених явился к переправе с цветами. Это, конечно, из малснького имения его дяди, Ришье. Катя с радостью встретила учтивого и веселого Пехтеря, и он понял, что будет с ней счастлив.

Явилось сразу множество дел.

Оказывается, уже не те капоры, другая отделка, немного иной покрой. Несколько журналов из Парижа и Петербурга лежали дома. Это события! Заказы в магазины столицы посылались заранее. Кажется, пока путешествовали на курорт, жизнь сделала необычайный скачок. Посылки пришли на этих же днях; все именно такое, как в журналах. Такая радость! Не только пейзажи, как уверял дядя, но и вид новых платьев излечивает душу.

Но подвенечного еще не заказывали.

Муравьевы выехали в Петербург. И среди дам это толковалось в том смысле, что Николай Николаевич будет хлопотать о разрешении на выезд с женой за границу на отдых, в Париж, к ее родным.

Дядя в «контрах» с Николаем Николаевичем. Он остался недоволен некоторыми его распоряжениями, а более

всего тем, что Муравьев не его, а Запольского оставил за себя. Дядя сказал раздраженно, что собирается уезжать на будущий год из Восточной Сибири.

Где-то в глубине души Катя знала, что Муравьев едет в Петербург далеко не из-за желания выхлопотать жене поездку в Париж.

...Начинался такой же веселый сезон, как и в прошлом году. Молодежь собиралась то в одном доме, то в другом. Пехтерь был прелестен, танцевал прекрасно. Но чего-то не хватало. Платья и новинки ненадолго увлекли Екатерину Ивановну. Хотелось чего-то другого. Опять стало скучно, она говорила сестре, что ищет каких-то новых горизонтов, что здесь люди ничтожны, читала Грибоедова, и ей казалось, что живет в обществе Фамусова. Она чего-то ждала. Свадьба представлялась ей избавлением.

— Но что, если я люблю господина Невельского? — спрашивала она сестру.

— Да, ты его не забываешь... — кокетливо ответила сестричка. — А вчера любила Пехтеря?

Саша тоже не забывала Геннадия Ивановича. Но в любовь Кати плохо верила.

«Ах, Катя! Впрочем, как говорят, любовь зла... Пехтерь — лучший жених, полуфранцуз... Правда, у него нет поместья, но он из семьи дворян. Но дворянину без службы нельзя, он и поступил к Николаю Николаевичу, и прекрасно служит, а получит сестрино приданое и будет русский помещик, но с присущим ему особым лоском».

Однажды у Волконских зашел разговор о литературе и о браке.

Катя сказала, что, по ее мнению, браки должны быть равными, чтобы были общие интересы и общая деятельность. Это тысячу раз сказанное всеми в устах Кати имело значение.

— Но такие браки редки, — заметил ее жених, втайне очень польщенный.

— Да, может быть, это еще редко, но это тот идеал, к которому должна стремиться женщина!

Варвара Григорьевна, уверенная, что Катя, судя о книжных героях, подразумевает себя, сказала с улыбкой, что племянница ее потому так говорит, что находит свое счастье в равном браке.

Мария Николаевна смолчала. Она с интересом приглядывалась к Кате. Она поняла девушку совсем по-другому.

Чем старше становилась Екатерина Ивановна, тем оригинальнее были ее суждения. «У нее должно быть будущее», — думала Волконская.

Дядя как-то странно держался с Пехтером, словно недолюбливал его. А с Невельским он был дружен, но тоже как-то странно. Иногда его хвалил, а иногда сомневался в нем. Он молчал, слыша мнение тети и всех остальных, порицавших Геннадия Ивановича. По особенностям своего характера он никогда не спорил.

А подвенечного платья не заказывали, и Катя не торопилась. Ей казалось, что были какие-то разговоры между дядей и тетей. Наконец свадьба была назначена...

И вдруг дядя пришел и рассказал, что получил письмо от Невельского, оно ужасно запоздало. О подвигах Невельского он говорил при всех с похвалой. Он даже сказал, что Невельской герой. Тетя была смущена и раздосадована.

Катя, взволнованная, зашла в кабинет к дяде. Она случайно и невольно прочла в письме несколько строк, как раз те, где Невельской писал, что боготворит ее, будет любить вечно, но что желает ей счастья с Пехтером, просит простить, пишет о себе, что идет снова к своей цели...

Катя почувствовала, что душа ее забушевала, что там все темнеет, как на море в бурю, что она сама готова теперь к борьбе, что ее, кажется, обманули. Что-то прежде неведомое, сильное явилось в ней.

В этот день был первый осенний бал и Катя танцевала вальс с Пехтером. Тот тоже получил письмо от Невельского и втайне очень гордился, что поставил дерзкого и отважного капитана на колени. Победа была полная, и впервые за все это время он назвал капитана «Генашей».

Катя высокомерно взглянула на жениха, как бы говоря: «Еще рано!»

Она сказала, что очень уважает ум и благородство господина Невельского.

Опять музыканты на хорах играли все быстрее и быстрее, Пехтерь легко скользил по паркету. Это был полет по воздуху, а не танец. Катя вспоминала прошлогодний бал у Муравьевых. И сейчас, под звуки вальса, еще величественней казались жизнь Невельского и его трагическая судьба, судьба человека, в несчастье отважившегося на подвиг. Он там, может быть, погибал, но его помнят здесь...

— Тетя, я не буду шить подвенечного платья! — сказала утром Екатерина Ивановна.

— Что ты? Что ты? Как можно! Ты хочешь отказать Пехтеру?

Тетя была вне себя и обвинила дядю, зачем он рассказал про письмо. Ведь девичьи годы идут быстро! Но дядя совсем не хотел возбуждать в племяннице чувства к Невельскому. Он не думал, что так получится.

А из Аяна пришло еще одно известие, что Невельской блестяще все исполнил.

— Невельской занял Амур! — говорил дядя.

Общество говорило, что Геннадий Иванович неблагонадежен, что он фантазер, плохой человек и так далее. Но уже раздались другие голоса. О нем заговорили у Волконских. И Мария Николаевна сказала при Кате, что сыну Мише желала бы в жизни того, что совершил Невельской.

«Это был мой мнр, он дарил мне его! А я поверила в разговоры и пренебрегла всем ради всеобщего спокойствия, ради дяди и тети, чтобы не идти наперекор мнению общества. А дядя сам в восторге от него! Я изменила «ему» и его делу. Я изменила своей любви!»

Катя заметно охладевала к жениху, она стала посмеиваться над ним, в ней явилось легкое пренебрежение, которое означает, что любви уже нет...

Но Пехтерь был умен, он знал, о чем тревожится Катя, он умело и терпеливо развлекал ее.

Невельской явился в Иркутск и на другой день ускакал в Петербург. Он сказал Волконскому, которого на старости лет сильно стали занимать личные и семейные дела приятных ему людей: «Кто полюбил в тридцать пять лет, тот никогда не разлюбит». Это дошло до Зариных.

Дядя сказал, что Невельскому на этот раз, кажется, несдобровать, будут ему неприятности.

Поспешный отъезд капитана в Петербург, его краткие визиты всем должностным лицам, его подчеркнутое достоинство произвели в Иркутске на чиновников неприятное впечатление.

— Свет не зря говорил — он неблагонадежен! — заявила Варвара Григорьевна.

На этот раз дядя не возразил.

Через две недели после отъезда Невельского пришло известие, что его ждет разжалование и это решено окончательно. Так сказал дядя, выйдя после прочтения срочной почты к чаю в пять часов вечера.

— Как хорошо, что я спасла тебя,— сказала тетя младшей племяннице.

Та вспыхнула, поднялась и вышла.

Глава двадцать пятая

ПИСЬМО

— Его действия оказались противны воле высшего правительства,— объясняла тетя, придя в комнату девиц.— Его поступку придано особое значение...— И тетя стала рассказывать все, что слышала только что в разговоре один на один от дяди.— Это хорошо, что ты вовремя отказала ему,— восклицала она, слегка сжимая Катины руки,— а то было бы очень неудобно...

При слабом мерцании свечей Катя странно посмотрела. Сейчас лицо ее было бледно, и казалось, что глаза черны и черны волосы.

— Что с тобой, моя душа? — тревожно спрашивала тетя.

Катя слабо тронула рукой лоб, чуть склонив голову, как бы в глубоком раздумье.

— Тетя! — вдруг умоляюще спросила она.— Неужели он погибнет?

— Его разжалуют! — ответила тетя, как бы изумляясь, в чем тут еще можно сомневаться.— Все понимают это.

— Это ужасно! — слабо вымолвила Катя и жалко закусила скомканный платочек.

— Его винят в том, что он обманул государя.

— Тетя! Это такая неправда! Все это не так, я знаю. Он ни в чем не виноват. Поверьте мне, я знаю все... Он мне все рассказывал.

— Он все рассказывал тебе? — с изумлением спросила тетя.

— Да! — с гордостью ответила Катя.

Тетя невольно смолкла. Катя поднялась, выражение силы мелькнуло в ее глазах.

— Он совершил действия вне повелений,— делая рукой

точно такой же резкий жест, как обычно делал Невельской, с чувством сказала Катя, и лицо ее стало быстро покрываться густым румянцем.— Я знаю, что он прав. Но ведь и все знают об этом, и дядя сам мне говорил, и все восхищались его смелостью и патриотизмом, и все ставили ему до сих пор это в заслугу. Но у него враги в Петербурге. Он говорил, что ему мешают. Я не могу изменить о нем своего мнения. Я совершила ужасную ошибку. Я знаю, что эта игра ужасна. Я знаю все. Я думала о нем все это время. Он желает величия и счастья России! Он не жалеет себя. Это герой, герой! — Слезы потекли из ее открытых глаз.

Барвара Григорьевна была поражена.

— Но я знаю, что это за человек, и не верю ему... Я совсем не хотела тебя обмануть... Я вижу... Бедная девочка...

— Тетя, все это не так, я знаю... Он мне все рассказывал...

— Ах, Катя...

Тетя понимала, будет продолжение ужасного скандала — еще один спектакль для всего города.

Лицо Кати сразу осунулось, слезы лились неудержимо, и локоны распустились, липли ко лбу и щекам.

— Боже мой, боже мой! — восклицала тетя, пытаюсь обнять ее.— Успокойся, я не могу видеть твоих слез.

— За что? За что так обошлись с таким человеком? — с горьким отчаянием воскликнула Катя, сжимая в кулачке платок.

«Она любит его, бедная девочка!» — подумала тетя и сама заплакала.

Зарина пришла к мужу в сильном расстройстве.

— Я не могла скрывать,— призналась она и рассказала все, что произошло.

— Конечно, Николай Николаевич пустит в ход все связи,— заговорил Владимир Николаевич, выслушав жену.— Но противники сильны. Нессельроде, Чернышев... Боже упаси связаться с ними! Это, знаешь, наглые, надменные выскочки. А наш Невельской режет правду в глаза.

— И на самом деле, за что человека разжаловали? — воскликнула тетя.— Ты знаешь, он мне не очень нравится, он мал ростом, невидный и не пара Кате, но все же надо быть справедливыми...

«Как я могла так непонять его,— винила себя Катя.— Ах, господин Невельской, если бы вы знали, как хорошо я помню все, что вы говорили... Но что теперь будет с вашими мечтами?..»

И невольно перед ее мысленным взором вдруг явился образ Марии Николаевны. Волконская, с суровым, добрым лицом, ободряюще смотрела на Катю, словно говорила ей: «Вот, Катя, теперь твоя очередь...»

«Я на все готова,— думала Катя,— но если бы я могла спасти его... Я бы ничего не пожалела. Что с ним сейчас? Быть может, вот в эту именно мнуну...»

Она вздохнула, представив, как огромные усатые жандармы в касках окружили маленького бледного Невельского в арестантском халате, а он смотрит на них пристально своими горящими глазами... «Ах, господин Невельской, как же теперь осуществляются ваши мечты... Кокосовые острова... Да, да! Ведь я помню все, что вы говорили...»

Ей вспомнилось детство в Смольном, придирки и грубость воспитательниц; жестокие условия содержания доводили многих там до отчаяния. Не все терпели покорно. Находились девочки, которые, бывало, ночью перед иконой клялись подругам, что станут «отчаянными». Давшие такую клятву становились врагами воспитательниц. Никакие наказания не могли их сломить. Тайно им сочувствовали и помогали все, за исключением наущниц. И все знали, что обреченная «отчаянная» ни за что не отступится от своей клятвы.

Кате тогда казалось странным так жертвовать собой.
...Сестра Саша не спала.

Катя вскочила с постели и схватила ее за руку, подвела к иконе, и обе встали на колени.

— Клянусь тебе, пресвятая богородица,— говорила Катя,— что я люблю Геннадия Ивановича, и буду любить вечно, и отдам ему всю свою жизнь. Может быть, я смогу спасти его своей любовью, помоги мне...

В ночных рубашках девушки помолились и потом уснули вместе на Сашиной кровати.

Ночью Катя ушла от сестры. Она зажгла свечу и достала бумагу из ящика. Она умылась, оделась без помощи горничной и села писать.

Она взялась за перо и почувствовала, что руки ее дрожат. Руки были мертвенно-белы и жалки. Она сжи-

мала их и терла, нервно встала из-за стола, ломая пальцы, прошла по ковру и быстро села на место.

«Дорогой Геннадий Иванович! — написала Катя и отложила перо. Она долго и тщательно вытирала слезы платочком, глядя покрасневшими глазами на бумагу.— Все это время я мысленно с вами,— взявшись за перо, продолжала она.— Я слыхала про ваше несчастье. Но что бы ни было, я люблю вас и согласна стать вашей женой. Я готова пойти с вами куда угодно, где бы вы ни были. Простите меня, что я так глупо вела себя. Я полюбила вас при первой встрече. Молю бога, чтобы все обошлось благополучно. Да пребудет с вами его благословение.

Любящая вас *Катя*».

Она перечитала написанное и вдруг улыбнулась счастливо, хотя слезы еще текли по щекам.

Потом она написала Екатерине Николаевне в Петербург, вложила конверт для Невельского в ее пакет, запечатала все и снова улеглась и уснула крепким сном подле своей милой Саши.

Глава двадцать шестая

ВТОРОЙ ГИЛЯЦКИЙ КОМИТЕТ

Прибыв в Петербург, Невельской нашел губернатора в гостинице «Бокэн», где Муравьев всегда останавливался и где в прошлом году стоял капитан.

«Как он помолодел и похорошел! Каким красавцем выглядит! — подумал Муравьев.— Кажется, ничего не подозревает...»

Невельской остановился в этой же гостинице. Он успел переодеться. На нем новый мундир с иголки. Он еще ничего не знал, что делается в Петербурге.

Щеки его румяны, пышут здоровьем, сам крепкий, рука твердая. «На Амуре так расцвел или это его морозом разрумянило?»

Губернатор рассмотрел карты и рапорт, сказал, что все готово к комитету, но что поднялась буря, какой еще не бывало.

Взгляд капитана не дрогнул, выражение лица его, счастливое и сильное, не изменилось.

То, о чем он думал по дороге и к чему он приготовился, было гораздо страшней того, что могло быть на самом деле. Он вычистился, побрился, как солдат перед боем, надел «белую рубаху» и сейчас готов был грудью встретить врагов. Он был готов пожертвовать собой и бросить этим вызов, если не внимут разуму. Он был спокоен, даже не спешил к губернатору, как бы зная уже, что там его не ждет ничего хорошего.

Муравьев был поражен его выдержкой.

«Он железный или бесчувственный человек! Или же безумный». После всего, что сделал Невельской на Амуре, после ужасного потрясения в Иркутске он не только не поник, но еще и сиял. «Может ли человек быть доволен в таком положении? Неужели он так надеется на меня? Этого не может быть».

Перед приездом Муравьева все бумаги, присланные им, рапорт Невельского и представление на высочайшее имя царь прочел, был разгневан поступком Невельского и велел все рассмотреть в комитете министров. Это дало повод слухам, что офицер, посланный Муравьевым, разжалован. Но ему и в самом деле грозило разжалование.

— Геннадий Иванович, опасность от иностранцев — вот наш козырь! Сгущайте краски! Вы правы, они только этого боятся. Составляйте новый рапорт, да так, чтобы припугнуть их. Смелей, Геннадий Иванович!

Вошел Миша. Он уже давно в Петербурге и на днях собирается к родным в Москву.

В день заседания гильяцкого комитета Невельской оставался в гостинице. Губернатор в Петербурге, и присутствие капитана на этот раз в комитете не потребовалось. Но его могли пригласить в любой час...

Это было время, когда постарел царь и постарели его несменяемые министры. Правительство состояло из уже дряхлых и жестоких, но молодившихся людей. Эти старцы были своеобразным символом слабевшего, но жестокого николаевского режима. Они не хотели уходить из политической жизни, как бы не желая верить, что они старики. Они глушили и уничтожали все молодое во всех пороках жизни.

Но Муравьев не испугался. Он знал этих людей и, хотя пользовался их покровительством, знал и то, что

есть другие люди, которые могут стать на их место. За годы жизни в Сибири он привык к самостоятельности. Он почувствовал свою силу, умение действовать и держался тут как равный с равными.

— Экспедиция, посланная на Амур, — говорил он на комитете, — доказала нам, что там нет никого, кроме гиляков! Офицер, отправленный мной, основал там, согласно высочайшему повелению, пост в заливе Счастья. Обстоятельства были таковы, что он вошел в реку и там поставил пост, который мы можем снять или оставить. Но он должен был так поступить, так как английские охотничьи суда подошли к устью... Из этих же причин он оставил объявления иностранцам о принадлежности края России! Прошло полгода. Если бы земля там была нерусская, так были бы протесты. Но их нет. Капитан привез с собой на судне гиляков, которые объявили в Аяне, что они независимы, никогда не платили дани маньчжурам. Они желают, чтобы русские жили у них. Их просьба записана в присутствии губернатора Камчатской области контр-адмирала Завойко, и подлинность ее подтверждена также присутствовавшим в это время в Аяне преосвященным Иннокентием, нашим знаменитым миссионером, который удостоил гиляцкую депутацию вниманием и беседовал с ними. Вопросы его преосвященства, равно как и ответы гиляков, я имел честь представить комитету с остальными документами. Из них явствует совершенная подлинность всего того, что представляет нам о своих исследованиях в земле гиляков капитан первого ранга Невельской. Вот действия капитана, которыми он стремился удержать ту страну для России. Эти документы не могут не рассеять недоверие, оказанное ему и его открытию.

— Эти свидетели из гиляков, на которых вы ссылаетесь, — сказал с места тучный Сепявин, вскидывая густые черные брови, — так же не заслуживают доверия, как и сам Невельской.

— Это все дело ваших рук! — раздраженно заговорил министр финансов Вронченко. — Да как это подчиненный вам офицер смел оставить такое объявление самовольно! Вы и должны ответить за его действия.

— Его действия согласны с моими намерениями! — спокойно ответил Муравьев. Он объявил, что все действия Невельской совершил с его ведома. Он шел на риск, инстинктом угадывая, что это вернейший ход.

— Вы памятник себе хотите воздвигнуть! — грубо крикнул Муравьеву военный министр граф Чернышев. Тут Муравьев вспыхнул...

— А этого офицера, господа... — заговорил Вронченко.

— Разжаловать! — поджимая губы, вымолвил Берг, глядя вдаль черными колючими глазами, в которых было опьянение собственным величием.

— Разжаловать! Разжаловать! — раздались голоса.

— Под красную шапку!

— За такие поступки мало разжаловать, — заговорил Сенявин.

— Рас-стрелять! — резко отчеканил Чернышев.

— Господа... — пробовал возражать Меншиков.

— Разжаловать! Разжаловать! — глядя на Меншикова и кивая головой в знак согласия, перебил Нессельроде голосом, в котором чувствовалась любезность к Меншикову и смертельный холод к судьбе офицера.

— Разжаловать! Разжаловать! — заговорили сидевшие по всей комнате в разных позах старики в лентах и орденах.

— Ведь это вторично, господа! Вторично!

— Какое слушание!

— Да это измена! Ведь его предупреждали!

— Да это что! За ним похуже проделки известны! Он с Петрашевским был знаком. Все один дух! — заговорил Берг, обращаясь к соседям.

— Кяхтинский торг закроется!

— Нельзя, господа, акции торговой Компании ценить дороже всей Сибири, — насмешливо проговорил Меншиков, намекая, что присутствующие тут были пайщиками Компании и участниками прибылей кяхтинского торга. Сам он тоже пайщик...

Муравьев не сдавался. Он встал и заговорил. Он быстро овладел общим вниманием. И чем больше он говорил, тем очевидней было, что он прав, что ум его ясен, что приходит конец старым понятиям о Сибири и о кяхтинском торге, что настало время выйти на Восток, к океану, заводить флот на Тихом океане, общаться с миром, и с тем большей ненавистью эти старики слушали Муравьева, что им нечего было возразить.

Комитет решил Николаевский пост снять, Невельского за самовольные действия, противные воле государя,

лишить всех прав состояния, чинов и орденов и разжаловать в матросы.

Довольный Нессельроде вышел, сопровождаемый секретарями и Сенявиным.

Вельможи стали расходиться, оживленно разговаривая в предвкушении поездки домой и обеда. Вид у всех был таков, что славно потрудились и теперь можно подумать о себе.

В тот же день Нессельроде пригласил к себе Сенявина с журналом комитета, сам все прочитал и чуть заметно улыбнулся.

Сенявин зпал, что означает эта легкая саркастическая улыбка. Перовский и Меншиков вынуждены смолкнуть, Муравьев получил пощечину. Это была не только победа над противной партией. Это победа определенного принципа в политике.

— Не касаться Востока! — всегда говорил Нессельроде. — Как только мы коснемся Востока, мы потеряем своих союзников на Западе, так как европейские державы ведут на Востоке колониальную политику...

Поэтому не только вражда к не «немецкой», к «русской», партии заставляла его желать уничтожения Невельского. Эти чиновничьи «партии» иногда назывались «немецкой» и «русской», но у «немцев» были свои русские, а у «русских» свои «немцы», и различия по сути дела не было.

Действия на Амуре, если их признать, были бы первой ласточкой, началом новой политики на Востоке, а за ними начались бы другие действия, а это означало решительный поворот к совершенно неизвестной и страшной для Нессельроде сфере жизни, которая была столь нова и далека, что казалась ему чем-то вроде полета на луну. Для Нессельроде традиции дипломатической жизни в Европе конца XVIII и начала XIX столетия, изученные им в топкостях, были вершиной вершин человеческой мудрости.

Муравьев сидел крепко под охраной Перовского. Для начала надо было разжаловать посланного им чиновника особых поручений. А с Муравьевым и его покровителями пока сделать вид, что согласен на компромисс.

И в то же время Нессельроде очень боялся, что взгляд Муравьева дойдет до царя. Государь может потребовать действий «там». А «там» еще не было ни свя-

ценных, ни тройственных союзов. Где не было традиций, где чужой ум нельзя было выдать за свой, канцлер был бессилён.

Нессельроде подал журнал Сенявину и велел сделать дополнение после слов «комитет постановил: капитана Невельского за допущенные им самовольные и преступные действия, противные воле государя, разжаловать в матросы с лишением всех прав»... Он закусил губу, прищурился. Глаза его поднялись на плафон и сверкнули злым огоньком.

— Напишите так, — велел он: — «Генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев, приглашенный в комитет, с этим постановлением вполне согласился». Отправьте журнал к Муравьеву с надежным человеком, дайте ему подписать... Пусть скажет, что только подписать, что это пустая формальность и больше ничего... А офицерику надо примерно проучить. Пусть отправляется в Сибирь, да пешком и под конвоем, а не для исследований. Опасный человек, которому верить не следовало бы первым сановникам империи. Пусть курьером поедет Иван Иванович Савченков. Да пригласите его ко мне, я сам ему объясню...

Возвратившись домой, Муравьев немедленно послал за Невельским.

— Как ты задержался! — сказала мужу Екатерина Николаевна.

Вскоре вошел капитан. Он все так же прекрасен и свеж.

— Геннадий Иванович, дорогой мой! — заговорил Муравьев и, скидывая руки, быстро пошел ему навстречу и обнял моряка.

— Я с заседания комитета, Геннадий Иванович, не падайте духом... Постановили вас разжаловать... Но даю руку на отсечение, этому не бывать!

Муравьев стал рассказывать.

«Разжалован! — подумал Невельской. Казалось, он давно готов был к этому известию, но сейчас сердце его дрогнуло. — Но еще государь должен утвердить... Матери страшный удар...» — мелькали мысли. Ему стало стыдно и больно, как он до сих пор не подумал об этом.

Ехал через Сибирь, о матери вспоминал, думал о ней не раз и здесь, но не подумал о главном, — каково будет ей, если его разжалуют.

«Разжалован!.. Все кончено... Вряд ли государь помилует. Он начал с виселиц...» — думал он, устремляя взгляд в сторону, куда-то мимо Муравьева и Екатерины Николаевны.

«Разжалован!» — четко и ясно, как эхо, повторялось у него внутри. Он вспомнил историю многих разжалованных и ссылок. Вспомнил, как погиб разжалованный за стихи офицер Полежаев. «Ну что же, — подумал он, — и я надену матросскую куртку и буду на корабле... Я на мачту взбегаю и креплю не хуже марсовых...»

После трех лет непрерывного нечеловеческого напряжения и чуть ли ни ежедневного ожидания кары, он, казалось, даже успокоился, словно наконец дождался желаемого. «Каждый, увидя меня, скажет: вот офицер, совершивший открытие Амура и занявший его устье, теперь он матрос! И Екатерина Ивановна узнает обо мне... Может быть, она пожалсет».

Часто человек видит себя глазами других и от этого особенно чувствует свое горе.

«Однако, как я смею смириться: Амур ведь занят, там матросы, пост Николаевский поставлен, там Орлов, Позь, гиляки ждут». Все это был реальный, созданный им большой мир. «Этак и матросов запорют потом! Надо действовать, идти дальше, туда, где южные гавани, видеть всю реку, занять Де-Кастри, заводить торговлю с маньчжурами. А тут игра в разжалование! Они сидят при своих государственных бумагах и из-за них ничего не видят на свете! Но разве можно слушать этих невежд? Нельзя ни на один миг примириться с разжалованием! Что они знают, кроме своего местничества, да балов, да обедов? Нельзя замкнуться из-за этой завали, проклясть в душе своей все, даже родину предать и примириться со своим крушением, спрятать голову под крыло в горькой обиде и приготовиться, надев матросскую куртку, к гибели, как умирающая птица. Отчего бы? Что ничтожества так присудили? Нет, шалишь, какое мне дело до вас, подлецов, у меня свой мир. Что угодно, но добиваться своего...» Он сидел, опустив руки. Глаза его разгорелись. В его душе снова началась работа.

Муравьев говорил, что теперь он подымет весь Петербург, что сделает все возможное и невозможное.

— Я дойду до государя. Они нанесли мне тягчайшее оскорбление. Я нажму на все педали! Найдет коса на камень! Вот вам моя рука, Геннадий Иванович, вашему разжалованию не бывать. Государь не утвердит! Они винат вас в измене! Перовский поедет завтра к государю и будет просить для меня аудиенции. Министр двора князь Петр Волконский обещал помочь со своей стороны. Вот и пригодились мои Волконские!

Но капитану опять пришли на ум разжалования, про которые прежде слышал. Вспомнились Лермонтов, Шевченко, петрашевцы, разговоры о том, что затравили Пушкина. Как надеяться, что царь разжалования не утвердит?

Бутаков рассказывал в прошлом году про Шевченко, который работал у него в экспедиции на Аральском море. Шевченко преследовали. Когда он служил в крепости, не позволяли писать и рисовать. И Бутакова обвинили в том, что он дал ему возможность жить по-человечески, лишили Алексея за это Константиновской медали. «Меня станут преследовать и в матросах».

«Но я и в матросах молчать не буду!» — сразу же подумал он.

Ему опять представилось ясно, что все это чушь, заблуждение, не могут его разжаловать. «Как это я буду матросом? А мои карты, а ученые, сочувствующие мне, а мои офицеры, а Константин, Литке, адмиралы? Да ведь я решил самый важный вопрос в жизни русского флота, а меня после этого разжалуют? Этого быть не может. Это лишь отзвук, лай собачий на мое открытие, это все схлынет, и всем станет очевидно...»

Он чувствовал: его слушание — ничто по сравнению с тем, что добыто для России ценой этого слушания.

Глава двадцать седьмая

ВОСПОМИНАНИЯ

Утром капитан пошел отвести душу к дяде Куприянову. Идя пешком по набережной Невы, он встретил колонну матросов и подумал, что если разжалуют, то теперь придется ходить в задних рядах. Когда увидел здание корпуса, почувствовал, что его вид трогает сердце.

Вспомнилось, как впервые приехал в Петербург.

Он вырос в деревне Дракино, в Солигаличском уезде, Костромской губернии, в родовой усадьбе Невельских, старых костромских дворян. В тех местах природа дышит севером, северные леса из огромных берез и елей, обступая пахотные земли и луга, пошли от села во все стороны — на восток и на север, протянулись к Уралу и в Сибирь, к Белому морю, к Северному океану.

Костромские дворяне исстари считали себя солью земли русской. Они гордились тем, что из их среды избран был на царство Михаил Романов. И хотя Романовы не были коренными костромскими, но здесь считали царя и его семью своими земляками. В костромские леса на охоту и до сих пор наезжали члены царской фамилии. В тех местах жили воспоминаниями о подвиге Ивана Сусанина и учили детей не щадить себя ради государя. Здесь все было как бы живой старинной, древней вотчиной Романовых.

И вот тут-то, в этой стране лесов, монастырей и преданий, в семье помещика, проникнутого верой в костромские традиции, и рос бойкий, живой и любознательный мальчишка. Конечно, и он слышался с самых ранних лет, что Кострома — отчина государева рода и что прадед его Невельской спас царя Алексея Михайловича, и он мечтал погибнуть за царя, пожертвовать своей жизнью, быть офицером и сражаться с врагами России.

Будущего капитана приучали терпеливо выстаивать длинные службы в монастырях и соборах.

Кострома — город древних преданий и веры. По окрестностям — скиты, над дремучими еловыми и березовыми лесами золотятся кресты монастырей и церкви смотрятся в холодные зеркала лесных озер.

А мальчик начитался Купера, Тернера и, стоя с садовой игрушечной трубой на балконе помещичьего дома и прикладывая ее к глазам, всматривался в даль, воображая себя вблизи берегов Америки, и разыскивал пиратов. Желание совершить подвиг, как Сусанин, смешалось в его душе с желанием путешествовать по морям и океанам и совершать великие открытия, участвовать в великих морских битвах и командовать флотом, подобно великим адмиралам и мореплавателям.

Но он нигде не был и никуда не ездил, кроме как в губернский город Кострому, — этот бледный маленький

мальчик с рябинками. Бывая в соседнем именье у дяди, он зачитывался его книгами. Дядя прочил ему великую будущность. Мальчик играл с окающими, упрямыми маленькими костромичами, такими же серьезными, как и их северяне-отцы. А он был забавен, рассудителен не по годам, красноречив и остроумен, и, бывало, получал подзатыльники от отца за то, что лез в разговоры взрослых и не раз пытался опровергать их взгляды.

Дядя Полозов очень любил Геннадия. В его библиотеке и начитался мальчик о Востоке. На пруду в лодке совершил свое первое плавание будущий моряк. У дяди жил крепостной, бывший матрос, с ним Геннадий плавал в лодке, на него смотрел, как на божество, без конца слушал рассказы про разные страны.

Из дядиных книг и бумаг узнал Геннадий, что его земляки и соседи — сольвычегодцы, устюжапе, солигаличцы — в старицу ходили в Сибирь, дарили целые области царю, доходили до самого Амура, выходили на море и на Великий океан, и что они строили на Амуре города и остроги, выходили к Ламскому¹ морю, что казаки прошли задолго до Беринга между Азией и Америкой.

Это было страшно интересно! Особенно интересно, как утверждал дядя, на юге побережья Сибири — не там, где льды и холод, а где должно быть тепло. А Геннадий уж начитался про теплые страны. Как настоящий северянин, выросший среди суровой природы и не страшившийся стужи, он мечтал о юге, о теплой стороне, о других лесах и морях, о кокосовых рощах и коралловых рифах. Он смотрел на параллели и твердил, что на Амуре должно быть тепло. Потом в Петербурге он узнал, что про Амур собирал сведения Петр Великий.

Мальчику исполнилось одиннадцать лет, когда, после смерти отца, привезли его из Костромы в столицу отдавать в морские классы.

Вот он едет по Английской набережной и с замирающим сердцем смотрит на очистившуюся ото льда Неву, на корабли с флагами, на здания на другом берегу. Тетка рассказывает, кому принадлежат великолепные особняки, мимо которых катится экипаж. Геннадий пропускает ее слова мимо ушей, но вдруг он слышит имена известнейших лиц, о которых давно узнал он у дяди Полозова.

¹ Старинное название Охотского моря. (Прим. автора.)

Он оборачивается на дом Головнина. «Неужели здесь он живет? Сам Головнин Василий Михайлович,— думает он с благоговением,— тот, что был в Японии, плавал к Курильским островам!»

Переехали по мосту на Васильевский остров. Вот тут, совсем близко, стоят громадные суда, и пушки видны на палубах, матросы возятся с парусами и канатами, прохаживаются офицеры в киверах. И дальше опять стоят суда, то с парусами на реях, то с голыми мачтами. Встретились мальчики в морской форме. Это кадеты. Где-то играет горн, бьют склянки. Прошел небольшой отряд матросов в грязной рабочей одежде. Не сон ли это? Так вот она, морская жизнь!

Медь пушек сверкает на солнце, и всюду корабли. Вдали суда под парусами идут от устья вверх. «Теперь бы только в море!» — думает Геннадий.

А море где-то близко. Как жаль, что его не видно! Но оно тут, теперь уж недалеко, он увидит скоро то, о чем мечтал всю жизнь. В Кинешме, когда туда переехали, на Волге, катаясь на лодке, он воображал себя на море.

— Там море? — спрашивает он у тетки, показывая вдаль.

Мальчик думал не о разлуке со своим, не о том, что сейчас войдет он по тяжелым каменным ступеням в большое здание с колоннадой, чтобы потом долго не выходить из него. Он с жадностью смотрел на огромные ржавые якоря, на цепи, слушал с замиранием сердца свистки боцманских дудок.

На другой стороне реки, там, где Исаакий, левей, в утреннем тумане, залитом солнцем, громоздятся узкие эллинги, а позади них, как золотое,— Адмиралтейство со своим сверкающим шпилем. Это был сверкающий позолотой город, город моря, выход в мир, куда мальчик так стремился. Он блаженствовал и упивался впечатлениями. Тут все напоминало об истории Петра, которой он когда-то зачитывался.

...Он услышал рассказы, как однажды зимой окна корпуса зазвенели от пушечной пальбы на другой стороне реки. Это не были салюты и день был не царский, но выстрелы раздавались один за другим. Рано утром отряды матросов со штыками прошли зачем-то во главе с офицерами мимо корпуса, направляясь на ту сторону Невы в глубь тумана.

Пальба усиливалась. Шепотом передавали известия, что гвардия и флот восстали против царя и объявили республику.

Невельской был изумлен. Оказалось, что многие его любимцы тоже были против царя. Говорят, что кадеты бегали на улицу. Из-за реки доносились громкие крики. Потом снова началась пальба и появились толпы бегущих. Восстание было подавлено. Несколько учителей корпуса — путешественники, герои войны с Наполеоном — были арестованы. «Почему они пошли против царя?» — думал мальчик. Он слышал однажды разговор двух офицеров, что все лучшие офицеры флота заключены в тюрьму и сосланы и что даже покойный Василий Головин причастен был к заговору: он хотел взорвать царя вместе с собой, пригласив его на судно.

Иногда приходилось слышать обрывки разговоров, что не так бралось... Но пока что мальчик недоумевал: как же, почему эти умные и блестящие офицеры, герои Отечественной войны, награжденные чинами и орденами, восстали против царя? Это был его первый шаг от костромских традиций, его первое, но глубокое сомнение.

Маленький костромич не замечал, чтобы эти вопросы тревожили его сверстников по корпусу, и удивлялся. Когда он попытался поговорить с кадетами о причинах восстания, его подняли на смех.

Кадеты дрались, матерились, играли в чехарду. Любимым местом их сборищ было отхожее место, где у топившейся печки можно было покурить, в то время как один из товарищей стоял па страже, поглядывая, не идет ли воспитатель. Их любимым занятием были скачки верхом на плечах младших товарищей, которых насильно принуждали возить.

В морском корпусе начинался развал. Кадеты ходили по соседним складам, воровали дрова, чтобы топить дортуары. Учителей не хватало. Но зато каждый день кого-нибудь пороли.

Царь Николай Павлович узнал, что в морском корпусе дела идут из рук вон плохо. Он желал иметь хороший флот и отличных морских офицеров. Чтобы исправить положение, царь назначил директором корпуса знаменитого мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна.

Геннадий был в восторге.

— У нас будет К-крузенштерн! — заикаясь, говорил он товарищам.— Да знаете ли вы, что такое К-крузенштерн?

При новом директоре порядки переменялись. Кадетов перестали пороть, появились дрова, пригласили учителей, занятия стали проходить регулярно, и диким нравам морских кадетов Иван Федорович объявил войну. Введены были новые предметы: химия, физика, геометрия, корабельная архитектура. Вскоре для каждого класса построено было по учебному судну.

И вот Невельской идет в море... Вот и заветный поворот... Но и на этот раз мальчика ждало горькое разочарование. И справа и слева видны берега. А впереди со своими крепостями залег среди моря Кронштадт. Кругом мелко, видна трава, тростники, пески...

«Какое это море! — думает Геннадий.— Это как болото в Дракино... Как Волга в разлив... Волн нет!» — Он желал бы видеть большие волны.

— Это Маркизова лужа, а не море! — говорили старшие кадеты и объясняли, что был француз, маркиз, который командовал флотом, при нем русский флот плавал между Петербургом и Кронштадтом.

Геннадий бывал в Кронштадте и в Ораниенбауме, который матросы называли Рамбовом, в Петергофе, где с ним выходил царь и заставлял взбираться по знаменитым каскадам против падающих потоков воды.

Но вот он стал старше и пошел в большое плавание. До Кронштадта видны оба берега, и видны близко. А за Кронштадтом расстилалось море. Судно пошло в глубь его. Когда заревел шторм и волны начали валить корабль, сердце Геннадия затрепетало от счастья. И особенно обрадовался он, когда не стало видно берегов. Шторм крепчал, а он ходил сияющий, когда его товарищи, лихие ездоки на плечах друг у друга, стоя у борта, смертельно бледные, «травили баланду».

Зимами Невельской усиленно занимался. Он стал одним из лучших учеников корпуса. Когда преподаватель физики рассказывал про Архимеда, кто-то из кадетов крикнул: «У нас есть свой Архимед — Невельской!»

С тех пор товарищи стали звать его Архимедом.

Прочитав однажды книгу своего директора Крузенштерна, Невельской стал пересказывать ее содержание сверстникам. Он всюду расхваливал ее так, что всем надо-

ел. Со временем книгу стали читать и другие кадеты. Правда, Невельскому было очень досадно, что Крузенштерн не вошел в Амур, о котором он слышал еще от дяди.

Вскоре все узнали содержание книги Ивана Федоровича. И вот Невельской, который долго ходил как околдованный этой книгой, вдруг однажды сказал:

— Как жаль, что Крузенштерн не вошел в устье Амура!

— Вычитал! — удивлялись кадеты. — Архимед дочитался!

Раздался хохот.

— Да, он совершил ошибку! — объявил Архимед.

Кадеты уважали и любили приветливого и справедливого Ивана Федоровича, знали, что он великий путешественник. Крузенштерн любил Невельского, ласкал его, приглашал к себе. Все удивились, что Невельской выказал такую неблагодарность всеобщему любимцу.

Но Невельской и сам был ужасно огорчен своим открытием и ходил сумрачный.

— Что с тобой, Архимед? — спрашивали товарищи.

— Я не понимаю, как Иван Федорович не поинтересовался самым главным...

— А что было самым главным? — насмешливо спросил веснушчатый курносый кадет.

Невельской изучил не только Крузенштерна. Увлекался его путешествием, он перечитал теперь все, что было в литературе о тех местах, где плавал Иван Федорович.

Но еще впервые открыв эту книгу, он с волнением читал те страницы, где Крузенштерн подходил со своей экспедицией к русским берегам. Ведь это были те берега, среди которых протекал Амур, по этой реке плавал Хабаров, устюжане, сольвычегодцы. Это напомнило родное Дракино, рассказы дяди Полозова, его библиотеку с картой, портреты Петра Великого и знаменитых путешественников-адмиралов, висевшие в его кабинете.

— Да тебе какое дело?! — смеялись кадеты. — Иван Федоровича учить собираешься?

И кадеты опять подымали Невельского на смех.

— Ты сам же книгу хвалил!

Невельской прочел много книг и много передумал. Балтийское море стало казаться ему таким же тесным, как Маркизова лужа в первое плавание. Отойдешь от Ревеля, и через несколько часов при попутном ветре с

салпинга виден финский берег. Он мечтал идти в океан. Он еще тогда думал, что России нужен океанский простор, мало стоять на Балтийском море такой великой стране, что Петр разрешил проблему своего времени, а нынче иные условия и новые задачи перед флотом. Он снова стал изучать историю Петра, и все мысли Петра о значении морских путей для России стали ясны ему совсем по-другому, не так, как в детстве.

Невельской поражался, как можно мириться с тем, что есть; почему никто не понимает, какое это великое значение может иметь, если Россия займет Амур, и как ложно понятие об этой реке, господствующее среди моряков и ученых. Ведь там теплая страна. Она была русской. Мы забыли о ней. Почему же мы не стремимся ее возвратить? Это должно быть общим желанием!

— Это ужас, ужас, что никто не понимает этого!

— А ты понимаешь? — спрашивали товарищи.

— Понимаю! — задорно говорил Архимед.

Над ним потешались.

Потом он прикусил язык. После того как один из учителей заметил ему, что не его дело возбуждать политические вопросы и что если он хочет стать хорошим моряком и офицером, то должен слушаться, исполнять и быть готовым умереть за царя, когда будет велено, что за это и дается ему мундир, честь которого должна составлять его главную заботу в жизни.

«Нет,— думал Невельской,— моряк должен путешествовать».

Он затаил свои мысли. Все чаще и чаще думал он о том, что сам должен совершить открытие. Но уже все было открыто, нечего больше открывать на земном шаре, остались лишь северные льды. Но он искал неоткрытых земель и нерешенных вопросов.

— О чем ты думаешь? — спрашивали его, когда он задумчиво стоял у карты.

— Все уже открыто, нам нечего больше открывать! — отвечал маленький кадет.

Выйдя из корпуса, Невельской подавал в министерство несколько докладных о том, что на Востоке следует произвести исследования. Но все его записки оставались без ответа.

На экзамене при выпуске из офицерского класса на ответы Невельского обратил внимание граф Гейден.

Впоследствии он и предложил молодому офицеру службу на судне, где воспитывался великий князь Константин.

Со временем Невельской сблизился с Лутковским, зятем Головнина и братом одного из знатоков Востока. Он вошел в круг старых моряков, и их рассказы о крайнем Востоке России и о значении Тихого океана в будущем произвели на него сильное впечатление.

Он плавал в Белом, Немецком и Средиземном морях, читал все, что было написано по морским вопросам на русском, английском и французском языках. Заграничные плаванья расширили его мир. И чем больше препятствий встречал он, тем резче судил о порядках во флоте и тем ясней сознавал, что правы были декабристы, о которых он много слышал с тех пор, как приехал в Петербург. Он стал подозревать, что в России сама власть опасается развития и просвещения.

Так с детства он стремился к морю и, поступив в корпус, получил к нему доступ. Изучая морские науки, он пришел к заключению, что в России сильна бюрократия, что Россия темна, задавлена произволом. На его благородные порывы никто не обращал внимания. И вот он, всю жизнь стремившийся к морю, обращает свой взор на далекую окраину Азиатского материка, изучает историю сухопутной области, направления ее хребтов, этнографию, пригодность тех земель для заселения, а потом изучает экономику вообще, изучает влияние экономической жизни на общество, обращается к социальным наукам, ищет книги на разных языках о социализме. Он сблизился с бывшим морским офицером, который увлечен социалистическими идеями, и с его товарищами, советуя новому приятелю брать место в архиве и через него узнает содержание нигде не опубликованных документов, в которых высказаны мысли о значении Амура для России.

Он встречает друга своего детства Полозова, который мечтает о революции. Он узнает от социалистов о грандиозном значении Сибири и о будущих связях ее с Востоком и еще более убеждается в справедливости замысла.

Итак, придя на море и, казалось бы, осуществив свою мечту, он не удовлетворен тем, что стоит на мостике и командует.

Он путешествует в Алжир с Константином и думает там о Сибири. Увидев европейские колонии, он подумал, что прежде всего нужна гуманность в отношениях с народами Востока, а не разбой и не насилие...

И вот теперь смотрит он на Неву и на корабли во льдах и с болью вспоминает, с какой светлой надеждой проезжал он по этой набережной, впервые явившись в Петербург, и как он мечтал совершить открытия. Тут, на этих берегах, окрепли его мечты, тут прошли молодые годы...

Муравьев был прав: власть монарха у нас все. Один лишь человек есть у нас в целом государстве, только он может решить любое дело. Строить, например, госпиталь на Камчатке без него нельзя. Десять лет ждали повеления...

Невельской в этот день побывал и у дяди Куприянова, потом в Географическом обществе, узнавал, не придет ли Литке. Он искал Алешу Бутакова. Предстояло явиться к Константину.

Он вернулся в гостиницу. Там сновали половые, двери сами отворялись, кучера подвозили господ, швейцары кланялись. А у правительственных зданий всюду стояли часовые. «Какое тут изобилие людей услуживающих! А на Амуре у меня нет людей, не хватает. Здесь вдвоем подают тарелку, один несет, другой шествует за ним». Невельской начинал ненавидеть всю здешнюю жизнь и этот город...

В тот же день он был на обеде у Муравьевых. Собрались многочисленные гости. Во время обеда в гостиницу явился курьер из Министерства иностранных дел. Муравьев вышел к нему.

Курьер вынул из сумки бумагу. Это был журнал, то есть протокол заседания особого Амурского комитета.

— Его превосходительство Лев Григорьевич Сенявин просил вас подписать. Больше ничего не нужно... Только подписать,— сказал курьер. Он очень торопился, просил как можно скорей...

Чиновник был пожилой, с красным носом. Разворачивая журнал так, что перед губернатором была страница с окончанием текста и с подписями, он сказал:

— Уже всеми подписано... Просили скорей...

Муравьев осторожно взял журнал из рук чиновника, а его попросил присесть. Екатерина Николаевна налила

чиновнику чашку чаю и спросила, крепчает ли мороз, а Муравьев с журналом прошел в соседнюю комнату.

— Какая подлость! — воскликнул он, прочитав решение комитета. — Я так и знал: недаром он торопится!

«Николаевский пост снять, капитана 2-го ранга Невельского разжаловать в матросы и лишить всех прав состояния, — читал он. — Губернатор Восточной Сибири генерал-лейтенант Муравьев, будучи приглашенным в комитет, со всем этим вполне согласился...»

«Э-э! Нессельроде идет на подлость! Но не тут-то было... Прав Невельской — подлец наш канцлер!» — подумал Муравьев.

Он улыбнулся, присел и в целую страницу написал особое мнение, не оставляя, как ему казалось, камня на камне от решения комитета.

— Геннадий Иванович! — позвал он Невельского, когда курьер, чем-то расстроенный, уехал.

Муравьев рассказал обо всем, что произошло.

— Они идут на подлость. Этот журнал завтра, а может быть, сегодня представят государю, и он все прочтет. Они боялись сказать государю мое мнение, но напрасно. Я не из тех, кто подписывает, не читая.

Муравьев чувствовал, что дал первое сражение.

Гости разъехались, и губернатор долго беседовал с капитаном.

— Без Амура нет будущего у России! Но, клянусь, Амур ничей! Николай Николаевич, вы-то верьте!

— Надо пугать, пугать министров, пугать их! Будете сегодня у великого князя — действуйте в этом духе!

— Николай Николаевич! — воскликнул Невельской. — Но зачем нам слишком увлекаться хитростями? Правда, мы не можем жить без Амура! Он был наш и должен быть нашим. Да разве на подходе к устьям не было иностранных судов? Истина! Доводы, конечно, всегда спорны... Но что я представлял в рапорте — истина! Как бог свят!

Между прочим помянули, что Литке услан в Ревель и на его место в Географическое общество сел генерал Муравьев.

— Конечно, мой милый кузен Михаил Николаевич знает географию не как Митрофанушка, но вроде этого. Он командовал в походах и ехал на коне впереди колонны, видел карты местности — вот и все его познания в географии...

Перовский испросил у государя аудиенцию для генерал-губернатора.

Тусклым петербургским утром Муравьев явился во дворец. Царь принял его наверху, стоя у стола в большом кабинете с окнами к Адмиралтейству, перед которыми были площадь для развода караулов.

— Ваше величество! — говорил Муравьев. — Сибири грозит катастрофа. Я не смею молчать перед лицом моего государя... Комитет министров решил...

Муравьев стал сжато, но обстоятельно излагать суть дела, положение России на Востоке в случае войны с Западом, сказал о нуждах Камчатки.

— Что же ты находишь нужным предпринять, Муравьев?

— Я нижайше прошу ваше величество утвердить закрытие устьев Амура, это даст нам возможность возвратить его. Тогда ни одно судно иностранцев не поднимется до Сибири. Заткнуть наглухо морской крепостью устье.

— Но это не оскорбит китайцев? Между нами был вечный мир, и я не желал бы нарушать его никогда.

— Ваше величество, опасность от иностранцев грозит и Китаю, и Восточной Сибири, равновесие нарушено. — Он развил свой взгляд и опять вернулся к Амуру. — Я прошу ваше величество на первых порах оставить Николаевский пост, хотя бы в виде брацтвахты, не запиная мест на самом берегу.

— Кто был послан тобой на устье Амура?

— Мною послан был туда капитан первого ранга Невельской.

— Говорят, он неблагонадежен. Как ты смеешь посылать для осуществления своих замыслов неблагонадежного человека?

— Он отличный моряк, и он понял мои намерения превосходно. Он занял устье, хотя это ему было формально запрещено, и объявил иностранцам, что край принадлежит России.

— Что земля до Кореи принадлежит России?

Царь знал уже обо всем.

— Да, ваше величество! К устью подошли в этом году иностранные описные суда, и перед лицом смертельной опасности, грозящей Сибири, Невельской осмелился действовать так, не имея формального разрешения.

— Ты сказал, что он превосходно понял твои намерения? Что это значит? Он сам осмелился или ты ему приказал?

Мысли Муравьева были быстры и отчетливы. Нависла грозная опасность. Он знал, что царь не терпит уверток и петочностей. Ответы должны быть ясны и тверды.

— Не зная обстановку на месте, я не мог, ваше величество, дать ему такого приказа. Я болел, когда он уезжал, но наш взгляд был един. Я сказал ему, чтобы он действовал, как пойдет нужным, не был связан никакими формальностями, исходя лишь из чувства преданности вашему величеству, из славы и чести России. Испрашивать позволение было поздно. Да при том противодействии, которое есть этому делу, такое обращение с просьбой о разрешении было бы губительно. Он вошел в Амур и поднял там русский флаг, заняв там пост, назвал его именем вашего величества. Он сделал больше чем в силах человека, он совершил то, что составит славу эпохи... И положил голову на плаху, как слушник в ожидании милости вашего величества... И рядом с ней я покорнейше склоняю перед вашим величеством свою...

Царь был стар, и он видел, что это все очень смело сделано. Давно уж никто из офицеров императора не совершал ничего подобного. И вот Невельской, этот маленький заика, прозванный Архимедом у покойного Крузенштерна... Царь меньше всего ожидал от него, да еще на краю света!..

— Ты полагаешь, не правы те, кто утверждает, что он неблагонадежен?

— Ваше величество, я ручаюсь за Невельского, как за самого себя, — картинно вскинув голову, воскликнул Муравьев.

— А что же совершил он там еще? — спросил царь.

— Он объявил маньчжурам, что Россия по Нерчинскому договору считает неразграниченную землю гиляков своей и что великий государь России принимает их под свое покровительство... Гиляки сами просили его об этом.

— Ты просишь оставить браундвахту?

— Да, ваше величество.

Николай — сторонник строжайших формальностей, а офицер действовал самовольно, но ради чести и славы России.

— Невельской поступил благородно, молодецки и патристически! — сказал государь и сел к столу.

Дежурный генерал, угадывавший его желания, развернул журнал гилляцкого комитета.

Сидя прямо, как на коне, царь написал на журнале: «Комитету собраться снова под председательством наследника великого князя Александра Николаевича».

Оба сына, Александр и Константин, говорили с ним об этих событиях.

Генерал принял журнал. Николай встал.

— Где однажды поднят русский флаг, он уж спускаться не должен, — сказал он.

Муравьев почтительно склонил голову.

Царь был одним из тех людей, которые не боятся чужой боли и страдавший, как бы ужасны они ни были. Его родной брат Константин, покровитель палочной дисциплины и мордобоя, как и сам Николай, когда-то говорил: забей солдата насмерть (имелось в виду забить шпигунами или замучить службой) и поставь двух на его место — будет и шаг и выправка у обоих. Это говорилось без особого зла, считалось хорошим способом воспитания в армии.

Когда же царь и брат его Константин впадали в бешенство или просто злились и желали зла другим, опасно было возбудить в них подозрение. Очень строго мог поступить царь с любым ослушавшимся офицером, хотя их, как дворян, не били.

Ослушание Невельского было столь чудовищным, что поначалу царь подумал, нет ли на то тайной причины и не следует ли жестоко наказать офицера.

Про Невельского говорили, что он неблагонадежен.

Но не может же быть, чтобы каждое важное дело в государстве непременно питалось крамолой! А после того как царь вник в дело, после того как о нем говорили сыновья Александр и Константин, оно оказывалось столь важным, что глупо было бы не видеть значения открытия.

Николай решил, что нельзя реку считать революционным средством, как делают Чернышев и Нессельроде. Река есть река, она вне революционных интриг, и поэто-

му открытие ее не может быть «красным» делом, тем более что она была прежде при Алексее Михайловиче под властью Романовых.

Правда, Невельской слишком большую смелость на себя взял. Конечно, форма есть форма и за нарушение ее надо взыскивать. Да, порядок и дисциплина должны быть. Царь решил, что взыщет сам.

Царь помнил этого офицера. Он вообще помнил многих людей, близких двору. Он желал видеть и судить его сам и приказал немедленно доставить Невельского во дворец.

Глава двадцать девятая

НЕВЕЛЬСКОЙ У ЦАРЯ

Взволнованный, капитан в сопровождении офицера поднялся по широкой дворцовой лестнице и прошел мимо громадных гренадеров.

Он не знал, что с Муравьевым. Он шел, ожидая, что сейчас все решится, что сильные руки государя могут сорвать с него погони и он выйдет обратно опозоренный, под взглядами сотен этих величественных, разнаряженных бездельников и живых манекенов, но в то же время таилась надежда, что его могут и помиловать, ведь подпята все хоругви, за него хлопотали Муравьев, Меншиков, Перовский, Петр Волконский и великий князь Константин.

Его провели в маленькую приемную, где занимался флигель-адъютант. Оттуда налево дверь вела в покои наследника — Александра Николаевича.

Капитана ввели в другие двери — направо, в кабинет царя. Он увидел перед собой вставшую из-за стола огромную фигуру, страшную в этот миг. Но лицо царя не было свирепым, как показалось капитану. Он знал, что царь грозен, жесток, знал его роль в разных допросах и выпесении беспощадных приговоров, знал, что ему доставляет удовольствие, когда его страшатся, ему даже льстили хитрецы, делая вид, что пугались его взора.

Николай Павлович всех принимал стоя. Он требовал от всех дисциплины и сам ей подчинялся. Он нахмурился.

— Так это ты сочиняешь экспедиции и изменяешь высочайше утвержденные инструкции? — с гневной иронией произнес он. — Как ты смел послушаться меня? Ведь я запретил тебе появляться на устье Амура?

— В-в-ваш вел... — глядя ясно и чисто, начал капитан.

— Ты матрос! — грубо перебил его царь. — Комитет министров постановил разжаловать тебя!

Николай желал наказать офицера, видеть страх и раскаяние на его лице.

Но взгляд Невельского не дрогнул. Не было на свете никого, кто мог бы разубедить его или отменить его открытие. Он верил себе и готов был ко всему.

— Я согласен с комитетом министров! — грозно повторил царь. — Ты матрос! Говорят, ты убеждаешь всех, что порт, которому я повелел быть на Камчатке, должен быть на Амуре?

Теперь он посмотрел на Невельского, как будто перед ним был не ученый, а ловко пойманный и выданный за уши давно известный всем проказник.

— Но ты... — громко сказал царь и выдержал паузу, испытующе глядя на офицера и ожидая, что его стеклянный, как бы помертвевший взор начнет оживать, — описал устье Амура. За это ты мичман! Подойди сюда! — быстро сказал царь, сверкнув голубыми глазами, и, не давая опомниться офицеру, показал на стол.

Невельской увидел там карту, на ней что-то сверкало. Это была знакомая, вычерченная им самим карта устьев Амура. На самом устье лежал Владимирский крест.

Сердце его болезненно дрогнуло и разжалось, словно отнялась давившая его рука.

— Ты открыл и описал пролив между Сахалином и Татарским берегом, — быстро сказал царь, — и доказал, что Сахалин остров! За это ты лейтенант!

Невельской побледнел. Глаза его горели.

— Ты основал Петровское зимовье! За это ты капитан-лейтенант! — быстро продолжал царь. — Ты вошел в устье реки и действовал благородно, молодецки и патриотически, за это ты капитан второго ранга. Ты поднял русский флаг на устье Амура! За это ты капитан первого ранга, — продолжал царь. — Ты был тверд и решителен, желая утвердить истину науки, за это ты... контр-ад...

Государь поднял руку и сказал медленно:

— Ну, впрочем, контр-адмиралом тебе еще рано!

Царь взял со стола Владимирской крест и, глядя строго и серьезно прямо в глаза офицера, приложил ему к груди. И тут же протянулись чьи-то любезные, услужливые руки и укрепили крест на мундире; оказалось, что присутствуют люди, которых, в страхе или в ярости, капитан до сих пор не видел.

Царь взял Невельского за плечи и, огромный и тяжелый, обдавая каким-то особенным, едва слышным запахом, трижды поцеловал, чуть касаясь губами.

— Больше не смей самовольничать и прекрати там основывать города без моего ведома,— сказал он дружески.

— В-ваше величество!..— воскликнул капитан.

Вся душа его и мозг пришли в движение. Он понял — тут надо высказать все, нельзя было упустить случая. Он желал высказать самому государю несколько важных мыслей, суть которых можно объяснить кратко. И он стал говорить. Он стал излагать все быстро и ясно.

Невельской сказал, что прежде всего надо сохранить Николаевский пост.

— Но Муравьев не просит этого. Он вместо поста желает брандвахту...

— В-ваше величество! Это ош-шибочно...

— Ты полагаешь? Ты хочешь большего? Ведь твой губернатор довольствуется... Что же, ты хочешь учить губернатора? Ты учишь его и меня тоже? Говори дальше...

— Хорошо,— ответил царь, выслушав Невельского.— Николаевский пост не будет снят! Но комитет соберется снова и все обсудит. Да помни,— сказал он,— что сейчас всякие дальнейшие действия в той стране должны быть прекращены!

Царь задал капитану еще несколько вопросов... Невельской отвечал. Он развил свое мнение о значении южных гаваней...

Не раз видел Невельской в царя причину несчастий. Но вот царь протянул ему руку, когда дело чуть не погибло. Царь — действительная и всемогущая сила, и он согласен с занятием Амура.

Невельской вышел, не чувствуя под собой ног. Все поздравляли его. Он получил приглашение на обед к высо-

чайшему столу, и его предупредили, что придется рассказать императрице о путешествии, и примерно сказали, о чем говорить и о чем не надо...

Царь вооружил его. Тысячи самых смелых планов ожили в голове Невельского. Когда он спускался по лестнице, мелькнула мысль, что царь повелел дальше не идти, не сметь касаться никаких бухт! Что это значит? «А как же мне действовать? Ждать, ждать, и так всю жизнь! Но я уйду в леса, в неоткрытые земли и буду там делать, что надо. Кто осмелится препятствовать мне, когда меня поцеловал сам государь?»

Капитан явился в гостиницу. Муравьевы ждали и горячо поздравляли его. Появилось шампанское. Пошли пламенные разговоры о России, народе, государе.

Невельскому показалось, что Николай Николаевич чуть-чуть смущен. Но почему? Недоволен? Но ведь Муравьев просил только брандвахту. А оставлен пост! Капитан подумал: «Разве это надо мне? Приятно, конечно. Но разве суть в этом? Да я напрасно, этого нет и быть не может. Впрочем, он человек, как все!»

Николай, прямой и сильный, но уставший, со старческой шеей в морщинах, сидел в кресле около бюста Бенкендорфа и беседовал с сыном о делах на крайнем Востоке. Разговор происходил в рабочем кабинете царя, в нижнем этаже.

У государя мягкие золотистые вьющиеся усы и золотистый пушок бакенбардов на дрябловатой, но до свежести выхоленной коже, мешки под голубыми круглыми глазами. Нижние веки провисли, от этого и глаза пучатся, словно от каких-то внутренних мучений; кажется, что царь вглядывается пристально и с напряжением.

Царь не мог позволить того, о чем просил Константин. Он сказал, что пока никакого дальнейшего распространения в той стране производить не следует.

Константин чуть покраснел. У него были свои мечты, он хотел их осуществлять, быть тем, кем желал видеть его весь флот.

Николай полагал: никаких гаваней на Востоке вновь пока не занимать, а «японская» экспедиция, прибыв туда, отправится в новый пост на устье Амура.

Экспедиции идти морем, вокруг света. Посла отправить с русским именем. Теперь, когда открыт Амур и мы прочно встаем на Камчатке, пора завязывать сношения с Японией. Тем более что американцы намеревались снарядить туда же экспедицию.

Невельской, вернувшись после высочайшего обеда, поднялся к себе на третий этаж, увидел свои вещи, разбросанные в ужасающем беспорядке. Вещи напомнили ему, что жизнь его не устроена, что он одинок. Он подумал, что теперь, когда такой успех, еще горше одиночество и сознание, что нелюбим и отвергнут... Надо было съездить к брату, к своим, все рассказать, побыть на людях.

Вечером он выпил с Никанором, сидел у своих допоздна, вернулся в полночь на извозчике, а утром, проснувшись, вспомнил свои вчерашние мысли. Дело было делом, и увлекаться почестями и празднованиями — значило погубить все. Он подумал, что при всем величии и при всей своей власти государь должен был бы поговорить как следует. Правда, он задал несколько вопросов, но государыня гораздо больше расспросила его, чем, казалось бы, милостивый и благорасположенный Николай.

Утром, как это часто бывало, Муравьев вызвал к себе Невельского.

— Письмо из Иркутска на имя жены для передачи вам, — сказал губернатор, с торжественным видом подавая пакет.

Капитан принял его, кажется не ожидая для себя через Екатерину Николаевну ничего особенного. Вдруг он увидал почерк и, хотя никогда не видел руки Екатерины Ивановны, сразу догадался, что пишет она.

— Простите меня, Николай Николаевич, — сказал он и быстро вышел из комнаты.

Через некоторое время он вернулся и сказал, заикаясь:

— Николай Николаевич! Я еду в Иркутск!

Муравьевы уже обо всем догадывались по тому письму, которое получила Екатерина Николаевна от Екатерины Ивановны. Она не сообщала подробностей, но умоляла передать вложенное в конверт письмо Невельскому.

— Бог с вами, Геннадий Иванович! Ничего не решено и не готово. Вы победитель, торжествуйте победу, но и воспользуйтесь ею для дела! А как же сметы и штаты будущей Амурской экспедиции? Вы ее начальник! Я даже не смею разубеждать вас... Подумайте... Окститесь, мой дорогой... Вас, кажется, можно поздравить! — сказал губернатор, подходя ближе. — Не правда ли? Дорогой мой, я сам счастлив не меньше вас, если это так. Но теперь уж она вечно будет любить вас. Верьте ей... Ведь о вас, когда вы уехали, так много было разговоров... И жена не раз, не раз говорила... Я знаю о вашем чувстве. Но вы сами не подозреваете, какая умная, прекрасная девица вас любит. Пишите скорее в Иркутск. И не мучьте ее, и не мучайтесь сами. Я понимаю вас... Но не рвитесь, все будет прекрасно. Да, кстати, Пехтерь подал прошение об увольнении и выехал из Иркутска.

Глава тридцатая

ОТЪЕЗД ИЗ ПЕТЕРБУРГА

Шел 1851 год... Казалось, жизнь входила в свою колею. Утихли волнения на западе, петрашевцы, так взволновавшие общество, были сосланы очень далеко и погибали там на каторге, а их сообщники, Коля Мордвинов и сотни таких же молодых людей, замешанных в деле сорок девятого года, были давно освобождены, к утешению своих саповных родителей. Постепенно со всех их по очереди снимался негласный надзор.

В царские дни и по праздникам гремела музыка и на Дворцовой площади маршировали колонны императорской гвардии, проносились слитным строем сверкающие кавалергарды, кирасиры, уланы, гусары.

Император появлялся всюду — верхом на парадах, в ложе театра, в экипаже на улице. Он был бодр и выглядел лучше, чем когда-нибудь в эти последние тревожные годы.

Казалось, что утихли интриги англичан, что и в проливах и в Греции станет спокойней.

С блеском проходили спектакли итальянской оперы. Французский театр всегда набит битком. Греч, Булгарии были в зените славы. Брюллов дарил публику шедеврами.

Нравственность торжествовала! Религия была прочна, как никогда! Сам государь простаивал длительные службы, подавая этим пример всему обществу.

Правда, где-то на задворках жизни иногда появлялись какие-то рассказы, волновавшие среднее общество: небогатых литераторов, мелкопоместных дворян и разночинцев, каким-то особенным описанием мужицкой жизни, или какой-то художник из офицеров рисовал сатиру на нравы, но это не задевало жизни большого света. Ничто не предвещало стремительно надвигающуюся на Россию страшную грозу. Даже Муравьев, не очень доверявший этому зловещему затишью, хлопотал о разрешении высказать жене в Париж к родным.

На святках в огромном здании морского корпуса был дан бал, на котором присутствовал весь цвет флота. Из громадных цветочных гирлянд во всю ширину одной из стен свиты были надписи: «Невельской» и «Казакевич».

Невельской и Муравьев появились в зале, грянул оркестр, раздались аплодисменты, а потом загремело «ура», потрясшее своды. Все поздравляли Невельского, сожалели, что Казакевич далеко и его нельзя поздравить. Приятели Невельского по службе на судах, однокашники по корпусу были тут. Каждый был счастлив пожать ему руку.

В молодецком «ура», грянувшем в этом старинном зале древнего морского гнезда, чувствовалась такая сила, что казалось, пет на свете ничего равного ей, что России ничто не страшно.

Поздно вечером Невельской и губернатор сидели дома, в гостинице «Бокэн» за бутылкой шампанского.

— Вся наша сила призрачна! — сказал Муравьев.

Невельской помнил Плимут, Портсмут, доки, паровые машины, подъемные шкафы, быстроходные пароходы. Он знал, что сила складывается не из криков «ура» и парадного блеска.

И хотя он был сейчас обласкан царем, обоготворяем товарищами и всем русским флотом, любим той, которая для него была дороже всего на свете, он почувствовал, что Муравьев возбудил его мысли, словно поднес спичку к вороху соломы.

— Мы все лезем в Турцию! — воскликнул капитан. — Ну, единоверцы на Балканах — туда-сюда! Но зачем,

Николай Николаевич, зачем нам проливы? В свое время надо было теснить Турцию, но надо знать меру. Зачем мы лезем в дела немецких княжеств, забывая великую громадную Сибирь, одно развитие которой даст нам такую силу, что нам не страшна будет никакая Европа. Все боится Сибири, сами помогаем этому ссылкой, представляя ее пагубой, ледяным мешком для горячих умов... А когда я вошел в Амур, там тепло, горы в прекрасных лесах, я подумал, какой прекрасный край, чудное место! А мы зложим деревеньку да липнем к европейскому теплу, к неге, берем пример с французов. Мы полагаем, что только Кавказ родит героев! Кавказ и Марсово поле! А свой благодатный Север стремимся сменить на мнимые неги Юга!

«Однако, как он насчет Кавказа...» — подумал Муравьев, очень гордившийся своими кавказскими походами, за которые получил награды.

— Дайте мне суда охотской флотилии и тот крейсер, что ушел в наши восточные моря, и я займу южные гавани. Николай Николаевич, это будет великое событие, не сравнимое ни с какими нашими потугами залезть в святые места и обрусить турок и еще черт знает кого. Да каждый солдат, который будет напрасно загублен в войне с Турцией и с Англией, до зарезу нужен в Иркутске, на Амуре, а мы его уьем зря, даром!

— Ради тунейдцев! — подхватил Муравьев и печально покачал головой.

— Солдат нужен мне до зарезу. Никакая Европа не в силах понять пока, что означает та страна для будущего величья России, как нужен там человек, снабженный, в теплой одежде, с топором, с ружьем для охоты, а не для убийства. Как оживет Азия при первом честном, не разбойничьем соприкосновении с ней!

— Но, дорогой мой, в России для этого нужно отметить крепостное право...

— Николай Николаевич, я согласен... Но солдата из крепостных, чем убивать за святые места, разве нельзя послать к нам? Вызвать государственных крестьян, казаков, инородцев, славян с запада... Я не политик, Николай Николаевич, после прошлого года не берусь судить о том, чего не знаю, но и крепостному долго не бывать... Россия темна, бедна, а Урал, Сибирь вольны, есть золото, руда. За океаном — Америка, и можно торговать с ней... А мы

бросаем все ради ложной славы, ложной чести, ради многого желания торжества веры... Людей! Людей! А средства, а пушки, суда, порох? Все погубим! Да, порохом надо горы рвать, каналы провести, связать сибирские реки друг с другом. А у нас нет судов там, где они нужны до зарезу. А есть для парадов, гниют на Балтийском море... А порох пойдет на войну. Нет, Николай Николаевич, я не обманываюсь, я всегда все помню! На нас найдет буря. Только вы один предчувствуете ее. И я буду там готовиться... Чего бы это ни стоило...

В гостиницу «Бокэн» началось паломничество. К капитану Невельскому являлись лично или оставляли ему письма офицеры флота с предложением своих услуг для амурского дела, среди штурманов тяга была особенная. Они оставляли прошения, адреса, сообщали, что ждут ответа, извещали, кто рекомендует.

Невельской отвечал, что пока ничего не известно, и, если человек производил благоприятное впечатление и рекомендации были хороши, просил заходить.

Великий князь прислал за Невельским, и капитан поехал в Мраморный дворец. В этот приезд он не раз бывал у Константина. Тот уж более не увлекался древними боярскими хоромами, и огромное бревенчатое сооружение, выстроенное когда-то в большом зале дворца, теперь было разобрано и вынесено вместе со скамьями, дубовыми столами, а парчовые сарафаны, кокошники и костюмы древних витязей были убраны из гардеробов княгини и князя. В прошлый раз Невельской обедал в столовой с окнами на Неву, затянутыми чем-то прозрачным, со множеством свечей, за большим столом, который ломился от огромных серебряных ваз сервиза немецкой работы. Все было в цветах, всюду фрукты, зелень. Прислуживали иностранцы... Ни тени былых самобранок, ендов, ни самих служек, стриженных под кружок.

Константин и капитан беседовали в зимнем саду дворца. Тут стояло влажное тропическое тепло, пахло прелой землей, множество пальм и кактусов тянулось из кадок к бледно-голубым льдам застекленного потолка, за которым крутила и мела снежная вьюга.

Константин заметно возмужал. По лицу его видно было, что он в расцвете молодости, сил и здоровья, что энергия бьет в нем ключом. Он вошел быстро, словно выбежал наверх на аврал и готов зычно гаркнуть, как быва-

ло, «свистать всех наверх!». Он всегда и во всем лихой моряк и старается быть таким в глазах сослуживцев.

Во всех его беседах с Невельским подразумевалось, что дело чести Константина — уничтожить всякую интригу в Петербурге против капитана и дать ход его планам. Он знал, что Невельской один из тех немпогих людей, которые в знакомстве с ним не ищут личных выгод и карьеры. С Невельским было связано, кроме того, много приятных воспоминаний о совместных плаваниях... Бывало, на вахте о чем только не приходилось толковать... Он оригинал, наш Архимед!

— Здравствуйте, Геннадий Иванович!

На этот раз Невельской намеревался воспользоваться случаем и снова решительно поговорить с великим князем о том, что он считал самым главным и что, как ему казалось, он недостаточно ясно и убедительно изъяснил Константину при недавних встречах. По многим едва заметным признакам ему представлялось, что дела идут не так, как следует, и даже Муравьев не совсем понимает его или делает вид, что не понимает. Во всяком случае, Николай Николаевич в этом главном деле был как-то не откровенен. В воздухе вообще стали появляться признаки благодушия и излишнее сознание своего могущества, что всегда мешало.

За всеми почестями и торжествами и за признанием своих заслуг капитан совсем не желал забывать важнейшего, ради чего делалось все остальное. Сам он знал, что хотя вход в Амур для глубокосидящих судов вполне возможен, но нужны многократные исследования: река могущественна, как Зевс, но очень капризна, как настоящий Амур, в чем он убедился во время второго похода через лиман в прошлом году, когда на его глазах в отлив ветер сгонял воду и устья мелели. И хотя глубина все же была достаточна, но, как знать, что там еще бывает.

Поэтому нужны очень тщательные исследования. Но главное — нельзя зависеть лишь от реки. Надо выходить на простор, найти гавани, может быть незамерзающие или замерзающие ненадолго. О них говорили гиляки. Их надо найти и описать. Нужны суда, средства, высочайшее повеление па опись. Нельзя упускать времени и момента, когда тебе верят.

О своих сомнениях по части переменчивости амурских устьев он никому не говорил. Он верил глубоко и искрен-

не, что Амур есть и будет доступен. Он не желал раздувать подозрения к устью Амура, который был главным делом в глазах всех: государя, правительства, губернатора и ученых. Тем более некоторые офицеры, вроде Грота, бывшие в прошлом году с ним на описи, наплели бог знает что и высказывали сомнение в том, что вход в Амур хорош. Нынче он ходил туда без офицеров и сплетничать некому. В рапорте ясно представлена та картина, что есть на самом деле.

Единственный человек, кроме Миши Корсакова, знавший сомнения Геннадия Ивановича, был Муравьев. Но он говорил, что все эти сомнения — пустяки. Раз в отлив в самую мелкую воду глубина фарватера более двадцати футов, то нечего беспокоиться. Южные гавани, по его мнению, не нужны. Нечего далеко забираться. Об общей границе с Кореей он пока слышать не хотел, говорил, что это, конечно, отлично бы, но министры не утвердят. Однако каждодневными своими настояниями Невельской, но давая ни единого нового сомнения губернатору по части доступности устьев, склонил его настаивать на предстоящем третьем комитете на том, чтобы разрешили занимать и исследовать южные гавани.

Но, кажется, Муравьев мало верил в полный успех. Черт побери это петербургское благодушие, это сознание могущества империи, от которого у чиновников от самых высших до низших жиреют мозги! Неужели и Муравьев, думалось Невельскому, заражается этим благодушием? Иногда капитану казалось, что Муравьев слишком осторожен, что он напуган позапрошлогодними событиями и до сих пор не отошел или что он плетет свои служебные дела, сообразуясь с общей медлительностью высшего чиновничества и с собственным личным эгоизмом.

Вот о южных гаванях капитан и рискнул опять сказать Константину. Он надеялся, что Константин поможет, а если и не решится сейчас, то всегда будет содействовать и покровительствовать. «Ведь он в прошлом году тоже смутился, когда я требовал решительных действий на Амуре, но, когда я их совершил и доказал свою правоту, встал грудью за меня».

И он сказал, что надеется на покровительство и, даже если комитет не разрешит, будет действовать на юге, как действовал на Амуре.

Опять, как в прошлом году, Константин покраснел. Он сам был горячий сторонник занятия гаваней на юге. Невельской по приезде был у него и, правда, не так страстно и не так доказательно, говорил то же самое. Еще тогда Константин был воодушевлен. Снова ожили разговоры о посылке в Японию Путятина, начавшиеся было в прошлом году. Теперь даже государь признал, что пора отправлять экспедицию в Японию, а в прошлом году он к этой мысли отнесся скептически.

Но Константин смутился, когда Невельской попросил покровительства его действиям, по сути дела, запрещенным отцом.

Если Константин слышал мнение, противное мнению отца или своему собственному, то он краснел и умолкал, не находил, что ответить, но зато потом испытывал к таким людям скрытую неприязнь, как бы сам был обижен ими. Но Невельской был старым сослуживцем, и на него Константин, верно, никогда бы не обиделся, потому что самого Геннадия Ивановича считал вроде своей собственностью.

Константин, несмотря на все настояния Невельского, не сумел добиться изменения политики. И Невельской и Константин знали, что государь против дальнейшего распространения влияния на крайнем Востоке. Об этом и сказал Константин.

— Но, — добавил он, — государь сказал «пока», а это дает нам надежду...

Он сказал это с таким расположением, что Невельскому было ясно — покровительство Константина останется неизменным.

Капитан понимал, что Муравьев ничего не добьется на комитете, что решение комитета уже теперь ясно. Все остается без изменения, когда речь идет о движении вперед. «Я прорвался сквозь все преграды, и меня простили, но меня хотят остановить... Однако я теперь не послушник! Я покажу еще!»

Он заговорил об исследовании лимана, о том, что до зарезу нужно паровое судно для исследования всех фарватеров — южного, северного и лиманских. Один из них идет вдоль Сахалина. Он сказал, что там постоянная толчея, сулои, ветры, перемены уровней и без паровых средств нет никакой возможности дать добросовестную картину истинного положения,

Невельской говорил это тысячу раз Муравьеву, говорил Меншикову, Перовскому, адмиралам... Но все без толку. А что, если война? А мы фарватеров не знаем! Но никто не думал, что война может быть там.

Константин был вполне согласен. Он повторил то, о чем все говорили давно. Эта экспедиция будет снаряжена как торговая, под флагом Компании, и правление ее обя-зано будет дать паровые суда и средства для исследований.

Через несколько дней состоялось заседание комитета под председательством наследника. Невельской назначен был начальником Амурской экспедиции. Муравьев настоял, чтобы в постановлении было при этом добавлено: «во всех отношениях», чтобы Геннадия Ивановичу можно было распоряжаться компанейскими средствами и товарами.

Экспедиция шла под флагом Компании и на ее средства, хотя правительство обещало покрыть все компанейские убытки.

Всякие дальнейшие действия в той стране воспрещались...

— Я так и знал! — сказал Невельской с досадой. — Николай Николаевич! Я помилован, и шум поднят, но ничего ведь не переменялось и все остается по-прежнему, и меня это страшит!

— То, что вы хотите, Геннадий Иванович, — сказал ему улыбающийся Муравьев, — сейчас невозможно! Итак, явитесь в правление Компании и — благословляю вас — мчитесь в Иркутск. На вас, только на вас моя надежда!

На другой день Невельской был в Морском министерстве. Там еще не были готовы бумаги, и капитана просили задержаться в Петербурге. Меншиков поздравил его и сказал, что корвет «Оливуца» под командой Сущева уже скоро будет в Охотском море, от него получен рапорт из Вальпараисо — плавание протекает благополучно.

Суцев — приятель Невельского. В прошлом году его назначили в восточные моря. Невельской тогда виделся с ним в Петербурге, вместе сидели за книгами и картами несколько дней. Итак, Суцев шел на Камчатку, а оттуда на Амур. Ему предстояло гоняться на «Оливуце» за китобоями по Охотскому морю и ограничивать их деятельность. «Оливуца», как уж навел справки Геннадий Ива-

пович, ходкое судно, догонит любого китобоя. Суцев — лихой моряк!

Нужны еще были книги, карты и разные сведения о новейших заграничных приборах, которые необходимы для исследований. В министерстве все это делается и выдается с проволочками. Обычно карты, чертежи и книги Невельской получал у Литке в Географическом обществе. И на этот раз он отправился туда.

Новый вице-председатель общества, хмурый усатый генерал, Михаил Николаевич Муравьев принял его не в Обществе, где он почти не бывал, а дома. Он холодно сказал, что ничего подобного сделать не может и нужны особые разрешения на знакомство с книгами и картами и что пусть об этом похлопочет генерал-губернатор.

Невельской встал в бешенство. «Японию они хотят облагодетельствовать, подлецы!» — подумал он. Он вернулся в гостиницу и рассказал все Муравьеву. Тот хохотал от души. Дело решилось просто. Николаи Николаевич послал своему двоюродному брату Михаилу записку с лакеем, и через день все было предоставлено Невельскому, когда тот явился на этот раз прямо в Общество.

«По знакомству и по родству у нас все... И тайн никаких!»

— А каково человеку без родства? — говорил Муравьев.

А еще через день Невельской явился на Мойку, где у Синего моста стояло трехэтажное здание Российско-американской компании.

На этот раз его принял вершитель всех практических дел Компании, ее главная деловая пружина, знаток колоний, служивший там много лет, Адольф Карлович Этолин.

Адольф Карлович был когда-то главным правителем Аляски и колоний и совершил туда переход в качестве командира судна.

«Посмотрим!» — думал Невельской. Он согласен был трудиться и с Этолиным, верить ему, если тот в самом деле окажется деловым человеком.

Этолин был очень доволен ходом дел Компании и тем, что в этих делах сложилась традиция, следовать которой и при составлении планов, и при исполнении самих дел, и при составлении отчетов было особенно приятно.

В этом был порядок, система. Аляска из года в год давала одинаковое количество мехов, они перевозились че-

рез океан одинаковым способом и точно так же шли в Кяхту. Навстречу двигались из России обозы товаров. Об этом ежегодно составлялись отчеты и акционерам начислялись дивиденды. Это было то чередование привычных событий, тот порядок, в котором все верно и не может быть никаких резких колебаний.

Когда молодые офицеры, возвращаясь из Аляски, пытались уверить Адольфа Карловича, что там находят признаки золота и что Компания должна заняться розысками россыпей, Этолин отвечал: «Выдумали золото искать на Аляске! Еще, чего доброго, и до Северного полюса доберетесь!»

Беседуя с Невельским, он точно объяснил ему цель, которую перед ним ставят. Он говорил с ним так, словно тот в самом деле становился компанейским служащим.

На предприятие правительства под флагом Компании он смотрел с точки зрения торговых выгод, а суть того, что Компания тут только ширма,— это его не касалось. Во вновь создаваемой экспедиции члены правления и высшие служащие Компании готовы были видеть неприятного нахлебника. Невельского считали незванным гостем. Адольф Карлович смотрел не так. Он полагал, что из экспедиции надо извлечь выгоды.

— Вот так следует поддерживать интересы России на Тихом океане,— говорил Этолин.— Лавка и развозы с товарами на собаках в пределах, дозволенных нам комитетом министров. Молодому человеку служба в тех краях приятна и выгодна,— заметил он с улыбкой.

Этолин желал быть любезным. Литке уже писал ему, просил за Невельского, рекомендовал его как своего ученика.

Так все было определено и офицер проинструктирован.

— Теперь вам надо лишь исполнять! — самодовольно сказал Адольф Карлович.

Невельской поблагодарил за инструкцию.

— Но, Адольф Карлович, ошибкой полагаю, что интересы России на Тихом океане мы сможем достойно поддерживать, разъезжая на собачьей упряжке в окрестностях залива Счастья.

Адольф Карлович поднял брови. «Вот это ухнул!» — как бы выражало лицо его.

«Понять так грубо, тоном не деловым разговаривать и так резко выразиться!» — подумал Адольф Карлович.

Этолин не любил, когда его задевают. Его мелкие зубы умели кусаться больно. Он был жесток, сух, холоден.

— Я обязан сказать вам это, Адольф Карлович, — продолжал капитан, — как офицер, посланный правительством в те края для наблюдений и исследований. Долг мой — видеть будущее и судить о нем. Я понимаю цели и задачи экспедиции несколько по-иному. Иными рисуются мне и интересы Компании.

Адольф Карлович улыбнулся любезно, показавши мелкие нижние зубы. Он понял, что в ход пошла грубость, правительственная дубина.

В расчеты Этолина совсем не входило заселять Амур, развивать русскую жизнь на Востоке. Это ему нужно было меньше всего. Но он понял, что надо выслушать мнение Невельского. Он помнил слова Врангеля о недоступности Амура, но полагал, что должен сам знать все «за» и «против».

— Компания получит грандиозные выгоды от будущего обладания Амуром и морским побережьем к югу от Амурского устья! — заговорил Невельской. — Это богатейшая страна... Вложите туда незначительные средства и, помимо той цели, что преследует правительство, вы достигнете того, что дивиденды ваши во сто крат возрастут, надо смотреть на страну, что она представляет... Вы получите превосходный водный путь по реке вместо никуда не годной и дорогостоящей аянской дороги. Вы на одних перевозках сэкономите сотни тысяч рублей. И в Америке, Адольф Карлович, иностранцы не раз говорили мне, что дела Компании могли бы быть обширней к обоюдному интересу. Вы контролируете деятельность в колониях дивидендами, а они колеблются в нормальных пределах. Но они могли бы возрасти. Кроме выгод от сокращения перевозок, вы получаете доступ в богатейшую страну.

Этолин молчал. В душе он смутился, чего с ним уже давно не было.

А Невельской, чувствуя, что, быть может, этот делец не пропустит его слов мимо ушей, вдохновенно заговорил о том, что может сделать Компания. Землепашество на Амуре дало бы свой хлеб для Аляски. Промыслы, скупка мехов в Приамурье! Разве это не доход?! Жизнь на Аляске получит мощный толчок, когда каждый пуд муки не надо будет везти туда вьюком из Иркутска с несколькими перегрузками на речные и морские суда.

Этолин терпеливо слушал.

— Но прежде всего нужны исследования, — говорил Невельской. — И это главная моя просьба... Я говорил об этом с князем Меншиковым. Нужен пароход или паровой катер для исследований, для промеров фарватеров. Без этого мы не узнаем лимана как следует, а значит, и не сможем при случае воспользоваться им в военном и коммерческом отношениях. Исследования лимана — прежде всего. Пароход должен быть килевой, не меньше чем в сто сил. Тут Компания может совершить великую услугу правительственному делу. Лиман — это целое море, и волнения там очень сильны.

Этолину начинал нравиться этот моряк. До сих пор он о нем слышал противоречивые мнения. В правлении говорили о капитане с большим недоверием, а Литке рекомендовал.

«Столько наговорил! — подумал Адольф Карлович. — Оказывается, Компания, которая была там альфой и омегой, по его мнению, могла лишь услугу оказать...» Но Этолин помнил и о великом князе, который покровительствовал Невельскому, и о постановлении комитета, и о рекомендации Литке, поэтому и обещал немедленно возбудить вопрос о приобретении парового морского катера перед членами главного правления.

В заключение Этолин любезно сказал, что он не возражает, конечно, если с устьев Амура на Сахалин и вверх по реке при благоприятных обстоятельствах могут быть посланы на собаках приказчики, но что интересы России надо поддерживать там осторожными действиями, согласуясь с решением комитета, и не вовлечь Компанию в нежелательные последствия, и что он вполне уверен в том, что все это отлично известно начальнику экспедиции.

— Ведь мы давно занимаемся гиляками, — продолжал Этолин, — и наши отчеты ясно отражают положение дел на устье Амура. Гиляки торгуют с Компанией уже три года, и они были согласны продать там землю для устройства редута, чем и решило воспользоваться правительство.

«Опять эта продажа земли!» — подумал Невельской.

— Дела там расширяются постепенно, в результате обдуманных и осторожных действий. Следует так же осторожно продолжать начатое предприятие, с тем чтобы успешно довести его до конца, соблюдая также коммерческие интересы Компании. Определяя цель торговой экспе-

диции к устью Амура, граф Нессельроде точно указал нам наши обязанности, и нам нежелательно предпринимать что-либо, выходящее за пределы, определенные его сиятельством...

Адольф Карлович с Невельским долго еще обсуждали подробности экспедиции.

Через несколько дней Невельской снова явился к нему, получил все бумаги. Паровое судно еще раз было обещано. Этолин вспомнил, что Компания ищет не только торговой деятельности, а будет ждать результатов новых научных исследований, что Компания всегда была покровителем научной деятельности, что лучше всего выражено было в том, что во главе ее много лет стоял Фердинанд Петрович, ученые труды которого, как и его учеников, всемирно известны. Этолин энергично пожал руку капитану, пожелал ему счастливого пути и успехов.

Утром Невельской уже мчался к Царскому Селу.

«Прощай, мой Петербург!» — подумал капитан, подымаясь на косогор под Пулковом. Ему казалось, что теперь он долго не увидит своего города. Теперь все, что ему дорого, было там, далеко отсюда... Ему немного жаль расставаться с этой славной, торжественной столицей и со всей своей прошлой жизнью, как жаль бывает холостяцкого бытия, которое покидаешь ради новой жизни.

...А над Петербургом стояла гуща мглы и дыма, и Невельской вспомнил свои разговоры с Николаем Николаевичем, что на Россию надвигается гроза, что спокойствие обманчиво, что опять надо спешить и спешить.

«Умница Николай Николаевич, он памятник себе сооружает бесценный», — подумал капитан.

Глава тридцать первая

ДЕКАБРИСТЫ

— Вы ангел! Мой ангел! — страстно восклицал капитан, стоя перед невестой на коленях и любуясь ею.

У него, казалось, не было своих слов для выражения любви, он говорил, как в пьесе, как бы с чужого голоса, но чувства, переполнявшие его, не мог выразить иначе. Она в самом деле казалась ему чистым ангелом, символом

всего прекрасного, святышей, он только так мог называть ее. Иногда он не верил своему счастью.

Загадочный и недоступный, тот, которого она с таким трепетом и восторгом желала когда-то увидеть, которого со странным волнением встретила впервые в зале собрания, вечно тревожный, воодушевленный, а потом так огорчивший ее, — теперь великий герой, признанный, возвышенный и награжденный, поднявшийся, как ей казалось, на необыкновенную высоту над всеми, — был у ее ног. Она, вся во власти его радости, смотрела на него робко, счастливо, чувствуя себя его счастьем, венцом всех его наград.

Теперь она была по-прежнему кротка и невозмутимо спокойна. Большие планы предстоящей деятельности ее жениха, опасности, которые он всюду видел, были той сферой, которая занимала ее. Теперь ей было над чем серьезно подумать...

Впервые в жизни он, холостяк, считающий себя пожилым, привыкший к нечеловеческому напряжению и постоянному терпению, к тяжелому труду, вечно неудовлетворенный, почувствовал любовь к себе.

Его любило нежное, хрупкое существо, оно было все время с ним. На время, казалось, забыты были все планы. Открылась жизнь, понятная только тем, кто ею жил.

Ей уже девятнадцать. Другие выходили в семнадцать, она училась до восемнадцати. Дядя не торопил ее, а любовь пришла, и она не изменила ей, хотя время шло, прошел год...

После свадьбы, шума, веселья — тишина, непрерывные ласки и уединение. Иногда они бывали в гостях. Дела отошли куда-то вдаль, и, кажется, начинать их не хотелось...

Они жили в нижнем этаже двухэтажного заринского дома с садом и многочисленными надворными постройками. Здесь ковры, красивая мебель, тишина. Мерно тикает маятник в одной из комнат, напоминая, что время, которое кажется тут остановившимся, на самом деле мчится с неизмеримой быстротой.

Однажды муж сказал, что этот маятник встревожил его, он вдруг услышал тиканье, словно до того часы не двигались. Ей было обидно, казалось, исчезает счастье. Она остановила маятник. Утром муж заговорил о своей экспедиции. Он опять рассказывал ей об Амуре, выражая невольно, сам того не замечая, в картинах природы свои

настроения. Казалось, на свете для него нет мест прекрасней, сама скудость природы полна там поэзии, и Амур — это нечто вроде райской обетованной земли... Она и сама уже бредила той страной, которая для него была так чудесна.

Он что-то вспомнил, быстро собрался, крепко поцеловал жену и уехал «во дворец».

Мысли Геннадия Ивановича снова были обращены на Восток. Он стал исчезать из дому, иногда к нему приезжали какие-то совсем простые люди. Он был полон некротимой энергии. По ночам он спал, вздрагивая всем телом, как хорошая собака, он был клубком нервов и мускулов, воодушевленных одной мыслью, и это удивляло ее, она никогда не видела ничего подобного.

Вдруг проснувшись среди ночи, он восклицал, что не верит своему счастью, что она с ним. Это и радовало ее и удручало. Словно во все остальное время он не видел ее.

Екатерина Ивановна много думала о том, почему он такой, почему его ум, казалось, отделился от нее, почему он видит в ней ангела, ребенка, забаву, но не то, чем ей всегда хотелось быть.

Однажды, когда началось формирование экспедиции, он пришел и стал с горечью говорить, что нет нужных людей, что безграмотность чудовищная, солдаты темны до смешного и невероятного — мы не распространяем просвещения, — а что в экспедицию нужны грамотные люди. Катя сказала ему:

— Я решила ехать с тобой!

— Ты? — недоумевая спросил муж.

Он не совсем понял ее. Она была для него человеком другого мира, тем, чем она не хотела быть. Екатерина Ивановна много думала об этом и чувствовала, что произойдет размолвка. Он — такой умный — еще по совсем понял, что она — юная жена, будущая мать, ангел, которому место в заоблачной высоте, — собралась с ним.

— Да, я решила поехать с тобой! — ответила Екатерина Ивановна и кротко улыбнулась.

«Ангел!» — как всегда при виде этой улыбки, подумал он, не допуская даже мысли, что в самом деле может произойти то, чего она хочет.

Вечером они были на концерте в собрании. А утром она попросила совета, какой костюм заказать для верховой езды.

У Волконских Катя рассказала, что Геннадий Иванович — она так называла его на людях — не хочет слышать о ее поездке и не берет ее с собой.

Невельской стал оправдываться, сказал, что там невозможно жить молодой женщине.

Катя смотрела на него с сожалением.

Мария Николаевна сказала:

— Для молодой женщины это прекрасно — ехать в новую страну! У вас — молодость, друзья мои! В эту пору все переживается проще... Поезжайте, Катя... Вы не раскаетесь, как бы тяжело вам ни было... Присутствие вашей жены так нужно будет вам, Геннадий Иванович, оно ведь изменит все в экспедиции...

«Как знать, может быть, само дело погибнет, все рухнет, если Кати не будет с вами», — хотела бы сказать она. Она знала, как жалок мужчина без любви и как он могуществен, гордо спокоен, когда любим. Она спасла своей любовью мужа и его друзей.

Не будь женщин, не было б, может быть, и всей сибирской эпопеи декабристов, они погибли бы, как обреченные в мертвом доме, или стали бы надломленными членоконенавистниками. А они горели, мучились, боролись, страдали и строили жизнь в огромной, но глухой до того стране, стали живым зачатком ее образованности.

Она любила благородных героев — друзей мужа — чистой, высокой любовью.

— Да, да, это прекрасно, Геннадий Иванович, — повторила она, — молодой женщине ехать с мужем в новую страну! Вы с ней положите начало начал вольной колонизации.

Мария Николаевна хотела бы сказать: «Как, вы еще не видите? Не отталкивайте ее от себя, не будьте слепы, подобно многим другим мужьям». Но она желала, чтобы он догадался обо всем сам. Она никогда не была навязчивой.

Они сидели втроем в полуосвещенной гостиной. Дети были отосланы наверх.

Мария Николаевна понемногу разговорилась о своей молодости. Она рассказала, как когда-то, в деревне, решила ехать в Сибирь. Как, решив ехать, она целый год жила врагом в своей семье, любимый отец, казалось, возненавидел ее за это. Она сносила упреки, нареканья, но стала еще тверже и решительней. Она родила и уехала.

Невельской сидел рядом и безмолвно слушал. Капитан, пытавшийся еще в корнусе учить самого Крузенштерна и до сих пор норовивший поучать министров и высших лиц, на этот раз совсем притих, он не мог ничего сказать, он был тут безоружен.

Послышались шаги. Пришли Сергей Григорьевич Волконский и Сергей Петрович Трубецкой. Они уже видели Невельского после свадьбы. На столе появилось вино.

Пришли двое братьев Борисовых, живших под городом в Разводной. Сегодня они приехали в Иркутск. Явился бородатый Поджю, прозванный «Мельником».

За столом разговор оживился. Замыслы Муравьева, который сделал этим ссыльным много послаблений и был, как им казалось, вполне искренен в своих добрых намерениях, становились им близки, и они любили поговорить о нем. Геннадия Ивановича считали как бы своим и даже откровенно критиковали при нем действия правительства, чего прежде, когда в его открытиях сомневались, он от них почти не слышал. Теперь они принимали его в свою семью.

Выпили за его будущие действия.

За столом сидели люди с тяжелыми лицами, их руки знали труд и цепи. Они с честью вынесли свои страдания, развели в этой стране сады, открыли школы, строили, исследовали, рисовали, описывали Сибирь, пробуждали к ней интерес.

За два года пребывания на Востоке Невельской видел много каторжных. У декабристов, несмотря на их аристократизм и на хорошие условия жизни, в которых они находились теперь, было много общего с теми, кого гнали по тракту, и с кандалниками из Охотской тюрьмы — тот же тяжелый, упрямый, угнетенный взор. Волконский до сих пор клал обе руки на стол вместе, словно на них были кандалы. Их души все еще в кандалах, и видно, что просятся на волю. Это были его учителя, перед которыми он давно благоговел, по ним стреляли за Невой, незадолго перед его приездом в Петербург, о них часто говорили в корнусе. Это были люди времен его детства.

Декабристы многое знали о Невельском, но еще больше хотели бы знать. Ходили всякие слухи, и, между прочим, подтверждались сведения, что он был большой приятель с двумя друзьями Петрашевского. А Петрашевский и его дело весьма интересовали декабристов, и из-за

нетрашевцев, присланных в Сибирь, были неприятности у Волконского.

На Невельского смотрели как на человека, который по все договаривает, и желали бы разузнать его взгляды по-подробней.

Но декабристы были люди осторожные, и никто не стал бы расспрашивать его ни о чем подобном.

Поговорили о возможности войны.

Старик Волконский сказал:

— Дай бог нам силы и зоркости в борьбе с врагами!

Понемногу пили.

Когда все встали из-за стола, капитан, усевшись в углу на диване с Поджио, рассказал, какие неприятности испытал в Петербурге и что военный министр граф Чернышев, тупица, каких свет не родил, ставил Николаю Николаевичу палки в колеса и хотел все погубить.

Вокруг Невельского собрались почти все. Взоры за-сверкали, Невельской задел больное место.

У декабристов с Чернышевым были старые счеты, и поэтому все слушали с затаенным удовольствием молодого капитана, который, не стесняясь, честил его.

— Он предательством стал в фаворе, — сказал Волконский, пересаживаясь поближе и опуская свое тяжелое тело на диван, рядом с Невельским, — но вот, оказывается, молодежь знает ему цену! — обратился он к товарищам.

Бородатый остролицый Поджио, сверкая яркими черными глазами, с гневом заговорил о зверствах, которые совершал Чернышев над солдатами, и напомнил, что Константи́н Павлович в свое время был такой же изверг.

— Зверь и негодяй! — воскликнул Андрей Борисов, сухой, с острыми горящими глазами. — Как все «они»!

Лицо Марии Николаевны выразило неудовольствие. Она не любила этой несдержанности.

Пришел высокий, красивый Муханов. Хозяйка любезно встретила его.

Разговоры в углу становились все вольней, и вскоре Мария Николаевна увела Екатерину Ивановну наверх к детям, не желая, чтобы она слушала.

На диване говорили об Англии и о Венгрии.

Вдруг Волконский положил оба тяжелых кулака на столик.

— Царь наш губит Россию, он солдафон и фельдфебель! — сказано было внятно, со спокойным негодованием и презрением и без тени запальчивости.

Андрей Борисов, которого в Иркутске считали придурковатым, ударил кулаком по столу и вскричал:

— Будь проклят он, кровавый злодей!

Только сейчас в этих обычно сдержанных, подавленных людях почувствовались былые повстанцы, в их глазах засверкал бунтарский огонь.

— Мы облагодетельствовали человечество в двенадцатом году, — сказал Волконский, — но забыли о своем народе. — Сергей Григорьевич до сих пор ненавидел Николая как плохого царя и низкого человека, как тупицу, изверга и палача, который держал в кандалах всю Россию.

Вдруг капитан увидел, что в дверях стоит Мария Николаевна. Но она не гневалась, чего можно было ожидать. Он понял — она все слышала, но, несмотря на вечные свои предосторожности и опасения, не раскаивается в этот миг. Лицо ее было в слезах. Она стояла у двери, как часовая. Под ее охраной разговоры продолжались, и Невельской вспомнил все сплетни и рассказы, будто Мария Николаевна чужда своему миру. Нет, она с ним всей душой по-прежнему.

...Поздно ночью, когда ехали от Волконских, Невельской долго молчал, наконец он нашел руку Кати, пожал ее крепко и сказал:

— Поедем со мной!

— Ты согласишься?

— Да!

Но утром капитан как-то особенно ясно вспомнил свой Петровский пост и что там за жизнь. Гиляки, матерщина, тяжелый труд, дикие выходки, орут матросы — пение, грубость, китобои, подобные зверям, холод, ветер, — и там будет Катя! Как же ей там жить? Ужасно, если она увидит все! Оказывается, он скрывал от нее все это до сих пор. Он почувствовал, что рисовал ложные картины, говорил ей много лишнего и неверного, лишь о подвигах, об идеалах, к которым стремился, что сам до сих пор не видел, кажется, того, о чем вспомнил сейчас.

— Ведь ты не знаешь той жизни, — сказал он. — Ты даже не представляешь ее! Я виноват перед тобой, только

сейчас я понял, что, сам того не желая, рассказывал тебе не все, а лишь показное. Я виноват, Катя, послушай меня...

Екатерина Ивановна удивленно посмотрела на него.

— Что же там такого, что должно привести меня в ужас? Скажите мне,— переходя на «вы», с гордым выражением лица ответила она.

Невельской пытался правдиво рассказать о грубой и жестокой жизни. Он сказал, что во флоте все держится на наказаниях, нередко линьками приходится гнать людей вперед, ведь не все команды так дисциплинированы, как на «Байкале», и далеко не все офицеры гуманны...

— Правда, и в помине нет,— добавил он,— того зверства, что в Петербурге, и шпицрутенов не знают, и даже к каторжным как к равным обращаются (тут он опять невольно прибавил). Но есть офицеры-звери, да и приходится сдерживать распушченность.— Он невольно впадал в крайность, опять сгущая краски. Но рассказа не получилось и обычного вдохновения не было, а она — ангел и дитя — снисходительно улыбалась, как мать, слушающая наивную ложь ребенка.

— Но ты живешь среди тех людей?

— Да, да! Но это я... Я рос в корпусе, я привык к флоту и нравам флота. Меня еще в первом классе били и объезжали старшекласники. У нас господствовали очень грубые, жестокие нравы, мы редко кому говорим об этом.

Она выслушала о нравах корпуса и флота и немного задумалась. Было неприятно, но и пробуждался интерес. Ведь «он» там был...

А он желал бы оградить ее от грязи жизни, чтобы она была всегда такой же чистой, такой же юной, чтобы она никогда не знала о другой стороне жизни, с правом насилия и матерщиной. Представить ее там, в той обстановке, казалось ему кощунством.

— Я прошу тебя, верь мне.

Она подняла голову.

— Я еду, Геннадий! Это решено. На этот раз я не слушаюсь вас. В какую бы среду я ни попала, все люди будут мне дороги, если вы с ними. Я готова на все! — сказала она.

Он подумал, какое чувство будет возбуждать эта прекрасная женщина в толпе голодных, могучих людей и, как

знать, какая будет его и ее судьба среди них. Мало ли что может быть! Теперь в голову лезло разное: бунт матросов, каторжных, нападение пиратов.

— Это решено, милый! — вдруг расхохоталась она, чуть трогая его за щеки, как маленького. — Это уже решено, и я не отступлюсь от своего. Где ты, там и я! Твои дикари и грубияны, — неужели они не поймут меня?.. Хорошенькая, черт возьми, женушка у этого Невельского! — избоченясь и как бы играя комическую роль, воскликнула она. — Они будут добрей, перестанут ругаться, они посчитают-ся с тем, что среди них явилась жена их капитана. Они причешутся и помоются! Геннадий Иванович! — вдруг со страстью воскликнула она. — Как я хочу видеть вас на корабле. Доставьте мне такую радость! И, боже, как я вас люблю! Я никуда не уйду от вас, не гоните меня... Ты знаешь, — сказала она серьезно, — когда мы с сестрой ехали сюда по тракту и впервые увидели огромные толпы каторжных, я была в ужасе... Но я заставила себя подойти к ним, хотя мне было страшно. С каким выражением смотрели они на меня! Ах, Геннадий Иванович... И с тех пор, где бы я их ни встречала, никто из них не сделал мне ничего плохого.

Невельской присел на стул, пока она расхаживала по комнате. Он сидел прямо, смотрел пристально, по взору и положению фигуры нельзя было сказать, что он удручен. Кажется, в глубине души ему нравилось, что она готова идти на жертву, на подвиг, плечом к плечу с ним. Но лучше, если бы она осталась тут, в привычной светской обстановке, а он приезжал бы и рассказывал ей попрежнему о своих подвигах и путешествиях, а она бы все так же радовалась его рассказам, как в девичестве, как полтора года тому назад, и мысленно путешествовала бы с ним, и вся была бы в нем, в его интересах...

Но она выросла, готова быть рядом, жить и трудиться самостоятельно, она хотела деятельности ради него и его цели.

— Пора за дело! — сказала она и крепко обняла его шею обеими руками. — Помнишь, когда ты возвратился с Амура, то рассказывал мне, что жена штурмана Орлова хочет ехать к мужу и что ее влияние на гиляков станет заметно, что они переимчивы и любознательны. Я подумала еще тогда, что, быть может...

Он открыл глаза.

— Да... Как жена Орлова... Я поеду с тобой... К гиллякам!

Ей хотелось тягот, борьбы, страданий с мужем ради его любимого дела. А ее хотели заставить бездельничать!

Иногда она ревновала Марию Николаевну к ее подвигам. Она думала о будущем. Она замечала, что Сергей Григорьевич, страдавший за обездоленный народ, кажется, заставлял иногда своими капризами страдать свою жену. Катя не знала, будет ли так? У нее сжималось сердце при мысли об этом.

На другой же день начались сборы Кати в дорогу. Заказана была меховая одежда, шерстяные вещи.

Катя целиком погрузилась в материальные заботы. Она, шутя, сказала — чтобы приблизиться к идеалу, созданному воображением, все «материальное» для путешествия надо сделать идеально хорошо!

Она не знала, но чувствовала, что какая-то большая деятельность ждет ее там, на океане, что все, навешанное ручейком из того потока мыслей, который есть в каждой прочитанной книге, вольется там в это ее дело.

Владимир Николаевич перед отъездом хотел передать Геннадию Ивановичу бумаги на владение деревнями, отходившими в собственность Екатерины Ивановны. Пошел разговор о доходах. Сестры решили не делиться, оставить деревни в совместном владении, доходы делить поровну, а бумаги оставить у дяди.

— Я вам очень, очень благодарна, — тихо говорила Катя, захватив перед дальней дорогой проститься с Марией Николаевной и оставшись с ней наедине.

— За что? За что? — не в силах сдержаться и обнимая Катю горячими первыми руками за плечи, говорила Мария Николаевна.

Когда Катя уехала, Мария Николаевна задумалась.

«Дивчина молодая, незагубленная!» — вспомнила она слова далекой и родной песни, не раз слышанной... Слова, как жар, охватили ее воспоминания о том времени, когда и сама она была такой же вот молодой, незагубленной «дивчиной».

«Что же ждет тебя там? — думала она. — Куда ты стремишься, милая Катя?»

Через два месяца Екатерина Ивановна уже ехала со своим мужем впиз по Лене, туда, в неведомые леса, к берегам далеких морей, к новой жизни, по новой дороге, по

которой уже путешествовал ее муж. Теперь она смотрела на Сибирь его глазами. Он открыл ей эту большую, прекрасную страну...

Кате казалось, что подвиги открывателей Сибири подобны подвигу Колумба. Она ужасалась, сознавая, как это все величественно и сколь мала ее доля во всем этом.

Глава тридцать вторая ПО ДОРОГЕ В ОХОТСК

На пути из Якутска в Охотск Невельской обдумывал все, что предстоит теперь сделать. Он очень беспокоился, пришлют ли вовремя бумаги. Все документы на право занятия Амура должны прийти из Петербурга. Их ждали в Иркутске, но не дождались. Невельской выехал, получив нисьмо от Муравьева, в котором сообщалось, что бумаги будут обязательно.

В Якутске Невельским оказано было большое внимание. Катя впервые почувствовала себя дамой, женой знаменитого капитана и что это значит в глазах общества. При всем своем радушии, иркутяне видели в ней недавнюю девицу, племянницу Владимира Николаевича. А здесь все принимали ее за важную госпожу, и она старалась, не теряя своей обычной естественности, поддержать это мнение в глазах общества.

Она побывала с мужем у милой старушки, в доме которой останавливался Геннадий Иванович. Эта пожилая дама сказала Екатерине Ивановне, что она и Невельской похожи друг на друга, а это первый признак, что они друг для друга созданы.

— Впрочем, знаешь. — говорила Катя мужу однажды утром, — здесь очень милое общество! Я пикогда не думала, что в Якутске такие приветливые люди. Я поражаюсь, как они любят тебя!

Она гордилась своим мужем, видела в нем героя и полагала, что точно так же смотрит на него все общество. Она только замечала, что он несколько смущается, когда разговор заходит про любовь к нему якутян.

Невельской помнил, какие «распеканции» устроил он тут прошлой весной. Фролов заболел после этого и, как

говорят, чуть не умер. Невельской опасался — не из-за прошлогодних ли скандалов, не со страха ли все якутяне, и в том числе сам Фролов, приветливы и радушны. Это выражалось не столько в отношении к самому капитану, сколько в особенной приветливости общества к его молодой супруге.

Катя, конечно, ни о чем не догадывалась. Якутск — первый город в ее жизни, где она жила самостоятельно и впервые почувствовала высокое счастье появляться с мужем в обществе, видя всеобщую любовь и к нему и к себе.

Местные дамы уверяли Екатерину Ивановну, как здесь все ожидают, что ее муж назначен будет сюда губернатором, и хором заявили, что они были бы очень рады этому. Ее немало обеспокоила такая новость, но муж сказал, что это выдумки местных чиновников.

Миша Корсаков побывал в Якутске до Невельских. Здесь он получил известие о женитьбе своего друга. Невельской просил в письме приготовить все к переезду в Охотск. Корсаков обо всем позаботился. Была приготовлена прекрасная «качка» для Екатерины Ивановны — род гамака, который должны нести на себе две лошади. В «качке» укладывались матрацы, получалась очень удобная постель. Миша, как всегда, аккуратен и старателен, и сделал все необходимое для поездки Невельских в Охотск.

Миша уехал из Петербурга раньше Геннадия Ивановича и сразу же помчался в Якутск готовить все для Камчатки и для Амурской экспедиции. Не дождавшись приезда Невельских, он отправился отсюда в Аян. Миша оставил милое, теплое письмо молодым супругам, горячо поздравлял их...

Геннадий Иванович должен был на корабле из Охотска зайти в Аян и взять там все, что Миша приготовит для экспедиции. В этом году Миша уехал в Аян, а Невельской отправлялся на Охотск. Они переменились путями.

Невельские выехали из Якутска. Все городское начальство и многие обыватели провожали их до заставы. На тракте их всюду встречали радушно. Якуты, услышав, что едет Невельской, и памятуя его прошлогоднюю поездку, живо подавали лошадей. При одном известии, что он едет, начинался переполох, все полагали, что Невель-

ской опять начнет требовать отчета, как идут грузы. А грузы и теперь шли из рук вон плохо.

— Он теперь с бабой едет! — облегченно говорили на станциях, когда поезд капитана отправлялся дальше и ничего страшного не происходило. — Стал добрей!

Казак, сопровождавший капитана, замечали, что якуты его сильно побаиваются.

— Смотрите, он начнет вас мутить! — поддразнивали они погонщиков.

— Он прошлый год строго людей наказывал... На Алдане взялся пороть подрядчиков, — отвечали якуты. — А что, он отчета нынче не требует?

— Нет...

— Хорошо, что он в прошлый год с Аяна другой дорогой ехал, мы боялись, что мимо нас поедет.

Чем ближе становилось море, тем подробней представлял себе капитан все, что следует сделать и в Охотске и в Аяне, где и каких брать людей для зимовки. Среди них должны быть кузнец, плотники, столяр. Каждый должен владеть оружием. Нужен оружейный мастер, два-три слесаря. И помнил, что еще надо мебель купить, пианино, говорят, можно приобрести в Охотске по случаю отъезда всех чиновников на Камчатку.

Он думал и думал, глядя то в гриву своего коня, то на вершины ярких берез, шумевших свежей листвой, и по временам выпимал записную книжку, делал записи. В уме его, как и всегда, когда он готовился к делу, складывался обширный план, он все глубже и глубже проникал мысленно в самые мельчайшие подробности этого плана, и всякая мелочь заботила его, а иногда вызывала тревогу. Теперь капитан был свободен от тех мучений, что испытывал он в прошлом году, и вся его энергия была направлена на обдумывание предстоящих операций, на подбор людей, на заготовку припасов и продуктов.

Другое движение мысли было как бы вширь, он старался проникнуть умом в те дали края, в которых, как он полагал, таились цель и смысл всего происходившего.

Екатерина Ивановна переносила дорогу хорошо. Она не зря скакала несколько дней верхом во время переезда из Горячнска. У нее и прежде навыки к верховой езде были не меньше, чем у Екатерины Николаевны и Элиз, которым она старалась подражать после их беспример-

ного путешествия. Но вскоре муж заметил, что Екатерине Ивановне трудно, но она терпит.

— Тебе плохо, мой друг?

— О нет! — отвечала она.

Но лицо ее было бледно. На остановках она часто просила мужа оставить ее в палатке одну с горничной Дунишей.

«Бедная моя Катя, — думал Геннадий Иванович, глядя, как она свешивается с седла то на одну сторону, то на другую. — Зачем я взял тебя с собой?» Тело ее, видимо, было избито непрерывной ездой. Она упрямо отказывалась ехать все время в «качке» и пересаживалась то в особое дамское, похожее на кресло, а за последние дни — иногда — в мужское седло.

— Геннадий, прошу тебя, поезжай вперед и не смотри на меня, — шутливо говорила она. — Я лягу в гамак и отдохну, но позже...

Она помнила, как на этом же пути в позапрошлом году вызвала нарекания и упреки Николая Николаевича и его спутников Екатерина Николаевна и как она оказалась чуть ли не обузой для экспедиции. Помня это путешествие и все приключения и неприятности его, Екатерина Николаевна до сих пор терпеть не могла Струве.

Катя совсем не хотела обнаружить свою слабость и оказаться в таком же положении. Она не желала быть в тягость другим и заставляла себя ехать. Она хотела, чтобы ее муж гордился ею. Замечание, которое сделал Муравьев своей жене, она принимала и на свой счет.

Она помнила и другое: что Екатерина Ивановна все же подчинилась и послушалась мужа, который требовал от нее лишь одного — терпеть и привыкать к седлу, и ей после этого действительно стало легче.

Она знала, что муж никогда не упрекнет ее.

Сначала у Кати болели только ноги и спина. Но за последние дни появились острые боли в животе. «Это от непривычки! — полагала она. — Надо терпеть!» Она бледнела, худела, но улыбалась.

Муж тревожился. Начались отроги последнего хребта, приходилось переправляться через горные потоки.

В душе Кате ужасно нравилось, что муж такой герой, а так тревожится за нее, так пугается каждого признака ее страданий и озабоченно расспрашивает, когда что-нибудь замечает. Он очень чуток и видит все.

Она успокаивала его и переносила боль, чувствуя, что это все ради него. Лишь сон успокаивал ее. Она каждый вечер ждала, что наутро уже привыкнет и боли прекратятся и она встанет такая же здоровая, какой была всегда. И на самом деле она вставала бодрая и веселая. Но стоило пуститься в путь, как тело начинало ныть, настроение падало, тряска бередила больной живот... Она терпела, ждала остановки на обед, ложилась в гамак, а потом ждала ночлега и опять надеялась, что утром встанет здоровая...

«Зачем я ее взял?» — упрекал себя Невельской. Когда-то он сам говорил ей, что не надо поддаваться усталости, а теперь сетовал на себя за это. Его советы оборачивались против него самого. А она так упрямо следовала его советам. «Что я наделал! Если бы я знал, я бы никогда не говорил ей ничего подобного».

В полдень на остановке Екатерина Иваповна подъехала и подняла сетку. По ее потному, посеревшему лицу видно было, что ей очень плохо. Она положила обе руки ему на плечи и, сделав усилие, стала слезать.

— Что с тобой?

— Я должна закалиться и привыкнуть, не бойся за меня... Я знаю, Екатерина Николаевна мне говорила, надо перетерпеть... Видишь, — улыбнулась она, вставая на ноги, — я совсем не разбита, как тебе кажется, не думай так обо мне.

«Лучше бы ты жила в Иркутске», — думал Невельской.

Ее взор, казалось, спрашивал: «Ты боишься, что я буду в тягость экспедиции?»

— Мне гораздо лучше! — сказала Екатерина Ивановна, идя к палатке, и, вдруг обернувшись, словно догадываясь о его мыслях, взглянула настороженно. — Поверь, тебе только кажется, что мне так тяжело! Немного ломит ноги...

«Нет, она совсем разбита», — думал тем временем Геннадий. Он больше не верил ее словам.

Разбили палатку. Дуняша, служанка Кати, — «смешная индюшка», как в шутку называла ее молодая госпожа, с тех пор как в пути она надела мужское платье, — опять сказала Геннадию Ивановичу, что к барыне нельзя, а сама ушла в палатку. Они там долго пробыли одни. За Геннадием Ивановичем прислали, когда Катя легла. Видно, ей стало полегче.

— Сядь рядом, — попросила она. — Расскажи мне что-нибудь. Я завтра, наверное, буду совсем здорова... Я не могу сказать тебе... Ну, словом, у меня сегодня очень болит живот...

Он стал рассказывать ей про Крым, Севастополь и Турцию.

Она любила слушать его рассказы о путешествиях. Они утешали и убаюкивали ее, как колыбельная, все эти истории, в которых поминались корабли, гиляки, турки, описи и матросы.

Чуть свет во мгле замерцали фонари. Невельской вышел из палатки. Началась укладка, выюченье. Завтрак уже был приготовлен.

И вот все снова уселись верхами. Катя немного задержалась в палатке.

— Сегодня поезжай в гамаке, прошу тебя, — сказал муж, когда она вышла.

Она улыбнулась.

— Да, я сегодня поеду в гамаке.

Взор ее ликовал, она видела его тревогу. А он, не понимая, чему она радуется, тоже обрадовался, решив, что ей полегчало.

К тому же он надеялся, что если она не будет сегодня ехать в седле, то ей в самом деле станет легче.

Она взяла роман Эжена Сю, опустилась в гамак и засмеялась от удовольствия. Тут было удобно... Накануне прошли самый трудный участок через хребет. Виды — чудо. Нынче опять лес и болото.

А Невельской уселся в ее похожее на кресло седло и, свесив ноги на одну сторону, снова обдумывал свои планы. Он решил, что возьмет в экспедицию кузнеца с «Байкала». Это прекрасный кузнец! Они вдвоем с Коневым работали в кузнице у гавайского короля. В памяти являлись лица матросов, знакомых казаков.

Теперь у капитана были высочайшее повеление занять Амур и бумага от губернатора, разрешающая брать в любом порту с любого корабля любого человека в свою экспедицию. Теперь уж ему не мерещилось по ночам, как под грозный бой барабанов с него перед строем срывают эполеты. На душе у Геннадия спокойней... И кажется ему, что Кате в самом деле лучше. «Слава богу!» — думал он.

К полудню Геннадий Иванович устал. Он почти не спал эту ночь.

— Ложись в гамак, я отдохнула и чувствую себя значительно лучше,— сказала Катя по-французски,— а ты поспи. Ведь ты не спал всю ночь.

Она села в седло, а он, счастливо улыбаясь, залез в гамак.

«Да, я мнителен,— думал Невельской, засыпая.— Мне все кажется, что ей очень тяжело, но она окрепла и прекрасно сносит все, какая умница и молодец!»

Он спал долго и, проснувшись, подумал: «Какое счастье, что она со мной... Какое это счастье — проснуться и увидеть любимого человека, знать, что ты любишь и сам любим!»

А кругом болота, у самого носа грязные хвосты и крупы лошадей, забрызганные грязью. Гнилой лес, трава.

Когда-то Геннадий мечтал о морских путешествиях, о перестрелках с пиратами, абордажах, сожжении неприятельских кораблей. А теперь он понимает, что, для того чтобы получить настоящий широкий выход к морю, не следует сторониться ни болот, ни грязных конских хвостов, ни выюков; надо уметь командовать якутами и казаками так же хорошо и справедливо, как матросами.

Он подумал, что в книжку надо еще записать о кирпичах. Он занимался тенерь лошадьми, грузами, фуражом, кирпичами.

Кто-то догонял его, хлюпая копытами по болоту. На гнедой длиннохвостой кобыле вскачь неслась Дуняша. Ее волосы растрепались. Она сидит в седле по-мужски. Покрасневшее лицо ее полуприкрыто белым платком, закрывающим щеки и уши.

— Барин, Катерине Ивановне плохо! Скорей! — крикнула она и на скаку завернула копя, как лихой наездник.

Невельской выпрыгнул из гамака и кинулся к жене. Якуты придерживали ее. Караван встал.

— Сними меня,— чуть слышно сказала Катя.

Он стал помогать ей.

— Милый мой... Мне страшно больно...— И она, кладя ему голову на плечо, горько расплакалась.

Катя не могла шевельнуть ногами, свести их вместе. Тело ее — сплошной синяк. Она не могла встать.

«Боже, что я с ней сделал!»

Невельской приказал сейчас же разбить палатку и разводить костер.

До Охотска было недалеко.

— Холдаков! — позвал он урядника. — Сегодня больше никуда не едем.

— Тут недалеко, Геннадий Иванович, на посылках донести можно, — возразил казак.

Когда Катю уложили в палатке, она взяла руку мужа и прижалась к ней лицом.

Он почувствовал, что она горит.

— У тебя сильный жар, — с тревогой сказал он.

Ее губы высохли и покрылись корками.

Вдруг она услышала, что он плачет. Он опустился перед ней на колени.

— Геннадий! — приподнялась она и порывисто обняла его.

Она была смущена и поражена, что ее муж умеет так рыдать. Его слезы придали ей силы. Екатерине Ивановне казалось, что он нуждается в ее помощи, что без нее он несчастен. Ей стало жаль его.

«Никогда, никогда ничего не удастся мне так, как я хочу!» — в горькой досаде думал он.

— Зачем я взял тебя!

— Я сама хотела этого, — проговорила она, откидываясь.

Ночью она бредила.

Утром Невельской приказал каравану идти вперед. Он оставил при себе Авдотью, казака и двух якутов с лошаадьми, а в Охотск написал письмо с просьбой немедленно выслать доктора.

Глава тридцать третья

В ОХОТСКЕ

Последние десять верст матросы, высланные из Охотска навстречу Невельским, Екатерину Ивановну несли на посылках. Поздно ночью переехали через озеро на лодке. Слышно было, как, идя по глубокой гальке, люди бужали в нее ногами. Впереди шел казак с фонарем.

Время от времени отчетливо слышался какой-то грохот.



— Что это шумит? — спросила Катя.

— Это кошка шумит, — ответил один из охотских матросов, — накат.

— Это шумит море, — сказал муж, шедший все время рядом. — Рушится волна на берег... Вот, слышишь, опять...

— Море... — слабо пролепетала она. Так вот оно, огромное, грозное, бескрайнее. Шторма нет, ветра нет, тихо, тепло, а такой грохот. — Как оно шумит! — сказала Катя, прислушиваясь внимательно.

Оттого что самого моря не было видно, а оно лишь угадывалось, его грохот казался еще грозней. Она впервые в жизни слышала шум настоящего моря. Она выросла в Петербурге и открытого моря не видела никогда, как никогда не слыхала шума прибоя. Это походило на шум

ветра в лесу. Шумело «его» легендарное море, о котором он так много рассказывал. Грохот волн становился все отчетливее, и ей казалось, что грохочет сам громадный океан, и все величие дел ее мужа и его мыслей становилось необычайно попятно ей.

Шум прибоя возбудил в ней интерес, а с ним и те силы, что исцеляют.

Послышались голоса, из тьмы подошли люди с фонарями, муж о чем-то заговорил.

Невельским была приготовлена квартира у священника. Бывший начальник порта Вонлярлярский сдал дела и уехал, а в Охотске всем распоряжался родной брат бывшего старшего лейтенанта «Байкала» Павел Казакевич, приехавший сюда на службу. Он отправлял людей и грузы из Охотска на Камчатку. Жил он на холостую ногу.

Большой старый дом Лярского, где когда-то пили, играли в бильярд, где в передней на старом плюшевом диване сидел лакей, назначен был теперь на слом и стоял черной безмолвной громадой без огней...

На квартире Екатерину Ивановну осмотрел врач, дал ей лекарство и наставления.

Невельской опять почти не спал ночь.

Взошло солнце, ставни открыли.

Катя лежала бледная, но повеселевшая, радуясь солнцу, светившему сквозь стекла.

— Сегодня уж никуда не надо ехать! От одной этой мысли я чувствую себя лучше!

Ей хотелось вскочить, почувствовать себя совсем здоровой, выбежать на солнце. Но она помнила, что врач велел лежать не шевелясь.

— Не беспокойся,— весело сказала она озабоченному мужу,— я все вынесу... И поеду с тобой...— И мечтательно добавила: — Да... по морю.

Он был рассеян, без надобности хватал вещи, вертел их в руках. В душе он решил, что ни в коем случае не возьмет ее с собой.

Позже он ушел по делам, потом она услышала, как он вернулся и кого-то бранил на улице. Наскоро позавтракав, он дал наставления попадье, как ухаживать за больной, что сделать, если у нее начнутся боли, кого и куда послать, чтобы вызвать его, и сам, попрощавшись с Катей и поцеловав ее, ушел в порт.

К Кате собрались местные дамы — жены офицеров и чиновников, еще не уехавшие на Камчатку. Слух о том, что юную хорошенькую жену капитана Невельского принесли ночью на руках, уже прошел по Охотску, и все желали ее видеть и помочь ей. Уже известно было, что она племянница иркутского гражданского губернатора и только что вышла замуж. Недавно было получено письмо ее мужа к Казакевичу, и в обществе еще тогда стало известно, что Невельские хотят купить здесь мебель у кого-либо из отъезжающих чиновников.

Дамы принесли сласти, фрукты. Оказалось, что одна из них готова продать свою мебель.

Муж пришел домой и застал целую компанию оживленно щебечущих женщин, старых и молодых. На столе он увидел ананасы, апельсины, яблоки... И тут же соленая черемша и клюква...

Когда дамы разошлись, Катя взяла апельсин и, счастливо улыбаясь, показала мужу. Она сказала, что здесь все распродаются и уезжают, одни в Россию, другие на Камчатку, и что ей предложили мебель... Но ей кажется, что дорого просят.

— Пожалуйста, Геннадий, сходи и посмотри!

Она заметила, что у него сегодня какой-то странный и неодобрительный взор.

— Ах, капитан! Почему такая строгость? Ведь мне в самом деле лучше...

Невельской увидел, что болезнь не пугает ее и она готовится к переезду и к устройству на новом месте.

Он сидел как вкопанный. Она, больная, только что перенесшая тяжелейший путь, думала о том, чтобы была мебель и письменный стол у мужа! Никто и никогда так не заботился о нем! И это в то время, когда он мысленно уже отправил ее обратно к дяде...

Катя узнала в этот день массу новостей. Что тут, например, можно из-за океана заказать прекрасные вещи, и все очень недорого...

— Дамы исправляют нам нашу политику,— шутливо добавила она.

Дивясь характеру своей Кати, он пересел к ней поближе.

— Но знаешь, я хочу сказать тебе... Ангел мой! Прости меня...

— Что такое? — испуганно спросила она.— Письма?

Екатерина Ивановна очень тревожилась за сестру, как та переносит разлуку, ведь они всегда были вместе.

— Писем нет... Я хочу сказать тебе... Я не могу взять тебя с собой в залив Счастья. Оставайся здесь, и по зимнему пути ты спокойно возвратишься к своим.

— Как? — Она вдруг расхохоталась.

Он уверял, просил, умолял. Она смотрела с удивлением, потом снисходительно и, наконец, натянув одеяло, обиженно умолкла, и ему показалось, что даже побледнела.

— Тебе хуже? — восторженно спросил он.

Она тоже восторженно спросила, испугавшись, что он понял все по-своему.

— Я скоро выздоровлю и поеду с тобой! — властно сказала она. — Но как же ты хочешь отправить меня в Иркутск? — поднимаясь, произнесла она с чувством. — Ты хочешь трясти меня снова? Да и как ты будешь один? Ты хочешь, чтобы я получала твои письма через год?

Его, моряка, чуть ли не всю жизнь проведенного в казарме и на корабле, глубоко трогало проявление ее любви и заботы.

Он капитан, вахтенный начальник, ему отдавали приказы, его награждали, отличали, давали чины, но никто и никогда не заботился о нем. До него самого дела не было. И служба так сжилась с ним, что стала, исполу с наукой, его личной жизнью. И вот теперь он вдруг возвратился в давно забытый, счастливый мир, где есть ласка, нежность, радость, любовь. «Да, она именно ангел», — думал он.

Ему было приятно, что она, юная, красивая, умная, желает уюта для него, заскорузлого в грубой и жестокой жизни человека. Он, словно в детстве, почувствовал нежную руку матери на своей голове. Он никогда бы прежде не подумал, что на Амуре нужна мебель красного дерева, удобный письменный стол. Но он не мог рисковать ее жизнью ради своей радости и опять стал просить ее вернуться в Иркутск.

Екатерина Ивановна и слушать ничего не хотела.

— Кроме страданий, я тебе еще ничего не причинил. Из-за меня с первых же дней ты заболела, перенесла муки.

Она молча повела головой. Руки ее протянулись к нему. Она ласково тронула его голову и склонила к себе на грудь, утешая его, как ребенка.

— Скоро я буду здорова. Я никогда не думала, что ты можешь плакать! — сказала она ему. — Ужасно! Ты помнишь?

И, как бы ужасаясь тому, что она довела его до слез, она опять обнимала его.

— Ты пожалел меня?

На ее лице были и смущение и радость. Она смотрела в его лицо, не веря своему счастью, с удивлением рассматривала его брови, глаза.

Утром пришел врач.

— Ну, как? — спросил Невельской, когда тот вышел от больной.

— Организм молодой и крепкий, поправится быстро. Ей значительно легче. Но нужен длительный отдых. Надо отлежаться... По-прежнему грелки на живот... Еще три дня полный покой, сон, опий...

Однажды Невельской вошел из соседней комнаты и сказал:

— Мой «Байкал» входит в бухту.

Екатерина Ивановна быстро поднялась и, откинув локоны, подошла к окну.

— Зачем ты встала?

— Я уже могу подниматься, — сказала она.

Она уже много раз смотрела в окошко на море.

— Это удивительно! — мечтательно произнесла Катя. — Первое судно, которое я вижу в своей жизни, твой «Байкал»... Мы пойдем на нем с тобой в залив Счастья... Я там так обставлю свое гнездышко, что ты будешь доволен. Ты не знаешь, как мне скорей хочется на твой Амур! Итак, я поплыву на «Байкале»!

Она представляла себе жизнь зимой в заливе Счастья: холод, льды, замерзшее море и грозные скалы в снегу. А в глубине ущелья маленькие домики. Один из них уютный, теплый, с чудной мебелью. В нем так хорошо! Если бы еще купить роаль!..

Сегодня попадья, к великой радости ее, сказала, что госпожа Козлова согласна продать фортепиано.

Катя с нетерпением ждала, когда же наконец врач разрешит ей выходить и она попробует сыграть на своем фортепиано.

В уютном гнездышке будет для мужа отдых, покой и счастье, а весной придет сплав, к нам в гости приедут Муравьев и Екатерина Николаевна. Они мечтали об этом...

«Фортепиано, фортепиано!» — ликовала душа ее. Ей чудились сонеты, романсы, вальсы и веселые мазурки в одном из домиков, занесенных снегом.

Болезнь отступила прочь, и вскоре Катя почувствовала себя совершенно здоровой.

Опять приходил доктор, сухой красноносый человек в ссевшемся морском мундире, садился рядом, трогал пульс, прощупывал живот.

— Еще полежать, достопочтенная голубушка моя Екатерина Ивановна.

— Как? Лежать? — вскидывая голубые глаза, удивленно спрашивала она. — Ах, доктор, вы ошибаетесь, я совершенно здорова!

— Вам нельзя ходить, — бормотал он. — Да-с! У вас было воспаление кишечника... И это не проходит так быстро. Лежите.

— Мне нельзя ходить? Нельзя вставать? Но я уже второй день с утра до вечера бегаю по комнате.

— И очень дурно-с! Дурно-с, смею заметить. Вы погубите себя! Это даст осложнение...

В этот день Невельской, придя с пристани, нашел кровать пустой. Катя выбежала к нему из соседней комнаты.

— Я здорова! — воскликнула она. — Какое чудесное фортепиано, оно совсем не расстроено, маленькое, из полированного красного дерева, в тон мебели. Оно войдет в любую самую маленькую комнату. Это будет великолепный ресурс в нашем уединении.

Воодушевленная представлявшимися ей картинами, она ходила по комнате. Она любила озадачить своего мужа. Он, такой умный, строгий, страшно деятельный и великий, терялся в такие минуты.

Она заявила, что не хочет сегодня обеда, что она сыта, съела ананас, обсыпав его ломти сахаром.

— Сама Жорж Сагд могла бы описать наше путешествие, — говорила она. — Только, конечно, не как Дюма описывает бедную Полину Анненкову в романе «Учитель музыки». Она могла бы написать роман «Учительница музыки». Я бы учила детей гиляков игре на фортепиано.

«Женщина должна беречь свою красоту и здоровье», — вспомнила она советы своей тетушки. В Иркутске это как-то смешно было слушать. Нет, не беречь! Я готова жертвовать собой. Она была уверена, что ее красота и здоровья хватит надолго. Я ли не здорова? О-о! Мне еще далеко до старости! Правда, в Охотске, впервые взглянувши в зеркало, она ужаснулась, заметив перемену в своем лице. Как оно поблекло и вытянулось. Она была дурна, бледна, худа. Но сейчас опять лицо ее оживленно и блещет красками юности. Глаза снова зажглись, игра не прекращается в них. Это душа, полная жизненной силы, выражается в их взгляде.

— А ты знаешь, я наконец нашел прекрасного кузнеца!

И она радовалась, что он нашел кузнеца. А он радовался фортепно.

— Я должен сам проверить все оружие, я занимаюсь этим. Кстати, ты должна научиться стрелять из пистолета... Но вот несчастье, бумаг нет из Петербурга! Неужели опять все будет как с инструкцией?!

— Да, это важно, — соглашалась она, все более пропикаясь уважением к казенным хлопотам и заботам.

Муж и жена приехали на «Байкал». В первый раз в жизни Катя вступила на корабль.

— Это твоя каюта? — спросила она, спустившись вниз.

— Да, это моя каюта.

— Ты тут мечтал?

Он молча кивнул.

— И плакал?

Она кротко, ласково и стыдливо склонила голову и прислонилась лбом к его груди. Он обнял ее. Она нашла губами его губы и крепко поцеловала.

— Ты думал тут обо мне?

— Да...

Она опять поцеловала его.

— Я мечтала идти на этом судне, с тобой, в твоей каюте...

— Но, может быть, я возьму еще одно судно в Аяно. Тут нет никаких удобств. Я строил это судно для себя.

Как объяснить ему, что именно здесь ей хочется идти. Именно в этой маленькой каюте без всяких удобств, где он жил так долго. Тогда можно почувствовать, как он жил, что думал.

— Какой веселый пац-то? — говорили матросы на «Байкале», проводив капитана с женой.

— Вот он прошлый-то год дичал! — сказал Иван Подобин. — Как она ему голову-то вскрутила! А какая вежливая, здороваётся со всеми за ручку и спрашивает.

— Попал Геннадий Иванович в штрафную! — смеялись матросы.

— У меня почти все готово, — говорил Невельской, возвратившись домой, — а бумаг нет. Я держу судно, до зарезу нужное в другом месте. Завойко проклянет меня. Он и так ненавидит меня. Я понимаю, что ему нужны суда.

Утром вошел вестовой.

— Геннадий Иванович, к вам курьер...

— Слава богу! — просветлел Невельской. — Ангел мой, как я счастлив! — сказал он, целуя жену. — Я иду!

Глава тридцать четвертая

ПЕРВЫЙ ОФИЦЕР

— Мичман Бошняк, честь имею явиться! — представился стройный и рослый, совсем юный офицер, с лицом, забрызганным грязью, пыльный и, видимо, порядком измученный.

Ему не более двадцати лет. Он гнал всю дорогу сломя голову, стараясь как можно быстрее доставить бумаги капитану Невельскому, о котором много наслышался.

Бошняк, как и многие другие офицеры, приходил в Петербурге в гостиницу «Бокэн», но не застал там Невельского. Его родственники — костромичи, земляки открывателя Амура. Через родственников Геннадия Ивановича они пытались хлопотать за юного Николая, но капитан уже уехал. Бошняк добился посылки его курьером в Охотск.

— Не ваш ли батюшка Константин Карлович? — спросил Невельской.

— Да, это мой батюшка! — сильно покраснев, ответил Бошняк.

— Так я очень рад земляку, очень рад, — крепко пожимая сильную руку офицера, сказал капитан. — Давно

знаю вашего батюшку! Как он поживает? Садитесь, пожалуйста, Николай Константинович.

Невельской тут же вскрыл и просмотрел бумаги. На этот раз все было благополучно и прислали их почти вовремя.

— Как же вы доехали, Николай Константинович?

Невельской очень рад был, что бумаги прибыли и что доставил их такой славный малый, сын хороших знакомых.

На щеках юноши снова вспыхнул густой румянец. Его черные брови взлетели вверх, а синие глаза метнули воинственные огни.

Он с чувством говорил про дорогу через Сибирь, ноздри его раздувались, когда он описывал, какие потоки набухли в горах во время дождей и как он переплывал их с опасностью для жизни. Все лицо его ожило. Столько душевного огня, возможно, совсем не надо было вкладывать в рассказ о таких простых событиях. Но мичмана все вдохновляло, все казалось ему необыкновенным: Сибирь, скачка верхом, расстояния, трудности пересзда. Душа его ликовала, что он исполнил все хорошо, прибыл вовремя, перенес стремительное путешествие от Якутска. Он, кажется, считал это подвигом.

Невельской понимал его прекрасно, сам еще не отвык от такого удалства, но именно это и нравилось ему в Бошняке. Он слушал мичмана, улыбаясь, как бы видя самого себя.

А Бошняк думал: «Я счастлив, что вижу самого Невельского».

Он продолжал рассказывать про ужасные затруднения в пути, про бурю в горах, ломавшую столетние деревья, когда в комнату вошла Екатерина Ивановна.

Бошняк знал, что капитан приехал в Охотск с женой, но не интересовался подробностями, как и многие молодые люди, погруженные в самих себя и в свои ощущения, в свои воображаемые страдания и подвиги.

И вдруг он увидел перед собой спокойное, юное лицо, немного возбужденный взор, чуть выпуклый белый благородный лоб, золотистые локоны. Она в голубом платье, в котором какая-то смесь, непонятная для молодого мичмана, — не то это что-то вроде утреннего капота, не то что-то похожее на вечерний туалет, но для вечернего, кажется, слишком ярко.

Бошняк сильно смутился.

Капитан представил его земляком и сыном добрых знакомых. Мичман готов был сквозь землю провалиться, опасаясь, что жена капитана слыхала, что он тут говорил. Ему только сейчас пришло в голову, что ведь она сама проехала этими дорогами, и ему стало стыдно своего хвастовства.

Она с кротким взглядом, как в насмешку, спросила про дорогу.

Бошняк стал сам не свой: менять мнение о дороге было поздно и неловко, уверять, что она тягостна, — того глупей.

Екатерина Ивановна, видя его замешательство, сказала, что по приезде в Охотск она несколько дней не могла подняться с постели.

За обедом Невельской расспрашивал Бошняка о Петербурге и Николае Николаевиче, а Екатерина Ивановна — о Екатерине Николаевне, и очень сожалела, что мичман не задержался в Иркутске и не привез оттуда никаких новостей.

Потом Невельской стал рассказывать про прошлогоднюю экспедицию, хотя Екатерина Ивановна слыхала это много раз, но была очень внимательна, так как муж сегодня был в ударе и говорил все по-новому, рисуя особенно яркие картины, а ее очень интересовало, какое впечатление производит все это на мичмана.

После обеда офицеры отправились в порт, где заканчивались последние приготовления к отплытию. Невельской, желая, чтобы Бошняк взглянул на Охотское море, пошел дальним путем и поднялся со своим гостем на гребень косы. Время от времени на берег накатывал огромный вал и с глухим гулом рушился на гальку.

Бошняк с наслаждением подставил лицо свежему ветру. Ему захотелось как-то выразить охватившее его чувство, признаться в чем-то сокровенном. Он был в восторге от того, что стоял на берегу Тихого океана, рядом со знаменитым капитаном.

— Вы любите Лермонтова? — вдруг с жаром спросил он.

— Очень люблю! — отвечал Невельской, понимая состояние собеседника, попыхивая трубкой и мысленно улыбаясь.

Рядом с этим юнцом он чувствовал себя солидным, пожилым человеком.

— Да, это прекрасно! — сказал Бошняк. — Я люблю его стихи безмерно. — И он подумал: как хорошо, что Невельской тоже любит Лермонтова.

«Играют волны, ветер свищет, — вспомнил он, — увы...» Еще более сильное чувство охватило его. Ему хотелось заплакать от радости и восторга и еще чего-то, похожего на тайное горе. Еще он вспомнил:

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна...

Ему казалось, что он сейчас как северная сосна на каменном побережье Охотского моря, бесплодно мечтающая о пальме знойного юга.

Они пошли по гальке, направляясь к бухте — большому ковшу, выкопанному лопатами каторжников в течение многих лет, посреди кошки. «Байкал» стоял у стенки ковша.

Невельской остановился, взяв Бошняка за пуговицу и, держа ее крепко, долго еще говорил про экспедицию.

На корабле Бошняк присутствовал при разговорах капитана с матросами и заметил, что Невельского любят.

Он узнал, что Невельской сам набирал этот экипаж. Бошняк, несмотря на молодость, имел опыт, он видел, как разумно загружается судно и в каком всё замечательном порядке.

«Ах, если бы у нас в России было больше гласности! Если бы можно было опубликовать в газетах о подвигах Невельского, об этой необыкновенной подготовке к экспедиции! Как бы тогда вся Россия завидовала мне, впервые услышавшему все это здесь, на палубе «Байкала», от самого Невельского, да еще где — на крайнем Востоке, в Охотске. Но в России это невозможно... Я бежал из России», — с пылом размышлял он.

Прощай, немытая Россия!
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые...

Хотя в роду Бошняков были люди, служившие в жандармерии и в Третьем отделении, но Николай Константинович любил эти стихи и вид жандармского мундира всегда вызывал в нем чувство стыда.

«Да, у нас всюду тайны! Какой позор, какая узость понятий! Тогда как «это» не должно быть тайной».

Он твердо решил теперь, после того как все увидел и услышал, поговорить с капитаном Невельским. Еще до самого сегодняшнего дня он колебался.

Когда офицеры пришли домой, Геннадий Иванович сказал жене:

— Катя! Николай Константинович поступает в нашу экспедицию. Я беру его, и он идет с нами на «Байкале». Прошу любить и жаловать первого из офицеров, отправляющегося со мной добровольно в экспедицию.

Это намерение Бошняка сразу расположило к нему обоих супругов. Остаток вечера провели в дружеских разговорах, как в своей семье. Екатерина Ивановна заметила, что Бошняк смущался, когда речь заходила об иркутских ссыльных, пострадавших за декабрьское восстание.

После ужина мичман отправился на отведенную ему квартиру. Он думал о Невельском и его жене.

Бошняку все еще было стыдно. Смольяницка совершила такое же путешествие, но не придает ему никакого значения. Она едет с мужем! Какой героизм! Какой необычайный человек! И какие глаза! Какая чистота взора, ясность мысли, женственность, благородство...

Образы женщин, которых он желал презирать, подобно Печорину, исчезли из его головы и разлетелись в пух и прах. Его байроническое настроение и любовь к Печорину получили первый и сильный удар. И где? В Охотске! Он чувствовал, что тут все не так, как в столицах, все наоборот, что это Екатерина Ивановна может презирать его, а не он ее.

«Не презирать ее, а удивляться, молиться на нее я должен. Откуда, как, почему явилась она здесь, в Охотске? Любовь! Любовь ее ведет на подвиг. Она идет туда, а я считаю подвигом свою поездку в Охотск... Я, кажется, счастлив тем, что она будет рядом, что она хоть изредка посмотрит на меня...»

На миг он подумал, что мог бы вернуться в Петербург. Уж там он выказал бы все свое разочарование и презрение, сравнив суетный свет с подвигами героев на Востоке. Он, кажется, и ехал в Сибирь ради того, чтобы потом показать «свету», как устал и как всем пренебрегает, хотя бы по службе в это время приходилось испол-

нять разную черную работу и школить матросню, натаскивая ее в шагистике. Теперь он почувствовал, что все это смешная игра — все его бывшие замыслы — и что жизнь предоставляет ему случай совершить настоящие подвиги, о которых, быть может, никто не узнает, но он все же будет участвовать в великом деле.

«Я пойду с экспедицией! — решил он. — Неужели я, полный сил, здоровья, испугаюсь жизни в пустыне, когда юная женщина не боится? Смею ли я довольствоваться тем, что видел только подготовку?»

Желание вернуться в Петербург еще жило в нем и боролось с жаждой подвига.

— Какой прекрасный молодой человек, — говорил жене Невельской на другой день вечером, — сама судьба послала его мне. Он быстр, распорядителен, настойчив, умеет слушать, сошелся с людьми, всем интересуется.

— Я счастлива, если он будет тебе хорошим помощником.

Утром на пристани чернела толпа людей. Катя, подойдя к берегу, увидела женщин с маленькими детьми. Всюду были разбросаны вещи, сундучки, узлы. Лица женщин скорбны. Вид у них такой, как будто происходит народное бедствие.

— Люди ждут отправки в Петровское, — хладнокровно сказал муж. — И тут же собрались провожающие, и, видно, зевак немало.

Он как будто не видел страданий, что написаны были на лицах бедных женщин.

У Кати сжалось сердце. Она подошла к толпе. Женщины стали кланяться ей поясными поклонами. Она разговорилась с ними. Оказалось, что это семьи матросов и казаков ждут погрузки на «Байкал». У трех семей отцы зимовали в заливе Счастья, а у двоих — отправлялись вместе со всеми на «Байкале».

Невельской заметил беспокойство жены, велел загребному со своего вельбота взять людей и написал записку командиру «Байкала» Шарипову, чтобы тот не держал женщин с детьми на берегу и на палубе, а сразу же поместил их в каюте.

Вечером Невельские приехали на судно. Погрузка уже закончилась, и те женщины, которых видела Екатерина Ивановна на берегу, находились в каюте на одних нарах

с матросами. Тут же приютились дети. Все было zagrożено вещами.

Екатерина Ивановна, видя женщин с детьми в таком тесном помещении, подумала, что офицеры могли бы уступить им одну-две каюты. Но она с удивлением услышала от самих женщин, что они очень довольны.

— Разве вам тут удобно? — спросила она, присаживаясь на краешек нары и заигрывая с черномазым мальчиком, которого мать держала за пояс, в то время как он тянул пухлые ручонки к локонам капитанской жены, а ногами выделывал такие штуки, как будто хотел бежать к ней по воздуху.

— Тут-то хорошо, барыня! — ласково отвечала его мать, еще молодая, скуластая женщина.

— Как же, госпожа! — бойко молвила другая, длинноносая, с выбившимися из-под платка прямыми русыми волосами, возясь на нарах. — Чай, место нам досталось.

— Разве можно путешествовать без места?

— Всякое бывает, матушка! — заговорила старая черноглазая женщина. — Промышленников в Ситху везут, навалят их, как рыбу. Скотину так не возят. Вон, барыня, на Камчатку народ отправляли. Уж, казалось, распоряжение было, чтоб всем по месту досталось. А как пошли сюда, люди и на палубе улеглись. Вот мы из Америки тот год шли с зятем, с Парфентьевым, так и на нарах некоторым места даже не досталось.

Кате стало стыдно, что ее фортепиано и мебель красного дерева так превосходно упакованы и уложены, она опасалась, что этим отнято место у людей. Правда, часть мебели на палубе. Но она слышала, как муж ссорился из-за каждого лишнего дюйма на корабле. Он говорил, что если загромоздить палубу, то, в случае опасности, артиллеристам неудобно будет. Но все же отрадно было подумать, что куплена прекрасная мебель и старенькое, но все же милое фортепиано. И муж, кажется, не только не стыдился, что взял столько собственного груза, но даже и не подумал об этом.

Утром судно выходило из бухты. Разжалованный Охотск уже не салютовал. Пушки с его батарей, часть которых привезена была Невельским через Камчатку из Кронштадта, теперь были сняты и увезены обратно на Камчатку.

Впервые в жизни Екатерина Ивановна выходила в море. Она стояла на юте между мужем, который командовал, и Николаем Константиновичем около рулевого Ивана Подобина и командира корабля Шарипова и с жадным любопытством смотрела, как навстречу кораблю двинулась зеленая масса вздувшейся воды, как зашумели первые волны, как судно вышло из устья реки, как задрожал от этих ударов «Байкал», как разбежались по мачтам люди и как плавно и торжественно стали распускаться над палубой паруса.

На волнах множество нерп, они перевертываются через гребни, показывают спины и светлые животы в пятнах.

Вдруг ударил морской ветер, раздался свист в снастях, послышались тревожные крики чаек, подлетающих к самому судну, словно для того, чтобы схватить на палубе какую-то добычу. Чайки верещат особенно, словно предвещают сердцу грядущую бурю.

Ветер, море, нерпы-акробаты, тревожные чайки, высокие волны в пене — все сразу как-то нахлынуло на Екатерину Ивановну.

Она посмотрела на берег. Волны подходили к нему косо, ударяясь сначала где-то далеко в насыпь из гальки, с силой вышибая белые столбы, а потом вдоль берега по отмели мчалось зеленое колесо в белых брызгах; сердцевина его блестит на солнце, как граненое зеленое стекло.

Видна огромная кошка, за ней бескрайняя марь, с мелким лесом и гнилыми пнями, а дальше зубчатые голубые горы, гряда над грядой, усеянные мелкими вершинами, как насыпанными из голубого песка.

А зеленое колесо бежит по берегу, налетает на обломок огромного пня, ударяет, поднимается туча водяной пыли.

Над бухтой и над крышами Охотска синяя большая гора вдруг вся засеребрилась, как в снегу; поднялась и разлетелась во все стороны огромная туча чаек, кажущихся снежинками...

Бар пройден, опасное место миновали. Невельской бросает последний взгляд на порт, на синие горы. Вряд ли он видит тучи чаек и зеленые колеса, которые одно за другим катятся под кошкой.

— Командуйте, Василий Васильевич, — говорит он, обращаясь к командиру «Байкала».



Капитан козырнул. Высокий, сухой штурман Шарипов вытянулся и приложил руку к козырьку.

Невельские отправились вниз.

Вот Катя в каюте с мужем. Ей все тут нравится. Она представляет себе, как он жил тут, что думал.

В сумерках она снова поднялась на палубу.

Море потемнело. Вид был грозный. Бесконечные вереницы волн шли откуда-то издалека, из темного сумрака. Казалось, мрак движется навстречу. Ей стало жутко. А на западе море горит и клубится дым.

Вечером на вахту заступил Бошняк. Ветер свежел. Николай Константинович втайне мечтал, что Екатерина Ивановна подыметься на палубу и что-нибудь спросит. Это было бы величайшим счастьем. Иногда Бошняку

казалось, что он влюблен в нее, но он старался откинуть эту мысль прочь. «Я боготворю капитана! — говорил он себе. — «Играют волны, ветер свищет...» — в сотый раз повторял он мысленно.

Чем темнее становилась ночь, тем сильнее чувства охватывали Николая Константиновича. Невельской дал ему мотив и тему для чувствования и размышлений, и теперь он жаждал подвига. Знакомые настроения охватили его с новой силой. Он понимал, что отправляется далеко от своих, что будет трудиться вдали от родины.

Предстоят великие открытия, со временем люди узнают о них и поймут все и вспомнят его, юного мичмана Бошняка, который уже сейчас все отлично понимает и готов пожертвовать собой.

«Я здесь, может быть, погибну, но я погибну ради будущего». На миг он подумал: «А что, если я в самом деле не вернусь? Как-то странно болело сердце сегодня, когда покидали порт».

«Играют волны, ветер свищет», — снова звучит в голове.

— Ветер заходит! — недовольно произносит рулевой.

— Пошел на брасы! — командует Бошняк так зычно, что никому бы никогда в ум не пришло, что это голос человека, который недавно еще был разочарован.

Темнеет. Охотский ветер не шутит. Потянуло стужей.

— Одерживай! — громко и отчетливо командует мичман.

— Есть одерживай! — отзывается рулевой.

Бошняк решает переменить курс. И от сознания, что распорядился правильно, что идет там, где плавание — редкость, к устью реки, к Сахалину, что все будет удивлены его подвигом, даже одним тем, что он туда отправился, он чувствовал прилив гордости. Он знал дело, видел, что Невельской доволен им, доверяет. Он готов был служить великой цели капитана, готов боготворить его за то, что в скучной и однообразной жизни, которую видел перед собой Бошняк, Невельской вдруг открыл ему цель.

Он мысленно сочинял письмо своим родственникам: «Кто плывал по Охотскому морю, тот может себе представить, какое наслаждение производит...»

Бошняк чувствовал в себе здоровье, силу, отвагу, и он все готов был отдать за Невельского и его цель. Он готов даже умереть на виду у него и у Екатерины Ивановны.

Он представлял, как ей будет жаль тогда его, как она станет раскаиваться, что приняла его при первой встрече за труса.

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит.
Увы, он счастья не ищет
И не от счастья бежит... 9

Пока Бошняк размышлял столь романтически и ждал, что, быть может, Екатерина Ивановна выйдет на палубу, се жестоко рвало. В каюте был тяжелый воздух. Дуня то и дело подавала тазик и затирала пол.

Невельской поднялся на палубу очень озабоченный. Положение жены, которая, едва началась качка, опять заболела, очень тревожило его. Она, видимо, совершенно не переносила море. Но что же будет дальше! Все средства, какие капитан знал, он пустил в ход, но ей не легче. Невельской думал о ней, только о ней, и все вокруг казалось ему укором, что он смалодушничал и согласился взять жену. Но уж теперь выход один — поддерживать в ней мужество всеми возможными средствами. Если же ничто не поможет, то на крайний случай — оставить ее в Аяне.

«Слава богу, что со мной Бошняк. Он настоящий офицер, прекрасно держится в любом положении. Недаром его рекомендовали известные моряки — он привез их письма, но не хотел показывать...»

Ветер ударил снова.

— На фалы!

Бошняк убрал часть парусов. Налетел шквал.

Капитан принял команду. Голос Невельского зазвучал в рупор.

Ночь, бегающие люди, фонари, хлопающие паруса, водяная пыль, мокрая одежда...

Бошняк всюду успеваает. Он уже не думает ни о себе, ни о Лермонтове. На судне аврал, топот ног по трапам, работа на реях, со смертельной опасностью, но в ушах против воли все время звучит и звучит:

Играют волны, ветер свищет...
Увы, он счастья не ищет...

Ему казалось, что он простился со всем старым миром и туда больше не вернется...

Шквал ушел... Немного покачивает.

Дуня прибежала на палубу и сказала, что Екатерине Ивановне совсем плохо.

Невельской сбежал вниз.

Катя сказала слабо:

— Геннадий, ты нужнее там.

Она слышала про железные законы морской жизни и согласна была подчинить им себя совершенно. Ей стыдно было своей слабости, стыдно, что муж видит ее в такой немощи, такую растрепанную.

Невельской почувствовал, что она запугана его морскими рассказами о законах на судне, подумал, что мужчины из хвастовства и желания удивлять своих юных возлюбленных наговаривают им не то, что надо. «И вот бог наказал меня за хвастовство. Она все терпит и ничего не хочет знать...»

На счастье, ветер стал утихать. Волны улеглись, и качка прекратилась. Екатерина Ивановна хотела встать, болезнь ее исчезла так же быстро, как и появилась.

Муж помянул, что ждет встречи с Мишей Корсаковым, который ожидает «Байкал» в Аяне. Он говорил, что ей надо больше бывать на людях, разговаривать, отвлекаться, иногда так легче переносить качку.

Утром в иллюминатор ярко засветило солнце. Екатерина Ивановна пожаловалась, что все время слышит какое-то гудение.

— Что это? — спросила она мужа. — Вот, слышишь? Невельской прислушался и засмеялся.

— Это Николай Константинович стихи читает, — сказал он.

Глава тридцать пятая

ТРЕВОЖНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

В Аяне, едва бросили якорь, явились Кашеваров и Корсаков. С ними приказчик Березин — он должен отправиться в Петровское с Невельским.

Миша такой же юный, как Бошняк, но куда осанстей; он теперь майор. У него такие же ясные, голубые глаза и такой же румянец, как у Николая Константиновича. Невельской все подсмеивался над ним в Петербур-

ге, желая ему вместе с чином и майорское брюхо, но Миша строен по-прежнему.

— Миша, милый Миша,— пылко и восторженно говорил Геннадий Иванович,— вот она, моя жена! Она едет в пустыню нести со мной крест, услаждать мое одиночество. Ах, Миша! Как я счастлив!.. Миша, Николаевский пост оставлен!

Кашеваров поздравил Невельского и поцеловал ручку Екатерины Ивановны.

Он тут же озаботил Геннадия Ивановича.

— От Орлова зимой было одно письмо, и с тех пор ничего нет. «Охотск» до сих пор не пришел. Дошли слухи через туземцев, что всю нашу экспедицию на Петровской косе вырезали.

В первый миг Невельской подумал, что и в прошлом году то же самое говорили. Он не желал поддаваться тревоге, хотя отчетливо представлял, что надо быть ко всему готовым.

— Да, «Охотска» нет! — сказал Миша.

Выражение лица его переменялось.

Невельской и сам был озабочен этим. Входя в гавань, он видел, что «Охотска» нет. Стоял «Шелихов» — компанейское судно, пришедшее с пушниной из Америки.

Приехал капитан «Шелихова» Мацкевич — плотный мужчина среднего роста, с белокурыми волосами и со вздернутым носом.

Невельские пригласили гостей вниз.

Вместе с офицерами приглашен был и приказчик Березин, еще молодой человек лет тридцати, рослый, плечистый, с окладистой бородой, с желтыми подстриженными волосами. У него серые глаза и большой нос.

Появилось шампанское, хлопнула пробка. Все выпили за здоровье молодых. Кашеваров, казалось, повеселел. Он держался просто, без былой натянутости.

Екатерина Ивановна впервые в жизни сидела вот так — в каюте, в компании молодых моряков. Голоса у всех резкие, грубые. Тут не то, что в салоне у тетюшки.

Бошняк молчал, чем-то встревоженный, Березин сидел у края стола, глаза его сверкали. Ему от души понравилась жена капитана, она держалась просто, словно не была племянницей губернатора.

Невельской сказал, что он уговаривает ее остаться в Аяне, но она не соглашается.

Снова хлопнула пробка.

Понемногу разговор перешел на неприятные известия из Петровского.

— Если экспедицию в Петровском вырезали, — сказал Березин, которому хотелось не только напомнить об опасности, но и громко заявить свое мнение, — то... — Он, хитро улыбнувшись, добавил, глядя на капитана: — Орлиному глазу, Геннадий Иванович, воронья слепота не указ, но, по-моему, — он опять сверкнул взором, — надо выловить этих гиляков, которые пошли на измену, и наказать!

Березин, единственный невоенный мужчина в этой компании, настроен был воинственнее всех. Невельской знал, что Орлов его родственник. И Березин, и Дмитрий Иванович, и Фролов, да еще камчатский исправник Федоров, кажется, женаты на родных сестрах, или что-то в этом роде. Через нескольких сестер с их многочисленными родственниками чуть ли не все служащие в этом краю породнились между собой.

В прошлом году, когда Невельской встретил Березина в тайге на тракте, приказчик был выбрит чисто, и теперь удивительно было, как он успел отпустить такую бороду. Тогда в тайге грудь его была перепоясана двумя белыми шарфами, наподобие лосиных ремней, что носят военные. Видно, он желал казаться поважней и внушать якутам уважение своим видом.

У Березина спросили, не приходилось ли ему встречаться с гиляками.

— С гиляками не видался, но про них слышал. И берусь идти с десантом. У меня привычка: иду в тайгу с товаром — два пистолета и кинжал всегда с собой! Вхожу в юрту, как домой, и никто меня никогда не тронет. Сплю спокойно. Пистолеты не показываю. Прежде, бывало, боялся, в Монголии и в Забайкалье. Если не чисто место, сплю, бывало, а палец держу на курке...

Невельской еще в прошлом году слышал, как Березин ехал с монгольскими разбойниками тысячу верст и как дружно жил с ними. Лет пять тому назад он служил в Кяхте у богатого купца. Он жил с женой этого купца, принудив ее к этому силой. Березин уверял, что все время потом у них была горячая любовь, купчиха была красавицей... Видно, из-за этого и пришлось Березину обратиться из благодатной для торгашей Кяхты в Якутск.

Тут поступил он приказчиком в Компанию, объездил все закоулки обширного края. Он с большой охотой шел на Амур, куда был назначен по просьбе Невельского.

Известие о том, что в Петровском вырезали отряд Орлова, было не для праздничного стола и не для свадебного пиршества с друзьями. Невельской шутил, пил и угощал, но втайне сильно озаботился. Быть может, Березин прав, придется брать Петровское штурмом, искать виновников и расправляться с ними.

Миша тоже задумался. Он был удручен тем, что Невельской женился на Екатерине Ивановне. После отказа капитану у Зариных Миша решил, что введет его в свою семью, выдаст за него сестру Веру. Как бы это прекрасно было. И сестра так ждала, что Невельской придется погостить вместе с братом и познакомится с ней. А он помчался в Иркутск, видно, не имеет гордости... Папенька и маменька тоже ожидали. Лучшей жены, чем Вера, Невельскому и желать бы не надо! Она тиха, скромна, домовита. Миша смотрит на Геннадия, как на человека, который нехорошо поступил, разрушив все его планы, как бы вторгнулся в семейную жизнь Корсакова и нарушил ее спокойствие. Правда, Миша вежливый, исполнительный, воспитанный и для него же старался, заказал для Екатерины Ивановны в Якутске «качку», приготовил все, что нужно для переезда Невельских в Охотск. Но закрадывалось сомнение, любит ли его Катя, если в прошлом году ему отказала? Может быть, даже и не любит. А как Вере будет обидно!.. И вместе приезжали бы с ним домой, отпуская бы нас иногда Николай Николаевич погостить.

Когда спустя часа два все поднялись, Невельской условился с Кашеваровым на завтра о военном совете. Миша несколько задержался по просьбе Геннадия Ивановича.

— Ты знаешь, Миша,— сказал Невельской,— не хотел я тебе говорить... Печальное известие... Христиани умерла.

— Как? — поразился Корсаков.

— Да, от сыпного тифа. Она не поехала во Францию.

«Она не хотела уезжать из России»,— подумал Миша.

Когда все разъехались, Невельской рассказал жене все, что он думает об экспедиции, и о том, как придется теперь действовать. Катя еще неясно понимала, что она

может стать свидетельницей военных действий, быть может, увидеть битву. Она подумала о раненых.

— Будет ли с нами доктор? — спросила она.

— Да, мы берем здесь доктора. С нами будет морской врач Орлов, однофамилец Дмитрия Ивановича. Мы берем здесь несколько казаков и грузы. Я намерен забрать «Шелихова». У меня предписание на руках брать любое судно, в случае опасности. И я на свой риск и страх заберу «Шелихова» и с двумя судами пойдем к устью Амура, чтобы иметь возможность на одном оставить грузы, а другое держать вооруженным на случай опасности.

Утром Екатерина Ивановна поднялась на залитую солнцем палубу. Сегодня, при хорошей погоде. Аян очень понравился ей. Все дома были новенькие, чистые. Горы полукругом охватывали бухту. Всюду зелень.

Кашеварова радушно приняла молодую капитаншу. Пока дамы проводили время в разговорах, в кабинете Кашеварова шел военный совет.

Невельской потребовал передать «Шелихова» в его распоряжение. Он сказал, что погрузит все на этот корабль, посадит на него детей и женщин, а «Байкал» пойдет с десантом и первым войдет в залив Счастья. Командир «Шелихова» Мацкевич горячо поддержал капитана и сказал, что готов содействовать.

Кашеваров приосанился и с важностью пожевал губами. Глаза его усталились на Невельского.

— Корабль компанейский, и бумага генерал-губернатора не имеет никакого значения, — заявил он. — Василий Степанович Завойко будет возмущен, если мы отправим «Шелихова» не туда, куда следует, так как этот корабль должен грузиться для Петропавловска. Правление Компании будет также возмущено... Однако, представляя всю опасность, которая грозит делу, я согласен взять на себя ответственность. Только так мы выясним главную суть вопроса. Назначая «Шелихова» следовать на Амур! Завтра же закончим выгрузку пушнины, и я поставлю всех моих людей на перегрузку.

Через два дня Невельские переехали на корабль «Шелихов». Туда же перебрались семь матросов. Женщины опять поместились вместе с матросами, в жилой палубе, которая была тут грязней и тесней, чем на «Байкале».

Невельским капитан судна Мацкевич уступил свою просторную и удобную каюту из двух отделений. Екате-

рине Ивановне не очень правился «Шелихов» со всеми его удобствами. Ей жаль было покидать «Байкал» с его маленькой уютной каютой, к которой она уже привыкла.

— «Шелихов» нужен на Камчатке,— с досадой говорил Невельской,— с Кашеваровым мы делим ответственность за это судно. Если все благополучно, то «Байкалу» не придется дважды ходить в Петровское. Мы сразу берем здесь все, и оба судна после рейса на Амур отправляются в распоряжение Василия Степановича. Я не могу поступить иначе. Я не верю здешним чиновникам... Им нельзя верить. Даже Кашеваров, по-своему честный человек, и то бывает, что меняет мнение. Тут люди сплошь ненадежны. Если мы с тобой уедем на «Байкале», а потом это судно вернется сюда за второй половиной груза,— бог весть, попадет ли оно снова к нам. Пришлют не то, что надо, или совсем ничего не пришлют.

На другой день Невельские простились с Мишей, с Кашеваровым и Аяном. Оба судна с попутным ветром вышли в плавание.

— Я приехал в Аян в прошлом году. Смотрю — березок нет,— рассказывал Березин капитану, сидя в кают-компании.— Я к Кашеварову. Он взъярился, шерсть дыбом. Пошли мы хлестаться... Я говорю: «Как?..» Он: «Не твое дело!» Я: «Постой, ваше высокоблагородие!» Ну, дай, думаю, попробую с ним по-хорошему. «Зачем, говорю, было березы рубить? Я, Березин, не могу видеть, когда зря березы губят...»

Березин держался со всеми офицерами как ровня, сыпал народными выражениями и чаще, чем кто-либо, овладевал всеобщим вниманием в кают-компании. Заметно было, что он хочет казаться оригинальным.

Геннадий Иванович объявил всем, что каждый обязан подавать ему свое мнение о действиях экспедиции независимо и открыто.

По его приказанию Березин был помещен в офицерской каюте. А тот недоволен был, что его не посадили на «Байкал», где шел десант, которому предстояла схватка.

— Еще неизвестно, Алексей Петрович, которому судну больше достанется, если начнется драка,— говорил ему капитан.

На этот раз Невельской был доволен Кашеваровым. Боялся ли тот Миши, который сидел в Аяне целый месяц, или он в прошлом году настроен был кем-то против Не-

вельского — трудно было сказать. Но нынче Кашеваров приготовил для экспедиции все.

...Прошли Шантарские острова.

Бошняк по-прежнему читал стихи Лермонтова, нес вахту и с немим благоговением смотрел на Екатерину Ивановну.

Березин выбрился, оставил лишь усы и опять стал совсем молодым человеком. Он все чистил пистолеты и выходил на палубу, заткнув их за пояс. Он умолял Невельского дать ему шлюпку и десять матросов, когда придут на Петровский рейд, и вызывался первым высадиться на берег.

Бошняк надеялся, что первым с десантом на косу отправят его...

Понемногу воинственное настроение овладевало всеми.

Березин часто разговаривал с боцманом Тихоновым о стрельбе из пушек, выказывая познания в артиллерии.

— Воронья слепота не указ, Геннадий Иванович, но уж близко... Надо бы на всякий случай пушки зарядить.

Березин вел дневник и вечером кратко записывал все, что произошло за день. Он производил на Невельского впечатление человека, преисполненного сил, которому некуда девать на корабле свою энергию.

Однажды раздался свисток боцмана, труба проиграла сигнал, весь корабль задрожал от топота ног.

Екатерина Ивановна услышала раскатистый грохот выстрела. Наверху били из орудий. Она весь день ожидала этого с замиранием сердца.

Муж предупредил, что назначает сегодня артиллерийские учения, и просил не пугаться.

Глава тридцать шестая

ПЕРВЫЙ КРЕЙСЕР

Видимо, ветер ослабел, но еще покачивало.

Авдотья вымыла таз и поставила кувшин с водой.

— Мне легче,— сказала Катя.

Она еще лежала, но приступ морской болезни прекратился.

Наверху послышался голос мужа. Она почувствовала, что он близко, почти рядом. Это было ее утешение. Все

дни тяжелого перехода от Айна в залив Счастья он проводил наверху.

Он часто уходил ночью и возвращался мокрый и застывший, но веселый и счастливый, и сразу с жаром рассказывал, что делается наверху, какой-нибудь забавный случай, например, как Бошняк лазил с матросами на рею и помогал им, а потом съехал на руках по снастям прямо на палубу. По рассказам мужа она представляла все, что делается наверху. Он садился у кровати, брал ее за руки, и ей становилось легче.

У нее был веселый характер, и хотя она болела, но, едва входил муж, — забывалась, шутила, смеялась. Без него ей часто бывало грустно. Она сетовала, что болеет, что почти ничего не может переносить. Она рассказывала ему, о чем мечтала с подругами в институте, о какой жизни...

— Ничего, я привыкну! Я уже привыкаю... И я уже отличаю брамсель от бугшприта, — смеялась Катя. — Приподними меня...

Когда было весело, припадки болезни проходили.

Муж спал мало, отдельно от нее, урывками днем и ночью, вздрагивал во сне, а она в бессонные часы застенчиво любовалась его озабоченным даже во сне лицом.

Он так берег ее, что не смел прилечь к ней. Лишь иногда, стараясь забыть недуг, она упрашивала его остаться, обняв руками и потеснившись, согревала в своей теплой постели его озявшее мускулистое тело, жалея его не только за эти бессонные ночи, но и за всю безрадостную и жестокую жизнь, которую она слышала в этом хриплом рупоре, в грохоте волн и топоте ног... Он жил так день и ночь. Он берег и охранял ее и всех на корабле, и успокаивающе звучал наверху его голос. Только она одна видела его слабым, когда он засыпал у нее на руке коротким, мертвым сном.

Проводя целые дни в своей каюте, Катя понемногу привыкла по звукам догадываться, что делается на корабле. Вот забегали по палубе, скрипят блоки и снасти — это убирают лишние паруса, поворачивают реи — судно меняет курс. Иногда она спрашивала его, что значат те слова, которые он выкрикивал. Ей страшно было подумать, что делается там, наверху, в эту бесконечную ночь, когда опасность наконец стала так близка.

Снова раздался голос мужа и вслед за тем характерный звук якоря, рухнувшего в воду, и далее длительный лязг якорной цепи, время от времени стихающий. С бака кричит боцман, офицер приказывает еще травить, цепь снова лязгает.

— Приехали, что ли, Катерина Ивановна? — подымая голову, спрашивает ночующая в этой же каюте Дупяша.

«Неужели конец путешествию? — с радостью и тревогой подумала Катя. — Боже, что-то ждет нас?»

— Кажется, приехали, — неуверенно отвечает Катя. «И кажется, все спокойно, никто не нападает», — подумала она, слушая деловые голоса наверху.

Ветер стих, судно не качает.

— Я иду наверх! — воскликнула она оживленно и вскочила с постели.

Она снова чувствовала себя здоровой. Ей хотелось к людям, видеть берег. Авдотья помогла ей умыться и одеться.

— Наверху-то холодно! — приговаривала она.

Накинув шубку, Екатерина Ивановна поднялась по трапу.

«Но что это?» — подумала она, выйдя на палубу.

Ни зги не видно было, туман, словно дым, застал все, даже людей на палубе, и клубами валил в лицо. В воздухе сыро, даже мокро, но не холодно.

— Какой туман! — молвила она.

Хватаясь за поручни, Катя пробежала мимо рулевого по мокрой и скользкой палубе.

Офицеры и капитан стояли у левого борта и о чем-то говорили, иногда показывая руками во мглу.

— Где мы, господа? — спросила Катя, появляясь за их спинами.

Все почтительно расступились.

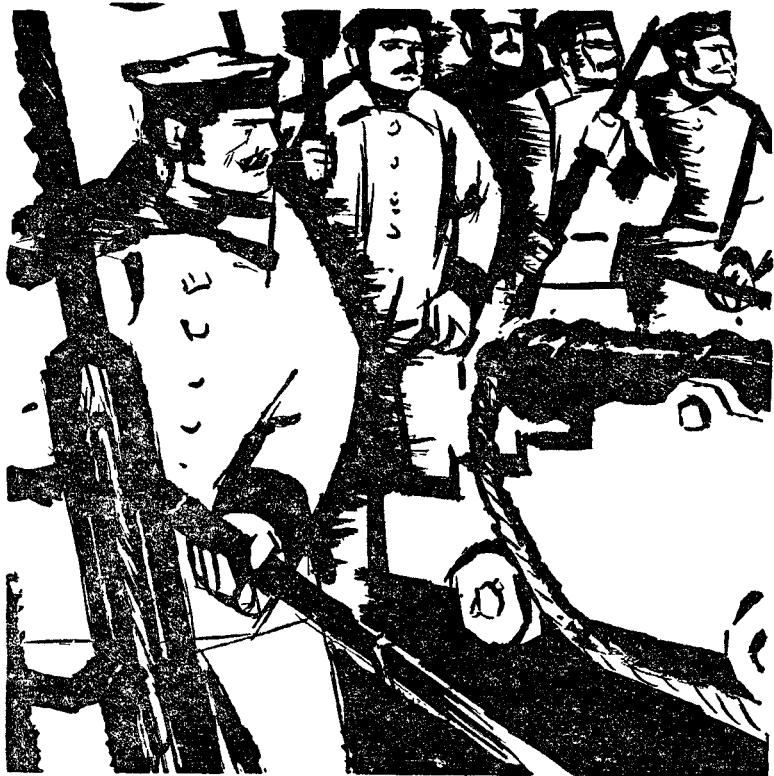
— Вот здесь Петровское! — уверенно сказал муж, показывая вытянутой рукой куда-то прямо в туман, и добавил с чуть заметной улыбкой: — Так мы считаем.

— Так мы в Петровском?

— Мы в нескольких милях от Петровского, Екатерина Ивановна, — ответил капитан Мацкевич.

«Но почему же якорь бросили?» — хотелось спросить, но она сдержалась.

— Мы из предосторожности решили бросить якорь, — догадываясь о ее мыслях, сказал муж.



Несмотря на обычный властный и уверенный топ, он, как заметила Катя, был чем-то озабочен и хмурился.

На палубе все матросы вооружены.

Катя рассмотрела, что у пушек стоят люди.

Офицеры наперебой принялись объяснять положение, в котором находится судно.

— Ждем рассвета и будем входить в бухту! — сказал Бошняк. — Не простудитесь, Екатерина Ивановна...

Туман рассеивался. Все разошлись по каютам в ожидании утра.

— Мы далеко от берега, никто не осмелится напасть, не беспокойся, — говорил Невельской, чувствуя, что Катя тревожится. — Предосторожность необходима, хотя, скажу тебе откровенно, быть того не может, чтобы гилляки

вырезали наших. Они очень нам преданны были... «Об этом, впрочем, и в прошлом году говорили,— подумал он,— и в сорок девятом тоже уверяли, что нас всех прикончили и что наше судно разбили».

Катя задремала, не раздеваясь.

Вскоре опять послышался голос мужа. Он уже был наверху. Якорь подняли, и судно пошло.

Появилась Авдотья.

— Разъяснило, Катерина Ивановна. Берег видать,— радостно сказала она.— Бог даст, придем нынче. Погода хорошая.

Катя поднялась и подошла к иллюминатору левого борта.

За голубовато-зеленым морем, залитым восходящим солнцем, желтела полоска песков. Казалось, что к ней подходил «Байкал». Катя знала, что судно вооружено лучше, чем «Шелхов», на нем испытанная команда и муж, видимо, послал его вперед.

Через некоторое время наверху забегали тревожно. Капитан судна и Невельской о чем-то переговаривались... Что-то передавал сигнальщик. Принимали какие-то сигналы. Видимо, шел разговор с «Байкалом»...

Что-то случилось... Однако свистков не было и всю команду не подымали, поэтому Екатерина Ивановна чувствовала себя спокойно. Она, как ей казалось, уже привыкла к особенностям морской жизни. Поначалу ее все ужасало — и этот внезапный стук каблучков опростетью несущихся по трапу матросов, и эта возня наверху, как будто по палубе вдруг начинали таскать всей командой слона или кита, а на деле, как потом объяснял муж, все оказывалось пустяком.

Она опять поднялась наверх.

— «Байкал» на мели! Сел на мель у самого входа в залив Счастья,— с досадой сказал ей муж.— Наскочили на песчаный риф и сидят, не снимутся никак.

С «Байкала» на шлюпке завозили верп, бросали его в воду и тянулись, но сдвинуться с места не могли.

На беду, начинался отлив. Возможно, нападение на «Байкал». Положение «Байкала», как понимал Невельской, становилось все опаснее.

— Нужно соединение всех сил,— объяснил он жене,— и поэтому я приказал лавировать «Шелихову», чтобы

быть ближе к «Байкалу», но ветер навстречу очень слабый. Судно подвигается едва заметно.

Вдали сошли с песков последние клочья тумана, и на берегу, как сказал наблюдавший в трубу Мацкевич, стали видны какие-то строения. Офицеры навели туда подзорные трубы.

— Это наша колония, — утвердительно сказал Невельской. — Сейчас будем стрелять, — предупредил он жену.

Он приказал сделать три выстрела из пушки.

— Они, наверно, сейчас же ответят на наш сигнал, если там все благополучно.

Екатерина Ивановна подумала, выдержит ли она гром выстрелов. Уходить не хотелось. Она беспокоилась, как и все, за судьбу колонии. Хлопнуло в ухо, но она не закрывалась. Было немножко больно. Первый раз в жизни слышала она выстрел так близко.

Один за другим грянули три выстрела.

Все ждали.

Долго стояла совершенная тишина. Лица офицеров становились печальны. Они старались не смотреть друг на друга.

«Ни звука, там все мертво!» — с ужасом подумала Катя, замечая настроение окружающих.

Все почувствовали, что там нет никого, все погибли. Не мог военный пост, вооруженный пушками, с часовыми, постоянно наблюдающими за морем, не отозваться.

Глаза Невельского яростно засверкали. Он ясно представлял себе, как действовать. Но прежде всего нужно было снять «Байкал» с мели как можно скорее.

«Теперь сомнений нет! — думал он с досадой. — Все надо начинать сначала».

Он вспомнил Орлова, милую жену его, своих лучших матросов: Козлова, Фомина, Веревкина, Шестакова, Конева, Степанова, казаков, урядника Пестрякова. Не хотелось верить, что их нет в живых. Но подтверждение гибели — налицо. А ветра нет... и «Байкал» в опаснейшем положении, оттуда сигналият, просят о помощи, мель там обсыхает, а «Шелихов» ползет как черепаха.

Екатерина Ивановна, не желая мешать, спустилась вниз.

— Дозвольте, ваше высокородие, — вытягиваясь по-военному перед Невельским, сказал Березин, — я иду сейчас же на шлюпке на берег и все выясню,

— Я бы сам, Алексей Петрович, послал туда шлюпки с вооруженными людьми, но как оторвешь их, когда все нужны? «Байкал» надо стягивать.

«Шелихов» медленно, галсами, приближался к «Байкалу». Море было совершенно спокойно.

Катя сидела в своей каюте и ждала. Она слышала, как утомленные офицеры спускались в соседнюю каюту. Сквозь переборку доносились недовольные их голоса.

Вдруг раздались знакомые шаги мужа. Она услышала, как он необычайно быстро сбежал по трапу и вошел в каюту офицеров.

— Господа, идите немедленно все наверх! — громко приказал он.

Его голос странно изменился.

Раздалась еще какая-то фраза, и сразу зашумели офицеры, опрометью взбегая по трапу. По всей палубе слышался топот ног. Катя распахнула дверь и бросилась за офицерами. Она хотела знать, что же происходит, что за опасность грозит.

На трапе ее остановил шагнувший с палубы Бошняк. Он был бледен. Лицо его казалось расстроенным.

— Спускайтесь вниз, Екатерина Ивановна! — почти закричал он. В голосе его слышалась нотка отчаяния. — Ради бога, спускайтесь вниз...

Он проводил ее по трапу и тут же, как тигр, кинулся наверх.

Она вбежала в свою каюту. «Битва началась!» Наверху происходило что-то ужасное. Весь корабль задрожал, казалось, на палубе происходит смертельная схватка. Оттуда доносились шум и крики. Стали слышны женские вопли.

Катя живо представляла всю эту картину. Ей хотелось дела, помочь своим, но ее даже не пускали наверх. Вся душа ее возмущалась тем, что от нее скрыли, что там происходит. Она как бы связана, чувствует унижительность своего положения, свою невольную трусость. Ее, как сокровище какое-то, прятали и спасали.

«Почему я женщина? — в отчаянии подумала она. — Неужели мне дано лишь терпеливо ждать, когда мой муж и его друзья подвергаются смертельной опасности?» Чувствуя, что она в самом деле беспильна, что не умеет владеть оружием, что у нее нет никаких навыков, чтобы

принять участие в том, что происходит наверху, она, рыдая, кинулась на колени перед иконой.

— Господи! Они вырезали нашу колонию и теперь хотят убить нас... Боже! Дай силы отомстить нам за наших несчастных братьев! Сохрани жизнь и кровь моего мужа и всех, кто сражается за русскую честь...

Дробь знакомых шагов опять пробарабанила по трану, и в каюту быстро вошел Невельской. Он был бледен необычайно, лицо его вытянулось, но он казался спокойным.

Она кинулась к нему с пола и схватила его за руку.

— Что там, что за крики, корабль содрогается?.. На нас нападение?

Он знал, что ее можно успокоить, лишь объявив о реальной опасности.

— Я пришел предупредить тебя... Никакого нападения нет. Но наш корабль в опасности. В трюме образовалась дыра... Судно быстро наполняется водой.

— Но тогда мы умрем?

— Я не знаю! Все, что в силах человеческих, будет сделано... Господь милостив... Будь тверда, мой ангел.— Он крепко пожал ее руки.

Ее изумило это ужасное хладнокровие, и она готова была заплакать от радости, что перед лицом смерти он подает ей такой пример.

— Если заткнуть пробоину не удастся, мы будем свозить людей на шлюпках на «Байкал». Жди спокойно.

Он поцеловал ее в лоб.

Через мгновение его голос опять раздавался на палубе.

Хладнокровие этого обычно горячего человека поразило ее.

«Я должна быть готова сесть в лодку, когда меня призовут»,— подумала она, чувствуя в себе частицу его спокойствия. Она стала быстро собираться. Ей было несколько стыдно, что в такой миг он оторвался от всего ради нее, что он должен бегать к ней, когда гибнет корабль... «Нет, мой муж, тебе не стыдно будет за меня!»— сказала она себе. Теперь все было ясно. Разум ее был светел. Страхи исчезли. Спокойствие все больше овладевало ее существом. Она почувствовала, что есть действительная опасность, но что с мужем ей не страшно умереть. Его спокойствие и решимость передались ей.

Так же спокойно и быстро, как муж распоряжался наверху, она распоряжалась в своем маленьком мире, переделалась с помощью Авдотьи, надела меховые сапоги, мужскую одежду, собрала серебро, бумаги мужа, драгоценности — память покойных отца с матерью, письма родных, взяла со стола часы мужа и безделушки, немного его и своего белья и, увязав все это, уселась на складной стул. Разум был ясен, и только — она чувствовала — сердце билось с необыкновенной силой.

В распахнутую дверь каюты доносился шум и грохот. По палубе перекатывали бочки с порохом, кажется, спустили шлюпки.

В темную глубину судна откуда-то сверху вдоль трапа проскользнул и заиграл на полу солнечный луч.

«Вот так же будет светить солнце, — подумала она, — а нас всех, может быть, не будет...»

Авдотья вскрикнула. Из-под стола побежал ручей, и сразу понесся навстречу ему, тревожно, другой, из-под койки, и быстро явился третий. Струи воды забегали по всей каюте.

Невельской сбежал по трапу. Его лицо уже не было так бледно.

— Слава богу! — воскликнул он. — Мы почти спасены, нам удалось толкнуть судно на мель и сейчас опасность почти миновала. Под нами песчаный риф. Если бы ветер не отнес нас к мели, мы утонули бы на глубине в десять минут... Подымайся наверх... Вода уже не проникает с такой силой...

Он опять исчез.

А сквозь переборки каюты ударили потоки воды. Авдотья схватила чемодан и кинулась на трап. Вода бурно поднималась, как в огромной ванне. Всплыли одеяла, белье, течением разнесло салфетки.

Екатерина Ивановна с узлом в руках поднялась на палубу. От того, что она увидела там, сердце ее обмерло, и она вмиг позабыла о своих погибших вещах.

Все уже были наверху. Вода потому была с такой силой в ее каюту, что корабль погрузился почти до самых бортов. Но море спокойно. Сейчас небольшого ветра достаточно, чтобы уничтожить всех обитателей судна, которые не могли бы втиснуться сразу в спущенные шлюпки. Матросы, офицеры, женщины выравнивали бочонки с порохом, выкачивали воду из трюмов. Молодая жена

казака, та самая, которая беседовала с Екатериной Ивановной в день отхода из Охотска, держала в одной руке своего черноглазого младенца, а другой, стоя у помпы, с силой налегала на рычаг. Ребенок кричал, надрываясь, и бился, но она не могла помочь ему.

Матросы и офицеры, мокрые с головы до ног, подымали стрелой грузы из трюмов. Пожилые женщины и дети с криком и плачем бегали по палубе, страшась наступающей воды и грузов, выползавших в сетках из трюмов и обдававших палубу потоками воды.

Катя оставила свой узел и кинулась к плачущему ребенку, желая взять его на руки, но мать, с укором взглянув на нее, продолжала работать, не выпуская ребенка из рук.

Вода хлынула через борт. Дети закричали в ужасе. Металась какая-то старуха, все толкали друг друга.

По приказанию капитана в море полетела часть грузов. Катя увидела, как то исчезают, то появляются в воде ее стулья и столики.

— Спускают шлюпки! Мы на мели и в безопасности, — хватая за руки рыдающую старуху, уверяла Катя и перебежала к сбившимся в кучу женщинам. — Опасность миновала! — старалась успокоить она молодых матерей.

Ее не слушали.

— Барыня, погибаем!

— Шлюпка спущена, идемте, Екатерина Ивановна, — подбежал Мацкевич.

С ним был Бошняк.

Катя увидела, что взоры матерей устремлены на нес. У них на руках и у подолов дети. В их взорах злоба и гнев, проклятье за все унижения и издевательства, которые они терпят. Кате казалось, что они сейчас ненавидели ее.

Особенно грозно смотрела старуха, которую Катя только что уговаривала.

Ей стало стыдно этих мужественных женщин. «Меня вынесут на руках, а их дети погибнут», — подумала она.

— Идите быстро, Екатерина Ивановна, судно сейчас потонет, — сказал Бошняк.

— Господа! — с ужасом в глазах, но твердо ответила Екатерина Ивановна, отступая шаг назад и как бы пугаясь того, что ей предлагают. — Спасайте детей! — почти

крикнула она, как позора стыдясь отвратительных в это мгновение светских услуг. Она поняла — женщины опасаются, что их и их детей бросят на произвол судьбы, а господа станут спасать только себя.

Но офицеры шли к ней.

— Господа... Господа...— говорила Катя, отступая.— Мой муж сказал, что капитан покидает корабль последним. Пока дети и женщины не будут в шлюпках, до тех пор я не сойду... Здесь матери...

— Екагерина Ивановна, не беспокойтесь о них!

— Будет так, как я сказала.

— Что за разговоры! — раздался в трубу грозный голос ее мужа.— Теряем время напрасно! Живо ее на баркас! Всех детей и женщин немедленно на баркас!

Катя увидела в этот миг, что матросы хватают на руки детей и, быстро передавая друг другу, усаживают их в шлюпку. За ними на руках туда же поехала по воздуху и грозная старуха. Женщины кинулись к трапу, с воем и причитаниями перелезали через борт. Матросы передавали их пожитки.

Офицеры схватили на руки Екатерину Ивановну, и она вмиг очутилась на баркасе. Тут же появилась Авдотья, а с ней чемодан и узел.

Среди этих слез и криков раздалась ясная и четкая команда, успокаивающе лязгнули уключины, и шлюпка быстро отвалила от борта и пошла все быстрее и быстрее. А навстречу уже шли шлюпки «Байкала».

Муж стоял на мостике гибнущего корабля. Кате показалось, что он скользнул взором по отходившей шлюпке, ища ее, и она, не выдержав, зарыдала. Вокруг по волнам плавала ее мебель, красивые стулья, которым она так радовалась совсем недавно. Ей не жаль было ничего. Она плакала, как и все эти женщины, сидевшие вокруг нее, чувствуя себя в этот миг такой же матросской женой, как они.

Катя видела — никто из женщин не верил ее мужу, не допускал мысли о справедливости, каждый думал только о себе, сама она была ничтожной, ненужной в их глазах. Каким грозным гневом загорелись их глаза...

А сейчас, когда корабль удалялся и все плакали, сплоченные общим горем, в глазах окружающих женщин не было и тени гнева или недоверия. Катя была благодарна мужу, что он подал ей пример. Ей теперь не стыд-

но было смотреть в глаза своим соседкам. И они смотрели на нее как-то по-другому.

Пока шли на баркасе, разговорились по душам.

— Эх, барыня, сколько я штормов перевидала,— говорила скуластая молодая матроска Алена.— Я девчонкой с отцом плавала в Америку. Да ведь я и родила на корабле. Вокруг бушует, а я мучаюсь, лежу на палубе...

Екатерина Ивановна беспокоилась, что же будет дальше. Всех везли на «Байкал», потому что колония на берегу вырезана. Опасность далеко не миновала. У всех матросов с собой заряженные ружья.

На берегу — видно простым глазом — чернела большая толпа. Там, конечно, заметили гибель судна и, может быть, торжествовали и собирались напасть.

Через полчаса баркас подошел к «Байкалу».

Командир «Байкала», Шарипов, встретил Екатерину Ивановну у трапа, помог ей, велел устроить ее и Дуняшу, согреть воды, подать обед и все время говорил, что он в отчаянии.

— Такую массу людей и грузов «Байкал» принять не может! И «Шелихова» может разбить...

«Вместо того чтобы успокоить меня, он выказывает нерешительность! Мой муж знает, что делает!» — подумала Екатерина Ивановна.

— Мне сказали, что «Шелихов» стоит на мели очень прочно и опасность миновала,— ответила она.

— Какое миновала! — раздраженно ответил капитан.— Вон смотрите, что на берегу делается. Какая масса собралась.

Екатерина Ивановна окончательно возмутилась.

— Гиляки никогда не посмеют напасть на вооруженное судно,— ответила она.

— Ах, боже мой! «Байкал» на мели, а мы всё грузим и грузим на него! — сказал Шарипов, встречая новую шлюпку со спасенными.— Это еще счастье, что море спокойно...

Время от времени приходили шлюпки, сгружали людей, порох и грузы.

Через несколько часов все люди с «Шелихова» и все грузы, которые оказалось возможным спасти, были на «Байкале». Приехал Невельской и принял команду над кораблем. Предстояло сниматься с мели, а корабль был перегружен.

Екатерина Ивановна рассказала мужу, что Шарипов был в тревоге.

— Я знаю мой «Байкал»! — с гордостью ответил Невельской. — Его сруб необыкновенно прочен! Ты увидишь, он снесет все препятствия и не получит изъяна.

— А что же грузы? Все погибло?

— Нет, мы постараемся спасти все, что возможно, но только бы самим поскорей сняться. Если шторма не будет и мы благополучно снимемся с мели, то с утра будем продолжать разгрузку «Шелихова». На наше счастье, он лежит удобно.

В море замечены были две лодки.

— Да ведь это Димитрий Иванович! — в восторге вскричал Невельской, вскидывая обе руки, когда шлюпки приблизились. — Дмитрий Иванович, что же вы на выстрелы не отвечали? — с досадой, как бы уже начиная браниться, продолжал он.

В шлюпках виднелись знакомые, веселые лица матросов.

— Да ведь это не Петровская коса, — отвечал Орлов спокойно, — это остров Удд, Геннадий Иванович! А до Петровского поста отсюда десять миль. Гиляки приехали ко мне и сказали, чтобы я скорей ехал сюда, что против их острова стоят два судна и палят из пушек, а шлюпок не спускают.

С Орловым на палубу поднялись Позь, Питкен, Чумбока, гостивший в эти дни в Петровском, а также матросы Конев, Шестаков, Веревкин.

— Давай живо, Позь, лодки! — велел капитан. — Надо свозить сейчас же людей и грузы на берег... Слава богу, все наши страхи ложны, — сказал он жене по-французски, — без гиляков в этой стране ни на шаг... Теперь мы спасены, — добавил он по-русски. — Вот познакомься, мой друг, это мои друзья-гиляки, о которых я тебе говорил, с ними я совершал свои путешествия.

— Здорово! — похлопал Питкен по плечу Екатерину Ивановну. — Чё, капитан на тебе зенил? — улыбаясь так, что вздулись его румяные щеки, обратился Питкен к капитану.

Питкен сделал за год успехи в русском языке.

— Он спрашивает, женился ли я, — объяснил Невельской.

Шутить было некогда и некстати, и разговор обратился к делу.

— Лодки сюда! — велел Орлов гилякам. — Чумбока, поезжай в деревню на Удд и попроси их помочь нам разгрузаться.

— А что же с «Охотском», Дмитрий Иванович?

Орлов сказал, что весной «Охотск» был так поврежден льдами, что не мог выйти и что он вообще теперь никуда не годен. Команда в Петровском цела, больных теперь нет, трое хворали цингой.

— А Николаевский пост поставлен?

— Нет, Геннадий Иванович...

— Как «нет»? — удивленно спросил Невельской. — Почему?

Орлов заволновался и стал объяснять, что весной явился на мыс Кузгду с матросами, чтобы строить казарму и укрепление, но собрались гиляки и потребовали, чтобы русские уходили, что сверху идет маньчжурское войско.

— Это вранье и выдумки! Никакое войско не могло прийти, страна не их! Кто это начал все? Это чья-то рука, гиляки на это сами не пошли бы...

— Чумбока все выведал. Гиляки не сами, их подстрекали маньчжурские купцы. Но что я мог сделать! Гиляки клялись, что сами боятся. Они подступали, угрожали, требовали, чтобы мы не селились. Я бы мог их припугнуть, да что толку, если бы потом что случилось. Я решил ждать вас и подмоги.

«Силы у него, конечно, были ничтожны. Но и признаваться в этом перед гиляками, которые, видно, всё еще страшатся мести маньчжурских купцов, — нельзя!»

— Мы с Позем сказали им, что не боимся их угроз и что придем через некоторое время снова.

— Все равно, Дмитрий Иванович, оправдания этому нет! Мне придется теперь самому расхлебывать эту кашу! А если сейчас там иностранцы?

Орлов не ждал, что будет такая буря.

«Неприятность за неприятностью, — думал капитан. — «Шелихов» погиб, будет скандал, что я взял его самовольно, грузы в воде, пост на Амуре не поставлен. «Охотск» погиб — два корабля сразу. Англичане войдут в реку, пока мы с нашими кораблями на песке сидим, люди измучены...»

Невельской рассердился на Орлова, но не стал его ругать. Надо было прежде всего снять судно с мели.

— Мы так загрузили судно, что никогда не снимемся! — чуть не кричал Шарипов. — Губим судно...

— Я строил «Байкал» и знаю, что он выдержит, — молвил Невельской успокаивающе.

Вскоре подошла целая флотилия гиляцких лодок.

— Здорово, капитан! — чисто выкрикивали русские слова гиляки.

— Они не разграбят грузы на берегу? — спросил Шарипов.

— Что вы! — обиженно отозвался Орлов.

Разгрузка «Байкала» началась, но вскоре подул ветер и судно стало бить волнами о косу. Гиляцкие лодки ушли. Стемнело.

Ночью «Байкал» получал такие толчки, что Екатерина Ивановна приходила в ужас.

— Я знаю его сруб, он выдержит! — успокаивал ее муж. — Не беспокойся. Его строил датский мастер Якобсон. Начнется прилив, и мы сойдем.

А «Байкал» скрипел, и стонал, и тяжело ударялся о мель так, что все сотрясалось.

— Орлов струсил и отступил перед гиляками, не поставил пост на Куэгде. Увидел, что собралась огромная толпа! У него было оружие, он мог настоять... Нашего заселения на устье Амура не существует!

Невельской рвал и метал.

— Как же они посмели запретить ему рубить лес и строиться? Где у него ум был? Теперь я сам туда отправлюсь, только бы разгрузить «Шелихова»... Проклятая Компания! «Шелихов» — очень старое судно, которое давно не следовало пускать в плаванье. Грузы надо спасти непременно! Но как только руки у меня будут развязаны, я иду на устье...

Ночью «Байкал» сошел с мели.

— Не отошло ни единой доски! — с гордостью говорил капитан утром своим офицерам.

Мацкевич, Орлов и часть людей остались разгружать «Шелихова», а «Байкал» пошел к Петровскому.

На берегу стали видны два домика и палатки. Судно вошло в залив Счастья.

Екатерина Ивановна с мужем и Дуняшей съехала на берег. С ними же высадились Бошняк, штурман Воропин,

Березин и однофамилец Дмитрия Ивановича, доктор Орлов.

Подошел баркас с женщинами и детьми. Матросы — отцы и мужья, прожившие на косе год, встречали своих, прибывших из Охотска.

Матросские жены, не стесняясь близости капитана, выговаривали мужьям за то, что пришлось ехать в такую даль и что потеряли все, чуть сами не погибли. Вместо радости тут были брань и слезы.

— На нашу гибель мы сюда приехали! — раздавался плачущий голос одной из молодых женщин. — И корабль потопили!

Невельской все слышал. Упреки относились к нему больше, чем к мужьям этих женщин. «Они по-своему правы!» — думал он.

Екатерину Ивановну привели в маленькую избу. Она только что была построена из сырого леса. На полу — стружка. В избе — грубая кровать из чисто выструганных досок и стол. Никто не ждал, что капитан привезет молодую жену.

Рядом стоял такой же домик, в котором прожили зиму Орловы. Радостная и любезная Харитина Михайловна предложила Невельским половину своего обжитого помещения.

Но Катя желала устроиваться у себя. «Чем обставить эту страшную избу?» — думала она.

Орлова взялась помочь ей, уступила часть сделанной здесь мебели.

А вокруг пески, и дальше в обе стороны — море. Печальный вид природы угнетал. Катя утешала себя, что так всегда бывает. В детстве так случалось: приедешь на новое место, а там все не так, как представлялось, все огорчает... Ей казалось, что даже на море, в каюте, было гораздо лучше.

Погибла не только мебель, погибли все ее представления о том, что жить можно, как в романах. Она ехала сюда полная сил и надежд, а пока — непрерывные болезни, кораблекрушение, гибель всего имущества и, наконец, эта пустая изба.

Катя вспомнила сестру, тетю, их уютный дом, гостиную, в которой сидели каждый вечер с тетей, вспомнила дядю, как он провожал... Не в силах сдержаться, она залилась слезами.

Матросы внесли столик, появились табуретки. Катя разложила свои оставшиеся вещицы. Безделушки и драгоценности казались ей союзниками в борьбе с пустыней.

«Вас стало меньше, мои милые», — думала она.

В этот день все работали допоздна, разгружая «Байкал». Коса стала походить на военный лагерь. Появились новые палатки. Дымы повалили от костров. Ружья стояли в козлах.

Невельской потребовал к себе Березина.

— Пойдете, Алексей Петрович, со мной на Амур...

Березин этого только и ждал. Он почувствовал, что Невельской как бы назначает его на офицерскую должность.

Решено было снарядить на Амур целую экспедицию с пушками. Невельской назначил туда двадцать пять казаков и решил немедленно, как только закончат все с «Шелиховым», сам идти туда.

— Я покажу им, этим негодьям! — говорил он вечером жене.

Он не замечал, какова изба и что за обстановка. Он видел далекую цель и близкую — «Шелихова». И устье, и врагов в Петербурге, которые — он понимал, — как и вся Компания и ее питомцы, и там и тут начнут играть на гибели судна, мол, взял, разбил...

Вечером вокруг было очень красиво — огни на рейде, огни на косе.

На другой день приехал Орлов. Разгрузка «Шелихова», по его словам, шла полным ходом. На шлюпке доставили некоторые вещи из каюты Невельских. Они мокры, но целы.

После полудня в море было замечено судно. Его бело-снежные паруса быстро приближались.

Все офицеры экспедиции собрались на гребне косы около мачты с флагом.

— Не пират ли, Геннадий Иванович? — высказал предположение Березин.

— Андреевский флаг виден! — воскликнул смотревший в трубу Бошняк.

— Господа, это «Оливуца»! — сказал Невельской, снял фуражку и перекрестился.

Подходил первый крейсер, явившийся в Тихий океан, первое настоящее военное судно, присланное с целью защиты русских владений от посягательств иностранцев.

Оно явилось в результате бесконечных представлений и ходатайств всех русских моряков, бывавших в этих краях.

«Оливуца» шла гордо. Ветер туго натягивал ее паруса и полоскал андреевский флаг. Давно уже не видал Невельской такого стройного судна. После посудин охотской флотилии отрадно было смотреть на него.

— Подходит «Оливуца»! — радостно обратился Невельской к жене, подошедшей вместе с Харитиной Михайловной.

Катя знала, что должен прийти корабль из Кронштадта, что это первый русский крейсер в этих водах, которого так ждал ее муж. Она знала, что на «Оливуце» сто матросов и двадцать офицеров.

— Я оставлю теперь Петровское под защитой пушек «Оливуцы»! — мечтал вслух капитан. — А сам немедленно поеду на Куэгду. Я восстановлю Николаевский пост!

Большое стройное судно вскоре бросило якорь на рейде, не входя в залив. От него отделилась шлюпка.

— С благополучным прибытием, Иван Николаевич! Да благословит вас бог, вы вовремя прибыли! — сказал капитан, встречая гостей.

— Что-нибудь случилось, Геннадий Иванович? — спросил командир «Оливуцы» Суцев, рослый и стройный красавец лет тридцати пяти.

— Второе мое судно, компанейский «Шелихов», лежит отсюда в десяти милях на мели. «Байкал» просидел сутки на мели там же, только вчера стянулись и пришли сюда.

— Я готов немедленно оказать вам помощь всеми моими средствами! — сказал Суцев. — Все мои люди и шлюпки в вашем распоряжении.

Невельской представил Суцева Кате и всем членам экспедиции и повел его в свой бревенчатый домик.

Глава тридцать седьмая

ОСЕННИЙ ШТОРМ

...Стояли прекрасные, тихие, солнечные дни. «Байкал» на рейде, охраняет пост. Часть людей ушла на Удд разгружать «Шелихова». Оставшиеся в Петровском рубили лес и строили. Весь день стучат топоры и поет пила.

«Оливуца» крейсирует в море, она то в Петровском, то подходит к Удду, где Орлов, Мацкевич и мичман Чихачев с крейсера заканчивают с людьми работы.

Орлов еще раз приезжал с Удда домой, сказал жене, что уже снимают корпус погибшего «Шелихова».

Матросы с «Оливуцы» помогли закончить работы. Как и предполагал Невельской, погибли мука и сахар. Все остальное свезли на Удд, а оттуда на лодках и шлюпках доставляли теперь в Петровское.

«Шелихов» был осмотрен комиссией из офицеров во главе с Суцевым. Выяснилось, что без всякого удара о риф отошли доски, что корпус судна совершенно сгнил. Чудом держался этот корабль до сих пор на воде. Он был продан американцами помощнику главного управлятеля в колониях — Розенбергу.

— А что было бы, если бы я не взял это судно, а пошло бы оно через океан в Ситху? — говорил Невельской. — Это счастье, что все так обошлось!

— А деньги, видно, немалые пристали к чьим-то рукам, когда покупали эту подкрашенную гниль! — заметил Суцев.

...Екатерина Ивановна вместе с Орловой взяла на себя заботу об офицерском столе. Три раза в день садились все вместе единой семьей: муж, она, Харитина Михайловна с Орловым, Чудинов, Бошняк, доктор, топограф, Березин.

Когда с места кораблекрушения вернулась «Оливуца», ее офицеры бывали на берегу.

Здесь обилие рыбы. Матросы не ловят ее — некогда, работы много.

— Эх, рыбы тут — ужась! — только удивляются они.

— Расейские рыбы не видали, имя рыба в диковинку! — поражались казаки.

Гиляки приносили на пост великолепную рыбу. Катя, Харитина Михайловна и Авдотья с поварами готовили обеды.

Катя думала: она в среде офицеров, матросов, казаков, охотников, людей сильных, грубых. Но все они не так страшны, как рассказывал муж, очень любезны, все рады ей. «Что бы сказали мои милые подружки, если бы увидели меня в роли повара?» — задорно думала она.

Вокруг — военный лагерь, пушки, корабли. Тут идут очень тяжелые работы, правда, нравы грубые, ей уж приходилось видеть некоторые наказания.

...Теперь все стихло. Муж уехал, взяв с собой Бошняка, топографа, доктора, Березина, двадцать пять матросов и казаков и две пушки. «Оливуца» крейсирует в море. Она уходит далеко, ее паруса исчезают за горизонтом.

Иван Николаевич Суцев, как говорил муж, удалой моряк, и у него лихая команда. Он не удержится, чтобы не заявить о себе, если увидит чужой флаг.

Но крейсер исчезает ненадолго. Близость его все время чувствуется. Суцев не упускает из виду Петровский пост. Часть его команды помогает экспедиции, матросы с «Оливуцы» рубят лес, возят грузы.

Петровское опустело для Кати. Пески, зелень стелющихся кедров на вершине косы, море, тишина... Теперь она может подумать обо всем, что произошло, о муже, о себе...

Пока тут были офицеры, в ее жизни было что-то общее с прошлым — те же разговоры, полуфранцузская речь, обеды, хоть и в палатке, то же внимание окружающих.

А теперь она одна в своей избе, наедине со своими впечатлениями. Скучая о муже, она невольно стремилась занять ум, привыкший к деятельности и впечатлениям. Она начинала пристальней вглядываться в новый мир, что окружал ее. Ее занимали гиляки, привозившие рыбу, их дети и жены, и сама рыба, необыкновенно вкусная. И какой только рыбы тут не было! Она никогда в жизни не видала ничего подобного. Плоская, пятнистая, цвета илистого дна, крупная, а есть рыба вся из серебра самого роскошного, с мясом цвета говядины, с чудной красной икрой.

Она давала гиляцким ребятишкам хлеб и сласти. Один раз видела, как гиляки убили нерпу и тут же съели ее на берегу.

В каждой здешней мелочи она видела «его». Это был его мир: и корабли, и рыба, и гиляки. Эта жизнь была сурова, как и его жизнь, но прекрасна, как и он.

Екатерину Ивановну занимала окружающая природа, она находила свою прелесть в ней и в солнечные и в суровые и хмурые ветреные дни, любовалась ею. Да, все это был его мир! Ее занимали виды моря, здешняя растительность, охота и лов рыбы гиляками, жизнь матросов с семьями.

Она уже привыкла к своему бревенчатому жилищу. После ласк и ночей, проведенных здесь с мужем, этот дом стал родным для нее.

Харитина Михайловна жаловалась ей, как тяжело было зимой, жены матросов кляли здешнюю жизнь.

«Но я не смею,— уговаривала себя Катя,— смотреть на эти сырые бревна так же, как они... Я должна сознавать цель».

Мох торчал прядями между голых и, как ей казалось, грубо отесанных, сырых и даже холодных бревен. Немало труда стоило прибрать свое жилище. На счастье, нашлись почти все погибшие было вещи: ковры, обувь, белье, платя — все скомканное, мокрое.

Все пришлось сушить, гладить, работы много. Женщины помогли ей привести все в порядок.

— Что же вы, барыня, неужели в такой сырой избе жить? — говорила в первые дни Дуняша.— Да неужто для капитана не могли получше построить? Вот уж не барские хоромы...

— Ковры, безделушки закроют весь этот ужас.

Но втайне ей уже все казалось очень оригинальным и забавным. Она никогда не жила в подобном помещении.

— Надо все высушить досуха,— говорила Орлова.

— Дрова сырые... — отвечала Дуня.

И Катя узнавала много нового и полезного. Она училась жить в этих условиях.

Авдотья набрала сухого леса в кедровнике и добавила поленья лиственницы. Печь калили докрасна. В углах на листы железа накладывали груды углей.

Иногда Катя вспоминала переход по морю, бурю, потом страшные часы и еще более страшные минуты на «Шелихове» и чувствовала, что славно пережила все испытания, гордая улыбка на миг появлялась на ее лице. Она радовалась, что в ней явились тогда душевные силы, давшие ей твердость.

А за распахнутой дверью — грохот моря, ветер, пески, видны холодные пейзажи, низкие горы и горы высокие.

«Этот ветер носит по желтым волнам мою мебель! Мечта развеяна в прах и при первом соприкосновении с действительностью! Но бог с ней, с мебелью... Лишь бы эти волны не проглотили моего мужа!» Ей стыдно было думать о мебели, когда муж в военной экспедиции и, быть может, там будет схватка,

Она вспомнила, как он приходил сюда, домой, в последние дни перед отъездом, всегда в сопровождении офицеров или матросов, с жаром разговаривал о делах. Почти всегда с ним был Бошняк, застенчивый и почтительно кланявшийся ей.

Офицеры в тысячный раз ругали американцев, продавших дырявое судно, и Компанию и еще обсуждали, где, из чего и что строить. Много толковали об экспедиции на Амур, о гиляках. С Невельским все спорили, не стесняясь, дело иногда доходило чуть не до ссор. Составлялись акты, бумаги. Мужчины были очень озабочены и как бы совершенно поглощены делом. Всех беспокоило устье реки и гибель судна, для них не существовало, казалось ей, ни песков, ни бурных вод, ни тоскливых пейзажей, ни мокрой земли, ни смертельных опасностей. Все эти люди в любых условиях могли спать, пить и есть что попало. Для них была лишь цель, для этих острых, всеизучающих умов! Ради нее они старались, и муж задавал тут тон. Зато в какой восторг приходили они от обедов за общим столом в большой палатке, там, где ветер заполаскивал парусину, где так мило, чисто, уютно и прохладно, а на большой белой скатерти расставлены кушанья из свежей рыбы и где подается прекрасная уха.

Однажды муж привел с собой высокого, темноусого мичмана, юного, стройного, с бакенбардами, с необычайно густыми волосами.

— Николай Матвеевич Чихачев переходит к нам в экспедицию с «Оливуцы!» — представил муж офицера.

Она уже слышала это имя. Чихачев — один из офицеров, работавших с командой по спасению «Шелихова»; он родственник известнейших ученых братьев Чихачевых, у них вся семья — исследователи.

Мичман картинно вытянулся, щелкнул каблуками и поцеловал розовую от морской воды, холодную руку хозяйки.

— Меня должны благодарить, Екатерина Ивановна, что я отдал Геннадию Ивановичу одного из самых отважных моих офицеров, — говорил Суцев, — прошу любить и жаловать нашего Николая Матвеевича. Уступаю его с болью...

— Государь дал мне право брать офицеров с любого корабля в мою экспедицию, — полушутя сказал Невельской капитану «Оливуцы».

Катя замечала, что он даже шуток не терпит, когда речь идет об амурских устьях.

Матрос дядя Яков, из штрафных, привезенный сюда из Охотска, по сути дела сосланный сюда, пилил дрова с товарищем и приостановился. Давно уж не видал он господ. Зиму жили здесь с Орловыми, но тот сам как мужик.

Когда офицеры ушли в палатку, Катя услышала, как дядя Яков передразнивал:

— Эх, господа! Щелк так да щелк этак! Да к ручке! А поживете в Петровском, пооботретесь. Вот что-то дальше...

«Что это? — подумала она. — Ропот? Сомнения?»

Чихачев говорил за столом, что желает стать участником экспедиции. Суцев соглашался, что осуществляются великие и славные замыслы.

Один лишь Невельской был тревожен. Катя знала это по его лицу, по его взору. Суцеву со стороны приятно было видеть величье его дел, а муж, кажется, уж никакого величья не чувствовал. С прибытием в Петровское он был ввергнут в пучину забот и волнений. Офицеры советовали ему не особенно доверять гилякам, говорили, что это дикари и трусы.

— Неужели они могли изменить?

— О! Я покажу этим изменникам! — сжимая кулаки, говорил он вечером, оставшись с женой. — Орлов не посмел рубить лес! А я так на него надеялся!

— Успокойся, мой друг! Не брани несчастных гиляков. Они ведь не виноваты... Послушай, вот здесь я хочу постелить ковер, а вот здесь... Дядя Яков обещал сделать мне еще один столик...

— Я не допускаю мысли, что гиляки окажут сколько-нибудь серьезное сопротивление...

Она любила его пылкость, это вдохновение, что отличало его от всех.

— Но если ты опасаясь маньчжуров, зачем же обижать гиляков? Они добрый народ, как мне кажется.

Утром он вскочил, быстро собрался, полный забот, мыслей, он уже неся своим умом, как на крыльях, куда-то вперед, готовый рушить препятствия.

Загремела команда. Забегали матросы и офицеры.

— Дай мне слово не обижать зря гиляков... Вспомни мою просьбу, когда будешь далеко, — говорила она.

Ей искренне жаль было этот кроткий народ. Но ей жаль было и мужа, он вспыльчив. А он должен быть гуманен. Она понимала, что значит человеколюбие, великодушие и благородство. Ей было бы стыдно, если бы муж ее совершил насилие, был несправедлив. Он сам многое внушил ей. На деле, правда, многое оказалось не так...

В девять часов утра экспедиция с пушками на баркасах готова была к плаванию.

— Простимся...— сказал он ей по-французски и трижды по-русски поцеловал ее.

— Как рано ты меня покидаешь! — шептали ее ослабевшие губы.

Но уж раздалась команда, и Невельской, как бы слушаясь своего боцмана, направился к шлюпке.

Блестела медь пушек. Сверкали штыки десанта. В тяжелых сапогах рослые матросы сталкивали шлюпки на тихую воду залива, прыгали через борта, поднимали паруса. И вскоре суденышки пошли быстро, с разлету разбивая в брызги гребни волн, шедших, как ей казалось, где-то посередине залива.

«Наша первая разлука!» — думала Катя, провожая взором два паруса. Она почувствовала себя солдаткой, ей было горько, что он уехал, что он подвергается опасности.

— Не горюй, барыня, не плачь...— всхлипывая, приговаривала широколицая бледная Матрена — жена казака Парфентьева с черноглазым ребенком на руках.

Она тоже проводила своего мужа.

— Теперь опять поди на все лето,— сказала, подходя, Алена Калашникова, женщина с крепким свежим лицом и крепкими голыми икрами.

— Нет, они скоро должны быть обратно,— ответила Катя.

— Так всегда говорят! Море ведь! Разве скажешь, когда вернешься? Вот посмотришь, не скоро будут.

Матросские жены обступили ее. Ей и самой хотелось побыть с ними. Геннадий уехал с их мужьями, и она была как равная с ними, такая же матросская жена, пережившая с ними уже не первое горе.

Они при капитане не смели говорить с ней так свободно. Сейчас общая забота свела их, и они как бы считали ее своей и полагали вправе досыта, всласть наговориться с капитаншей. Их давно уж занимала она, с тех

пор как велела баб сгружать с корабля, а сама чуть не пошла на дно.

— Тоненькая, хрупкая, нежная, а, видать, с нором, — говорила Матрена своим подругам.

И вот теперь, когда высушили и убрали избу и Катя ждала мужа, хотя до его возвращения далеко, она с матросскими женами ходила по ягоду в стланцы. Ей все эти дни не хотелось оставаться одной в обстановке, напоминающей разлуку, влекло к людям. Не хотелось брать в руки оставшихся несколько книг.

Бабы ходили собирать хворост и здешнюю ягоду сиксу, и она приносила вязанки сучьев на растопку и корзины вкусной холодной ягоды.

Кедровый стланик местами лежит на песке, его густые колючие ветви стелются. Это лежачий лес с толстыми стволами, которые ползут по земле. Но чем дальше, тем смелей и выше поднимаются эти странные маленькие кедры, они рискуют привстать кое-где уже как настоящие деревья, даже выше человеческого роста, их плоские кроны сливаются в одну сплошную низкую зеленую крышу, весь стланик как огромная груда хвои, как сплошной стог или копна, покрывшая площадь в двести сажен шириной и на много верст длиной по всей косе, очень густой от земли до вершины. Этот слой хвои — плотная груда ветвей, как на тысячах подпорок, стоит на коротких, немного корявых стволах. Но кое-где — тропы, местами стланик вырублен гиляками, есть и полянки. Там, где в осенний шторм вода пробилла косу и все с нее снесла, а также на вырубках и прогалинах, среди молодого леса и в мелком стланике, где хвоя ниже, можно добраться рукой до сиксы.

Бабы кляли свою жизнь, здешнее место, но, как видно, быстро освоились; они гораздо скорей Кати замечали все вокруг, знали, что тут есть хорошее, чего надо бояться. И она, воспитанная и образованная, чувствовала себя с ними как дитя среди взрослых и лишь удивлялась уму и наблюдательности простых женщин.

— Пойдем, пойдем, продеремся через стланцы-то, матушка Катерина Ивановна, ягоды сиксы наберем к чайку тебе... Пироги из нее можешь испечь, — говорила теща Парфентьева, жившая когда-то на Аляске.

С гребня косы открылся вид на море, а в другую сторону — на залив,

Женщины ломали иссохшие стволы ползучего кедра. Вечером они разожгут костры, а Катя выйдет из домика и долго будет любоваться фантастическим зрелищем, как в темноте пылают огни и какими удивительными кажутся сидящие вокруг них люди.

Катя тоже училась ломать сухое дерево. Разгибаясь, она смотрела на залив. Туда ушли шлюпки, в ту сторону.

Мыс за мысом, как синие кулисы в театре, уходил вдаль. Тысячные стаи куликов с писком носились над желтыми лайдами, выступившими в отлив из мелкого залива.

Сейчас был ход красной рыбы, она во множестве двигалась по заливу, вода рябила у берега, то и дело рыбины скакали, особенно заметен их ход сейчас, в отлив. Попадет гнилое бревно, вынесенное из тайги речкой Иски, перегородит обмелевший канальчик между сизо-зеленых лайд, рыбины собьются у такой заставы, прыгают, силиться перескочить и в конце концов перескакивают через огромную гнилушку. Их блестящие серебряные тела сверкают так ярко на солнце, словно зеркала.

А с другой стороны косы в море кит пускает струю. Стая за стаяй белухи идут мимо косы; словно играя в чехарду, они наперебой показывают свои белые, жирные и глянцевитые спины; звери идут к косе, ко входу в залив и в самый залив следом за рыбой, хватают ее под водой белыми, похожими на редкие деревянные гвозди зубами. Гиляки охотятся, бьют белух, вытаскивают, кромсают их ножами.

Бабы гнулись; в кедровнике, на вершине косы, пестрели их сарафаны, и вместе с ними гнулась и ползла в низкой стелющейся чаще Катя.

— Эх, местечко! — говорила Матрена, замечая, что жена капитана присматривается ко всему вокруг, и толкуя это по-своему.

— Мужики тут — и мы тут! — философски замечала Алена. — Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.

Бабы говорили про цингу, как она в здешних местах косит народ, что черемшой и ягодой можно от нее уберечься, что ягоду надо морозить, лучше всего клюкву заставить и черемшу солить. Об этом Катя слыхала прежде. Она многое знала о здешней жизни, еще не видя ее, по рассказам мужа, его товарищей, родных.

Бабы страшились цинги, как неизбежного бедствия, говорили, что такие светлые денечки постоят недолго, не за горами осень, что тут скоро подует северяк, начнутся штормы, их беспокоило, не придется ли зимовать с детьми в палатках, как не раз бывало с людьми в этих краях, успеют ли построить казарму, а ведь ее надо высушить, печи сложить, а погода ждать не будет. А половина людей пошла на Амур, работать некому.

Катя, еще недавно восхищавшаяся видом отправляемой экспедиции, прекрасно понимала, что отняты рабочие руки.

Катя думала, как заготовить на зиму противоцинготные средства, нужны бочки. Она с Дуняшей должна сама набрать клюквы осенью. Ведь работал же муж ее на веслах, во время своего открытия. Она сама видела, как офицеры таскали грузы, качали воду во время кораблекрушения, делали всю черную работу наравне с матросами. Чем же она лучше их? Ей было стыдно, что она сидит без дела. Ее муж был очень прост с людьми, его заботило их питание, их семьи. Не раз приглашал он к себе простых людей, казаков или матросов, советовался с ними.

Здесь как бы были свои законы, и высший из них был в том, что все должны трудиться. Здесь Катя поняла, что люди действительно все равны. И ей хотелось быть со всеми ровней, а казалось, что, не умея трудиться, она ниже их.

Обратно шли берегом по гиляцкой деревне. Повсюду на вешалах сушилась рыба и нерпичье мясо. Собаки, привязанные к столбам, яростно лаяли.

У одной из юрт горел огонь под чугунным котлом. Женщина-гилячка с трубкой в руках схватила ребенка, выбежавшего на нетвердых ножках из юрты и подбиравшегося к пламени, и посадила его в сторону, вытерла ему нос.

Катя остановилась.

Гилячка улыбнулась ей. Никаких поклонов она не делала. Вид у нее свежий, здоровый, сама она проворная и, кажется, жизнерадостная. Щеки тугие, широкие, нос очень маленький, в ушах серебряные серьги.

Подошла патлатая старуха, тоже с трубкой, тоже с серьгами, но какими-то сложными, как бы в несколько этажей, стала гладить плечо Екатерины Ивановны, приговаривая ласково:

— Капитан! Капитан!

— Как же! Это жена капитана! Барыня наша, -- заговорила Матрена.

Собралась целая толпа гилячек с детьми. Одни улыбались, другие смотрели испуганно и даже неприязненно.

Одна из девушек очень понравилась Екатерине Ивановне, и она, стараясь преодолеть страх и брезгливость, обняла ее. Старуха показала, что эта девушка ее. Катя знаками же пригласила старуху вместе с дочкой к себе в гости.

Девушке было лет пятнадцать. У нее густые мохнатые брови, серые глаза с изогнутыми прорезями и нежное, юное, тонкое лицо, маленький рот с сильно припухшими губами. Она все клонила голову то к одному плечу, то к другому так застенчиво, что казалось, поеживалась спросонья.

«Разве их нельзя обучить чистоте и опрятности? — подумала Катя, возвращаясь домой. — Гилячка с трубкой так тревожно бежала за ребенком, видно было, что боялась, не доберется ли он до огня». Это очень тронуло Катю. Она вообще очень любила видеть всякие проявления материнского чувства, любила маленьких детей. Ей бы хотелось одарить всех маленьких гиляков, сшить им, например, чистые рубашки. Ей захотелось еще раз встретить молодую девушку.

Все это был новый мир, который подарил ей муж. Она желала познать все в этом мире.

Ей хотелось вторгнуться в жизнь гиляков, разузнать все, она много слышала об этих людях. Она знала, что очень важное благодеяние — все так полагают — обращение их в христианство.

Жизнь гиляков, с их верованиями и странцами обычаями многоженства и многомужества, о которых толком, впрочем, никто еще ничего не знал, занимала и тревожила Катю. Она содрогалась от мысли, что юная девушка, такая милая, та, что так ей понравилась сегодня, тоже будет несчастна и ей придется быть женой многих. Ей хотелось помочь этим людям.

Катя старалась заметить, что они варят в своих котлах, как они одеты. Когда она заходила в жилища, то находила, что там очень мило и оригинально. Все приспособлено к здешней жизни. Она уже знала, что жилища на косе — нечто вроде дач, а зимой гиляки живут в тайге на речке Иски. Все говорили, что гиляки грязны, но она

заметила в них стремление к опрятности. Может, это лишь показалось, потому что она много понаслышалась об их грязи.

Жизнь гиляков была как интересная книга, которую хочется прочитать. А настоящих книг теперь у Кати мало, большая часть их размокла и погибла.

К полудню Катя возвратилась в свой дом. Она с радостью увидела свои вещи, напомнившие сестру и тетю с дядей. Дядя не хотел далее служить в Иркутске. У него были разногласия с Николаем Николаевичем. Он переехал во Владимир.

Катя опять возилась с вещами, перестилала ковры, прибавала их на чисто вымытые бревенчатые стены.

Пришла Харитипа Михайловна, привела с собой рослого старого гиляка.

— Ищет вас, Екатерина Ивановна!

Гиляк держал в руке красное бархатное кресло, потемневшее и полинявшее, но совершенно целое.

Катя схватила это кресло и чуть не заплакала от радости, словно к ней приехал близкий старый друг. Кресло было грязное и сырое. Все цело, пружины все, кажется, исправны, можно сделать другой чехол, и будет стоять у стола мужа, пусть он, сидя в нем, занимается, решает свои великие планы!

Гиляк объяснил, что кресло это выкатило волнами на берег, а он выловил его, очистил от морской воды.

Кресло поставили сушить на ветер, на солнцепек.

Катя дала гиляку серебряный полтинник. Гиляк был не здешний, а с острова Удд. Он держал монету в руке, кажется не очень радуясь ей, и с любопытством смотрел, как матросы строят казарму, в которой им предстояло зимовать.

Вечером, когда Дуняша уснула, на Катю напали страхи. Судьба мужа тревожила ее. Уезжая, он дал два пистолета, научил стрелять. Катя не боялась за себя. Тут вокруг все было спокойно и гиляки так явно дружелюбны...

Слышались шаги, перекличка часовых.

Катя чувствовала, что она как будто в военном форте, вокруг опасности. Это лагерь почти как на войне.

А утром опять вид песков, грохот моря...

И нет мужа, нет ее лучшего и прекрасного друга, ради которого она сюда приехала. Жив ли он, здоров

ли? Она помнила, как у Удда желтели мутные волны и как внезапно пошел ко дну корабль. Мало ли какие случайности могут быть!

Катя опять встречалась с матросскими женами, узнавала невольно, какие у них мужья, погружалась в их интересы, словно это были светские дамы.

Но вот с поста замечено, что через залив идут гиляцкие лодки от Иски и в них люди в форме. Вскоре Катя сама в трубу увидела милое лицо.

Невельской вышел на берег. Она обнимала его, радуясь, рассказывая, что тут было, как она вместе со всем населением поста выбежала на аврал и тянула баркас под пение «Дубинушки», когда его выбросило на морской стороне. Она начала сыпать морскими терминами, сказала, что перезнакомилась с гилячками, приготовила ему кресло...

— А у меня, слава богу, все благополучно! Николаевский пост восстановлен. Всех людей, Бошняка и Березина я оставил там и вселел любому, кто сунется, показать наши права.

Он вернулся в воинственном настроении.

— Ты не обидел гиляков?

— Я помнил твою просьбу, мой ангел! Ни один волос не упал с головы ни у одного из гиляков!

Муж сказал, что ему очень помогли Позь и Чумбока, а также Питкен, да и все гиляки были за него. Их подстрекали против русских. Один из маньчжурских торгошней живет в пятидесяти верстах от Мео.

— Имя его известно. Я судил его в числе многих других в прошлом году на Тыре. С ним заодно и другие купцы. Но Бошняк остался там, он будет следить. Гиляки нам преданны, и мы вырвем население из-под влияния купцов. Бошняк и Березин будут строить пост, казарму, обнесут все засекой, будут поставлены пушки.

Невельской начал рассказывать про тысячу дел, которые он должен сделать для Николаевского поста.

На другой день с утра Авдотья, матрос-повар и Евлампий, ездивший с капитаном на Амур, занялись хозяйством. Загорелся костер, затопилась печь. Дым потек в белое небо.

Гиляк принес две рыбины, серебром сверкавшие на солнце. Они были велики. Держа одну рыбину за жабры, гиляк поднял руки — ее хвост лежал на песке,

«Оливуца» стояла в гавани. Она вошла, чтобы наполнить пресной водой перед отправлением в далекое плавание. Ее офицеров ждали на берег.

Катя все утро писала. Теперь, когда муж дома, а «Оливуца» уходила и рвались на целый год все связи с миром, ей хотелось писать и писать, рассказать все о своей жизни, о своих чувствах, о своем муже.

Невельской написал матери, а также приготовил деловые письма и рапорты. Их тоже пришлось просмотреть Кате. Она заметила, что в деловой переписке он употребляет какие-то странные выражения, а иногда делает ошибки, и все это при его аристократизме. Особенно часто и совсем некстати он ставил тире, часто заменяя им все другие знаки, но она знала — он торопится, всегда раздражен, когда пишет. К обеду все письма и бумаги были готовы.

В двенадцать часов офицеры «Оливуцы» съехали на берег к обеду.

В тот же день под вечер мичман Чихачев прощался с товарищами на «Оливуце».

— Невельской совершенно прав, — говорил он, сидя в кают-компании среди офицеров. — Амур сам по себе, но надо быстро занять гавани на юге, там, где навигация почти круглый год!

— Это прожекторство! — ответил ему старший лейтенант Лихачев, круглолицый, плотный, плечистый, большого роста. — Амур еще не наш, на Уссури Невельской никогда не был, а рассуждает об этой реке так, словно он ее знает...

Чихачев чувствовал, что Невельской прав, что планы его идут очень далеко. Он очень воодушевлен был всем, что слышал и что видел на косе. На прощанье он не хотел спорить с друзьями.

— Время покажет, господа! Я решил и остаюсь тут! Не забывайте меня!

— Что ты, Коля! Как можно!

— Молодая прекрасная женщина готова перенести здесь зимовку, — говорил Чихачев. — А что же мы!

— Ах, Коля! Ты безумец! — продолжал старший лейтенант. — Ты лихой моряк, а превратишься в какого-то сухопутного бродягу. Вместо экзотических портов юга бу-

дешь сидеть во льдах со вшивыми гиляками... У нас будет зимовка на Маниле или в Китае, на Бонин Сима. А ты наслушался Невельского... Ведь все, что он говорит, писано вилами на воде...

Пришел лейтенант Шлиппенбах.

— Так ты сегодня покидаешь «Оливуцу»?

— Он, господа, влюбился в Екатерину Ивановну и сегодня съезжает с судна!

Эта шутка не понравилась Чихачеву, и он так взглянул на Лихачева, что все приумолкли.

— Прости, если тебя обидел,— сказал Лихачев.

На Чихачева произвела огромное впечатление мысль Невельского о порте на юге. Чем больше он думал об этом, тем сильнее ему хотелось видеть южное побережье. У него мелькнула мысль, что ему самому, быть может, суждено открыть тот порт на восточном побережье у корейской границы, о котором говорил Невельский. Что это будет для России! Мысль эта крепко засела в его голове. Но он лучше дал бы себя разрезать на куски, чем признался бы в этом кому бы то ни было. Он чувствовал в себе не силу, а силу, которой сам не раз удивлялся и которую ему до сих пор некуда было девать.

В кают-компанию вошел всеобщий любимец, капитан Суцев. Иван Николаевич полагал, что Чихачеву полезней послужить в экспедиции, чем на судне. Самому лучшему из своих офицеров он желал трудной и самостоятельной деятельности. Иван Николаевич надеялся, что мичмап не посрамит славной своей фамилии и со временем будет из всех Чихачевых, быть может, самой заметной фигурой.

«С Невельским только и служить такой молодежи. Он даст им школу!» У Ивана Николаевича было такое чувство, как будто все, что он делал для Невельского и для экспедиции,— делал для себя. Все ему нравилось: и Петровское, и перспективы зимовки, и исследования...

Чихачев — быстрый и веселый, отличный песенник, человек редкой физической силы и здоровья — обычно шутя переносил любые тяготы, еле терпимые другими.

— В такой экспедиции вы будете иметь дело с сухопутными и с морскими путешествиями. Морозы, снег, вьюга, что-то вроде путешествий Франклина, Врангеля... Это как раз для вас! — сказал капитан, сидя за полированным столом с красной вазой-пепельницей и держа в руке сигару. Вокруг тесным кругом сидели все офицеры судна.

Подали шампанское. Обступив Николая Матвеевича с бокалами, все выпили за его здоровье.

Шлюпка готова была свезти его на берег. Вестовой с вещами ждал. Товарищи, обступив Чихачева у трапа, пожелали ему успеха.

— Ошибаемся мы в Невельском или нет, но дело его благородное, — говорил мичман Шлиппенбах. — Тебе предстоит тяжелый подвиг.

Все жали Чихачеву руку, целовали его.

Капитан проводил его до трапа.

— Ну, дорогой Николай Матвеевич, в добрый час...

Матросы подходили прощаться.

Это прощанье и признание правоты его действий глубоко трогало юного офицера, и, чтобы не расплакаться, Чихачев желал скорей расстаться с друзьями.

Вскоре шлюпка пошла.

С «Оливуцы» махали Чихачеву, пока сумрак не скрыл уходящую по волнам шлюпку.

— Почему капитан так легко отпустил его? — говорили между собой офицеры, войдя в кают-компанию, где было тепло, светло, чисто, пахло дымом дорогих сигар.

Лейтенант Лихачев с особенным удовольствием ощущал, что тут, на корабле, все же есть комфорт, особенно когда видишь шлюпку, на которой товарищ ушел в неизвестную даль.

— А еще через пару месяцев и мы с «Оливуцей» в Маннле, а может быть, в Индии... Тепло, комфорт, женщины...

Весь вечер на «Оливуце» говорили о Чихачеве, об экспедиции и о Невельских.

— Да, они герои! — соглашался Лихачев.

Ему в глубине души тоже хотелось бы совершить что-то значительное, но... Если бы по приказу — иное дело, тогда пошел бы. А самому так рисковать — не стоило. Не выдержишь — осрамишься. Да и зачем? И все же гораздо милей попасть в колонии иностранцев, там очень педурно можно пожуривать!

Сытое, чуть лоснящееся лицо рослого молодого лейтенанта оживает при этой мысли. Он немного грузноват, почти как Сущев, это придает, черт возьми, солидности!

— Да! Я завидую! — говорил один из самых юных офицеров. — Только теперь, когда Николай Матвеевич отправился туда, когда Иван Николаевич согласился, я понял все значение...

Значение экспедиции для всех было очевидным...

А Шлиппенбах, так одобрявший Колю Чихачева и державший его сторону, думал сейчас, что значение экспедиции велико, но стоит ли идти добровольно на каторгу. Разве нельзя по-человечески экспедиции снаряжать, как Коцебу, как Крузенштерн, Литке, Врангель. Там все было обставлено как следует и был план занятий и действий. А Невельской затеял какое-то безумие, и ничего у него нет. Что будет, если он заморит и себя и всех...

Чихачев с вестовым шел по пустынной косе к огонькам поста. Ему жаль было товарищей и жаль Суцева, матросов и «Оливуцу». В последний миг он почувствовал, как глубоко они любили его и как все признали, что он идет на благородное дело.

— С кем теперь песни петь будем? — сказал ему один из матросов.

«Как тяжело, как тяжело!» — думал он.

Матрос поставил вещи у дома Невельских. Офицер открыл дверь и вошел в дом.

— Николай Матвеевич? — схватил его за руки Невельской, вскакивая из-за стола.

В голосе капитана была тревога. Чуткий человек, он уловил сегодня нотки недоверия к себе и своим планам у некоторых офицеров «Оливуцы», когда они были тут на обеде.

— Я с вами, Геннадий Иванович!

— Так благослови вас бог! — сказал капитан. — Понесем крест вместе. Не отчаивайтесь, что покинули судно. Наша Петровская коса и вся наша экспедиция — это тоже судно среди бушующего океана. Я так и смотрю на свою экспедицию!

«Оливуца» ушла. Теперь в море — ни паруса.

Гиляки убрались в свои зимние жилища и пугали русских, что скоро водой смоев весь пост.

Море бушевало целыми неделями. Вид его темен и ужасен, оно кажется бешеным.

Дома за обедом, даже в постели, — мысли у мужа о заготовках леса, постройках, исследованиях... И он обо всем так вдохновенно рассказывает, что невольно заслушиваешься, словно это интересный роман. Иногда у него такой вид, будто он решает в уме математические задачи.



— Цель экспедиции — изучение края, — вдруг говорит он утром Чихачеву, — а каковы силы? Распространение влияния, а где люди? Надо узнать все, а наши средства... ничтожны! Николай Матвеевич! Все зависит от нас с вами. Будем производить исследования зимой. Не ждать же лета!

В ночь море загрохотало с особенной яростью. Утром Катя проснулась, услыша плеск воды. Мужа не было дома. Удары волн слышались явственно. На миг ей показалось, что она опять на судне.

Она оделась и вышла.

Огромные волны шли со стороны моря на косу; слышен был грохот, удары в стену из песка, и каждый раз облако брызг и водяной пыли, как над палубой штормящего



судна, несло над всем постом с его рядами палаток, еще не достроенной казармой и домиками офицеров, складом, пекарней, колодцем и сараем для единственной коровы... Через некоторое время из стланика, просочившись сквозь зеленую нежную и плотную хвою, несло белая пена, а за ней вал задержанной там воды. Ветер с бешеной силой запласкивал флаг на мачте.

На посту все было спокойно. Невельской как ни в чем не бывало шагала вдали в своих сапогах. Новый удар рушился на косу и на стланик, и, перехлестнув через лес, волна несло вместе с вывернутыми из песка корявыми деревьями.

Невельской пришел, уверяя, что опасности нет, волны приходят обессиленные.

Катя, как и каждый день, с утра пошла работать с женами матросов в сарай. Мужчины на постройке, они должны скорей заканчивать избы. Женщины укладывали товары. А вечером, как на корабле среди бушующего моря, Екатерина Ивановна читала.

Дрова замокли. Печь грелась плохо. Ветер бил сквозь ставни. Не было пресной воды, даже в колодце она стала солоноватой. Катя куталась...

А книги были все про одно и то же — истории скупцов, или проданных за богатство девушек, или девушек погибших, никогда не узнавших любви, или обманутых в своих надеждах, встретивших людей ничтожных, а любивших их, как героев.

Разные по стилю — романтические, сентиментальные или реалистические, на французском, английском или русском языках, эти романы, оставшиеся после кораблекрушения, говорили все об одном — люди жалки, лживы и ничтожны, все светлое гибнет, всюду несчастья, смерть и надругательство над светлыми мечтами.

Она часто думала, правда ли это? Такова ли жизнь? Разве нет иной жизни? Разве нельзя жить честней? Муж ее, не зная устали, трудился. Сама она, в сапогах и мужских брюках, работала целый день, как простая работница.

А море грохочет, идет зима, все живое улетает и прячется. Но она в заботах рядом со своим героем.

Волны Охотского моря не позволяют огорчаться и разочаровываться. В море сплошной грохот, опять волны добегают до чащи колючего стланика, в воздухе иодымаются тучи водяной пыли, и на избе Невельских бешено полощется флаг.

ПРИМЕЧАНИЯ

«Капитан Невельской» — третий роман цикла, посвященного освоению русскими Дальнего Востока, открытиям Г. И. Невельского. Первые два романа тетралогии Н. Задорнова — «Далекий край» и «Первое открытие» — вышли одной книгой в серии «Библиотека исторического романа» в 1969 г. Последний роман — «Война за океан» — также выйдет в этой серии.

Первая книга романа «Капитан Невельской» впервые опубликована в журнале «Дальний Восток», 1956, № 3—6; вторая книга — в том же журнале, 1958, № 1—2. В 1958 г. роман вышел отдельными изданиями в Риге и в Москве, с тех пор неоднократно переиздавался. Для настоящего издания роман заново просмотрен автором.

Стр. 7. *А. П. Чехов. «Остров Сахалин».*— Книга была написана в результате поездки А. П. Чехова на Сахалин в 1890 г. Готовясь к поездке, Чехов проделал большую подготовительную работу, изучал историю края, познакомился с работами исследователей. Отдавая в своей книге должное Г. И. Невельскому, писатель с горечью отмечает: «Интересно, что на Сахалине дают названия селениям в честь сибирских губернаторов, смотрителей тюрем... но совершенно забывают об исследователях, как Невельской, моряк Корсаков, Бошняк... память которых, полагаю, заслуживает большего уважения...»

Стр. 8. *Русская Америка* — русские поселения на Алеутских островах, острове Кадьяк и побережье Северной Америки, возникшие после открытия этих богатых пушным зверем мест экспедицией Беринга и Чирикова (1741). В 1799 г. указом Павла I для управления и эксплуатации богатств Русской Америки была создана Российско-американская компания. Необходимость снабжать поселения продовольствием из России породила, в свою очередь, эпоху русских кругосветных путешествий и великих географических открытий XIX в.

Стр. 9. *Муравьев* (Муравьев-Амурский) Николай Николаевич (1809—1881) — генерал-губернатор Восточной Сибири (с 1847 по 1861 г.). Содействовал изучению Сибири, значительно облегчил положение ссыльных декабристов, покровительствовал петрашевцам, что не мешало ему в то же время применять к ним суровые административные меры. Н. Н. Муравьев поддерживал Геннадия Ивановича Невельского (1813—1876) в его стремлении присоединить к России издревле принадлежавшие ей земли. Однако впоследствии Муравьев сумел удалить Невельского и приписать себе все заслуги в деле открытия и освоения Приамурских земель, за что он получил титул графа с присоединением к его имени Амурского.

Стр. 10. *Крузенштерн* Иван Федорович (1770—1846) — известный русский мореплаватель, адмирал, начальник первой русской кругосветной экспедиции, исследователь Тихого океана, ученый-гидрограф. Описал восточный берег Сахалина, берега Камчатки, часть Курильских островов. В 1809—1812 гг. издал трехтомное «Путешествие вокруг света в 1803—1806 гг. па кораблях «Надежде» и «Неве», а затем «Атлас к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна» и «Атлас Южного моря». В 1827—1842 гг. был директором Морского корпуса.

Порт-Джексон в Новой Голландии — ныне Сидней. Новой Голландией в XVII в. пазвали Австралию открывшие западное побережье материка голландские моряки.

Завойко Василий Степанович (1809—1898) — кругосветный мореплаватель, впоследствии адмирал. С 1840 по 1850 г. служил в Российско-американской компании пачальником Охотской, а затем Лянской фактории. С 1850 г.— военный губернатор Камчатки и командир Петропавловского порта, возглавивший его оборону при нападении англо-французской эскадры в 1854 г.

Стр. 11. *Корсаков* Михаил Семенович (? — 1871) — адъютант генерал-губернатора Восточной Сибири с 1848 г., один из организаторов сплава Амурской флотилии по Амуру. С 1862 г.— генерал-губернатор Восточной Сибири.

Стр. 12. *Зарин* Владимир Николаевич (? — 1854) — вместе с И. Н. Муравьевым служил на Кавказе и в Туле. С 1848 по 1851 г. был гражданским губернатором в Иркутске, позже — губернатором во Владимире и Курске.

Струве Бернгардт Васильевич — сын известного русского ученого-астронома В. Я. Струве. В 1854—1855 гг. председатель Иркутского губернского правления. Автор «Воспоминаний о Сибири» (СПб. 1889).

Стр. 16. *Христиани* Элиз (1827—1853) — известная виолончели-

стка. Во время гастролей посетила с концертами Вену, Лейпциг, Берлин, Гамбург, Петербург, всюду имела большой успех. Умерла во время путешествия по Сибири в г. Тобольске.

Стр. 19. *Миддендорф* Александр Федорович (1815—1894) — русский естествоиспытатель и путешественник. Его экспедиция в Восточную Сибирь в 1842—1845 гг. имела большое значение для изучения края. Автор книги «Путешествие на север и восток Сибири» (СПб. 1860).

Гиляки.— Так раньше называли нивхов.

Стр. 20. *Вонлярлярский* Иван Васильевич (? — 1853) — мореплаватель. В 1844—1845 гг. на транспорте «Иртыш» совершил переход из Кронштадта на Камчатку, оттуда — в Охотск, где остался в должности командира порта. В 1851 г. произведен в контр-адмиралы и назначен капитаном Астраханского порта.

Стр. 21. *Кошка* — длинная песчаная или галечная коса, вытянутая параллельно берегу.

Стр. 23. *Поплонский*, как и выведенные в романе штурманы и капитаны Охотской флотилии — Шарипов, Кузьмин, Мацкевич, Сущев, Чудинов, ряд матросов (Подобин и др.), а также другие персонажи — гиляк Позь (Позвейн), тунгус Афанасий, доктор Орлов и др. — реально существовавшие лица, упоминающиеся в документах той поры, в воспоминаниях участников событий, и прежде всего в книге Г. И. Невельского «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России. 1849—1855», пад которой Невельской работал в последние годы жизни. Книга эта вышла после его смерти, в 1878 г.

Банка — мель в море.

Стр. 24. *Бар* — песчаная отмель, которая намывается рекой при впадении ее в море.

Стр. 26. *Машин* Ростислав Григорьевич (1810—1866) — начальник Камчатского порта в 1849—1850 гг., впоследствии — контр-адмирал.

Иннокентий — Вениаминов Иван Евсеевич (1797—1879) — русский этнограф и естествоиспытатель. Выдвинулся как миссионер, долго живший среди алеутов и других племен Русской Америки (с 1824 по 1839 г.) и заслуживший любовь местного населения. Автор ценной монографии об Алеутских островах, первой научной грамматики алеутского языка и многих статей. Научную деятельность оставил после того, как в 1840 г. стал епископом камчатским, курильским и алеутским, приняв имя Иннокентий. С 1868 г. — митрополит Московский.

Стр. 44. *Хвостов и Давыдов*.— Лейтенанты Хвостов Николай Александрович (1776—1809) и Давыдов Гавриил Иванович (1784—

1809), будучи на службе Российско-американской компании, плавали из Петропавловска-Камчатского к берегам Сахалина, в Охотское море, в Русскую Америку. На южном берегу Сахалина оставили первую группу русских поселенцев. За уничтожение японских складов на Сахалине и Курильских островах были арестованы, бежали в Петербург. После смерти Г. И. Давыдова вышла его книга «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним» (1810—1812).

Стр. 45. *Брасы* — снасти, которыми укрепляются паруса.

Стр. 46. *Восточный океан* — старинное название Великого, или Тихого океана.

Стр. 49. *Орлов Дмитрий Иванович* (XIX в.) — штабс-капитан корпуса флотских штурманов. Исследователь Охотского моря, Приморского края и Сахалина.

Стр. 54. *Барон Егор Егорович* — Врангель Е. Е. (1827—1875) — сенатор, директор департамента министерства юстиции.

Стр. 55. *Врангель Фердинанд Петрович* (1796—1870) — адмирал, известный путешественник и исследователь Арктики, трижды обогнувший земной шар. В 1829—1835 гг. был главным правителем Русской Америки, затем — председателем Главного правления Российско-американской компании. Один из учредителей Русского географического общества. В 1855—1857 гг. — морской министр.

Стр. 59. *Гаврилов Александр* (XIX в.) — подпоручик корпуса морских штурманов, совершил кругосветное путешествие. Был на службе Российско-американской компании. В 1845—1846 гг., командуя бригам «Константин», исследовал юго-восточную часть Охотского моря, открыв на Сахалине Залив Обмана (Залив Байкал).

Стр. 60. *Баласогло Александр Пантелеймонович* (1813—?) — один из наиболее активных членов революционного кружка Петрашевского. Служил архивариусом в министерстве иностранных дел. Изучал восточные языки, интересовался Сибирью. В 1849 г. арестован и затем сослан в Петрозаводск с отдачей под секретный надзор.

Стр. 63. *Шелихов* (Шелехов) Григорий Иванович (1747—1795) — купец-предприниматель, путешественник, исследователь Русской Америки, где он основал первые русские поселения. Организатор торговой компании, занимавшейся пушным и зверобойным промыслами, на основе которой впоследствии была создана Российско-американская компания.

Стр. 74. *Лигке Федор Петрович* (1797—1882) — адмирал, известный мореплаватель и географ, исследователь Арктики, президент Академии наук. Главный организатор созданного в 1845 г. Русского географического общества, вице-председателем которого

был до 1873 г. В 1832 г. вопреки своему желанию был назначен воспитателем великого князя Константина Николаевича и этим надолго оторван от научной деятельности. Во время Крымской войны, в 1853 г., будучи главным командиром и военным губернатором Кронштадтского порта, Ф. П. Литке возглавил оборону Кронштадта и всего Балтийского побережья России.

Стр. 75. *Александр Антонович* — Халезов А. А. (XIX в.) — мореплаватель. В 1853—1854 гг. старшим штурманом на фрегате «Паллада» совершил четвертое кругосветное плавание. Описан И. А. Гончаровым в книге «Фрегат «Паллада» под прозвищем «Дед».

Стр. 78. *Лаперуз Жан-Франсуа* (1741—1788) — французский мореплаватель. Во время кругосветного плавания был в 1787 г. в Японском море, в Татарском проливе, открыл залив, названный им по имени тогдашнего морского министра Франции Де-Кастри (в 1952 г. переименован в залив Чихачева). Попытка Лаперуза пройти дальше к северу не удалась, он обогнул остров Сахалин с юга и через пролив, получивший его имя, вышел в океан.

Стр. 79. *Казакевич* Петр Васильевич (1814—1887) — мореплаватель, впоследствии адмирал, генерал-адъютант. Участник открытий Г. И. Невельского. В 1856 г. назначен первым губернатором Приамурского края. В 1862 г. руководил работами по установлению границы с Китаем. С 1871 г. — командир Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта.

Стр. 85. *Камеахеа* (Камеахеа) — имя ряда королей Гавайи. Во время посещения Невельским Гавайских островов там правил Камеахеа III, при котором независимость Гавайского королевства была признана рядом государств Европы и Америки.

Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869) — военный и дипломатический деятель, адмирал, генерал-адъютант. Начальник Главного морского штаба. Будучи главнокомандующим во время Крымской войны, проявил себя бездарным полководцем и в 1855 г. отстранен от командования.

Стр. 97. *Граф Василий Алексеевич* — Перовский В. А. (1795—1857) — генерал-адъютант. Был губернатором в Оренбурге и Самаре.

Хилль — так же, как и упоминающийся далее *Остен*, исторически существовавшие лица, английские путешественники, оставившие записки о Сибири.

Стр. 100. *Каратыгин* Петр Андреевич (1805—1879) — известный русский актер и драматург. В 30-е годы преподавал драматическое искусство в Морском корпусе.

Стр. 104. *Луи Наполеон* Бонапарт (1808—1873) — французский император Наполеон III, племянник Наполеона I.

Стр. 110. *Ют* — кормовая часть палубы корабля.

Стр. 113. *Бейдевинд* — курс парусного судна против ветра.

Стр. 115. *Лазарев* Михаил Петрович (1788—1851) — выдающийся деятель русского флота, герой Наваринского сражения 1827 г., видный ученый-исследователь, трижды обогнувший земной шар и открывший вместе с Ф. Ф. Беллинсгаузеном Антарктиду. С 1833 г. главный командир Черноморского флота.

Стр. 120. *Франклин* Джон (1786—1847) — английский путешественник и полярный исследователь. Погиб со всей своей экспедицией, искавшей Северо-Западный проход — северный морской путь из Тихого океана в Атлантический, впервые пройденный только в 1903—1906 гг. экспедицией Р. Амундсена в направлении с востока на запад.

Стр. 123. *Гюйс* — флаг, поднимаемый по носу военного корабля во время стоянки на якоре; *ванты* — снасти, удерживающие мачты.

Стр. 127. *Гафель на гроте*. — Гафель — специальный рей, укрепленный в верхней части мачты (здесь — на второй от носа мачте — грот-мачте) и поднимаемый вверх по мачте.

Стр. 129. *Тебеньков* Михаил Дмитриевич (?—1872) — гидрограф, впоследствии вице-адмирал. За время управления Русской Америкой (1845—1850) организовал ряд экспедиций по изучению края, составил «Атлас северных берегов Америки... островов Алеутских с присовокуплением некоторых мест северо-восточных берегов Азии» и «Гидрографические замечания к атласу» (1852).

Стр. 134. *Лайда* — отмель, образованная наносами реки.

Стр. 137. ...*про восстание народа во Франции*. — Речь идет о французской буржуазной революции 1848 г.

Стр. 141. *Хабаров* (Святитский) Ерофей Павлович — русский землепроходец и промышленник XVII в. Совершил ряд походов в Приамурье, в 1651 г. основал на Амуре город Албазин. Ныне именем Хабарова назван город Хабаровск и станция Ерофей Павлович Амурской ж. д.

Поярков Василий Данилович — русский землепроходец XVII в. В 1643—1646 гг. совершил путешествие по Восточной Сибири, побывал на Амуре, зимовал на его устье, затем Амурским лиманом вышел в Охотское море, по пути открыл Шантарские острова. По реке Улье и рекам бассейна Лены вернулся в Якутск.

Стр. 142. *Степанов* Онуфрий (? — 1658) — сибирский казак. Оставшись после отъезда Хабарова «приказным человеком реки Амура — новой Даурской земли», организовал оборону русских поселений от маньчжурских войск. Выстроил «городок» у устья реки Кумары. Погиб в схватке с маньчжурами.

Стр. 143. *Ледрю-Роллен* Александр-Огюст (1808—1874) — французский политический деятель. В 1849 г. возглавлял оппозицион-

ную группу левых республиканцев, был вынужден бежать в Англию.

Стр. 149. *Якушкин* Иван Дмитриевич (1793—1857) — декабрист, учредитель Союза спасения, член Союза благоденствия и Северного общества. Каторгу отбывал в Чите и Петровском заводе, на поселении — в Ялуторовске.

Пушкин Иван Иванович (1798—1859) — деятельнейший участник восстания декабристов, друг А. С. Пушкина. Член Союза благоденствия, один из основателей Северного общества. Каторгу отбывал в Чите и Петровском заводе, на поселении в городах Туринске и Ялуторовске.

Кук Джемс (1728—1779) — известный английский мореплаватель, исследователь островов Тихого океана.

Стр. 163. *Омулевский* — Федоров Иннокентий Васильевич (1837—1883) — писатель, продолжавший в своих романах традиции Н. Г. Чернышевского. Лирика Омулевского пользовалась большой популярностью, особенно в Сибири.

Цитируется стихотворение Омулевского «Камчатка».

Стр. 166. *Кузьмин* Павел Алексеевич (1819—1885) — штабс-капитан Генерального штаба, впоследствии — генерал-лейтенант. Посещал кружок Петрашевского. После ареста освобожден с отдачей под секретный надзор.

Стр. 175. *Волконские* — семья декабриста Сергея Григорьевича Волконского (1788—1863). После отбытия срока каторжных работ С. Г. Волконский был поселен в селе Урике, куда Волконские переехали в марте 1837 г. Через пять лет, в связи с необходимостью дать сыну образование, Мария Николаевна Волконская (1805—1863) получила разрешение переехать с семьей в Иркутск. Через несколько месяцев сюда же фактически переехал и С. Г. Волконский. Их дети — Михаил Сергеевич (1832—1909) и Елена Сергеевна (1835—1916).

Трубецкие — семья декабриста Сергея Петровича Трубецкого (1790—1860). С. П. Трубецкой, отбыв срок каторжных работ, жил на поселении в селе Оёк, вблизи Иркутска. Вскоре его семье разрешено было жить в Иркутске. Жена С. П. Трубецкого, последовавшая за ним в Сибирь, — Трубецкая Екатерина Ивановна (урожденная графиня Лаваль) (? — 1854); дочери: Александра Сергеевна (1830—1860), Зинаида Сергеевна (1837—?), сын — Иван Сергеевич (1843 — ?).

Стр. 180. *Петрашевский* — Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич (1821—1866) — видный деятель русского освободительного движения, основатель революционного кружка, существовав-

шего в 1845—1849 гг. в Петербурге. После разгрома кружка был сослан на каторгу в Сибирь.

Стр. 184. *Молчанов* Дмитрий Васильевич (? — 1857) — чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири. В 1850 г. женился на дочери декабриста Елене Сергеевне Волконской с согласия ее матери, но против воли отца — С. Г. Волконского. Это вызвало возмущение среди декабристов, относившихся к Молчанову недоброжелательно. В 1851 г. был отдан под суд по обвинению во взяточничестве, через пять лет оправдан, но, будучи уже тяжелобольным, сошел с ума и в 1857 г. умер.

Стр. 189. *Черносвитов* Рафаил Александрович (1810—?) — участник русско-турецкой войны, был ранен, потерял ногу. В 40—50-х годах был исправником в Ирбите и Шадринске, участник Сибирской золотопромышленной компании. Посещал кружок Петрашевского в 1848 г. После ареста сослан в Кексгольмскую крепость, в 1854 г. переведен в Вологду, в 1858 г. уехал в Сибирь.

Стр. 192. *...родственники его — Муравьевы — были сосланы в Нерчинск по делу декабристов.* — Имеется в виду отдаленное родство декабристов Александра Михайловича и Никиты Михайловича Муравьевых, а также Матвея Ивановича и Сергея Ивановича Муравьевых-Апостол с Н. Н. Муравьевым.

Стр. 193. *«...В Полтаве нет...»* — строки из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828).

Стр. 194. *«Тебе — но голос музы тёмной...»* — строки из Посвящения к поэме А. С. Пушкина «Полтава» (1829).

Муханов Петр Александрович (1799—1854) — декабрист, член Союза благоденствия. Писатель. Каторгу отбывал в Чите и Петровском заводе, на поселении — в селе Братский острог и Усть-Кудинское.

«Во глубине сибирских руд...» — Это стихотворение А. С. Пушкина распространялось в списках. Пушкин отдал его для передачи декабристам Александре Григорьевне Муравьевой, ехавшей из Москвы к мужу — Никите Михайловичу Муравьеву — в Сибирь в январе 1827 г.

Стр. 197. *Бестужев* Николай Александрович (1791—1855) — декабрист, капитан-лейтенант, неоднократно бывал в дальних плаваниях. Человек разносторонних дарований: ученый, моряк, историк русского флота, механик-изобретатель, физик, автор художественных произведений, переводов, ряда экономических работ, талантливый художник, создавший галерею портретов декабристов и их жен. Каторгу отбывал в Чите и Петровском заводе, затем жил на поселении в Селингинске,

Стр. 202. *Виардо* — Виардо-Гарсиа Мисель-Полина (1821—1910) — певица, педагог и композитор. Близкий друг И. С. Тургенева.

Стр. 212. *Поджио* Александр Викторович (1798—1873) — декабрист, член Южного общества, один из ближайших сподвижников Пестеля. Каторгу отбывал в Чите и Петровском заводе, на поселении в селе Усть-Куда.

Стр. 213. *Борисовы* — Андрей Иванович (1798—1854) и Петр Иванович (1800—1854) — братья-декабристы, основатели Общества соединенных славян, каторгу отбывали в Чите и Петровском заводе, на поселении в селе Малая Разводная под Иркутском. П. И. Борисов — выдающийся ученый-натуралист и талантливый художник.

Стр. 218. *Шканечный журнал* — вахтенный журнал.

Стр. 230. *Головин* Евгений Александрович (1782—1858) — генерал, участник Отечественной войны 1812 г., в 1837—1842 гг. — командующий корпусом на Кавказе, затем — генерал-губернатор Прибалтийского края, член Государственного совета.

Стр. 244. «*Я знаю жребий мне готовый...*» — стихи из поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник» (1821).

Стр. 254. *Рылеев* Кондратий Федорович (1795—1826) — один из руководителей движения декабристов, поэт. В 1824—1825 гг. служил правителем дел Российско-американской компании. С Российско-американской компанией был связан ряд декабристов. Она привлекала их как сильная капиталистическая организация, имевшая большие средства и связи в Европе и Америке, владевшая большим флотом. Директора Компании Прокофьев и Кусов симпатизировали многим декабристам.

Стр. 255. *Куприянов* Иван Антонович (? — 1857) — вице-адмирал, мореплаватель, трижды обогнувший земной шар, участник первой русской антарктической экспедиции. В 1834—1841 гг. был главным правителем Русской Америки, в 1838 г. организовал экспедицию под командованием А. Ф. Кашеварова для исследования северо-западных берегов Америки.

Стр. 257. Эпиграф из статьи А. И. Герцена «Русские немцы и немецкие русские» (1859).

Стр. 260. *Найон* — чиновник (м а н ь ч ж.).

Стр. 279. *Кукольник* Нестор Васильевич (1809—1868) — реакционный писатель, драматург.

Стр. 284. *Завалишин* Дмитрий Ириархович (1804—1892) — декабрист, мореплаватель и исследователь Восточной Сибири. Каторгу отбывал в Чите и Петровском заводе, на поселении — в Чите. В 1856 г. отказался воспользоваться амнистией, остался в

Чите для изучения края. За обличительные статьи против местной администрации выслан в 1863 г. из Сибири, переехал в Москву.

Стр. 284. *Министр двора Волконский* — Волконский Петр Михайлович (1776—1852) — видный придворный сановник, генерал-фельдмаршал.

...*другой их родственник — шеф жандармов Орлов* — Орлов Алексей Федорович (1786—1861) — сенатор, член Верховного суда по делу декабристов. Брат декабриста Михаила Федоровича Орлова, женатого на сестре М. Н. Волконской Екатерине Николаевне. В 1844 г. назначен шефом жандармов и начальником Третьего отделения.

Стр. 295. *Отец Марии Николаевны* — Раевский Николай Николаевич (1771—1829) — генерал, герой Отечественной войны 1812 г.

Стр. 301. *Гесс, Гофман, Струве, Гельмерсен* — выдающиеся русские ученые: Г. И. Гесс — химик, Э. К. Гофман и Г. П. Гельмерсен — геологи, В. Я. Струве — астроном, директор Пулковской обсерватории.

Анжу Петр Федорович (1796—1869) — адмирал, исследователь Арктики.

Стр. 316. *Бугаков* Алексей Иванович (1816—1869) — мореплаватель, впоследствии контр-адмирал. В 1848 г. возглавил экспедицию по проведению съемки и описи Аральского моря.

Стр. 325. *Беллинсгаузен* Фаддей Фаддеевич (1779—1852) — адмирал, участник первого русского кругосветного плавания. В 1819—1821 гг. возглавлял экспедицию, открывшую Антарктиду. С 1839 г. — главный командир Кронштадтского порта и Кронштадтский генерал-губернатор.

Стр. 331. *Графу Путятину... отказано было в осуществлении проекта идти к устью Амура и в Японию.* — Речь идет о снаряженной в 1844 г. в Китай и Японию экспедиции под командованием Е. В. Путятина, отмененной по инициативе министра финансов Вронченко, предложившего обследовать устье Амура силами Российско-американской компании, которая в 1846 г. послала к Амуру А. Гаврилова.

Путятин Евфимий Васильевич (1803—1883) — государственный деятель, адмирал, исследователь Японского моря. В 1852—1855 гг. возглавлял дипломатическую миссию в Японию на фрегате «Паллада» (его секретарем в этом путешествии был И. А. Гончаров).

Стр. 337. *Муравьев* Михаил Николаевич (1796—1866) — государственный деятель царской России. В 1830—1831 гг. подавлял польское восстание. За жестокую расправу с восставшими в 1863 г. поляками получил прозвище «Вешатель».

Стр. 343. *«Солдатская беседа»* — одно из произведений, в которых изложены философские и социологические идеи петрашевцев (автор — Н. П. Григорьев).

Стр. 347. *«...чтобы в случае чего уйти, как в свое время Головин на «Диане» с Капского мыса».* — Речь идет о подвиге русских моряков, сумевших вывести свой корабль из заполненной вражескими кораблями бухты Симонстаун в Капской колонии у мыса Доброй Надежды, куда зашел В. М. Головин на шлюпе «Диана» в 1808 г. во время кругосветного путешествия, не зная о начавшейся войне между Россией и Англией.

Головин Василий Михайлович (1776—1831) — мореплаватель, вице-адмирал, ученый. Дважды возглавлял кругосветные экспедиции, изучавшие Камчатку и северную часть Тихого океана.

Стр. 349. *Чихачев* Платон Александрович (1812—1892) — русский путешественник и ученый, брат известного географа Петра Александровича Чихачева.

Бар Карл Максимович (1792—1876) — академик, гидрограф, исследователь Арктики, один из наиболее выдающихся натуралистов XIX в., профессор Медико-хирургической академии.

Стр. 350. *Костя* — Литке Константин Федорович (? — 1892) — впоследствии контр-адмирал, мореплаватель, дважды обогнувший земной шар, географ. Участник обороны Петропавловска-Камчатского в 1854 г.

Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм (1769—1859) — выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник. В 1829 г. совершил путешествие по России — через Средний Урал на Алтай до китайской границы.

Стр. 351. *Чихачев* Петр Александрович (1808—1890) — крупный русский географ-путешественник и геолог, известный своими исследованиями Алтая и Малой Азии. Жил большей частью за границей, преимущественно в Париже.

Стр. 354. *Блокшив* — устаревшее и разоруженное судно, используемое для жилья личного состава или склада.

Стр. 355. *Ушкуйники* — вооруженные дружинники древней Руси, разъезжавшие в ушкуях (ладьях) и занимавшиеся разбоем.

Ермак Тимофеевич (? — 1584) — казачий атаман, предводитель похода в Сибирь, в результате которого распалось Сибирское ханство Кучума и начато присоединение Сибири к России.

Стр. 373. Эпиграф из сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «О ретивом начальнике» из очерков «Современная идиллия» (1882).

Стр. 374. *...осмеял ее мужа.* — Речь идет о стихотворении А. С. Пушкина «Моя родословная» (1830).

Стр. 376. *Греч Николай Иванович (1787—1867) и Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — реакционные писатели, издатели полуофициозной газеты «Северная пчела».*

Стр. 378. *...ни Китая, чья мерная жизнь была нарушена...—* В 40-е годы XIX в. в Китае росли народные волнения, направленные против маньчжуро-китайских властей и иностранных захватчиков, завершившиеся Тайпинским восстанием 1851—1856 гг.

Стр. 379. *Петр Иванович Бобчинский — персонаж комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».*

Стр. 386. *...донесения Пекинской миссии.—* Русская духовная миссия в Пекине до второй половины XIX в. являлась единственным дипломатическим и торговым представительством в Китае. Учреждена была в начале XVIII в. для отправления церковной службы среди русских поселенцев (первоначально это были военнопленные и их семьи, попавшие в Китай после взятия маньчжуро-китайскими войсками города Албазина на Амуре в 1687 г.).

Стр. 389. *«...нить полков блестящих, стройных...» —* из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».

Бетанкур Августин Францевич (1758—1824) — генерал-лейтенант русской службы, уроженец острова Teneriff. Образование получил в Париже, служил в Испании. В России преобразовал Тульский оружейный и ряд других заводов. Организатор института путей сообщения, главный управляющий путей сообщения.

Стр. 413. *Гольды.*— Так раньше называли нанайцев.

Стр. 423. *«Я вижу: вздымая хребты...» —* из стихотворения Омулевского (И. Федорова) «Камчатка».

Стр. 455. *Гаврилов* Петр Федорович (XIX в.) — капитан-лейтенант, исследователь Охотского моря. В Охотской флотилии служил с 1846 по 1856 г., участник обороны Петропавловска-Камчатского в 1854 г.

Стр. 472. *Лезем в Иерусалим и в Грецию...—* Распри между католическим и православным духовенством из-за обладания «святыми местами» в Палестине, поддерживаемые царским правительством, явились предлогом для начала Крымской войны 1853—1856 гг. Стремясь к усилению влияния на Ближнем Востоке, царизм вмешивался во внутренние дела Греции, получившей в результате русско-турецкой войны 1828—1829 гг. независимость, Англия, Франция и Россия были объявлены державами-покровительницами Греции.

Стр. 473. *...описание Маио.—* Маио Ринзо — японский землемер, путешествовавший в начале XIX в. в Татарском проливе и составивший его карту.

Стр. 473. *Остров Удд* — ныне остров Чкалова.

Стр. 479. *Фальконет* — гладкоствольное орудие малого калибра, устанавливалось на небольших парусных и гребных судах.

Стр. 483. *Джангин* — хозяин (маньчж.).

Стр. 487. *Кашеваров* Александр Филиппович (1808—1866) — исследователь Русской Америки, по матери — алеут. Учился в Балтийском штурманском училище как воспитанник Российско-американской компании, на кораблях которой служил затем штурманом. Автор статьи «Заметки об эскимосах в Русской Америке» и книги «Журнал, веденный при байдарочной экспедиции, назначенной для описи северного берега Америки в 1838 году» (СПб. 1879). Участвовал в составлении «Атласа Восточного океана с Охотским и Беринговым морями» (издан в 1850 г. в Петербурге).

В 1850—1856 гг. был начальником Аянского порта в Охотском море. В 1857 г. вернулся в Петербург.

Стр. 520. *Город Сан-Син-Чен* — Сансин или Илань — один из крупных городов в Маньчжурии, на реке Сунгари.

Стр. 524. *Не зря гуда стремились католические миссионеры...* — В 1670 г. Людовик XIV отправил в Пекин четырех иезуитов с титулами «королевских математиков». Один из них — Жан-Франсуа Жербильон (1654—1707), изучавший Китай и Маньчжурию и оставивший ряд трудов о стране, был назначен в 1688—1689 гг. представителем китайской стороны при заключении Нерчинского договора. В переговорах с русскими принимал участие также другой иезуит — Томас Перейра.

Стр. 541. *Гэнгиэн* — река Горюн.

Стр. 543. *Самогирское озеро* — озеро Эворон.

Стр. 563. *Мы поднимаем на этих берегах русский флаг...* — На мысе Куегда в августе 1850 г. Г. И. Невельской основал Николаевский пост. Ныне здесь один из крупнейших городов Приамурья — Николаевск-на-Амуре. В день столетия со дня основания города недалеко от того места, где был поднят флаг, Г. И. Невельскому поставлен памятник.

Стр. 573. Эпиграф из «Баллады о котиколовах» Редьярда Киплинга, перевод Н. Задорнова.

Стр. 582. *Тимберовка* — ремонт, модернизация деревянного судна с целью сделать его годным для дальнейшего плавания. Термин парусного флота.

Стр. 587. *Галвинд* — курс судна, когда ветер дует перпендикулярно плоскости судна.

Стр. 620. *Полежаев* Александр Иванович (1804—1838) — поэт. За поэму «Сашка», в которой автор выступил против самодержавно-крепостнического строя, в 1826 г. был по приказу Николая I

отдан в солдаты. Служил на Кавказе. Трижды совершал побеги из полка, умер в Московском военном госпитале от чахотки, замученный солдатчиной и телесными наказаниями.

Стр. 633. *Нерчинский договор*.— Первый договор, определивший отношения Русского государства с маньчжурской Цинской империей, заключенный в Нерчинске в 1689 г., установил границы между китайскими и русскими владениями на Дальнем Востоке по рекам Горбица и Аргунь, восточнее земли были оставлены по настоянию русского посла Ф. А. Головина неразграниченными, что дало право впоследствии поставить снова вопрос о границе.

Стр. 640. *Коля Мордвинов* — Мордвинов Николай Александрович (1827—?), сын сенатора А. Н. Мордвинова. Чиновник министерства внутренних дел. Посещал кружок петрашевца Дурова.

Стр. 646. *Сулой* — завихрения на море в местах, где на мелком месте сталкиваются течения различных направлений. Места, опасные для парусников.

Стр. 648. *Эголин* Адольф Карлович (XIX в.) — мореплаватель и путешественник, дважды обогнувший земной шар, исследователь Русской Америки, в 1838 г. назначен ее главным правителем.

Стр. 671. *Казакевич* Павел Васильевич (1813—1882) — гидрограф, впоследствии генерал-майор корпуса флотских штурманов.

Стр. 675. *Полина Анненкова* — Анненкова Прасковья Егоровна (Полина Гебль) (1800—1876) — жена декабриста И. А. Анненкова, последовала за ним в Сибирь.

Александр Дюма (отец) описал историю француженки Полины Гебль (в романе — Луиза Дюпюи), ставшей женой декабриста Анненкова, в романе «Записки учителя фехтования» (1840). Это был один из немногих откликов на восстание декабристов в западной литературе. И хотя А. Дюма не сумел раскрыть истинных причин восстания, порой извращал события, выделяя в истории своих героев личное и случайное, роман о декабристах, осуждавший самодержавно-крепостнические порядки в России, был запрещен Николаем I и читался под угрозой наказания. Когда в 1858 г. А. Дюма разрешили поездку по России, за ним был учрежден тайный полицейский надзор. Впервые роман А. Дюма под названием «Учитель фехтования» был переведен на русский язык в 1925 году — к столетию со дня восстания декабристов, переиздан в 1957 г. Горьковским книжным издательством.

Стр. 677. *Бошняк* Николай Константинович (1830—1899) — морской офицер, участник Амурской экспедиции Невельского, исследователь Татарского пролива, низовьев Амура, острова Сахалина. В 1855—1856 гг. на корвете «Оливуца» вернулся в Петербург. Ав-

тор статей «Экспедиция в Приамурском крае» и «Занятие части острова Сахалина».

Стр. 680. *Хотя в роду Бошняков были люди, служившие в жандармерии и в Третьем отделении...*— Имеется в виду А. К. Бошняк — один из провокаторов, предавший декабристов, агент начальника южных военных поселений графа Витта.

Стр. 700. *Галс* — положение судна относительно ветра; *делать галсы* — лавировать.

Стр. 712. *Чижачев* Николай Матвеевич (1830—?) — кругосветный путешественник, впоследствии адмирал, исследователь Амура и Татарского пролива. Участник дипломатической миссии Е. В. Путятина. В 1877 г. — командующий флотом в русско-турецкой войне. В 1885—1888 гг. — морской министр.

Стр. 727. *Коцебу* Отто Евстафьевич (1788—1846) — русский мореплаватель и ученый. Трижды обогнул земной шар, открыл ряд островов в Океании, исследовал американские берега Чукотского моря. Автор книги «Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания северо-восточного морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 1817 и 1818 годах на корабле «Рюрике» под начальством лейтенанта флота Коцебу» (1821—1823) и «Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Предприятие» (1828).

Л. Полосина

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

Часть первая ОХОТСКОЕ МОРЕ

<i>Глава первая.</i> Охотский тракт	7
<i>Глава вторая.</i> Путешественницы	14
<i>Глава третья.</i> У океана	20
<i>Глава четвертая.</i> Салюты	25
<i>Глава пятая.</i> Авачинская губа	32
<i>Глава шестая.</i> Морское путешествие Муравьева	42
<i>Глава седьмая.</i> Хозяин	50
<i>Глава восьмая.</i> Городничий и Завойко	55
<i>Глава девятая.</i> Военный совет в Аяне	62
<i>Глава десятая.</i> На борту «Байкала»	72
<i>Глава одиннадцатая.</i> В шляпке	88
<i>Глава двенадцатая.</i> Юлия Егоровна	91
<i>Глава тринадцатая.</i> На берегу	95
<i>Глава четырнадцатая.</i> Концерт в Аяне	99
<i>Глава пятнадцатая.</i> Охотск	111
<i>Глава шестнадцатая.</i> Лярский	119
<i>Глава семнадцатая.</i> Матросы	122
<i>Глава восемнадцатая.</i> Отъезд из Охотска	125
<i>Глава девятнадцатая.</i> Якутск	141
<i>Глава двадцатая.</i> Элиз	148
<i>Глава двадцать первая.</i> Казакевич	150
<i>Глава двадцать вторая.</i> Объяснение	152
<i>Глава двадцать третья.</i> Клык мамонта	157

Часть вторая ИРКУТСК

<i>Глава двадцать четвертая.</i> В пути	163
<i>Глава двадцать пятая.</i> Город	173
<i>Глава двадцать шестая.</i> Перемены ролями	188

<i>Глава двадцать седьмая. Сестры</i>	198
<i>Глава двадцать восьмая. Рассказы капитана</i>	217
<i>Глава двадцать девятая. У Волконских</i>	233
<i>Глава тридцатая. Василий Степанович</i>	246
<i>Глава тридцать первая. Обиды не прощаются</i>	257
<i>Глава тридцать вторая. Иркутяне</i>	265
<i>Глава тридцать третья. Зимой</i>	279
<i>Глава тридцать четвертая. Бал</i>	287

Часть третья

ПЕТЕРБУРГ

<i>Глава тридцать пятая. Рыцарский род Врангелей</i>	297
<i>Глава тридцать шестая. Замерзшее окно</i>	315
<i>Глава тридцать седьмая. У министра внутренних дел</i>	328
<i>Глава тридцать восьмая. На Васильевском острове</i>	338
<i>Глава тридцать девятая. Накануне</i>	346
<i>Глава сороковая. Младший сын царя</i>	360
<i>Глава сорок первая. Маленький бисквит и рюмка ма- лаги</i>	373
<i>Глава сорок вторая. Правительственный комитет</i>	388
<i>Глава сорок третья. Гиляк, гольд, тунгус и русский</i>	404

КНИГА ВТОРАЯ

Часть первая

СНОВА В МОРЕ

<i>Глава первая. Дальняя дорога</i>	423
<i>Глава вторая. «Распеканция»</i>	428
<i>Глава третья. Парус китолова</i>	436
<i>Глава четвертая. А льды всё не уходят</i>	449
<i>Глава пятая. Надежды</i>	454
<i>Глава шестая. В плаванье</i>	458
<i>Глава седьмая. В день Петра и Павла</i>	467
<i>Глава восьмая. Депутаты</i>	480
<i>Глава девятая. Епископ</i>	484
<i>Глава десятая. Последнее письмо</i>	496

Часть вторая
ВСТРЕЧА НА ТЫРЕ

<i>Глава одиннадцатая.</i> Молодая вдова	500
<i>Глава двенадцатая.</i> Таежная река Амгунь	507
<i>Глава тринадцатая.</i> Маньчжуры	515
<i>Глава четырнадцатая.</i> Люди из залива Де-Кастри	519
<i>Глава пятнадцатая.</i> В гостях у маньчжуров	532
<i>Глава шестнадцатая.</i> Неожиданная встреча	539
<i>Глава семнадцатая.</i> Суд	548
<i>Глава восемнадцатая.</i> Возмездие	552
<i>Глава девятнадцатая.</i> Новый пост	555
<i>Глава двадцатая.</i> Великая тайга	566
<i>Глава двадцать первая.</i> Китобой	573
<i>Глава двадцать вторая.</i> Обратное плавание	586
<i>Глава двадцать третья.</i> Обратный путь	595

Часть третья
ЧЕТВЕРТОЕ ПЛАВАНИЕ

<i>Глава двадцать четвертая.</i> Весенние мечты	600
<i>Глава двадцать пятая.</i> Письмо	611
<i>Глава двадцать шестая.</i> Второй гилляцкий комитет	614
<i>Глава двадцать седьмая.</i> Воспоминания	621
<i>Глава двадцать восьмая.</i> Муравьев у царя	632
<i>Глава двадцать девятая.</i> Невельской у царя	635
<i>Глава тридцатая.</i> Отъезд из Петербурга	640
<i>Глава тридцать первая.</i> Декабристы	652
<i>Глава тридцать вторая.</i> По дороге в Охотск	662
<i>Глава тридцать третья.</i> В Охотске	669
<i>Глава тридцать четвертая.</i> Первый офицер	677
<i>Глава тридцать пятая.</i> Тревожные известия	688
<i>Глава тридцать шестая.</i> Первый крейсер	694
<i>Глава тридцать седьмая.</i> Осенний шторм	711
Примечания	733

Николай Павлович
ЗАДОРНОВ
КАПИТАН НЕВЕЛЬСКОЙ

*

Редактор Л. Полосина
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор
Л. Платонова
Корректор М. Муромцева

*

Сдано в набор 3/IX 1968 г. Подписа-
но в печать 20/XII 1969 г. Бумага ти-
погр. № 2. Форм. 84×108¹/₃₂—23,5 печ. л.,
39,48 усл. печ. л. 41,66 уч.-изд. л.,
Заказ № 430. Тираж 50 000 экз.
Цена 1 р. 42 к.

*

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Отпечатано с матриц Первой Образцо-
вой типографии имени А. А. Жданова.
Москва, Ж-54, Валовая, 28, в Ордена
Трудового Красного Знамени Ленин-
градской типографии № 2 имени Евге-
нии Соколовой Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Ми-
нистров СССР. Измайловский пр., 29.

Scan Kreyder - 12.10.2018 - STERLITAMAK

1221

1221

1221

1221

1221

1221